

Григорий Померанц  
**Записки  
гадкого утенка**

Центр  
гуманитарных  
инициатив  
Москва-Санкт-Петербург  
2013

**Главный редактор и автор проекта «Нитапйав»**

**С.Я. Левит**

**Заместитель главного редактора И.А. Осиновская**

**Редакционная коллегия серии:**

**Л.В. Скворцов (председатель), П.П. Гайденко, И.Л. Галинская,**

**В.Д. Губин, Б.Л. Губман, А.Л. Доброхотов, Г.И. Зверева,**

**А.Н. Кожановский, И.В. Кондаков, Л.А. Микешина,**

**Ю.С. Пивоваров, И.И. Ремезова, А.К. Сорокин, П.В. Соснов**

**Научный редактор Г.Э. Великовская**

**Серийное оформление П.П. Ефремов**

**Померанц Г.С.**

**П55 Записки гадкого утенка / Г.С. Померанц. — М.; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2013. — 464 с., ил. (Серия «НишаШав»)**

**ISBN 978-5-98712-060-6**

Известный и в России, и далеко за ее пределами эссеист, философ и филолог выступает на этот раз с мемуарной прозой. Григорий Померанц пережил и Сталинград, и лагеря, и диссидентство, но книга интересна не только и не столько событиями, сколько рожденными ими мыслями и чувствами. Во взлетах и падениях складывается личность человека, и читатель вступает в диалог с одним из интереснейших современников и проходит вместе с автором путь духовного труда как единственную возможность преображения.

**ISBN 978-5-98712-060-6**

© С.Я. Левит, составление серии, 2013

© Г.С. Померанц, 2013 © Центр гуманитарных инициатив, 2013

## Предисловие ко второму изданию

**П**ервым моим опытом мемуаров был текст, вошедший в книгу «Сны земли»<sup>1</sup>: «В сторону Иры». Я вынашивал свой очерк больше десяти лет. Сперва совсем не знал, как лепить характеры. Мне легче было в мире идей. Но непременно нужно было оставить след Иры в человеческой памяти, и я тянулся к этой задаче, как жираф — к веткам деревьев саванны. В конце концов, у жирафа выросла шея, а я написал то, что хотел. Каждая страница была ответом на вызов смерти, оборвавшей жизнь Иры. От этого вызова внутренняя энергия, которую многие почувствовали. Но попутно я сделал и то, чего не ожидал: написал о *своей* жизни с Ирой; вышел кусок автобиографии с 1956 по 1959 г. Сперва я удивлялся отзывам, а потом понял, что иначе и не могло быть. Я писал об Ире через свою любовь к Ире. Мы очень тесно сплелись. Хотя если бы написанное выходило только обо мне или прежде всего обо мне, я не стал бы стараться.

Прошло несколько лет, прежде чем, под влиянием случайного толчка, хлынули воспоминания — и начался рассказ, как я учился быть самим собой и выныривать из потока событий, собирая и склеивая свое, отбрасывая чужое. В том числе — оказавшееся чужим эго, перемычку, превращавшую залив, открытый океану, в затхлые солончаки. Пятнадцать глав были написаны с осени 1983-го по январь 1986-го. 16-я глава («Мышкинский счет») написана раньше, как отдельное эссе, после выхода на пенсию в 1978 г., и по ошибке попало в американскую книгу о Достоевском, но оно было обречено стать заключением «Записок».

Большинство глав печатается без перемен. Разве кое-где менялось настоящее время на прошедшее, прибавлялись примечания. «Корзину цветов нобелевскому лауреату» я дополнил, когда впечатление от промывки мозгов на Лубянке в декабре 1984-го перестало удерживать мою руку. Дополнения относятся к началу 90-х. Потом пошли сокращения. Бухгалтерия «Московского рабочего», где готовились к изданию «Записки гадкого утенка», запрограммировала 500 страниц и ни одной строки сверх этого. Пришлось предоставить текст судьбе, от которой Порция избавила Антония: куски мяса так и летели. Сперва я выбросил две главы — «Вопль к Богу» и «Негаснувший огонь». Потом мы вместе с редактором, М.К. Холмогоровым, осторожно вырезали то стихотворение, то несколько строк в конце главы (пожертвовав несколькими строками, можно было выиграть страницу). В результате книга все-таки вышла (в 1998 г.).

Между тем, в моем архиве лежали еще две главы, написанные в 90-е

---

<sup>1</sup> Написана в середине 70-х годов, опубликована в Париже весной 1985 г. (по выходным данным — в 1984 г.).

годы: «После падения Ваала» и «До полной гибели всерьез». Восстановив эти главы, я их слегка переработал, а в главу «Вопль к Богу» прибавлен третий раздел. В 2001 г. появились еще три главы: о том, чего не было в передаче «Цитаты из жизни» по телеканалу «Культура» 5-го июня 2001 г. И теперь я надеюсь, что доживу до полного издания (с прибавкой Льва Толстого: е. б. ж. — если буду жив). А если и не доживу, то оставляю свою исповедь в наследство гадким утятам. Думаю, что они и в XXI веке будут вылупляться из яиц, не попавших на сковороду, и искать себе подобных.

За прошедшие годы многие имена и события позабылись. По возможности мы упоминали их в примечаниях. Есть, однако, одно обстоятельство, которое касается всей книги. Она писалась в постоянном ожидании обыска. Рукописи отдельных глав летом прятались в поленницу. По завершении немедленно отдавались на машинку — Леониду Кротову, а затем раздавались друзьям (чтобы, по крайней мере, один или два экземпляра уцелели, даже при самом большом усердии «товарища Волка»). Я писал, не видя книги в целом, второпях. Повторения были неизбежны. Там, где было возможно, при подготовке второго издания кое-что устранено. Но не всегда это казалось мне возможным.

## В поисках потерянного стиля

**В** старые годы не было телефона, телевизора, даже керосиновой лампы, но был стиль. Потом появилось много необходимых вещей, а стиль пропал. Последним был французский классицизм: попытка общего стиля цивилизации. После его распада романтики потребовали от каждого неповторимой личной гениальности. Но где ее взять? Начались потуги — и пошлость. Флобер тратил целый день, чтобы продрагаться сквозь нее и написать одну страницу просто и выразительно. У нас из этой каши насилу выбрались так называемые реалисты XIX века, начиная с Пушкина. Новая норма ориентировалась скорее на Тургенева и Гончарова, чем на гениальных аутсайдеров, но писать можно было и читать тоже. Потом начались известные передряги — и оказалось, что общий язык одной школой не удержишь. Нужно общество, где на этом языке разговаривают: деревня для народного языка, «образованное общество» для языка Тургенева и Чехова. С ликвидацией буржуев общий язык стал какой-то мочалкой. Ленин сказал про Каутского: говорит, словно во сне мочалку жуёт. Но Каутский писал еще довольно сносно. Вот если взять нынешнюю газету, статью, доклад — действительно мочалка. Жуется и жуется мочалка, и ничего не выговаривается. Как в кошмарном сне. Пытается человек заговорить, а языка во рту нет. Бормочет что-то под нос и сам не понимает.

Наверное поэтому меня попросили рассказать, как я стал самим собой. Попросили люди, лично со мной не знакомые (только по текстам), и я понял их вопрос как вопрос о стиле. Т.е. каким образом я нашел свой стиль, свой язык, свой собственный голос. Первое, что захотелось ответить: я сам не знаю. Это далось очень медленно, много лет, и сделалось очень поздно, годам к сорока. Т.е. половина жизни прошла в поисках стиля (а что делать, если человек умрет в 27 лет, в 37, наконец — в 40 с небольшим? Не знаю).

Время от времени меня распирало словом. И я пытался писать. Но то, что я написал в 1938 г. о чувстве бесконечности, никто тогда не понял. Работу о Достоевском поняли один студент и два профессора. Слово бы я писал по-хеттски или на языке аборигенов Австралии.

На экзамене, когда надо было говорить банальности, язык меня вывозил. Наскоро полистав программу, я схватывал общую мысль и лихо выдавал ее экзаменатору. Но как только хотел выразить что-то свое, —

слова падали в пустоту. Чего же мне не хватало? Общества. Общества людей, переключавшихся со мной. Разговора на равных — и не только с людьми, но с деревьями, с полями... А потом опять с людьми, понимающими деревья и море.

Я помню, как мама в 1937 году показала мне на пляже поэта Нистора, часами глядевшего куда-то за горизонт. Я не пытался с ним заговорить, но искоса поглядывал на него. Что он там видел? Может быть, свою судьбу (его впоследствии арестовали и расстреляли).

Собеседники попадались на моем пути изредка, как деревья в степи. Начинались настоящие человеческие разговоры. Приходили минуты, часы взаимного понимания, открытости, — а потом события разбрасывали нас, и снова все заливала мертвая вода газет.

Я думаю, что стиль — это установка на разговор с известного рода людьми. Расин мысленно обращался к придворному, Зощенко — к недовыговаривающим, выброшенным в культуру и с трудом ворочающим словами (вроде одного деятеля<sup>2</sup>, которого я слышал с голубого экрана: «народы азиатского контингента.»). Совершенно освободиться от усмешки над своим собеседником Зощенко не мог и даже не хотел (где-то в нем сохранилась ценностей незыблемая скала), но в то же время серьезно был убежден, что началась эра недовыговаривающих и надо учиться говорить на их языке; так что он и свои частные письма стал писать языком Зощенко. У Платонова другой язык, потому что другой собеседник, правдоискатель, выросший в деревне или на городской окраине и поверивший в революцию, как в Царствие Небесное; и автор сливается с ним совершенно, без всякой иронии. Напротив, Булгаков не желает разговаривать с Шариковыми и демонстративно хранит язык старого режима, звучавший в 20-е годы как белогвардейская провокация. У каждого крупного писателя был свой стиль, т.е. чувство собеседника. У меня это не получалось. Я разговаривал с самим собой, не зная, кто я такой и поминутно сбиваясь в книгу.

С 14 лет я пытался выразить мысль, не думая о печати, ни на что и ни на кого сознательно не ориентируясь. Но мои заметки были книжными (говорю по смутной памяти — я их растерял). Стихия живого философского спора возникла для меня только в лагере, в разговоре с другими з/к з/к, сидевшими по ст. 58—10, за болтовню<sup>3</sup>.

Эти болтуны, вынужденные целый день щелкать на счетах или подбрасывать опилки в топку, по вечерам неудержимо философствовали, сплетая книжные обороты с языком воров. Гротескные фразы удивительно подходили к жизни, в которой мы считались преступниками, а преступники — вождями. Я почувствовал себя жукой, брошенной в воду. Из этой школы вышли «Пережитые абстракции» (первый вариант я написал, как

---

<sup>2</sup> Брежнева.

<sup>3</sup> Антисоветская агитация и пропаганда. Если в разговоре участвовали несколько человек, то прибавлялась статья 11 — то же в группе. Срока давались до 10 лет, а в военное или «в обстановке массовых волнений» — до расстрела или 25 лет.

только попал под амнистию, в 1953 г.).

Но продолжения не было. Прошло еще десять лет, пока я окончательно понял, с кем и для кого я пишу. И тогда сразу начались мои эссе. С 1962 года мой внутренний слог сложился, и я его только обуздывал, если надо было написать, скажем, реферат, т.е. просто изложить чужую статью, книгу. По возможности без отсебятины. Все равно, если у человека есть стиль, его не спрячешь. Он как-то вылезает в ритме фразы, в ритме периодов, в организации целого. Опытный читатель узнает меня и в реферате. И, конечно, не только меня. На чем-то ведь поймали Синявского, не спрятался он за Абрамом Терцем. Хотя сравнивать приходилось статьи с рассказами и повестями. Стиль — это шило. В мешке его не утаишь.

Стиль это не то, чего мне надо добиваться, скорее то, от чего я не могу избавиться. Например, когда возникает соблазн анонимности. Меня несколько раз убеждали в каком-нибудь одном случае спрятать свое лицо, и мой единственный и неопровержимый ответ был: всё равно узнают. И действительно узнавали. Не со второй, так с третьей страницы.

Я равнодушен к поискам корней, традиций и не слишком много думал, откуда рос, из чего складывался. Как-то сложился. Кажется, под влиянием Стендаля, Герцена, Достоевского; может быть, еще кого-то. Например Честертон. Или прозы поэтов. Или буддизма дзэн. Можно включить меня в какую-то традицию, но я сам не знаю, как ее определить. Я не боюсь потеряться, переступив через рамки вероисповеданий, национальных пристрастий и проч. Я остаюсь самим собой, о чем бы ни писал: о буддизме или Достоевском. И поэтому иногда мучаю читателя, находя у Достоевского коаны, о которых православные не знают и знать не хотят. Что мне делать? Я ведь не могу придумывать ассоциаций, которых не было. Если приходит сразу три-четыре, выбираю попроще; но ведь это не всегда возможно. Пол-оборота на Восток стало частью меня самого. Стиль — это человек. Найти свой стиль — значит найти свое внутреннее зернышко, свое чувство истины. Обладать стилем, как я это понимаю, — значит плыть, не думая, что плывешь, поворачиваться, не думая о повороте, совершенно верить себе, своему интуитивному знанию, куда повернуть, а не только знать какие-то образцы. Обладать стилем — значит быть самим собой. Тогда, если потянет писать, само собой образуется стиль. Как у Макара Девушкина.

Я сказал, что стиль — это установка на собеседника; а теперь говорю, что обладать стилем — значит быть самим собой. Думаю, это не такие разные вещи, как выходит на словах. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. «Быть самим собой» и «знать своего собеседника» — две стороны одного и того же.

Когда я стал писать свои эссе, я уже понимал, кто я такой: гадкий утенок. И понимал, что никакое мое красноречие не убедит стандартных уток. А стало быть, и стараться нечего. Говорить понятно выучился, работая в школе, но оставаться на уровне школьников во внеслужебное время было неинтересно. И я сразу стал писать для своих, т.е. для гадких

утят.

Гадкий утенок идет по своей тропке без всякой цели. Все большие дороги, железные и шоссейные, ведут из одного птичьего двора в другой, и на всяком дворе утенка будут клевать. Вот он и идет — в сторону от больших дорог, по тропинке, где будут деревья, кусты, пригорки, может быть, лужи, а может быть, и озерко... Но больше ничего. Надо идти и идти. С одной, впрочем, надеждой: что этот путь без цели имеет свою собственную, скрытую, внутреннюю цель.

То, что я пишу, — для гадких утят. Для тех, кто хочет найти не другой птичий двор, а самих себя. Если вам не этого хочется, если какой-то улучшенный птичий двор вам нравится, — не читайте дальше. Это не для вас. Это не ваш путь. Я не хочу вас соблазнять и делать несчастными, сбивать с вашей дороги. Ездите, пожалуйста, в автобусах и в поездах. А я пошел пешком.

У Андерсена утенок, найдя пруд с лебедями, глядится в воду и видит, что сам он тоже лебедь. После этого нечего больше искать. Всё найдено.

Я думаю, что с настоящим гадким утенком такое случится разве только в раю. А на земле гадкий утенок остается утенком. Хотя он может почувствовать в себе лебединость. Больше того: я убежден, что каждый гадкий утенок несет за своими плечами неразвернувшиеся лебединые крылья, примерно как наполеоновский солдат — маршальский жезл. Гадкий утенок может учиться летать, может много раз испытывать чувство высоты. А потом снова оказываться на земле гадким утенком.

Между гадким утенком и лебедем есть семейное сходство — настолько, что Андерсен их смешал, но лебеденок как-то очень быстро становится лебедем. А гадкий утенок тянется к лебединости, не может не тянуться, и все-таки остается гадким утенком. Поднявшимся на две-три ступеньки, на несколько ступенек поближе к лебедям, но утенком.

Лебедь — это совершенный образ и подобие Бога. Так его понимали индийцы, называя лебедями своих величайших святых. Правда, соответствующее санскритское слово означает разновидность дикого гуся, но эта птица, нарисованная на всех изданиях миссии Рамакришны, очень похожа на лебедя, и переводчик, пытаясь найти русский эквивалент текста из Брихадараньяки-упанишады, выбрал слово «лебедь» (гусь по-русски слишком глупая птица):

*Над уснувшим телом бодрствует бессонный,  
В безграничном небе пролагая путь.  
Искупавшись в блеске, в блеск преображенный  
Одинокий лебедь, Золотая Суть.  
Покидая землю, из гнезда уходит,  
Обогрев дыханьем темный дом пустой.  
Плавает Бессмертный в пустоте, в свободе, -  
Одинокий лебедь, промельк золотой.  
В синем царстве Браммы облачную стаю  
Образов без счета он творит, смеясь, -*



*Радостно играет, в пустоте сплетая Золотых  
узоров трепетную вязь.  
Люди видят блики, волны и алмазы...  
Только сам Великий вечно скрыт от глаза.*

*Перевод З.А. Миркиной 4*

Лебедь может назвать себя одновременно и человеком, и Богом. Как это сочетается — спорили на нескольких вселенских соборах. Но сочетается. Когда человек совершенно исчез, пуст, когда меня нет, когда я ничто, в пустой сосуд входит Бог. «Я умер, жив во мне Христос», — сказал об этом ап. Павел. Я умер, и потому я истина и воскресение и жизнь вечная... «Кто видит Меня, видит Дхарму, — сказал Будда ученику, захотевшему увидеть Учителя перед смертью. — Кто видит Дхарму, видит Меня».

Я как сосуд — ничто. Я только вместилище. Я как дух, наполнивший сосуд, неотделим от Истины. Это доступно каждому — но прежде надо сказать о себе всем сердцем: я ничто. А это не выходит. Почти ни у кого не выходит. Кто умер, чтобы жил в нем Бог? Кто полностью освободился от своего внешнего, сосудного «я» — даже от сознания своих грехов — и может сказать «я» о том, что в сосуде?

Мы только гадкие утята.

У подлинных лебедей есть какой-то период гадкоутеночности. Но кончается он очень рано, в юности. Свою природу они, кажется, никогда не узнавали от других, извне, а только изнутри, толчком преображения, таким бесспорным, что сомнения в своей лебединости исчезают, как дым. И не нужно ничего пробовать, исписывать, добиваться. Это лебединость лебедя, постоянно удостоверяющая себя сама. Какие-то атавистические черты прежнего, долебединого состояния могут оставаться, но то, что для нас норма, для лебедя — минутное отступление от нормы. То, что для них всегдашнее, для нас — только проблеск.

Здесь между лебедем и гадким утенком — пропасть, и через пропасть узенький, дрожащий мостик. Лебедь помнит свою юность, когда он казался себе гадким утенком. Лебедь понимает гадких утят. И гадкий утенок, испытавший проблески лебединости, может немного понимать лебедей. Заклеванная на птичьем дворе, он может увидеть в лебеде свое возвышенное подобие. Благородная истина о страдании взята из сердца гадкого утенка:

«Мы соединяемся с тем, что нам немило, и это страдание. Мы различаемся с тем, что нам мило, и это страдание...»

Шакьямуни в своем дворце, накануне бегства, был так же одинок, как Смешной человек в Петербурге. Христос не мог творить чудес в Назарете, на своем собственном родном птичьем дворе. Утки слишком хорошо знали, что он всего лишь сын плотника Иосифа.

---

4 Далее — З.М. Собственные стихи З.М. даются без подписи.

Превращение гадкого утенка в лебедя происходит при участии каких-то непостижимых сил. Примерно как человек вырастал, вырастал, вырастал из животного мира — миллионы лет вырастал — и вдруг был вырван из него. Человек — преображенное животное. А лебедь — преображенный гадкий утенок. Это преображение — чудо. На него нельзя рассчитывать. Мы можем только тянуться вверх, как деревья в небо, — не отрываясь от земли. Чем больше гадкий утенок всматривается в то, что бесконечно превосходит его, тем ближе он к полету. И наоборот:

«Если бодисатва махасатва подумает о себе: я бодисатва махасатва — он в тот же миг перестает быть бодисатвой махасатвой».

Путь Люцифера в ад начался с того, что он осознал состояние лебединости как свое недвижимое имущество.

Гадкий утенок таких глупостей не делает. Он знает, что есть лебединые точки на жизненном пути, лебединые зеркальности и взлеты. А между этими точками опять птичий двор и чувство Смешного человека, что он не такой, как все, не такой, как надо. Достоевский написал «Бедных людей» — и остался гадким утенком. Написал «Преступление и наказание» — и остался гадким утенком. Кажется, только после Пушкинской речи он какое-то время чувствовал, что летит.

Несколько раз мне казалось, что я попал на лебединое озеро. Впервые в 1939 году, после того как мой доклад о Достоевском был расклеван на кафедре русской литературы и меня приняли под покровительство Л.Е. Пинский и В.Р. Гриб. В комнатке В.Р. Гриба на Поварской я почти буквально летал, а Владимир Романович поддерживал меня на крутых виражах.

По словам вдовы Владимира Романовича, он был гораздо сложнее, чем я его узнал (за четыре вечера!). В нем были черты, которых я не заметил: полемиста, «социалистического просветителя» — и острая чувствительность к страданию — и склонность к депрессии — и сильно развитое чувство долга. Была мистическая восприимчивость (слышал в пути голос отца, когда тот умирал), была глубокая захваченность поэзией «конца века» — и воля к рациональной ясности, поддержанная и развитая марксизмом. К тому времени, когда мы встретились, веру в светлое будущее он уже потерял; но осталась надежда, что грядущее облагородит страдание. Как-то сказал на лекции, что у каждого уровня сознания свой поэт: для одних Расин, для других Лебедев-Кумач. Донесли; пришлось объясняться. Когда рассказывал об этом жене — выступили слезы на глазах: не ожидал предательства. Конечно, он был гадким утенком. Но ко мне он обернулся своей лебединой природой.

В пятидесятые годы моим лебединым станом стали поэты: Мандельштам, Цветаева, поздний Гумилев. Я заплакал, когда в первый раз услышал «Гондлу» — так, как плакал над «Гадким утенком» Андерсена:

*Все вы, сильны, красивы и прямы,  
За горбатым пойдете, за мной,  
Чтобы строить высокие храмы*

*Над грозящей очам крутизной.  
Подымаются тонкие шпильки —  
Их не ведали наши отцы:  
Лебединых сверкающих крылий  
Заостренные к небу концы...*

Гумилев не был лебедем. Но он почувствовал состояние лебедино-сти, и оно стало на миг моим. И крылья Марины становились моими собственными:

*Если душа родилась крылатой,  
Что ей хоромы и что ей хаты.*

Мы взлетаем вместе с поэтами и чувствуем вкус неба. Хотя никто из них не был лебедем. Даже Рильке, казавшийся лебедем Пастернаку и Цветаевой (себя Цветаева мыслила на первом или третьем небе, Рильке — на седьмом).

И, конечно, мы с Зиной — только гадкие утята. Хотя несколько человек, попадая к нам, чувствовали себя так, как я когда-то на Поварской — «на своей духовной родине». И я сам чувствую себя с ними на духовной родине.

Может быть, все мы немножечко лебеди, каждый из нас по-своему лебедь. Все мы немножечко лебеди, но не все это сознаем, и почти никто не осознал этого до конца. И катастрофически быстро забываем свою лебединость в современной жизни, где так много быстроты — и так мало тишины.

Годы, прожитые вместе с Зиной Миркиной, были годами, замкнутыми в круг — круг поисков тишины, в которой разворачиваются белые крылья. Если искать, то всегда можно найти. И мы находили ее в лесу у костра и просто дома (выключив телефон и включив Баха). Есть целые лебединые сезоны, когда мы остаемся одни у моря. В два таких сезона я написал «Троицу Рублева и тринитарное сознание». Голубец Рублева сливается для меня с синими скалами Коктебеля и тайна Троицы — с таинством заката. Но все наши моря и костры — только точки, полосы, состояния, короткие взлеты, а не парение в поднебесье.

Гадкий утенок — существо переходное и вечно переходное. Ему не дано совершенства. Его дело — жить ради лучшего, который приходит изнутри и стучится в сердце. Ради лучшего, который когда-нибудь, к кому-нибудь достучится.

И вот тогда-то гадкий утенок действительно станет самим собой. Станет пустым — и до края полным.

*А может, стих есть оправданье,  
Мой пропуск в вечность; все заданье  
Исполнено на этот миг.  
Миг полон был и был велик.*

*Стих — просто удостоверение,  
Что остановлено мгновенье  
И что божественный поток,  
Минуя сердце, не протек,  
А напитал его до края.  
Всего одно мгновенье рая  
Заслужено. И — снова труд.  
Ведь снова пуст грудной сосуд...  
Бог снова жаждет. С мигом каждым  
Неутолимей эта жажда,  
И всё же каждое мгновенье —  
Глоток, несущий утоление.*

## Я не такой, как надо

С тех пор, как я себя помню, я не такой, как надо. Мальчику надо быть смелым, ловким. А я был робким и неуклюжим. Никогда не мог научиться играть в чехарду, перепрыгнуть через козла. И главное, на пляже, в трусиках, меня многие принимали за девочку. Кудрявый пухлый херувимчик; узкие плечи, слабые руки, подушечки жира на груди и на животе, с утопленным внутрь, а не торчавшим, как у большинства мальчишек, пупком. Словно Бог собирался делать из меня девочку, а потом передумал. Лет с 16 полезли усы, борода, грудь обросла волосами и сходство с девочкой исчезло. Но в 12 лет я испытал унижение, которое до сих пор помню.

Тогда еще не была отменена педология, и вот пришла педологиня, доцент или профессор, очень самоуверенная, и стала нас смотреть и объяснять студентам. Студентов и студенток она привела целую толпу, 15 или 20 человек. Почему-то наука требовала смотреть нас голыми. Как сейчас помню: я, 12-летний мальчик, стою голым в кругу белых халатов, и эта кикимора объясняет, что дескать перед вами евну-хоидный тип, то-то и то-то у меня недоразвито, а то-то развито неправильно. И поэтому у меня, конечно, умственная отсталость и плохие отметки. Тут я вздохнул с облегчением и подумал: сама ты дура. Но по главному пункту нечего было возразить. В 12 лет я совершенно не знал, как у меня всё это сложится.

Сложилось в положенное время и жестоко, долго мучило меня. Однако еще до этого возник огромный комплекс неполноценности. Я был не такой, как надо — физически, социально, душевно. Я не умел сопротивляться навязанному мне чужому и не находил своего. Мне было 6 лет, когда какой-то чисто одетый, ухоженный мальчик стал со мной играть и уверенно сказал, что с грязными, оборванными мальчиками играть не надо. На следующий день, когда ко мне подбежал соседский бедный мальчик, я отвернулся. Помню до сих пор удивление и обиду в его глазах и свой жгучий стыд. Это происходило в польской Вильне, при капитализме (мы доживали там последний год). Потом то же самое повторялось в Москве, при социализме. Моим было только чувство неуверенности, неловкости и стыда. Все остальное вдавливалось извне. Пожалуй, кроме нежности к матери. Но мама ничему не могла меня научить. Она самостоятельно разбиралась в людях, а в идеях и принципах сразу запутывалась и беспомощно перенимала обрывками то, что говорили режиссеры и театральные критики. Кроме того, мама никогда не соглашалась с папой, и они вечно спорили. Кончилось дело разводом.

Мама была актрисой и как-то принадлежала к миру искусства, а отец — бухгалтером. Впрочем, до 40 лет он воспринимался всеми скорее как деятель Бунда (за это его когда-то выслали из Варшавы в Вильно; там он

узнал маму, полюбил ее и женился; ей было 18, ему 34). Но вот родился я. Кормить было нечем, и пришлось папе пожертвовать всеми своими идеями: связался с торгашами, спекулировавшими на голоде. Они его, конечно, бесовестно обчитывали и недодавали обещанной доли прибылей, но денег хватало. Мне наняли кормилицу. Я выжил. А папа оказался вне партии и без партии потерял часть самого себя. Некоторые бундовцы приняли советскую власть, другие отвергли; он остался посредине; и принимал и не принимал. Оказывал при случае услуги красным; из-за этого тягали поляки, пришлось бежать через границу, но коммунистом не стал. Так, середка наполовин- ку. Попутчик. Никто в семье толком не знал, что такое хорошо и что такое плохо. Даже в Вильне, где какие-то рамки обычая и быта сохранялись. А тем более в красной Москве.

Любимым писателем моего еврейского виленского детства был Ицхок-Лейбуш Перец. Трудно понять, что я находил в нем мальчиком 6-7 лет. Много позже, давно позабыв еврейскую грамоту и достав русский перевод, я немел от удивления: эти хасиды, искавшие Бога в посте и молитве, этот Бонча-молчальник... Почему я полюбил именно Переца, а не Шолом-Алейхема, которого обожала мама? Атеистическая семья. Дядя Александр ел ветчину и не верил в Бога. А ребенок, прямо после «Крокодила»<sup>5</sup>, читает про хасидов. Какое-то чудо. Потом обрыв (после переезда в Москву, потери родного языка и начала школьных лет: не знаю, что важнее), и только студентом я заново нашел свое в русской оболочке, у Достоевского. Может быть, поэтому суть дела для меня лежит глубже оболочки.

В Москве 1925 года очень быстро забылся еврейский язык (никто из ребят не знал его; родители со мной говорили по-еврейски, я отвечал по-русски); пошли в ход детские книжки из библиотеки в Анти-пьевском переулке. Больше всего увлекали приключения на недавней Гражданской войне («С мешком за смертью», «Макар-следопыт» и прочая галиматъя, сейчас всеми забытая). Настоящая отравка, на которую подростки легко клюют (они вообще глупее детей). Вроде бы занимательно, а потом в душе пусто, как в желудке после нескольких стаканов чая с сахаринном. Скука меня томила. Скука и чувство неполноценности маленького попутчика, неуверенно шедшего, спотыкаясь, за коммунистическими жожаками — за такими, как надо. Я глубоко завидовал Семке Беркину, который носил простецкие манеры, как аристократ носит фрак, и в 30-е годы стал профессиональным стукачом (в 1950-м я встретился с ним на очной ставке).

У меня были красивые черные кудри. Мама гордилась, что моя фотография украшает витрину ателье на Арбате, — почти так же, как своей фотографией, попавшей в американскую еврейскую газету, в подборку самых красивых евреек мира. Я тоже гордился, что мама у меня красивая и играет на сцене. Но мои собственные кудри будили зверя в мальчишках из

---

<sup>5</sup> Заученного наизусть. Это была моя первая русская книга: врата, через которые я вошел в русскую культуру. Еще я любил еврейскую, «Ингл-цингл-цингл хват».

соседнего Бутиковского переулка. За мной охотились, как за дичью. Я со страхом подходил к дому (мы жили в Зачатьевском д. 9, угол Бутиковского). Налетит стайка бесенят, прижмут к забору: скажи кукуруза! А я не мог. Я до 13 лет картавил. Тогда начиналась самая увлекательная часть игры: вцепиться в мою папуасскую шевелюру и трепать ее, пока не подойдет кто-нибудь из взрослых.

Лет 20 спустя в том же Бутиковском переулке рос Сережа Аверинцев. Когда мы познакомились (в 60-е годы) и я увидел, где он живет, я сразу спросил: «Били вас в детстве?». «Били», — ответил Сережа. Он не был жиденком, но все равно его били. Били, потому что он был слабым, беззащитным, больным и потому, что трущобным мальчишкам надо кого-то бить. Или вешать кошек. Иначе скучно.

Меня отдали в школу подальше от трущоб, в бывшую Медведниковскую гимназию. Идти туда надо было через две улицы: Остоженку (еще не переименованную в Метростроевскую) и Пречистенку (ул. Кропоткина) почти до Арбата. Эту школу окончило, вслед за мной, несколько поколений интеллигентов. Однажды зашла речь о Пречистенском кружке (там бывал М. А. Булгаков), и я сказал, что учился в 59-й; несколько голосов сразу воскликнуло: как, и вы? Посыпались фамилии: Аверинцев, Буковский, Твердохлебов, еще кто-то...

В школе никто не дергал меня за волосы, не бил и не дразнил. Я просто сам не находил свое место. Особенно с 5-й группы (тогда говорили группы, а не классы).

Переход в 5-ю группу совпал с годом великого перелома. Сразу сломалось всё. Вместо одной и той же на всех уроках Марьи Ивановны, знавшей каждого из нас, как своего ребенка, замелькали учителя литературы, математики, физики, географии. Мы почувствовали себя беспризорными. Это даже в спокойное время очень трудный переход. А тем более в рваное, подхлестнутое. Катаев тогда написал «Время, вперед!». Вперед, или вверх тормашками, но все летело, кружилось, сорвалось с места. Даже счет дней. Вместо недели — пятидневка. Потом шестидневка. Потом опять неделя. Какой-то шабаш ведьм. В деревне сплошная коллективизация, у нас — сплошная пионеризация. Там упразднены были реальные, добровольные, хорошо работавшие артели и коммуны (подобие израильских мошавов и кибуцев). У нас — хорошо работавшие пионерские отряды со своей, довольно занимательной, пионерской жизнью. Пионерами стали все (а это значит никто). Все личное (единоличное) было как-то сразу отменено и осуждено, в том числе — и группа со своим особым складом. Введен был бригадный метод, т.е. предполагалось, что все решают задачи вшестером и таким образом становятся коллективистами (единственная польза метода была в том, что я подружился с Вовкой; остальные четверо у нас списывали). Оценки свелись к двум (уд — неуд) и ставились сразу всей бригаде. Словом, все сплошь. И начался сплошной хаос. Дети почувствовали соблазн ретроградного джентельмена: а не дать ли пинок ногой хрустальному зданию? И пинали: бросали мокрые тряпки и обломки стульев на милиционера, стоявшего на посту перед датским посольством,

срывали один урок за другим...

На перемене дым стоял коромыслом, а я забирался в нишу возле батареи парового отопления и пережевывал очередную книгу с самим собой в качестве главного героя; или просто воображал, что мне делают операцию вроде омоложения, и я просыпаюсь с образцовыми мускулами и другими достоинствами. Мне очень хотелось стать другим — таким, как надо.

С 5-й группы начались эротические игры. Девочки что-то прятали, мальчики отымали. Или просто гасили свет и тискали соседок. Один раз я прикоснулся к худенькой грудке тринадцати- или четырнадцатилетней девочки. Меня словно обожгло. Я почувствовал впаивную Богом ампулу, вроде тех, которые врачи вшивают алкоголикам; бездушное прикосновение к женщине для меня запрещено. Я вполне понимаю дикарей, умиравших, прикоснувшись к вождю. Это не идеология. Идеологически я хотел быть, как все. А все решительно, кроме меня, в это играли. Я один не мог. Я один во всем классе. Так это, кстати, и осталось. Женственное физически меня волновало и мучило — но только на расстоянии. При попытке активности я мгновенно леденел и сознавал, что мне надо не ее волю сломить, а свою собственную, скрытую, и что это мне непосильно. Было три-четыре случая, когда девушки сами вешались мне на шею. Я бежал, как Иосиф от жены евнуха Потифара. Это не добродетель: седьмая заповедь казалась мне, как и многим моим сверстникам, старым вздором. Это не принцип: я никогда не осуждал мужчин и женщин, чувствовавших и живших иначе. Это действие во мне какой-то силы, никак не охранявшей моего воображения, но внезапно просыпавшейся, когда эротическая мечта могла стать действительностью. Я мог воображать сцены, будившие грубую чувственность; но я не мог относиться к живой женщине как к устройству для удовлетворения моих желаний. Случайной близости для меня не могло быть. Близость означала обручение души с другой душой, связь надолго, может быть, навсегда, брак. А для брака я был совершенно не готов.

Долгие годы вложенная в меня сила только запрещала, а ничего положительного не подсказывала. Положительное решение я должен был найти сам. Оно пришло очень поздно — а плоть 15, 16-летнего подростка не ждала. Чем меньше я был склонен к сексуальной революции на практике, тем больше разыгрывалось воображение. И очень долго я страдал от него. Освободился я от этого комплекса и от многих других, когда почувствовал в себе внутреннюю силу, способную захватить не меньше, чем физическое мужество, и одновременно знание, какая душа нужна моей душе. Но всю свою юность я не имел ни силы, ни знания. Грубая захваченность воображения длилась целыми днями, неделями, месяцами, становилась кошмаром, наваждением, болотом, в котором я тонул. Я не знал, что можно оборониться и отмыться молитвой (молитва была упразднена вместе с Богом). Я был в грязи по уши. И вдруг какой-то поток мыслей увлекал меня — и пока он меня нес, я без всякого усилия или с самым малым усилием освобождался от дьявольского наваждения и был свободен.



Лет 16 я исписал целую толстую тетрадь комментариями ко второй части «Фауста»; мне никогда не было жаль, что эта тетрадь потерялась. Я, кажется, даже не перечитывал ее. Но пока я писал, я лучше жил. Это, пожалуй, главный смысл всякого моего писанья. Если бы все бумаги сгорели, я все равно бы писал. Так я развожу костер, зная, что от него останутся только угли, но пока сучья горят, я радуюсь этому подобно огню внутреннего и никогда не жалею времени, ушедшего на собирание хвороста, раздувание огня, перекладывание головешек из стороны в сторону и проч.

Интеллектуальные взлеты освобождали меня от грехов, которые В.В. Розанов назвал бы мокрыми, но одновременно вовлекали в «огненный грех» тщеславия. Началось, кажется, с одного смешного случая в седьмой группе. Нам задали сочинение на тему: «перерастание буржуазно-демократической революции в пролетарскую». Тогда нашу память не загружали пустяками — что, где, как и когда произошло, а прямо вводили в самую суть. Я не подготовился и знал только исходные данные: пролетариат смел, буржуазия труслива. Остальное надо было придумать самому. Была не была! Я решил пофантазировать и создал довольно складную теорию перманентной революции. Обществовед Димочка (Дмитрий Николаевич Никифоров) оценил ее литерами ВУ (весьма удовлетворительно, оценка незаконная, способная развить буржуазный индивидуализм; но Димочка был в восторге). Он не догадался, что я все высосал из пальца (пересказ прочитанного никогда не вышел бы таким живым). Но я тоже не совсем понял, что случилось. Способность живо чувствовать понятия и складывать их в теорию ничуть не чудеснее, чем подбирать и складывать в букет цветы, и я сам не знаю, что выше. Хороший букет не включает в себе никакой фальши и очень редко может причинить зло. А логичная теория вовсе не обязательно истинная теория. Большая часть теорий односторонняя, многие прямо нелепы. Способность мыслить истинно отстоит от способности теоретизировать, как небо от земли. Замечательные мыслители вовсе не теоретизировали, а говорили притчами и парадоксами. И т.д.

Всего этого я не знал и рассуждал примерно так: Маркс — величайший из мыслителей; теория перманентной революции — одно из величайших созданий его гения; я в возрасте 13 1/2 лет разработал эту теорию всего за 45 минут (вряд ли у Маркса дело шло быстрее). Не следует ли из этого, что я тоже гений?

На следующий год, в 8-м классе, мне попала книга Зуева-Инсарова «Почерк и личность». Я узнал приметы гениальности. Следующим шагом было воспроизвести их (для этого нужно отрывать перо от бумаги, как бы в неудержимом порыве воображения, и потом снова опускаться с неба на землю). Трудно придумать более глупое занятие. Впрочем, и возраст был глупый — лет 14-15. Годом спустя я стал писать примерно так, как и сейчас пишу, без вывертов, но заявка на гениальность долго продолжала меня беспокоить. Освободился я от нее только в лагере.

Кажется, я уже писал об этом, но не помню где, а здесь это кстати. Мой

товарищ (в «Пережитых абстракциях» я назвал его Виктором) объяснял мне и Жене Федорову особенности своего ума; выходило, что он всех лучше, но выходило медленно, потому что Виктор был человек действительно умный и не хотел грубо сказать: «я всех умнее», а тактично подводил нас к пониманию этого. Я слушал и думал: «врешь, братец, умнее всех я», — но вслух ничего не говорил. В этот миг Женя, дерзкий мальчишка, сказал: «а я думаю, что я всех умнее». Виктор опешил и замолчал. Мы подошли к уборной, зашли в нее. Через очко было видно, как в дерьме копошатся черви. Почему-то эти черви вызвали во мне философские ассоциации. (Может быть, вспомнил Державина: я раб, я царь, я червь, я Бог?). «Что за безумие, — подумал я, — как у Гоголя, в «Записках сумасшедшего». Каждый интеллигент уверен, что он-то и есть Фердинанд VII». Было очень неприятно думать это и еще неприятнее додумать до конца: мысль, что я всех умнее, — злокачественный нарост; надо выздороветь, надо расстаться с этим бредом, приросшим ко мне. И с решимостью, к которой привык на войне, я рубанул: «Предоставляю вам разделить первое место, а себе беру второе». Я испытал боль, как при хирургической операции или при разрыве с женщиной, с которой прожил 20 лет (я жил с этой мыслью с 13 до 33-х). Но я отрубил раз и навсегда. С этого мига начался мой плюрализм. Я понял, что каждому из нас даны только осколки истины и бессмысленно спорить, чей осколок больше. Прав тот, кто понимает свое ничтожество и безграничное превосходство целостной истины над нашими детскими играми в истину. И с этим веселым сознанием продолжает играть, складывая и разбирая осколки и сочиняя за 45 минут и даже за полчаса новые теории.

В школе у меня это не получалось. Теорию перманентной революции я придумал, но разобраться в том, что происходило, она не помогла. Все время доходили отдельные факты, застревавшие в горле. Но их уравнивали сотни и тысячи официальных Фактов и Цифр, по которым выходило, что совсем близко грядущее без нищих и калек. Я не знал, какая чаша весов тяжелее.

В седьмой группе меня внезапно избрал своим интеллектуальным наперсником Вовка, мальчик очень развитой, старше меня на полтора года, из профессорской семьи. Одна нога у него была короче другой, в шумные игры он не играл, а разговаривать со мной, по-видимому, было интереснее, чем с другими. Я впервые стал кому-то нужен в школе и очень привязался к Вовке. Как-то он конфиденциально сказал мне: «пятилетка-то провалилась». — «Как, — возразил я. — А 518 и 1040?» Цифры означали количество новых заводов и МТС. «Да, — важно возразил Вовка, — но все делается для деревни, а в деревне хаос, кровь, разруха». Я понял, что такую смелую концепцию создал не Вовка, и не отец его, профессор химии, сидевший в своем Афанасьевском переулке или в университете. К ним в дом хаживал Николай Иванович Бухарин. Значит, это он так думает (впоследствии, в воспоминаниях Н. Я. Мандельштам, я нашел новые свидетельства, что Бухарин очень откровенно разговаривал с беспартийными). Но в 1934 году Бухарин был назначен редактором

«Известий» и писал в «Известиях», что социализм победил. Я поверил газете 1934 года, и отмене карточной системы, и открывшимся магазинам, в которых снова можно было купить масло, сыр, колбасу, красную икру...

Мама моя с 1930 года работала в Киевском еврейском театре. Я знал, что на Украине голод. В январе 1934 года я сам съездил туда, навестить маму. Театр был на гастролях; в Киеве надо было сделать пересадку. У выхода на перрон лежала обессиленная крестьянка с ребенком. Я постоял с минуту, глядя в ее выцветшие глаза, — может быть, она подвинется? Глаза ответили: мне все равно. Можешь переступить через меня. Я переступил и до сих пор иногда вспоминаю эти глаза. Но на съезде писателей Пастернак говорил, что самое страшное позади, что социализм победил и теперь будет хорошо (я не помню слов, но таким был смысл). И старый либерал Кракиновский, отец моего приятеля, в ответ на какую-то мою воркотню сказал: «Победителей не судят». И XVII съезд назывался съездом победителей. И кто знал, что 292 человека проголосовали на этом съезде против Сталина и скоро начнется Большой Террор?

Я любил в революционные праздники смешиваться с толпой и бродить вечером по центру Москвы, освещенному тысячами разноцветных лампочек; я «каплей лился с массами», и мне казалось, что все мы течем к ассоциации, в которой свободное развитие всех будет условием свободного развития каждого. Но в остальные дни (362 дня в году) я этой массы, охваченной идеями коммунизма, не видел, не чувствовал.

И вдруг вопрос «я и масса» вывернулся наизнанку. Летом 1934 года я прочел роман Стендаля «Красное и белое» и захлебнулся: прямо про меня! В Люсьене Левене было мое оправдание, утверждение моего права на существование таким, каким я был. Именно в рохле Люсьене Левене, а не в энергичном Сореле (с которым и познакомился немного позже). И в Левене-старшем, — на всю жизнь запомнил, как он выступает в парламенте. И в самом Стендале. «Позиция автора обладает только одним недостатком: каждая партия может считать его членом партии своих врагов». «Политика в романе — это пистолетный выстрел во время концерта». «Меня поймут в 1880 году (или: в 1900 году)». Писать надо 10г Ше Барру 1e^ — для счастливого меньшинства или для несчастного, но для родного меньшинства. Не надо литься с массами! Надо быть личностью, вырваться из массы. Не беда, что сразу не выходит. Выйдет годам к 40 (Стендаль расписался к 40 годам, и я принял это как пророчество о самом себе).

Почему именно Стендаль мне помог, а не Толстой или Достоевский? Потому что у них все про Бога и через Бога, а про Бога я в 16 лет ничего не понимал. Я испытал в это время первый ужас бесконечности — и отшатнулся, решил пока не глядеть в бездну. Но какой же Бог без чувства бездны? Без страха Божьего и любви, превосходящей страх? Одно слово, один символ, смысл которого утрачен. Лишнее слово. В 20 лет я вернулся к созерцанию бездны и через нее навек прирос к русской литературе, но в 16 мне нужен был именно Стендаль, с его прямолинейным эгоизмом, уравновесившим тогдашний прямолинейный коллективизм. Кстати:

именно уравновесивший, а не упразднивший. Я читал Стендаля — и брошюры Ленина, в которых чувствовал музыку революции (в самом стиле, в энергии ленинской фразы. Я мысленно сравнивал Ленина с Горьким и находил, что Ленин — гораздо лучший писатель). Я искал возможности самостоятельной личной жизни в новом революционном обществе, в ассоциации, в которой будет свободное развитие всех и каждого. Общей почвой был материализм, атомизм. Меня влекла свобода того самого атомарного, обособленного, обезбоженного «я», которое четыре года спустя было взорвано «Записками из подполья». Именно через это обезбоженное «я» произошло мое освобождение от обезбоженно-го «мы».

Начались занятия в 10-м классе; ко мне подошел Лешка Эйсман — совсем взрослый, старше меня на два с половиной года; он увлекся философией и опять (как Вовка три года назад) избрал меня в товарищи. Я сам был слишком неуверен в себе и не решался выбирать друзей, да и не знал, чем могу увлечь их. Выбирали они меня, открывая мне меня самого.

Любовь Ивановна Эйсман, тетка Леши, дала нам «Историю философии» Виндельбанда. Мы сидели на задней парте и читали Виндельбанда. Добрейший Виктор Арсентьевич, директор, преподававший нам курс политэкономии, с укоризной взглянул на нас и сказал: «Тех, кто идет против коллектива, коллектив сломает и слопаёт».

Вскоре нам задали по литературе сочинение на тему: «Кем я хочу быть». Я начал фразой: «В детстве я хотел быть извозчиком, а потом солдатом»; потом перечислялись другие детские глупости и в заключение — то, что я и сегодня мог бы сказать: «я хочу быть самим собой». Иван Николаевич Марков, читавший вслух мое краснобайское сочинение о Достоевском (в 15 лет я Достоевского совершенно не понял и пересказывал Луначарского), на этот раз был недоволен, — сказал, что я заумничался. Но я действительно решил стать самим собой.

Прошло полвека, и я думаю: удалось мне это или нет? Смотри что считать «самим собой». Никакие авторитеты не могли меня сбить в сторону, увлечь от поисков самого себя в какое-то «мы». Все, что я пишу, я пишу через себя. И к Богу, и к людям я пытаюсь подойти через «я», через доступную мне глубину самого себя. Но многое ли мне доступно? Или то, чего я достиг, — только полдороги?

Недавно я проснулся с чувством вымаранности (бывают такие пробуждения), стал подбирать слова, способные выжечь муть. Ничего не действовало, сердце не откликалось. Прикладывал вслепую одну фразу к другой, и вдруг вышло сочетание, от которого я вздрогнул. Пошел ток. Я продолжал твердить свою мантру и встал совершенно бодрым. Потом подумал, что у меня получилось: «Я истина и воскресение и жизнь вечная. Мы умрем за Тебя». Первая фраза из Евангелия, но там дальше: верующий в Меня, если и умрет, оживет; а у меня несколько измененная строка из стихотворения, раз навсегда потрясшего меня при первой встрече с Зиной Миркиной:

*Нет, никогда не умрет нетленный.  
Я за него умру.*

Вторую фразу можно было бесконечно варьировать. Например: мы тлен, мы прах, мы смерть. Или: мы страдание, смерть, ничто. Мы заброшенность, страх, страдание, смерть... Некоторые варианты получались совершенно буддийские, только на *мы* переносилось всё то, что обычно говорилось про *я*. От этого *я* передвигалось в глубину, на уровень «неставшего, не сотворенного», принимало характер индуистского атмана, который можно целую жизнь открывать в себе, а когда откроешь, то оказывается, что это Брахман. Т.е. *я* в глубине нас оказывается заливом океанского Я. Можно сформулировать мою мантру в терминах Шанкары: волна тождественна океану, но океан не тождествен волне. Волна исчезнет, океан вечен. Я как волна исчезну, я как океан не рожден и не умру.

Однако первую фразу мне не хотелось менять. Наверное, потому, что язык Евангелия вызывал во мне больше откликов. Что за этим стоит? То, что наша душа — христианка? Или то, что я вырос в России, а не в Индии или Японии, и больше читал Достоевского, чем Тагора? Не знаю. Но мне легче почувствовать глубину бытия, если она хотя бы отчасти выражена как личность, как Я:

*Не что, а Кто  
Причина всех причин.  
Не что, а Кто  
Живет в основе мира.  
Не что, а Кто  
Творит всю эту стройность,  
И в нас безмолвствует не что, а Кто —  
В деревьях, в море, в небе и во мне.*

*Мы вышли из ничто, уйдем в ничто.  
И надо нам без ничего остаться,  
Чтобы почувствовать, что мы есть Кто-то...  
Все, что мы видим, — что-то.  
Но мы сами!..  
Кто видел нас без ничего —  
Без плоти?  
Или кто видел во плоти, сквозь плоть, Того,  
Кто плоть творит, как мастер платье?..  
Не что, а Кто...  
И мы должны познать  
Не что-то, а Кого-то,  
Кто в ничем свободно существует  
И творит из ничего  
Все «что-то», не «Кого-то».*

*Никто не сотворен.  
А только нечто  
Сотворено,  
А Некто Есть Творец.  
И Он во всем  
И Он в ничем  
Равно один и  
тот же.  
И если я есмь Некто, а не нечто,  
То я уже не в силах умереть.  
И наша смерть есть отторжение нас  
От всего,  
Но не от нас самих.*

*Кто ощутил в себе Творца,  
Тот знает,  
Что я есмь воскресение и жизнь.  
И я, и ты, и дерево, и небо.  
Да нет, не что, а Кто,  
Не что, а Кто...*

Смысл моей мантры (так же как смысл стихотворения Зины) ни в какое вероисповедание не укладывался. Но он давал мгновенный взгляд в глубину, из которой росли они все. То, что мы обычно считаем своим я, — только узелок *мы*. В нем связаны ниточки наследственности, впечатлений детства, юности, любви, страха, следы прочитанных книг... Время завязывает узлы и время развязывает их. Началось в прошлом, исчезнет в будущем. Ничего этого нет в вечности. Если узелок времени и есть я, то я — иллюзия. Если это самость, то самость — препятствие, которое должно быть разрушено в поисках вечного. Но за будничным, временным что-то есть. Что-то «не ставшее, не рожденное, не сотворенное», как сказал Будда. И чтобы прийти к этому «не ставшему, не рожденному», действительно надо разрушить или, по крайней мере, расшатать, сделать не сплошным, сделать прозрачным все ставшее, рожденное, сотворенное. Смотреть на него как на хворост, сгорающий в огне смерти. И тогда за этим огнем, за смертью начинает мерцать что-то, на что откликается мое сердце, что-то глубинное мое — и бесконечно большее, чем я.

Глубинное *Я* можно никак не называть, можно называть атманом, 8e1Г (т.е. буквально самость — но в смысле, прямо противоположном христианскому пониманию самости)... Слова здесь вообще путают, сбивают с толку. Слова — слепки предметов и действий, обособленных друг от друга, а здесь что-то единое, текучее, и можно совершенно противоположные вещи называть одним словом. Я выбрал для поверхностного уровня *мы*, а для глубинного *Я*. Можно для поверхностного выбрать *я*, а для глубинного *Ты* (так у М. Бубера, у Екатерины Сиенской: я та, которой нет, Ты тот, который есть); или для поверхностного избрать *я*, а

для глубинного — пустоту или другое негативное слово. Все такие различия — на уровне слов. Но споры между религиями ведут люди, которые не могут обойтись без привычных слов и приходят в ужас, когда их слова отбрасывают или употребляют неожиданным образом. Я это понимаю, потому что для молитвы или медитации нужны слова, трогающие сердце, а не отвлеченные термины, относительно которых можно договориться на конгрессе. И у меня есть свои предпочтения. Но они не глухие. Я способен понять и почувствовать *разные* святые слова, и в каждую минуту ищу то слово, на которое в эту минуту откликается сердце, не придавая слишком большого значения никаким словам.

Отбросим все термины и будем говорить просто о вечном (глубинном) и временном (поверхностном) я. Мое временное я было зыбко, неустойчиво. Это казалось мне недостатком. Но в поисках прочности я добрался до уровня, где замерцало вечное Я. Дальше я не продвинулся. Я остался гадким утенком. Иначе говоря, я не добрался до тождества с атманом, с неставшим, с несотворенным, с пустотой или с Богом (мне все равно, как это называть). Но я совершенно уверен, что глубинное я есть и есть во мне (поэтому я предпочитаю называть его Я). И это знание глубинного я, эта уверенность, что я, пусть не всегда, пусть с трудом, могу его коснуться, дает мне твердость на уровне поверхностного я. Поэтому мне не нужны одежды *мы* (национальных традиций, вероисповеданий). И стою голым, как в 12 лет перед строем педологов в белых халатах, но я больше не стыжусь своего убожества. Я понимаю, что в нем не только слабость, а сила.

Одежды *мы* можно сравнить со спасательными кругами или пробковыми поясами. Они помогают пловцу не затонуть, но никто не уговорит меня, что Будда или Христос плавали, держась за спасательный круг. Они отбросили старые пояса и прямо вошли в воду. И гадкие утята выполняют заповедь: будьте подобны Мне. Они тоже пытаются плавать, как лебеди — без поясов. Что у них выходит? Что у меня вышло? Очень немного. Барахтаюсь у берега. В открытое море не выплыл. Но зато не путаю пальца, указывающего на луну, с самой лунной. И вот это непутанье, эта попытка смотреть на саму луну, а не на палец — моя вера. Мое, если хотите, личное исповедание.

При случае я подхватываю первый попавшийся текст и повторяю его. Бывают трудные минуты, когда новые слова не рождаются и надо помнить что-то готовое. Так же как в море хорошо иметь под руками пробковый пояс, даже хорошему пловцу (вдруг не хватит сил). Но настоящая встреча с морем — безо всякого пояса, безо всякой одежды. И с духом тоже.

*О как он труден, путь в бессмертье,  
Путь через бездну, глубиной Во  
всеобъемлющее сердце.  
Нельзя укрыться за стеной,  
Нельзя от бездны отдохнуть:  
Жизнь — это путь!*

*В тот миг, когда явились мы Из  
теплоты, из Божьей тьмы В сей  
мир, — какой раздался крик!  
Но постепенно глаз привык Не  
бездну видеть здесь, а твердь.  
И вот тогда подкралась смерть.  
И огонь бессмертия погас:  
Она исчерпывала нас,  
Она твердила: бездны нет,  
Есть дно, и есть на все ответ,  
Как дважды два и пятью пять.  
Не дай нам, Господи, застрять На  
полпути, в середине смерти!  
Отсюда нет дорог назад.  
За нами ангелы следят,  
Чтоб наполнялась бездна сердца, -  
Хоть знают: эта полнота Ведет  
до самого креста.*

Я вовсе не против вероисповеданий и привычки к какому-то одному языку. Пока это язык, стиль — и больше ничего. Но я боюсь, как дьявола, гордыни вероисповедания, безумия, напоминающего мне мое отроческое убеждение, что я умнее всех, или убеждения, что моя мама, мой папа, мой город, моя страна лучше всех. Такие убеждения естественны в 8 лет, простительны в 18, — но когда-то из них надо вырасти. Слишком много было заплачено за религиозную рознь — не меньше, чем за рознь национальную и классовую. Даже в недавние годы — в Индии, в Ливане, где идеал воцерковленья не нарушен и люди режут друг друга не по идеологиям, а по вероисповеданиям.



Если бы неофиты, которых сегодня так много, поплыли бы, со всеми своими спасательными кругами и поясами. Мы, может быть, встретились бы в море. Так нет, очень немногие поплыли. Большинство совершенно довольно тем, что у него лучший в мире пояс, — и дальше, чем по колена, не заходит в воду. Или стоят на берегу и объясняют, как надо плавать. И начинают ссориться, какая школа лучше. Общество моих знакомых, единое в 60-е годы, расколосось на кучки православных, католиков, баптистов, иудаистов...

Я примкнул бы к вероисповеданию, которое скажет: мы все неудачники. Мы не преобразили мира. Но вы тоже не преобразили его. Не будем спорить, кто лучше, мы все хуже, и все становимся еще хуже, когда воображаем себя лучше. Будем учиться друг у друга и вместе вытаскивать мир из беды.

Пока этого нет, так что деваться мне некуда. Я гадкий утенок. Я не лебедь. Я сделал только два-три шага в глубину. Этого совершенно недостаточно для нашего спасения. Это чуть больше нуля. Но это действительные, а не воображаемые шаги, и они не потеряют смысла, если переменить все слова.

## Утенок находит лебединое озеро

Я искал пространство, в котором смогу вырасти и развиваться. Больше всего меня тянуло к литературе. Но статьи по литературе, попадавшие на глаза, были невыносимо пошлыми и до того глупыми, что не только в десятом, а в пятом классе я написал бы лучше. Мне не приходило в голову, что где-то есть люди, у которых можно учиться, но им не заказывают статей, а заказывают идиотам. Учиться у идиотов не имело смысла; я решил идти на философский факультет. А вот, чему-нибудь можно будет научиться у самых плохих профессоров. Что-то они ведь знают. А я не знал почти ничего. Увы! Я недооценил, *до чего* они плохи. И главное, — что философский факультет был кузницей партийных кадров. Тогда еще не было ВПШ, и кадры в ИФЛИ накалывали подковы на свои копыта. Несколько мальчиков и девочек из десятилеток, принятых на первый курс, выглядели как Иванушка и Аленушка в избе у бабы-яги.

Шел 1935-й год. Уже началось то, что потом названо было 37-м годом, хотя длилось это лет 5 — с 1934-го по 1939-й; а если начинать с деревни, то лет 10. Изничтожалось всё, что способно к инициативе, и заложен был фундамент нынешнего царства инерции. Каким образом я уцелел? Не знаю. Помню, еще на первом курсе от меня в ужасе шарахнулась Лидка Вольфсон; я ей пытался объяснить, что книга Николая Островского опровергает автора, что самое нужное он сделал не в армии и не на узкоколейке, а когда судьба остановила его подвиги и вынудила обернуться внутрь. К счастью, Лидка перенесла свой ужас самостоятельно и не понесла его в комитет...

На старших курсах извивался клубок змей. Кадры могли уцелеть, только уничтожая друг друга, и они это поняли. Каждая ошибка на семинаре разоблачалась как троцкистская вылазка. В каждом номере стенгазеты кого-то съедали живьем. Когда Даниил Андреев описывает нравы уицраоров, это кажется фантастикой; но на философском факультете ИФЛИ делалось то же самое. Настоящий кадр должен был сожрать по меньшей мере двух-трех товарищей. Так закалялась сталь. Запах террариума был до того отвратительный, что я ходил полуотравленный, в дурмане, потерял способность вставать вовремя с постели. Вскакивал, когда надо было уже из дома выходить, ехал в институт небритый, невымытый, голодный — лишь бы отметиться — и погружался в полусон на задней скамейке. Схватил НВУ (не вполне удовлетворительно, двойка) за полугодие по математике. Мне было все равно. Я не только не двигался внутрь, к самому себе, — я почти перестал верить, что это возможно. Надо бы уходить на другой факультет; но как за это взяться? И где спрятаться от

---

6 Конец которого породил хаос.

проработчиков?

Вдруг случилось чудо. Приехал Межлаук, заместитель председателя Совнаркома (через год или два — расстрелянный враг народа) и сказал, что нам не надо философов. Факультет был распущен. Студентам предоставили выбрать другой факультет. Я выбрал литературный.

Оставалось решить, русское отделение или западное. Вовка сказал мне: ты никогда не будешь знать немецкую или французскую литературу, как немец или француз. Это показалось мне бесспорным. Я не читал еще Большой логики Гегеля и не знал, что любую идею (не только истинную) можно прекрасно обосновать. Мой опыт философского факультета говорил совсем другое: Бог с ними, с коллегами французами, надо найти место, куда кадры поменьше суют свой нос. Т.е. на западное отделение. Русская культура умещалась в одном веке (от Пушкина до Горького), имена были выучены в школе, оставалось только вешать на каждого свой ярлык. А западная... тут что ни имя, то поручик Киж: арестант секретный, фигуры не имеет. Поди разберись, кто такой Кретьен де Труа и чем он отличается от Луве де Кувре. И указаний на это не было; видимо, и Сталин, и Ленин считали возможным руководить исследованием западной культуры, не вникая в подробности. Кадры брали с них пример. Вопрос о том, кем был Пайен де Мезьер или Тирсо де Молина, не был политически актуальным. С Шодерло де Лак-ло не влипнешь, как с оперой Демьяна Бедного «Богатыри». Или с архискверным романом «Бесы» архискверного Достоевского; думаю, что если бы я писал о Кальдероне, никакого скандала не вышло бы.

Но опыт сам по себе ничего не объясняет. Объясняет голова. Моя кудрявая голова не знала того, что знает лысая; сравнительно с философским факультетом, любое отделение литературного казалось раем, и я беззаботно погрузился в древнерусскую литературу.

Читал ее Николай Калининкович Гудзий. Читал так, что ни одной его мысли я не запомнил. Кажется, значительных мыслей и не было. Но чувствовалось, что Аввакума он любил. Это располагало понять, что же он там любит. А слушать — зачем слушать. Я читал старые университетские курсы — Буслаева, Пыпина... Они не пытались вычленивать из потока древнерусской словесности художественное слово, а разбирали всё подряд, и это было гораздо лучше. Николай Калининкович, составляя свою хрестоматию, обошел Нила Сорского (не оказалось литературных красот). Пыпин же цитировал Нила огромными кусками и навсегда внушил мне любовь к апостолу нестяжательства (и нелюбовь к Иосифу Волоцкому).

В школе древней литературы не касались; все здесь было для меня ново. Сравнительно с культурами Запада, это была какая-то странная словесность, почти бессловесная, если искать самостоятельного личного слова. Но чувствовался напор, пробивший немоту, и вдруг — «Слово о полку Игореве» (я не сомневаюсь в его подлинности), или каким-то синим огнем вспыхивала «Повесть о Горе-Злочастии». В «Слове» для меня проглядывал тот слой русской жизни, из которого — несколько веков спустя — вырос Толстой; «Повесть» казалась наброском Достоевского.

Культура накапливала свои черты вглухую, почти молча, и вдруг заговорила сразу всеми голосами, когда европейское просвещение разомкнуло уста.

Я не находил и сейчас не нахожу, что в церковнославянских переводах и подражаниях русский дух чувствовал себя дома. Он кое-где пробивался — и только. Потом стал пробиваться через западные хорей и ямбы и пробился довольно быстро — за 100 лет. В Пушкине Россия впервые заговорила — и с тех пор не умолкала. Национальный гений выпрыгнул из лицейского окна на волю и упивался своей свободой.

Я как-то писал, что настоящего русского человека до Петра еще не было и до известной степени он и сейчас еще весь в будущем. Это высказывание сочли русофобским (см. «Вестник РХД» № 125). Хорошо еще, что не заперли в сумасшедший дом. Наше прошлое прекрасно, наше настоящее великолепно — и т.д. (см. сочинения т. Бенкендорфа. Или т. Дубельта. Они-то знали, что почем). Тем не менее, Россия до сих пор ничем законченным, завершенным не стала, если не считать достижений тюремного ведомства. Но Пушкин — одно из величайших предчувствий чего-то совсем другого...

Сейчас, после нескольких новых книг о Пушкине, я заново взгляделся в него и увидел почти ставрогинскую широту нравственных возможностей — и страдание от этой широты. Но тогда мне бросилось в глаза другое: упоение свободой, гармония чувства, вырвавшегося из оков, уверенность в своем праве на свободу. Делай, что хочешь, и все будет хорошо. Или, немного перефразируя Маркса, — свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех (я невольно перевернул порядок слов в известном изречении и так его запомнил).

Читая и перечитывая Пушкина, я впиался в каждую строку и до всего старался дойти сам. Русская кафедра считалась идеологической и не блистала талантами. Впрочем, и остальные не очень блистали. Я садился подальше, с книжкой, и старался не обращать внимания на профессоров.

Вдруг появился какой-то новый доцент. Он был небольшого роста, чуть повыше меня, с копной темных волос. Довольно молод. Лицом некрасив. Но как только заговорил, откуда-то взялась и красота. И не то чтобы он красиво говорил. Красиво говорил Пуришев, но говорил банальности. А Пинский мыслил на кафедре. Это сразу бросалось в глаза. Он искал и находил слово, иногда с трудом, с огромным напряжением, и напряжение немедленно передавалось. Я отложил книжку и стал слушать. Вторую лекцию я уже записывал, и скоро это стало привычкой. Я стал записывать всех подряд. Хотя почти зря. Кроме лекций Пинского, был только один запомнившийся курс — истории русской стилистики, прочитанный Г.О. Винокуром. Укрывшись на кафедре языковедения, он очень живо рассказывал про архаистов и новаторов.

Сейчас от Пинского остались только книги и статьи. Мысль его всюду напряженно и глубоко бьется. Но настоящей его стихией было живое слово, слово с кафедры, неотделимое от скупой, невольной мимики и вспыхивавших темным огнем глаз. Он поразительно чувствовал аудиторию

и разгорался, глядя в глаза слушателей. Чистый лист бумаги его гораздо меньше вдохновлял, а двое или трое друзей не вызвали чувства ответственности: дома, за чашкой чая, Леонид Ефимович увлекался игрой парадоксов и терял меру.

Слушая Пинского, я впервые понял, зачем люди ходят на лекции. Этого не могла заменить никакая книга. На твоих глазах рождается мысль, факты обнажают свою внутреннюю логику, свой смысл. Перед тобой не мешок с книгами, а личность, захватывающая своей жаждой точного, окончательного слова. И в то же время метод, со своим чисто интеллектуальным обаянием. Личность, овладевшая методом (потом я понял: гегелевским). Ни одна старая истина не отбрасывалась. Во всем раскрывался смысл. И выстраивалась иерархия смыслов. Современники поняли «Дон Кихота» как пародию на рыцарский роман, — и они были правы. Но на более глубоком уровне — это ирония над обреченным рыцарством. А на еще более глубоком — ирония человеческого духа над самим собой, над бессилием своих порывов. Прошло примерно 45 лет, а я до сих пор помню. Ни один век не ошибался. Нельзя судить историю по двоичной логике (да — нет, истина — ложь). Каждый исторический пласт включает в себе истину, но истины неравноценны. И задача духовной работы — установить «ценностей незыблемую скалу». В которой социальный, классовый анализ не отбрасывается, а становится на свое (подчиненное) место.

Как это стало возможным в середине 30-х годов? Помогло то, что пришел к власти Гитлер. Сталину надо было повернуть от беспощадной классовой борьбы к единому антифашистскому фронту. Теоретика среди кадров не было. А про себя Сталин, видимо, тогда еще понимал, что теория — не его ремесло. И вот он предоставил возможность Лукачу и Лифшицу завязать открытую дискуссию с марксистской социологией 20-х годов. С 1934-го по 1937-й год, пока палачи раздавливали пальцы и сажали задом на ножку табуретки, шла свободная дискуссия, показывая всему передовому миру, что за собственные мнения у нас не сажают. Лифшица и его учеников действительно не велено было сажать, и так как других сажали, то в руках Лифшица оказались сразу три синекуры: заместитель директора Третьяковской галереи, редактор журнала «Литературный критик» и редактор «Литературной газеты»; ученик Лифшица Кеменов стал председателем ВОКС'а и референтом Молотова. К 1937 году старая марксистско-ленинская социология уже называется вульгарной социологией; бывшие вульгарные социологи перестроились и пекли одна за другой книжки о народности Пушкина, Некрасова и других (в коридорах ИФЛИ это называлось изнародованием). И тотчас же Лифшиц с Лукачем стали ненужны. Их попытка собрать все, что думал об искусстве Карл Маркс и создать

цельную марксистскую эстетику слишком сбивалась в Гегеля и вообще была слишком серьезной и последовательной для пропагандистской машины. Например, на докладе о народности (длвшемся 6 часов!) Михаил Александрович отделил друг от друга непосредственную народность Шевченко, народность Некрасова (перешедшего на сторону народа, порвав со своим классом), Пушкина (сохранившего дворянское самосознание, но любившего народ и искавшего вдохновения в фольклоре) и наконец всякого большого искусства. Ибо большое искусство должно быть понято народом, и народ действительно поймет его *когда-нибудь*; поэтому вполне возможно, что когда-нибудь народной станет философская лирика Тютчева.

Мне было не совсем ясно, сохранит ли тогда смысл слово «народ», но серьезность мысли захватывала. Я вышел из 15-й аудитории с восторгом и очень удивился, услышав, по дороге в раздевалку, вопли Фимы Глухого, что доклад совершенно сбил его с толку, что он теперь совершенно все перестал понимать. Фима был, кажется, из упраздненных: философов, и теория, оставлявшая открытым вопрос (будет ли народным Тютчев?), привела его в ужас, как негров рождение двойни.

Другие кадры были менее темпераментны и до поры до времени помалкивали (не было установки). Но в ЦК тоже не любили путаных теорий, логика пропагандистской машины была сильнее, чем любые высказывания Маркса и Ленина. Например, «искусство должно быть понято народом» (требование к системе просвещения) превратилось в «искусство должно быть понято народу» (требование к искусству). Различие между прогрессивным и справедливым (твердо признаваемое Марксом и Лениным) было решительно стерто и даже в либеральные 60-е годы историкам не удалось его восстановить (уперся начальник Политического Управления Советской Армии генерал Епишев). В этот фарватер советской идеологии совершенно не ложился тезис Лукача-Лифшица, — а по сути Маркса, — что реакционные симпатии Бальзака (к дворянству) не только не мешали, а прямо помогали ему обличать буржуазию и т.о. шли на пользу делу. Даже магический рубеж, разделивший историю культуры, — 1848 год на Западе, 1905 год в России, — до которого писатели и философы трактовались с уважением, как языческие мудрецы, а после с презрением, как грешники, увидевшие мессию и не уверовавшие, — этот раскол истории был повернут не только против модернизма (с которым посевший в опале Лифшиц долго продолжал воевать), но в известной мере и против советской литературы. В кругах «Литературного критика» от нее требовали большей художественности, хвалили Платонова и не очень ценили Фадеева.

Осенью 1939 года Фадеев добился организации новой дискуссии. «Литературная газета» уже не была в руках Лифшица. На три статьи, доказывавшие, что старые писатели были великими только *вопреки* своей реакционной идеологии (и следовательно Толстой, усвоив идеи Чернышевского, очень бы вырос), печаталась одна статья «теченцев». Появился термин «Течение Лукача-Лифшица». Подготовлено было

постановление (за которым могли последовать и другие меры). Но Кеменову удалось уговорить Молотова положить постановление под сукно. Судя по дурно пахнувшей статье И. Фрадкина (ученика Лифшица), упрекавшего вопрекистов в пособничестве англо-французскому империализму, пущены были в ход внешнеполитические аргументы. Если прогрессивное всегда хорошо, а реакционное всегда плохо, то как быть с нашим заклятым другом Гитлером? Дискуссия шла в самый разгар заклятой дружбы, зимой 1939-1940 гг., и Гитлер опять помог развитию марксистской теории.

Таким образом, течение продержалось 5 лет — ровно столько же, сколько 37-й год — и тихо сошло со сцены. В политическом отношении это был призрак, мираж — и отчасти даже сознательно пущенная дымовая завеса. Но этот призрак сделал возможным лекции Пинского и Гриба.

Один за другим шли процессы ведьм. Трудящиеся требовали расстрела троцкистско-бухаринских двурушников. А в призрачном микроклимате аудитории Пинский с вдохновением читал нам о Телеской обители, в которой было только одно правило: делай, что хочешь. Человеческая природа принималась полностью, в самых панурговских своих проявлениях. И хотя в трагедиях Шекспира миф Возрождения рухнул и погребен, он захватывал в самом своем падении. Личность, бесконечно переоценившая свои возможности, оставалась неотразимо влекущей, и я мысленно нес ее к могиле, как четыре капитана — прах Гамлета. Тут была не только история, тут была живая вера, пусть нелепая и поминутно опровергаемая (но разве нелепость мешает вере?). Тот же миф, что в «Капитале». Недаром Маркс так любил Возрождение. Единая линия вела от уома универсале князя Пико делла Мирандолы, способного заново сотворить землю, к утопии сэра Томаса Мора, к Коммунистическому манифесту и Беломорско-Балтийскому каналу.

А как хорошо начиналось! Человек выше любых абстракций: право на стороне Шейлока, Порция передергивает в пользу Антония. Снисходительность выше справедливости (примите их<sup>7</sup> лучше, чем они заслуживают! Ибо если бы каждый получал по заслугам, никто не избежит плетей). И слова, которые я готов закричать вместе с Гамлетом: Вы можете меня расстроить, но не играть на мне... (Охранная грамота личности). Я и сейчас не откажусь от некоторых строк в этом Евангелии гуманизма. Хотя превосходно вижу тень, которую гуманизм отбросил. Но что на земле не отбрасывает тени?

Тогда я тени не видел. Т.е. видел тени, окружавшие свободную личность, то, что могло заморочить ее, как ведьмы Макбета; но сама она — чистый свет. Я и Макбета видел внутренне светлым (лет с 15, когда в первый раз прочел трагедию). Собственные мысли, возникавшие попутно, когда Леонид Ефимович говорил о Гамлете, заняли половину конспекта, и мне в конце концов трудно было решить, где кончалась лекция о моем любимом принце и где начинаюсь я сам.

---

7 Актеров. Реплика Гамлета Полонию.

Кириллов прав: если нет Бога, человек должен немедленно поставить себя на место Бога. Иначе не стоит жить. Гуманистический миф стал для меня чем-то вроде исповедания веры. И так как эту веру можно было свободно исповедовать и проповедовать с кафедры, я воспринимал нараставший кошмар, как Белый заяц из сказки Зины: всё хорошо, всё очень хорошо, и ручейки это знают, и цветы это знают, и зайцы это знают, — только волки этого еще не знают. Но и они это скоро поймут. Стена волшебного города расступилась, и я вышел к волкам: написал письмо Сталину, убеждая его не увлекаться репрессиями. У нас вовсе не так много врагов. Наша страна, как единый оркестр... Не помню, что я там еще намолол, но про оркестр точно было написано. Скорее всего, мое письмо было брошено в корзину нечитанным. Или референт прочел его, улыбнулся — и порвал в клочки. Во всяком случае, последствий никаких не было.

Впрочем, косвенным ответом на мое письмо был юбилей Пушкина, отмеченный с неслыханной помпой. Пушкин и Ренессанс поддерживали в моем уме друг друга и друг с другом вместе они поддерживали веру в человека. Я воспринимал и отчасти до сих пор воспринимаю Пушкина как русскую аналогию Возрождения. В нем одном развернулась целая эпоха: от «Гавриилиады» (с ее наивной чувственностью) до маленьких трагедий. Титанические взрывы энергии (Байрон, Наполеон, Петр, Пугачев, Вальсингам) и рафаэлевские мадонны, перед которыми титаны преклоняли колена. Святое в облике прекрасной женщины и прекрасная женщина — святыня (в ней все гармония, все диво, все выше мира и страстей). Это именно та вера, которая цвела на вершинах Высокого Возрождения.

И вдруг все было перевернуто и опрокинуто метафизическим страхом, дохнувшим со страниц Гоголя, Тютчева, Достоевского, Толстого. От Гоголя я просто бежал. До сих пор не могу вынести этой тесноты, этого миргородского гроба, в котором меня заживо хоронят. Помню, как я захлопнул «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», не выдержав больше двух страниц, и зарылся в «Афоризмату Тита Левиафанского» (философский автокомментарий к «Доктору Крупову» А.И. Герцена). Какой это был милый, веселый, блестящий и земной, без провалов в ад, кризис разума, как я отдыхал, упиваясь Герценом, от темной гоголевской глубины! Мне кажется, в Гоголе раскрылась какая-то загробная, преисподняя тьма, и подходить к нему можно только с молитвой; а молиться я тогда не умел. И я стал обходить Гоголя.

Но Тютчев, Толстой, Достоевский были открыты вечности как-то иначе, чем Гоголь. Не вечной тесноте ада, а вечной бездне, через которую квадрильон лет шел двойник Ивана Карамазова. Я смутно чувствовал, что через этот квадрильон надо и мне пройти. Шестнадцати лет я отвернулся от дурной бесконечности, а теперь решил не отворачиваться и всмотреться в нее до конца. Если наша жизнь — песчинка в бездне пространства и времени, то нас по сути нет. Все, чего мы можем достичь, — ничто. Любое число, деленное на бесконечность, есть нуль. Но если жизнь имеет смысл, то дурная бесконечность — фикция. Что-то одно —



фикция. Или я, или бесконечность. Сосредоточившись, я два или три месяца подряд твердил: если бесконечность есть, то меня нет; а если я емь, то бесконечности нет. Лекции, собрания, на которых без конца разбирались дела о притуплении и о потере политической бдительности, проплывали, как в тумане. В конце концов, даже предметы стали расплываться. Один раз расплылся и совершенно исчез большой оранжевый абажур.

Потом пришло сразу два решения, от которых бесконечность, гловавшая предметы, отступила и в груди что-то вспыхнуло. Несколько смущало, что решений два (истине бы лучше быть одной). Но в конце концов я просто принял это как факт.

Первое решение заключалось в том, что без человека вселенная развалится на части. Что-то подобное говорит в «Бхагавадгите» Кришна: «Если я перестану действовать, Бхарата...». Н.Ф. Федоров передает эту Божью задачу человеку: «С одной стороны, человек, по коперниканскому учению, есть обитатель ничтожнейшей части безмерной вселенной, а с другой — вся астрономия есть лишь мнение этого ничтожного обитателя этой ничтожной частички; и чтобы это мнение стало истиною, стало действительностью, нужно человека сделать обладателем всей вселенной» (Федоров Н.Ф. Сочинения. М., 1982, с. 528).

Превосходство моей концепции перед федоровской было в том, что никаких предварительных условий, вроде воскрешения отцов, я не выдвигал. Все, оказывается, устроено так, как надо, остается лишь осознать то, что это есть (подробности читатель найдет в «Пережитых абстракциях»). Долгое время я считал свой миф великим открытием и очень этим гордился.

Второе решение было скромнее. Я рассудил, что душа может привязаться к другому больше, чем к самому себе. Но где пределы этой привязанности? Разве не может душа расширяться до вселенной, стать сознанием вселенной? А раз так, то пусть тело исчезнет в пространстве и времени. Душа уже переросла его. Душе довольно того, что вселенная будет существовать, ибо человеческое сознание, достигшее своей полноты, есть сознание всецелости. Мое подлинное большое тело — весь этот звездный мир!..

Охмелев от своих находок и торопясь изложить их, я не заметил, что сделал две ошибки. Первая — то, что возможность расширенного сознания и действительно расширенное сознание — не одно и то же. Сознание мое расширилось во время медитации, но я не понимал, что это медитация (слово медитация дошло до меня лет через 20) и не мог даже поставить вопрос: в чем суть медитации и что важнее: медитация сама по себе или образы, которые в ней рождались. Мне казалось, что я решал проблему и теперь решил, — как можно решить математическую задачу. Будь у меня наставником Линьци, он дал бы мне оплеуху. Ошибка заключалась в том, что символ истины встал на место ее непосредственного бытия, которое надо было поддерживать постоянным внутренним усилием. А я усилие прекратил. Припоминание символа действовало как обезболивающее, прогоняя тень страха, и казалось, что больше ничего не надо. Что-то

подобное происходит в истории религии, когда мистический опыт уступает место символу веры.

Несколько раньше во мне произошел другой сдвиг. Как-то мама спросила меня: «Слушай, Гриша, неужели это социализм? Ради этого люди шли на каторгу, на виселицу?». Я поморщился и ответил: «Конечно. Ведь у нас общественная собственность на средства производства». И тут же почувствовал, как точка в груди, ровно посередине, где небольшое углубление, заболела от фальши. Если вы непосредственно чувствуете, что поступаете дурно, это называется совестью. Но как назвать непосредственное чувство фальши в теоретической конструкции? Я думаю, это можно назвать интеллектуальной совестью.

Через пару лет я говорил Семе Беркину (а он за мной записывал): «У нас нет никакого социализма. Рабочим и крестьянам живется хуже, чем в 1927 году...». В 1927 году мне было 9 лет. На углу Зачатьевского переулка и Остоженки, возле церкви, которую года через три снесли, продавались очень вкусные свежие булочки, разрезанные, намазанные маслом и проложенные ветчиной. В 1928 году этого киоска и этих булочек уже не было. Вряд ли мое воспоминание могло послужить научным аргументом о положении рабочих и в особенности крестьян. Но факты подбирались к готовому чувству фальши. А чувство это не обманывало.

Не важно, что было раньше: разговор с мамой или медитация о бесконечности. Могло быть и так, и эдак: от чувства фальши к чувству целостной истины или наоборот. Точка истины и фальши в середине груди одна и та же. Она оживает при медитации, молитве, созерцании иконной красоты, любви, нежности, тревоге за любимого и проч. Если эта точка начала активно жить, возникает аура, в которой расправляется всё доброе. Допустим, что индийская теория чакр верна и в центре груди — чакра сердца. Но никакого анатомического органа там нет (анатомическое сердце слева).

К сожалению, я ничего не делал, чтобы точка в середине груди не засыпала, чтобы она развивалась и крепла. Но в сентябре 1938-го я прочел «Записки из подполья» — и снова почувствовал бездну под ногами (ср. «Открытость бездне»).

Все эти внутренние перевороты занимали меня гораздо больше, чем внешние события, даже арест отца. За ним пришли в марте 1938го. Он вернулся с работы, увидел оперативников (его ждали), вздох

нул, отдал второй своей жене авоську с мясом, и начался обыск. Все бумаги были сброшены на пол, их просматривали и отбрасывали в другую кучу, ненужного. Я увидел в непросмотренной куче старый блокнот с адресами немецких фирм. Лет 10 тому назад папа работал у нэпмана Гиришберга, торговавшего по лицензии с Германией... Когда оперативники отвернулись (они за мной, впрочем, и не следили), я взял опасный блокнот и перебрал в другую кучу. Больше ничего, способного скомпрометировать, у нас не было.

Отца отвезли на Петровку (ни на Лубянке, ни в Бутырках не было места). Но и на Петровке стояли огромные очереди с передачами. Чаще всего выстаивала их папина вторая жена. (Она надеялась, что его выпустят. Когда перестала надеяться — попыталась присвоить себе одной всю нашу мебель, и возник судебный процесс, который я, по папиному решительному настоянию и по его доверенности, в 1940-1941 гг. вел и выиграл). Но иногда стоял я. Стоял и думал, что не могу отделаться от неприятного чувства. Не просто очередь, а очередь морально раздавленных. Папа бы ни о чем не думал, кроме меня (и в самом деле не думал, когда его выпустили, а меня посадили). А я только отвечаю на его любовь, и отвечаю гривенником на рубль.

Сейчас мне часто снится папа, и каждый раз я просыпаюсь с глубокой жалостью. Он был очень добрый, честный, хороший, но не было у него ни в чем дара. И в любви к маме, и ко мне. Добрый, а всплывал, топал, швырял стулом — непременно мимо, так что не страшно было, только смешно. И потом три года мы жили в разных странах, — он в Москве, мы в Вильне. Я страшно привязался к маме, красивой и талантливо игравшей в театре (я был ужасный театрал). Ее отъезд в Киев (мне было тогда 12 лет) был для меня концом детства и началом одиночества. Семья как бытие рухнула. Папа с утра до вечера сидел на работе, подсчитывал колонки цифр. Да если бы он и больше времени проводил со мной. Он не привязал меня к себе. С 12 лет я учился жить, опираясь только на самого себя.

Не знаю, каким бы я стал, если бы не мое безродное отрочество. Но прошлого нельзя переменить. С 12 лет я сам решал, что хорошо и что плохо. Это было не по силам моему слабому духу, но в конце концов он окреп. Я вырос человеком воздуха — без почвы, без традиций и без тоски по ним. Я доверяю только личности, раздетой от всех условностей истории, оголенной, как гол я сам. Меня захватывает и увлекает только личность. От этого, кажется, и легкость, с которой я вхожу в дух любой культуры, вижу свое сквозь любые одежды — французские или китайские. Для меня подлинно «всякое отечество чужбина и всякая чужбина отечество», как написано было в диалоге «Октавий» (II в.)

Однако вернусь к делу отца. Его увозили в Минск, пытались связать с какими-то бывшими контрабандистами, потом привезли обратно и в конце концов, в сентябре 1939 года, когда надо было освободить тюрьмы для новых контингентов с Западной Украины и Белоруссии, дали 5 лет высылки в Актюбинскую область. На ноябрьские праздники я съездил в Темир (жалкий городишко, полусасыпанный песком), отвез чемодан с

теплыми вещами и чаем — валютой казахского рынка. Папа шепотом рассказывал мне, что его соседей сажали задом на ножку табуретки (а женщин и передом: у меня сразу возникла ассоциация с «Повестью о мутьянской воеводе Дракуле», переведенной на русский язык в XV веке и довольно популярной во времена Ивана Грозного). Папу самого не били, опасались забить ничего не подписавшего насмерть (брак в работе следователя). А на испуг его нельзя было взять (как вести себя на допросах, он научился еще до революции). Фактов он пересказал мне много, но выводов не делал никаких: остался честным советским патриотом (инерция полутора лет доказательств, что именно он и есть советский патриот). О своих товарищах по несчастью, сделавших незаконные выводы из того же опыта, с грустью говорил, что они антисоветски настроены.

За бухгалтера или инженера полагался выговор. Если я не займу неправильную позицию и не буду говорить, что отец ни в чем не виноват. Тогда — потеря бдительности и исключение из рядов. А если и после этого буду ворчать в коридорах, то и посадить могут, как Диму Ясного, Ёлку Муралову и Ганку Ганецкую. Я держался осторожно, на бюро и на собраниях признавал, что у отца были когда-то, лет 10-15 тому назад, подозрительные знакомства, доверяю органам, что они разберутся, но окончательной формулы осуждения (враг народа) не произносил. Мне дали то, что следует, дело тянулось долго, еще дольше, чем дело отца, больше полутора лет. Много их было, таких дел. Когда дошло до вузовского комитета ВЛКСМ, отец уже получил свое вольное поселение по статье ПШ, подозрение в шпионаже. Я интерпретировал факт в свою пользу: ничего за отцом нового не нашли, только знакомые его разоблачены в шпионаже, так это я знал и бдительности не притупил. Тут как раз мелькнуло заявление (кажется, Сталина, повторенное Молотовым), что сын за отца не отвечает, и я вышел с бюро без выговора. Но счастливее я от этого не стал.

Моя ифлийская юность была некрасивой. Я не влезал в идеал своего поколения — и своего собственного образца жизни не выработал. На крутых поворотах то лгал самому себе, то подвирал на собраниях и мучительно это чувствовал. Старался лгать поменьше, но не мог обойтись без осознанной и полуосознанной лжи...

В воспоминаниях западниц ИФЛИ выступает каким-то светлым радужным пятном, резко выделявшимся на фоне времени (1935-1940). Это от особого климата западного отделения. Оно казалось мне 11-м классом средней школы (а потом 12-м, 13-м и т.д.). Кадров (решавших всё) там почти не было. Кадры и по-русски с трудом выговаривали иностранные слова (не всегда то, какое нужно). Хорошенькие девушки, в струящихся шелковых платьях и с ветром в голове, пристойном их нежному возрасту, резвились в коридорах, читали стихи и постепенно, почти играя, как на пионерских сборах, привыкали к новой общественной роли. Роль была скверная, но девушки этого не замечали (не глядели по ту сторону своего кружка). Они были полны энтузиазма. Я думаю, что в отношении Ани Гецелевич к Сталину было что-то от институтского обожания государя императора. Она призывала к бдительности и беспощадности, но как-то

детски беззлобно. Впрочем, Аня — крайний случай. Есть такие женщины, к которым мудрость и зло не пристают. Аня и бабушкой осталась такой, какой я ее запомнил.

Большинство институток быстро выросли и превращались в партийно-комсомольские кадры. Тон задавала Рая Ольшевец, постарше, из партийных проработчиц. Она играла роль Левинсона в этом разгрома. Спокойная, выдержанная. За ней тянулись Мечики.

У Люси Черной это выходило слишком нервно. Видимо, ломала себя. Перед выходом на трибуну, сминая в зубах одну папиросу за другой, она была похожа на Фаню Каплан из фильма Михаила Ромма «Ленин в 1918 году». И платье на ней было почему-то черное, и весь облик — слишком театральный; на языке того времени — мелкобуржуазный.

Память моя много потеряла. На авансцене остались две Раи, старшая (Ольшевец) и младшая (Либерзон). Начало и конец процесса. Младшая — напряженно прямая, словно аршин проглотила (где Оруэлл увидел этот аршин? Неужели в Испании?). С твердой, отточенной, умной беспощадностью в голосе.

То, что меня пугало в Рае, было сочетание фанатизма с умом. Главные проработчицы были рыловатые, а Рая выделялась четкостью, организованностью, логичностью речи. Чувствовалась и твердость характера (с этой твердостью Раиса Давыдовна потом и к диссидентству повернула). Все благородные коммунистические девицы пытались стилизовать революционных героинь, но очень немногим удавалось войти в роль. Рая действительно выглядела, как закаленная сталь. Я не сомневался, что в каких-то других отношениях она была другой, не стальной, и в чем-то, может быть, эмоциональнее меня: полюбила, вышла замуж... Насколько это пристойнее юности, чем воевать с бесконечностью, мучиться от наплывов эротических образов и одиноко бродить по коридорам. В своей памяти о прекрасных студенческих годах Рая по- своему права. Ее не мучили сомнения. Она была за правду — дружила с исключенной из рядов Агнессой и получила строгий выговор за защиту Ёлки Мураловой. Но это в частном случае, когда жертва Молоху вызывала общий стон, когда при проведении правильной генеральной линии случались отдельные ошибки. В общих же вопросах Рая не колебалась. И от этого ей было легче жить, а мне труднее. От ее интеллектуально отточенного фанатизма мне становилось не по себе, а ей казалось, что она плывет на бригантине, непримиримая к злу и лжи (двурушничеству), а за добро готова вступить (как за Елку Муралову). «Пьем за яростных, за непохожих.»

Идеология тридцатых годов вообще стилизовала ярость революции (помню передовицу «Известий» под Новый год — 37-й или 38-й, — сравнивавшую не то прошедший, не то наступающий год с 1917-м). Я прочел это с сомнением. Рая, видимо, с верой... И конечно, не только она. И вот девочки вылезали на трибуну и стреляли по мишеням — по Троцкому, Зиновьеву (которые в эти годы воспринимались уже не как люди, а примерно как баба-яга или кашей бессмертный). И поддерживали общую атмосферу безумия, какой-то эпидемической паранойи. И в этой атмосфере

какие-то товарищи и подруги могли ловить неосторожные слова Ёлки и строчить доносы.

*Мы*, в котором твердо чувствовали себя западницы, в моих глазах постепенно теряло человеческий облик, становилось маской, за которой шевелилось что-то гадкое, липкое. Я не мог тогда назвать это что-то, не знал его имени. Сейчас я думаю, что в 1937-1938 гг. революционное *Мы* умерло, стало разлагающимся трупом, и в этом трупе, как черви, кишели *Они*. Те самые, имя которым легион.

Они буйствовали и в 1917-м, и в 1918-м. «Расшумелись, разгулялись бесы по России вдоль и поперек.» Но была и поэзия. Был человеческий размах, способный вдохновить «Двенадцать», «Скифов», «Северовосток». Был взрыв энергии, напоминавший других полудемонов, воспетых Пушкиным (Петра, Пугачева). А в 37-м от всего этого осталось только одно: размах заплечных мастеров. Который ни одно человеческое сердце не мог вдохновить. И который даже с точки зрения государственного разума вышел за все рамки. Задним числом можно доказывать что угодно, но непосредственно это был прямой выход наружу каких-то преисподних сил, упоения доносом ради доноса, пыткой ради пытки, расстрелом ради расстрела. Опять вспоминаю здесь уиц-раоров Даниила Андреева, питавшихся гаввахом — излучением человеческих страданий — и старавшихся вести дело так, чтобы гаввах было побольше. Через свое «человекоорудие» — Иосифа Сталина, которому они непрерывно поставляли энергию.

Осознать это до конца *тогда* я не сумел. Но запах нравственной мрази чувствовал, и многие чувствовали. А благородные коммунистические девицы не чувствовали. У них был здоровый коллектив, кружковое мы, сливавшееся с тем макетом общегосударственного *Мы*, который уже почти не обманывал, почти не скрывал прятавшиеся за ним хари.

Примерно 40 лет спустя я снова увидел Раю, Раису Давыдовну, на трибуне — на кафедре конференции в Музее Достоевского. По-хорошему волновалась, чтобы «не унизить идею». Никакого металла ни в голосе, ни в позвоночнике. Я как-то сразу этому поверил. Так же как инстинктивно шараялся от Раи в 37-м. Редко когда женщина под 60 симпатичнее, чем в 20. Почему она, такая умница, очень поздно, так поздно поняла мерзость всего, что делалось? Отчасти именно от ума, от перевеса рационального, идейного, от скованности нравственной интуиции. И от товарищеской спайки, от комсомольского мы, которому она отдалась, от непривычки жить и думать самому, ни на кого не опираясь, без чувства локтя — беспомощным гадким утенком. Чувство фальши было мне, может быть, дано за мою гадкоутеночность, за постоянное прислушивание к себе, за раздвоенность и сомнения. Или наоборот: раздвоенность и сомнения шли от столкновения чувства фальши с идеологическим макетом? Не знаю. Но я чувствовал фальшь стандартных идей и от этого очень медленно складывался. Я расплачивался за свое чутье долгой, десятилетиями длившейся, незрелостью, внутренним брожением и рефлексией. Из-за этого у меня почти не было юности. Вернее, она пришла ко мне, вместе с

любовью, очень поздно, на четвертом десятке. А до этого я все складывался, все в себе проверял, испытывал, рефлексировал.

*Блажен, кто смолоду был молод,  
Блажен, кто вовремя созрел...*

И больно тому, кто созревает не вовремя, медленно, спотыкаясь. Но безболезненный путь к прозрачному *мы*, сквозь которое светится *Я*, — редчайшая редкость. Что-то вроде дара Моцарта. Нормальное «мы» непрозрачно. И поэтому Рая даже не чувствовала угрызений совести за свои институтские годы — они казались ей романтически прекрасными. Мы с ней говорили об этом. Она очень удивлялась, как выглядела тогда в *моих* глазах.

Впрочем, все меркло, когда выступали настоящие кадры. Философский факультет был политказармой, западное отделение литфака — институтом благородных девиц; русское отделение стояло посредине. Кадры на нем водились: Иван Серегин, будущий директор института молодых дарований им. Горького; Иван Богомолов, будущий генерал ГБ; Валя Карпова — будущий замдиректора издательства «Советский писатель». Теперь наступил их звездный час.

Часть комсомольцев отмалчивалась. Что-то подсказывало, что клеймить беспечность и требовать суровой бдительности противно. Часть считала нужным отметить, поставить галочку: Фима Глухой, Володя Борщук, Жорж Терентьев (зря старался: погиб на войне), Витька Озеров (этот — не зря: стал редактором «Вопросов литературы»). Но всех затмевали три уroda: Серегин, Богомолов и Карпова. Может быть, они болели и пропускали собрания, но в моей памяти присутствуют всегда. Серегин — почти молча. Он связать трех слов не умел никогда, ни на экзамене, ни на трибуне. Тройку получал после трех заходов за упорство и партийность. Речи его напоминали мне брата Фредона (из Рабле): Сжечь. Сжечь. Сжечь. С большими паузами между каждым односложным речением.

Богомолов был эмоциональнее. В общежитии он как-то привязал веревку к кровати парня, нелегально спавшего со своей девушкой, приотворился спящим — и в самый интересный момент дернул за веревку. Кровать обрушилась. То-то смеху! Когда он требовал бдительности, через его редкие зубы брызгала слюна.

Валя Карпова почему-то тоже была редкозубой. Говорила, как плевалась. Кроме того, что-то вроде двойного подбородка раздувалось у нее, как зоб, придавая ее лицу, возмущенному беспечностью, сходство с некоторыми змеями или Медузой-Горгоной. А все трое — поистине чудовище обло, озорно, огромно, с тризвонной и лаей (стих Тредьяковского, перепутанный Радищевым; Тредьяковский имел в виду Цербера, пса с тремя зубастыми лающими пастьями).

Я совершенно не помню, как эта машина меня жевала, какие говорились слова. Говорилось, что положено, и принималась положенная

резолуция. Другое дало — проработка доклада о Достоевском. Дело неожиданное, установок не было. Здесь я помню каждое слово и каждый свой ответный жест. Как аспирант Шамориков сказал: «Если даже Горький ошибался, нам об этом не следует говорить». Как я встал, не в силах вымолвить ни слова, и вышел в коридор, громко хлопнув дверью. Как за мной выскочила аспирантка Сусанна Альтерман. Как через некоторое время, проголосовав за резолюцию и сославшись на занятость, выскользнул Дм. Дм. Благой<sup>8</sup> и, проскальзывая мимо, произнес что-то полусочувственное (я не знал тогда «Четвертой прозы»: «Митька Благой ходит на цыпочках по кровавой советской земле...»). Но он именно проскользнул на цыпочках).

Даже заведующий кафедрой, Александр Михайлович Еголин, вел себя не совсем стандартно. Через месяц или полтора я сдавал ему литературу второй половины XIX века. Разумеется, не по лекциям: Еголин говорил бессвязными и бессодержательными обрывками предложений. Словно бляял. Но мстительности в нем не было. Хлопок дверью пропустил мимо ушей. Утвердил оценку 4 за мой антимарксистский доклад. И теперь, когда я приготовился отвечать по билету, Александр Михайлович сделал отстраняющий жест рукой (мол, что я буду вас спрашивать по форме?) и спросил: «Скажите, почему вам не нравится “Что делать?” Чернышевского?». Я ответил, что это очень скучный роман. «Но “Обломов” тоже скучный», — возразил Еголин. «Что вы!» — воскликнул я и произнес панегирик эпическому стилю Гончарова. Александр Михайлович выслушал меня, взял зачетку и поставил оценку 5.

Впоследствии он работал в ЦК и был (с сохранением должности в Москве) назначен проконсулом в Ленинград травить полублудницу Ахматову. Это задание Еголин выполнил с усердием, попутно заработал несколько десятков тысяч и в конце концов погорел, оказавшись акционером подпольного публичного дома. При другом режиме он был бы банщиком или половым в трактире и прожил умеренно честную жизнь (разве что попался б на мелком воровстве). Лидия Корнеевна Чуковская ошибается: Еголин не казался добродушным, он действительно был добродушен. Это первый случай, когда я столкнулся с *рылом* (ср. эссе «Квадрильон»). Если бы ему приказали сожрать меня живьем, сожрал бы, только косточки похрустывали б. Но приказа не было. Случай был нестандартный. И вот выплыло добродушие.

В предписанной ситуации никаких таких личных зигзагов не было и быть не могло. Холодный государственный ритуал, с наигранным пафосом у кадров и чувством душевной грязи и скуки у заднескамеечников. Только один раз мне захотелось выступить по персональному делу, и то не пришлось.

Исключали за потерю бдительности Агнесу Кун. Секретарь сообщил, что на заседании бюро подруги Агнесы, Аня Млынек и Фрида Шульман, заняли неправильную позицию, выступив против исключения. Потом

---

<sup>8</sup> Будущий академик. На третьем курсе я занимался в его пушкинском семинаре.



вышла Агнеса. Она всегда держалась как королева, и это меня отталкивало. До того, как ее стали исключать, я на нее и смотреть не хотел. Вообще я к дочкам великих людей не подходил. Я, как господин Голядкин, сам по себе. Но Ёлка Муралова мне нравилась, она была простая и нежно-веселая. А на Агнесу смотреть противно, как она стоит мраморным изваянием, а вокруг нее подобострастно извивается Фрида Шульман. И вдруг я увидел королеву в тюрьме, Марию Стюарт перед судом. Глядя на Агнесу, я почувствовал, как нам всем не хватает жеста, осанки человеческого достоинства. С какой-то спокойной горечью Агнеса сказала, что об отце она ничего не знает, он о своих коминтерновских делах дома не рассказывал, что органам она доверяет, — словом, говорила, что положено. Но важно было не что, а как. Тут был не макет «мы», не условность, которая держалась только на страхе. Чувствовалось, что это *мы* неотделимо от ее *я*, что она глубоко, серьезно, лично жила в преданиях революции, партийной этики и т.п. Это был анахронизм. Такой же, как кожаная куртка (когда мы подружились с Агнесой, она мне рассказала, что до самого замужества ходила в косоворотке и кожаной куртке и очень нехотя переделалась в обыкновенные платья, кофточки и юбки). Но здесь, на лобном месте, незримая кожаная куртка очень ее красила. Красная королева. За что ее исключать? Только потому, что за бухгалтера положен выговор, а за Белу Куна исключение? Шаблон столкнулся с личностью, и мне казалось, что нелепость шаблона очевидна, всем очевидна — и всех можно увлечь, опрокинуть шаблон. Я готов был броситься в бой, как Порция против Шейлока, и не допустить, чтобы из Антонио вырезали фунт мяса. Удерживало то, что формально мы не были знакомы, я почувствовал Агнесу за две минуты. Моя интуиция — не аргумент. Пусть сперва выступят Аня и Фрида — я их поддержу.

Аня и Фрида выступили — и ото всего отреклись. Я повесил голову: наперекор подругам, знавшим Агнесу, я, не промолвивший с ней ни слова, выступать не мог. Только выходя, сказал Семе Беркину, что охотнее поднял бы руку за избрание Агнесы в вузовский комитет. Он удивленно посмотрел на меня и сказал что-то предостерегающее. Я ответил в стиле Долорес Ибаррури: лучше три года сидеть, чем всю жизнь дрожать.

Мы никогда не были дружны с Семкой, чего ради я с ним откровенничал? Но ведь мы учились в одной школе. И я был уверен, что мальчишеская этика продолжала действовать. Что рассказать о моих словах так же невозможно, как нафискалить учителю.

Через несколько дней Агнеса зашла в Комитет ВЛКСМ и заявила, что ее бывшие подруги Аня Млынек и Фрида Шульман ведут себя неправильно. Если они считают ее врагом, то пусть присмотрятся, чтобы разоблачить. А если нет, то чего они боятся? (Чего вообще люди в 37-м боялись? Честных людей ведь не сажали.) Ошеломленный комитетчик вызвал Аню и Фриду и дал им взбучку. Они приползли к Агнесе. Агнеса Аню простила, а Фриду прогнала. Почему — она мне не объясняла. Воля королевы — высший закон. Аня с тех пор сидела у ног Агнесы, как котенок.

Другой подобной истории я не знаю. Но меня поразило не это и не какой-нибудь иной поступок, а внутренняя убежденность и осанка. Т.е. то же, что я почувствовал на лобном месте: Агнеса очень серьезно относилась к своему комсомольскому долгу — поставить решение Партии выше собственных чувств. Но ни капли не теряя собственного достоинства и тех самых чувств, выше которых она становилась. За призраком коммунистической морали вставали века европейской культуры.

Агнеса родилась в 1915 году и после поражения венгерской коммуны росла в Москве. Говорила по-русски, как в Малом театре, но с едва заметным акцентом. Дома разговаривали по-венгерски. Кусочек особой, коминтерновской Москвы, не уваривавшейся в одну советскорусскую кашу с единственным (русским) языком и единой верой в советский Третий Рим. В этой коминтерновской Москве Революция оставалась Революцией (с прописной), золотым будущим, а не начавшим забываться прошлым, и европейцы оставались европейцами. Что-то покоряющее в Агнесе было от этого, от высокой лексики Революции, уходившей корнями в Робеспьера и еще дальше — в Корнеля. Любовь и долг. Долг может победить любовь. Любовь может победить долг. Все равно: дело не в том, что, а в том, как, в трагической красоте. Не наигранной, совершенно естественной. На лобном месте мраморная статуя ожила (Агнеса была болезненно бледной, чуть рыхловатой для своих 22 лет; темные глаза на белом лице в раме темных волос). Я был потрясен.

Мы стали здороваться, но прошло несколько месяцев, прежде чем я зашел к Агнесе на Воздвиженку, в комнату с остатками коминтерновской, красного дерева, мебели (реквизированной в 1918-м у буржуев). За это время посадили и мать, и Гидаша. Не помню, с чего начался разговор. Но лед раскололся, когда я сказал, что не выношу эротических сцен у Гоголя. Агнеса горячо меня поддержала. По ее словам, Лев Толстой пишет об этом, вспоминая испытанное счастье; а Гоголь да еще Горький будто в щелочку подглядывают. Вот с этого мы вдруг стали совершенно откровенны. Я сказал, что мои любимые слова — холодное пламя. Агнеса ответила, что ее — сдержанная страсть. Вероятно, эти слова для нее имели и несколько иной смысл, чем для меня, не чисто внутренний, но тогда было чувство, что мы совершенно поняли друг друга. На волне откровенности перешли на политику. Я сказал, что Сталин испугался заговора и решил лучше перебить 100 невинных, чем оставить одного человека, который может его убить. По контрасту хвалил Ленина, велевшего пощадить Фаню Каплан (мы все верили в эту легенду). Агнеса тоже говорила неосторожно; подробностей не помню, но после ареста мужа и матери она и в виновность отца больше не верила. Сейчас он посмертно реабилитирован, и его именем названы несколько улиц. А потом история позвала его на новый суд: за расстрел офицеров, сдавших на честное слово в Крыму, в 1920 году. Знала ли это Агнеса? Если знала, то оправдывала. Нравственно то, что нужно Революции...

Я вышел как на крыльях. Два месяца не заходил, чтобы не влюбиться. Удерживали две вещи. Не мог даже думать о любви женщины, у которой

жив и сидит в тюрьме любимый муж. Табу. А любить молча, ничем себя не выдавая и не смущая ее, — боялся. Боялся страданий безответного чувства. Одного первого или одного второго не хватило бы, но вместе — хватило. Через два месяца зашел, проговорили часа полтора, сразу же пошел прежний ток. Еще 20 дней не заходил, потом зашел и почувствовал: всё, мое влечение к Агнесе уложилось в русло, которое одобряла совесть. Год или два спустя Агнеса сказала тоном взрослой: я иногда думаю, как такие ребята, как ты или Нема Кацман, полюбят? Я промолчал.

Бедная Нина Витман, рыженькая, с заплаканными глазами — мне было жаль ее и жаль ее отца, арестованного, наверное, просто потому, что он немец, но Нина, рыдая твердившая, что отец невиновен, не потрясла, не захватила меня. Слезы, слабость. А в Агнесе была сила, покорявшая, захватывающая. Было то, что я мог полюбить. И все же не мог желать, чтобы она изменила своей любви. Я твердо захотел дружбы. Мы стали друзьями. Агнеса в моей памяти полулежит на огромной кровати («эпохи удушения Павла», как тогда шутили). Она часто была нездорова. В руках синий однотомник Блока, изредка том Ленина. Девушки залезали к ней под одеяло: Аня Погосова, Аня Млы-нек. Я и Нема Кацман сидели в креслах. Агнеса превосходно выбирала и читала стихи Блока, я полюбил Блока из ее уст. И Тютчева она мне показала другого, интимного, мимо которого я проскочил, заучивая наизусть про бездны. Словом, Агнеса меня развивала; а я ее никак не мог сдвинуть. Она как-то очень крепко сложилась, в свои 22 года. То, что опрокидывало, она не пускала внутрь (оборотная сторона ее законченности и верности себе). О двух решениях проблемы бесконечности она сказала: первое — объективный идеализм, второе — субъективный. В докладе о Достоевском ее тоже что-то не устраивало. Как я потом понял — переключка с лукачевским тезисом, что реакционные идеи могут быть плодотворными. Всё лукачевское было у Агнесы на подозрении (семейная традиция: Бела Кун когда-то повздорил с Дьердем Лукачем). Кроме того, Агнеса надеялась, что Фадеев вытащит из лагеря Гидаша, и внутренне настраивалась на симпатию с ним, с его идеями, с его людьми. Иногда до пошлости. Например, повторяла (кажется, со слов Евг. Книппович), что «у старушки (Елены Феликсовны Усиевич) страсти кипят»: иначе мол нельзя объяснить, почему она расхваливает Андрея Платонова (улыбка и пожатие плеч). Видимо, талант Платонова очень раздражал Фадеева<sup>9</sup>.

Платонова я как следует не знал и пропускал филиппику против Елены Феликсовны мимо ушей. Но за идеи Достоевского вступался отчаянно. (Да оглянитесь кругом. Кровь льется рекой... стоит ли всего этого будущая гармония?)<sup>10</sup>.

Увы, сбить Агнесу было невозможно. Я вздыхал — и мы снова читали

---

<sup>9</sup> Говорят, что он за Платонова нагоняй от Сталина схлопотал.

<sup>10</sup> Есть предание, что подобные разговоры вел с отцом Агнесы Максимилиан Волошин. Бела Кун предложил ему вычеркнуть из списка на расстрел каждого десятого. Тогда-то Волошин и увидел «в кровавых списках собственное имя».

Блока. Раз приняв человека, я принимал его целиком, со всеми его вкусами, страстями и пристрастиями.

Между тем, Достоевский всё больше захватывал меня. Так вышло, что я залпом прочел его всего за год и в заключение — «Записки из подполья». Эвклидовский разум был опрокинут, полетел вверх тормашками. Я пытался встать и прокомментировать «Записки» так, как Гегель — «Племянника Рамо», и восстановить права разума. Но в ходе борьбы Достоевский всё больше и больше укладывал меня на лопатки. Разбор «Записок» (сожженный в 1950 г. при окончании следствия как документ, не относящийся к делу) отодвинулся на задний план, предисловие разрослось на 50 страниц и получило самостоятельное название: «Методология творчества Достоевского». Это была не методология, а лирическая апология. Руководитель семинара, проф. Глаголев, пытался остановить меня, цитируя Щедрина, Горького и самого Ленина. Я дополнил «Методологию» несколькими страницами, доказывая, что и Щедрин, и Горький, и сам Ленин Достоевского не понимали.

После хлопка дверью на кафедре русской литературы меня вызвали в вузовский комитет. Секретарь (кажется, его звали Микулинским), эдакий Лихач Кудрявич, обрадовался, увидев меня воочию, и сказал: «Я вижу, нормальный парень. Думал, какой-то мрачный тип». Ему, по-видимому, казалось, что увлечся Достоевским может только шизофреник. Я ответил улыбкой на улыбку и стал излагать свою точку зрения. Но не тут-то было! Микулинский поминутно вскрикивал: «Не путай!». Ясным для него были только установки — как бы они ни противоречили друг другу или установкам вчерашнего дня. У него был образцовый аппаратный ум (как назвал это впоследствии Леонид Ефимович Пинский). Я вспомнил Микулинского, когда прочел мо

ральный кодекс строителя коммунизма. Образцовое создание аппаратной музы...

Видимо, тогда же было дано указание следить за мной, и Сема Беркин стал записывать мои высказывания, а иногда прямо провоцировал на крамолу. К счастью, его доносы шли к Яше Додзину, заведующему спецчастью, а Яша как-то затормозил их действие. Этот официальный резидент органов был хороший человек, с естественным нравственным чувством, не поддавшимся общему безумию. Его заваливали доносами, но арестов среди студентов почти не было (почти — по тем временам; человек пять на факультете посадили). Побеседовав с Агнесой, Яша поверил в нее и доверял всем ее суждениям. И вот Агнеса сказала мне, с удивлением, что Яша расспрашивал обо мне. Потом то же самое говорил мне Леонид Ефимович, сосед Яши по общежитию, игравший с ним в домино. Я отнес оба сообщения к волне, вызванной моим докладом, и пожал плечам. Только в 1950 году, на Лубянке, выплыли записи Семы и стало ясно, что Яша подбирал, для равновесия, какие-то положительные характеристики. Доверие Яши хорошим людям притормозило мой арест лет на 10. Посадили меня только за три года до смерти Сталина; я вышел живым и здоровым. Вернувшись в Москву, несколько раз видел Яшу на улице (он перешел на другую службу, работал цензором). Каждый раз, встречая меня, Яша улыбался и молча протягивал свою изуродованную где-то в юности руку; я ее молча пожимал. Разумеется *разговаривать* с ним было бы невозможно. Но на своем месте, дававшем столько возможностей увеличить размах зла, он старался сдерживать его. Такие люди не удерживались в органах. Либо они отсеивались, либо их уничтожали<sup>11</sup>.

Вернемся, однако, назад, к маю 1939 года. Мне непременно надо было найти сочувствие своей заклеванной и заплеванной работе, которую я писал «со страстью, почти со слезами» — почти как Достоевский «Бедных людей». Я подошел к Леониду Ефимовичу, рассказал о скандале и попросил его прочесть доклад. Через несколько дней Пинский сказал мне, что и ему, и его другу, Владимиру Романовичу Грибу, работа понравилась и Владимир Романович берет на себя руководство моей новой дипломной работой «Бальзак и Достоевский». Бальзак — это было понятно: чтобы ускользнуть от Еголина и Глаголева. Но почему Гриб? Я его лекций не слушал (он читал на западном). Только через 36 лет, в поезде Феодосия-Москва, покойная Лиля Маркович мне рассказала, что Владимир Романович, прочитав мою работу, не мог заснуть и в 5 часов утра, до метро, пришел пешком с Поварской на Усачевку и попросил уступить меня в ученики. Лиле об этом рассказал Пинский; мне он этого не сказал, чтобы не будить тщеславия.

Я пришел на Поварскую, знакомиться с Владимиром Романовичем. Он запаздывал, а во дворе уже начали собираться друзья — праздновать окончание учебного года. В конце концов, Гриб пришел, но беседовать

---

<sup>11</sup> Интересные воспоминания о Я. Додзине написала Н.Г. Елина. Я был не единственным, кого он спас.

было поздно; и меня пригласили вместе со всеми в ресторан, на крышу гостиницы «Москва». За столом я оказался между Пинским (слева) и Грибом (справа) — единственный смертный среди олимпийцев. Пинский читал барочное, как он сказал, стихотворение: «как ножки циркуля вдвоем с тобой мы связаны, мой друг...» (что-то подобное — видимо, в другом переводе — я прочел потом у Джона Донна). Гриб говорил, что хорошее вино должно пахнуть, как цветы. Я вглядывался и вслушивался. Мелочей не было. Все было важно. Утенок попал на лебединое озеро.

Не знаю, через сколько дней (или месяцев) состоялась первая беседа (учебный год кончался. Встреча могла быть или в июне, или в сентябре). Но твердо помню на столе томик Марка Аврелия, «Мысли наедине с собой», в издании Сабашниковых. Сразу подумал: значит, нашу эпоху можно принимать только стоически.

Владимир Романович задал мне какой-то вопрос и замолчал. Я проговорил два или три часа, он слушал. Иногда, движением губ, жестом, изредка одним словом давал мне почувствовать, что я заврался (увлекся каламбуром, натянутой аналогией и т.п.). Я мгновенно чувствовал, что он прав, что мысль выскользнула из глубины на поверхность. Я иногда прямо вижу мысли в пространстве, как пучки линий, расходящиеся в стороны. Трудность заключается в том, чтобы выбрать, по какой линии лучше пойти. Сплошь и рядом запутываешься и только через несколько дней видишь ошибку. Гриб снимал эту трудность, я в его присутствии мыслил начисто, без черновиков. Выходя, мне казалось, что я поумнел на целую голову; без Гриба я снова глупел.

То же самое повторялось во второй и в третий раз (всех бесед было три). Потом я прочитал у Сведенборга, что ангелы говорят без слов, одним движением губ. Я никогда не видал ангелов, но Владимир Романович разговаривал со мной именно так. В течение всех трех бесед мой научный руководитель вряд ли сказал больше 10 или 15 слов (я не считаю, конечно, «здравствуйте» и т.п.). И слова значили не больше, чем движение руки или губ, именно бессловесность отклика давала возможность не застревать на искажениях мысли, неизбежно связанных со всяким словом. Я мгновенно чувствовал, что сбиваюсь в сторону от фарватера, и вырубивал поглубже.

Так слушать, как Владимир Романович, мог только человек абсолютно бескорыстный, совершенно свободный от желания сказать своё, ставший одним: слухом. Про такого слушателя есть притча у Чжуанцзы, об игроке на цине, сломавшем свой инструмент, когда абсолютный слушатель умер. Владимир Романович на всю жизнь остался для меня недосягаемым примером. Я пытаюсь следовать ему и в разговоре с другими, и во внутреннем разговоре с собой (именно тогда я впервые понял возможность глядеть с птичьего полета на потоки своих слов, разбегающихся в разные стороны). Но мне это редко удается.

Сблизившись с младшими лукачистами, я внимательно прочел все, что написали и старшие, т.е. Лукач и Лифшиц. Личного сближения, однако, не произошло. Видимо, Лифшицу странной показалась бы сама идея — читать работу «ученика своего ученика». Эта формула всплыла в 1966 году, когда

«Литературка» опубликовала мой отклик на его статью «Почему я не модернист» — и яростный ответ: «Осторожно, человечество» (где я был назван пособником фашизма). Какие-то физики захотели устроить диспут. Я сказал: не выйдет, откажется. Через час мне со смехом подтвердили: «сказал, что не может диспутировать с учеником своего ученика».

При таком безграничном высокомерии Лифшиц прятался от жизни так же, как все обыватели, только на более философский лад. В декабре 1945 г. я навесил его в Ленинграде. Он с деланным бесстрашием говорил о каких-то великих исторических процессах, при которых искусство, философия и евреи неизбежно должны пострадать (евреям тогда уже не светило, и Михаил Александрович кончал военную службу в звании капитана). Я почувствовал его готовность примириться с любыми мерзостями, — сохраняя при этом брюзгливую уверенность, что всё разумное действительно и всё действительное разумно. И только он, Михаил Александрович, остается обладателем этой истины.

В 1939 году разрыва между Лифшицем и его учениками еще не было, но трещина уже прошла. Всем, кто не перестал мыслить, неудержимо захотелось подвести итог: что же изменилось за пять лет. Помню свою тогдашнюю фразу: всех умных людей пересажали, одни дураки остались. Снижение интеллектуального уровня бросалось в глаза и, может быть, еще больше — снижение нравственного уровня. После пяти лет борьбы за идейность все повторяли: моя хата с краю, ничего не знаю. Это очень сказало в начале войны.

«Некоторые благородные люди, — говорил Пинский (я почему-то подумал: Гриб!), — относятся сейчас к идеям социализма, как герой Кальдерона к кресту. Ничего не осталось, кроме символа. Факты по-минутно опровергают его. Но может быть, символ спасет вопреки фактам?»

Миф о человеке будущего трещал по всем швам. В 1934 году съезд писателей и «съезд победителей» разлили среди интеллигенции какую-то эйфорию. Почудилось, что эксперимент удался, и вставал призрак нового Ренессанса, призрак всесторонне развитой личности, ответившей на вызов времени, и мираж «бесконечного развития богатства человеческой природы»... Пять лет спустя невозможно было вспомнить это без сарказма. Мы очнулись от лихорадки страха в смиренной рубашке.

«Наша родина — маяк социализма, — повторял Пинский. — Так написано на всех стенах, и это верно. Но где ставят маяки? Там, где скалы, где подводные рифы, куда плыть нельзя!»

Новому настроению никак не отвечала Телемская обитель. Разочарование в (реальном) социализме отталкивало и от Ренессанса. Леонид Ефимович с каким-то болезненным наслаждением всматривался в Испанию XVII века, с ее распухшим бюрократическим аппаратом, сном о всемирной империи и неудержимым движением к тупику и развалу. Это была Испания гротескная, саркастическая, сатирическая — без мистической веры, согревавшей Кальдерона или Эль Греко. От возвращения к Богу Пинский был тогда бесконечно далек; но уже начинался духовный кризис, который в

конце концов вернул ему жажду Бога.

Собственно, этот кризис начался ещё раньше, и гуманистический миф, обновленный Лукачем и Лифшицем, был только отдыхом на пути в Египет. В самом начале нашего знакомства я спросил Леонида Ефимовича: «Почему вы, такой убежденный марксист, не член партии?». Пинский насупился, помолчал и потом медленно, глуховатым голосом, стал рассказывать. В начале 30-х годов он был мобилизован в многотиражку, освещать ход коллективизации. По какому-то делу зашел в деревню возле Балты. Его поразило, как там тихо. Не брехали собаки, не кукарекали петухи. Стал заходить в хаты — там кое-где хрипели в агонии дети или старики. Все, кто мог, ушли — выпросить, украсть, заработать кусок хлеба. Этого ни забыть, ни простить нельзя было...

Все время, которое я знал Пинского, больше сорока лет, он бился, как лев, в клетке, которую сам себе построил. И после мертвой деревни возле Балты и после кошмара 37-го года он еще долго сохранял верность идее — решительно отрицая опыт ее применения. Сперва — оставаясь один, потому что друзья закрывали глаза и не имели мужества смотреть в лицо страшному, потом — оставаясь один, потому что друзья привыкли к обойме Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин и выкинули ее сразу всю. Наш исторический опыт, — говорил мне Пинский, — один из черновиков истории. Почему надо думать, что новый строй сразу найдет свою форму? Капитализм возник после нескольких черновиков. В Италии он провалился, а потом процесс начался заново в Голландии, в Англии.

Пинский не выходил из кризиса полвека. Это было мучительно, как медленная казнь. Расставание с верой всегда тягостно. А марксизм мог быть верой и верой благородной. Я этому свидетель. Я видел заход кровавого солнца революции, восход которого когда-то приветствовал Гегель.

Кажется, никто из теченцев, кроме Гриба, не шел тогда, в 1939-1940 году, рядом с Пинским, не решился назвать кошку кошкой и мерзость мерзостью. Но Гриб (насколько я угадываю) переживал кризис иначе. Он умел молчать и слушать и непременно пришел бы к созерцанию вечности *сквозь* время. В Грибе было что-то от зеркала воды, в котором тихо отражается солнце. Я убежден, что он ушел бы от отчаяния в тишину. А Пинский был гений мятежа, вечно что-то сжигавший, испепелявший, и сам не перестававший гореть в своей жажде истины. Он остается в моей памяти, как уголь в груди, как дух огня. То, к чему он в конце жизни пришел, — скорее сознание бесконечной, превосходящей человеческие силы и ум глубины кризиса, чем чудо покоя по ту сторону бури. Человек узнал, как он ничтожен, и в этом познал Бога.

Но я опять забегаю вперед. Распад течения завершился в 1956-м, когда и Лукач отошел от Лифшица (захватили венгерские страсти). В 1939-1940-м, в споре с Фадеевым, все еще были вместе, и я вместе со всеми, несмотря на мои ереси: захваченность Достоевским, любовь к иррациональному и к новой западной живописи, которую Лифшиц презирал. Помню диспут в 15-й аудитории, вмещавшей весь факультет. Против лукачистов выступала



Евг. Ковальчик (закрытый референт<sup>12</sup> свиты Фадеева), Тимофеев и еще кто-то. Им отвечал Пинский. Он был очень мрачен, смотрел исподлобья. Накануне был у него разговор с Лифшицем. «Неужели вы верите в победу?» — спросил Пинский. «Да», — отвечал Лифшиц. «Можете ли вы мне привести хоть один пример, когда дискуссия кончалась против воли ЦК?» Примеров не было, но Лифшиц, как Иван Ильич, считал, что только Кай смертен; а для него, Михаила Александровича, закон не писан. Пинский ждал разгромного постановления и всего, что за этим может последовать, но говорил он смело:

— Нас называют течением. Но что в языке противостоит течению? Болото...

Студенты яростно аплодировали. Не аплодировала только Агнеса. Она (чуть ли не единственная) хлопала Евгению Ковальчик. Я колотил Агнесу в глаза этой глистой в юбке, а она чуть не била меня по носу статьей Фрадкина о пособниках англо-французского империализма.

Дружба с Агнесой все же выдержала это испытание. Человек значил для меня больше идеи. Я писал Агнесе с фронта, получил ответ и зашел к ней после войны, приехав в отпуск (кажется, в январе 1946го), и вот эта встреча оказалась последней. Агнеса была неузнаваемо скованная. Словно от меня веяло морозом; она все время дрожала и не могла согреться. Я ничего не мог понять. Почти незнакомый мне профессор Григорий Осипович Винокур обрадовался, как родному, а старый друг мерзнет в моем присутствии. Почему? Внешне я был совершенно респектабелен. Гвардии лейтенант с орденскими ленточками и нашивками за ранения. Но Агнеса глядела в корень (тогда я этого не понимал, угадываю сейчас). Она не хотела возвращаться к прошлому. Она берегла свое счастье. Своим замороженным тоном Агнеса упредила вопрос, который я задал тогда же, в этот свой приезд, Вовке: Сталин обещал коммунизм в 1965 году. Что он этим хотел сказать? Свободное развитие всех и каждого? От каждого по способностям и т.п.? Вот с этими людьми? Которые по 13 человек валились на одну немку? Вовка поднял свою мефистофельскую рыжую бровь и ответил: к 65-му году он помрет, а как другие будут расхлебывать кашу, ему плевать...

Получив назад Гидаша (почти чудо в 1944 году), Агнеса не хотела вспоминать прошлое. Можно было еще 20 лет дружить с Раей. Рая была достаточно подтянутой. А со мной надо было порвать сразу же, профилактически.

Что здесь решило, только эгоцентризм любви, страх потерять свое счастье? Или еще один страх — камеры 101 (в Министерстве любви)? Чужая душа — потемки, но очень может быть, что ее напугали какие-то вещи, которых она в 1938-м не знала — и узнала позже. То ли в 41м (она ненадолго была интернирована), то ли со слов Гидаша (он побывал на Кольме).

Агнеса понимала и принимала диктатуру примерно как Маркс, в

---

<sup>12</sup> «Закрытый референт» писал обзоры «вверх», без публикации.

корнелевско-робеспьерском духе. Революция требует, чтобы Робеспьер казнил своего друга Дюмулена. Но революция не может потребовать, чтобы оппортунистов затолкали в отхожие ямы и засыпали землей пополам с дерьмом, — как повелел циньский Август (Цинь Шиху- анди). Революция не может потребовать, чтобы женщин сажали влагалищем на кол, как Мутьянский воевода Дракула, или на ножку табуретки, как сталинские следователи. Здесь проходит грань между римской республиканской диктатурой и деспотизмом. Маркс ее отчетливо сознавал, но никогда не обозначал, может быть, просто потому, что европейцу, получившему классическое образование, здесь все очевидно. Даже Ленин сохранял какие-то предрассудки, заимствованные из классической гимназии, и различал римских граждан (меньшевиков и эсеров, которых либо расстреливали, либо содержали в политизоляторах) и абсолютно бесправных контрреволюционеров, приравненных к восставшим рабам. Сталин, не изучавший Цезаря и Тацита, всех смешал с дерьмом (в этом, кажется, и заключалась его гениальность). И перед смрадной ямой Агнеса дрогнула. Она сознавала себя римской гражданкой. Она готова была взойти на эшафот. Но не быть заживо погребенной в сортире. Испуг лишил ее стилиа, который когда-то так поразил меня. Осталась только пустая Форма — инерция стилиа.

«Я, пожалуй, достойный человек, — говорит о себе Алексей Иванович в “Игроке”, — а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась Форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит».

В 1939-40 году дружба с Агнесой начала блекнуть. Я всё больше сближался с Пинским и Грибом. Но Гриба ждала ранняя смерть (он умер в марте 40-го от белокровия), а на Леонида Ефимовича и на меня самого и еще на миллионы людей копились бумажки в папках с надписью «хранить вечно». Лебединое озеро оказалось маленькой точкой в огромном заколдованном лесу, где правил злой гений. Величайший гений всех времен и народов.

## Глава 4

# Наплывы

Меня завораживало, захватывало великое. Но где оно? Великие люди не окружают тебя, не сидят рядышком. Я почти инстинктивно боялся запутаться в малом и сторонился всякой связи, которая могла остановить на дороге к великому. Может быть, это был здоровый страх, но рядом с ним, сплетаясь с ним, жил грубый эгоизм, страх жертвы, боли, ответственности. Мое сердце было заморожено.

Вдруг все смыло. Величие оказалось вовне, и оно позвало меня. Я одновременно стал ниже умом и шире сердцем.

Что-то решалось. Судьба Европы, судьба России, моя собственная судьба, судьба первого попавшегося соседа. И от этого знание, отделявшее от соседа, было сдуто в сторону. Даже затрепанные штампы на минуту ожили. 22 июня 1941 года Леонид Ефимович сказал: сейчас решается судьба рабочего движения на много лет вперед... Я удивился. Ни разу не слышал от него ничего подобного. Ни раньше, ни позже. Но война оправдывала штамп. Война требовала морально-политического единства жертвы со своим палачом. Ум сжался и влез в военный мундир. Зато сердце стучало, чувствуя рядом стук других сердец, и гудело от нарастающего восторга. Я совершенно перестал думать, насколько я умнее и смелее своих соседей, жующих сталинскую жвачку. Захватила и понесла вместе со всеми высшая воля:

*Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые...*

Это не гордыня, нет. Хотя я «заживо, как небожитель, из чаши их бессмертье пил». Тут не мое личное бессмертие. Я готов был хлебать его из одного котелка с двадцатью миллионами. Пространство чистой мысли разомкнулось, и я побежал в райвоенкомат.

В райвоенкомате мне предложили ждать повестки (рядовой необученный, ограниченно годный по зрению; в 42-м нормы пересмотрели, но я попал на фронт и был ранен еще до этого). Мне непременно хотелось что-то делать для войны, пусть самое простое. Я пошел в комсомольский комитет ИФЛИ, попросил взять меня снова на учет (накануне войны я снялся и прикрепился по месту жительства, как все лица без постоянной работы). Меня послали сперва подсобным рабочим на 24-й завод — там что-то строили, — потом охранять обувную фабрику. И вот тут охватили, захватили и унесли с собой лунные ночи. Затемненная Москва казалась городом-призраком. Где-то над этим огромным призраком гудели немецкие самолеты, то возникая в луче прожектора, то снова развоплощаясь. Какая-то жуткая, зловещая, вынимающая душу красота. Я

всегда потом говорил, что бомбежка, как великое искусство, не приедается и каждый раз смотрится заново.

Одна бомба упала в пяти шагах от меня. Я сидел, охраняя объект, прямо на улице. Стул трянуло, я подумал — от дальней взрывной волны. Утром заметил дыру возле тротуара. Вызвали саперов. Они выкопали большую яму; невзорвавшаяся бомба врезалась метра на полтора.

Страха не было. Было нарастающее волнение в крови, жажда выхода по ту сторону. По ту сторону чего? Не знаю.

И вдруг мне показалось, что я полюбил. Когда это началось? Может быть, в ночь первой бомбежки, когда я зашел к Мирре, застрял у нее, и через окно мы смотрели, как горит Москва. Мирра входила в компанию могэсовцев. Их было трое ребят, чуть постарше, окончивших семилетку до восстановления старших классов и учившихся один год в ФЗУ МОГЭС. Когда учрежден был 8-й класс, Лешка Эйсман, Борька Кологривов и Димка Лавровский поступили к нам, бросив ФЗУ, но долгое время держались особняком, подчеркивая свою варку в пролетарском котле (только в 10-м классе, подружившись с Лешкой, я узнал, что все они дворяне). Могэсовцы увлекались фотографией и торчали в фотокомнате; там с ними сидела обычно и Мирра. Она была влюблена в Борьку, страдала (он был влюблен в Тусю), я сочувствовал. Иногда приходил к ней домой послушать, как она брэнчит на фортепьяно. В 1934-м вышел на экраны «Чапаев» и потряс меня Лунной сонатой, которую играл белогвардейский полковник. Потом полковник кого-то порол шомполами, но играл он превосходно. Мирра кое-как исполняла мне ту же сонату. Кажется, ходили иногда вместе на концерты (уже после школы). Когда все школьные связи распались, дружба с Миррой почему-то уцелела. Скорее всего потому, что оба мы были довольно одиноки; а надо ведь, чтобы человеку было куда пойти.

Ни о чем умном я с Миррой не говорил, только о душевном. У нее был плохо подвешен язык. Уроки литературы, которые Иван Николаевич Марков превращал в школу красноречия, были для нее унижением. После косноязычного ответа всегда следовал вопрос: кто может дополнить? — и пошли греметь витии. А косноязычный, садясь за парту, чувствовал себя идиотом. При этом Мирра вовсе не была глупа; меня занимало ее умение разбираться в людях. Я был захвачен идеями и витал в облаках; а она мало смыслила в идеях и смотрела в упор на людей. Один из моих друзей назвал это потом женской микропсихологией. Словом, мы дружили, но было совершенно ясно, что дальше известной черты эта дружба не пойдет. И вдруг война поломала все черты.

Вдруг захотелось, чтобы кто-то ждал тебя; чтобы где-то рос ребенок и остался жить, если меня убьют. Я с удивлением почувствовал, что это томление, разросшееся в лунные ночи, окутало Мирру и сосредоточилось на ней. Она тоже удивилась и не отталкивала меня — я не был ей противен, — но медленно и неуверенно шла мне навстречу. Мы несколько раз поцеловались. Потом детская туберкулезная больница, где работала ее мать, получила теплоход для эвакуации. Я провожал их на речном вокзале... И «на минуточку ложь стала правдой», наплыв — настоящим

чувством, почти торжественным в дни прощанья. Я даже испытал потребность надевать свой единственный выходной костюм из материала, уступленного Японией в обмен на КВЖД. Такие минуточки, о которых писал Достоевский, тянутся иногда гораздо дольше минуты; бывает, что несколько лет; а в истории культуры — и побольше.

Летний наплыв продолжался в письмах. Я ждал каждого письма Мирры и сам ей усердно писал с фронта, из госпиталя. Но переписка плохо ладилась. Не помню, чего Мирра не понимала, на что обижалась. Но я вдруг почувствовал, что ей трудно настраиваться со мной в лад.

Между тем, начался другой наплыв. Над нашей палатой тяжело раненных шефствовала Жанна, 15-летняя девятиклассница, эвакуированная в Кинешму из Ленинграда. Мы быстро подружились. Я лежал с температурой 39,4 (ранагноилась), но голова была ясная. И вот Жанна обойдет для порядка всех, а потом садится возле меня, и я ей рассказываю о Шекспире. Наверное, складно, потому что она высиживала час, и полтора, и два, несмотря на густой запах гноя. Перейдя в палату выздоравливающих, я не мог высидеть с прежними соседями больше 10 минут.

Когда Жанне минуло 16, я уже порядочно ходил и пришел к ней в гости. Кажется, и еще раз сходил. Наконец, уезжая на фронт, на перроне, один раз осторожно поцеловал девочку. Словом, ничего не было. Но началась переписка, Жанна скучала, писала мне, что интеллектуальный уровень раненых сильно снизился, я что-то отвечал — и незаметно эта переписка стала вытеснять первую. Жанна лучше писала письма, чем Мирра. Через некоторое время мне показалось, что я люблю Жанну, а не Мирру. Я написал об этом сперва Мирре (объяснился в нелюбви); потом как-то объяснился и с Жанной. С этих пор я считал ее своей невестой и даже послал ей из Германии одну или две посылки (в Ленинград, куда она вернулась после эвакуации). Но в декабре 1945 г., приехав в отпуск, я вдруг увидел, что всё это только литература. Жанна готова была выйти за меня замуж (немного погодя; тут были какие-то расчеты), но совсем не рвалась навстречу, а просто ценила порядочность, с которой я вел себя в 1942 г. Вместо девочки, трогательно глядевшей мне в рот, была мелко рассудительная девушка, решившая свить гнездо. Мирра немедленно показалась мне ближе и роднее. Живая встреча с ней, по дороге в Питер, без всяких претензий к старому другу, вышла теплее, чем вымечтанная встреча с невестой. Вернувшись в свой гарнизон, я еще раз все обдумал и опять проделал в письмах операцию двойного объяснения: в нелюбви и любви.

Кончилось тем, что я женился на Мирре и прожил с ней три года — до самого ареста. Хотя это был даже не наплыв, а рецидив наплыва первых дней войны.

Сошлись два старых друга. Обоим не повезло в жизни. У обоих ничего другого не было (я демобилизовался с волчьим билетом и нигде не мог устроиться; у Мирры были свои трудности). Связывала нас какая-то щепоть нежности (от общих воспоминаний, от супружеской близости). В

одиначку нам было бы хуже. Но совсем хорошо нам не было. Мирра совершенно не понимала моих духовных порывов и ревновала к Пинскому, с которым мне действительно интереснее было разговаривать, чем с ней. А я ревновал ее к папе и маме, которые во всем оставались для нее образцом, так что в своей собственной комнатке я чувствовал себя гадким утенком, из которого никак не получается нормальный селезень. Настоящей любви не выходило, не срастались мы в один дух и одну плоть. И накануне ареста я думал, что надо нам тихо, без ссоры, расстаться.

Так в конце концов и получилось. Но не сразу. В тюрьме все начинают нежно любить своих жен. Люди мне исповедовались, какие они были нехорошие, как заводили любовниц и как теперь раскаиваются и любят своих жен гораздо больше друзей — и т.д. и т.п. Я слушал и думал: ну конечно, любовница не станет ждать 10 лет (и даже 8 или 5; меньше пяти не давали). А жена, пожалуй, подождет. Вот ты и настраиваешься на это ожидание. А потом выйдешь на свободу и возьмешься за прежнее (так оно и было в 9 случаях из 10). Я одновременно испытывал наплыв нежности к Мирре и сознавал, что это как у всех — флюиды тюремных стен. Всё-таки меня к Мирре очень тянуло. И это именно спровоцировало разрыв.

Я писал и передавал через своих родителей, что приезд женщины в лагерь не рассматривается как политика и не более опасен, чем переписка. Но Мирра и на риск пошла бы, если бы любила. Когда вернулся из лагеря ее отец, она в одном порыве пробежала из какой-то деревни до камской пристани 10 километров. Отца она действительно любила. А если не любишь, находится тысяча препятствий. Мать уверяла ее, что ехать опасно, что она сама не ехала и дочке не надо. Верность надо хранить в сердце. Мирра дала себя убедить и меня пыталась убедить, в письмах, что приезд на свидание — только чувственная прихоть. Я глубоко обиделся и несколько месяцев мучился сомнениями, порвать или нет. Наконец, собрался с духом и разрубил гордиев узел: решил к Мирре не возвращаться. Не нужна мне холодная верность.

Заодно я отрезал и *всякую* возможность женской любви. Мне, как моему отцу, это не дано. Но чувство собственного достоинства у меня сильнее, чем у папы, я не буду мириться с полулюбовью. Я обуздаю в себе страсти (помнится, я их действительно тогда обуздал) и буду доволен одной мужской дружбой.

И вот тут, когда даже мечты о любви были подавлены, загнаны в подсознание, запрещены, я неожиданно влюбился по уши, до совершенного забвения собственного достоинства и всего на свете. До того, что в иные минуты мечтал разрезать себе вены лезвием. Не сделал этого, но мечтал.

К нам на площадку подсобных мастерских выводили небольшую женскую бригаду (нельзя же было поручить мужчинам шить вольняшкам легкое женское платье; а раз выводили портних, то заодно и уборщиц). Контору убирала сперва Шурка Анисимова, а потом Айно, эстонка, сидевшая по 58-й. Как-то Айно заболела, и вместо нее вывели Ирочку, аспирантку-психолога. Срок ей дали за то, что не вовремя восхиталась

Ахматовой (ее подруга получила примерно столько же — лет 7 — за переписанное стихотворение Маргариты Алигер про евреев. Хотя ни Ахматову, ни Алигер не арестовывали). Так на подсобных появилась интеллигентная собеседница. У нее было то, что Бунин назвал легким дыханием: сравнительно с трескоедками<sup>13</sup>, ходившими как кариатиды; казалось, что она летит. И во всех движениях, в речи — что-то от взлетающей птицы. Лицо некрасивое, но загоравшееся, когда она рассказывала о южном городе, откуда была родом, о цветущих акациях и студенческой компании со всем, что в таких компаниях бывает: откровенные разговоры, бурные романы и т.п. А также о своих приключениях в аспирантуре с профессором Тепловым. Из этого скромного материала мое воображение соткало романтическую дымку. На другой день я почувствовал, что жду-не дождусь, пока Ирочка с ведром и шваброй приедет в контору или просто мелькнет в окно русский хвостик.

Великая богиня Майя не могла заморочить меня, если в женщине нет внутреннего огня — и если этот огонь не находит выражения в речи. Портнихи, которых выводили на площадку, два года мелькали перед глазами, не вызывая никаких чувств. Они существовали для меня только как *слабый* пол; я не позволял бригадиру мужской бригады, составлявшему рапортчику по портновскому цеху, обсчитывать их; но ни на одну я не заглядывался, и даже Шурка Анисимова никогда не узнала, как помогла мне в первые лагерные дни. Я восхищался ее неунывающим характером и думал: если Шурка, тянувшая второй срок (и первый, и второй — почти ни за что), может так весело принимать свою судьбу, то почему я, интеллигент, со всем своим духовным опытом, не могу этого? И смог. Но объяснять Шурке, что она сыграла для меня роль Платона Каратаева, мне никогда не приходило в голову. Хотя другого человека это вполне могло бы завлечь и его воображение создало бы из Шурки образ мудрой простоты, живой жизни и т.п. А потом накрутило все это на живую Шурку. Лицом она была не хуже Ирочки, а сложена (по словам одной из портних), как богиня. Но с Ирочкой мне было о чем разговаривать, а с Шуркой — не о чем. Не было того минимума реальной возможности сблизиться, на который могло опереться воображение. За два с лишним года ни одна женщина не перешагнула через этот минимум; Ирочка была первая, и ей достались все лавры. Я не успел оглянуться, как был влюблен. Если не с первого взгляда, то с первого разговора.

Месяц пролетел, как день. Мне довольно было видеть Ирочку, говорить с ней, — и на моем небе вставало солнце. Впрочем, к ней все хорошо относились. Когда она мыла цех, сапожники переставали материться (при Шурке — матерились вдвойне; она им отвечала тем же).

Потом выздоровела Айно. Меня попросили напомнить начальнику, что пора ее вернуть. Я не напоминал (подумаешь, специальность — пол мыть. Покантовалась Айно, пусть теперь покантуется Ирочка). Но эстонцы держатся друг за друга; один из эстонцев был у нас пекарем; видимо, он

---

13 Так называли местных жителей: архангельские трескоеды.

сказал начальнику то, что нужно было, да еще с намеком, что я саботирую, потому что влюблен (я об этом никому не говорил, но со стороны виднее). В один несчастный для меня вечер начальник вбежал в контору и отрывисто потребовал написать то, что в таких случаях писалось. Я написал, он подписал. Мы грустно простились с Ирочкой; на завтра ей надо было идти на общие.

И только в жилой зоне меня охватил порыв отчаяния и любви. Зачем я не отрубил себе руку, писавшую эту глупую бумагу? Или не убил начальника? Я, мужчина, остаюсь в конторе, а ей завтра тянуть какую-нибудь волокушу (это случалось не очень часто, работа на женском лагпункте была обыкновенная сельская, как в колхозе, но воображение рисовало самое мрачное). Ночью, обливаясь слезами, я написал свое первое письмо и утром передал его Айно. Еще несколько месяцев тому назад один из моих друзей, Женя Федоров, завел переписку с заочницей и попросил меня обеспечить тайну переписки (случайные почтальоны, вроде возчиц, были слишком любопытны). Я развернул списочный состав с установочными данными женской бригады: статья, срок, конец срока. У Айно оказалась подходящая статья: 58-12, недоносительство. С этих пор она передавала письма Жениной заочнице, польке, родившейся во Львове и осужденной по статье 58-1 (измена советской родине) за участие в Варшавском восстании против немцев. Теперь Айно передавала мои письма Ирочке.

На другой день пришел ответ. Я заперся в уборной и прочел его.

Ирочка была тронута и успокаивала меня, ей не так уже плохо. Я тут же передал новое письмо, еще более горячее. Переписка длилась несколько месяцев. Ирочка была совершенно честна: она признавалась, что письма ее захватывают, но никакой любви она не чувствует. Меня это не останавливало. Любовь переплелась с сочувствием, состраданием (смесь, которая и после вызывала во мне взрывы). Ночами я не раз просыпался и плакал.

Между тем, началось дело врачей. Мне оно принесло подарок: сочувственное письмо от Ирочки и какой-то ее подруги (кажется, Веры Ивановны, женщины немного постарше, сидевшей за то, что во время войны мыла тарелки в немецкой столовой). Приятель мой, повторник, с тревогой ждал волны лагерных расстрелов и весь сжался в комок. Случилось только одно: уже после смерти Сталина, с провинциальным опозданием, я был снят с работы нормировщика (имевшего право входа в кондитерский цех — видимо, из опасения, как бы не были отравлены сдобные булочки для вольняшек). Тем лучше: перестала мучить совесть, что я сижу в конторе. На вахте за моей спиной заводились разговоры, как будут вешать жидов. Мне было плевать. И на амнистию, объявленную 28 марта, тоже плевать. Что с того, если я выйду на волю? Все друзья и сама Ирочка останутся здесь. Вышли, впрочем, две подруги ее, Вера Ивановна и еще одна, с которой у меня завелась учебная переписка на английском языке (я получал свои письма назад с исправлением ошибок. Статья у бедняжки была 7-35, социально опасный элемент. Она имела глупость



родиться в Америке).

Наконец, случилось настоящее событие: 4 апреля, отмена дела врачей. Рыдала Шура Богданова, вольняшка-бухгалтер, простая добрая женщина: кому ей теперь верить? Через несколько дней начальник подсобных затребовал моего возвращения на площадку в качестве инструктора — учить нового нормировщика, Рокотова (расстрелянного впоследствии Хрущевым за крупные валютные операции). Рокотов принял дела, как раньше я, без всякого объяснения; но я разобрался, а он все запутал. Вернувшись в контору на белом коне, я первым делом попросил вывести на площадку Ирочку. Обошлось даже без взятки. На другой день Ирочку вывели и спрятали в столовке. Я снова увидел ее русый хвостик. Начальник, кажется, знал об этом нарушении, но смотрел сквозь пальцы. Еще несколько дней, и я вышел на волю. Сразу же, оставив чемодан на станции Ерцево, пошел в сторону ОЛП-1514. Ирочка работала на парниках. Увидев ее, я ошалел и просто вошел в оцепление. Даже не позаботился найти место посуше — через канаву, полную водой. Часовые на вышках щелкнули затворами (могли бы и выстрелить; впрочем, я не совсем сошел с ума: риск был невелик). Потом подошел начальник конвоя и стал меня отчитывать. В ответ я предлагал ему 50 рублей. Такса за свидание зэка с зэчкой была 25 (поллитра с закуской). Я предлагал вдвое (литр с закуской). Он покобенился и взял.

Используя привилегию зэка, я решил попробовать свои права гражданина — пошел на вахту 15-го и официально попросил свидания. К моему удивлению, свидание дали — часа на 2 или на 3. Ирочка была тронута и позволила то, что называла лирическими отношениями.

За год впечатление ослабело, стало почти абстрактным, но следующим летом я опять добился свидания — и опять все пошло по новой. Потом Ирочку освободили (снизили срок до 5 и подвели под амнистию). Я готов был целовать милиционеров за эту милость. Ирочка навестила меня в станице (где я работал учителем). Опять были лирические отношения, и опять она говорила, что не любит меня. Провожая ее на станции Кушевская, я испытывал минуты какого-то огромного, переходившего в страдание, блаженства. От неразделенной любви я стал курить (не закурив ни на фронте, ни в лагере). Курил сигареты «Прима», как она. Потом съездил к ней в ее родной южный город. И тут все вдруг кончилось, еще быстрее, чем началось. Я увидел одну из тех вечеринок, которые Ирочка описывала. Мне показалось скучно. Ирочка с упоением танцевала, не обращая на меня никакого внимания. Потом, когда все разошлись, пожалела меня и опять позволила целовать себя. Она была одновременно очень эмоциональна и эгоцентрична, любила пену влюбленности и многим позволяла себя целовать и обнимать — до известной черты. Во времена Пушкина это называлось полудева. Я все сразу увидел в натуральную величину. Поэтическая дымка, свившаяся из ее рассказов и окутавшая ее каким-то волшебным покрывалом, вдруг распалась. Я целовал почти из

---

14 ОЛП — отдельный лагерный пункт.

вежливости, чувствуя, что больше не люблю. Утром я уехал и через несколько дней послал прощальное письмо.

Что это такое? Чистая иллюзия, которая поманила и распалась, или что-то реальное, скрывшееся за иллюзией иллюзии? А романтическая дымка, окутавшая в 1941 году всю мою родину? А призрак Революции, за которым бросилась русская интеллигенция?

По силе чувства то, что я испытывал к Ирочке, — настоящая любовь. И настоящая любовь, которая пришла потом, *сильнее* не была. Только *глубже*, до уровня, на котором уже нет никакого обмана. Чем больше узнаешь человека, тем больше его любишь. А в ненастоящей любви призрак, фантом, романтическую дымку. Дымка развеялась. Но то, что любовь перевернула в тебе самом, — это остается, и после Ирочки, и после войны, и после революции.

Несколько лет спустя Ирочка, скучая в декрете, написала мне грустное письмо. Я ответил, что глубоко благодарен ей за то, что было, чему она меня научила. И правда, всякая искренняя любовь (к женщине, к идее, к стране) чему-то учит. Даже если женщина не та, и идея не та, и страна не та. Т.е. и та, и не та. Потому что если любовь, то всегда — та. Сама любовь уже *то*, самое главное. У Битова есть рассказ «Сад», в котором герой понимает, что и он не настоящий, и она не настоящая, а любовь — настоящая. От Бога, а не от этого мужчины и этой женщины.

Очень трудно разобраться в танцах майи. Говорят о моде (на революции, либерализм, патриотизм, религию). Мода захватывает — а потом исчезает, и непонятно, как люди могли верить вчерашнему кумиру. Но слово «мода» неточно. Правильнее — не мода, а майя. Мода скользит по поверхности души, а глубокий наплыв захватывает саму душу, и сама душа дрожит и трепещет. Дух женственности, дух времени, дух культуры вполне реальны: ровно настолько, насколько реальны время, пространство, история. Старушка, принеся вязанку дров на костер Яна Гуса, шла за майей истины. И Ян Гус, привязанный к своему столбу, понимал этот дух и сказал: «Святая простота!». Святая иллюзия. Святая ложь.

Время, ситуация, культура обладают огромной и совершенно реальной властью. Есть ситуация юности: она толкает влюбиться. Есть ситуация войны и ситуация тюрьмы. Язык тут подсказывает слово, близкое к любви, но не любовь: влюбленность. Любовь, если это совершенная любовь, не может не быть полной, совершенной истиной. Она правит мирами. Сам Бог — любовь. А влюбленность может быть чем угодно: началом любви, заменой любви, спутником любви — заполнением пустоты, бумажными деньгами, которые завтра теряют цену. Юношеская влюбленность, влюбленность военного времени... Любовь ведет в глубину личности, и если эта глубина подлинная, то на всю жизнь. Разве сама личность изменит себе. А влюбленность только манит вечным. Над клятвами влюбленных смеются боги.

Я это испытал, и я думаю, что все массовые увлечения — только наплывы влюбленности. Не может масса людей вдруг полюбить что бы то ни было: свободу, или родину, или Бога. Наплывами приходит

*убежденность*: что Бог есть и православие — истинная вера. Или что Бога нет и пасхальный звон — для старух и ворон. Эта убежденность не имеет ничего общего с личным опытом Бога, редчайшим, необычным событием. Или даже с личным опытом свободы (от которой человек никогда, ни за что не откажется, хоть завтра на плаху).

Но влюбленность может быть захватывающей и перепахивающей душу, как моя влюбленность в Ирочку. Только святые неподвластны майе. Все остальные — ее подданные. Так установлено самим Богом, история — царство майи. Выйти совсем из власти майи — значит выйти из истории. Я до сих пор не совсем вышел, и, наверное, не нужно, чтобы все вышло. Тогда бы прекратились происшествия, — а ведь надо зачем-то, чтобы они происходили, и потому майе дана власть над сердцами. И мы влюбляемся, думая, что любим. Мы увлекаемся идеей Бога, думая, что нашли Бога. Увлекаемся идеями свободы, революции, контрреволюции, национализма.

Настоящая любовь немислима без внутренней зрелости (может быть, ранней, но зрелости). Настоящая любовь к женщине пришла ко мне в 38 лет (в доброе старое время могла быть дочь на выданье). Настоящий подступ к истине пришел еще позже. А влюбляются и зачинают новую жизнь юноши и девушки. А в крестовых походах и войнах, в революциях и контрреволюциях участвуют простые, грубые люди. И потому майя — ипостась вечного Бога, который обманывает, чтобы втянуть нас, незрелых, неподлинных, в подлинную жизнь. И подвести нас ближе к жизни подлиннейшей, которая скрывается за покрывалом майи.

Что же такое майя, ложь или правда? И то, и другое. Правда душевной захваченности и правда брэнного величия (воска перед лицом вечного огня). Незаполненное сердце ищет заполненности и заполняется призраками и мечтами. Назавтра призраки рассеиваются, но уже зачаты и рождаются дети, и воздвигаются и падают троны, и безумец Колумб плывет в Индию (и открывает Америку).

Способность к истинной любви созревает медленно, слишком медленно. Такая любовь не дает земного потомства и не увлекает толпу. Она создает только маленькое зеркальце тишины, в котором, может быть, какой-нибудь гадкий утенок увидит, что у него за плечами — лебединые крылья.

## Через страх. Крыло первое

Летом 1944-го я несколько дней шел по белорусским лесам с лейтенантом Сидоровым. Мне хотелось в него всмотреться. Рота Сидорова устояла, когда наши колонны, беззаботно вышедшие из лесу, внезапно атаковал спешенный венгерский кавполк, вооруженный автоматами с патроном маузер (почти по пулемету у каждого солдата. Свист, треск, грохот...).

Бывший школьный учитель, спокойный, мягкий, Сидоров разговаривал с солдатами, как с учениками. Лихости в нем не было никакой. Но соседи бежали, а его рота остановила противника. Сидоров тогда охрип и теперь говорил вполголоса. Это еще больше подчеркивало его мягкую манеру держаться.

В 1941-м лейтенант Сидоров получил приказ взорвать мост. Он выполнил это не торопясь, пропустив всех своих, и попал в окружение. Вышел без каких-то символов военной чести. Подробностей не помню. Допустим, в гражданской одежде. За это его не повышали в должности и в звании. Только комбат после встречного боя выразил Сидорову свое уважение: каждый вечер посылал котелок жареной картошки (ротные и взводные, как правило, кормились вместе с солдатами).

Стрелковая рота, по уровню опасности, мало отличается от штрафной роты. Командир взвода или роты, прошедший всю войну и оставшийся целым, — живое чудо. Все равно как повешенный, у которого оборвалась веревка. Впрочем, в таком положении был и рядовой состав стрелковых рот. В офицерские школы брали с образованием 7 классов и выше. В артиллерию и другие спецподразделения — тоже. Малограмотные были штрафниками по своему социальному положению. Особенно азиаты, плохо говорившие по-русски (русский мужик еще мог попасть ездовым или на другую несмертельную должность).

Сидоров не видел ничего ужасного в том, что оказался на одном уровне с крестьянами, среди которых жил и до войны. Он говорил о своей судьбе спокойно, без обиды. Не он один терпел установленный порядок. Вообще ему некогда было думать о себе, он думал о других. Есть в России небольшое меньшинство, которое как бы нарочно придумано, чтобы уравновесить безответственность большинства. В обычной жизни, когда начальство всем распоряжается, это меньшинство почти незаметно и не бросается в глаза. Но в обстановке хаоса и развала Сидоровы вдруг выступают вперед. Не на самое первое место: для этого им не хватает честолюбия. Но на очень важное. Можно было выиграть войну без любого маршала и генерала, но нельзя — без Сидоровых. Войну решили согласие солдат на смерть, когда не было ни авиации, ни танков, ни общего плана, ни связи, — и способность Сидоровых организовать сопротивление, оборонять свою высотку, превратить в крепость обыкновенной жилой дом

в центре Сталинграда — и дать командованию время собрать силы для контрудара.

В черновике у меня была фраза: чем-то мне Сидорова напомнил генерал Григоренко. Потом я вычеркнул ее: не мог понять, чем. Потом понял: неосознанной силой характера и способностью создать свой собственный стиль. Общий стиль войны не был сидоровским, не был григоренковским — скорее сталинским. Но Сидоровы и Григоренки тоже были, и кто сочтет — какую роль в обороне Одессы, Севастополя, Сталинграда сыграли Сидоровы, не представленные ни к какой награде?

К вечеру стрелковая цепь прошла деревню, подожженную нашей артиллерией, и залегла в поле. Командный пункт роты и резерв (один станковый пулемет) расположились на пасеке. Дым отогнал пчел, и мы досыта ели сотовый мед. Хозяин иногда выглядывал из погреба, но помалкивал. Вдруг сзади затрещала автоматная очередь, потом еще одна. Били откуда-то с чердаков: я предложил оттянуть назад взвод и прочесать деревню. Сидоров возразил: «Там два-три штрафника, оставленные, чтобы задержать нас до темноты; ночью они сами убегут». Необходимости ловить автоматчиков действительно не было. Наступление к вечеру приостановилось. А стоять на месте штрафники не мешали. Стреляли, кажется, сознательно поверх голов (одна очередь просвистела у меня над пилоткой, даже волосы пошевелила). Видимо, чтобы не разозлить и не заставить искать себя. Сидоров был прав: ночью они убежали.

Мы съели курицу, сваренную в котелке седым ординарцем (я думаю, Сидоров выбрал старика, чтобы облегчить ему службу), и легли спать. «Максим» был повернут в сторону деревни (Сидоров снисходительно одобрил эту мою стратегическую затею). Пулеметчиков строго предупредили спать по очереди, выставили часового и легли. Как сладко я спал на снопе соломы, с расстегнутой кобурой и рукой, сползшей с рукоятки нагана! Никогда не спалось так хорошо в штабе батальона, там все время прислушиваешься к выстрелам: ночная атака? Разведка боем? А здесь передний край, за спиной автоматчики — и никакого страха. Больше того, одна из самых счастливых ночей в жизни.

Так иногда чувствовал себя человек в тюрьме, в лагере. Уже посадили. Уже дали срок, и вдруг наступало чувство внутренней свободы.

Странная вещь страх! В теплушке, на Савеловском вокзале, я тосковал и учил наизусть Блока:

*Похоронят, зароят глубоко.  
Бедный холмик травой порастет...*

А в первом бою наплыв восторга смыл страх. Навстречу везли в дровнях тяжело раненных, большие пятна крови расплывались по марле. Екало сердце, но сознание, что это настоящий бой, совершенно переполняло меня и не оставляло места ни для чего другого. Мне было 23 года, я успел написать несколько статей и прочесть два курса лекций в Тульском пединституте, но чувствовал сражение, как Петя Ростов.

Пока мы разворачивались в цепь, наступила ночь. В белых маскировочных костюмах мои товарищи двигались, как призраки, тускло освещенные луной. В 30 шагах человек исчезал. Поле казалось пустынным, и трассирующие пули — роем светлячков, перенесенных волшебником из лета в зиму. Никакого страха. Только восторг перед красотой.

Я остался на лыжах; остальные их побросали, чтобы хоть половина тела оказалась ниже уровня этих красивых струек. Лыжник, сравнительно с человеком, утопающим в снегу, — почти птица. Радость полета носила меня по полю взад и вперед. Потом нашлось дело. Из трех ручных пулеметов два отказали: замерзла густая смазка. Действовал один — у мордвина Пурнашкина, кадрового солдата, из небольшого пополнения, полученного незадолго до отправки нашей ополченской дивизии на фронт. Я разыскивал заевшие пулеметы, отбирал диски и отвозил их Пурнашкину. Пулеметчик Чайнов, хрупкий студент в очках, уверял меня, что его «дегтярев» не стреляет просто потому, что нет упора. Явная чушь! Но я предложил: стреляй с меня! Чайнов поставил мне на бок или на спину ножки «дегтярева»; замерзшая смазка от этого, конечно, не оттаяла, диски пришлось отдать. В конце концов, сложилась, как потом это назвали, инициативная группа: Пурнашкин со своим вторым номером, я и еще два ополченца. Один тоже в очках, по фамилии Френкель. Другого не помню. Безо всякой команды мы двигались, постреливая, вперед. Остальные плелись метрах в 200 позади, вместе с командиром, младшим лейтенантом со странной фамилией Ребенск.

Во время одной из лёжек я предложил Пурнашкину съесть НЗ; мы со вкусом погрызли ледяной кирпичик гречневой каши, потом еще продвинулись вперед и наконец заметили, из-под какой елочки по нам стреляют. Недалеко, метрах в 70 или 100. Тут мы все пятеро начали палить в эту елочку, насколько можно прицелиться в лунную ночь. Автоматчик вскочил и побежал, мы в него не попали. Я снова встал на лыжи (стрелял лежа), но его и след простыл. От елочки шла хорошо утоптанная дорожка.

Пока мы обходили деревню справа, другие роты вошли в нее. Потоптавшись (один из взводов забрался в лес — но вскоре отступил), мы тоже свернули в деревню и повалились спать на снегу. Часа через два вскочили, стуча зубами, и погрелись у догоравшей избы. Наш взвод потерял только двух человек. Тот, что забрался в лес, — побольше (финны, помогавшие окруженной 16-й армии, стреляли с деревьев)<sup>15</sup>. Но всё равно, немного — для наступательного боя. Зато днем началось...

Около соседней деревни немцы зашевелились. Готовилась контратака. По снегу — по поясу. Можно было спокойно подумать, сколько нужно для отражения контратаки, разместить цепь по околице, а остальных спрятать. Вместо этого, все 9 рот, безо всякого порядка, скорей, скорей, вытолкнули на снег перед деревней. За каждым солдатом на переднем крае, способным стрелять, лежало еще десять. Рядом со мной — белозубый парень из другого батальона (они были иначе одеты: не в маскировочные

---

15 О 16-й армии подробнее в гл. 7.

костюмы, а в халаты). Неуправляемая куча, годная только для одного: быть живой мишенью; и заработала мясорубка, словно кто-то усердно, без передышки, вертел ручку...

Сперва — 16 пикирующих бомбардировщиков «юнкерс-87». Я их несколько раз пересчитал. Последний раз — уже вывезенный из Павловки на саночках (с собакой в упряжи) и лежа на спине в соседней деревне Сидоровка, метрах в ста от батареи. Все 16 сбросили бомбы точно над моей головой. Черные, тускло блестящие в ярком синем небе, они начинали свою смертельную траекторию и рушились в расположении батареи. А сосны вздрагивали и роняли на глаза засохшую хвою, и две девушки-санитарки, пытавшиеся перевязать меня, прижимались к земле.

Я был мишенью, обладавшей сознанием и эстетической восприимчивостью; и не могу не сказать, что это было красиво. Особенно последний тур, который я созерцал совершенно пассивно и незаинтересованно (шоковое состояние не давало возможности не только слезть с санок, но даже пошевелиться). Немцы действовали, как на полигоне, в строгом порядке. Кружение их напоминало танец, в котором то одна, то другая балерина, по очереди, выходила из хоровода и вертелась на одной ножке, дожидаясь аплодисментов (вместо хлопков — взрыв бомб; и вместо музыки — вой самолета, вошедшего в пике. Я много раз видел это и позже, и каждый раз впечатление было свежим и ярким, как от Шекспира).

Покружившись, самолеты улетали заправиться. Тогда начинали минометы, без передышки, потом опять «юнкерсы». Потом опять минометы. И опять «юнкерсы»... Снег не защищал от осколков, мерзлую землю лопатки не брали. Я думал: это, наверное, по неопытности наших командиров, другие не так воюют (увы, в госпитале раненые солдаты в один голос говорили: не война, а одно убийство. А наша Третья московская стала гвардейской. Стало быть, другие воевали еще хуже).

Было томительно ясно, что так нельзя, что это абсурд. Солдатская пословица — не война, а одно убийство — именно это и высказала. Но я давил в себе чувство тоски и выдержал несколько туров. Наконец, хлопнуло по заду, как бы палкой. Зубы соседа застыли в улыбке, с которой он дергал замерзший затвор. Осколок, наверное, попал в сердце. Крови (сквозь шинель и телогрейку) не видно было.

Я встал и пошел на перевязку. Мины продолжали падать. Знакомый студент Миримский крикнул мне: «ложись!», — но я не хотел ползти. Шел во весь рост и запоминал: весь снег — в больших розовых пятнах (следы прямых попаданий). Кровь, растекаясь по снегу, становилась не красной, а розовой.

На медпункте залепили царапину и предложили эвакуироваться; я отказался: еще могу стрелять. Пока что принялся за котелок с кашей (утром нас не успели накормить). Мой напарник по котелку был ранен в челюсть и ел с трудом. Я из вежливости не торопился, но большая часть каши с мясом явно доставалась мне. Между тем, «юнкерсы» принялись за деревню. В Москве я не прятался при бомбежках и здесь решил не прятаться. Рвались бомбы, а мы ели кашу. Вдруг раздался ужасный грохот, одна из

потолочных балок рухнула, голову моего напарника сразу залило кровью, он дико закричал; а меня стукнуло по обеим рукам и по ноге. И вот теперь навалился страх. Показалось, что сейчас непременно крыша обрушится на голову. Судорожным рывком, как обезглавленная курица, я выскочил из избы, схватился за столбик крыльца и больше не мог сделать ни шагу. Онемела раненая нога.

Через полгода северо-западнее Сталинграда мне поручили пойти в медсанбат и поговорить с ранеными. Я хромал, был прикомандирован к редакции дивизионной газетки; поручение было нетрудным. Издали, километра за два, я увидел, что совхоз Котлубань (где расположился медсанбат) стали бомбить. Я упал ничком...

Никогда в жизни не испытывал такого страха! Все во мне вопило: «Домой, к маме! Домой, к маме!». Цельная натура, наверное, не удержалась бы, побежала, и потом угодила под расстрел или в штрафную роту. Но я интеллигент; рефлексия (от которой блекнет румянец сильной воли) во мне не умолкала, и она говорила, что бегают под бомбежкой одни идиоты; безопаснее лежать. Я лежал, носом в пыли, а внутри все продолжало вопить: «Домой, к маме!».

Между тем рефлексия твердила своё: никто меня не гонит под бомбы. Можно пойти в медсанбат, когда бомбежка кончится. Тут, при одной мысли, что я сделаю шаг в сторону совхоза Котлубань, ужас придавливал к земле. Я не бежал, но подняться тоже не мог.

Прошло с полчаса. И вдруг рефлексия напомнила, как я сам пошел когда-то навстречу страху бесконечности и прошел сквозь страх. Если я не испугался бездны пространства и времени, неужели испугаюсь нескольких паршивых «хейнкелей»? Эта простая мысль подействовала. Что-то всплыло в душе — сильнее фронтового страха. И после, много раз, когда затишье сменялось грохотом снарядов и бомб, через сердце прокатывалась легкая волна тревоги — котенок сравнительно с котлубаньским тигром — и отступала. Я знал, что у меня есть талисман, что есть сила победить страх.

Даниил Андреев писал, в «Ленинградском апокалипсисе»:

*Блажен, кто не бывал невольником  
Метафизического страха.  
Он может мнить, что пытка, плаха  
Предел всех мук.  
Дитя, дитя!*

Бездна, в которую проваливается всё, всё, всякий смысл, не только моя жизнь, а решительно всё — это было страшнее «хейнкелей». И, вспомнив ту тьму, я вспомнил и свет, брызнувший из тьмы, когда я вынес ее, вытерпел, не отступил. Страх мгновенно залег, как немецкая цепь под залпом «катюш». Он захватил инициативу, когда я не ждал нападения, не знал, что он сидит в засаде, где-то глубже уровня сознания — и готов ударить по мне. Потом я ждал атаки, был настороже — и заранее знал, что будет дальше, когда эмоциональная волна взлетит вверх и страх перейдет в радостное возбуждение. На гребне волны мне хотелось большей опасности,



большого замирания сердца — и радости выхода за страх, полета над страхом. Я думаю, что это похоже на прыжки с трамплина. Помню, как примерно в сентябре 43-го я глядел с высоты на атаковую цепь, на эти ничем не защищенные фигуры, бежавшие среди мощных разрывов, и мне хотелось быть там, испытать то же чувство нравственного превосходства человека над техникой.

Один раз я не удержался и действительно побежал вслед за стрелками. Это было после прорыва линии Вотана. Ее очень долго прорывали. Окопы в 2 м глубины, да еще лисьи норы, где можно пересидеть обстрел, а потом вылезть, по аккуратным ступенькам подняться в стрелковые ячейки и встретить наступающих огнем. И танки не пройдут: глубокий, широкий противотанковый ров. Три раза артподготовка, бросок вперед и срыв. Пехотинцы ложились, окапывались; через несколько дней снова бросок вперед. Последний раз с расстояния в 200 м. На этот раз немцы не успели вовремя вылезть из нор... Славяне<sup>16</sup> с ходу прошли все три линии укреплений. В третьей, недостроенной, остановились. А немцы зацепились за домики деревни Калинов- ка, за лесопосадки.

Наутро всё командование дивизии собралось в непокрытой яме для блиндажа, почти на переднем крае. Настроение было праздничное (победа открывала дорогу на юг левобережной Украины и в Крым). На опасность никто не обращал внимания, снаряды почему-то щадили яму с офицерами, блестящими своими щегольскими фуражками. Зато пожилой солдат, в окопе возле меня, был почти перерублен осколком. Лежа на животе, он хрипло просил пить. А в огромном разрубе шевелились кишки. Год спустя я потерял сознание в операционной, на пустыковой перевязке, когда увидел, как четыре врача на четырех столах копошились в четырех раскрытых животах. Медсестра взглянула тогда на меня с глубоким презрением. Но на поле боя людей могло разрывать на куски. И теперь страшная рана (одна из самых страшных, которые я видел) не ошеломила, не испугала, даже не понизила настроения. В том же праздничном возбуждении я ушел на левый фланг, в балочку, где скопились стрелки, готовые к атаке. Когда кончилась артподготовка, они поднялись, — и я побежал вместе со всеми. Без оружия (у меня еще не было нагана, а винтовку корреспонденты не носят).

Снаряды рвались в толпе (наступали не цепью, а так, как лежали в балочке, довольно скученно). На моих глазах убило двоих. Одному снесло полчерепа, он упал; мозги вывалились на землю. Никакого ужаса, только восторг, добежал до деревни. Немцев на восточной окраине не было, они нас не дождались. Захотелось попробовать вкус победы, зашел в хату, поискал, нет ли чего пожевать. Нашел на подоконнике несколько сушеных вишен, попробовал — невкусно. И вернулся назад, к выходу из балочки, поболтать со знакомыми артиллерийскими офицерами, сидевшими там у своих телефонов.

Через час немцы контратаковали. Пехотинцы у нас были трофейные, т.е. жители Донбасса, наспех мобилизованные и почти необученные. Они

---

<sup>16</sup> Так во время войны называли солдат.

приняли самоходки за танки... Артиллерийские офицеры вскочили и стали задерживать бегущих; я тоже. Сперва — растопырив руки, потом отобрал у молоденького солдата, чуть поцарапанного, его автомат и при случае дал две-три очереди в воздух. Впрочем, трофейные солдаты и без того послушно останавливались и ложились в цепь.

Потом показались немцы, их командование решило развить успех. Артиллерийские офицеры схватились за свои телефоны, и я остался один с группой из 20 или 25 стрелков. Им было страшно (наступавшая густая цепь в мундирах лягушачьего цвета была хорошо видна, а механизм боя, сделавший этих немцев мишенью 60 орудий и нескольких десятков минометов, трофейные солдаты не понимали). Чтобы ободрить славян, я не ложился и ходил взад и вперед по цепи, командуя: «огонь!». Большой надежды на этот огонь сам по себе у меня не было; наступающий всегда сильнее — хотя бы потому, что он идет, т.е. каждую минуту преодолевает страх и накапливает бесстрашие, и с каждым своим шагом отымает это бесстрашие, эту уверенность в своей силе у тех, кто лежит (или стоит в окопе), стреляет — и не может его остановить. Так что даже численность не важна, — в 44-м был случай, когда наших 35 человек, стремительно наступая, вызвали панику и бегство примерно 200 немцев из только что прибывшей на фронт необстрелянной маршевой роты. А тут и цепь была густой, и двигалась дружно, быстро. Но наша пальба, даже ерундовая, создавала у артиллеристов чувство комфорта: пехота на месте и готова их прикрыть. На самом деле, все наоборот: артиллерия прикрыла пехоту. Под градом снарядов и мин немцы, не дойдя до нас метров 300, залегли.

Я продолжал ходить взад и вперед по цепи, спрашивая, кто из какого полка. Сборная солянка, двое даже из соседней дивизии. Друг друга не знали, меня, естественно, тоже.

Потом подбежал связной и приказал наступать. Я подал команду, и цепь перебежала метров на 30 или 50. Подтянулись соседи слева, и мы двинулись дальше. Из любознательности я пробовал, какие слова лучше действуют. Например, «за дело Ленина» — не клевало. «За Сталина» — клевало. Каким образом я это чувствовал? Не знаю, но что-то мгновенно отвечало: да, так... Нет, не так... Примерно как с кафедры, когда сыплются вопросы и надо немедленно найти доходчивый ответ. Лектор (или командир) как бы раздваиваются и чувствуют свое слово ушами солдата (или слушателя). В конце концов, сложилось заклинание, силу которого я потом, в 44-м, еще раз имел случай испробовать:

Вперед, ... вашу мать!

За родину, ... вашу мать!

Огонь, ... вашу мать!

За Сталина, . вашу мать!

Примерно как в старину: за веру, царя и отечество. Только вместо веры —... вашу мать. Впрочем, еще в прошлом веке некий вице-губернатор написал: «Первое слово, обращенное опытным администратором к толпе бунтовщиков, есть слово матерное». Так что и это традиция. Половая сила — простейший символ всякой силы, и матерная ругань — один из устоев

русской социальной иерархии. Особенно на войне.

Солдаты, перебежав, ложились. Я по-прежнему ходил взад и вперед. Пули беспорядочно посвистывали. Одно дело — прицельный огонь, когда немедленно ложись, другое — пальба в белый свет, как в копеечку; от нее только веселее делается. Мы не торопясь наступали, а немцы отползали с огородов в деревню. Артиллерия их молчала. Вероятно, не знали, где свои, где чужие. Близко сошлись.

Никаких потерь мы не несли. Однако я живо представил себе, что будет, если мы войдем в деревню. Солдаты голодные, немедленно разбредутся по хатам — и что я тогда буду делать? Никого не окликнуть (фамилии не знаю). И меня в лицо знают только те, кем я командую, а если опять смешаются, то кто я для них? Шинель без знаков различия. Такой же солдат. Между тем по мне равнялась вся цепь, т.е. пехота примерно двух полков. Правда, очень потрепанных, — но все же человек 200.

Вскоре кончились у меня патроны. Я спросил солдат — у многих то же самое. У других — осталось на несколько выстрелов. И в огородах, метрах в 100-120 от крайней хаты, я остановил цепь. Уже смеркалось. С наступлением темноты можно будет накормить, вооружить людей и разобрать по частям. А в деревню войти на рассвете и с непрерывным дружным огнем пройти ее одним духом.

Однако командир дивизии, глядя на нас со своего НП, не понимал, какой идиот и зачем остановил наступление. Офицер, которого он послал, сбросил шинель и подходил к нам в одном кителе, блестя орденами и погонами. Это был майор Токушев — первый зам. начальника штаба. Увидев меня, он несколько удивленно сказал:

— А, Померанц...

— Здравствуйте, товарищ майор.

— Приказано взять деревню.

Он сказал это не командным голосом, а так, как бы с вопросом: чего ты остановился?..

Я объяснил, почему. Тактически деревню можно считать взятой. С расстояния 100 м войти не хитро; сейчас на окраине противника нет, огонь прекратился. Но в деревне трофейные солдаты выйдут из подчинения, разбредутся; на рассвете немцы нас выбьют. Токушев внимательно все выслушал, а потом со вздохом сказал: — Ничего не поделаешь. Уже сообщили в Москву...

На меня сразу пахнуло тем, что в лагере потом называлось показухой. «Сообщили в Москву» — значит лезь на стену. Токушев говорил со мной просто, как со знакомым из Москвы (с КП), встреченным в провинции (на переднем крае): мол, сам понимаешь. «Ни шагу назад».

По тому месту, которое я занял в бою, можно было считать себя командиром взвода, роты, при самом сильном воображении — батальона; но не больше. Приказ командира дивизии, лично переданный начальником оперативного отдела, надо было выполнять. Я повернулся к солдатам, подал команду — и с криком ура, почти без выстрелов мы вошли в деревню. Через пять минут ни одного солдата в поле зрения не осталось.

Все разбрелись по хатам. Мы с Токушевым остались одни. Как новоиспеченный стратег, я был доволен: все вышло так, как я предвидел. И с мальчишеской гордостью сказал, перебросив через плечо пустой автомат: «Ну вот, войте теперь, товарищ майор. А я пойду собирать материал для редакции».

Токушев промолчал. Я действительно служил по другому ведомству. Но задним числом мне стыдно. На рассвете немцы контратаковали (это я предвидел), и Токушев (этого я вовсе не ожидал — молодой, красивый, удачливый) был убит.

Что я мог сделать? Уходить надо было. Оставшись без солдат, я освободился от ответственности перед ними и вспомнил свои постоянные обязанности. В наступающей темноте надо было обойти пару батальонов и собрать материал к номеру. Но я мог, например, предложить Токушеву — сделать от него доклад комдиву и объяснить то, что полковник Левин (со своего НП) понял сутки спустя, направив в боевые порядки пехоты несколько артиллерийских расчетов — не столько для стрельбы, сколько для моральной поддержки трофейных солдат. А пока что Калиновка шесть раз перешла из рук в руки и погиб не только Токушев.

Бой за Калиновку — мелочь в общем ходе войны. Где задержки в обратной связи между командованием и передним краем были огромные и невыполнимый приказ исполнялся с потерями в сотни тысяч. Но пусть я ничем не мог помочь майору Токушеву — я должен был иначе с ним проститься. Мне хотелось утереть нос штабным, но почему именно Токушеву?

Все это я думаю теперь, а тогда я был совершенно доволен — и тем, как ввязался в бой, и как из него вышел. В полутьме напоролся на КП одного из батальонов (293 гв. с. п.17). Тут бы мне и заняться делом — пройти в роту, поговорить, как вчера прорвали эту самую линию Вотана... Вместо этого я наделал новых глупостей. Командир батальона, капитан Смеляков, предложил мне, как всегда, поужинать. Проглотив несколько ложек жареной картошки со вторым фронтом (в виде американских консервов), я спросил: почему вы не переносите КП в деревню?

— В деревне немцы, — ответил мне не то Смеляков, не то Сурков, его зам по строевой.

— Ничего подобного, мы только что ее взяли!

Только что сознавал, что взяли — на несколько часов, что немцы нас выбьют, и тут же приглашаю в Калиновку, как в свое имение. Словно пьяный. Хотя водки не пил. А Смеляков и Сурков были выпивши, и без приказа командира полка, по моей дурацкой подсказке, решили выбирать новое место для КП. Сурков взял с собой ординарца, двух связистов с телефоном и катушками, и я повел их напрямик в деревню. В первых домах никого не было. Стало жутковато. Сурков посчитал, сколько у нас патронов. У связистов — по четыре штуки (патронташей они не носили — и без того катушки тяжелые). Ординарец тоже привык ходить налегке. У

---

17 Гвардейский стрелковый полк.

Суркова — обойма пистолета. И у меня — пустой диск.

«Если столкнемся с немцами, — сказал Сурков, — я скоманую: вперед, за мной! — И мы побежим назад». Разумное решение. Я внутренне согласился. Потом мы все-таки пошли дальше и вскоре увидели костер. Его могли жечь только наши. Дисциплинированные немцы на это не пошли бы. Действительно, у костра сидели человек 30 или 40 стрелков соседнего 295 гв. с. п. «Здесь передний край», — сказал, улыбаясь, молоденький младший лейтенант. Оказывается, немцы убежали не изо всей деревни, на западной окраине они зацепились; а середина деревни осталась ничьей землей.

Значит, Токушеву удалось в самой деревне сделать то, что я предлагал сделать перед деревней. Выползли солдаты из хат, когда подъехали кухни и запахло кашей; тут их организовали, разобрали по полкам — и сейчас какой-то порядок есть. Могло быть хуже. То, что жгли костер, — не по уставу; но главный враг трофейных солдат — ночные страхи, лезущие из домов. У костра, при свете, собравшись в кучу, легче сохранить бодрость.

Сурков с облегчением уселся и закурил. Передний край, так передний край. Все-таки свои. А с меня хмель храбрости начал сходить, и я подумал: хоть бы трех-четырёх часовых поставили. Нельзя же так, на переднем крае.

Тут послышались осторожные шаги. Сурков продолжал курить. Я не оборачиваясь спросил: «Кто там?».

Если бы я спросил: «Стой, кто идет?» — то немецкие разведчики, наверное, ответили бы «свои!». Не так трудно запомнить одно русское слово. А я сам много раз, нечаянно пройдя мимо переднего края (он ведь не сплошной) и угадав по характеру стрельбы, что уже на ничьей земле, возвращался со стороны противника, слышал это «стой, кто идет?», отвечал «свои», — и ни разу меня (по уставу) не положили на землю, не потребовали пароля (его никто не знал)... Но я спросил «Кто там?» — и немец, не зная русского языка, ответил: «Там, там».

Все вскочили, началась пальба. Немцы бросили ручную гранату. Сурков скомановал «Вперед, за мной!» — и побежал. Увы, спяну он бежал не на восток, а на запад. Споткнувшись и упав, я привычно взглянул на Большую Медведицу, заменявшую мне компас, сообразил, что где, и стал кричать: — Капитан Сурков! Капитан Сурков!

Куда там! Он бежал, как на соревнованиях. Впрочем, пьяным Бог помогает. Через несколько дней я встретил его живого и здорового.

Добежав до обоза, он закричал: «Славяне, какого полка?» Началась паника. Беспорядочная стрельба. В суматохе Сурков и ординарец попластунски выползли. Я не стал спрашивать про связиста: Сурков и сам не знал.

Между тем, пока я кричал, меня догнал второй связист. Он был ранен осколком гранаты в ягодицу и не мог бежать. Я взял у него карабин с четырьмя патронами и велел идти за мной тихо, не шуметь. Наши «максимы» говорят медленно, немецкие МГ — скороговоркой. Если прислушаться, легко понять, где свои, где чужие. Общее направление я проверял по звездам. Опыт ходьбы ночью по ничьей земле у меня, слава Богу, был. И всё-таки, выйдя из Калиновки, я почувствовал сильную

усталость, завалился в ровик и заснул. Наутро с попуткой добрался до редакции и попытался сочинить что-то про прорыв линии Вотана из тех немногих фамилий, которые наскреб в памяти. Материал вышел бледный. Редактор сделал мне выговор. Я очень умел огрызаться, но на этот раз слушал молча. Он был прав: каждый обязан выполнять *свое* дело. Впрочем, в душе я глубоко презирал его: ничего он не понимал про упоение в бою. Да и про всякое вдохновение.

Несколько раз я замечал, что в состояниях бесстрашия есть две стадии: разумная и глупая. На первой очень ясно работает ум (я безо всякого опыта командования правильно решил тактическую задачу, учитывая особенности солдат, время дня, вероятные действия противника.). На второй — море по колено, шапками закидаем. То же самое повторилось в декабре 1965 года: выступил против реабилитации Сталина очень страстно, но рассчитывая каждое слово, и не вышел за рамки допустимого для либерально настроенного коммуниста. Семичастный дважды звонил в Президиум Академии наук, требуя признать мою речь антисоветской; тогдашнее руководство партийной организацией Института философии могло дважды ответить, что мое выступление оставалось в рамках линии XX и XXII съездов (фактически ревизованных ЦК, но XXIII съезда еще не было). Я публично высмеял идеи, которые поддерживал ЦК, и остался цел<sup>18</sup>. Газетчики глядели на меня, как неграмотные африканцы на образованного лидера, выучившегося в Лондоне ругать колониалистов так, что его не сажают в тюрьму. Молва немедленно приписала мне членкора и даже пророка. Между тем волшебства никакого не было, только расчет.

А потом я сам потерял голову. Этого никто не знает, но я-то знаю. Недели две подряд мне мерещилась аудитория в несколько десятков тысяч человек — и я одной речью поворачивал толпу, куда хотел. Мне достаточно выйти на трибуну — и всё становится возможным, всё...

Кончилось дело тем, что подскочило давление. Накануне я выступил в прениях по докладу проф. Монгайта и сказал академику Рыбакову, что его схема ранней истории ничем не отличается от фашистской; только вместо пангерманизма панславизм. Утром почувствовал, что ничего не соображаю. Пошел в поликлинику — намерили 150:100. Не так уже много, по нынешним моим габаритам, но тогда сосуды еще не привыкли к гипертонии. Словно колпак надели на голову и сразу всё притупили: и чувства, и ум. Физический щелчок вернул меня к действительности.

Есть майя страха (или инерция страха, как выразился В.Ф. Турчин) и майя бесстрашия. В начале 1968 года мне показалось, что диссидентов охватила майя бесстрашия, и в разговоре с Павлом Литвиновым я попытался это высказать. Павел покраснел и с трудом сдерживал волнение

---

18 Соль здесь в *публичности*, в открытом выступлении. *Писать* можно было гораздо резче — с меньшим риском. См. «Квадрильон». Положение было неустойчивое, но либералы бросились в ноги Твардовскому, и он прикрыл их: взял «Нравственный облик исторической личности» в портфель «Нового мира». Твардовский был член ЦК. Семичастный отступил.

— так уверен был в своей правоте (он говорил тогда Юре Глазову, что «у шуки выпали зубы»). Я не стал спорить. Потом, несколько лет спустя, он согласился со мной.

Зубы у шуки не выпали. Но она постарела, шевелилась вяло, и отдельный выкрик, отдельное «не могу молчать» несколько раз пропускала без ответа. Другое дело — попытка организованной оппозиции. Тут шука чувствовала для себя смертельную угрозу. Может быть, зря. Может быть, постепенно удалось бы приучить ее к диалогу. Это было бы в духе моего эссе «Коан»<sup>19</sup>. Но история пошла иначе. От «не могу молчать» первой пресс-конференции Богораз и Литвинова как-то сразу — к Письму будапештскому совещанию коммунистических партий (1968). Я чувствовал в этом акте вторую стадию бесстрашия. Примерно как в моем ночном походе с капитаном Сурковым в деревню Калиновка.

Впрочем, даже если бы демократическое движение было предельно сдержанным и никак не пыталось форсировать событий, а целило только на создание традиции единичных выступлений, безо всякой оформленной и объявленной «инициативной группы», «группы Хельсинки» и т.п., — то всё равно Восточная Европа не могла дожидаться, пока русское общество выйдет из оцепенения. Взрывы в Польше, Венгрии, Чехословакии и опять в Польше создавали обстановку, выводившую шуку из полусна, и каждый раз она на всякий случай глотала несколько отечественных карасей. Действовала формула, выкованная еще Герценом: Европа (Восточная Европа) борется за свободу, а нас бьют. Собирают желуди, чтобы не вырос Дубчек. И то, что Павел и его друзья в начале 1968 года несколько форсировали подписание протестов, не имело большого значения. Если бы силы демократического движения не были подорваны, оно, допустим, громче ответило бы на ввод танков в Прагу, — но любой мыслимый протест был бы слабым и немедленно подавлен. Слишком узок был круг людей, способных подписать петицию, заявление, выступить на пресс-конференции... Не говоря о чем-то большем.

Можно было избежать, пожалуй, только одного: отрыва от сочувствующей среды, замыкания в своем собственном узком кругу и повисания на западных средствах массовой информации — со всеми временными выгодами и устойчивыми невыгодами такого положения. Неоформленное духовное течение, из которого вдруг — неожиданно для всех — выступает *один* человек, как бы сжигая себя в открытом протесте и готовый на всё, — было бы менее уязвимо и, пожалуй, обошлось бы меньшим количеством покаянных телепередач. Однако задним числом пришла в голову простая мысль: нелепо ожидать от молодых людей, возмущенных несправедливостью, змеиной мудрости и стоической дисциплины. Во всякой борьбе есть свой хмель. И если даже война, несмотря на уставы и все прочее, вплоть до штрафных батальонов, была возможна только такой, какой она была, т.е. с огромными потерями от безалаберности и беспечности, то было бы странно, если бы русское

---

<sup>19</sup> См. мою книгу «Выход из транс» (М., 1995. С. 81).

общественное движение обошлось вовсе без фронтовых ста грамм.

Сплошь и рядом человек ввязывается в опасную ситуацию неожиданно, нечаянно, не успев сосчитать своих сил — да и как их заранее сосчитать? А потом слабо — как мальчишки говорят — отступить, отказаться от своей, уже всеми признанной, роли, делаешь шаг за шагом, почти не думая, рефлекторно (вожжа под хвост попала) — а страх приходит задним числом. Такой дурацкий случай вышел у меня в лагере. Коренастый тип в кубанке, которого все называли начальником карантина, повел нас в баню. Там он обматерил одного из моих попутчиков по этапу. Я сухо заметил, что начальству не следует материться. Но Шелкоплас (как звали коренастого) был ссученный бандит (числился он *дневальным* карантинным); я не знал лагерных порядков и не знал, что связываться с таким полубандитом, полуначальством — значило рисковать не штрафным изолятором, а жизнью. Слово за слово, он плюнул в меня, я (стараясь, впрочем, не попасть — на это хватило ума) плюнул в его сторону. Сцена из рассказа Бориса Хазанова и чуть не кончившаяся так, как в его сборнике лагерных рассказов «Запах звезд» («Взгляни в глаза мои суровые...»). Шелкоплас поднял над моей головой табуретку, потом отшвырнул ее в сторону (неохота была получать за паршивого фраера новый срок), смазал — не очень сильно — сапогом в голый живот (я походил на оципанного цыпленка, храбро стоявшего перед ястребом) и выскочил из предбанника, нарочно стукнувшись головой о дверную раму, сильно стукнувшись, хотел перебить свою ярость.

Потом он ждал, что я пожалуюсь на его удар, и стал куражиться — отобрал у всех матрацы, мол, снимут его по моей жалобе, так матрацы-то на его материальной ответственности. Я не собирался жаловаться, но объясняться тоже не стал. Все, кряхтя и ворча на меня как на виновника неудобства, разлеглись на голых досках и заснули. А меня всю ночь трясло от страха. Буквально зуб на зуб не попадал. Когда мы столкнулись, воображение не поспевало за событиями, а теперь оно сто раз рисовало мне, как табуретка опускается на мою голову. Так глупо! Так глупо! Кажется, именно глупость смерти приводила в ужас. На фронте, выйдя из опасности, я сразу засыпал. А тут, хотя реальной опасности давно не было, зубы мои отбивали мелкую дрожь. Всю ночь, как только соседи заснули и не перед кем было хранить свое достоинство, меня трясло.

Иногда мне кажется, что так примерно застучали зубы у Якира, Дудко, Репина — как только они остались одни в камере. Втянулись в борьбу по легкомыслию, может быть, из тщеславия — кто знает; не сознавали до конца, на что идут. И вдруг осознали.

Старый товарищ, которому я рассказал историю очередного предательства, заметил: «Я знаю про себя, что не выдержу, так и не лезу». Но ведь это довольно неприятно — знать свою слабость. И еще труднее и неприятнее — сказать об этом.

Легче было лежать живой мишенью на окраине Павловки, чем сказать Ире Муравьевой, что я прошу ее не прикасаться ко мне тем легким, едва осязательным прикосновением, одними кончиками пальцев, на которое я не



мог не ответить, а отвечать иногда было трудно и потом весь день разламывало голову. Ира приняла это по-матерински. И очень скоро пришло то, о чем я писал в эссе «счастье»: достаточно было взять за руку, чтобы быть счастливым. Сдержанность вернула чувству напряженность, которой, кажется, даже в первые дни не было. Я стал уступать порыву только тогда, когда невозможно было не уступить — и относился к нему, как к дыханию, которое должно пройти сквозь флейту и стать музыкой. Сразу осталось позади главное препятствие в любви (когда не остается никаких препятствий). А как долго я медлил, как не решался сказать! Как боялся выглядеть жалким, смешным, ничтожным, слабым!

Если бы все люди вдруг увидели бы себя такими, какие они есть, и прямо об этом сказали — какой открылся бы простор для Бога, действующего в мире! Как близко мы подошли бы к планете Смешного человека! Недаром ведь «Записки из подполья» и «Сон смешного человека» написаны одной и той же рукой, и недаром я так люблю эту руку...

Не знаю, что мне помогало сравнительно быстро выходить из инерции страха — и инерции бесстрашия. Наверное, склонность к самоанализу и привычка видеть себя, каким мать родила. Но после Ка-линовки я как-то насытил жажду боя и с тех пор зазря, без необходимости, не лез в наступающую стрелковую цепь. Помнил огромное впечатление от полета над страхом, но удерживал себя: не мое это дело. Я задуман для чего-то другого. Такими (или примерно такими) были слова, а что стояло за этим?

Меня и потом, много раз, вдруг что-то останавливало и отводило в сторону от действия. Отчетливее всего я почувствовал это на похоронах Пастернака. Был минутный выбор: к открытой могиле? В центре толпы? Выступить? Но какая-то сила повела в сторону, вверх по косогору — видеть всё в целом. Не участвовать, не сказать что-то, а созерцать. До сих пор помню это напряженное созерцание медленной, довольно бестолковой суеты: гроб положили сперва головой повыше, потом — наоборот. Почти ничего не было слышно из речи Асмуса (но небо, склонившееся над могилой, говорило больше). И только тогда, когда это нужно было по какому-то тайному сценарию, когда все уже заждались, громко прозвучали стихи:

*Шестое августа по-старому,  
Преображение Господне...20*

Словно действовал, безо всякого участия отдельных людей, разум улья. И найден был выход: в стихах. Агенты устало переглядывались друг с другом, они уже всех перефотографировали, им хотелось домой (в толпе, наполовину состоявшей из знакомых, искусствоведы в штатском резко бросались в глаза). Но домой не велено было идти до конца, а конца не было. Стихи лились час за часом, и Бог знает, какие из этих стихов напечатаны, какие нет. Искусствоведы были парализованы, и Москва

---

20 Стихи читал В.В. Иванов.

достойно проводила в могилу опального поэта.

Несколько раз я ставил рискованные эксперименты на самом себе, но каждый раз главное было понять, а не сделать. Что именно понять? События или самого себя? И то, и другое.

Понять, куда события движутся сами по себе. Бросить камешек и подождать — покатится ли лавина? И если покатится, то куда? По большей части она катится не туда, совсем не туда, и поэтому бессмысленно вкладывать всего себя в попытки сдвинуть груды. Надо сохранить внутреннюю свободу, возможность отойти в сторону и даже повернуться спиной к событиям, если они мне не по сердцу, — с тем чтобы снова войти в поток в какой-то другой, благоприятный миг, когда история тебя позовет... Но главное все-таки не в ней, а в тебе самом. Я смутно чувствовал это и очень часто не продолжал начатого. Вместо этого продолжалось что-то внутри, для чего внешнее дело было только толчком. И это внутреннее прокладывало путь в бытие (как ребенок, еще не зачатый, в одном старом стихотворении Зины) и вело меня через все зигзаги. К пониманию нежных прикосновений вечности, которые история запомнила гораздо глубже, чем грубые наскоки Чингисханов.

А зигзаги сами по себе были любопытные. Можно взглянуть на мою неожиданную сметливость в бою за Калиновку как на одно из бесконечно малых, интегрированных в победу. Я присматривался к войне с августа 42-го по октябрь 43-го; и хотя меня никто не учил, вдруг оказалось, что я вполне удовлетворительно командовал цепью, гораздо лучше, чем необстрелянные командиры в бою за Павловку (февраль 42-го). Под огнем некогда дремать, все чувства напряжены, и голова очень живо соображает, что к чему. Примерно за год офицеры научились командовать полками, генералы — фронтами и армиями. Наша артиллерия была профессиональной уже под Сталинградом. Пехоту, из-за страшных потерь, приходилось каждые несколько месяцев создавать заново. Но и в пехоте к 43-му году сложилось боеспособное ядро офицеров и сержантов; и за какой-нибудь месяц оно заражало молодые пополнения своим духом. Сложился свой стиль — лихой, беспечный. Мы много теряли не только из-за преступлений и ошибок Сталина, а по собственной дурости. Но какой-то минимум военной грамотности и быстрой ориентации в бою был общим достоянием, носился в воздухе. И даже на беспечность пехотинцев можно взглянуть как на разумное приспособление к своему ремеслу смертника. Пехоту расходовали по-сталински — до нуля, до того, что после прорыва укрепленной полосы в полках оставалось по 10 активных штыков: лишь бы пробить ворота танкам. Беречь себя пехотинцу не имело смысла. Беспечность была его принятием судьбы, его панибратством со смертью: «Здравствуй, Цезарь! Осужденные на смерть приветствуют тебя!».

Впрочем, я не уверен, что всё на войне можно рационально объяснить. Прочитав книгу Григоренко (который воевал как диссидент и обманывал начальство, чтобы сберечь солдат), я впервые понял, как много мы *не* делали: касок не носили, офицеры и связисты ходили по переднему краю почти без оружия, пароля и отзыва не знал никто. Так и выпирала из

гимнастеров (застегнутых — когда начальство смотрит — на все пуговицы) душа удалого разбойника. Совершенной немецкой дисциплины в русской армии не могло быть (отдельная дивизия, попавшая в руки Петру Григорьевичу, — не в счет). На войне, в конце концов, сталкиваются два набора характеров, — и преобладающие национальные типы не могли не заявить себя.

В другом месте, разбирая Гимн чуме (и то, что об этом гимне сказал Вал. Непомнящий), я написал:

«У себя дома немец усерден и аккуратен, русский действует довольно вяло (на это Гитлер и рассчитывал). Но когда под ногами разверзается бездна смерти, солдат меняется; и с каким восторгом артиллеристы били по немецким танкам! Я прошел через всю войну и совершенно убежден, что русский человек больше всего чувствует себя человеком именно у бездны на краю (а не в мирной, добропорядочной обстановке; не в доме, который построил Джек. Об этот эффект бездны Гитлер и расшибся...). А потом герои снова становятся пьяницами, разгильдяями и ворами» («Жажда добра», гл. 3).

«Умом можно вывести что угодно, но на войне ратный труд непременно вместе с упоением, а не вместо. Это опыт — поверьте мне на слово. Нет выбора: или песни петь, или стрелять. Попробуйте, подымитесь в атаку без упоения в бою, без какого-то чувства полета над страхом. Ничего не выйдет. Или страх (от которого дрожат руки, немеют ноги и тело не в силах оторваться от земли) — или упоение свободы. Так что по крайней мере одно дело без упоения не сделаешь. Да и всякое рискованное новое дело.

Как вы думаете, ради чего Ермак забрался в Сибирь, терские казаки на Терек — неужто из чувства долга? А не из упоения волей? Не из смутного зова — навстречу опасности, навстречу грозящей смерти? А знаете, какую песню мы чаще всего пели, когда я служил в стрелковом батальоне? Про Ермака. И с особенным чувством:

*Беспечно спали средь дубравы...» (гл. 7)*

Могу прибавить: с особенным акцентом на слове *беспечно*. Я не придумываю народной психологии. Это была моя собственная тогдашняя психология.

Я убежден, что человеку в иных случаях вовсе не страшно умирать. Игра со смертью увлекает до совершенного опьянения. Страшно быть живой мишенью. Страшно быть на войне узбекским крестьянином. В 16-м году узбеки просто сорвали мобилизацию, в 42-м они не сумели это сделать, но настроения у крестьян, не прошедших через русскую школу, были те же. Один из них сказал Ире, на ташкентском базаре: «Вот придут немцы, будем русских резать». Немцы не пришли, и мобилизованным пришлось идти воевать с немцами. Несчастные дехкане собирались кучкой над первым убитым и оплакивали его (а по кучке — минометы, пулеметы), — неумело стреляли себе в руку или в ногу и шли под трибунал и умирали

штрафниками или перед строем, выстроенным буквой П, от пули особиста — в затылок.

Страшно погибать нелепо, глупо, без смысла, по своему собственному или чужому идиотству. В августе 42-го, северо-западнее Сталинграда, я держался за свое место прикомандированного к редакции, потому что хромал, не мог пройти больше 3 км и на переднем крае чувствовал бы себя только мишенью. А в 44-м, не поладив с редактором, сам подал рапорт — на должность комсорга стрелкового батальона, хотя знал, что больше четырех месяцев никто на этой должности не удержался. Если все равно ранение или смерть, то, казалось бы, какая разница — через четыре месяца или через четыре дня? Но не в днях дело, а в игре. Чем интереснее игра, тем меньше страха и больше радости. В первой бою батальона я счел своим долгом пойти вместе с молодым пополнением. Это было не очень нужно. Цепь шла без понукания, необходимости в моем присутствии не было. А потому и захваченности не было, и когда мины рвались неподалеку, мне было неприятно. Другой раз надо было поднять залегшую роту. Я увлекся, страха не чувствовал вовсе — опять летел, как на лыжах с горы...

Страшным оказалось тогда другое. Уже заняв позицию по берегу реки, рота ночью потеряла человек 30 ранеными. От вялого «беспокоящего» огня, на который я (вернувшись на КП) никакого внимания не обратил. А командир роты, бывший начальник тюрьмы Манжулей (Сидорова уже не было, его ранило), не отвел стрелков на 50 м от берега, с топкого места, где нельзя было окапываться, за насыпь узкоколейки. В наступлении струсил, оборвал связь, чтобы не подымать роту, за это получил пару оплеух от комбата (мог под трибунал попасть), роту повел я и я же расположил ее вдоль берега, — не зная, на сколько времени, и ушел, когда Манжулей объявился; не пришло в голову, что он, обжегшись на молоке, будет дуть на воду и бессмысленно выполнять приказ «ни шагу назад», — зная, что за потери трибунала не будет, а за нарушение приказа 227 очень может быть. Вот если бы лошадь убило или покалечило, — надо было писать рапорт с объяснениями. А на людские потери рапорта не полагалось. Только сообщить по телефону, сколько карандашей надломилось (или сломалось). От этой легкости, с какой теряли людей, на сердце кошки скребли.

До сих пор бессмысленные потери той ночи лежат на моей совести. Хотя, по заведенному порядку, не мое это дело — проверять командира роты. Не положено было мне вмешиваться в командование — разве по особому случаю, когда попросят. Попросил комбат найти командира роты, я не стал искать иголку в поле ржи, нашел прямо роту и вывел ее к реке, бегом, так быстро, что немцы не успевали менять прицел, ни одного человека мы не потеряли, — так чего же мне совестно? А всё-таки совестно — своего косвенного участия в ночном идиотстве. Я удивляюсь, как могут спокойно спать офицеры и генералы, которые не по 30, а по 30 000 и по 300 000 теряли зря, по недосмотру или ради штабных условностей. Не есть ли совесть — тоже своего рода страх, страх Божий? И не урод ли человек без этого страха?

Война освобождала от всякого страха. Привыкали — и своей шкуры не жалеть, и чужих. Привыкли до того, что нам, героям, всё позволено. Я очень помню это чувство, в октябре 1944-го, перед вторжением в Восточную Пруссию (у Тильзита). Перейдешь через границу (на ней сразу поставили черную доску: Германия) и мсти, как твоей душе угодно.

Каждый раз, увидев «все позволено» на самом деле, я отшатывался. Первый раз — в начале 44-го, когда вешали пленного. Приказ — вешать немцев, захваченных за поджогом деревенских хат, не вызвал у меня сомнений. Но одно дело приказ, другое дело смотреть, как вешают. Я не был уверен, что именно этот немец поджигал. А если и поджигал, то как может солдат не выполнить, что ему велено? У него было хорошее лицо, и он молча стоял на табурете, стиснув зубы. А кругом возилась толпа, придумывали, из чего сделать виселицу. Деревьев подходящих не было, степь. Меня поразила искренняя радость на лицах солдат и офицеров. Так мальчишки кошек вешают.

Другой раз вышел приказ, позволявший рукоприкладство. Комбат им пользовался по-доброму, чтобы не отдать под трибунал. А меня черт попутал. Ночью была выбрана новая исходная позиция для ожидавшейся на другой день (но так и не состоявшейся) атаки, и капитан (как его звали? Не могу вспомнить) поручил мне привести стрелковую роту (я привык ориентироваться в темноте). Идти надо было под носом у противника, тихо; переполненный важностью выполняемой мною миссии, я ткнул кулаком в бок солдата, у которогобрякнуло снаряжение. Солдат оказался немолодой, в отца мне годился, и негромко, но с сердцем, с болью меня отчитал. Всю дурь сразу выбило из моей головы.

И наконец, в этой самой Восточной Пруссии, в логове зверя, до сих пор помню, на помойке, обнаженный труп девушки лет 15...

Потеряв страх смерти, люди удивительно легко теряют и совесть. В конце войны я был потрясен — сколько мерзости может вылезть из героя, прошедшего от Сталинграда до Берлина. И как равнодушно все смотрят на эту мерзость.

Начальник политотдела 61-й с. д., куда я попал после ранения, подполковник Товмасын, попытался завести партийное дело на командующего артиллерией, полковника Дубовика, участвовавшего в коллективном изнасиловании; но политотдел армии дело прекратил и все бумаги предложил уничтожить. Товмасын был белой вороной, он все время не ладил с начальством; за это ему и звание полковника не давали. Это был человек поколения Крымова — как его описал Василий Гроссман. Старый коммунист, сохранивший что-то от ригоризма первых лет революции. Из Германии он выехал так, как и въехал — на легковой машине, единственный праведник среди командования, за которым тащился обоз трофеев. Командир дивизии, генерал-майор Шацков, вывез 5 или 6 грузовиков с фотоаппаратами и т.п. мелочью и несколько вагонов мебели.

В прекращении дела Дубовика (и в невозможности завести дело на Шацкова) соединились два вырождения: военной героики и героики революции. Сотрудников ЧК времен Дзержинского расстреливали за игру в

карты. Это, разумеется, дикость, и именно так о ней рассказал мне в Бутырьках бывший эсер С.Е. Малкин, изучавший «Известия ВЧК». Но в таких дикостях был огонь революции, фанатизм веры.

Убийство Кирова организовал похабник, любивший распевать песенку:

*Продай, мама, лебедей,  
Вышли денег на блядей...21*

А во время войны грабежи и насилия стали стихией, которую только слегка удерживали в берегах — когда Держиморда хватал не по чину.

К сожалению, такова природа не только советской власти. «Всякая власть развращает, — писал лорд Эктон. — Абсолютная власть развращает абсолютно». И развращает еще до того, как стала властью, развращает в самом проекте власти, в революционной (или диссидентской) антиструктуре, противопоставшей официальной власти.

Ни одно движение не может обойтись рыцарями без страха и упрека. Опасность привлекает и авантюриста, готового на риск, но с тем, чтобы немедленно получить плату за страх: в свободном распоряжении деньгами, в кутежах, в успехе у женщин. Такими были у нас Петр Якир, Виктор Красин... Как-то покойный Анатолий Якобсон спросил Красина, почему тот швыряет направо и налево общественные деньги; Витя ответил: ничего, профессора еще соберут, и со спокойной совестью кутил с дамами и девицами, рвавшимися в объятия настоящих мужчин. Меня не удивило, что карьера Якира и Красина кончилась предательством, я этого ждал, я видел, что идеалы были пропиты заранее, в самый разгар героического хмеля, и трезвое мужество подменено пьяной удалью. А за ней — похмелье.

Перешагнуть через страх, не теряя совести (а по возможности и разума), — очень трудное дело. Никакое знамя не гарантирует чистоты. И религия, принятая на веру, без глубокого внутреннего опыта, ничего не меняет (это показало отречение Дудко, Регельсона, Капи- танчука).

В Берлине, в апреле 45-го года, я впервые почувствовал, что знамя, под которым я сражался, запятнано. Это ударило меня так, что я стыдился своей военной формы. Потом радость победы оказалась сильнее, пятна спрятались, но не до конца. Через год, когда вышла задержка с демобилизацией, все сразу вылезло наружу. И эти, и другие, послевоенные пятна. Я написал, что должен пропагандировать «Молодую гвардию» Фадеева, а меня тошнит от нее. И от всей нашей пропаганды тошнит. Повторяю стереотипы, словно тяжелые камни ворочаю.

Демобилизации можно было добиться иначе, попроще: напиться и поваляться в канаве, желательнее возле офицерской столовой или в другом заметном месте. Тогда дали бы выговор за моральное разложение — и адье. Я выбрал более чистый путь, капать на мозги начальства заявлениями. В принципе можно и так. Однако я не знал себя. Дав волю перу, я не мог его

---

21 О Запорожце мне рассказывала О.Г. Шатуновская (об этом в главе «Пленница истории»).

удержать. Залпом, за два или три дня, написал два заявления — второе гораздо резче и принципиальнее, так как переписывать слово в слово не люблю, а посылалось в три инстанции, и вышло целых шесть...

В моих представлениях было очень много литературы. Мне казалось, что за Отечественной войной непременно последует бурный общественный и литературный подъем — как после войны 1812 года, — и я торопился принять во всем этом участие. Мне казалось, что я вправе уйти из армии, когда война кончилась, и только идиоты мне мешают. Год я терпел установленный порядок демобилизации (я уважаю дисциплину), но когда уехал Товмасян, обещавший помочь, и приехал туповатый полковник из старшин, объявивший борьбу с «чемоданными настроениями», — я возмутился. Дело, однако, не только в частной, осознанной причине. Интуитивно, всем существом я признавал право человека на возмущение, на открытую оппозицию, не находил этого смертным грехом. По моим наивным расчетам, парторганизации предложат проработать меня, дадут выговор (или строгий выговор) и демобилизуют. На самом деле, меня вызвали в политотдел Округа и мимо всех инстанций исключили «за антипартийные высказывания».

Задним числом признаю это решение правильным. Уже изучалось постановление о Зощенко и Ахматовой. Готовилась борьба с космополитизмом. Миллионным потоком шли в лагеря военнопленные. Во всем этом был один смысл, один государственный разум: людям, потерявшим страх на войне, надо было снова внушать страх. Пленные отвыкли от советских штампов, начали думать своей головой — они стали социально опасны. Ленинградцы почувствовали себя героями — они стали социально опасны. Я не сознавал этого, но я тоже стал социально опасным, и на мне поставили клеймо. А с клеймом вернулись страхи — иногда совершенно нелепые. Например, во время валютной реформы я снял с книжки остатки военных сбережений, 1500 руб., и отправил их по почте маме. Они превратились в 150 руб., а на книжке большая часть уцелела бы. Но мне хотелось всё обезличить, стереть с денег связь с моей зачумленной персоной. Я был убежден, что таким, как я, непременно сделают пакость.

Хуже всего то, что пришлось апеллировать. Знающие люди растолковали — нельзя не апеллировать, иначе непременно посадят. А лагерь — это ужас, который не вынести, и надо от него хоть ползком, хоть на карачках.

Я апеллировал. Уже поняв, что выгнали правильно, что сдуру я в 43-м вступил в эту партию. Чувство было такое, словно под пистолетом надо влезть в дерьмо. Пистолет — страх лагеря. Дерьмо — покаянная поза. И я влезал в одежды кающегося и искал аргументы, искал объяснений, придумал, что зачитался Достоевским, увлекся анализом «Записок из подполья» и незаметно отождествил себя с подпольным человеком, от этого — стиль моих заявлений; а по сути они только просьба о демобилизации. Председательствующий на заседании партколлегии выслушал меня и сказал:

— Достоевский — великий русский писатель.

Я мысленно продолжил:

— Волга впадает в Каспийское море.

— Лошади едят овес и сено.

— А ты, жидовская морда, не привязывайся к русской Волге, к русским лошадям и к русской литературе.

Червяк был раздавлен и вышвырнут, как герой рассказа Кафки «Пре-вращение». Впрочем, формулировку мне немного изменили: вместо «антипартийных высказываний» — «антипартийные заявления». Примерно так поговорку «незванный гость хуже татарина» отредактировали в духе пролетарского интернационализма: «незванный гость лучше татарина».

Стиль жизни, найденный на войне, был потерян. Я жил возле книг, но мне ни о чем не думалось и не писалось. Я жил и как бы не жил. Не жил, а выживал. Служил техником в тресте «Союзэнергомонтаж» (выгнали, когда сменился директор), корректором (сам ушел — глаза стали болеть), продавцом в Книжной лавке писателей (опять выгнали, когда опять сменился — точнее, был посажен — знакомый директор. Выгнали «за грубое обращение с покупателями»). Надо было, наверное, добровольно уехать в глушь, в ссылочные места — там полно клейменных. Но я жался к городу, где прошло мое детство и где оставалось двое-трое друзей. Бессмысленно боялся остаться один-одинешенек в чужом мире. Я чувствовал, что знакомые смотрят на меня как на ничтожество, на беспомощного неудачника (все как-то устраиваются — почему не ты?), но ничего не мог придумать и погружался в отупение. Приходил с работы, ложился и скоро засыпал. Душа моя была как в дурмане. Она почти и не просыпалась.

В 49-м Вовка, сделавший карьеру и помогавший мне литературной поденщиной, спросил, заскрежетав зубами, — что я такое наговорил? — Его вызывали, спрашивали обо мне. Я объяснил, что сижу тихо, как пескарь; но, наверное, пошли в ход мои заявления. Про себя подумал: теперь недолго ждать. Ну что ж! Лучше ужасный конец, чем ужасы без конца. Сдал старую шинель в ремонт — пришить новые крепкие карманы. Купил футляр для зубной щетки. И когда за мной пришли, страха не было. Оперативники рылись в моих книжках, а я с аппетитом ел яблоко. Плевать на всё. По крайней мере перестану ходить по детским садам и предлагать по перечислению залежавшиеся книжки.

В модели Бора электрон может находиться на нескольких орбитах и может перескакивать с орбиты на орбиту, но между орбитами ему нельзя находиться. Между 46-м и 49-м (от исключения до ареста) я чувствовал себя как электрон между орбитами, в абсурдном, запрещенном разумом положении. Арест спихивал меня на последнюю орбиту, но на орбиту. Логика и разум снова вступали в свои права. Под ногами, после трех лет жизни вверх тормашками, появилась почва. Тюрьма — это была почва. В 49-м году каждый интеллигент готов был пустить в нее корни.

Бывший з/к Трофимович, заведующий слесарной мастерской, спросил меня году в 51-м: почему сейчас нет смертности? Поколение 37-го года вымирало, даже если не было голода, эпидемий. Простудится — и умрет.



Занедужит животом — и умрет. Я ответил, что для них мир опрокинулся. Арест, лагерь был моральной смертью, и морально мертвые без сопротивления сдавались физической смерти. А за 10 лет все привыкли, что лагерь — часть жизни. От сумы и от тюрьмы не отказывайся. И в тюрьме и в лагере — жили.

Я ехал на открытой легковой машине вверх по Театральному проезду. Навстречу спускался отряд пионеров, с барабанным боем и каким-то бородатым идиотом (наверное, почетным пионером) впереди. И меня разбирало любопытство: что я увижу там, за железными воротами?

## Через страх. Крыло второе

Перво-наперво меня запихнули в бокс (нечто вроде будки для телефона-автомата). 30 октября 1949 г. — воскресенье, некому пуговицы срезать, волосы брить, смотреть в зад. Рядом кордегардия, вертухай учат «Краткий курс». «Вещь в себе, — объяснял один вертухай другому, — это когда она еще не опознана. А когда опознана — уже не вещь в себе...»

Росту я небольшого, свернулся калачиком и заснул. Утром разбудил гул. Я не знал, отчего этот гул, и встревожился: может быть, включили какую-то машину, чтобы заглушить крики? Второй раз обдало страхом, когда фотографировали. Фотограф смотрел на меня с такой классовой ненавистью, что я сел на стул, как будто это электрический стул. Но ничего страшного не произошло. Видимо, еврей-фотограф (единственный еврей, оставшийся к 49 году в аппарате, с которым я столкнулся), хотел подчеркнуть дистанцию между собой и евреями-з/к з/к<sup>22</sup>. (50 % з/к з/к на Малой Лубянке были евреи. Мне говорили, что на Большой этот % доходил до 70, а в следственной части по особо важным делам — до 90.)

В 16 камере страх сразу смыло. Я спросил, бьют ли. Мне ответили: нет, по нашей статье, 58-10, не бьют, и вообще здесь, на Малой, не бьют, только карцер. Карцера я не боялся. При эвакуации из медсанбата в полевой госпиталь натерпелся больше: колотило спиной и затылком на каждом ухабе (я не мог пошевелиться, продолжалось шоковое состояние). Потом стоим и стоим на месте; раненая нога, с которой сняли валенок, коченеет на морозе. Со всех машин вопли. И я вопил. Через час или два везли в другой госпиталь, опять пытка колоченьем о днище грузовика. Опять мест нет. Опять везут. Опять нет мест. И только под утро приняла нас, Христа ради, в свою избу крестьянка Иванова. Избитая спина невыносимо болела. Я стал судорожно дергаться и минут через 20 вышел из шока — повернулся на левый бок. А карцер — подумаешь! Там перебивало полкамеры, многие постарше меня и здоровьем послабее.

Посредине камеры группа з/к з/к играла в «16 вопросов» (дихотомическим делением надо было дойти до загаданного великого человека: Шекспира, Монтесумы, Сеченова.) Меня тут же пригласили, я хорошо знал игру и четко выяснил сперва время, потом пространство, потом специальность. 16 вопросов хватало, и пару дней был чемпионом. Позже чемпионом стал очередной новичок, геофизик Шифман. Он нарушал правила и перепрыгивал через звенья — всегда впадал. Видимо, его интуиция граничила с чтением мыслей без слов. Шифман отгадывал за 78 вопросов.

---

22 Канцелярское множественное число: в/н в/н (вольнонаемные), з/к з/к (заклоченные).

В камере не было дневного света. Воздух проходил через слуховое оконце, оставленное высоко в правом углу замурованного окна и открывавшееся с помощью веревки. Коек 19, людей (на 6 ноября) 43. Вызывали начальника тюрьмы, он весело сказал: разлеглись, как купцы, — и разместил новичков по-двое, по-трое на одном матраце. Душно, тесно. 40 мужчин в нижних рубахах, заправленных в брюки на одной оставленной пуговице, топчутся взад и вперед (от этого топтания и шум поутру). Параша полная. Ночью надо завязывать глаза носовым платком — мешает свет лампочки без абажура. И вызовы: на П... тут подходи к окошку, называй себя — пока не выяснится, кто нужен. И всё-таки мне было хорошо — гораздо лучше, чем на окаянной воле. Там всё время казалось, что я свободен, — и это была ложь. А здесь внешняя сила взяла мою внешнюю свободу — и освободила внутреннюю. Стало совершенно неважно, в каких обстоятельствах я живу (это от меня не зависело. Я за это не отвечал). Важно было только, какой я сам.

С первого часа меня захватило искреннее доброжелательство, с которым группа игроков в «16 вопросов» встретила меня, пригласила участвовать в игре, назавтра — прочесть лекцию, послезавтра — послушать концерт старинных романсов вполголоса. (Исполнитель Иван Федорович, бывший выдвигенец, директор совхоза, потом з/к и после освобождения — печник, пел с большим вкусом, не перебарщивая в сантиментах, и так же обаятельно рассказывал о своем романе на этапе и о лагерной жизни, где «всё можно и всё нельзя».) Я вдруг почувствовал себя дома, среди своих.

На воле только с Л.Е. Пинским можно было отвести душу. Затравленный, но еще не арестованный, он рычал, как волк, рассказывая мне эпизоды кампании по борьбе с космополитизмом. Самым близким товарищем Леонида Ефимовича был тогда попугай Янкель, обученный нескольким подходящим выражениям. Семьи, где я изредка бывал, вызывали только тоску. Евреи потихоньку жаловались, что их выгоняют с работы. А я слушал и думал: что же вы молчали в 29-м, в 37-м? И если тогда было хорошо, то почему теперь плохо? Только у Пинского отрицание было до конца честным, глубоким, целостным. Но одним отрицанием, одной яростью, одними гротесками мысли нельзя было жить. А в камере была радость. Как в бою.

Радость лучилась из инженера Витенберга. Его взяли прямо после Сочи, шоколадного от загара, полного сил, и он со всей силой характера сумел переломить уныние, устроить на Лубянке пир во время чумы.

В 1922 году Витенберга избрали в незаконное студенческое самоуправление (его и Шифмана). Теперь (по инструкции, изданной в 1947 г.) все прежде репрессированные попали в рубрику социально опасных. За какое-никакое, но политическое дело он отделался несколькими месяцами, а четверть века спустя, за одно воспоминание о прошлом, ему шили 5 лет ссылки... Когда я сказал Витенбергу, что восхищаюсь его жизнерадостностью, он на минуту помрачнел и сказал, что по сути всё, что происходит, отвратительно, как провонявший нужник. Но он не хочет

чувствовать себя в нужнике. Витенберг и Шифман часто вспоминали Лубянку 1922 года (и свою молодость), веселый дух студентов, влипших в политическую историю, но никак не сломленных, чуть что бунтовавших, требовавших Дзержинского.

Меня поражали порядки тех лет. Дзержинский раз в неделю обходил все камеры, спрашивал, нет ли жалоб, и немедленно разбирал претензии. Какая разница с нынешним! Один раз зашел прокурор и спросил, нет ли жалоб. Я выступил вперед и сказал, что мне незаконно запретили пользоваться ларьком (никому не разрешали, кроме 15-летнего Шульмана Пинхуса Исаковича по кличке Петя и наседки Шумкова). Прокурор записал и тут же выскользнул, стараясь не замечать других, оробевших при виде начальства, а после меня тоже попытавшихся жаловаться. Видимо, обычаем разрешал ему записывать (и рассматривать) только ограниченное число жалоб.

Еще поразительнее было то, что в легендарном 22-м году анархисты попросили отпустить их на похороны Кропоткина — и их выпустили, на честное слово! Тут же сидели двое анархистов, они с улыбкой подтвердили, как давали Дзержинскому честное слово и на честное слово, без заметной слежки, вернулись на Лубянку.

Я жадно впитывал рассказы. Это была живая, не подогнанная ни под какую идею история. Инженер Черкасов в первый раз сел в 1932 году за переписанный из любопытства памфлет против Сталина. Получил за это два года и отбыл их в сносных условиях. По его словам, кормили лучше, чем на воле. Никаких остатков бывшего братства революционеров уже не было, но садизма тоже не было, к говорящим орудиям относились по-хозяйски. Зато в 36-м — получив по старому делу еще 3 года и попав в категорию КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность), он угодил в барак смертников на Воркуте и уцелел только чудом (вовремя прекратились расстрелы). Черкасов был рассказчик не очень хорошего тона, любил стандартные лагерные шутки, от которых тошнило моего приятеля Соловьева, ветерана Колымы. Но я продолжал слушать; Черкасов замечательно передавал общий колорит лагеря смерти: нары, на которых каждый день кто-то умирал с голоду, а уцелевшие, меняя обличье перевернутой шапкой или еще как, норовят получить лишние 300 грамм штрафного пайка, откликаясь на фамилию мертвеца. Или потом (когда попал в придурки) столовая, где обедали отъевшиеся в/н в/н, а оркестр из голодных троцкистов исполнял танго смерти:

*За полярным кругом  
В стороне глухой  
Черные, как уголь,  
Ночи над землей...*

И наконец, в 1939-м, когда кончились три года, истерическое ожидание: выпустят или нет? И безумный бег, когда выпустили, — скорее, скорее, дальше от ворот лагеря... И — вино, в котором тонул страх вернуться в лагерь. Вино и погубило Черкасова. После армии, вернувшись в

Москву, он спяну что-то наговорил; ему шили опять 58-10, верную десятку. Я думаю, он дожил до реабилитации, но годен был только рассказывать в забегаловках о своей модели физической вселенной, попеременно с похождениями начхима полка Войска польского (из которого был уволен за пьянство и моральное разложение).

Камера была чем-то вроде массовой сцены в романе Достоевского, только без возможности разойтись по домам. Верхи смешались с низами, все возрасты, все нравственные уровни. Был и надрыв: один журналист время от времени начинал истерически кричать, что вот вы шутите, играете, — а через месяц какой-нибудь начальник сядет своей жирной жопой вам на голову; но Витенберг как-то мгновенно затыкал ему рот. Как именно, не знаю. Власть у него не было никакой и рук он в ход не пускал. Но было обаяние сильного духа, подчинявшего себе. И снова сыпались шутки. К сожалению, я запомнил только одну из шуток Витенберга. Нас выводили на прогулку; вертухай напряженно считал по пальцам (надо было выпустить полкамеры); Витенберг, шедший за мной, солидно сказал: «социализм — это учет»; так кстати, так смешно, что я чуть не сел на ступеньки.

Случались сцены, которые реалистический театр не принял бы (слишком театрально). Вот сидит мрачный тип и смотрит в книгу (книги нам давали). Потом отбрасывает ее со словами: «контрреволюционная книга». Это Аксенов, по кличке Абакумов-Аксенов, спившийся и сошедший с ума сексот. В белой горячке ему мерещилось, что воробышки прыгают и чирикают: шпик, шпик, шпик. Аксенов взял паспорт и галстук и послал в конверте Абакумову (отсюда и кличка). Отправили в больницу, но выйдя, он снова запил и приклеил в двери: «Здесь живет агент советской разведки по кличке Волга.». Теперь ему светила Казанская психбольница. Но еще недавно он работал в театре Советской Армии (осветителем, что ли) и писал на всех характеристики. И на театр в целом: «Здесь, под красным флагом, свили себе контрреволюционное фашистское гнездо.»

А вот другая картина. Камера уже посвободнее стала, начало 50-го. Открывается дверь, и входит человек в лохмотьях с лицом нерукотворного Спаса. Кто, откуда — молчит. Сел на нары, помолчал — и вдруг запел:

*Таганка, все ночи полные огня,  
Таганка, зачем сгубила ты меня!*

Как он пел! Вертухай, обязанный пресечь нарушение тюремных правил, стоял у глазка и слушал.

Потом оказалось, что опять — повторник. Когда пришли его арестовывать, от ужаса, что снова начнется, в одном белье выскочил из окна, был схвачен милицией, принят за бандита, избит, чтобы признался бандитом, и только через несколько дней по всесоюзному розыску опознан...

Россия XX века раскрывалась передо мной синхронно (на 1949-й год) и диахронно (с 1905-го), с выходами в немецкие обозы, где служили

«добровольные помощники», и в маки, (куда хиви<sup>23</sup> перебежали). Старый инженер рассказывал, как на рубеже 20-х и 30-х сорвал дело о вредительстве, обнаружив дефект станины, из-за которого получились аварии генератора (тогда еще можно было — и всех арестованных выпустили на волю. На радостях перепились до полусмерти). Один из главных контролеров министерства контроля (скрыл от партии свое анархистское прошлое) — как неподкупный Мехлис с отвращением отказывается даже от чашки чая, которой пытались угостить его, и как он, Фалькович, в 46-м году проводил ревизию ГУЛАГа и обнаружил миллионы мертвых душ, на которых получались пайки. Я посоветовал никогда больше не рассказывать о своей борьбе за честность: зарежут на этапе (мне уже говорили, какой в 46-47-м году был великий голод: воры свое возьмут, начальники тоже, и только туфта дает эску выжить). Тут же в камере образчик лагерной шоблы, шофер Веденин, алкоголик (обматеривший спяну всё Политбюро и попавший по благородной статье), — сыплет тюремными притчами и прибаутками (кое-что помню, но для печати ничего не годится).

Я прибыл в 16-ю камеру безо всяких предварительных теорий, с совершенно девственным умом, очнувшимся после трехлетнего отупения, и впитывал всё, как губка. История свивалась в одну ленту — начиная с борьбы за свержение самодержавия и кончая антисоветской «Молодой гвардией», организованной Володей Гершуни с несколькими другими мальчишками, прочитавшими «Молодую гвардию» Фадеева и брошюру Ленина «Что делать» (издавать газету. Или хоть листовку: «Советское правительство скомпрометировало себя в глазах всех простых людей.»). К этой мощной организации принадлежал и Шульман Пинхус Исакович по кличке Петя (как его официально именовали). Учитывая возраст (15 лет), его не лишили ларька. И два раза в месяц, съев колбасу и масло залпом, он ночью просился на оправку.

В одной камере сошлись Никита Еремеевич, знавший старого Гершуни, руководителя боевой организации эсеровской партии, и Володя Гершуни, внучатый племянник исторического лица, — а впрочем, и сам лицо историческое, один из персонажей «Архипелага». Как в песне:

*Сижу я в камере, все в той же камере,  
Где, может быть, еще сидел мой дед,  
И жду этапа я, этапа дальнего,  
Как ждал отец мой здесь в 16 лет.  
Лубянка, край строго форменных одежд,  
Лубянка, страна фантазий и надежд...*

Володю несколько раз переводили из одной камеры в другую, и очень может быть, что с Никитой Еремеевичем он разминулся, но в 16-й камере побыл, и в моем сознании обозначил сегодняшний день так же, как Никита

---

<sup>23</sup> ШШздаШде. У нас их называли власовцами. Это исторически неверно. Маки (франц.) — в данном случае: партизаны.

Еремеевич — день позавчерашний.

Никита Еремеевич был выловлен и водворен к нам в 1950-м. Богатырского роста, с каким-то самодельным костылем (накануне ареста повредил ногу), добродушный и могучий. Я думаю, в нем было на центнер костей и мышц (жиру нисколько). Нашего пайка, которого и мне, при моих 50 кг, не хватало, ему — на один легкий завтрак. Никита Еремеевич мужественно переносил голод, был ровен, весел, охотно вспоминал стихи, которые запомнил по тюрьмам-лагерям, и с добродушной улыбкой читал Баркова. Очень много говорит о человеке, как он читает такого рода вещи: без ханжества, но ни на миг не захлебываясь в грубых шутках. Накануне ареста Никита Еремеевич отдал директору совхоза в долг все свои сбережения, 2000 руб. (из-за каких-то неполадок не было денег уплатить рабочим), и сомневался — отдаст директор старухе или зажмет. Мы несколько раз обсуждали эту тему, и ни разу я не увидел на лице Никиты Еремеевича злости или раздражения.

В 1905 году этот кроткий богатырь приехал из Москвы в родную деревню и выступил на сходке с призывом к свержению существующего строя; получил за это от Николая Кровавого один год тюрьмы. В Бутырках на Никиту произвели неизгладимое впечатление Гершуни (вскоре повешенный) и Мария Спиридонова (дожившая до расстрела, кажется, в 41-м, при ликвидации Орловской тюрьмы). Не теориями какими-нибудь, а как писала Марина Цветаева Тесковой: всей собой. В партийных программах и теориях Никита Еремеевич мало разбирался, но людей чувствовал и следовал всегда своему внутреннему сердечному впечатлению; так что в тюрьму попал примыкающим к большевикам, а вышел примыкающим к эсерам. Просто потому, что поверил хорошим людям. И я поверил ему и верю до сих пор, что Гершуни и Мария Спиридонова были хорошие люди. Хотя в их партию я не вступил бы; но это совершенно другое дело. Я чувствую, например, что Родион Романович Раскольников — хороший человек; из этого, однако, не следует, что лично я мог бы убивать старушек. И Никита Еремеевич не мог и ни в какую революционную партию не вступал. Только сочувствовал.

В 1917-м он снова примкнул к большевикам и с какими-то оговорками (не вступая в партию) просочувствовал им до 1929-го. Видимо

(пытаюсь понять), большевики 20-х годов нравились ему больше царских чиновников; альтернативы же не было. Подход Никиты Еремеевича к жизни был персоналистическим, теории над этим столяром не имели власти, хотя не так уж он был малограмотен, другие — ничуть не грамотнее — очень даже запутывались в словах. Видимо, террор, продрозверстку и прочее он принимал как неизбежность войны, революции. Но коллективизации решительно не принял, резко против нее выступил, объяснял товарищам, что делается в деревне, и попал в лагерь. Расконвоированный — бежал и много лет прожил по документам, купленным на базаре. Потом разнесся слух, что в 41-м лубянские архивы сожгли (там что-то действительно жгли), и после войны решил объявиться на свою настоящую фамилию (родных захотел повидать). По настоящей фамилии его и выловили.

Камера была полна обломков той могучей человеческой волны, которая смела старый режим и создала новый. То, что получилось, была торчавшая посредине Москвы Лубянка. Но люди, которые разрушили царизм, мне нравились. Просто по лицам своим, по жестам они были лучше советских обывателей, попавших в каталажку случайно, по доносам соседей, позарившихся на жилплощадь, и т.п. Другие глаза. Другие характеры. Старики тихо сидели по углам (одному эсеру было за 70), и всё-таки я их чувствовал. Аура другая.

Однажды провокатор Турицын (один из хиви, зарабатывавший себе сбавку срока) сумел повернуть разговор так, что всех задел за живое и все высказались. Как осветилось изнутри резкое, словно высеченное из камня, лицо анархиста, с какой страстью он говорил, что всякое государство зло! Как горели глаза дашнака! И как просто Никита Еремеевич, не любивший долгих речей, сказал: «А я, пожалуй, монархист. Потому что лучше всего на моем веку жилось при царе».

Никита Еремеевич не был человеком, съеденным идеей; но людей, съеденных идеей (Гершуни, Марию Спиридонову), он любил. Не слишком разбираясь, какая идея их съела. В конце концов, это не очень важно, с человеческой и, может быть, с Божьей точки зрения. Вглядываясь в своих соседей по камере, я не видел существенной разницы между эсерами, анархистами и националистами (один дашнак и один сионист, Декслер, знавший моего отца, по его словам — видного бундовца). Их съели разные идеи, но все они были идейными людьми. Я впервые видел то, о чем писал Маяковский: «За нее на крест, и пулею чешите...». Декслера допрашивали с пристрастием, — стоя под лампой, направленной в глаза, — требовали назвать фамилии сочувствующих сионизму. Он напрягал свою старческую память и называл покойников. На неделю его оставили в покое, потом снова допрашивали. И опять он называл покойников. Я уверен, что живого он не назвал бы ни за что. И так же держался бы анархист — если бы в 1949 году на Лубянке была мода — искать анархистов.

Среди коммунистов тоже были надежные люди. Но идейными они не были; скорее ортодоксальными. Я не настаиваю на точности терминов и сразу же поясню их примером. Одним единственным эпизодом, но очень



многое мне раскрывшим.

Вокруг Витенберга были, насколько я помню, большею частью беспартийные (или забывшие о своей партийности). Но почему-то входил в этот кружок и Неймарк, совершенно сохранивший самосознание коммуниста 40-х годов. Наверное, по характеру его тянуло к бодрым, жизнерадостным людям; остальное отступило на задний план. Неймарк сел за то, что не писал в анкетах об одном мелком грехе: в 1927 году, комсомольцем, воздержался при голосовании троцкистской резолюции. Скрыл от партии свое колебание. Кажется, единственное в жизни. Методы следствия, с которыми он столкнулся, показались ему «несоветскими». И как человек цельный, счел своим долгом, гражданским и партийным, — бороться с «несоветскими методами следствия». Я думаю, его активность — не только личная черта, а в своем роде типическая для ортодоксального марксиста. Недостаточно понять мир (и объяснить его) — надо мир переделать, действовать. В начале было дело. И Неймарк действовал. Он организовал нечто вроде юридической консультации, помогая новичкам, и разоблачал наседок. В камере на 40 человек было несколько наседок. Заметив, что наседка подбирала к себе цыпленка, Неймарк отводил жертву в сторону и открывал ей глаза.

Контрразведывательная деятельность Неймарка не могла остаться незамеченной. Его стали допрашивать ночь за ночью, а днем следить и за попытку вздремнуть сидя немедленно схватывали и отправляли на пару часов в холодную. Неймарк переносил это мужественно, не скулил. Но от широкой деятельности вынужден был отказаться. Только мне (он почему-то был ко мне привязан) продолжал объяснять, что происходит. Вот к нам перевели весь состав небольшой камеры. А через день вводят какого-то человека в гимнастерке, и оказывается, что он работал в одном учреждении с имярек (из той камеры). Знать друг друга не могли, работали в разное время — но почва для знакомства есть. Имярек тут же начинает рассказывать всё свое дело. Гипотеза Неймарка: перед окончанием дела решили прощупать в частном разговоре. Я включаюсь в игру и знакомлюсь с гастролером. Вроде бы человек с воли, а в разговоре мелькают тюремные слова. И говорит он о себе другое — не то, что Неймарку. Значит, всё врет... Через пару дней Имярек вызывают «с вещами». Конец следствия.

Встречались более трудные случаи. Решительно все наседки и гастролеры были какие-то недобрые (эта черта у них общая). Но один из жителей нашей камеры, кажется, Хейфецем его звали, — добрый старик (неискренность я чувствую за 10 метров, здесь ее не было). Объективные данные против него: вызывают раз в неделю днем на час-два. Приходит очень расстроенный. Гипотеза Неймарка: Хейфеца шантажируют угрозой арестовать жену, тяжело больную женщину, и из страха за нее он готов на всё. Готов — теоретически, а стучать не умеет, не может, и каждый раз ему снова грозят. Как это проверить?

Однажды вышло у меня столкновение с Ведениным. Я открывал форточку, он ее пытался закрыть. Типичный конфликт между интеллигенцией и народом. Веденин готов был пустить в ход кулаки, но за меня

сразу вступились несколько человек. Народ оказался в меньшинстве и отступил. Выходя на прогулку, я оказался рядом с Хейфецем; он мне посочувствовал. Я взглянул ему прямо в глаза и сказал: «А может быть, лучше открытый враг, чем скрытый?». Глаза Хейфеца дрогнули от боли. Через час он подошел ко мне и сказал примерно следующее: такому молодому человеку, как я, нечего бояться, если о нем расскажут, потому что ничего плохого о нем нельзя рассказать... И еще раз как-то предложил мне миску супа, сказал, что у него аппетита нет.

Благодаря Неймарку, я «погрузился» (как говорят при обучении иностранному языку) в двойное следствие — на допросах и в камере, — и даже нарочно заводил разговоры с Турицыным — пусть донесет. Ведь всё равно у них лежат мои заявления — чего придуриваться! Кое-какие мысли спрятал поглубже, а в остальном вел себя совершенно открыто, в рамках выбранной роли розового либерала. Какое это было наслаждение — играть, верно, но играть свою собственную роль, с которой совершенно слился, играть один из поворотов самого себя! Какое освобождение — сравнительно с волей, где все время типун на языке! Впервые за три года я выстроил пространство внутренней свободы. После Витенберга, я, кажется, больше всего обязан этим Неймарку. Но не могу забыть одного разговора с ним. После лекции об Иване Грозном он отвел меня в сторону и тихо спросил: правильно ли он понял, что моя точка зрения не совсем ортодоксальна? Я подтвердил. Неймарк вздохнул — и простил мне мою неортодоксальность.

Мне кажется, что слово Неймарк выбрал очень точно. Речь шла не об истинности или ложности, а об ортодоксальности и неортодоксальности; истина была партийна. Она заключалась в верности партии. Партия могла менять свои точки зрения на Ивана Грозного (или на Троцкого), но каждый раз она была права. Не мудрено, что именно эта партия сумела удержать государственную власть; идейные партии, увидев, что идеи потерпели крах, попадали в кризис и вылетали в трубу. А большевики меняли идеи — и удерживали власть. Разумеется, многие старые большевики при этом отсеивались, или попадали в оппозицию, или оказывались не у дел (это были идейные люди, наподобие других революционеров). Но основной костяк большевизма составили люди дела, верившие Ленину (или Сталину) и жаждавшие действовать, организовывать, управлять. Это могли быть люди доброй воли (Неймарк, Иван Федорович); но они не были духовны, не были даже идейны. Они были ортодоксальны. Потеряв связь с линией партии, наподобие Ивана Федоровича, — они теряли и свою идейность и превращались в людей без идейного прилагательного. Эсеры, анархисты, дашнак, сионист свои идеи сохраняли, их идейность была личной; коммунисты, как правило, превращались в *бывших* коммунистов. Таким было, по-моему, основное направление процесса. Какое-то меньшинство шло против течения и сохраняло верность идеям 20х годов. Из этого меньшинства вышли Костерин, Григоренко, Лерт. Но для массы коммунистов верность партии выше верности идее. А я сравниваю именно рядовых коммунистов с рядовыми эсерами, анархистами и проч. (в 16-ю

камеру вовсе не собирали элиту).

Знакомство с живой историей так меня захватило, что для уныния и страхов просто не оставалось места. Впрочем, один раз перетрухнул: вдруг стали допрашивать о Георге Лукаче. Лукача я знал шапочно, вряд ли сказал с ним больше 10 слов, но испугало то, что допрашивали о нем как о преступнике, с которым завтра будет очная ставка. Я подумал, что готовится новый венгерский процесс, и приготовился подышать в следственной части по особо важным делам. Однако на другую ночь уже допрашивали о другом. А в лагере я любовался на плакат-воззвание Всемирного совета мира — с подписью: Дьердь Лукач (Дьердь — по-венгерски Георг).

В общем, следствие было скучным. Неймарк мне заранее все описал и научил, как вести себя: не умничать, не обличать следователей в неграмотности, но и не уступать в основном: ничего не знаю. Выкладывайте свое досье. Если выложите — признаю. И тогда признать две-три фразы, чтобы без карцера, не портя себе здоровья, прийти к 206-й (статья УПК о передаче дела в суд). Оправданий не бывает; срок все равно дадут; но лучше получить 5 лет, чем 10, — и никого не запутать. А для этого надо пройти через машину по возможности туповато, безлично, без лишних слов.

Как это верно, показывает история моего сокамерника Сыркина. Сыркин был убежден, что его посадил Аронов (работал, дескать, в ОКБ, снюхался с гебистами), и на допросах нещадно поливал Аронова. Оказалось все не так. Арестовали Гринберга, за какой-то грешок, совершенный в 27-м году. Он на первом же допросе, в состоянии полной опрокинутости, признался, что разговаривал с Ароновым и Сыркиным о незаконных увольнениях евреев. И все трое получили по десятке за раздувание религиозных и национальных предрассудков в обстановке массовых волнений (58-10, ч.2). В церкви (пересыльной камере Бутырской тюрьмы) друзья встретились, и Сыркин советовался со мной: не набить ли Гринбергу морду? Я не посоветовал: состояние шока, вызванное страхом, — скорее болезнь, чем подлость. Через полчаса Аронов и Сыркин простили Гринберга и вместе сели закусывать.

Пару глупостей я на следствии сделал. Мне показалось, что тема приезда из Польши, в 1925 году, была обмусолена в деле отца, и беззаботно рассказал, как мы с мамой и теткой переходили границу. Следователь очень оживился и записал, что я перешел границу юношей семи лет. Я возразил, что по-русски так нельзя сказать; пришлось переправить юношу на ребенка. Но отец на свидании пожурил меня: оказывается, он сам за полтора года следствия всё, касающееся мамы, тщательно обходил.

Следователей полагается два: первый пожестче, второй помягче. Жесткий, лейтенант Наумов, два раза пытался перейти на мат. Я каждый раз с самым невинным видом, раздумчиво повторял грубое слово ровно три раза: «Что вы тут находите блядского? Ничего блядского здесь не вижу. Нет, решительно ничего блядского...». Второй раз — то же самое. Наумов понял игру и продолжал следствие на том казенно-бюрократическом языке,

который называл юридическим. Мягкий следователь, старший лейтенант Стратонович, должен был (по идее) действовать тонкими психологическими приемами; но с тонкостью у него не ладилось; он просто вызывал меня по ночам и ложился на диван, подремывая, а мне время от времени бормотал спресонок: «Думайте.». Две-три ночи подряд я мог выдержать, больше же у него не получалось, другие дела были. Один раз вошел какой-то начальник в штатском.

— Встать! — Я встал.

— Допрашивается арестованный (или подследственный?) Поме- ранц, показаний не дает.

Начальник стал мне грубить:

— Вы нахал и трус!

— Отчего трус?

— А что нахал, вы согласны?

— Нет, но прежде всего не трус!

— Почему же?

— Я был на войне, имею два ранения.

— В спину!

— Нет, в грудь! — воскликнул я, как Лермонтов: с свинцом в груди и жаждой мести. Хотя он прекрасно знал, что Пушкин был ранен в пах. А меня в грудь только раз цапнуло, я и в санчасть не обратился. Но так поэтичнее.

В заключение начальник велел Стратоновичу выписать постановление — в карцер. За провокационное поведение на следствии. Я был приведен обратно прямо на оправку и нарочно громко, нарочно при Шумкове, стоявшем около умывальника, нарочно весело, со смехом рассказал о спектакле. Расчет оказался верен (не имеет смысла давить на того, кто плохо поддается; бесхозяйственно впустую использовать карцеродни). Мне еще разок вяло пригрозили — и оставили в покое. А если бы я испугался, извели бы одними угрозами. Как Соловьева.

Я много раз говорил Григорию Мосеичу Соловьеву, что заключенных много, карцеров мало, и никто не станет тратить драгоценное средство давления на его пустяковое дело (элементарный повтор. В 37-м, простояв сутки в шкафу и посмотрев на кровоподтеки соседей, подписал, что десятью годами раньше, живя в общежитии, слушал разговоры троцкистов *и соглашался*). Когда Соловьев пытался объяснить, что признание вырвано было под пыткой, следователь грозил ему карцером (обряд заключался в подтверждении старой писанины). И каждый раз Соловьев не умом, а всей кожей вспоминал ледяной колымский карцер, где провел не помню сколько суток за провокационную троцкистскую вылазку (т.е. заявление с просьбой направить его добровольцем на Хасан или на Халхин-Гол). Уцелел только потому, что один из конвоиров нашел эту вылазку не такой уже вредной и пожалел Гришу, подкармливал. Было в моем тезке что-то мягкое, доброе, вызывавшее жалость.

Гриша прекрасно понимал все мои доводы. Но каждый раз, когда его вызывали (на С... без вещей), он судорожно надевал теплое белье (в

карцере раздевали до белья). Страх не был в сознании и не мог быть побежден никакими доводами. Он сидел в подсознании. На Колыме Соловьев как-то барахтался, пытался выжить, но одна мысль о возможности еще раз очутиться в ледяном аду действовала на него, как на Гоголя — мысль об адском пламени. От этого наша дружба. Гриша был старше лет на 10, но нуждался во мне, как ребенок, проходя по темному лесу, — в руке взрослого. А меня привлекала его мягкость и нравственная чистота. (Он вырос в семье староверов, не знавшей ни водки, ни курева, ни мата.)

С Колымы Соловьева выдернули по ошибке. Накануне ареста он выдвинулся — до главного инженера авиационного завода; однако не самолетостроительного, а моторостроительного. Туполев и Архангельский его не выдали, переучили в самолетостроители, но призрак возвращения в лагерь не уходил. В список на реабилитацию Соловьев не попал — срок у него был малый, 5 лет, и к моменту реабилитации Туполева уже кончился. После попытки самоубийства его вызвал генерал, объяснил, что после войны выпускают — и действительно выпустили, с паспортом на основании статьи 39-й (не дававшей права жительства в Москве) и московской пропиской (своя рука владыка). Потом эта инструкция об антипартийных элементах. Рассекретили. Ходил к Туполеву. Генерал-полковник Туполев *со слезами на глазах* сказал ему: поверь, Гриша, я ничего не могу для тебя сделать. Новый арест. И теперь какой-то паршивый лейтенант (но главного в государстве ведомства) играл с ним, как кошка с мышкой, даже вовсе не собираясь съесть, — но как не скалить зубы, видя дрожащую мышку? — И в конце концов довел до обострения язвы желудка, нажитой на колымских помойках. После этого следователь, вовсе не собиравшийся губить ценный кадр, выписал Соловьеву больничный паек. А в итоге — то, что я ожидал: 7-3524. Соловьев схитрил, дал мне знать: сказал вертухаю, что остались в камере 7 кусочков его сахару. Я сообразил.

Между тем, мое дело шло своим порядком. 206-ю подписал уже из Пугачевской башни в Бутырках (после душевой камеры — ледник). И попал в светлую, сравнительно комфортабельную общую камеру. Шахматы, шашки, каждые две недели ларек. Там, впрочем, не было наготове обстановки, которая увлекла меня в 16-й. То ли состав другой, то ли напряжение упало (следствие кончилось, оставалось дожидаться решения ОСО — Особого совещания). И я сам создал обстановку: начал читать лекции, заводил других, чтобы они читали...

Через некоторое время предложил реформу: выделять в пользу немущих не только хлеб, а 10% всех продуктов. Мое предложение было принято единогласно. Однако на другой день Соломон Ефимович Малкин (бывший эсер, рассказывавший потихоньку, за шахматами, историю ЧК) передал, что два человека жаловались ему на злоупотребление авторитетом. Они не решились выступить против, чтобы не оказаться

---

24 Две слившиеся вместе в карательной практике статьи: 7-я — социально-опасный элемент, 35-я — связь с социально-опасной средой. 7-35 давалась проституткам, детям репрессированных, а также лагерникам, имевшим наглость выжить.

изгоями, и вот теперь вынуждены делиться тем, что отрывается от детей, с каким-то подонком, бывшим полицаем, камерной насадкой. Действительно, один из четырех или пяти неимущих был гнусным холуем. Я долго не мог заснуть и думал. Не хотели бы давать — не надо. Никогда никого не травил и не презирал за особое мнение. А по сути. Я ворочался и думал. Принципа у меня сперва никакого не было. Просто понравился один из неимущих, с которым играл в шашки. Немолод, лысоват, нос довольно вострый. В общем, некрасив. Но было какое-то обаяние в улыбке, с которой он, начиная размен, повторял свою любимую поговорку: «главное дело начать, а потом будешь плакать, да кончать».

Во время войны мой партнер оставался в оккупации, пытался строить под немецкой властью несоветскую русскую школу. Когда я спросил, почему, — он твердо взглянул на меня своими серо-стальными глазами и ответил: «Я был свидетелем коллективизации». Других разъяснений не нужно было; мы продолжали партию.

*Чи рыба, чи рак —  
Кандыба дурак.  
Чи рак, чи рыба, —  
Дурак Кандыба.  
Так или сяк —  
Кандыба дурак.*

Эту прибаутку сложили про лубянского следствие; но можно отнести ее ко всему 20-му веку. Если вы против Гитлера, приходится кричать: «За Сталина». А если вы против Сталина, — выходит сотрудничество с Гитлером.

Задумав реформу, я видел перед глазами партнера — и просто закрыл глаза на того гнусного полицая. Теперь я представлял себе, как подслеповатый вел себя при ликвидации еврейского местечка. Или семьи партизана. Особенно мерзкими были бегающие глазки без ресниц. Потом снова вспоминал твердый серо-стальной взгляд заведующего районным отделом несоветского народного образования.

Нельзя было провести реформу так, чтобы помочь одному и обойти другого. И, видимо, всегда так: при отмене пыток, при отмене телесных наказаний. Права человека — это права сволочи. Кусок колбасы в тюрьме — право последнего негодяя. Доктор Гааз не спрашивал, за что каторжники получили срок. Если можно не считать человеком мерзавца, то завтра в мерзавцы попадет Сократ или Христос, и, конечно, я тоже для кого-то мерзавец. Хотя бы потому, что я еврей. Поэтому лучше накормить четырех подонков, чем не накормить одного хорошего человека.

Так в первый раз мне пришлось оказаться на стороне палачей и стукачей. Потом мне это припечатали — в зарубежной прессе, за старых чекистов. Но началось с куса колбасы гитлеровскому полицая.

Соломон Ефимович Малкин этот принцип совершенно принял и потом (за глаза) очень меня хвалил (его сестра оказалась знакомой моей будущей

жены). По духу своему он был правозащитник и рад был возрождению старых традиций русской тюрьмы. Но сам он не пытался их возродить. Опасался, что любая активность с его стороны будет понята как возрождение контрреволюционной эсеровской деятельности, а он выдавал себя за обывателя, давно забывшего о прошлом (и получил ссылку в г. Караганду, где мог работать по специальности). Соломон Ефимович не был трусом. Он имел мужество сохранять свои убеждения (советский человек меняет их вместе с газетами). Но чтобы жить на советской воле, собственное мнение надо хорошенько спрятать, завести внутреннего стукача и внутреннего тюремщика, постоянно надзиравших за движениями сердца. Я никогда не мог этому выучиться.

Волна бодрости, начавшаяся еще при аресте, несла меня и в стальной вагоне, и в карантине. На этой волне я и с Шелкоплясом столкнулся. Но дуракам счастье. Слух об интеллигенте, которого чуть не убили табуреткой, разнесся по лагпункту. Бывший учитель немецкого языка, а потом священник, мой товарищ по этапу, рассказал об этом сионисту (учетчику на лесозаводе, куда карантин выгнали грузить доски); сионист поговорил с правым уклонистом Сорокиным — кажется, тем самым, который когда-то дружил с Авторхановым (слушатель Института красной профессуры, секретарь Архангельского обкома, сидел 14-й год невылазно); Сорокин зашел в карантин и поговорил со мной минут 20 о Гегеле, а потом сказал: «Ну хорошо, я скажу Шустеру (начальнику подсобных мастерских), что вы можете работать нормировщиком». Шустеров считал, что Сорокин — это голова; и я первый раз в жизни попал в элиту (на местном языке — в придурки). Правда, удержаться на теплом месте оказалось непросто. Но трудности пришли потом, а сперва — после легкой работы я целыми вечерами мог сидеть на скверике у бездействующего фонтана и глядеть на махровые маки.

На севере в конце июня — белые ночи. Это понятно. Но откуда фонтан и маки? От лейтенанта Кошелева. Ему неохота было тратить средства по статье «улучшение быта з/к з/к» без выдумки, на какие-нибудь пирожки — и время от времени приказано было соорудить фонтан или расписать столовую в стиле рококо (и расписали, при мне;

до октября расписывали; потом два года завитушки слушали отборный лагерный мат; а через два года их закрасили). Фонтан на моей памяти действовал дня два (водопроводной воды не хватало). Но за маки я искренне благодарен судьбе (после прогулочных дворишков Бутырок — какая это была отрада!). Благодарен старичку-садовнику, которого Кошелев приспособил к этому делу, и самому Кошелеву; по-своему он любил красоту. Это был традиционный русский купец-самодур, энергичный, суровый, по-своему справедливый (повальщики у него *все* проходили через ОП — дыхательный пункт), вспыльчивый, с причудами, с нелепыми выдумками — из таких мужиков, которые шли в гору при Петре Алексеевиче. В советской России стал мастером леса, пошел служить в лагерь (лес пилили з/к з/к) — и взят был в кадры, получил звание (сперва небольшое; заместителем у него был подполковник, совершенный

болван). Меня недолюбливал (и имел для этого некоторые основания), но когда я оказался целиком в его власти (в 53м) — держался по-человечески, спросил, в какую бригаду я предпочитаю идти (мне было всё равно) и сказал: ничего, не пропадешь. Я мог ждать худшего. Кошелеву, как Френкелю (которого Солженицын описывает каким-то демоном), было все равно, что пилить, что строить, с вольными, с заключенными, — лишь бы пилить, лишь бы дело шло. Экономическое развитие России совершенно невысказано без Кошелевых — с погонами или без погон.

Итак, я проводил вечера в сквере, у цветущих маков, и окунался в золотой свет северного лета. Видеть свет солнца! Я вспоминал Гомера. Это и значит жить, в самом глубоком и полном смысле этого слова. После восьми месяцев в камерах я просто смотрел в небо. И я его видел. Впервые за много лет я видел этот Божий праздник. Сердце расширилось и постигало что-то самое важное, что я понял и научился называть словами только много лет спустя.

В фантастическом свете вечера со мной рядом сидел фантастический человек, возвращенный в Каргопольлаг из очередной психушки. Он рассказывал мне, как укрощал взглядом буйно помешанных, крутил романы с сестрами и обыгрывал в шахматы врачей. Я предложил Александрову (так его звали) партию в шахматы. Он возвращал мне плохие ходы, объяснял ошибки и потом лениво поставил мат. Думаю, что и вся его история была правда, только необычная. Александров воевал, дерзил особистам, и они ему схлопотали 10 лет. Но иной человек действительно присужден к свободе. Александров был готов на расстрел (по законам военного времени), только не на подчинение несправедливому приговору. Работать он отказался. Его посадили в центральный изолятор, вызвали к Купцову (надеюсь, что запомнил фамилию), тогдашнему начальнику оперчекистского отдела. И произошло что-то вроде диалога Сугасомы (одного из воплощений Будды) с людоедом Калмашападой:

— Да как ты смеешь! Да я тебя съем!

— Ешь...

История Александрова подтверждает психологическую правдивость джатаки (из прекрасной книги Арья Шуры). Купцов без сомнения видал воров-отказников, готовых на смерть, — но иначе, с блатным надрывом, а не так, философски спокойно. Чем-то его Александров пронял. Не решаюсь сказать, что владыка страха полюбил Александрова, но расстреливать не захотел. И придумал выход: определил в сумасшедшие.

Александров был стоик по натуре. Пару раз я пытался угостить его (в буфете отпускали дополнительное блюдо, котлету с гарниром). Мнимый сумасшедший спокойно и просто отказывался: не хотел привыкать к разносолам, втянулся в баланду. Для меня это было слишком рационально — и всё-таки нравилось. Если бы миром управляли философы, Александрова признали б нормой, а нас всех, прочих, — йеху. Иногда я думаю: что если бы вдруг, по капризу генетики или по благодати, народилось побольше людей такого склада? Наверное, общественный и государственный строй России сильно б изменился. Человека, присуж-



денного к свободе, нельзя испортить ни царизмом, ни большевизмом.

Александрова вызвали; он работать опять отказался, сославшись на свое личное дело; там много чего было написано. И его оставили в покое — до этапа в лагерный психстационар. В эту паузу его судьбы мы и поговорили.

Потом золотой свет вдруг кончился, полили холодные дожди, и начались беды. Так, примерно, в Китае Средних веков исполнение приговоров откладывалось до осени, чтобы не нарушать гармонии природы.

Начальник подсобных Шустеров подловил на выпивке и списал бригадира (номенклатура начальника ОЛПа). Кошелев, оскорбленный тем, что с ним ничего не согласовали, вызвал меня и сказал, что снимает меня. Однако оказалось, что это от него не зависело: я был номенклатурой ОИС (отдела интендантского снабжения). Чтобы снять, надо было доказать мою некомпетентность. На другой день придурки из планово-нормировочного отдела ОЛПа, которым я сдавал рабочие листки, стали их браковать. Я спрашивал, в чем ошибка, и вносил исправления. Каждый вечер сидел в конторе до 11 часов (а в 6 подъем) и пересчитывал зарплату по ставкам в/н в/н (для расчета производства с поставщиком рабочей силы, ОЛПом № 2) и по ставкам з/к з/к для начисления зарплаты. Котловка, описанная Солженицыным, уже была отменена. Введено гарантийное трехразовое питание (при выполнении нормы хотя бы на 50%) и зарплата; либо, если зарплата выходила меньше 260 р. (за питание, одежду и жилье), — начислялись гарантийные 26 р. на мелкие расходы<sup>25</sup>. Для заключенных — лучше кот- ловки, но писанины выходило много, а опыта у меня не было никакого.

Есть такая дзэнская притча: сын разбойника попросил отца выучить его ремеслу. Отец взял мальчика на дело, завел в богатый дом, запер в чулане, наделал шума и ушел. Маленький разбойник был в отчаянии. Потом он нашел слуховое окошко, вылез, обманул преследователей и убежал. Добравшись до дому, спросил отца, для чего тот завел его в ловушку. «А как ты выбрался?» — возразил отец. Сын рассказал. «Ну вот, теперь ты знаешь ремесло».

Моей школой была травля, длившаяся 8 месяцев. Можно было дать лапу (взятку)<sup>26</sup>, и от меня бы отстали (Кошелев про меня, наверное, скоро забыл). Но я предпочитал пойти на общие. Около трех лет на должности, связанной с лапой, я ни разу ничего никому не дал и не угостил. Меня самого пытались угощать — из вежливости выпил, а потом поставил сапожнику те же пол-литра. Больше он ко мне не напрашивался в собутыльники. Вступив в традиционные лагерные отношения, пришлось бы постоянно думать, что кому дать, пить и есть с людьми, которые мне безразличны и прямо противны. Это значило бы потерять внутреннюю свободу. Впрочем, тут не было расчета: я просто не мог иначе. Оставалось

---

<sup>25</sup> Стоимость пол-литра с закуской.

<sup>26</sup> Сейчас говорят «на лапу». Это искажение блатного языка.

делать вид, что я принимаю придирку за чистую монету. Ошибся? Хорошо, переделаю. На другой день докладывал начальнику, и тот, чертыхаясь, приписывал обсчитанному рабочему какую-нибудь туфту. Все это в основном касалось двоих или троих: Печника, столяра, древокола. В делах портных и сапожников контора ОЛПА не разбиралась. Пару раз срезали выработку слесарям. Трофимович на другой день выписал им процентов 200 за ремонт лагерных кастрюль. Заплата там на заплате и пойдешь разберись, какая свежая, какая прошлогодняя. Приходил какой-то гнусный тип- инспектор, проверять объемы работ, но в кастрюли не совал носа — понимал, что Трофимович обведет его вокруг пальца. Только с мрачным видом замерял свежие пятна штукатурки, — словно это были пятна свежей крови. Видимо, напрашивался на пол-литра. Но не получил.

Зато меня и помучили! Удавалось вздохнуть только в выходные дни — три положенных з/к выходных дня в месяц. Но куда деваться в свой выходной? После райского северного лета наступила тьма кромешная. Побродишь на морозце — и в барак. А барак — человек на 100, все бригады, обслуживающие ОИС. Грузчики всегда входили с шумом и пьяными криками. Водку можно была доставать, а шобла (мелкое ворье) любит покуражиться; выпьет на гривенник, шума на рубль. Помню чувство облегчения, когда эстонец Кайв (добродушный увалень, мастер шить офицерские шинели; во время войны служил в войсках СС) схватил хвастунишку, как котенка, вынес из барака и бросил в снег. К счастью, мой сосед по «купе», Василий Иванович Коршунов (тоже изменник Родины), оказался вылитый Иван Денисович. Он опекал меня не без хитрости (я рассчитывал его наряды), но в то же время искренно привязался, добрый был старик; и я к нему привязался. Когда его, Кайва и Сорокина угоняли на Воркуту, в лагерь потяжелее, мне хотелось плакать. Я отдал Василию Ивановичу на дорожку все свои наличные деньги и жалел только, что мало их было — рублей 50 с лишним. А с Сорокиным простился холодно. Он шокировал меня, намекнув на благодарность за устройство на работу. Интеллигент, о «Науке логики» рассуждал! Я сделал вид, что не понял, поломал голову и сам сообразил, как делать отчет, — не стал больше спрашивать... Впрочем, Сорокин и на Воркуте не пропал: встретил его в Москве на площади Дзержинского. Он шел со Старой площади и похвастал, что партстаж ему восстановили с 1920 года. Мы зашли в забегаловку и выпили по 100 грамм.

Масса черных бушлатов постепенно распалась для меня на отдельные лица; и завязывались первые узелки дружбы, которая скрасила мне лагерь. Но в эту первую глухую зимнюю тьму все подавляла тоска по Мирре. Хоть два дня свидания в полгода, хоть в год! А она не едет. Пишет, что дождется (и я не сомневался, что дождется), — но почему верит маминым страхам больше, чем мне? Почему не чувствует моей тоски? Значит, не шибко любит. И эту простую добрую женщину я за три года не привязал к себе. Остается ждать конца срока. А мне сидеть еще четыре года. Как в песне:

*А мне сидеть еще четыре года.*

Четыре года оглядываться на стукачей, бояться второго срока. А потом — жить где-нибудь в Александрове и тайком приезжать к жене, у которой комната и служба в Москве. И опять бояться милиционеров, дворника, соседей, как Ефим Миронович (мой тесть), приезжая к Софье Абрамовне.

Месяца два я молча ходил взад и вперед по дорожкам и носил в себе эту боль. Я не скрывал ее. Когда Виктор спросил — спокойно все рассказал. Но у меня никогда не было потребности в исповеди и в совете. Ответ должен был прийти не извне, а изнутри. И он пришел. Я решительно отказался от *того света*, которым стала воля, Москва, женщины. Я приготовился жить на этом свете, т.е. в лагере или в вечной ссылке. И жизнь вернулась ко мне. Вместе с внутренней свободой пришла внешняя (насколько она возможна в лагере): бухгалтер-ревизор Малиновский, из контриков, отбывших срок, наотрез отказался составлять акт на мои мелкие ошибки (он видел насквозь лапочников, которые меня травили), и свора от меня отцепилась. Я остался, как Брахман, вне всей системы профанических связей и зависимостей. И погрузился в белые ночи нового северного лета.

Случай помог мне поставить на место и Шустерова. Как-то он велел мне разграфить тетрадку, чтобы портниха-вольняшка (из отбывших десятку за КВЖД) записывала туда свои наряды. Мне не понравилось, что эта особа попросила не прямо меня (я бы сделал), а Шустерова. Существовал приказ по лагерю — не занимать нормировщиков посторонней работой (совершенная нелепость на маленьком предприятии, где я фактически был и нормировщик, и плановик, и делопроизводитель, и серое преосвященство, когда Шустеров уезжал в отпуск или в командировку).

— Это в мои обязанности не входит, — сказал я.

— Подумаешь! — возразил Шустеров. — Я сам разграфлю.

— Пожалуйста.

Тут с Шустеровым начался припадок. Бывший начальник милиции Ворошиловграда, а потом жалкий лагерный стукач, оставшийся цепной собакой 1-ого отдела и после выхода на волю (этим и держался), он был одновременно раб и надсмотрщик над рабами, любил потопать ногами — и дрожал, как бы чего не вышло. От моей дерзости у него пена повисла на губах.

— Уйдите с глаз моих, — сказал Шустеров наконец. Я ушел в портновский цех. Бухгалтер Сидоров потом рассказывал, что Шустеров начал диктовать ему бумагу — списать меня с подсобных; и он, Сидоров, отговорил. Думаю, что Сидоров просто помог Шустерову вспомнить, что другой нормировщик, пожалуй, примкнет к партии его врагов, — а я хоть и пропустил мимо ушей просьбу сообщать о непорядках, но, по крайней мере, нейтрален и не участвую в интригах.

Угодливый с большими начальниками и высокомерный с мелким людом, Шустеров был предметом общей ненависти. Моего предше-

ственника, Татынского, поддельвателя облигаций, он подловил на легкой выпивке и списал — фактически за союз с Романовой, старшим бухгалтером, супругой старшего сержанта, ненавидевшей обнаглевшего вольноотпущенника и хотевшей самого Шустерова подловить и снять. За то же самое полетел и бригадир. Не выдержав провала интриги, Романова ушла по собственному желанию... Но крамола в любой миг могла начаться снова. И Шустеров отступил. С этих пор, давая мне какое-нибудь нестандартное задание, он никогда не забывал сказать:

— Пожалуйста, Померанц...

Ну, раз пожалуйста, отчего бы не сделать. Тем более, что с основной своей работой (если не говорить о трех последних днях месяца) я справлялся за два часа и остальное время бил баклуши (буквально. Чтобы поразмяться, колол дрова, в том числе особые коротенькие обрезки для выпечки баранок. Летом я проделывал это в трусах. А когда приходил не вовремя большой начальник, надевал брюки и шел в контору, выписать наряд).

Рабочее время стало для меня временем отдыха и разминки (пара часов игры со счетной линейкой и арифмометром — не труд). А настоящая жизнь начиналась вечером, с собеседниками на платоновском пире. Осторожность мы до некоторой степени соблюдали: беседовали, прогуливаясь, меняя тему, когда навстречу шел трассник<sup>27</sup> (завкаптер-кой, имевший обыкновение гулять по той же большой дороге от столовой к вахте); Сталина называли по-английски — Джо Ужасным (слова Грозный у англичан нет). Но, конечно, видно было, что мы разговариваем не о погоде. Ну и плевать. Страх второго срока пришлось отсечь, как гниющий аппендикс.

Два года я жил под конвоем, но духовно свободным, без цепей страха. А на воле полезли новые страхи. Сперва я боялся даже милиционеров. Привыкнув к конвою (шаг вправо, шаг влево — конвой применяет оружие...), я без него чувствовал себя как бы в побеге. Это прошло, но запретная полоса на палангском пляже еще в 1961 году вызвала неприятные ассоциации. Когда приходилось писать письма в лагерь, я очень нехотя давал свой обратный адрес, — не хотелось создавать магическую связь с тем светом, когда *этим* светом стала воля, и потом приходили страхи — от новых видов оружия, пускавшихся в ход против диссидентов. Это как на войне. Не в том дело, что дорожный инцидент или удар по голове в подъезде страшнее официальных средств воздействия, но они другие, они неожиданные. Всё понятное перестает быть страшным. Все привычное становится как бы понятным. А тут ждешь удара справа — и тебя бьют (или грозят ударить) слева, ждешь спереди — а угроза вдруг сзади. И накатывает волна страха.

Страшнее всего то, что вовсе не имеет физического образа. Я не боялся нарушить многие табу, но каждый раз, выезжая на дачу, пугался ночного шороха деревьев и мышины возни под полом. Особенно мышины возни.

---

<sup>27</sup> Стукач, который ходит по прогулочному маршруту и ловит обрывки разговоров.

Почему-то мне казалось, что это скребутся поджигатели или убийцы, которые вот сейчас прогрызутся и набросятся на нас спящих. Я понимал, что все это вздор, но этот вздор уходил корнями в какие-то детские и даже утренние и предутренние страхи, словно припоминались какие-то травмы прежних жизней — страх погрома в украинском местечке или страх зверей в первобытном лесу. Из шорохов росли серые призраки, обступавшие дом. С рассветом они исчезали. Я нарочно шел зимой с работы через заброшенное кладбище (было такое, неподалеку от метро Новые Черемушки. Сейчас его сравнивали бульдозерами). Проходя мимо могил, пробовал силу молитвы. Помогало. Но в первые дачные дни опять вылезал какой-то архетип страха. Исчез он только недавно, уже после моего 60-летия. Кажется, это связано с чувством, что главное, для чего меня послали в мир, уже сделано, и я готов вернуться к хозяину. С тех пор страхи ушли.

Я не думаю, что всякий страх сводится к страху смерти. На войне я привык к пулям и снарядам, но боялся танков: танки могут окружить, взять в плен. А в плену будут унижать, мучить. Чтобы снять страх, я расстегивал кобуру и клал руку на рукоять нагана: могу застрелиться, как командир и комиссар саперной роты под хутором НовоРоссошанским, 10 января 1943 года. Страх сразу исчезал.

После 50 лет я боялся заболеть раком. Потом, увидев мужественную смерть трех женщин, перестал бояться.

Сейчас меня пугает не смерть, а другое: что судьба вырвет фальшивую ноту и испортит то небольшое хорошее, что во мне накопилось и через меня должно остаться. Или что в новой жизни (если индийцы правы, и карма потащит нас в новые перевоплощения) наделаю каких-то новых, непоправимых ошибок. Или не сумею пройти свой квадрильон, испугаюсь стражей порога, не вынесу какого-то неизбежного страдания — и не пробьюсь к внутреннему свету, отступлю во тьму. Боюсь струсить. Боюсь боязни. Страх — тормоз. Иногда он удерживает от глупостей, а иногда — от броска, за которым Бог.

Многое мне разъяснил анализ страха, который я нашел у Раджне- ша (см. беседу, состоявшуюся в Пуне 18 апреля 1978 года). Слушатель спросил «бхагавана»:

«Когда я был молодым, я обычно ощущал своего рода притяжение, находясь вблизи открытых окон, наверху какого-нибудь высотного здания. Многие из тех, с кем я сейчас работаю, тоже ощущают подобное чувство. Мне кажется, что если я подойду еще ближе, то могу прыгнуть. Насколько я могу судить, это не тяга к самоубийству. Что же это?..»

Раджнеш ответил: «Вы боитесь не обычной смерти — вы боитесь того, что адепты дзэн называют “великая смерть”. Вы боитесь исчезнуть. Вы боитесь раствориться. Вы боитесь потерять самообладание, контроль над собой...

Даже если общество вдруг решит сделать всех абсолютно свободными, люди не будут свободными. Люди не примут свободу. Они создадут свое собственное рабство. Свобода страшна, потому что свобода просто означает, что их не будет. Вы должны освободиться от самих себя. Вы и

есть рабство. Когда рабство исчезает, вы сами исчезаете. Иногда этот страх может появиться у вас у окна высотного здания или возле пропасти в горах. Эта физическая ситуация послужит сигналом для вашей психики. Она может дать вам идею исчезновения, и помните: страх и влечение присутствуют вместе».

Это удивительно похоже на стихи Тютчева, которые меня завораживали с юности:

*Но меркнет день. Настала ночь.  
Пришла, и с мира рокового  
Ткань благодатную покрова  
Сорвав, отбрасывает прочь.  
И бездна нам обнажена  
С своими страхами и мглами,  
И нет преград меж ей и нами.  
Вот отчего нам ночь страшна...*

страшна — и неотразимо влечет. До призыва:

*Дай вкусить уничтоженья,  
С миром дремлющим смешай!*

«Вас влечет к открытым окнам, — продолжал Раджнеш, — потому что вам хочется освободиться от тюрьмы, ставшей вашей жизнью. Но это единственная жизнь, которую вы знаете, и вот появляется страх. Кто знает, есть ли другая жизнь, или нет...

В любовном акте с мужчиной или с женщиной вас охватывает тот же страх, и вы боитесь найти друг в друге окно в бесконечность и потонуть в ней.»

Я заканчиваю мысль Раджнеша покороче, своими словами и думаю: что-то здесь очень верно схвачено. Но в моем опыте был не только и даже не столько этот страх. Господствовало другое: робость от своего неумения выходить из экстаза. Глядя на атакующую цепь, я легко мог преодолеть холодок страха и действительно пойти на разрывы, полететь над страхом (а не только вообразить это). А в любви. в любви было иначе.

Однажды (это было давно) волна любви перехлестнула через порог, в сердце что-то вспыхнуло, вроде вольтовой дуги, и горело несколько часов подряд, погасив своим светом мерцавшие в полутьме предметы, как солнечный свет гасит звезды. Только рассвет переборол внутренний огонь и прекратил его и вдавил в мое восприятие стол, стулья. В эти часы я чувствовал — каждый миг чувствовал, что еще одна йота блаженства — и сердце не выдержит, разорвется. Свет горел ровно, не нарастая; я остался жить. Но сколько ни любил потом — как ни любил, — знание того, что сердце может разорваться от невысказанного блаженства, останавливало.

Чего я, собственно, испугался? «Великой смерти», мистической смерти (после которой ап. Павел, или Мейстер Экхарт, или многие другие испытали преобразование — и продолжали жить)? Нет, не этого! Скорее,

наоборот: остановил страх умереть своевольно, преждевременно, так и не дойдя до чего-то высшего — еще не созревшего во мне. До чего именно, я тогда не знал и не мог сказать, но не хотел идти навстречу обрыва своей земной недоигранной роли.

Я не экстафик. Мне хотелось *заглянуть* за край: за край страха, за край времени и вещей. И я заглянул, я как бы высадился на Луне и прошелся по ней. Но потом вернулся на Землю. И на Земле что-то шептало: «Довольно, ты теперь знаешь, что там.». Другим, может быть, не довольно, а тебе хватит. Твой путь — по опушке, зная, что в глубине дебри, но не теряясь в них, не теряя чувства тропинки под ногами.

Как-то Зина плавала на большой волне. Я встречал ее в прибое и вытаскивал. Там, где надо было коснуться ногами дна и упереться, не дать волне опрокинуть себя, она была очень слаба, могла бы разбиться. Тут я был сильнее. И в нашей глубинной жизни я сильнее в прибое. Это, кажется, и в прошлом главное дело философии: подхватывать экстафический взлет и вытаскивать на берег.

Марина Цветаева писала, что — будь она Эвридикой — ей стыдно было бы вернуться назад. И рванулась — вместе с Марусей — навстречу Молодцу, потому что он позвал ее — *не жить*. Т.е. (как в стихотворении «Луна — лунатику»): «в миг последнего беспаятства — не очнись!». А я всегда — и почти утопая в свете — сохранял разум и пробовал руками простыню (только одно чувство — зрение — повернулось к бесконечному. Остальные — в мире вещей). Я оставался на грани, чувствуя и «здесь», и «там». И безо всякого стыда вернулся жить. Я чувствую в своей жизни замысел режиссера, который мне надо разгадать и выполнить. А не торопиться на небо или в нирвану.

Одного дзэнского монаха спросили, кем ему хочется быть в следующем рождении. Он ответил: ослом или лошастью и работать на крестьянина. И я хотел бы чего-то в этом роде: способности любить и приносить любимым счастье. А вечное блаженство? Но вот бодисат- ва каждый миг чувствует возможность нирваны — и остается на земле. По-моему, это и есть высшее: чувствовать вечность сквозь время, блаженство сквозь скорбь. Любить без опьянения и без похмелья, на пороге экстаза сохранять ясный ум и готовность поддержать любимого, когда он споткнулся и падает.

Для таких людей, как я, экстаз — это то, что приходит (или не приходит) по дороге. Это не цель (цель — пойти и вымыть свою миску<sup>28</sup>). Свободно входить в экстаз и выходить из него могут немногие, большей частью — после долгих лет, даже десятков лет тренировки, настолько долгих, что ни на что другое не хватает времени. Люди созданы для разных задач, и надо понять свою задачу, не испугаться ее, принять ее труды и опасности — но не переоценивать своего дара. Созерцание внутреннего света было мне дано, чтобы я понимал и узнавал людей более глубокого духовного опыта, чем мой собственный, чтобы я с первого дня узнал Зину

---

28 Послушник спросил дзэнского старца, как достичь блаженства. Тот сказал: «Ты уже позавтракал?» — «Да». — «Так походи и вымой свою миску».

и мог стать пространством, в котором она расправилась, и дополнил бы ее поэтические взлеты своим спокойным пониманием — с годами все более спокойным и ясным. И чтобы я в текстах разных религий, рожденных в огне экстаза, спокойно узнавал подлинный духовный свет и не смешивал с лунной палец, указывающий на луну... И чтобы в какой-то миг, казавшийся безнадежным, я понял: можно спокойно жить в рушащемся времени, не пытаясь его исправить, и писать — как на тонущем корабле пишут письмо, кладут в бутылку и бросают в волны — читателю после потопа.

Бог каждому из нас назначил ступеньку, до которой мы должны подняться. Есть незримая иерархия этих ступеней. Есть люди, которым назначено входить прямо в объятия к Богу, и есть другие, которым назначено принимать в свои руки плод экстаза, помочь подвижнику выйти из состояния полета, сложить крылья и встать на ноги. Этот выход из экстаза может быть очень болезненным и даже смертельным. Мне просто повезло, что внутренний свет тогда мягко погас, и я смог — после бессонной ночи, но совершенно без головной боли — пойти в библиотеку и перевести книгу Гензеля «К теории центрально-административного хозяйства». Экстаз, охвативший Даниила Андреева в тюрьме, кончился инфарктом. Блаженная Анжела страдала тяжелой нервной болезнью. Софроний рассказывает о подвижниках, сошедших с ума. Дело не только в риске, идти в атаку тоже очень рискованно и меньше дает (я пробовал то и другое и могу сравнивать). Дело в высшей воле, которая иногда требует этого риска — как от Серафима Саровского, когда он тысячу дней стоял на камне, — а иногда не требует. Есть не одно, а много совершенств. И каждый должен понять свое совершенство и идти к нему, а не к чужому. «Бог не хочет от меня, чтобы я был Моисеем, — говорил цадик Зуся, — Он хочет от меня, чтобы я был Зусей».

Наверное, поэтому духовный путь связан со страхом и трепетом. Бог то влечет к себе, то отпугивает. Метафора оргазма, пущенная в ход Раджнешем, не всегда подходит к случаю. Духовный пик может не совпасть с эмоциональным пиком (радости или ужаса или того и другого вместе), прийти после опыта, в тишине. Приближение к источнику бытия может каждый раз вызывать другие чувства. Но это всегда проблеск истины, скрытой за суетой повседневного. В другом месте Раджнеш выбирает более точные термины:

«В каждом детстве есть сатори<sup>29</sup>, каждое детство полно сатори, но мы утратили его. Рай утрачен, и Адам выброшен из рая. Но воспоминание осталось, неведомое воспоминание, толкающее вас на поиск».

«Иногда вас может так поразить неожиданная опасность, что становится возможным проблеск... И для тех, у кого есть эстетическая восприимчивость, у кого поэтическое сердце, возможен этот проблеск».

«Источником сатори может быть все, что угодно. Это зависит от вас. Это никогда не зависит ни от чего другого (в предметном мире. — Г.П.).

---

<sup>29</sup> Дзэнский термин, который Раджнеш трактует как толчок, проблеск, ведущий к окончательному просветлению, самадхи.



Вы просто идете по улице: смеется ребенок. И может случиться сатори».

«Духовный поиск возможен только тогда, когда с вами случилось что-то без вашего ведома. Может быть, в любви, может быть, в музыке, может быть, в природе, может быть, в дружбе.»

В моей жизни было несколько таких проблесков. Но не было учителя, который провел бы меня от проблесков к совершенному пробуждению. Некому было довериться — кроме Зины. Ей я сразу поверил. И хотя до сих пор не умею созерцать так глубоко, как она, — от нее я многому научился. Но она сама не все знала — или не все могла, придавленная своей болезнью. И наконец она была она, а я был я, и мне надо было найти самого себя, а не только видеть ее. И все же я сразу поверил ей, и это мне очень помогло.

«Религия нуждается в вере, доверии, — продолжает Раджнеш свой ответ слушателю, хотевшему прыгнуть в окно. — Доверие — это дверь, окно в истину. Но мужество будет необходимо. Этот страх, эта тяга к окнам, которую вы ощущали, говорит, что вы с детства находились в поиске. Может быть, этот поиск уходит еще глубже в прошлое, в другие жизни. Так говорит мое чувство. Вы пробирались ощупью, искали. Вы находились в постоянном поиске. Отсюда этот страх и эта тяга. Есть поиск и есть страх, потому что, кто знает, — если вы подойдете слишком близко к окну, внезапно, в какой-то безумный миг вас это так захватит, что вы можете прыгнуть. И что тогда?»

Страх — это тормоз. Он удерживает нас от слишком раннего прыжка, от ненужного прыжка, от не вашего прыжка. Но рано или поздно придется прыгнуть. И тогда надо суметь прыгнуть. Без готовности к прыжку, без созерцания пропасти жизнь не полна.

Артист, вышедший на сцену без трепета, вяло играет свою роль. Но артист, испугавшийся зрительного зала, вовсе собьется. Бог создал нас для известной ему одному роли в большом спектакле. Надо угадать свой текст и суметь сыграть — с трепетом, но без заикания. В самой любви, изгоняющей страх, есть новый страх: за любимого, за любовь, за плод любви... Сама любовь неотделима от трепета, близкого к страху.

Страх — это мавр. Он должен уйти, но прежде — сделать свое дело. Разве не страх бесконечности дал мне непосредственное чувство бездны, с которого началось все мое духовное развитие? Разве можно подойти к непостижимому без страха? И может быть, все земные страхи — только подобия этого великого страха. Искаженные, жалкие подобия.

Странная вещь — страх! Этот вопль: домой, к маме — возле совхоза Котлубань, — куда он рвался? На Восток, в город Джамбул, где мама ютилась в эвакуации? Или в детство, и пусть она оберет с меня личинки страха, как ночью как-то обирала клопов, чтобы ребенок спокойно спал? Или в утробу? Или в лоно Авраамово? Прочь с этой земли, где каждый шаг — страдание и страх смерти, на другую планету, в другую, вечную жизнь?

Почему женщины боятся мышей? Кто когда пострадал от мыши? Какой метафизический знак в мыши? Боятся мыши — и не боятся рожать?

Страх — не вывод, он не поддается опровержению. Можно доказать,

что опасности нет, но нельзя доказать, что нет страха. Женщина, которая боится мышей, знает, что мыши совершенно безобидны, видит, что ее собственный двухлетний сын радуется мышонку, — и всё-таки визжит. Лежа во прахе возле совхоза Котлубань, я знал, что «хейнкели» со своей высоты не видят и не бомбят отдельных солдат; мог бы и не ложиться, в 2 км от разрывов. Но мое знание не было силой. И Гриша Соловьев знал, что лубянский карцер — не чета смертельному колымскому...

Страх бесконечности, охвативший меня в юности, вовсе не связан с реальной физической опасностью. Разве только с опасностью сойти с ума. Это чувство пропасти под ногами, которой физически нет. Я испытал ужас, который можно сравнить с ужасом Флоренского, или ужасом Гоголя перед адом. Ад ведь тоже — тьма внешняя. Бесконечность тьмы, в которую проваливаешься, как атом в мировую пустоту.

Лукреций думал, что атеизм освободит людей от страха перед богами. А-в думает, что до Гамлета люди жили в уютном мире, где царило доверие Богу и не было мучений, как вправить расшатавшиеся суставы времени. Но после Лукреция осталась дурная бесконечность пустоты, а до Гамлета был ад. Для тех, кто способен испытать метафизический страх, перемена мировоззрения ничего не решает. Решает опыт. Пережить выход из метафизического страха непременно надо самому. Чужим опытом не спасешься. Гоголь слышал про опыт великих подвижников, проходивших сквозь страх к свету, но ему от этого не стало легче. Он боялся ада до безумия. От души Гоголя на меня до сих пор веет ужасом; я не поменял бы сомнений Гамлета на этот ужас. С Гамлетом мне не то что уютнее (это слово к нему не подходит), но больше по себе. Я с ним дома, как в 16-й камере на Лубянке.

Непостижим ад, непостижима дурная бесконечность, непостижимо страдание невинных. Это ранит в 16 лет, в 14 лет (Мартина Бубера), в 12 лет (Н.Ф. Федорова). Потом от этого прячутся. А те, кто не прячется, становятся мыслителями, как Паскаль, или сходят с ума, как Кириллов.

*В час смерти близких можем лишь одно  
Припомнить мы, — что сами тоже смертны.  
Лишь только смерть утешит — дом исчерпан,  
Пробоина в глухой стене — окно.  
Нам остается подойти к окну  
И заглянуть в такую глубину...  
И если не захочется закрыть  
Окна и если можно жить,  
Взглянув туда, — то можно глубь потери  
Бездонностью души своей измерить.  
И может быть, как свет во тьме сквозь, —  
Нащупать то, что потерять нельзя.  
Дай Бог, чтоб в опустенья страшный час  
Открылась бездна внутренняя в нас!  
Нам остается только лишь одно:*

*З. М.*

Страх, доведенный до своей метафизической глубины, страх Божий — начало премудрости, начало духовной лестницы, первая ступенька ее. Но это не завершение, не итог, не добродетель, на которой можно остановиться и стоять всю жизнь. Пробуя и пробуя взять несколько ступеней с разбега, приходится опять и опять становиться на первую ступеньку. Держать ум свой во аде и не отчаиваться. Чередование страхов с бесстрашием нужно, как клинку — смена огня и холодной воды.

Страх — чувство. Низшее, чем любовь, но чувство, живой опыт. Мадам де Реналь говорит Сорелю: «Я испытываю к тебе то, что должна чувствовать к Богу: благоговение, страх, любовь». И к Богу, к абсолютному свету, к абсолютному смыслу мира мы чувствуем то, что мадам де Реналь к Сорелю: благоговение, страх, любовь...

Любовь переносит через ужас, с которым Арджуна взглянул на мир глазом Кришны. Совершенная любовь не просто изгоняет страх; она его изгоняет — и сохраняет: как совесть, как опасение обидеть, причинить зло. И в самом полете над бездной остается трепет страха, ставший упоением и восторгом.

То, что мы различаем в мире осколков, становится единым при повороте к целому. Религия тревоги и религия спокойного созерцания ведут к одному и тому же. Для рассудочного восприятия буддизм и христианство — несовместимые принципы. Для апофатической мистики они едины, как лики Троицы. На глубине бытия страх и бесстрашие, смерть и бессмертие, исчезновение и вечная жизнь — одно. Прикосновение к этой глубине дает ключ к свободе от мелких земных страхов. Под Котлубанью мне помогла не идея, а живое чувство метафизического бесстрашия, выплывшее из глубины души. Когда бомбежка кончилась, я встал, пошел в медсанбат и сделал все, что следовало. Хотя внутри меня еще долго что-то ныло, как ноет старая рана (уже не мешая ходить).

Это был первый шаг на долгом, долгом пути, который и сегодня еще не кончился.

## На птичьих правах

Как-то, вернувшись из Ленинграда, я пошел на работу, к библиографическому конвейеру. И вдруг вспомнил архивариуса Линдхорста, который умел превращаться в дракона и летать по поднебесью, а потом снова шел в свой архив...

С ноября 1974 года у меня установился какой-то почти волшебный контакт с публикой, собиравшейся в музее-квартире Достоевского. Первый доклад, «Эвклидовский и неэвклидовский разум», не все поняли, но через день я прочел еще один — не прочел, а на ходу переделал эссе «Созвездия глубин» в нечто вроде доклада «Заметки о внутреннем строе романа Достоевского». Накануне до трех часов ночи записывал на полях новые мысли, наглотался седуксена и димедрола, кое-как заснул. Утром Ленка, подруга Иры, у которой я остановился, насилу растолкала. Пока вставал, умывался, ехал, заседание уже началось. Пришел — и сразу на кафедру. Текст то читал, то, бегло взглянув в пометки, импровизировал. Особенно откликалась одна пара глаз (для каждого устного выступления — с кафедры или с эстрады, все равно — совершенно необходимы такие глаза). Получив от них поддержку, снова окидываешь взглядом то один ряд, то другой; и все почувствовали, что я разговариваю с ней, с ним, с каждым лично.

Год спустя художник Юрий Селиверстов говорил мне, что все у меня рассчитано, всё прием: даже то, как я пью воду. Пил я без всякой задней мысли, горло пересыхало, но останавливался там, где текст позволял, и действительно возникали нужные паузы. Так, наверное, возникают все приемы — нечаянно.

Дело прошлое, я перестал ездить на конференции, когда Белла Нуриевна Рыбалко, директор музея, забрала доклад «Исповедь Ставрогина и Крейцера соната» (потом снова начал, вместе с перестройкой. Но тогда уже многие освободились от немоты). А в семидесятые, любопытно вспомнить, каким профессором я там выглядел<sup>30</sup>. Меня проектировали на существующую социальную структуру, и выходил профессор. А в 65-м, в декабре, даже «членкор» («с овощной фамилией» — мою собственную тогда еще не знали).

Уезжаю из Питера, провожают с цветами, почти физически чувствую, как за плечами полощутся драконьи крылья, потом кое-как запикиваю их в вагон. Трясет, трясет поезд (я ездил всегда в самом дешевом), утруска происходит, крылья сжимаются, съеживаются. Домой прихожу с остатками крыльев. За ночь они окончательно вбираются внутрь, и утром архивариусом иду на работу.

---

30 См. Кузьминский К.К. Три гласа вопиющих // Двадцать два, № 12. С. 217.

Я был внештатный профессор, эссеист, писатель — а в социальной структуре никто. Сказал «писатель» и вспомнил Коктебель. Туда попадал, в Дом творчества, как муж члена группкома литераторов, короче — литератора (самая низкая категория: этот статус занимала когда-то Марина Цветаева; выше стоят члены Литфонда, например — Пастернак; а еще выше *писатели*, члены ССП). Путевку давали только на сентябрь-октябрь и после долгих просьб. Один раз я забыл принести бумажку о состоянии здоровья — какой выговор мне сделали! «У нас *писатели* (с ударением) приносят справки от лечащего врача. *Писатели*» (опять с ударением) — и т.д.

Я по диплому преподаватель высшей школы. Но только один сезон, в 40/41-м учебном году, читал лекции в Тульском педагогическом институте: вне штата, по договорам, на птичьих правах. Так вся жизнь прошла на птичьих правах. Несколько раз пытался тверже стать на земле, написал две диссертации: первую (неоконченную, о Достоевском, частично вошедшую в мою книгу «Открытость бездне», 1990) изъяли и сожгли, другая («Некоторые течения восточного религиозного нигилизма», частично опубликована в моей книге «Выход из транс») была допущена к защите; текст пошел в самиздат и ходил по рукам; но защитить не пришлось. Какая-нибудь причина всегда находится. И постепенно я понял, что это судьба, что так вытаскивается наружу что-то, заложенное во мне самом. Что-то требующее от меня понимания. Птичьи права — это права птицы. Они располагают летать. Или по крайней мере пробовать взлететь, вспорхнуть и упасть, и снова пытаться вспорхнуть... Я ведь гадкий утенок или (что то же самое) человек воздуха.

Даже воевать мне пришлось, в течение двух лет, на птичьих правах — вне штата. Явился в строевой отдел (т.е. отдел кадров) 258-й стрелковой дивизии старшим команды из трех человек, доложил начальнику.

— Образование? — пронизательно спросил меня капитан интендантской службы Беребисский. Я сказал.

— Сейчас же направлю вас в военную школу!

— Уже направляли из госпиталя. Не берут, я прихрамываю.

Из госпиталя меня выписали годным к строевой. Поражение нервного ствола трудно установить, и врачи не решились дать ограничение. В военной школе я бы разошелся, но эстетическое чувство строевиков оскорбляло мое ковылянье. Поэтому меня отправили на фронт.

Беребисский задумался; видимо, перед его умственным взором развернулось штатное расписание. Потом в глазах мелькнуло «эврика»: «Я вас прикомандирую к редакции с зачислением в трофейную команду».

Так из хромого солдата вышел литсотрудник дивизионной газеты. Но внештатный. Штатная должность была занята старшим политруком Сапожниковым. Редактор майор Кронрод, с которым я столкнулся в конце войны (о Кронроде — в гл. 8), говорил, что сотрудников дивизионных газет надо отбирать в три тура. Во-первых, построить в одну шеренгу и на глаз отобрать явных идиотов. Оставшимся учинить диктант для седьмого класса; а с теми, кто напишет на твердую тройку, — индивидуально

побеседовать. Сапожников, скорее всего, не дошел бы до второго тура.

Редактор, старший политрук Черемисин (впоследствии капитан и майор) взглянул на меня подозрительно. Честно говоря, мы сразу друг другу не понравились. Но дареному коню в зубы не смотрят. Мне дали тест: написать очерк «Потерянный штык».

Штыковой бой в истории 258-й дивизии, куда я попал, случился один раз — еще когда она была 43-й бригадой и сражалась под Москвой. Эсэсовцы, презиравшие низшую расу, вылезли, как положено по уставу, на бруствер, с ружьями наперевес, и были уничтожены в честной схватке. Во всех остальных случаях, когда я расспрашивал солдат и офицеров, что было на самом деле в рукопашной, оказывалась одна и та же история: немцы вели огонь, пока наступающая цепь не подходила совсем близко (на несколько десятков метров); а потом что-то в них ломалось. Они бросали оружие, подымали руки вверх, и их убивали прикладом, выстрелом в упор. Во всяком случае, в первые 15-20 минут — в плен не брали. Потом, когда горячка проходила и какой-то фриц, прикинувшийся мертвым, осторожно подымал голову, его похлопывали по плечу, угощали сигаретами и вели в штаб. Но в первые 15-20 минут убивали. Штыки для этой расправы были не нужны, и их выбрасывали. Так же как противогазы. Которые, в конце концов, стали возить в обозе.

В 1944-м введен был новый карабин, со штыком, привинченным наглухо; его можно было отогнуть, но совсем отомкнуть — только в оружейной мастерской. В 42-м таких карабинов не было; с выбрасыванием штыков велено было бороться идеологически. Я вспомнил, как в феврале вышвырнул в кусты противогаз, набивший мне бок, и стал высасывать из пальца сюжет. Суть дела (которую надо было обойти) заключалась в том, что 50% стрелковой роты сплошь и рядом выходило из строя в первый же день боя. Стрелки — смертники, и думать о том, что через три месяца или через полгода штык понадобится, а того гляди и противогаз понадобится, никто не хотел. Сегодня противогаз не нужен, сегодня штык — лишняя тяжесть, и их бросали... Но мой воображаемый солдат служил без износа и убедился, что штык терять нехорошо. О том, что штыки сознательно выбрасывались, вообще не могло быть речи.

У Черемисина был удивительный вкус на ненатуральное. Оно ему нравилось. Года полтора спустя, во время очередной руготни, он вспомнил: «Вы только одну настоящую вещь для меня написали!». И тут же упомянул вторую: гимн 96-й гвардейской стрелковой дивизии, который я сочинил в 44-м под рыбу, т.е. на заданный мотив, по просьбе дивизионного капельмейстера (а не редактора; редактору я непременно сказал бы, что я не поэт и мыслить рифмами не умею, а подбирать общие места не хочу).

Я не люблю вранья. Но с потерянным штыком меня взяли на службу. Потихоньку ковыляя (больше 3 км я не мог пройти), стал ходить в полки и собирать материал для статей. Охотнее всего — «из боевого опыта» (такие статьи заменяли солдатам устав). Но приходилось и скучное делать — про политработу.

Так прошло недели три. Потом нас выстроили, и командир дивизии,

подполковник Хаустович, прочел приказ № 227: «Сегодня, 28 июля 1942 года, войска Красной Армии оставили город Ростов, покрыв свои знамена позором...».

Войска Красной Армии оставили Ростов, потому что их обходили. А обходили потому, что Сталин пытался весной и летом продолжать зимнее наступление и дал возможность немцам прорвать наши наступательные боевые порядки. Вообразите себе фехтовальщика, застывшего в выпаде. Нанося удар, он не может думать о защите, он открывает грудь, голову. И если выпад неудачен, противник наверняка поразит его. А весной-летом 1942-го наше наступление не могло быть удачным. Как только снег растаял, надо было зарываться в землю. Потерян был союзник — мороз. Преимущество немцев в авиации снова все решало. Немцы дали нам возможность забраться в ловушку, обескровить себя в атаках, а потом ударили по флангам, и фронт развалился. Но государственная система была устроена так, что позор на Сталина не ложился, в штрафной батальон (заведенный по приказу 227) отправили не его, и в истории остался только образец мужественного красноречия: «Сегодня, 28 июля.» (попробовал бы другой это сказать. Сразу — срок за клевету на Красную Армию).

Через несколько дней дивизия была переброшена из Московской Зоны Обороны под Воронеж. Здесь собирались перейти в контрнаступление, отвлечь часть немецких сил от южного участка фронта. Но события развивались слишком быстро. Нас снова погрузили в теплушки и снова повезли, мимо дыбом стоявших взорванных паровозов, в степь, северозападнее Сталинграда, возле совхоза Котлубань.

Доехав, редакция окопалась километрах в трех позади совхоза, в неприметной балочке. Наборщик и печатник вырыли ямы и установили в них свое оборудование. Но материала не было. Старший политрук Сапожников молчал или присылал корявые переделки политдонесений (тоже довольно корявых). Фантазировать он не умел, а выходить из блиндажа политотдела боялся. Через день или два мне выписали продовольственный аттестат и отправили на КП (командный пункт).

Блиндаж политотдела был вкопан в склон балки Широкой, чуть повыше большой лужи (может быть, остатка пруда). На краю лужи, наполовину в воде лежала дохлая лошадь. Воду эту все пили, а лошадь никто не оттаскивал: не до того было. Так эта лошадь и гнила. Воронки вокруг КП были залиты испражнениями. Когда подводил живот, приходилось искать, где почище. Впрочем, воронок было много, и рядом всегда была бумажка: «штыки в землю» и т.п. Бумажки попадались довольно забавные, целые книжки с картинками — как три брата Кагановича совещаются со Сталиным в кремлевском подземелье и т.п. (немцы, конечно, знали, что М.М. Каганович в 1938 г. застрелился и Ю.М. тоже след простыл, — но не все ли равно?). В общем, потереться было чем.

Ровно в шесть часов утра на небе повисала «рама» (двухфюзеляжный разведчик «фокке-вульф»). Через полчаса налетали «юнкерсы» и копали новые воронки. Потом «хейнкели» бросали что-то потяжелее, до тонны

весом. Командир дивизии был тяжело ранен, когда выглянул зачем-то из блиндажа. Даже выйти до конца не успел.

Приказ, который он получил от Жукова (а тот от Сталина), был прост: к вечеру достичь окраин Сталинграда, т.е. срезать клин, вбитый немецким танковым корпусом. Дивизия оттеснила немцев на 3 км. Сосед слева почти не продвинулся (3 км были рекордом в этой операции). По открытому флангу противник контратаковал, автоматчики подошли к КП на 200 м. Хаустович бросил в бой свой последний резерв — учебный батальон. Будущие сержанты так и не стали сержантами. Они пошли, как на учении, ни разу не ложась, отодвинули линию фронта от КП — и полегли. Чудом уцелевший комсорг батальона Сидоренко (тогда — замполитрука, четыре треугольника, как у старшины) несколько раз пытался мне рассказать об этой атаке, но красноречием он не отличался. Я больше по лицу угадывал, как все было.

Дальнейший ход операции напоминал наказание шпицрутенами умирающего, которого везут сквозь строй на дровнях (такой случай описан у Герцена). Единственное боевое интервью я взял у комиссара батальона, выведенного на отдых. Маленького роста (примерно с меня), с горящими глазами, он говорил, захлебываясь, что пуля на него еще не отлита (через три дня и его убили). Меня поразило, что батальон — это всего 20 или 30 солдат и ни одного офицера. Потом я к этому привык.

Победа — как рождение ребенка. Муки позабыты, всё смыла радость. Но в августе-сентябре 1942 года родился мертвый ребенок. Я увидел поле битвы глазами Кришны. Покровы майи были сброшены, и то, мимо чего я шел каждый вечер, были груды гниющего человеческого мяса. Потрясало то, что гниющего. Убитые на поле боя — это неперемнная часть войны. Но мертвые должны быть похоронены. А я шел и наткался на руки и ноги, торчавшие из едва присыпанных ровиков. В Афинах судили военачальников, не позаботившихся о похоронах воинов. А власть Сталина могла пренебречь последним правом солдата.

Если бы немцы наступали! Тогда, может, некогда и некому хоронить. Но ведь наступали мы. Т.е. считалось, что наступаем. Делали вид, что мы еще дивизия, что у нас есть полки — а на деле добивали последние взводы. Демонстрировали давление на фланг Паулюса, который прекрасно знал, что давить нам нечем. Не знал и не хотел знать этого Сталин. И демонстрировали мы только одно: свою преданность вождю.

Никогда, даже в Павловке (см. гл. 5), я не чувствовал с такой силой правду солдатской поговорки: не война, а одно убийство. Рядом с полем смрада, через которое я шел по вечерам, стоит в моей памяти только одно: Майданек, груды детской обуви, сваленной в бараке. Но ведь Майданек — это преступление. За него судили и вешали.

Как надо было воевать, я тогда не понимал, кое-какие идеи мне подсказала — сорок лет спустя — книга Григоренко, но ясно было и мне, лопуху, ничему не обученному, что августовское наступление — кошмар. И подбирая отдельные истории о мужестве и уменье солдат и сержантов, я смутно чувствовал, что делаюсь соучастником и укрывателем



преступления. В медсанбате (когда водичка с дохлой лошастью расстроила вдрызг живот) я тосковал, глядя на санитаров: вот бы и мне сюда... Нет героев, нет подвигов, есть только мертвые и изувеченные. И по сердцу только два хороших дела: помогать раненым и хоронить мертвых.

Однако я уже был запряжен в другую телегу и должен был ее волочить. Какой-то смысл в моей работе появлялся иногда на огневых артиллерии. Артиллеристам было что рассказать. Особенно о том дне, когда немцы бросили в контрнаступление танки. Это был маленький намек на будущие победы. На участке в 2 км было подбито 23 машины. Стреляли — кроме наших — еще несколько полков из Резерва Главного Командования. Но мне было все равно, сколько раз будет подбит на страницах газеты «За Родину» один и тот же танк. Главное, что люди хорошо окопались, не давали оглушить себя «юнкерсам» и хорошо стреляли — и рассказывали об этом с увлечением.

А пехота. С ней было так же плохо, как с колхозами. И с ней самой, и с моей ролью поставщика славы. Никому эта слава на была нужна. Собственно до стрелков я тогда ни разу не добрался. Из балки Широкой в балку Тонкую (где стояли штабы полков) ровно три километра: максимум, который выдерживала моя нога. Ходить приходилось ночью. Бегать я еще не мог, а дорога сильно простреливалась. Прыгнуть в воронку не успел бы.

Эти ночные походы в балку Тонкую были полны отчаяния и тоски. Исходный рубеж, с которого началось наступление, выделялся по запаху. И я шел из Широкой в Тонкую и из Тонкой в Широкую по полузарытой братской могиле.

В балке Тонкой — та же тоска. Днем реденькая цепь, составленная из упраздненных обозников, подымалась и снова ложилась, ничего не добившись. К вечеру возвращались в балку политработники, посланные в батальоны. Усталые, охрипшие, они по долгу службы пытались мне что-то рассказать, но я чувствовал за их словами то же, что по дороге: тоску и отчаянье.

Я вспомнил свой солдатский опыт — как нас выложили на снег. Даже не цепью, а кучей, и снег постепенно розовел пятнами крови. То, что я тогда испытывал, наверное, испытывала бы мишень, если бы могла чувствовать и думать. Или кусок мяса, который проворачивают в мясорубке. Додумать тогда мне было некогда. Я был захвачен другим: выстоять, вынести. Я давил в себе тоску, сознание бессмысленности всего, что делается. А теперь я мог подумать. Убивали не меня, убивали других — и грызла тоска.

Почему-то особенно помню разговор с парторгом 405-го полка. Я вообще предпочитал иметь дело с комсоргами. Их только что назначили из солдат, и отношения складывались на равных. Но этот парторг все время держал комсорга при себе, как сына или младшего брата, и я привык к обоим. Ограниченность старшего была написана на его конопатом лице. Просто дубина. Месяца три спустя он не принял в партию минометчика, отец которого был раскулачен. Это в декабре 42-го, на фронте, когда на такие вещи обыкновенно плевали. У парня даже слезы выступили на

глазах. И комсомольская организация осталась в дураках — она этого младшего сержанта (кажется Гранатчикова) рекомендовала. Словом, дубина дубиной. Но какая-то в нем была простота и искренность.

Парторг никогда не отказывался давать мне материал, но в этот вечер он с трудом выдавливал из себя слова. Видно, чувствовал, — не сознаваясь себе, — что все это фальшь. Ну, провел сержант Иванов на рассвете партийное собрание, и коммунисты пошли вперед... А потом? Потом продвинулись на 100 или 200 м и опять залегли. Т.е. вылезли из своих кое-как выкопанных ровиков и теперь должны их копать заново, под минометным огнем и бомбежкой, долбать твердую землю маленькими солдатскими лопатками.

Артиллеристы возят о собой большие лопаты, кирки и окапываются за ночь намертво. Год спустя, на подступах к линии Вотана, я прыгнул в ровик третьим. Подо мной лежали еще два солдата. Бомбили пикировщики, точно, как на учении, наверное, доложили, что батарея уничтожена. А когда улетели и мы оглянулись — всего только подбит один миномет и контужен один солдат. Другое дело пехота. Пехотинец в наступлении голый. И эти продвижения на 100, 200 м — нечто вроде коллективного хакири.

Но надо было говорить о подвигах, и парторг выдавливал из себя подвиги. Потом человеческим голосом заговорил о другом: «Где теперь моя жена? Спит, наверное, с немцем.». Помолчал немного и прибавил: «Ну ничего, дойдем до Берлина — мы немцам покажем!».

Я был поражен (потому я запомнил). Какая тут логика? Почему мы, гуманисты, должны повторять фашистов? И почему это говорит парторг? Куда девался реальный гуманизм — логическая основа коммунизма? Все эти вопросы остались во мне невысказанными. Но я вспомнил их в 1945 году.

Сам парторг, впрочем, до Берлина не дошел. И комсорг не дошел. Обоих убили 9 или 10 января 43-го.

Вскоре после нашего разговора в балке Тонкой издан был приказ № 306. Оказывается, в степи нельзя воевать так, как в лесу. Нужны более редкие боевые порядки. Я думаю, нужно было еще очень многое (например, не отдавать невыполнимых приказов и давить на фланг Паулюса ночными атаками, используя время, когда «юнкерсы» не летают). Но если все дело в редких боевых порядках, то почему два военных гения, Сталин и Жуков (руководящий операцией), не завели таких порядков? Ребенку известно, что на Нижней Волге лесов нет. Впрочем, ребенку известно и то, что на севере зимой холодно. Но теплое обмундирование было заведено только после финской войны. Не потеряв нескольких сот тысяч или миллионов, гений Сталина дремал. А потом печаталось очередное «Головокружение от успехов», и мы, как идиоты, радовались, что там, в Кремле, бодрствует великий ум.

В балке Тонкой я кое-как записывал фамилии, возвращался на КП и утром, лежа на солнышке, кропал статейки. Работа легкая, я выполнял ее за час. Сапожников мне завидовал — он творил мучительно долго. Но его

душа была, кажется, спокойна (у него не было ни ума, ни в воображения). А в моей — как в животе, который никак не мог переварить воду с дохлой лошадьё. Никогда я не выглядел так отвратно. Исхудал, в очках уцелело одно стеклышко (и то — на левом глазу). А на лице этого огородного пугала было написано то, что в современной философии называется абсурдной ситуацией. Подныривать под абсурд я тогда не умел и медленно захлебывался.

В это самое тягостное для меня время помначполитотдела по комсомолу, высокий красивый юноша, весь в блестящих ремнях, вдоль, поперек и крест-накрест, — предложил мне стать комсоргом управления дивизии. Должность внештатная, и в полевых условиях занимать ее мог только человек, который бывает и в первом, и во втором эшелоне. Кроме меня, просто некого было на нее поставить. Иначе, конечно, выбрали бы кого попримичнее, чем доходягу в обмотках, шинели не по росту и с одним стеклышком на левом глазу.

— Мы вас и в партию примем, — сказал помнач, уговаривая меня. Я просто не посмел отказаться. Сам бы не торопился — но отказаться! Это совсем другое дело. Тогда надо было сказать что-нибудь в объяснение — например, отец у меня репрессирован, подождать бы, пока больше себя проявлю... А мне это без прямого вопроса говорить не хотелось. И без того кадры чувствовали во мне чужого. Сапожников прямо шипел на конкурента, подрывавшего его профессиональный престиж. И, видимо, с его подсказки замнач, батальонный комиссар Штейн, спрашивал меня, на самом ли деле я хромаю (видимо, судачили, что я притворяюсь). И вдруг я кому-то в политотделе оказался нужен. Словом, я согласился. Потом уже стал вживаться в новое положение и подумал: раз я попал в систему политорганов, то как оставаться беспартийным? Если мы победим, то террор окажется ни к чему и перегибы 37-го года будут исправлены. А не победим, так жидов и комиссаров в один ров. И постепенно я привык к своей партийности. Приняли меня по-фронтовому, без вопроса об отце. Хотя принимали два раза: документы парткомиссии сгорели, и в марте процедуру пришлось повторить.

Новые обязанности мои были несложны: один раз в месяц собрать членские взносы и иногда написать рекомендацию в партию от имени общего собрания (которое я ни разу не собирал). За взносами я заходил в штаб дивизии (комсомолец-переводчик), в прокуратуру (комсомолец-следователь). Сперва чувствовал себя неловко, потом привык. Одна внештатная должность подперла другую, и установилось (за полтора года) равновесие, хрупкое, как всё в моей жизни. Трофейную команду расформировали. Я нигде не состоял в списке, нигде не получал денежного и вещевого довольствия. Но вся дивизия знала меня в лицо и по фамилии; я был ничто в военной иерархии, но ничто всем известное; ничто, ставшее лицом. Не было такого батальона, такой батареи, где я бы несколько раз не побывал.

Примерно с конца сентября прекратились судороги нашего мнимого давления на фланг Паулюса. Покойников захоронили как следует, смрад

прекратился. Плотность огня упала, расширилась зона, по которой я мог ходить днем. Над степью, огромными перекатами уходившей на Запад, развернулось огромное синее небо, и на нем засветило холодное октябрьское солнце. Оно светило и в августе, и в сентябре, но тогда как-то не мог я видеть его сквозь дым разрывов и смрад. Только сейчас я увидел и степь, и небо, и солнце. А временами чувствовал, что мои корреспонденции доставляли артиллеристам радость. Примерно как артистам — хорошая рецензия. И артисты с удовольствием встречали меня и с удовольствием рассказывали, как они играли свою роль.

Дивизионной газетке положено писать о рядовых и сержантах, и я этого в общем придерживался. Но косвенно слава распространялась и на командиров взводов, рот, батарей, батальонов. Как только начались победы — всем захотелось славы. И я доставлял гладиаторам это утешение. И по мере того как работа начинала мне нравиться, снова спускалось покрывало майи, и мое «я» растворялось в армейском «мы», для которого статейки, вырезывавшиеся из газеты, и железки, прикреплявшиеся к правой или левой стороне гимнастерки, были кусками вечности. Железки тоже иногда давались по следам моих заметок...

То, что увлекает людей действовать, участвовать в истории, сражаться, можно сравнить с брачными играми животных. Играет Бог, окутывая бытие завлекательными образами. Играет человек, создавая самому себе приманки. Во время войны эта человеческая игра шла живее, чем в дни мира. Миллионам людей дали оружие, дали видимый, осязаемый образ зла и возможность победить его. Месяц за месяцем ничего не выходило. А потом что-то начало клеиться, и солдат, обманувший смерть, взлетал на крыльях славы.

Майя — милость Божья, высокая милость. Надо быть только достойным ее, способным понять ее игру, увидеть в знаке — знак, в образе — образ. Весь видимый мир — майя, след лилы (божественной игры). Человек, вглядываясь в игры Бога, создает свои игры, свой слой майи: героики, славы, исторического величия...

За подобием подобие, за покровом — покров. Поле смерти под Котлубанью реальнее орденов и медалей. Но и трупы, и смрад, и отчаянье — все это тоже майя, ничто — сравнительно с последней глубиной:

*Мир лишь луч от лика Друга.  
Все иное — тень его...*

*Н. Гумилев. Пьяный дервиш.*

Пока я ковылял по степным перекатам к северо-западу от Сталинграда, будущий генералиссимус отозвал Жукова в Ставку. Приехал Рокоссовский и сказал: «Дивизий много, а воевать некому». Часть дивизий расформировали. Нашу пополнили за счет 207-й. Готовилось знаменитое окружение Сталинграда.

Передвижение войск к месту будущего прорыва застало меня в ре-

дакции, оставленной на старом месте из-за нехватки транспорта. Из-за той же нехватки меня не взяли в политотдельский грузовик. Впрочем, местечко для меня нашлось бы, но Сапожников, пытаясь от собственной важности, сказал, что мест нет и мне надо двигаться с редакцией. Я подчинился.

Ночью подмораживало. Спали, прижимаясь друг к другу, в крошечном блиндажике, врытом в склоне балки. Потом какая-то попутка довезла меня до КП. Но это оказался опять второй эшелон КП — на исходном рубеже перед прорывом. Дивизия ушла вперед, в прорыв. Старший политрук Сапожников (перекрещенный в капитаны) и инструктор, старший лейтенант Королев собирались догонять первый эшелон пешком. Меня Сапожников опять не хотел брать с собой: буду задерживать своим ковчеганием. Я ответил, что задерживать не буду, если отстану — пусть бросают, доплетусь сам. Ни карты, ни маршрута у меня не было. Хоть начать дорогу хотелось с офицерами, знавшими, куда идти.

По дороге Сапожников несколько раз снова говорил, что ждать меня он не будет. Я молчал и шел. Нога сперва не болела (расходилась за три месяца), потом стала болеть, потом болела сильно, но автостоп перестал действовать. Через 19 км оба политрука устали и решили заночевать. Я мог бы, стиснув зубы, пройти еще несколько километров.

Признаюсь (хотя это смешно): я шел и не верил, что Сталинград действительно окружен. Какая-нибудь дырка у немцев есть, а нет, так сделают. Знаем мы эти окружения. Сам воевал в феврале против окруженной немецкой 16-й армии, южнее Старой Руссы. Гитлер поддержал окруженных авиацией, перебросил по воздуху финских лыжников, те блокировали леса (по которым мы запросто обошли бы деревни, занятые немцами: у них ведь не было зимнего обмундирования) — и наше наступление захлебнулось. 16-я армия до сих пор цела, а у меня осколок в коленке... Если мы окружены — нам капут, а если окружены немцы — они вывернутся!

То, что я так думал, — не ахти какое событие. Я был мелкой сошкой, к тому же сошкой покалеченной, которую война тащила за собой, как кошка тянет за хвост попугая. Но, по-видимому, так же думал Гитлер. И именно поэтому я ошибся: сталинградское окружение состоялось. Если бы Паулюс получил разрешение на прорыв, он непременно прорвался бы, и не получили бы мы в плен генерал-фельдмаршала. Но Гитлер не хуже меня помнил твердость 16-й армии и решил повторить тот же стратегический ход на Волге. В конце концов, что изменилось с февраля по ноябрь? Там хоть снег был, под Старой Руссой, а здесь ни снега, ни морозов. Когда немцы не засыпаны снегом и не окоченели от холода, наступать русские не умеют. Только что это подтвердило жуковское наступление в августе-сентябре. Господство в воздухе казалось полным и бесспорным. Опираясь на него, Гитлер имел все основания удерживать в своих руках крепость Сталинград и не дать в руки Сталину козырную карту в войне мифов.

Сегодняшний читатель с детства знает о сталинградской победе. А я промерил ногами сталинградское кольцо и все еще не верил. Вот рассеются облака, и «юнкеры» дадут нам жизни. И правда, когда мы дошли до

хутора (кажется Рачковского) возле передовой, засияло солнце и «юнкерсы» прилетели. Но одновременно со мной в хутор вступил полк зенитной артиллерии. Впервые на моих глазах земля защищалась. Майор, командовавший полком, был ранен (он корректировал огонь, стоя во весь рост, окопаться не успели). Неподалеку от ровика, из которого я глядел на сражение, двое славян никак не могли оторваться от бочки с искусственным медом. Их покалечило, и патока смешалась с кровью. Однако потери были, по старому счету, небольшими Немцам понаделали дырок, один самолет задымился. Они кое-как отомбились и больше в этот день не прилетали. Кордебалет не состоялся.

В ноябре 1942 года перелом еще не произошел: он происходил на глазах. Я его не сразу заметил. И Гитлер не сразу заметил. Но допустим, он вовремя спохватился бы и дал Паулюсу приказ отступить. Вышли бы из окружения 150, ну 250 тысяч немцев. А вслед Паулюсу двинулся бы весь Сталинградский фронт со всей своей артиллерией. Быстро был бы восстановлен сталинградский транспортный узел (паралич которого очень затруднял наше наступление). И все равно, нельзя было предотвратить разгром итальянцев на Среднем Дону и венгров под Воронежем. И все равно, туз сталинградской победы остался бы в руках Сталина. Приказ отступить от Сталинграда — это признание, что войну против России нельзя выиграть. Гитлер был по-своему прав, отказавшись от такого признания. И именно в результате этого неудача стала катастрофой.

Фюрера вела судьба — до 19 ноября к победам, после — к поражениям. До 19 ноября гением был Гитлер, после — Сталин. 15 лет спустя поэт Николай Глазков был исключен из Литературного института за двустушие, которое я воспроевду по памяти:

*Слава — шкура барабанная. Сможешь — колоти в нее.  
А история решит (или: посмотрит?), кто дегенеративнее.*

Солдаты, упершиеся в Сталинграде, как бы удержали в своей груди, между ребер, острие гитлеровской шпаги. И теперь Гитлер, а не Сталин, оказался в положении фехтовальщика, застывшего в выпаде, с открытыми боками...

Первая реакция Сталина на выход немцев к Волге была истерической. Наша полумиллионная армия, наскоро брошенная в бой, истекла кровью, ничего не добившись. Но Сталинград держался. И Сталин вовремя понял, что город становится ловушкой. И дальше он играл, как по нотам, скупно посылая через Волгу пополнения, поддерживая в Гитлере надежду, что город вот-вот будет взят. Захватывая квартал за кварталом, немцы месяц за месяцем сохраняли наступательные боевые порядки, со всей ударной силой в центре и почти открытыми флангами. А в это время создавался кулак для контрнаступления. Сталин обладал огромной волей, хотя тупой и темной. Идеи он брал у других. Но выполнял с яростью. На войне темная воля хорошо работает — может быть, лучше светлой. Все резервы были введены в бой внезапно. И внезапно оказалось, что не только русские морозы, но и

русские генералы могут бить немцев.

Войну решили те (большую частью убитые) солдаты, сержанты, офицеры, которые не бежали, хотя справа и слева бегут (или кажется, что бегут: бегут раненые, связные, связисты — и кажется, что бегут все). Решили вера в ближайшего командира (вроде лейтенанта Сидорова) и умение этого командира управлять ближним боем. Стратегический план? Но он получил смысл только от того, что Сталинград держался. А в Сталинграде командующие сплошь и рядом не имели связи с частями, батальоны держались сами по себе (это хорошо описал Гроссман). Решил дух, охвативший ополченцев и солдат. Откуда он взялся, этот дух, — никто никогда до конца не объяснит. Но одно обстоятельство бросилось мне в глаза: началось с обороны городов. Город не только тактически удобнее защищать (особенно город приморский, когда море — в наших руках). Он и социально крепче. Там собрано население, готовое взяться за оружие. Там есть исторические воспоминания, захватывающие сердце. Там не прошла коллективизация — и меньше людей, ждавших немцев. Нашествие прошло, как ураган, по русской деревне и споткнулось о города: Одессу, Севастополь, Ленинград, Тулу, Сталинград. В Туле даже не было опоры на море или на большую реку. Город можно было окружить. Его почти окружили — и все-таки туляки держались, пока Гудериан, выведенный из себя их упорством, не позабыл о собственных флангах — и начался разгром немцев под Москвой.

То, что мы лежали на снегу в Павловке и в тысяче других мест и позволяли себя убивать, стоило, на весах бога войны, не меньше, чем расчеты генштаба. В течение полутора лет жертвы приносились напрасно. Но потом бог войны сказал: достаточно. Я напился вашей кровью. Вы перестали быть лопухами-ополченцами. Вы стали солдатами. И я даю вам победу.

В октябре 41-го года меня научили надевать поясной ремень, держа пряжку в левой руке, как положено в армии; но незаметный брючный ремень я надевал по-штатски, наоборот, — держа пряжку в правой руке, — как символ своей внутренней независимости. Не помню, когда — у меня это не совпало со Сталинградом — я взял пряжку брючного ремня в левую руку. И до сих пор так делаю. Война вошла в меня. Я внутри стал солдатом и в иные минуты до сих пор чувствую себя солдатом. Солдатом-одиночкой, давным-давно отколовшимся от всех армий и ведущим свой собственный бой. Безо всякого расчета на победу. Просто потому, что без этого я не буду самим собой.

Таких бесконечно малых сдвигов было 20 000 000. Фюрер ошибся не в ноябре 1942 года, а в июне 1941-го или еще раньше. Ошибся во многом. Все величины, из которых он исходил, оказались неоднозначными. О русском солдате я уже писал в гл. 5: «у бездны на краю», во время чумы он показал себя не таким, как в дни мира. Но дело не только в этом. Получше заработала советская экономика, поставленная на военную ногу. И вся советская система неожиданно лучше работала. Война дала то, чего системе не хватало: конкурента — и подобие рынка, на котором ее товар

(полки и дивизии) сталкивался с иностранным. Разбивая Ворошилова, Буденного, Тимошенко, немцы проложили дорогу Рокоссовскому, Коневу, Баграмяну, Черняховскому...

Сталин не был военным гением, но идиотом он тоже не был. За полтора года он выучился выбирать генералов и разбираться в штабной работе. Очень многие короли, цари и диктаторы этому выучиваются. И очень многих королей и царей за это причисляют к лику святых. Сталин — не первый и не последний.

В эти дни Семен Кирсанов сочинил «Вольное слово Фомы Смыслова», русского бывалого солдата: «Немцы нас научат воевать, а мы их отучим». Не понимая, впрочем, всего страшного смысла поговорки: немцев мы отучили от Гитлера, а себя приучили к Сталину. Любопытно, понял ли это Кирсанов в 49-м году, во время борьбы с безродными космополитами?

Пока Манштейн рвался на выручку Паулюсу и Еременко его отбивал, на нашем участке сдвигов не было. Интенсивность огня после Котлубани казалась небольшой. Да и я стал другим — размял ногу, легко бегал. Можно было ходить на передовую днем. Если снаряды рвутся то здесь, то там — плевать. Беспокоящий огонь. Не намного опаснее, чем перебежать улицу на красный свет. Но вот я иду на передовую, а оттуда связной или связист (выяснить не пришлось). Когда мы почти встретились, один снаряд — перелет, другой — недолет... В декабре 42-го я уже понимал язык войны: вилка!

— Ложись! — крикнул я встречному солдату. Мы нырнули в воронки, и сейчас же грохнул залп батареи (четыре разрыва: бах-бах-бах-бах!), потом еще залп. Третьего не было. Нас условно уничтожили. Теперь можно было вскочить и разбежаться. Палить батареей по одиночному солдату не положено. Впрочем, пока берут в вилку (перелет, недолет), я опять спрячусь. Каждый день стал для меня увлекательной игрой, не очень опасной — не то, что ходить в атаку, — но постоянно возбуждавшей чувство. Человек (по крайней мере мужчина) создан для того, чтобы встречать опасность и бороться с ней. Я полюбил привкус риска, и тепло от печурки в блиндаже после целого дня в поле, и мгновенную близость с людьми, над головами которых свистят те же пули... Чем ближе к переднему краю, там эта близость больше. Обходя штабы полков, я прямо шел в батальоны. Если нельзя днем, то ночью — но в батальоны и роты.

И постепенно складывалось пространство свободы. Роль солдата трофейной команды, прикомандированного к редакции и попавшего в систему политотдела, была довольно нелепой и под Сталинградом просто жалкой. Но к декабрю я уже твердо знал, как жить.

Практически никто мной не руководил. Раз в две недели я приезжал в редакцию (помыться в тыловой баньке). Черемисин пользовался случаем дать мне ЦУ (ценные указания) — а дальше делай, что хочешь. В политотделе старался не засиживаться. Летом — даже не ночевал там. Если сыро — садился на полевую сумку, заворачивался в плащпа-латку, опирался на куст и спал. Или, в открытом поле, — залезал в первый попавшийся ровик.



В каждом полку у меня завелись приятели, интеллигенты, которым плевать было на чины и звания; были и гонители, чопорные офицеры, полные сознания своего капитанского или майорского достоинства. Особенно я запомнил белобрысого капитана Мацкевича, обливавшего меня презрением, когда мы встречались и я по уставу прикладывал руку к пилотке. Мы никогда не разговаривали. Но встречать в глазах презрение к своей внештатной фигуре, к личности, нарушавшей стройность иерархии, — было неприятно. Каждый раз приходилось сделать усилие, чтобы устоять против взгляда, который так и ставил тебя на место. Я страдал, как подпольный человек Достоевского от встреч с офицером, гремевшим саблей, и был рад, когда Мацкевича не то убили, не то ранили. А между тем — кто знает, — если бы мы вместе оказались под огнем.

Риск, который мы оба весело переносили, как-то на миг сдружил меня с одним командиром полка, майором Свиридовым. Это было в Степановке, во время первого прорыва Миусского фронта. Немцы нащупали КП и непрерывно бомбили. Сводчатый каменный погреб, сделанный хорошим хозяином, держался. В самый центр бомбы не попадали, а боковые удары кладка выдерживала. Я мог воспользоваться одной из коротких передышек и уйти, но меня захватила обстановка. Заполит, майор Олейник, нацепил на голову немецкий шлем (сохранить голову, если полетят камни); губы у него дрожат. Хозяйка (жавшаяся с детьми в углу) при каждом ударе зовет на помощь Богородицу и святых. Мне было весело, и я спросил ее, чего она боится, если верует, что невинные души попадут в рай?

Свиридов сидел спокойно и каждый раз, когда бомбежка стихала, вылезал наружу, посмотреть, нельзя ли восстановить проволочную связь. Убедившись, что делать нечего, он попросту грелся на солнышке. Я тоже. Мы были одни наверху, если не считать полуоглушенного связиста. И тут разговорились, как на пляже, когда оба в плавках и общественное положение снято вместе с брюками. Я узнал, что лучший наш командир полка окончил всего два класса сельской школы и школу младших лейтенантов. Впрочем, майор Волошин — бывший комиссар, заменивший убитого командира, — вовсе не имел военного образования. Кажется, единственный офицер, знакомый с военной наукой, был командир дивизии. Остальные учились на ходу.

Другой случай внезапного сближения был нелепый и смешной. Возвращался из госпиталя майор Гурин (или Гуров?), командир противотанкового дивизиона, — очень надутый офицер, из самых чопорных; на меня он смотрел как бы с ходуль. И вдруг — почти бросается на шею. Оказывается, ему поцарапало один орган, и мучился человек, что вся дивизия только и говорит: дескать, майору Гурину оторвало эту штуку (а никто про него и не думал). И вот он торопится мне объяснить, что ничего подобного, цел, а сама докторша, лечившая его, согласилась попробовать, — вот от нее письмо... Гурин понимал, что этот документ не может быть опубликован в газете «За Родину». Но я всюду бывал — и, видимо, должен был трубить во всех батареях и батальонах, что майор Гурин испытан и готов к новым победам. Ради этого и заискивал. Он неспособен был к

простым и равным отношениям. Или надулся от важности, или подличает.

От унижений я никак не был защищен. Но свободы все-таки было больше, чем унижений. Иногда я вспоминал Вийона: «Везде я принят, изгнан отовсюду». Я был свободен, как бродяга. Такая свобода часто связана с внешне униженным, межеумочным, внештатным состоянием.

Впрочем, *всякая* трудность, если перемочь ее, дает силу. И я рад — задним числом — что мне не далась академическая карьера и вместо аудитории я попал на фронт, в лагерь, в станицу. Никогда не хотелось мне сказать, как Глазкову:

*Я на мир взираю из-под столика...  
Век двадцатый — век необычайный:  
Чем он интересней для историка,  
Тем для современника печальней.*

И не жалею, что родился в XX веке. Я его вынес. И даже если вся вселенная обрушится на меня... что ж, я отвечу ей в духе Паскаля: ты не зачеркнешь того, что во мне сложилось.

Война не стерла моей хрупкости, уязвимости (без которых нет настоящей чувствительности), но на эту «почти женскую чувствительность» (как выразилась обо мне одна девушка) наложился азарт боя. и в конце концов мужество отделилось от боевого «мы», стало независимым и свободным и как бы повернулось снаружи внутрь. Но началось это на войне. Там — первый опыт жизни в сознании смерти. Вечное сознание опасности. Упругость, подобранность.

Шестую главу я закончил цитатами из Раджнеша. Он лучше меня понял смысл страха и выхода из страха. И многое другое он понимает лучше меня. Но его призыв к бунту против культуры, к простоте реакций животного — меня оттолкнул. Может быть, потому, что бунтом мы сыты. Но, кажется, не только потому. Упругость воли — самое естественное дело, но у человека она сама собой не получается, мне под Котлубанью очень естественно хотелось бежать сломя голову, и слава Богу, что хватило ума лежать и думать, и выбрать другую возможность, дремавшую во мне, и преодолеть страх, и выработать в себе способность жить под огнем. А сколько раз позже, в мирных ссорах, хотелось сказать обидное, ударить словом, а разум не позволял, и вдруг, как рубильником, обрубая ссору, я говорил: вспомни, мы любим друг друга; это гораздо важнее, чем то, из-за чего мы спорим.

Каждый мужчина, наверное, знает минуты, когда всё захватывает инстинкт. Об этом с упоением писал Архилох — и с отвращением Марина Цветаева (в письме Бахраху). От такой естественности сердце становится пустым и «одиночество хлещет, как реки» (Рильке). Это проклятие любви. Только упругая воля может спасти чувство и привести сердце к сердцу, а не только (и не столько) пол к полу. Не рассуждение, нет — его сметет страсть, — но мгновенная искра сознания и воли, без всякого промежутка. Искра, которая одновременно и сознание, и действие. То, чего добивается дзэн, заставляя монахов стрелять из лука и фехтовать, и что само собой

складывается на войне. Я вспомнил это года два тому назад, когда сделал незаконный левый поворот на шоссе, услышав позади (в неожиданной близости) скрежет тормозов и визг пассажиров, я действовал, не успевая думать, но совершенно разумно: нажал на педали велосипеда, соскочил с шоссе, а потом резким поворотом объехал трехлетнего мальчика, стоявшего на дорожке, и упал в кустах.

Человек — не котенок. В человеке заложена возможность того, что Зина назвала (в статье о буддизме) *второй естественностью* (не наехать на ребенка и даже не испугать его, проскочив слишком близко). Призыв к простоте животного имеет смысл *внутри* культуры. Чжуанцзы (которого Раджнеш комментирует) прав в споре с застывшим ритуалом. Но если убраться Конфуция, упадет и правда Чжуанцзы. Они дополняют друг друга.

Недовольство собой и стремление к высшему — не источник невроза. Пастернак писал о вечном недовольстве художника. При упругости воли такое недовольство действует, как пружина. Да, в моем беспомощном отрочестве недовольство собой ни к чему не вело, кроме комплексов, и заводило в подполье. Но истинная духовная неудовлетворенность — медленно действующая пружина, толкающая до последнего вздоха...

Что случилось со мной в сентябре 1946 года? Почему воля вдруг рухнула, словно я потерял костяк и остался мешком с паклей?

Впрочем, это случилось не только со мной; многие демобилизованные солдаты и офицеры потеряли тогда упругость воли, нажитую на войне, и стали как тряпка, как ветошка, которыми можно вытирать пол. У меня это произошло резче, острее; другие сами не заметили, как это случилось, как рухнуло целое царство отношений, сложившихся под огнем, и все мы, со своими орденами, медалями и нашивками за ранения, стали ничем. Не помню, когда — кажется, в 47-м — перестали платить орденские деньги (очень скромные) и отменено было право бесплатного проезда на трамвае. Этим даже внешне, официально была подведена черта. Вы воображали себя чем-то? Вздор, вы — ничто, вы значите что-то только после единицы, после Сталина. (Примерно тогда же был отправлен в Уральский военный округ Жуков).

Три мертвых года после войны. Я тогда ужасно много спал. Словно хотел совсем заснуть и не проснуться. Заведующий производственным отделом треста, где я полгода служил, добрый человек, предлагал мне стать заправским техником. Лучший выход для клейменого, подальше от идеологии, и в лагере бы пригодилось. А я отказался, предпочел унижительное положение человека, которого держат из милости и в конце концов выгнали. Насколько легче мне было бы учить ремесло техника в 46-м, чем в лагере — ремесло нормировщика. Но роль техника меня отталкивала, и я не нашел ни малейших сил, чтобы освоить ее. Мне нужно было мое собственное амплуа — или ничего. И я согласился на роль статиста, не требовавшую *никакого* усилия. Типичное поведение неудачника. Только арест меня встряхнул. Я принял его как объявление войны, и оделся в остатки военной формы, и почувствовал себя снова в бою — и снова нашел в себе мужество и волю. А тут уже судьба ввела меня

в 16-ю камеру и снова подарила чувство локтя, чувство братства. В этой антиструктуре я рос и накапливал самого себя. И в конце концов понял, что нет маленьких ролей, есть только маленькие актеры.

В 60-е годы я взял роль библиографа — и сделал ее большой. Нашел в «профессии неудачника» свои возможности. Леонид Ефимович спрашивал, что у меня за работа, которая мне так много дала. А работа была незавидная. Сперва очень от нее голова болела. Но потом привык, научился просматривать статьи в писать аннотации галопом, высвобождая себе время читать то, что интересно, и за несколько лет стал заправским востоковедом, и культурологом, и социологом. Мне никто не дал простора для развития. Я сам его создал — и в моем ничтожном положении нашел залог свободы: меня нельзя было запугать угрозой снять с работы (это с какой именно? С библиографического конвейера? За 105 р. в месяц? Да любая другая была бы легче).

Всё в мире несовершенно, болезненно, неустойчиво, трудно. Но увидеть это, не цепляться за устойчивость, за нетрудность, за комфорт — первый шаг к устойчивости в пустоте. Мое ничтожное положение стало мой почвой.

Внештатным литсотрудником дивизионной газетки я впервые — но не в последний раз! — выстраивал из ничего свое внутреннее пространство. Представьте себе певца в обмотках и с разбитыми очками. А ведь я тоже выходил на сцену — приходил в подразделение, представлялся... В армии, где все одеты, как положено, где даже без ремня — как без штанов, я очень остро чувствовал свою наготу, несоответствие своего вида и положения исполняемым обязанностям. Я все время должен был иметь дело с офицерами (даже для того, чтобы поговорить с нужным мне солдатом — откуда мне знать, какой нужен? Не спрашивать же 100 человек по очереди?). А отношений не на равных я не выносил, и нужно было время, чтобы создать равенство сквозь неравенство положений, знаков различий, одежды. Я его создал, в конце концов; но сперва я чувствовал себя очень голым. Как во сне, когда вдруг приходил в театр — без ничего. Иногда я завидовал певцам, балагурам: их любили, о них заботились. Или фотографам политотдела; их, по крайней мере, пристойно одели. А мне пришлось всего добиваться самому.

Начало моего корреспондентского пути напоминает эпизод из воспоминаний Анны Поляковой. Она приходила на лекции, после войны, буквально в лохмотьях, встречала удивленные взгляды студентов и студенток — и начинала говорить, и через несколько минут уже никто не замечал, во что она одета, а только слушали. Так и я выкручивался. Впрочем, и это сравнение не совсем точно. Лекций я не читал. Чем же я был интересен? Не двум-трем интеллигентам в штабах полков, а в батальонах? Почему на командных пунктах батальонов у меня как бы выстроился родной дом? Помню до сих пор фамилии комбатов: Гарин, Кашпер, Смеляков (я уже рассказывал случай с замом Смелякова, Сурковым, которого увел в Калиновку. См. гл. 5). С замполитами я реже дружил (осталась в голове одна фамилия: Башкиров).

Никогда ни до, ни после я не водился с офицерами. Почему они были мне рады? Конечно, не в каждом батальоне. Но там, где были не очень рады, я и бывал пореже. Хватало таких батальонов и батарей, где меня полюбили. За что? За мои статейки? Или за то, что мог пересказать фельетон из «Красной звезды»? Или жил во мне тогда дух, общий со всей передовой, и Гарин и другие этот дух во мне чувствовали? И охотнее разговаривали со мной, чем с местными политработниками — официальными носителями идеи войны? Не знаю, что важнее. Но пространство свободы было выстроено. Я не сумел бы этого сделать, если бы сознательно поставил себе такую цель. Я испугался бы трудности задачи, я не справился бы с ней, у меня всё бы выходило фальшиво. Но я просто избегал отношений, для меня нравственно невыносимых, и шел навстречу отношениям равным и простым. Остальное сложилось само собой.

\* \* \*

Под самый новый (43-й) год фронт сдвинулся. Лоскутные немецкие части, державшие оборону против остатков наших полков, внезапно ушли (раздавлив италийцев, советские танки обходили их с севера). И внезапно солдаты и офицеры почувствовали себя так, словно именно мы разбили врага, разбили наголову, остается только брать трофеи. Все словно с ума сошли. Переходы были большие, я норовил подъехать — то с артиллерией, то на грузовике с имуществом пулеметного батальона. Командир и замполит в кабине (им тоже лень было идти пешком), а меня пустили в кузов. Вдруг — стой! Выскакиваю, смотрю — остановил нас солдат. Впереди на бугре — разбитая машина. Рядом, на земле, — убитые. Оказываются — армейские саперы. Никаких саперных работ впереди не было, мчались занять квартиру и, кстати, прихватить пару совхозных овечек. Выскочили на бугор, а по ним — прямой наводкой. И сразу семерых напал, уцелел один.

Мы остановились, стали вместе с сапером задерживать подъезжающих. Всё тылы: у них были грузовики. Ни одного боевого подразделения. Пока суд да дело, разговорился с сапером. На машине лежали валенки; ехали в ботинках, с утра тепло было, а теперь подмораживает. Валенки убитым не нужны. Я спросил: «Можно мне взять пару?». Ладно, оставь, мол, ботинки. Я выбрал пару поменьше и переобулся.

Между тем, подъехал на эмке подполковник, командующий артиллерией дивизии. И уже после него подошла дивизионная разведка. Никому не пришлось в голову, воюя с моторизованным противником, посадить хоть часть разведчиков на машину, хоть патруль на одной из легковушек, временно изъятых у штабных начальников, — следить за движением в колонне и не выпускать тылы впереди пехоты...

Подполковник приказал разведчикам обойти хутор, завязать перестрелку в огородах — тогда мы атакуем хутор в лоб (набралось нас порядочно, человек тридцать). Скоро затрещали автоматы, подполковник скомандовал: «Вперед!», — и мы с криком ура побежали с бугра на

Нижний Гнутов. Бежал и я — помогая криком. Оружия у меня не было. Впрочем, немцев в Нижнем Гнутове тоже не было. Посреди хутора стояла брошенная зенитка без снарядов. Видимо, фрицам надоело тащить ее за собой. Они подождали первой машины, выпустили заряд и смотались.

Моим трофеем остались валенки: первый шаг к тому, чтобы прилично и по сезону быть одетым. По совести, об этом должен был заботиться Черемисин, но он не видел от меня угождения и не считал себя обязанным поощрять непочтительность.

Стационарный офицерский состав редакции состоял из двух человек: редактора и секретаря (старшего лейтенанта Абрамичева). Литсотрудник играл роль корреспондента. Я сразу подружился с Владимиром Ивановичем Абрамичевым и поддерживал его в спорах с Черемисиным. Абрамичев был довольно начитан, следил за чистотой языка, и Черемисин раздражал его уже своим произношением (марксизм, социализм), а пуще того — любовью к пошлым красотам. Время от времени Абрамичев отпускал язвительное замечание и начиналась перебранка. Черемисин, загнанный в угол, заикаясь и захлебываясь слюной, пускал в ход последний аргумент: не хочет ли Абрамичев поехать в полки, на передовую? Абрамичев, родом уральский казак, богатырского телосложения, горный лыжник (спорт, требующий смелости), — панически боялся бомбежки. Я думаю, его подавляло то, что меня возбуждало: совершенное равенство всех перед бомбой (как перед смертью), исчезновение преимуществ, которые дают сила и ловкость. На передовой клин вышибло бы клином: человек или сходил с ума или привыкал. А во втором эшелоне Абрамичев мучился страхом до конца войны.

Я помню только один спор; он несколько раз приходил мне на память, когда шла борьба с космополитизмом. Уже появилась Тонечка, младший наборщик, сразу занявшая еще одну важную должность (ППЖ — полевая походная жена). Она естественно поддерживала своего ППМ (полевой походный муж). Мы с Абрамичевым представляли интеллигенцию, Черемисин — кадры, а Тонечка — народ. Партия и народ были едины. Любая русская деревня, говорили они, дороже всех Парижей. При этом Черемисин патриотически заикался, а Тонечка патристически взвизгивала. Больше всех Парижей она любила анекдот про импотента. Когда кто-нибудь произносил фразу, ставшую поговоркой («вот видишь, а ты боялась»), Тонечка непременно отвечала: «вот этого я и боялась». И хрюкала. Наверное, это был смех, но она так похожа была на поросенка, что я слышал хрюканье.

Черемисин все время заставлял старшего наборщика (старшину по званию, фамилию забыл) — и печатника — изготавливать накладные для разных тылов, одевших Тонечку с ног до головы, в офицерскую шинель по фигурке, в модельные сапоги и т.п. Наборщик и печатник, таясь от редактора, тоже что-то мастерили в обмен на водку, подсолнечное масло и консервы. При таких взаимоотношениях ничего не стоило прилично экипировать и меня — только разок поговорить с начальником ОВС (обозно-вещевого снабжения)...

В конце концов, я сам с ним поговорил. На мое счастье, старший лейтенант Трифонов (или Трофимов) оказался комсомольцем. Больше того: он 10 месяцев не платил членских взносов. Весной 43-го я откопал этот клад. Трифонов (или Трофимов) был смущен. Я великодушно принял у него взносы, написал протокол собрания и выписку из протокола о рекомендации в партию, а потом спросил: нельзя ли мне сменить ботинки на сапоги и старое обмундирование на новое.

Тут же вызван был заведующий складом, и с этих пор с одеждой и обувью у меня не было проблем. Но в первые месяцы я никого не знал и ничего не умел, а Черемисин ждал, когда я начну вести себя с ним, как он сам вел себя с начальством, — по-холуйски; я предпочитал обмотки.

Вторым благодетелем моим — кроме Трифонова — сделался старший наборщик. Старшина был плут (любимая поговорка: «волка ноги кормят») — и как-то устроил, что я, отбыв в первый эшелон, остался на довольствии и в редакции. Т.е. я не остался, я там почти никогда не бывал, но остался мой хлеб, крупа, консервы, подсолнечное масло, табак. Одним аттестатом распорядился я сам (прикрепляя его то на КП, то в полку), другим — старшина. Это был *русский* плут. Раз в полгода его беспокоила совесть, и тогда он оказывал мне благодеяния. Первым были очки. Старшине они ничего не стоили, но драгоценен сервис. За мой же табак он выменял нужные мне очки, как раз минус чегыре диоптрии! Почти чудо в нашей армии, где близоруких считали годными к строевой, а очков не давали.

Вторым благодеянием была медаль «За боевые заслуги». К 5 мая 1943 года Черемисин хотел наградить Тонечку. Старшина обиделся. Он без Тонечки, под бомбежкой, возле Котлубани, набирал газету. Но защищать себя было неприлично, и вот он сказал, что если к Дню печати представят Тонечку и не представят Померанца, который лазит по передовой, то придется поставить на партсобрании вопрос о моральном разложении. Критиковать боевые распоряжения начальника нельзя было, а отношения с ППЖ — можно. Черемисин струсил. Тонечку ему очень хотелось наградить. Она была такая свеженькая, ро- зовенькая... И представили обоих. 5 мая, в День печати, командир дивизии гвардии полковник Левин вручил медали сперва Тонечке, а потом мне. Оркестр играл туш.

Третьим благодеянием был наган. Старшина опять выменял его на что-то, полученное на мое имя. Я ужасно обрадовался игрушке. С ней я ушел в батальон.

Впрочем, это случилось только весной 1944-го. А пока что, 9 января 43-го, мы остановились в хуторе Ново-Россошанском. Вечером началась трескотня. Я выскочил на улицу и до темноты любовался фейерверком трассирующих пуль. Опасность только увеличивала его красоту. Струйки огня лились широким фронтом, вдоль всей околицы. Потом огонь прекратился: ночью немцы не воюют. Я вернулся в хату и преспокойно заснул. Не мое дело распорядиться боем. На это есть командир дивизии, командиры полков и другое начальство.

Утром пальба снова началась. Я выскочил из хаты и понял, что дело плохо: на снегу валялись две-три винтовки. Без оружия бежать легче, да и

сдаться в плен проще. Я подобрал карабин, перебросил через плечо и стал посматривать — что будет дальше. Дальше мимо пробежали дивизионные разведчики, спускаясь в балку. Если разведка драпает, то и литсотруднику не стыдно. Отступать, так отступать. Только куда отступать? Все почему-то стоят на месте. Поискал глазами знакомых, увидел лейтенанта Иванова, комсорга артиллерийского полка, и спросил его. «Мы окружены, — сказал Иванов, белый, как снег. — Мы погибли. Выхода нет». Румянец, красивший его безбородое мальчишеское лицо, был смыт, как грим.

Мы действительно были отрезаны, и Иванов действительно в этот день погиб. Может быть, он это предчувствовал и заранее погружался в смерть. А может быть, он потому и погиб, что испугался. А я, может быть, предчувствовал, что выйду, или просто не успел испугаться, и беспечно ответил, что этого не может быть, выход найдется. Через пару минут на краю балки появилась легковушка, из нее выскочил Левин, тогда еще подполковник, развернул карту и стал что-то объяснять офицерам. Те сейчас же поднялись по склону, а Левин проехал метров 50 или 100, опять выскочил и опять стал что-то объяснять другой группе. Я обратил внимание, что легковушка шла без дороги: снега мало, а земля подмерзла (если бы накануне патруль на такой машине предупредил нас о движении немцев...).

Потом мне рассказывали, что вечером 9 января, отправив в тыл раненого комдива (Фетисова, что ли) и приняв командование дивизией, Левин решил вывести остатки двух полков, спецподразделения и штаб из Россошанки, на соединение со своим 991-м полком, оставшимся по ту сторону немецкого клина. Дорога была перерезана, но по целине выйти было можно. «Активных штыков», т.е. пехотинцев, почти не было. Артиллерия — без бронебойных снарядов, да и то, что было, не могла выпустить, потому что эсэсовский корпус, отходивший от Тацинской, ударил нам во фланг внезапно. Пушки стояли около домов, там, где расположились артиллеристы. Заранее круговую оборону не заняли. Саперная рота и разведроты, выложенные вокруг хутора, танков не останвят. Пока полного окружения нет, надо уходить.

Все это было разумно, но оставался приказ 227. Ни шагу назад! Прекрасный лозунг для речей, для газет. А тактические задачи приходилось решать, как шахматисту, которому запрещено отводить назад фигуру, попавшую под удар. Левин решил согласовать отход с начальником политотдела; а в этом кадре перестраховка и тупость сидели крепче шкурного страха. Впрочем, болван, возможно, считал, что умирать будут другие, а он только получит орден. Так или иначе, политполковник уперся: ни шагу назад! Явное идиотство. Но Левин не был диссидентом. Он прошел через 37-38-й год и против политотдела не решился пойти (хотя имел на это полное право). Ночью у него было время подумать, как спасти остатки дивизии, когда разгром перестанет быть идеологией и станет фактом. И теперь он действовал совершенно спокойно. Мне на расстоянии передалась его уверенность.

Я поднялся из балки и увидел, что по полю едет гусеничный трактор,



тащит гаубицу, а над ним кружит самолет, вроде нашего кукурузника, и бросает бомбочки. Дальше (как я теперь сообразил — к востоку от хутора) ползали немецкие танки. Они отрезали нас и, как мне казалось, давили наших солдат (на самом деле — брали в плен саперов). Глядеть на это было страшновато. Я отвернулся и пошел на юго-запад. Кукурузник, покончив с гаубицей, повис над нами. Он медленно кружился, иногда выключал мотор, планировал, старался поточнее сбросить бомбочку. Идти под бомбежкой неприятно, но делать нечего. Тут больше психология, инерция страха, созданная серьезной авиацией. Впрочем, одно прямое попадание я видел и прошел по обрывкам черного шоферского тулупа. Потом бомбочки все вышли, и мы без больших потерь дошли до хутора — кажется, Трифоновского, — где занимала круговую оборону 315-я дивизия. Там я достал патронташ и гранату.

В середине ночи нас собрали в колонну и повели на прорыв. Шли все скорее и скорее (надо было наверстать часы, упущенные в сборах). Чтобы не отстать, я схватился за задок брочки с каким-то минометным имуществом. Ездовый ругал меня — лошадям и без того трудно, — но я не отпускал брочку. Так прошли еще несколько километров (а всего примерно 20). Вдруг впереди засверкали автоматные очереди. Я рванул назад, но сразу понял, что бежать некуда. Сбросил с плеча карабин и приготовился выстрелить в первого немецкого солдата, которого увижу, — пусть он выстрелит в меня и убьет.

Никогда я не был так осознанно близок к смерти, как в этот миг на рассвете 11 января 1943 года. Помню отчетливо тоску неизбежной смерти, по меньшей мере полминуты или минуту, но никакого страха. Не колотилось сердце, не стучали зубы, рука твердо сжимала карабин, и я бы выстрелил, если бы видел, в кого. Будь наган — в себя, как прошлым утром командир и замполит саперной роты — оба евреи. Обнялись друг с другом и застрелились. Солдаты сдались в плен, потом добрая половина из плена бежала, попрятались по погребам у казачек и вылезли, когда мы снова пошли вперед. Один из них и рассказал мне, как было дело. И вот я стоял во мгле чуть брезжившего рассвета и готов был к выстрелу, который принесет достойную смерть.

В этот миг старший сержант Бусыгин, флегматичный великан, прошедший всю войну фотографом при политотделе, сообразил, что надо сделать, и закричал: «Немцы драпают! Ура!».

Немцам некуда было драпать. Ударная группа, шедшая в голове колонны, напала на них сзади. Но крик Бусыгина был кстати. Паника в хвосте колонны сразу оборвалась и сменилась энтузиазмом. Наше стоустое ура, раздавшееся во тьме, показалось тысячеустым и лишило немцев разума. На левом фланге, в стороне от дороги, стоял у них крупнокалиберный пулемет, но пулеметчики, ошалев от страха, забыли снизить прицел... Правда, сгоряча и наши всё побросали: пару пушек и брочку с минометами. Ездовые побежали вперед, не захватив даже своих винтовок.

Пока длилась вся эта кутерьма, рассвело. Слева бил — в небо, под

углом в 45° — крупнокалиберный пулемет, приготовленный для стрельбы на большую дистанцию. Мы шли под радугой из трассирующих пуль. Мне закричали: «Стреляй, у тебя ведь винтовка!». У кричавших винтовок не было. Они выходили налегке. Я опять сбросил карабин с плеча, но без стеклышка на правом глазу прицелиться не мог и стрелял, на всякий случай, поверх голов, чтобы не задеть своих. Действительно, к пулемету уже бросились сержант Линецкий и кто-то еще и забросали его гранатами. Как это было, я узнал много позже (и вставил фамилию Линецкого в гимн 96-й гвардейской). Тогда просто захлебнулся пулемет — и всё. А отчего, я не понял. И вдруг наступила тишина.

Едва смертельная опасность исчезла, силы оставили меня. Ноги сделались ватными, я с трудом передвигал их. Бричка вытянула меня в голову колонны, а теперь все, кто не отстал, прошли мимо меня (оставшие, увидев впереди стрельбу, попрятались по стогам). Я остался один на ничьей земле.

Последние годы я часто вспоминаю это утро. Оно ворочалось в моей памяти — оно и еще несколько мелких эпизодов войны. Этим воспоминаниям нужно, чтобы я их понял и разъяснил. Примерно как Хейтауэр, герой Фолкнера, никак не может забыть налет конницы Вандоорна на склады генерала Гранта и смущает прихожан, проповедуя давно забытый налет с амвона. А что тут я проповедую?

Наверное, что старость — то же окружение. Та же засада. И я мысленно сбрасываю с плеча карабин, я пытаюсь вырваться — или вырвать из тела душу.

Старость — это танец смерти. Это игра, в которой нет выигрыша. Но в ней есть радость. И эта радость сильнее смерти.

Судьба вывела меня невредимым из-под бомб и из застенков. Мне удалось уйти от пошлости и суеты, пройти, не запутавшись, через 60-е и 70-е годы и после всех экспериментов вовне добраться, сохранив ясность ума, к своей внутренней задаче. Мои поражения стали шагами извне вовнутрь. Но есть предел удачам и неудачам, и я подошел к нему. Судьба стучится изнутри, каждым биением сердца. Как превратить в победу последнее поражение?

Стучит сердце, гудит голова, — как будто снова воют шестиствольные минометы, но не вовне, и нельзя прыгнуть в воронку. И неизвестно, где будет прорван фронт (лопнет обызвесткованный сосуд) и в прорыв хлынет смерть.

Ты еще жив — но умирают товарищи, друзья, умирают младшие — и ты чувствуешь себя не с оставшимися, а с ними. И становится пронзительно ясным то, что Начикетас говорил Яме (богу смерти): «Как можно наслаждаться жизнью в мире, где царствуешь ты?» Грубая уверенность в вещах рушится: «состоящее из частей подвержено разрушению...»<sup>31</sup>. И остается один свет: из глубины.

Бог милосердно подарил нам страдание, писал Псевдодионисий. Наш

---

31 Последние слова Будды.

мир потому и хрупок, чтоб через него виден был другой. Мир без страдания — блистательный новый мир Хаксли. Пошлый мир без мысли о смерти и вечности.

Всё хрупко, неустойчиво. Как осеннее тепло, как старческая бодрость. И это хорошо. И это радость.

Как-то Зина сказала: старость — это созревание смерти. Созревшая смерть — как любовь. Несозревшая — как насилие.

Я понял это через «Книгу о бедности и смерти» Рильке. Там есть стихи о зеленых, незревших плодах смерти и о красоте созревшего плода. Военная отвага — только подобие этой последней зрелости. В отваге много легкомыслия. Но иногда стирается разница между легкомыслием и веселием духа, и Макферсон, пляшущий перед казнью, подобен Давиду перед Ковчегом Завета:

*В последний раз, в последний пляс  
Пустился Макферсон...*

\* \* \*

Мой военный опыт отличается от опыта двадцати или сорока миллионов только одним: тем, что я продумал каждый поразивший меня случай, а они этого не сделали и не нашли в жизни общую нить... Ту самую, за которую я и сейчас держусь.

Впрочем, я сильно отвлекся. Возвращаюсь теперь к своему повествованию.

До сих пор не понимаю, почему немцы, стоявшие в хуторе чуть южнее, не стреляли нам в спину. Шумели заводившиеся моторы, но пальбы не было. Скорее всего, там тоже началась паника и приготовления к бегству. Когда стало ясно, что мы не атакуем, не окружаем их, а уходим, — нас уже след простыл. Кое-как переставляя ноги, я последним пришел в хутор по ту сторону передовой. Потом слабость прошла. Помню, как в углу хаты сидел майор Волошин и вполголоса отчитывал солдат, вышедших без оружия. Я снял карабин и сказал: товарищ майор, передаю этот карабин на вооружение вашего полка. Волошин вскинул голову, готовый вспылить, но сдержался. Для отчета ему каждая винтовка была дорога, и он молча принял мой подарок.

Задним числом вижу свою черную неблагодарность. Форсированный марш, вытряхнувший из меня все силы и заставивший многих отстать, был спасением для тех, кто выдержал его. Задержись мы на полчаса, крупнокалиберный пулемет не стрелял бы в белый свет как в копеечку.

Но разобрался я в тактике прорыва потом, когда вообще стал разбираться в тактике. А тогда отдохнул немного и пошел вдоль фронта на север, в хутор, где стоял штаб нашего 991-го полка (километрах в десяти). Меня встретили салютом: полк катюш (немцы их называли сталинским органом) сыграл свои вариации. Сразу бросилось в глаза, что перевес сил снова на нашей стороне и вот-вот возобновится наступление. В поисках своих зашел в дом, где расположился штаб дивизии. Штабные вышли

раньше нас, особой группой, без столкновения с немцами. Как раз в это время пришел Левин; видимо, задержался, формируя нашу колонну, но выходил не с нами, а сам по себе, с одним ординарцем, каким-то безобразным маршрутом. Штабные встретили своего начальника аплодисментами и криками ура. Левин держался надменно и за глаза был прозван «его величество», но на этот раз было за что аплодировать: о штабе он позаботился. Зато политотдельцев не то забыли, не то сознательно предоставили им возможность стоять насмерть...

Есть персонажи, до того законченно комические, что трагедия не принимает их. Так — дуриком — спасся секретарь политотдела, Федя Аникеев. Он рванул прямо на восток. Навстречу танкам. Высунулся ээсовец, махнул офицеру, затынутому в блестящие ремни и увешанному блестящими предметами (сумка, планшет, кобура), — иди мол в плен. Федя, показывая в лицах, как он был в окружении семи танков, угодливо подымал руки и поворачивался назад. Но потом он оглядывался — танкист больше на него не смотрит — и, пригнувшись, делал несколько шагов в прежнем направлении. Это изображало его прыжок в бурьян и — ползком, по-пластунски — выход из боя.

Большинству политотдельцев меньше повезло. Двое попали в плен. Одному удалось сбежать; куда его направили без партбилета, не знаю. Начальник политотдела и несколько инструкторов погибли. Среди убитых были и майор Штейн, сомневающийся, хромаю ли я, и капитан Сапожников. Бедный мой соперник всегда жался к безопасному месту и совершенно не знал, что делать, когда безопасное место оказалось опасным. Такие сразу гибнут.

Когда я вернулся в редакцию, туда уже сообщили, что я погиб (маленький, черненький, стрелял до последнего.). На радостях Черемисин обещал оформить меня в штате и несколько раз повторял свое обещание (однако так и не выполнил). В течение примерно года я один заполнял газету своими корреспонденциями, а Черемисин съездил в полки разок и много раз это поминал: Абрамичеву — чтобы унижить его (тот ни разу не ездил), или мне: мол, и без тебя могу. Больше одного раза, впрочем, не захотелось ему посмотреть, как освобождают те самые русские деревни, которые лучше Парижа. Патриотизм его был с мягким знаком.

... Я отчетливо помню, что тогда выход Левина из окружения мне не понравился. Было бы романтичнее идти во главе нашей колонны: на миру и смерть красна. Но Левин был человек холодный. Чтобы сохранить дивизию, нужен (кроме уцелевшего 991-го с. п.) штаб. Его удалось полностью сохранить. Нужно было знамя: его, вместе с секретными документами, вовремя отправили в тыл. А нашу колонну вполне мог вывести и вывел майор Волошин. С какими потерями — не имело большого значения. Все равно, остатки 405-го и 999-го полков пошли на пополнение 991-го.

Как это ни странно, после разгрома дивизия стала боеспособнее. До этого она состояла на трех полковых обозов, едва прикрытых фиговым листком — примерно взводом стрелков. В обороне ниточка пехотинцев

могла охранять артиллерийских наблюдателей, а остальное делали гаубицы, пушки и минометы (их оставалось больше, чем «активных штыков», — 80-100 стволов). Но для маневренной войны обескровленные полки годились не больше, чем беременная женщина в кулачном бою. Разгром позволил совершить то, что северо-западнее Сталинграда сделал Рокоссовский: из остатков трех небоеспособных полков — одну боеспособную роту. Эту роту поддерживала минометная рота, три батареи полковой артиллерии и три дивизионной. В таком составе мы лихо взяли город Шахты.

Ради праздника я шел в стрелковой цепи. Немецкий арьергард, добежав до очередного перекрестка, давал несколько очередей. Тогда и наши разворачивали сорокопятки (легкие орудия; их тащили на руках); несколько гулких выстрелов — и шли дальше. Иногда я вытаскивал блокнот и записывал две-три фамилии. Потерь не было. Однако Шахты — место знаменитое. Его сам Сталин хорошо помнил (там был организован — в 1928-м — первый большой процесс вредителей). И мы попали в «Последний час»: войска полковника Левина...

А потом те же войска, форсировав Миус, захватили крутой выступ на правом берегу. Через пару дней я туда полез. Единственная тропка вверх по обрыву. Солдаты (из бывших минометчиков, грамотные ребята) сразу раскрыли мне военную тайну: плацдарм для наступления не годится, а отходить (особенно с правого фланга) некуда, обрыв. Я думаю, и Левин, и Цветаев (командующий армией) понимали это, но в донесениях слово плацдарм хорошо звучало (не хуже, чем взятие города Шахты, который немцы сдали без боя). И мы получили гвардейское звание.

\* 32 \*

Четыре тихих месяца на Миусе — лучшее время моей военной жизни. Подошли пополнения. Снова развернулись 405-й (291-гв.) и 999-й (295-гв.) стрелковые полки. Жолудев, комсорг «трех девяток», предложил мне жить вместе с ним, в Димитровке\*. Это огромное село тянулось по правую и левую сторону Миуса километров на семь (а всего дивизия заняла 15 км). Жителей эвакуировали, и слава Богу: в июле немецкая авиация сорвала с деревьев яблоки и груши, не успевшие созреть, а дома обратила в развалины. Но пока сады цвели. Созрела шелковица, за ней — вишня. Наш блиндаж был вырыт прямо под вишневым садом. Мы просыпались — и, как в раю, лезли на разрешенное дерево и ели разрешенную ягоду.

На войне, в перерывах между боями, особенно хорош мир. Эти сады в Димитровке. Сладкая шелковица, от которой чернеют губы. Темно-красная вишня. Такие минуты выпадали и после. В Белоруссии, в 44-м, наступление на пару дней остановилось. Стрельбы не было. Стадо без пастуха выходило на луг между нашими и немецкими траншеями и вечером возвращалось. Коров хватили за вымя, когда они переступали через окоп. Животные, переполненные молоком, безропотно

---

32 Ныне город Антрацит.

останавливались, и белые струйки звонко брызгали в котелки. А вкус малины в Беловежской пуше! Но то были минуты. А на Миусе — четыре месяца. Утром и вечером — цветущий семиверстный сад, а днем — дороги, дорожки, тропки под синим небом.

Я помню, в 10-м классе у нас вышел спор о стихах Демьяна Бедного, Боря Минков повторял чью-то глупость, будто в наши суровые дни нечего писать о природе. Пейзаж, дескать, важен только с одной точки зрения: где поставить пулемет. Я возражал, что поэзия — это поэзия, а не боевой устав пехоты. Теперь наш спор проверялся опытом. Никогда до войны я не жил так долго, так полно под открытым небом. Никогда так не вглядывался в простоту, почти абстрактный пейзаж степей: вьющаяся дорога, бурые перекаты, синее небо... Видеть свет солнца! Его почти не видишь в городе. И после войны я снова увидел его только в лагере, в короткое северное лето, с такой бесконечной, доходящей до полуночи, вечерней зарей!..

Зубчатые колеса войны остановились, и свобода, которую я нашел между шестернями, охватила меня своим блаженством. Позавтракав, я шел куда глаза глядят, на север, или на юг, или вперед, в боевое охранение. Чувство совершенной независимости, почти немислимое в армии. И поля, и перекаты. Над Миусом, над затихшим фронтом — Божья ширь. Мягкие холмы — я их вспомнил в Коктебеле — внезапными обрывами спускались к речке. Запах трав и солнце. И тишина. И воля.

После котлубаньского кошмара, после росошанского разгрома, после напряжения, с которым идешь под огнем, наступил отдых. Отдых на пути в Египет. Что там будет впереди? Бог весть. А пока в тишине заново сворачивается пружина, готовая развернуться — через месяц, через два, через полгода.

Работа шла легко, весело. Я разыскивал солдат, сержантов, младших офицеров, побывавших в переделках, и лепил легенду. Ничего не приукрашивая, а просто выбирая нужное, опуская ненужное и давая возможность новичкам почувствовать опыт ветеранов как свой собственный.

Приходилось писать и о другом. Тогда очень много копали, всю Димитровку перерыли первой, второй, третьей линией обороны, и я писал об отличниках окопных работ. Солдат приучали следить за немцами и стрелять, как только мелькнет цель; бывали артиллерийские дуэли, я писал о снайперах и наводчиках. Писал и об агитаторах, парторгах. Но больше всего — о боевом опыте. Я сам в него вживался. До сих пор помню сержанта, седого, как лунь. Кажется, его звали Лагутиным. Поседел он — тридцати лет — под Севастополем. Наши и немецкие окопы сошлись там метров на 80, огнем атакующих не остановить, а отступить некуда. И когда немцы подымались в атаку, матросы и солдаты бросались навстречу. А в штыковых боях самое трудное, по словам Лагутина, — переглядеть противника. Топтались, оба в оборонительной позиции, не торопились открыться, сделать взмах. И тут главное — переглядеть. Кто опустил глаза, тот погиб. Тогда размахивайся и коли. Сержант больше всего запомнил здоровенного рыжего немца, которого никак не мог переглядеть. Потом

рыжий, скрипнув зубами, опустил глаза, и сержант его заколол. Напряжение таких гляделок страшное. Буквально убиваешь глазами, а потом уже штыком. От этой парапсихологии и седина.

Простой рассказ Лагутина — символ любой войны. Снаряды, мины, бомбы, движения атакующих цепей — только средства переглядеть противника, подавить его; убивают одного, бегут двое, трое (если не бегут — наступление провалилось). И действия полководцев можно сравнить с гляделками. Накануне войны Гитлер переглядел Сталина. Он прямо смотрел войне в глаза, а Сталин глаза прятал, не хотел верить, что война начнется сейчас, через месяц, через неделю. От этого ряд его распоряжений, нелепых и преступных (армии завязали глаза, чтобы никто не видел страшного и не говорил про страшное). И от этого сила первых ударов немцев — по ослепленным, парализованным войскам, лишенным опытных командиров...

Потом роли переменились. Война стала затяжной, а Гитлер не хотел этого видеть. Чем меньше выходил блиц, тем больше он рвался к нему — и увяз в Сталинграде. А потом еще раз полез в ловушку, на этот раз — заранее подготовленную, — на Курской дуге. Полководцы, как заметил Анатолий Франс, выигрывают войну не только потому, что они гениальны, а и потому, что их противники тоже звезд с неба не хватают. Гитлер полез в Россию, не ожидая в низшей расе взлета боевого духа, объявил войну Америке, не ожидая челночных бомбардировок, и в результате проиграл войну дважды: так, как было, — и так, как могло быть, если бы Сталин жалел людей и не торопился прийти в Берлин к апрелю (атомная бомба, взорванная над Хиросимой, в августе уже была готова. Она делалась для Берлина).

Впрочем, тогда я об этом не думал. Перед собой я видел только сержанта Лагутина и других солдат, сержантов и офицеров и помогал им поверить в свою силу. В эти сравнительно спокойные месяцы мы все поверили, что непременно будем бить немцев. Мы переглядели Вяя. Против мифа «мы арийцы» был выстроен антимиф «мы сталинградцы» — и как-то мгновенно вошел в плоть и в кровь. Я прекрасно знал, что это миф, что наша дивизия Сталинград не защищала, под Котлубанью действовала неудачно, в ноябрьском наступлении играла скромную роль и наконец была жестоко разбита в январе немецким корпусом (чуть ли не с семью всего танками). Что гвардейское звание нам дали скорее авансом, чем за великие подвиги (что, кстати, делалось не раз). Что так или иначе до Миуса дошла *одна* сводная рота — а сейчас стрелковых рот 27. Но все 27 рот верили, что они гвардейцы- сталинградцы. И с этой верой пошли в июле в бой и прорвали немецкий фронт — немецкий, а не румынский...

Я сам создавал эту веру — и не переставал ей удивляться. Успех летнего наступления 43-го года был триумфом советской пропаганды. Если под Садовой победил прусский школьный учитель (в чем, правда, я сомневаюсь), то на Миусе (и в более важных битвах севернее) победил Василий Теркин, Фома Смыслов и проч., и проч., и проч., в том числе мой севастополец сержант Лагутин, переглядевший рыжего немца.

Разумеется, дело не только в пропаганде. Произошло то, что Конфуций назвал бы исправлением имен: солдаты стали солдатами, офицеры — офицерами, генералы — генералами. Но все эти незаметные сдвиги сошлись, как в фокусе, в одном: в мифе о русской силе.

Есть некоторая аналогия между советской пропагандой и советской экономикой. В мирное время они обе застаиваются. И сколько бы их ни встряхивать, ни подтягивать, — всё зря: опять буксуют. Но во время войны, подогретые патриотизмом, направленные к одной цели (общей всем — не только на словах), они действовали превосходно. Пегас, запряженный в ярмо, сам рвался в бой. И на его крыльях люди взлетали над страхом смерти. Думаю, что нечто подобное было и в Гражданскую войну. Тогда был свой миф. Террор, штрафные роты и батальоны — только пособие. Решает миф.

Миф — это не грубая скучная ложь. Это непременно вдохновение и поэтическая правда. Это игра, подобная божественной игре, создающей мир. Мир в своем чувственном облике тоже миф. Видимость — это миф, созданный божественной энергией; майя, создание шакти. Индийцы представляют себе энергию, творящую мир, как шакти (божественно женственное). Майя — прелесть шакти. Человек, захваченный майей, творит миф. Шакти, майя, миф — облики одной непостижимой сути. Природа, какой мы ее видим, прекрасная оболочка мира — это та мера ужасного, которую мы можем вместить; доступная нам мера бесконечности, мера бездны, мера безмерного (я перефразирую здесь слова Рильке об ангелах в «Дуинских элегиях»). Так же творится история. Только в природе шакти играет, как котенок, тут не может быть фальши, — а человеческая игра может быть фальшивой (и не раз была фальшивой); но может быть и возвышенной, и прекрасной, и даже превосходить природу в порывах духа. Невозможно полностью дегероизировать войну (как Солженицын уговаривал генерала Григоренко). Было и чудовищное, и леденящее душу, и отвратительное, и прекрасное. Как во всей истории.

История — царство майи. Я об этом уже писал в гл. 4-й и снова скажу. Невозможно творить историю без мифа. Так было на войне, так было и в полемике 60-х и 70-х годов. Когда я пытался что-то сделать, я выдвинул против официального мифа о народе и против солженицынского мифа о народе свой миф — об интеллигенции. Разуверившись в мифе, я отошел от участия в истории и избрал себе роль адвоката несчастных, захваченных историческим процессом. Тот, кто хочет отбросить все мифы, должен выйти из царства майи, из истории, занять позицию подпольного человека (миру ли провалиться или мне чаю не пить?) — или Шанкары (истина — Брахман; мир — это ложь; атман и Брахман едины). Разумеется, то и другое — пределы; в жизни все делается середка на половинку; но указать на предел проще, чем описывать реальные подробности, как в других местах этих записок.

Самое главное, что я сделал на войне, было мое скромное участие в создании мифа победы. Сравнительно с этим несколько случаев, когда я распоряжался в бою, не имеют значения (хотя для меня они были очень



важны). С чувством силы, созданным пропагандой, наша дивизия прорвала фронт, захватила деревню Степановка и удержала бы ворота прорыва, если бы не тупое упорство атак на никому не нужную Саур-Могилу. Немцы Саур-Могилу защищали, им это было удобно и выгодно (обратные скаты высоты 277,3 были изрезаны балочками, заросшими кустарником. Там очень скрытно располагались минометные батареи. А с востока — голый склон, несколько километров подъема и твердая земля, не поддававшаяся лопаткам). Но зачем мы так настойчиво перли на эту условную цель?

Когда внезапность была потеряна, когда немцы подтянули к прорыву всю свою авиацию и создали превосходную систему минометного огня, вся 2-я гвардейская армия, брошенная на развитие успеха, ничего не могла поделать. Чем больше пехоты подымалось под шквальным минометным огнем и бомбежкой, тем больше ее гибло. Повторилась (в меньших масштабах) котлубаньская мясорубка. Видимо, командование фронта просто не решалось изменить план операции, утвержденный ставкой, и ударить не туда, где нас уже ждали, а иначе — на юг или на север... Потери были страшные. Бесплодные атаки измотали солдат не только физически: от бессмысленных потерь падает дух. И когда немцы бросили в контрнаступление танковый корпус, пехотинцы побежали. Артиллеристы остались на месте, сдержали танки, отступали побатарейно, прикрывая друг друга, не оставляя противнику даже зарядных ящиков. О пехоте они говорили с презрением. Но они были неправы.

Сидеть в отлично вырытых ровиках, неуязвимых для авиации, — это одно. А лежать под бомбежкой на голой земле — совсем другое. Есть предел человеческой способности быть мишенью, и этот предел нельзя переходить. Иначе — бессознательный бунт природы, массовая истерика. Бегство пехоты было таким массовым психическим срывом, стихийным массовым протестом против использования стрелковых рот как штрафных рот — без смысла и без пощады. Потом искали виноватого и нашли его в командующем 2-й гвардейской армии, генерал-лейтенанте Крейзере. Пятая ударная, дескать, успешно прорвала фронт, а 2-я гвардейская не сумела развить успех. Вздор, бегство охватило внезапно всех. Остановить его Крейзер мог не больше, чем Цветаев, Толбухин или Сталин. Жолудев, с которым мы тогда дружили, служил раньше под командой Крейзера и пытался мне объяснить, какой Крейзер прекрасный генерал, как он действовал в 41-м — не то что Цветаев, приехавший из Москвы на готовое, осенью 42-го. Объяснял Жолудев плохо, но я поверил, что никакой ошибки Крейзер здесь не совершил: ошибка была в поставленной ему задаче.

Главное, что меня убедило, были разговоры с солдатами, пехотинцами. Они не чувствовали себя виноватыми. Они были убеждены, что поступили правильно. Добежав до своих окопов, они остановились и готовы были вести бой с танками — но не на голой земле. Огонь нашей артиллерии не допустил бы танки давить их гусеницами, но никак не мог защитить их, измотанных бомбежками, от танковых пушек. Стоять насмерть? Ради деревни Степановка? И потерять (из оставшейся четверти или трети пехоты) еще половину? Еще три четверти?

Задним числом я думаю, что пехотинцы, проголосовав ногами за прекращение атак на Саур-Могилу, поступили правильно. Солдат — это природа войны, то же, что земля в сельском хозяйстве. Можно засеять землю по-разному, но каждый раз с умом, прислушиваясь к земле. Если не прислушиваться — не будет урожая. А у нас все по плану.

Впрочем, задача июльской операции была вспомогательной — сковать резервы немецкого южного фронта. Сводка Совинформбюро прямо приглашала обратить на нас внимание: «бои местного значения, имеющие тенденцию перерасти в серьезные бои». Другой такой формулировки я не припомню. Немцы поверили Совинформбюро, ввели против нас в бой танковый корпус. Стало быть, задача-минимум была выполнена: эти танки понесли потери в бою, потом их еще раз потрепала авиация при погрузке на железнодорожные платформы, к решающей битве в центре России они не успели. А мы сохранили, по крайней мере, четверть своей пехоты и в августе, получив пополнения, снова прорвали фронт. На этот раз — всерьез, открыв мотомехкорпусу генерала Свиридова и коннице Кириченко дорогу в немецкие тылы. Саур-Могилу тогда не брали. Удар был нанесен чуть южнее. А потом, когда войска Свиридова и Кириченко вышли к Таганрогу, а на севере создалась угроза окружения, немцы сдали Саур-Могилу одному стрелковому батальону. По сути — одному взводу.

Я вбежал на высоту 277,3 по свежим следам, огляделся (там *ничего* не было, кроме воронок от снарядов) и, слава Богу, вовремя вернулся назад, на КП батальона. Тотчас по вершине грохнул последний залп «катюш». Прицел пять, по своим опять... Впрочем, никого не задели: КП было восточное, стрелковая цепь — западнее. Разговаривая с замполитом, старшим лейтенантом Башкировым, я каблуком сапога притушил осколок катюшечного снаряда, упавший с шипением под ноги. Башкиров не всё мог мне рассказать, и я побежал к стрелкам (на этот раз обходя вершину — как бы по ней снова не грохнули). Пробирался, как мне казалось, безопасным путем, по овражкам, и вдруг, за поворотом, автоматная очередь. Едва я успел нырнуть назад. Оказывается, пехота прошла где удобнее, по ровному месту, овражков не прочесала, и там остались автоматчики. Пропустив стрелков, они отсекали их огнем от КП. Обычный немецкий маневр, рассчитанный на то, что никакого резерва у комбата нет. И действительно — не было. Вернувшись на КП, я услышал, как он докладывал, объясняя свою задержку: «Отбиваю контратаку противника!». Я побежал дальше на восток и в сумерках остановился на минуту возле НП комдива. Связь работала очень хорошо, за несколько шагов слышен был знакомый голос командира полка, майора Свиридова: отбито две контратаки противника! Левин положил трубку, связывающую его с полком, взял другую — в штаб армии — и доложил: отбито три контратаки противника! Всем хотелось верить, что мы взяли Саур-Могилу не потому, что немцы нам ее отдали (уходя на линию Вотана), а по собственной доблести, и все немного привирали. Ночью на Саур-Могиле было вырыто до десятка наблюдательных пунктов (командира полка, командира дивизии, командующего артиллерией и т. д. вплоть до командующего армией). Зря: ночью немцы

ушли. Они отдавали Донбасс без боя. Зато потом из тылов привезли писателя, служившего в армейской газете, и он изобразил все НП как мощные немецкие укрепления.

Началось движение на Запад. Впервые немцы не сумели наступать летом, а мы сумели. Артиллеристы, почти не понесшие потерь, весело катились по Донбассу. Обгоняя кучки пехотинцев, они бросали, с высоты своих студебекеров и шевроле: «Пехота, не пыли!». А пехотинцы отгрызались: «Прицел пять, по своим опять». Отгрызались несправедливо: дивизионная артиллерия стреляла точно, профессионально. Но смертникам, случайно уцелевшим в мясорубке, хотелось как-то отгрызнуться. Подразделений, прорвавших фронт, больше не было. Только за медсанбатом, растянувшись на версту, плелся выздоравливающий батальон, сам себя назвавший Саур-могильским.

Помню отчетливо тогдашнюю свою мысль: ну что ж, война выиграна. Теперь американские грузовики как-нибудь дотащат наши пушки до старой границы. Мне казалось само собой понятным, очевидным, что после чудовищных потерь первых двух лет невозможно, немислимо рваться «в логово зверя» и укладывать еще миллион за миллионом. Пусть Европу освобождают союзники. А нам, после выигрыша летней битвы, накапливать силы и удары наносить наверняка, с расчетом, без большой крови.

Но Сталин думал иначе. Сколько поляжет по дороге на Берлин, ему было все равно. Пехоту пополнили наспех мобилизованными, почти не обученными, трофейными, как их запросто называли, солдатами. И я позволил себя убедить, что так надо: выжимать из пехоты, как из колхозов, последние капли крови и не снижать темпов наступления. Захватывал грохот побед, салюты из 120, из 220 орудий. И не только тогда захватывал. Даже сейчас, вспоминая, как мы вошли в Берлин, я чувствую радость. Не вошел Гитлер в Москву, а мы в Берлин — вошли. Чему я радуюсь? Ведь будь на то моя воля, не стал бы я гробить, ради этого Берлина, несколько миллионов. И тех следствий великой победы, которых я ждал, не было, а были другие, совершенно противоположные, и побежденные в ФРГ или в Японии живут и дышат, думают гораздо свободнее, чем мы, победители. Но радует выдержанное испытание, решение немислимой, сверхчеловеческой задачи. Если бы так могли быть решены другие задачи!

\* \* \*

Примерно в эти дни — вернее, несколько раньше, в августе — я узнал, что Черемисин меня обманывает. Один из инструкторов, капитан Чирва, человек довольно благодушный (если хорошо поест) и хорошо певший украинские песни (а также рассказчик скабрзных анекдотов из своей практики районного прокурора), открыл мне, во внезапном порыве сочувствия, секрет Полишинеля: в армию уже пошли документы на Федю Анিকেева. Упраздненный в качестве секретаря политотдела, Федя выпросил себе мою должность, а сам уехал в отпуск. К Феде у меня претензий не было: он устраивался, как мог. Но Черемисин!

Я написал короткую записку, в которой была фраза: «Ваше поведение со мной граничит с подлостью». Августовские бои удерживали на передовой. Я не мог просто плюнуть шефу в лицо. Зато, шагая по полю, изрытому снарядами, между Степановкой и Димитровкой, я воображал, что этот гад за чем-то поехал в полки, я его сопровождаю — и пускаю в него пулю. Кругом свистят осколки, и никто не будет вскрывать труп: убит так убит. Но, во-первых, у меня не было оружия. Во-вторых, Черемисина под такой огонь калачом не заманишь.

Вдруг впереди вырос сам Чепуров, начальник политотдела. Строевым шагом, как на параде, он шел в Степановку. Я ошалело козырнул призраку. Потом понял, что это был не призрак, а парад. За здоровенным Чепуровым, едва поспевая, семенил другой полковник — из политуправления. Они шли политически обеспечивать бой.

В сентябре — где-то на марше, в Донбассе — меня вызвали к Чепурову. На этот раз он политически обеспечивал дисциплину. Черемисин (не решаясь объяснить со мной) прислал мою записку в политотдел.

— Я вас отправлю на передовую, — сказал гвардии полковник.

Гвардии рядовой промолчал и подумал: эх, жаль, что осенью. Лучше бы весной. Раненая нога у меня не любит холода.

Но Чепуров заметил, что первая атака не удалась, и ударил с другого фланга:

— Мы вас исключим из партии!

Тут надо было быстро подумать. Можно не вступать в партию. Но быть исключенным... Тогда крест на аспирантуре (я не представлял себе карьеры, кроме ученой). Или унижаться, ходатайствовать о восстановлении? Лучше сразу отступить.

— Партийной дисциплине я подчиняюсь. Разрешите идти?

— Идите.

Подчеркнуто по-строевому козырнув, я повернулся налево кругом и вышел. А в дверях решил: весной сам уйду. И тут же обдумал, как и куда.

А поведение, граничащее с подлостью, Черемисин проглотил. Извиняться перед ним я бы не стал. Впрочем, никто от меня этого и не потребовал.

Шли бои за линию Вотана, за Калиновку (см. гл. 5), за Никольский плацдарм, мы форсировали Днепр, дошли до Николаева... Постепенно мое решение все дальше отодвигалось в будущее. Федя мне не мешал. Выбивая себе должность литсотрудника, он рассчитывал на спокойную жизнь капитана Сапожникова; но сложился другой стиль, надо было ходить на передовую, и фактически он ходил за мной вторым номером, постепенно привыкая к огоньку. Я предоставил капитану Аникееву писать про работу агитатора и т.п., а себе оставил то, что мне было интересно. Однако в апреле нас вывели из боя. Перевезли в Белоруссию, на формировку, и я по привычке вместе с Федей пошел выбирать квартиру. Вдруг капитан надулся, как индюк, и сказал, что достоинство офицера не позволяет ему квартировать вместе со мной. Пусть я иду ночевать к рядовому составу редакции.

Достоинство офицера! Сказал бы прямо, что баб хочет водить. Если не пить и не (глагол), зачем жить на свете? — Это Федя повторил, по крайней мере, 100 раз или 150. Он был человек фольклорный и весь состоял из поговорок. Но достоинство офицера!

Потом, в «Квадрильоне», я этот тип назвал рылом. Вернувшись из отпуска, Федя рассказывал о своей жене, не стесняясь ни рядового, ни офицерского состава; «Я ее спрашиваю: ты свою мерзавку кому показывала? А она мне: — «Что ты, Федя, только тебе.»».

Весна наступила. Не хватало только внешнего толчка, чтобы уйти из редакции. И вот он, толчок!

Коли бы Раскольников не услышал, что в семь часов вечера Алёна Ивановна будет одна, идея его, скорее всего, осталась бы игрой ума. А я без Фединогo достоинства офицера так и остался бы внештатным литсодрудником. Но достоинство офицера!

Незадолго до этого Черемисину кто-то указал, что человек ниоткуда, нигде не числящийся, в армии невозможен, и меня оформили сержантом, командиром отделения 291-го гв. с. п. Сержант с наганом — это не хуже, чем младший лейтенант с автоматом (Ванька-взводный). Вполне гожусь на офицерскую должность.

Ничего не отвечая Феде и даже не сердясь на него (что с него, со свиньи, взять), я пошел в политотдел и написал заранее обдуманнyй текст: «Прошу направить меня комсоргом стрелкового батальона». Уже по лицу писаря я увидел, что дело мое в шляпе. На этот раз я шел не по статье «нарушение дисциплины», а по другой: «передвижение партийно-комсомольских кадров в стрелковые батальоны». Через полчаса Чепуров подписал назначение, я вернулся в редакцию за вещмешком и ушел в свою часть.

Комсоргов стрелковых батальонов всегда не хватало. Должность эта была некадровая. Кадры имели звание старший лейтенант (бывшие политруки) или капитан (бывшие старшие политруки). А комсорг стрелкового батальона — только лейтенант. Практически назначались сержанты, но (тут вторая причина нехватки) они очень быстро выходили из строя. После Сталинграда политработникам не велено было подымать стрелковые цепи, но совсем без этого не удавалось обойтись, и в случае чего посылали младшего. Ни один комсорг стрелкового батальона не служил больше четырех месяцев. Дальше — нарком- здрав шли наркомзем.

Я эту статистику знал. Если сравнить (по двум дивизиям, в которых побывал) потери редакционных работников и комсоргов стрелковых батальонов, то уровень риска возрастает в 30-40 раз. Но где наша не пропадала! Авось обойдусь ранением (два шанса из трех). И вернусь в Москву с эполетами.

Зачем они мне были нужны, эти эполеты? Но в голове моей сидела русская литература, и слова «отечественная война» совершенно сбивали с толку. Было постыдно вернуться с отечественной войны без эполет. Ну вот и получил их. Кончил войну гвардии лейтенантом с двумя ранениями и двумя орденами — всё честь честью. Увы!.. Оперение селезня недолго

сидело на мне. Гадкий утенок снова стал гадким — и еще гаже, чем прежде.

Если бы не приказ маршала Рокоссовского о производстве в младшие лейтенанты, я демобилизовался бы в 45-м, поступил в аспирантуру... А дальше? Дальше постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», борьба против космополитизма, арест Пинского. Самое позднее — меня бы посадили вместе с Пинским. Следствие было бы тяжелее. Я получил бы не 5, а 10 лет. И вряд ли ждала бы меня должность нормировщика.

Судьба как погода. Февраль отпустит — март прижмет. Если жаркий май — жди холодного июня. И все дороги ведут в Рим: вытягивают наружу то, что в тебе заложено внутри. А для этого неудачи, может быть, важнее, лучше удач и побед. Неудачи во внешнем поворачивают внутрь. И этим (внешними неудачами) судьба меня не обидела.

Месяца через три связной привел ко мне Федю. Я сидел метрах в трех позади стрелков, рассыпанных по опушке, и занимался своей писаниной. Перестрелка шла вяло; не было оснований уходить из стрелковой роты, с которой шел на марше. Вежливость теперь требовала встать, приветствовать старшего по званию и, пожалуй, отвести его метров на двести, чтобы не смущать свистом пуль. Но я ничего этого делать не стал и, не вставая, предложил товарищу капитану сесть. Федя как ни в чем не бывало улыбнулся, сел. Я тоже улыбнулся и стал рассказывать про младшего сержанта Юрочкина, ефрейтора Ларионова и т.п. Тут несколько шальных пуль просвистели довольно близко. Моя спина была до некоторой степени укрыта стволом сосны, а Федя сидел лицом к противнику. Я поглядывал, как он будет вести себя — выдержит ли хоть 15 минут.

— В нашем деле главное — вовремя смыться, — сказал Федя с обезоруживающей улыбкой, захлопнул (не дописав фразы) блокнот и смылся. Рыла вообще народ естественный. Не станет рыло рисковать из-за какого-то там достоинства офицера.

Лет через 20 случай столкнул меня и с Черемисным. Закончив войну победой, он двигал вперед передовую науку и писал диссертацию, кажется, о партийных организациях Сибири. А я служил в Фундаментальной библиотеке. Увидев знакомого около бесконечных картотек, способных смутить и более толкового исследователя, мой бывший начальник очень обрадовался и подошел ко мне. Я поздоровался, расспросил, что ему нужно, и объяснил, что где лежит. Внешне все было очень обыденно, но внутренне я был поражен и долго не переставал удивляться. Куда девалась моя ненависть?

Из-за него я переменял свою свободную и веселую работу на другую, с гораздо более жесткими правилами, с заведомой невозможностью выйти из переделки без повреждений. Из-за него стоял под дулом «фердинанда» (немецкое самоходное орудие), видел вспышку выстрела и упал, раненный (слава Богу, легко). Статистика не подкачала: бои начались 22 июня, осколок попал в меня 23 октября; ровно четыре месяца и один день. Могло кончиться иначе (один шанс из трех — смерть). Но прошло 20 лет, и от моей обиды и ненависти не осталось *ничего*. Я равнодушно вежливо

смотрел, как Черемисин угодливо выпрашивал то, что я обязан был сказать первому встречному (он всегда был угодлив, как червь, если от кого-то в чем-то зависел). У меня не осталось с ним никаких счетов, мне ничего не нужно было от этого человека. Огромная радость встречи с Ирой, огромное горе от ее смерти, новая любовь, новая духовная жизнь — всё это смыло следы обид, как ручей — горстку пепла, упавшую с папиросы.

## Глава 8

### Цена победы

Никогда я не был таким своим. Я лился с массами, как хотелось когда-то в 14-15 лет и перестало хотеться в 16. Я был свой в доску. Мы все были свои на передовой.

— Стой, кто идет?

— Свои.

И вдруг оказалось, что все это не так. Что все держалось только на личном знакомстве.

Впрочем, это все оказалось потом, а пока...

*Над тобою шумят, как знамена,  
Двадцать шесть героических лет...*

На площади польского городка стоит генерал-майор Кузнецов и принимает парад. Левина перевели в штаб армии. В конце войны его фамилия снова стала мелькать в приказах. Видимо, дали другую дивизию, негвардейскую, так же, как Крейзеру — негвардейскую армию.

Возле помоста оркестр. Трубач, с которым мы когда-то вместе были зачислены в трофейную команду, дует в свою трубу. Капельмейстер, уговоривший меня сочинить гимн 96-й гвардейской, помахивает палочкой.

*Несокрушимая и легендарная,  
В боях познавшая радость побед...*

Прошло четверть века, прежде чем я написал в эссе «Неуловимый образ»:

«Добро не воюет и не побеждает. Оно не наступает на грудь поверженного врага, а ложится на сражающиеся знамена, как свет, — то на одно, то на другое, то на оба. Оно может осветить победу, но не надолго, и охотнее держится на стороне побежденных. А все, что воюет и побеждает, причастно злу. И с чем большей яростью дерется, тем больше погрязает во зле. И чем больше ненавидит зло, тем больше предается ему».

Я верю в победу добра под салюты из 220 орудий. И старательно распрямляя сутулую спину, из всех сил печатаю шаг в ячейке управления 3-го батальона 291 гв. с. п. Все идет отлично. Я и в батальоне остался вольной птицей. Ленивый старший лейтенант Скворцов, замполит, предоставил мне полную свободу рук (только один раз он не подписал подготовленной мной бумаги, когда лейтенант Сидоров представил к медали «За отвагу» сразу семь человек евреев — беженцев из западных областей, — «советских граждан со вчерашнего дня». Второе представление на двух уцелевших он, впрочем, подписал).



Мог бы руководить мной парторг, но он оказался сержантом из мастерских, примерно говоря, — слесарем из металлоремонта, и чувствовал себя очень неловко в навязанной ему роли. Когда начались бои, раздобыл большую лопату и первым делом копал ровик. Как только развернется командный пункт, копает. Скворцову копал ординарец, а я обходился вовсе без ровика. Одна из причин, по которой я решил уйти именно на офицерскую должность, была свобода от лопатки. Я легко хожу, у меня крепкие ноги, а руки слабые, и в солдатской жизни под Москвой труднее всего было копать. Возвращаться к этому я не хотел, предпочитал риск. Полежу на земле, потом уйду в мирноту, а то и в стрелковую цепь загляну. Вернусь — какой-то ровик уже свободен (Связист побежал по проводу, связанной — с приказом... В бою несколько ровиков всегда пусты).

Бедный слесарь тащил лопату на плечах, как ружье, а мы старались не замечать ни лопаты, ни его лица с постоянным выражением испуга. И зачем только выдернули человека со своего места. Чинил бы себе подбитые минометы. В конце концов беднягу контузило. В мои дела, положенные по инструкции и добровольно на себя взятые, он ни разу не вмешивался.

В куче пустых статей попалась мне одна дельная фраза: хорошая политраба должна растворяться в частях, как сахар в чае, — без следа. И я все свободное время просто разговаривал с солдатами — по большей части мальчишками, ни разу не видавшими боя, рассказывал, как вести себя под огнем и вообще хорошо чувствовать себя на войне. Один раз даже показал в первом бою, как сохранить рассыпной строй, не сбиваться в кучки (а очень хочется, кажется, что так не страшно; но именно по кучкам бьют пулеметы и минометы). Впрочем, больше всего в моих разговорах было не военно-тактических знаний, а чувства. Если хотите, можно сравнить мою роль с ролью анестезиолога при операции. Я сам не резал, но старался уменьшить боль от движения скальпеля. Почти всем нам предстоит выйти из строя, но храбрый умирает один раз, трус тысячу раз. От нас самих зависит, как играть со смертью: весело, с верой в справедливость своего дела и в свою счастливую звезду.

Попадались тяжелые случаи. Помню одного парня. Он попал к нам из детдома и не верил, что ему когда-нибудь простят расстрелянного отца. Я совершенно искренне уверял, что война всё спишет, что я лично его рекомендую в комсомол и т.д. В конце концов удалось немного поднять его настроение, а я, уговаривая, привязался к человеку и помню до сих пор боль, с которой смотрел, как его, раненного в голову, бредившего, увозили в госпиталь. Тяжелее всего в батальоне были такие вот ранения и смерти ребят, с которыми успевал сдружиться.

Поход был легкий. Лето 1944-го. Высадка союзников в Нормандии. Бомба Штауфенберга в ставке фюрера. Рядовой немец почувствовал, что Гитлер капут, и не хотел умирать в белорусских болотах. Фронт прорван был сразу силами двух полков, наш остался в резерве и вошел в прорыв походной колонной, вслед, за танками. Шли два дня — 90 километров! — пока дан был приказ развернуться в цепь, наступать на какую-то высотку. И все же, после месяца или двух таких легких боев, из трех рот осталась

одна численностью 35 человек. И опять пополнение, и опять потери.

Когда выбыл из строя парторг, меня (уже со звездочкой на погонах) назначили на его место, а комсорга прислали из специальной школы, где их, наконец, стали готовить, — младшего лейтенанта Бровко. Мы сразу с ним подружились, спали под одной шинелью, ели из одного котелка и на привале пели песню, мою любимую (про Ермака) и его кубанскую. Коля был идеологически выдержан и одобрял репрессии, «почистившие» станицы после немцев, но почему-то любил гимн кубанских автономистов:

*Ты Кубань, ты наша родина,  
Вековечный богатый!  
Многоводная, раздольная,  
разлилась ты вдоль и вширь...*

Иногда на марше мой друг делился со мной опытом «безумных лет». Я слушал его с наивным интересом. Он не хвастался, а исповедовался и скорее каялся — если можно употребить здесь это слово. О многом говорил с искренним отвращением, напоминая пушкинское: «но строк печальных не смываю».

А работа парторга мне не понравилась: писанины в десять раз больше, мало времени для разговоров с людьми, и люди липнут какие-то не такие. Особенно огорчило рвение к партийности со стороны двух уголовников. После первого боя судимость с них сняли, эту услугу я им охотно оказал: написал нужные бумаги и отослал в дивизионный трибунал, где оформлялось дело. Но вступить в партию? для чего? Получить портфель и стать завмагом?

Один из уголовников настолько был жаден, что вызывался помогать при расстрелах (копал яму и хоронил убитого). Расстреливали при мне раза три. Полк выстраивался буквой П, посредине яма. Около нее ставили на колени осужденного, и ординарец уполномоченного Смерша убивал его выстрелом в затылок. Несчастные членовредители, серые от страха, умирали от одной пули. Но конокрад из группы разведчиков, воровавших лошадей в одной польской деревне и менявших на водку в другой, оказался живуч, как Распутин. В него всадили всю обойму, а он корчился и корчился. Двое или трое солдат упали в обморок. Уполномоченный вытащил пистолет и добил конокрада, а мой будущий столп партии содрал с покойника сапоги и был очень доволен.

Я посоветовался со Скворцовым, что делать, но инструкция не оставляла никакой щели для решения совести: судимость снята, человек хочет в партию — надо его принять. И я принял его и еще одного такого же. Зато командира минометной роты очень трудно было вовлечь в ряды. Что-то у него было на душе против партии (хотя так и не сказал что. Был осторожен). Насилу уговорил подать заявление.

Между тем восстала Варшава. Мы без команды стали сворачивать палатки (армия была выведена из боя и отдыхала перед большим маршем). Но в середине дня приказано было снова разбить палатки: в Варшаву мы не

пойдем. А на другой день газеты сообщили, что по стратегическим соображениям помочь Варшаве нельзя. Почему нельзя? Шесть дивизий, т.е. 54 батальона, больше 400 орудий и около 300 минометов, не говоря об артиллерии армейского и фронтового подчинения. Весь день нам совестно было глядеть друг другу в глаза. Слишком явная ложь. Как я проглотил ее? Я сам, я лично не мог бы это сделать. Но мы, но наш батальон, наша армия проглотила, и я вместе с ними. На миру не только смерть красна — и ложь становится правдой.

В 43-м восстало варшавское гетто и попросило помощи у Армии Крайовой. Командование армии ответило, что по стратегическим соображениям помочь нельзя (хотя кое-что можно было сделать), и даже не спрятали безоружных, вышедших из гетто по канализационным трубам. Больше того. В некоторых воеводствах Армия Крайова заключила перемирие с немцами на время окончательного решения еврейского вопроса. Теперь история повторилась... Сталин прекратил военные действия, пока Гитлер давал Польше еще один предметный урок. Надо было показать восставшим, что они дерьмо, нуль без палочки, и что-то значат только после русской единицы. А мораль, а воля народов, за освобождение которых мы боролись?

Возможно, с какой-то небесной (или адской) точки зрения всё было справедливо и оправдано. Например, с высоты библейского бога, мстившего внукам и правнукам. Или русского бога (в данном случае русский и еврейский бог совершенно сошлись в практических выводах):

*Как дочь родную на закланье  
Агамемнон богам принес,  
Прося попутных бурь дыханья  
У негодующих небес,  
Так мы над горестной Варшавой  
Удар свершили роковой,  
Да купим сей ценой кровавой  
России целость и покой.*

*Тютчев*

Раз у Николая Павловича был мандат неба, то можно предположить его и у Иосифа Виссарионовича. Но перед лицом национальных богов я чувствую себя атеистом и почтительно возвращаю билет на торжество высшего смысла. Если вытащить на свет и развернуть то, что неуверенно шевелилось в моей голове, выйдет примерно следующее: поляки — не ангелы и АК — не небесное воинство. Но они — наши союзники. Восстание Варшавы — знак народной воли, признавшей лондонское правительство своим. Значит, и нам надо его признать. Возникнут трудности при определении границ? Ну, пусть дипломаты попотеют. Зато мы получим готовый плацдарм на левом берегу Вислы и сохраним несколько сот тысяч солдат. Что-то подобное шевелилось во всех головах,

но только шевелилось и не стало отчетливой мыслью. Потому что шевелиться мысль может в миллионах, а додумывается она только единицами. Я не был такой единицей. Я был частью массы. Мы один день были смущены, а потом снова повеселели. Союзники освободили Францию и захватили несколько городов в западной Германии. Пора и нам...

*Русские прусских всегда бивали,  
Наши войска в Берлине бывали...*

Конец сентября застал нас на марше. Для скрытности шли ночами, километров по 25. На рассвете разбивали лагерь в лесу. Спали до обеда, вечером ноги сами просились дальше. Наконец, дошли в Литву, на границу с Восточной Пруссией. Надо было утереть нос американцам и захватить несколько немецких городов. Никаких стратегических перспектив наступление не имело. Лобовое движение на Запад по следам Ранненкампа: Тильзит, Гумбинен... Под Шталлупененом я был ранен — самым глупым образом. КП, разместившись на немецкой ферме, жарил гусей. Зам по строевой, капитан Семенов, сидел и наблюдал за противником. Семенову тоже захотелось гусятины. Он попросил, чтобы его сменили. Я предложил свои услуги. Старший лейтенант Гутин, новый комбат (старого ранили) кивнул головой (рот его был занят гусятиной ножкой). Всё бы обошлось, но в последнюю минуту Семенов, уже вылезши из ровика (куда мне надо было прыгнуть), вдруг засомневался, управлюсь ли я, и стал объяснять, указывая руками, — здесь первая рота, здесь вторая, третья. Зря он сомневался. Я дежурил ночью на КП, давал выпасться старому комбату, и умел разговаривать по двум телефонам, и в случае контратаки вызвал бы огонь артиллерии. Но раз старший по званию стоит под дулом «фердинанда» и плюет на опасность, то мне и Бог велел. Я засунул руки в карманы (холодно было, 23 октября) и поглядывал то на нашу цепь, лежавшую на земле, то на немецкую пушку. Вспышка, разрыв. остальное известно читателю.

Ранение пустячное: осколки повредили мне палец и ладонь (загордившие живот). Но уже в медсанбате повеяло тухлятиной. Случайно заглянул туда дивизионный прокурор. Увидев меня, он спросил: что это, Померанец, про вас плохо говорят — и показал на мою левую руку. Я выпучил глаза и ответил, что ранение не пулевое, а осколочное, а при каких обстоятельствах я его получил, можно справиться в батальоне. На этом разговор окончился, но остался неприятный осадок. Небось, если бы я не был евреем, тыловая сволочь не сплетничала бы...

Дальше — больше. Из госпиталя я съездил в штаб армии, предъявил справку о награждении орденом Красной звезды и получил знак. Одной здоровой рукой трудно было прикрепить звездочку к гимнастерке. Я положил ее под подушку, пошел обедать, и больше своего ордена не видел. Его украли. В офицерской палате, у раненого. Я был в отчаянии, как ребенок, у которого отняли любимую игрушку. Лег ничком, носом в подушку, из-под которой исчезло мое сокровище. Произошло что-то

непонятное. И от чего нельзя отвернуться, пройти мимо. Несколько дней назад я увидел в помойке обнаженный труп девушки лет 15 или 16. И хотя сразу смыло с меня весь слой ненависти к *любому* немцу, и хотя помню эту мертвую до сих пор, я тогда отвернулся, не стал додумывать и выяснять, кто это сделал, *они* (от которых лучилось мировое зло) или *мы*? И если мы, то кто? Те самые уголовники, которых я принял в партию? Или единомышленники покойного парторга 405-го — нынешнего моего 291-го гвардейского полка? Уверенные, что здесь, в логове зверя, всё позволено? А теперь — какой уголовник и для чего украл мое волшебное оперение? Без которого я оципаный утенок, годный в судок? И какая в железке корысть? (я не знал, что орден стоит 10 000. Подделать удостоверение несложно. В Баку у каждого чистильщика сапог был орден Красной звезды).

Ко мне подошел капитан, фамилию которого забыл, обрусевший башкир, и стал объяснять, что к чему. Вы лично, говорил он мне, может быть, и не заслужили такой обиды, но евреи вообще.

Капитан был командир отдельной части (противотанкового дивизиона), и после прошлого ранения его поместили в госпиталь для старших офицеров и генералов. Там он слышал, что после войны будет антиеврейская революция. Потому что на передовой евреев нет, а в тылу 5-й Украинский фронт взял Ташкент.

Я попытался объяснить, что евреев — беженцев из западных областей — до 1943 г. не призывали в армию. Почему — до сих пор не знаю. Может, неясен был вопрос о границах (а значит, и о гражданстве), но самый факт я знал. Летом 1944 наш батальон получил 8 или 9 таких западных евреев, прямо из Ташкента. Всех направили рядовыми в стрелковые роты, в том числе троих с высшим образованием. В бою один пожилой лавочник заматался и был бесславно ранен, семеро были представлены к награде. Через короткое время в строю остался один, бывший агроном. Его пришлось назначить командиром хозяйственного взвода (других кандидатур в боевой обстановке не нашлось).

Всего, что я тогда говорил, не помню. Осталось в памяти одно: стенка, от которой отскакивали мои слова. Чего стоили рассуждения младшего лейтенанта, если генералы — генералы! — говорили противоположное? Переполненный сознанием русской офицерской чести, капитан-башкир считал своим долгом оправдывать неизвестного вора и предполагать у него какие-то ар бенинские страсти. А скорее всего позарился мерзавец на 10 000 — базарную цену ордена.

Разговор только поворачивал нож в ране. Я снова лег на койку и думал, думал.. Все мои представления о справедливости были жестоко опрокинуты. Впору было вспомнить еврейскую поговорку: шрай цум гот (вопи к Богу). Но этого как раз я тогда не вспомнил. Вспомнил позже, думая, как сложилась идея всемогущего Бога.

Прошло много лет, я перестал искать справедливость и давно готов остаться со страданиями неотмщенными. Но тогда заноза торчала прямо в сердце. И я думал, думал.

Когда я учился в 10-м классе, старшим пионервожатым у нас был Севьян, довольно противный, липкий молодой человек. И мы все, мальчишки и девчонки, стали презирать армян. Потом, в институте, я встречал двух или трех симпатичных армян и понял, каким был ослом и как возникает чужеядство. Без знания истории, культуры, по нескольким встречам. Дурь, достойная недоросля. Но народ и есть недоросль — во всем, что касается логики. Рассуждать, анализировать — зачем? Есть готовый набор пословиц, поговорок, годных на все случаи. И страх чужого — дурного — глаза. А кто чужие, всегда чужие? Народы- бродяги. «Рупь — не деньги, жид — не брат». Если факты не укладываются в стереотип чужого, то это исключения. Хороший человек, хотя и еврей. На передовой я попал в исключения. А здесь попал в правило.

Эта история повторялась много раз. Я мог завоевать расположение своей дивизии, когда работал внештатным литсотрудником, или станицы, в которой был учителем. Но все это было движением вверх по эскалатору, бегущему вниз. В далеком углу станицы, где дети ходили в другую школу, какой-нибудь крошечный пацаненок, с которого и взятки гладки, непременно выскакивал и кричал в спину, кто я такой. Потом я преодолел и этот барьер. Случай вышел. На новогоднем вечере обступили меня десятиклассники, и вынь да положь, — расскажи им о Сталине. Я взглянул в десяток пар глаз, уставившихся на меня, и сказал примерно то, что Хрущев повторил с трибуны 20-го съезда: об истреблении кадров, об ошибках 41-го года. Про интеллигенцию не говорил: знал, что для казаков интеллигент — бранное слово (барин, белоручка). Ребята слушали, затаив дыхание, и 2,5 месяца держали язык за зубами. Но после чтения доклада взорвались и повсюду разнесли мою славу. Весной 1956 года со мной раскланивалась вся станица (ей было чем помянуть Сталина). И ни один пацаненок ничего мне в спину не кричал. Я был, так сказать, принят в почетные казаки за обличение злодея, заморившего голодом половину Шкуринской в 1932 году, но следующему еврею пришлось бы подыматься по той же лестнице, движущейся вниз.

В конце концов внимание мое устремилось извне вовнутрь, на самого себя, к самопознанию. Лет через 20 или 25 после войны я прочел реферат книги Фанона «Черная кожа, белые маски». Фанон — житель Антильских островов. Антильцы черные, но они говорят и думают по-французски. И когда мальчик шалит, ему говорят: «не ведите себя, как негр». Так примерно и я думал по-русски и от этого смотрел на мир русскими глазами, например, на Черемисина: какой противный тип! Но никогда не приходило мне в голову: какой противный русский. Тень от Черемисина не ложилась на Абрамичева, тень от Манжулея — на Сидорова (см. гл. 5, 7). Черемисин был сам по себе, Абрамичев сам по себе. Что бы я ни знал о Смердякове, это не ложилось на Алешу (хотя они братья). А тень от Лямшина на меня ложилась. Тень от Азефа ложилась. Я смотрел, как идет брюхом вперед капитан Маркович и думал: бывают же такие противные евреи. Хоть в своем деле Маркович был дока и организовал в донских станицах производство пшена и подсолнечного масла и кормил этим дивизию, когда соседние

части голодали.

Армейское русское «мы» вылезло и в моем первом восприятии геноцида. О нем говорили как о чужом горе. И я его принял как чужое горе. Я думал о погибших как о «местечковых» евреях, т.е. не таких, как я. И мне их было жаль, конечно, но как-то вчуже. «Местечковые» было у нас в доме пренебрежительным словом. «Из местечка», «с Подола» значило пошлый, вульгарный. И когда я услышал о гибели еврейского местечка, я утешал себя, что большая часть городских, интеллигентных евреев, наверное, успела эвакуироваться. А местечко... Что ж, лес рубят, щепки летят. Столько миллионов гибнет на этой войне, да и раньше гибло: в революции, в коллективизации. История не разбирает ни пола, ни возраста, ни национальности.

Если копнуть глубже, то — от местечка на меня падала тень. Мне было неприятно, что меня, интеллигента, со стороны можно смешать с теми, местечковыми евреями. Потом я смеялся, узнав, что после одного ленинградского доклада в кулуарах мелькнула реплика: «местечковый философ, а как слушают». Но это потом, когда я перестал глядеть на себя чужими глазами, а в юности всё боялся, что меня с кем-то смешают, спутают. И вдруг, в Майданеке, около слипшейся в кучу детской обуви (мы заехали в Майданек, возвращаясь победителями из Германии), я почувствовал погибших как своих собственных детей и впервые до конца пережил слова Ивана Карамазова о деточках, которые в ни в чем не виноваты. До этого я вспоминал «деточек» несколько литературно, как риторический ход. А теперь стоял и чувствовал ужас: как это я сразу не нашел в себе отклика.

В ассимиляции есть свои уродства, свои вывихи. Но я не думаю, что ассимиляция по сути своей — вывих. Во всяком случае это не только болезнь. Или, другими словами, в этом болезненном процессе есть нечто плодотворное. Как плодотворна была для культуры Австро-Венгрия. Сперва меня удивило у Ричарда Олдингтона, что ему жаль лоскутной монархии. А потом подумал, подумал — и понял. Да, лоскутная, и все неустойчиво, и постоянные трения между землями. Ахиллес, у которого пятка всюду. Но иногда все-таки Ахиллес. Иногда все-таки целое, неожиданное по своему богатству, как австрийская музыка, возникшая на перекрестке немецкого и итальянского, венгерского и славянского. Без этого беспокойного перекрестка не было бы Моцарта. А без гибрида эллинского с иудейским не было бы христианства. Трудное, неловкое сожителство иногда плодотворно. Я сам нечто вроде Австро-Венгрии. Я в Москве чувствую себя евреем, в Грузии, где русских не любят, — русским, и, наверное, за границей чувствовал бы себя как раз тем, который здесь, в этом месте, — чужой. Это не очень удобно, но я не хочу распада своего еврейско-русского внутреннего царства. От самого себя никуда не денешься. Я знаю по опыту, что народ меня своим не считает, но не могу вынуть из себя русскую культуру и отделить от этой культуры еврейский привкус. Куда бы я ни поехал, всё останется во мне, так же, как и я — частицей истории русской культуры и истории еврейства.

Так я думаю сейчас, но сорок лет тому назад рассуждал иначе — в терминах культуры, социалистической по содержанию и национальной только по форме. Правда, вопрос, до какой степени у нас построен социализм, оставался для меня открытым; но я не сомневался, что когда-нибудь он будет построен. От каждого по способностям, каждому по труду, — разве это не справедливо? и разве справедливость не должна победить? Наши военные победы казались мне доказательством, что основной маршрут был верен и вместе с угнетением исчезнет гнев масс, который не раз в истории принимал ложную форму и обрушивался на чужака, на козла отпущения, оставляя в покое действительных злодеев. У нас никому не нужно отвлекать от себя гнев угнетенных (думал я). Значит, всё дело в росте марксистской интернациональной сознательности. Сознание вчерашних мужиков, сегодняшних офицеров и генералов, еще отстаёт, ещё сохраняет пережитки вчерашнего дня. Ну и пусть. Править должны те, кто возвышается над национальными предрассудками, — уверял я себя, ворочаясь на койке. Старые коммунисты это умели. Вот и у нас в дивизии замполит артиллерийского полка, старый коммунист Карякин, успешно боролся с антисемитизмом. Когда мы стояли на Никопольском плацдарме, какой-то старший лейтенант сказал, что все, мол, идут на запад, только наша еврейская дивизия завязла. Глупо — потому что завязла вся 5-я ударная армия, и завязла потому, что резервы шли на правый берег Днепра, а Никопольскую группировку немцев оставили сидеть на левом и дожидаться окружения (под угрозой его она в конце концов бежала напрямик до Румынии). Карякин собрал офицеров и сумел убедить их. Но это капля в море. Нужно еще много работы, и пока она не проделана, власть должна оставаться в руках марксистской партии...

Я не знал, что идея антиеврейской революции была инспирирована самим Сталиным (через Щербакова) в декабре 1941 года. Я не понимал, что национальные чувства и национальные предрассудки живучее, чем социальные формы, и евреев били всегда: до Рождества Христова и после, при рабовладельческом строе, при феодализме, при капитализме — и при реальном социализме. Я горел своей идеей просвещенной и просвещающей диктатуры и написал в этом духе целый трактат, который непременно нужно было куда-нибудь послать, хоть на деревню дедушке. Подходящим адресатом показался Эренбург. Любопытно, дочитал ли он мою галиматью?

В мифе, который я наскоро сочинил, залепляя им сердечную рану, интеллигенция оказалась марксистской и правящей. Я закрыл глаза на то, что хорошо знал. Что марксист Пинский не хотел в эту партию. Что «всех умных людей пересажали, одни дураки остались», — как я сам подвел итог в 1939 г. Я отнес всё это к перегибам, вызванным страхом перед фашизмом, страхом, который отпадет после победы. Тогда восстановлена будет партийная демократия, а за ней и всякая демократия, по мере роста марксистской интернациональной сознательности. Понимая марксизм как реальный гуманизм и логическую основу коммунизма. Т.е. ассоциации, в которой свободное развитие всех будет условием свободного развития



каждого. Шигалевского развития идеи свободы можно избежать. То, что шигалевщина уже стала действительностью, я не хотел знать, я вытеснял неудобные факты из своей мысли. Мне нужен был миф. У меня хватало мужества рисковать жизнью, но не было мужества увидеть, к чему мы пришли.

Эренбург не ответил на мое письмо, но ответила судьба. Меня вызвали в политотдел армии. Там в отделе кадров сидел ифлиец<sup>33</sup>, капитан Коркешкин. Он смутно помнил мою фамилию — кажется, по скандалу с Достоевским. Но сейчас этот скандал был далеко в прошлом. Нужен был литсотрудник в 61-ю дивизию. Мой предшественник, капитан Авербах, взорвался на mine. И Коркешкин, найдя знакомую фамилию в списках легко раненых, — стал уговаривать — пойти в негвардейскую дивизию, редакция интеллигентская, все офицеры с университетским образованием.

Уходя раненым из батальона, я твердо собирался вернуться в него и даже в госпиталь не хотел ехать, думал отсидеться в медсанбате. Но теперь — после разъяснительной работы, проделанной командиром противотанкового дивизиона, — я сразу согласился.

Когда у человека есть миф, жизнь всегда дает факты, подтверждающие этот миф. В редакции 61-й оказался микроклимат, как будто специально для меня придуманный. Популяция ее состояла из майора Кронрода, капитана Вачнадзе и капитана Шестопада (еврей, грузин и украинец); вскоре Вачнадзе перевели редактором в другую дивизию, а на его место — майора Череваня (с понижением — за пьянство). Черевань — добродушный флегматик — компании не портил. Не было ничего подобного грызне Черемисина с Абрамичевым. Друг с другом — по имени-отчеству, без чинов. Впрочем, с Матвеем Михайловичем Шестопадом мы скоро перешли на ты, и я звал его просто Женей (так он представлялся девушкам, находя своё настоящее имя слишком селянским). Иногда он читал мне украинские стихи, которые сочинял от имени жены, Галины Прохаченко (оставшейся в оккупации), и опубликовал как народные песни неволи. Или рассказывал байки, собранные в селах. Например, почему Сталина пишат в чоботах, а Ленина в черевичках? Потому что Ленин увидит лужу — обойдет, увидит куст — обойдет, а Сталин — всё навпростэц. За такие сказочки вполне можно было схлопотать срок, но мы друг друга не боялись.

На передовую редакция ездила в полном составе. У Черемисина не было своей автомашины, типографию каждый раз грузили и разгружали. У Кронрода — два грузовика. На одном смонтирована была типография, на другом — «шевроле» — мы лихо проносились под огнем, ставили машину за ферму и шли смотреть, как идет бой. Яков Абрамович иногда отпускал при этом ученые замечания:

— Мы воюем как промышленная держава (т.е. жиденькая цепочка стрелков идет вслед за мощным огненным валом).

— Каким нежным тихим движением создается человек и сколько тра-

---

33 Ифлиец — выпускник Историко-философско-литературного института.

тятся взрывчатки и металла, чтобы убить его!

К Черемисину никто никогда не заходил (кому он нужен?). У Кронрода был офицерский клуб. В редакции всегда толкались политотделы и штабные. Бывал и начальник политотдела Сурен Акопович Товмасын. Он был очень неглуп, знал себе цену, с начальством упрям, а с нами держался по-домашнему. «Ну, что вы, образованные люди, об этом думаете?» — спрашивал Сурен Акопович, и начинались разговоры, кто кого перехитрит: Рузвельт, Черчилль или Сталин. Выходило, что, конечно, Сталин. Но каким-то образом этот хитрый Сталин непременно будет развивать демократию. Так нам хотелось. Каков поп, таков и приход. Заместитель Товмасына, майор Токмаков, тоже любил посидеть у нас, полиберальничать. Словом, полная симфония между интеллигенцией и партийным руководством.

Правда, были и трещины в хрустальном здании. В первые же дни я спросил Якова Абрамовича, что он может сказать об антиеврейской революции. Редактор поморщился и сказал, что это, скорее всего, болтовня (о письме, организованном Щербаковым, он ничего не знал); но есть — с 1943 г. — секретная инструкция отделам кадров ограничить выдвижение евреев. По этой инструкции его самого, после излечения от астмы, не вернули на работу замредактора армейской газеты, а направили редактором в дивизионную, и даже не гвардейскую. Будем надеяться, что это какие-то временные меры.

Экологическая ниша в 61-й дивизии была отклонением от общего порядка и держалась на двух лицах: Кронроде и Товмасыне. Кронрод, ученый экономист, был широко начитан, полон энергии, воли (в 41м вывел из окружения батальон) и умел себя поставить. А о Сурене Акоповиче я уже писал в гл. 5. Это был случайно уцелевший осколок революции, вроде тех, которых я потом встречал в 16-й камере. Он совершенно не походил на политических чиновников. Нормой был Чепуров, нормой было мое положение изгоя, терпимого только внештатным или в стрелковом батальоне, в ожидании непременно мне назначенной пули или осколка. Но у меня был предрассудок, что дураки, сколько бы их ни было, не решают и непременно должны отступить перед солнцем бессмертным ума.

Каким образом и как Товмасын служил когда-то в ЧК, не знаю, по натуре он был человек добрый и справедливый, я чувствовал это по его обращению со мной. Правда, на ты, но скорее отеческое, чем командирское: «Что же тебе за три года ничего не дали?» (глядя на мою пустую грудь — медали «За боевые заслуги» я не носил) и выписал мне орден.

Таких руководителей, как правило, ссылали или расстреливали в 34-39-м годах. Они проявляли недопустимую жалость и т.п. чувства. Но победы, победы... Победы располагали всё видеть в розовом свете.

Газеты были забиты приказами Верховного Главнокомандующего. Для своего материала места не оставалось. Всё равно, мы не могли усидеть больше 3-4 дней, чтобы не побывать под огнем и не посмотреть, как это делается. Без запаха пороха нам было скучно. И наш «шевроле» мчался

вслед за пехотой в Хайлигенбаль, выехал к морю у Розенберга — на пристань, черную от работы «иллюзиных» (самолеты- штурмовики), с валяющимися кое-где обугленными пальцами и еще какими-то головешками (ни одного цельного трупа. Немецкий флот эвакуировал всё, что мог).

А потом начинались пожары. Славяне расстреливали из автоматов хрусталь, который невозможно было запихать в вещмешок, и пускали красного петуха. Это не было направлено против немцев. Немцев в городе не было. Были тыловики, которые набивали мешки трофеями. И ненависть солдат повернулась против тех, кто наживался на войне. Если не мне, то никому! Круши всё! Пожары разрастались так, что тыловые подразделения несколько раз вынуждены были переходить с места на место. Вырвалась из-под контроля стихия, бессмысленно и беспощадно. Если вдуматься, то это о многом говорило, но не хотелось вдумываться. Так же, как раньше, в 96-й гвардейской, я не раз слышал от мальчишек офицеров, не пуганных в 37-38-м годах и вольных на язык: после войны попов (т.е. политработников) будем вешать. Я слушал и смеялся. Мало ли что говорится в шутку. Но не этой ли погромной энергии Сталин заранее собирался дать выход и дал в 1948-1953 гг.?

Наше маленькое подразделение чувствовало себя уверенно, твердо и готово было за себя постоять. Как-то подполковник из штаба корпуса (но не нашего) пытался выгнать редакцию из дома. В таких случаях ставят часового (часовой имеет право стрелять). На наших наборщиков надежды было мало, слишком ясно было, что не выстрелят. Кронрод попросил стать на пост меня. Я взял автомат, направил его на нахала и предложил уйти из расположения чужой части. Мы померились глазами. Он выругался матом и ушел.

С чувством победы мы катились через Польшу — в Силезию, к маршалу Коневу (кажется, это называлось тогда Первым Украинским фронтом). Проехали Торунь. На улицах немки с какими-то заплатами на спине, вроде тех, которые гитлеровцы заставляли носить евреев, подметали мостовые. Резануло: зачем? Зачем повторять то, что сами же мы считали средневековым изуверством? Зачем вообще мстить — женщинам? Но мимо, мимо — к победе!

Проехали вокруг Бреславля. Там еще держались окруженные немецкие части. Мимо, мимо! Фронт прорван. Мы въезжаем в город Форст. Я иду выбирать квартиру. Захожу — старушка лежит в постели. «Вы больны?» — «Да, — говорит, — ваши солдаты, семь человек, изнасиловали меня и потом засунули бутылку доньшком вверх, теперь больно ходить». Говорила она об этом беззлобно. Видимо, ее скорее удивило, чем оскорбило то, что произошло. (Ей было лет 60.)

Вечером встретил меня на улице старший сержант, красивый мальчик с завязанной головой, и спросил, нет ли спирта: «Восемь штук часов пропил, никак не могу напиться. Вот девятые, последние!». Часы были мне нужны, а фляга спирта (неприкосновенный запас редакции на случай аварии) хранилась в моем чемодане (чтобы Черевань не выпил). Я достал флягу и

(вместе с Череванем, ухватившимся за счастливый случай), пошел в дом, где гулял старший сержант. Он был разведчиком, вышел из строя, по меньшей мере, недели на две, а за две недели кончится война. Это больше, чем выиграть миллион или получить целую кучу орденов. Всё равно, что заново родиться. И дважды рожденный разведчик справлял свое торжество.

В комнате было полно немолодых немок, еще не успокоившихся после попыток эвакуации и возвращения. Лились слезы — тетя Марта или Эльза пропала, — но старший сержант ничего этого не понимал. Он видел одно — 16-летнюю девушку, кажется довольно глупую, но хорошенькую, улыбающуюся в ответ на его улыбки и обрывки немецких фраз. Держа в руках разговорник для опроса пленного, разведчик пытался использовать это пособие для новой надобности. Я перевел ему несколько слов, но дело у них, кажется, и так шло на лад. Вдруг снова кто-то зарыдал: вспомнили опять пропавшую Эльзу и еще кого-то погибшего при бомбежке. Я сидел, пил спирт с водой, и в голове всплывали обрывки из «Торжества победителей» Шиллера:

*Пал Приамов град священный,  
Грудой пепла стал Пергам...*

Радость ахейцев, слезы троянок... Я одновременно полон был ликования и ужаса, чувствовал за победителя и за побежденных несчастных женщин. Волны радости и жалости перекатывались одна за другой:

*Брегом шла толпа чужая  
Илионских дев и жен:  
Из отеческого края  
Их вели в далекий плен.  
И с победной песней дикой  
Их сливался тихий стон.  
По тебе, святой, великий  
Невозвратный Илион.*

На другой день Конев повернул свои танки на север. Немцы, отчаянно обороняя Берлин с востока, ничем не прикрыли его с юга. Но входить в город — нужна была пехота. Нашу дивизию — людей и лошадей — посадили на грузовики автобатальона и перебросили вслед за танками. По той же дороге покатались тылы. На перекрестках стояли регулировщицы и махали флажками, а на 3 — 5 км вправо и влево оставалась гитлеровская администрация. Немки ошалело смотрели на нас и вывешивали белые флаги. Вдоль автострады стояли какие-то фургончики, будто на них эвакуировались (или собирались эвакуироваться). На каждом фургончике: ТарГег ипё Ггеи (мужественно и верно)! И повсюду кругом, на каждой собачьей конуре: ТарГег ипё Ггеи! И вдруг на мосту, под которым проходит автострада, аршинными светлозелеными буквами, на случай, если мужество и верность не помогут, — по-русски, последний привет от

доктора Геббельса: «Жид виноват». Гениально просто, без всяких объяснений. Только два слова: жид виноват. И к чему объяснять, ведь и так всем всё известно. Надо только напомнить.

Доехав, редакция расположилась в районе Берлин — Лихтенраде, на вилле Рут. Хозяйка, Рут Богерц, вдова коммерсанта, была мрачной и подавленной; её прекрасные темные глаза метали молнии. Прошлую ночь ей пришлось провести с комендантом штаба дивизии, представившим, в качестве ордера, пистолет. Я говорю по-немецки, и мне досталось выслушать всё, что она о нас думает: «В Берлине остались те, кто не верил гитлеровской пропаганде, — и вот что они получили!». На первом этаже виллы стояли двухметровые напольные часы. Других в доме не осталось. «Мы издадим закон, чтобы меньших часов не производили, — говорила фрау Рут, — потому что все остальные ваши разграбили».

Впрочем, разговор с хозяйкой скоро перехватил Яков Абрамович. Она понимала по-французски, он тоже. Кронрод был красивый мужчина, привыкший к успехам, и фрау Богерц быстро с ним подружилась. Но язык ее не потерял остроты, мне от нее по-прежнему доставалось. «Ваши передачи вроде наших, — заметила она как-то к слову. — Их неинтересно было слушать. Мы предпочитали Би-Би-Си». Я неосторожно сказал, что у нас в тылу радиоприемники были все изъяты. «Ого, — сказала Рут, — вы еще менее свободны, чем мы».

Чтобы я и Черевань не скучали (Шестопал был в отпуске, покупал дом в предместье Киева), Рут пригласила своих подруг. Одна из них, фрау Асмус, пожаловалась на наших военных девушек. Солдаты грабили её простодушно, хватали продукты, вино, часы, а милитерфрау- эн сразу сообразили, где она прячет шмук (драгоценности), прощупали матрешку на чайнике и всё раскурочили.

Я попытался объяснить, что война вызвала взрыв ненависти и теперь трудно ее удержать. Ведь *вы* начали эту войну. Фрау спокойно ответила: «Да, но вы показали себя такими слабыми в войне с Финляндией...». Я опешил. Эта женщина, бесспорно неглупая и образованная, не различала моральной оправданности и политической целесообразности. «Слишком по-немецки», — подумал я тогда. Недаром Германия создала выражение «Раш^гесБЬ» (Кулачное право). Увы, впоследствии я убедился, что таких рационалистов полно и в Москве. Но интерес к фрау Асмус у меня совершенно угас.

Компаньонка фрау Богерц тоже показалась мне скучной, и попытки ее пококетничать со мной скорее отталкивали. Зато неожиданно тронула фрау Николаус. Не очень красивая, нос почти по-русски картошкой, она была очаровательно естественна и, главное, прекрасно пела. Мы устраивали музыкальные вечера, иногда всей гурьбой гуляли. Лихтенраде — район вилл, бомбежки его пощадили, хорошо было пройтись по улицам. Соседки осторожно выглядывали на нас из ворот своих участков, где они растерянно ждали очередного грабежа или насилия.

Как-то вечером я вышел погулять один. Мне хотелось собрать в один жгут весь хаос впечатлений, и опять вспомнился Шиллер:

*Суд окончен, спор решился,  
Прекратилась борьба,  
Всё исполнила судьба.  
Град великий сокрушился.  
Царь народов, сын Атрея,  
Обозрел полков число.  
Вслед за ним на брег Сигея  
Много, много их пришло.  
И внезапный мрак печали  
Отуманил царский взгляд:  
Благороднейшие пали, —  
Мало с ним пойдёт назад.*

Я не всё помнил, что сейчас цитирую, выступали из памяти одни отрывки, я беспомощно пытался их склеить, — мне это было очень нужно, я чувствовал, что в «Торжестве победителей» как-то связалось всё, что меня разрывало на части. Вдруг подбегает ко мне немолодая немка: «Господин лейтенант, помогите, мою дочь насилуют!». Пришлось зайти. Стоит пьяный верзила с нашивками старшего сержанта, держит в руке пистолет и бормочет: «Я убью ее, суку». С лица его каплет кровь. Девушка попалась храбрая, пистолет ее не испугал, а верзила не только стрелять, а свалить девчонку не решился, так и стояли друг против друга: он ругается, она царапается. Я приказал старшему сержанту пойти за мной; он безропотно подчинился (как-то надо было выйти из положения), но пистолета в кобуру не вкладывал и, бредя следом, продолжал бормотать: «все равно я ее убью». Что мне было с ним делать? Отвел в контрразведку, там пистолет отобрали, уложили спать, а утром отправили в часть (я справлялся, боясь, как бы ему не пришили лишнего. Но нет, тогда *ничего* не шили. Даже не дали суток трех ареста за безобразное поведение).

Бывало и так. Но обычно пистолет действовал, как в Москве ордер на арест. Женщины испуганно покорялись. А потом одна из них повесилась. Наверное, не одна, но я знаю об одной. В это время победитель, получив свое, играл во дворе с ее мальчиком. Он просто не понимал, что это для нее значило.

Иногда Кронрод со мной или Череванем ездили в центр. Он реквизировал для нужд армии легковые машины (их было много в этом буржуйском районе) и учился водить. Наезжал на столбы, на дома — кажется, 3 или 4 машины разбил. После победы я перестал с ним ездить, сказал, что хватит мне двух боевых ранений. Из каждого рейса возвращались с трофеями: ящиками вина, консервами. Все магазины были взломаны, бери, что хочешь.

Как-то, когда в центре был Черевань, к нему бросилась немка, рижанка, хорошо говорившая по-русски, — попросила зайти в бомбоубежище. Там, в большой массе, женщины чувствовали себя в относительной безопасности от насилий. Но и это не всегда помогало. Какой-то лейтенант прошелся, как по гарему, выискал красавицу, киноактрису, и приказал идти

за собой. Насытив его, она вернулась. Но лейтенант оказался хорошим товарищем и стал угощать своих друзей — одного, другого, третьего, четвертого. У актрисы уже больше не было сил на их всех. Майор Черевань попытался усовестить компанейского парня; но с того — как с гуся вода. Не было никакой гарантии, что через полчаса он не придет снова.

Сталин направил тогда нечто вроде личного письма в два адреса: всем офицерам и всем коммунистам. Наше жестокое обращение, писал он, толкает немцев продолжать борьбу. Обращаться с побежденными следует гуманно и насилия прекратить. К моему глубочайшему удивлению на письмо — самого Сталина! — все начхали. И офицеры, и коммунисты. Идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Это Маркс совершенно правильно сказал. В конце войны массами овладела идея, что немки от 15 до 60 лет — законная добыча победителя. И никакой Сталин не мог остановить армию. Если бы русский народ так захотел гражданских прав!

Недели через две солдаты и офицеры остыли. Примерно как после атаки, когда уцелевших фрицев не убивают, а угощают сигаретами. Грабежи прекратились. Пистолет перестал быть языком любви. Несколько необходимых слов было усвоено и договаривались мирно. А несправимых потомков Чингисхана стали судить. За немку давали 5 лет, за чешку — 10.

Когда чехи стали раскулачивать и выселять судетских немцев, не только наша интеллигентская редакция, чуть ли не все вояки были недовольны. Кронрод послал меня поговорить с представителем чешских властей. Тот холодно выслушал и ответил (на превосходном немецком языке), что с командованием Советской Армии их действия согласованы.

Это была правда. Но правда была и то, что спокойное, холодное, организованное насилие над немецким населением Судет среднему российскому солдату и офицеру не нравилось. В апреле Сталин не смог остановить погрома, но одно дело апрель, а другое июнь. Подобрели, обмякли на солнышке. И сталинская национальная политика (скорее немецкая, чем русская) была не по сердцу.

Но в Берлине! Одна из величайших в мире побед. В груди все ликует, поет. И резко перебивая ликование — стыд. Мировая столица. Кучки иностранных рабочих сбиваются на углах, возвращаются во Францию, в Бельгию, и на их глазах — какой срам! Солдаты пьяны, офицеры пьяны. Саперы с миноискателем ищут в клумбах зарытое вино. Пьют и метиловый спирт, слепнут. При опросе пленных, первые слова: ринг, ур (кольца, часы). Фрау Рут дразнила меня словарем русского солдата: ринг, ур, рад (рад — велосипед), вайн (вино). Я вспомнил частушку отступавших немецких солдат из смеси немецких, польских и русских слов:

*Прощай сало, прощай штек,  
Русский гонит, немец вег.  
Прощай курки, прощай яйки,  
До свидания, хозяйка.  
Прощай млеко, прощай вино,*

Где же моральное превосходство социализма? Что дали годы без частнособственнического свинства? (от которого все пороки?) Идеология треснула сверху донизу и держалась на честном слове. На радости, что война кончилась, а мы живы. Эта радость всё заливают — как у разведчика из Форста, пропившего девятый ур.

Радость, радость лилась через край и топила все сомнения. То стыдно на улицу выйти, стыдно своей формы. То снова охватывает чувство победы. На этой волне даже растаяла моя обычная сдержанность с женщинами. Я был влюблен в фрау Николаус и пытался за ней ухаживать. Как-то вечером решился пойти в гости и объясниться. То, что в Москве училась в это время Жанна и я ее считал своей невестой, как-то не мешало. Из госпиталя я рвался к Жанне, просился в отпуск (и слава Богу, что отпуска не дали: у Жанны, помимо эпистолярного романа со мной, был еще другой, живой роман, как раз в то время он очень бурно шел). Но в Берлине я обо всем этом просто не думал.

Фрау Николаус обладала даром говорить всё, что угодно, с обезоруживающей естественностью. И в ответ на мои нежности она очень просто и мило сказала, что ей больше нравится майор Черевань. Я несколько опешил, а потом подумал: пустое. Так, глазами, мне тоже больше нравится фрау Богерц, писаная красавица, но сердце она мне не тронула. И Черевань, если заговорит, сразу станет скучным, и не нужно ему ничего, кроме бутылки. Не может фрау Николаус не почувствовать, что я откликаюсь на ее песни и на все ее существо. И я продолжал говорить, как бы во хмелю, и даже осторожно обнял ее за плечи. Фрау Николаус не сопротивлялась. У нее был шестимесячный младенец, надо было есть, чтобы кормить его, а я приносил консервы; но гораздо охотнее она просто бы заснула. Меня такой поворот дела не устраивал, я не мог воспользоваться пассивностью женщины, мне нужен был ее душевный отклик, без него я застываю. И я продолжал что-то бормотать. Если бы по-русски! Я пытался рассказать, какая это радость выйти из облака ненависти и встретить здесь, в Берлине, такую милую, интеллигентную женщину, читающую те же стихи, которые я любил (фрау Николаус показывала мне томик Гейне, который следовало сжечь). И как она поет... Но мне всё труднее было подобрать немецкие слова и находить хотя бы приблизительно подходящие падежи и времена глагола. Прошлую ночь я дежурил у радиоприемника, записывал бесконечные приказы Верховного Главнокомандующего, которые никто не читал. И вдруг я почувствовал, что смертельно хочу спать, и всё еще бормоча что-то, уснул.

Проснулся утром. Фрау Николаус была очень приветлива. Мой внезапный сон ее совершенно устраивал. Младенец не кричал, и она отлично выспалась. А я вызвал местного портного и предложил за сутки сшить китель и брюки из отреза, полученного в АХЧ (мне хотелось выглядеть не хуже других селезней). Старик взглянул на меня, как на сумасшедшего, и ответил, что это абсолютно невозможно. Я настаивал; через



сутки он принес нечто, отдаленно напоминающее то, что мне хотелось. Я расплатился какими-то банками и брюки, помнится, поносил, время от времени подшивая (они расплзлись по швам); китель оказался совершенно негодным. Впрочем, всё это выяснилось уже не в Берлине. Нас выперли из города за день до взятия рейхстага.

Гитлер ещё жил, он вызвал на помощь армию Венка. Дивизии нашей армии столкнулись с ней на марше и во встречных боях разбили. Но несколько дней автострада, по которой мы получали снабжение из 1-го Украинского фронта, была перерезана. Пришлось временно кормиться из фондов Жуковского (1-го Белорусского?) фронта, тоже вошедшего в Берлин. Жуков прислал в штаб дивизии полковника с требованием: как только дорога очистится — немедленно убираться из города. Мы грозили выхватить у него из-под носа рейхстаг. Может быть, и выхватили бы, если бы меньше пили. Берлинский фольксштурм сдавался после двухтрех выстрелов, отбивались зенитчики, а потом опять квартал за кварталом вывешивал белые флаги. Но делать нечего, пришлось убираться и не портить заранее разработанного спектакля. Когда шли грузиться, никакого равнения в строю, солдаты покачивались. Все враз сбросили с себя фронтовое напряжение.

Перед отъездом я успел забежать к фрау Николаус и занес ей несколько банок консервов. Пусть у нее будет молоко для ее младенца (отца убили под Ригой).

Фрау Николаус была тронута, мы нежно простились. Признаться, меня потом радовало, что роман с нею так и остался платоническим и бескорыстным. И еще одна вещь порадовала: то, что район Лихтенра-де достался после Потсдама американцам.

Я уезжал, мурлыча про себя песню про Марию Магдалену, звезду из каза д'ор. Там была одна звонкая строфа: гондола легко скользит по Большому каналу, далекий звон колоколов смешивается со звуками серенады... Между тем, опять замелькали *мужество и верность*. 100 000 раз мужество и верность. И опять под мостом те же гениально простые слова, падающие в народное сердце: «жид виноват». Светло-зелеными аршинными буквами. Цвета надежды, что юдофобство никогда не умрет.

Вечер восьмого мая застал нас где-то в Судетских горах. Вдруг пальба со всех сторон. Выскочили, узнали — капитуляция. Постреляли в воздух и мы. Потом достали бутылку с густым яичным ликером — остальное выпито было раньше — кое-как вытряхнули хмельную массу, чокнулись — и в Прагу. Чешки в каких-то кринолинах XVII века, на каждом шагу угощают (но не по-русски, сухим вином и без закуски). Смотрим на нормальную европейскую жизнь. Молодые люди держат в руках велосипеды своих девушек. Незнакомые подхватывают пьяного и ведут домой, никто не валяется в канаве. Культура. Мальчик, выучившийся по-русски, заводит со мной разговор. Спрашивает, почему не простили власовцев, они ведь сражались вместе с чехами и освободили город. Действительно, почему не простить на радостях? Простили ведь дезертиров.

Нас отводят назад, в немецкие Судеты. Хозяйкам выдали карточки, где на каждом талончике <sup>и</sup>18Ъе. Как при Гитлере на еврейских карточках: <sup>и</sup>18Ъе. Я видел в Берлине. Там остались еврейские семьи. Одна из них попросила у меня охранную грамоту от наших солдат, я написал, хотя, кажется, это не помогло, и теперь это <sup>и</sup>18Ъе и запрет купаться в озере — аналогия с гитлеровскими расовыми законами. Противно. Все больше пятнышек на огненном солнце победы. И всё-таки оно еще светит мне. Я достал у местного учителя томик Шиллера, и всюду, куда бы я ни шел или катил на велосипеде, за мной плыли звучные строфы:

*Пусть веселый взор счастливых  
(Оилеев сын сказал)  
Зрит в богах богов правдивых:  
Суд их часто слеп бывал.  
Сколько бодрых жизнь поблекла,  
Сколько низких рок щадит!  
Нет великого Патрокла,  
Жив презрительный Терсит.*

Я вспомнил кровавое поле у Павловки и поле смрада под Котлубанью, и другое поле у Хайлигенбайля, где мы воевали как промышленная держава, а немецкие мальчики остались лежать в своих ямках, простреленной головою к противнику, сжимая окоченевшими руками автомат или фаустпатрон. С чего бы ни начиналась война, она становится благородной, когда доходит до защиты родного дома...

*Смерть велит умолкнуть злобе  
(Диомед провозгласил).  
Слава Гектору во гробе!  
Он краса Пергама был;  
Он за край, где жили деды,  
Веледушно пролил кровь.  
Победившим — честь победы!  
Охранявшему — любовь!*

*И вперила взор Кассандра,  
Вняв шепнувшим ей богам,  
На пустынный берег Скамандра,  
На дымящийся Пергам.  
Всё великое земное  
Разлетается, как дым:  
Ныне жребий выпал Трое,  
Завтра выпадет другим...*

Особенно меня волновали последние строки. Я буквально трепетал, вспоминая их. И даже в словах Одиссея звучало глухое пророчество — как нас на очных ставках встретят Клитемнестры и Эгисфы:

*Часто Марсом пощаженный  
Погибает от друзей... —  
(Рек Палладой вдохновенный  
Хитроумный Одиссей).*

И всё это сливалось в одно гармоническое целое, в один стройный ряд: ликование и слезы, радость победы и зловещий голос рока (заключенный, наверное, в каждой победе). Этого лекарства не хватало, чтобы залечить зубную боль в сердце. Всё становилось стройно, звучно.

Стихи действительно как обезболивающее. Но потом снова и снова вставали проклятые вопросы. Они стоят передо мной до сих пор. Я не знаю, что было решающим толчком к погрому, которым завершилась война: нервная разрядка после сыгранной трагической роли? Анархический дух народа? Военная пропаганда?

*По дороге на Берлин  
Вьется серый пух перин.*

Это не Эренбург, на которого потом посыпались шишки, это Твардовский. Стихи, напечатанные во фронтовой газете, когда славяне жгли и громили пустые немецкие города. Ветер перекачивал тогда волны пуха (в моей памяти он белый, а не серый), и этот белый пух окутал победу сверху донизу. Пух — знак погрома, знак вольной-волюшки, которая кружит, насилует, жжет... Убей немца. Мсти. Ты воин-мститель. Переведите это с литературного языка на матерный (на котором говорила и думала вся армия). И совершенно логично прозвучат слова парторга 405-го в балке Тонкой: «Ну ничего, дойдем до Берлина, мы немцам покажем!». Русский мужик не скажет: нас угнетают. Он говорит иначе: вот они нас (глагол). «Барыня», карманьола смуты, выражает мужицкую идею равенства тем же глаголом:

*Кака барыня не будь,  
Всё равно её...*

Убей немца, а потом завали немку. Вот он, солдатский праздник победы. А потом водрузи бутылку доньшком вверх!

Но офицеры, генералы? Почему они не прекратили безобразие? А они тоже думали по-матерному. Разгулявшегося русского человека всегда трудно было удержать. Суворов не сумел остановить резню в Измаиле; паши вышли сдаваться, а чудо-богатыри всех перекололи. Но офицеры были дворяне (не потомственные, так личные). И благородство обязывало. Офицеры пытались сдерживать казацкую и мужицкую стихию, и почти всегда им это удавалось. А Федя Аникеев — чем он отличается от рядового солдата? Скорее в дурную сторону: меньше терпения, больше нахальства. Такие Аникеевы при коллективном изнасиловании наводят порядок в очереди.

Леонтьев, к сожалению, в чем-то прав: лучшие свои качества русский

народ обнаруживает в отчаянно трудных условиях, когда сами обстоятельства заставляют терпеть узду. Мужики Марей были добрые, когда их держали в руках. И дворяне держали. А революция содрала верхний слой.

Госпиталь отравил меня проблемами еврея, пустившего корни в русскую почву<sup>34</sup>. Берлин поставил вопрос о самой почве. Задним числом я и госпиталь вспоминаю по-новому и думаю: сколько их было, Аникеевых, в офицерской палате? Солдатская палата в Кинешме пахла гноем — но душевной вони в ней было меньше. Отчего? От привычки рядового к смирению? Или время было другое — 42-й год, — и нечего было делить, кроме смерти? И перед ее лицом все немного почистились?

Разнузданность капитанов и лейтенантов — откуда она взялась? Что вываривает в России череда побед и поражений? Не сейчас только, а с давних-давних пор... Зачем славяне призвали варягов? Чего здесь больше: способности превращать чужое в своё, «всемирной отзывчивости», как это назвал Достоевский? Или женственной агрессивности, отдачи себя воину, чтобы рожать воинов? В чем смысл неожиданной слабости, с которой Русь сдалась Батью, и не от татарского ли ига родилось самодержавие? А потом — сдача прогрессивным идеям, обещавшим еще большую силу, покорность неистовым хирургам — и каждый раз новые победы и расширение империи? И каждый раз возникновение еще более могучего государства, еще на шаг ближе к Третьему Риму? И вопреки всему этому — крохи подлинного христианства, порывы к Святому Духу, иконы ХГУ-ХУ вв., страницы Достоевского и Толстого. Расколота душа. Вечно между идеалом Мадонны и идеалом содомским. Русская удаль в бою. Русский разгул в погроме.

Каждый национальный характер соткан из противоположностей. Но в литературе эти противоположности сгруппированы, прояснены и складываются в стройную систему (см. мои рассуждения в «Жажде добра»). А в жизни наплывает хаос, и противоположности ни во что не складываются. Как сложить вместе лейтенанта Сидорова (мужество которого мне хочется назвать кротким и смиренным) и лейтенанта, угощавшего друзей трофейной киноактрисой? И как Сидорову не затеряться в куче хамов (хамов-то ведь гораздо больше). Что выйдет из соседства поросенка Тонечки и крестьянки Ивановой, пустившей нас, раненых, к себе в избу (госпитали не сжалились) и накормившей всю ораву ржаными лепешками, отрывая от своих четверых детей? До сих пор помню ее и другую крестьянку, Анастасию Равлину, вывезшую меня на колхозной некормленной лошади — за день прошли только 8 км, — и кусок хлеба, раздобытый у баб, чистивших дорогу, и ночлег в курной бане посреди выгоревшей деревни. Не съедят ли Тонечки Анастасию, как съели Матрену Васильеву (из повести Солженицына «Матренин двор»)? Возможен ли

---

<sup>34</sup> Других еврейских проблем я на личном опыте не знал; с еврейским народом, жившим плотными сгустками в черте оседлости, я соприкасался только в раннем детстве.

когда-нибудь порядок, при котором Сидоровы окажутся в силе, а Черемисины и Аникеевы на задворках? Откуда взять благородный правящий слой (ну, не из одних Сидоровых, конечно, так не бывает, но хоть с прослойкой Сидоровых)? Как перейти от взрывов вольной-волюшки (казнить — так казнить, миловать — так миловать) — к внутреннему, не на палке основанному порядку, т.е. к самоуважению, достоинству и ответственности? Есть ли для этого политические средства? Чем больше я живу, тем меньше в них верю. У кого есть сила — нет доброго духа. У кого добрый дух — нет силы. Если говорить о средствах, доступных человеческому разуму, то разум же рушит все свои проекты, обнажает их неисполнимость. И остается только надежда на медленную Божью помощь, идущую незаметными, неожиданными путями. «Мы, писатели, делаем свое дело, — написал когда-то Флобер, — пусть Провидение сделает свое».

Это не очень утешительное понимание вещей вызревало во мне 40 лет. А тогда были нелепые надежды: вот в Польше устраивают многопартийную систему, может, и у нас? Так мне серьезно говорил какой-то технарь-капитан. Вояки распустили языки, вольно говорили на партсобраниях о наших язвах, и я видел в этом ростки новой демократии. Что-то во мне булькало, клокотало и наконец взорвалось — нелепо, по случайному поводу. И меня растоптали. Я долго потом не любил вспоминать победу. Она пахла для меня, как для крестьянок, ехавших куда-то за хлебом и кричавших с железнодорожной платформы, осенью 46-го: «медали, а хлеба не дали!» (я слышал их по дороге в политуправление Белорусского округа). Им не дали хлеба, а мне — свободы мысли. И всем заткнули рты.

Потом я снова стал вспоминать эту странную победу, ставшую поражением всех идей, с которыми я начал войну. Что поделаешь, других побед я не знал.

Впрочем, вру. Была у меня еще одна, личная победа. Двадцать лет спустя, после первой, всенародной, я выступил в Институте философии и сказал то, что думал о решении реабилитировать Сталина. На другой вечер я попросил Зину поставить на радиолу 9-ю симфонию и прослушал её с начала до конца — со слезами, когда хор пел обрывки оды к радости. РгешЗе (радость) звучала сходно с РгешЕЯ (свобода), и Шиллер сперва думал о свободе, только потом он заменил опасное слово другим — тоже прекрасным. И в стихах Шиллера, и в музыке Бетховена для меня звучит радость свободы, свобода радости.

*Радость, радость, искра Божья,  
Дочь небес! В твой светлый дом  
Мы сейчас, как боги, вхожи,  
Опьяненные огнем...*

Это был мой собственный, домашний салют. Но что я праздновал? Скорее внутреннюю победу, свою внутреннюю раскованность. Я посмел и смел сказать вслух, публично — то, что все вокруг хотели сказать и не

решались. Я переступил через меловой круг, в котором топчутся курицы. Тогда впервые я перестал жалеть, что не родился в другое время, впервые почувствовал, что среда меня не заела, что я вынес свой век.

Но никакой внешней победы не получилось. Не вышло цепной реакции, каскада речей — с кафедр университетов, с кафедр конференций — примерно о том же. Тем, у кого был ум, не хватило храбрости, тем, у кого была храбрость, не хватило ума. Я выскочил, остановился на линии, тонкой, как лезвие ножа, и удержался на ней. Все удивились. Из любопытства мне дали слово в Политехническом музее, на вечере встречи с интересными собеседниками, и Отдел пропаганды ЦК ВЛКСМ меня разглядывал (и начал соображать, как с такими чудачками бороться). Журналисты пытались дать ход моим статьям (но почти ничего не вышло: то, что принимала редакция, отвергала редколлегия). Было несколько любопытных встреч. После среды в «Литературной газете» за мной до дома шло несколько человек. Потом, когда все разошлись, самый настойчивый — помню, он был плотнее меня, но не выше, — тихо спросил: не считаю ли я себя пророком? Меня передернуло: я почувствовал гримасу отвращения на своем лице. Потом, сдержавшись, сказал, что нет, не считаю и хотел бы, чтобы он и все другие не искали пророков, а думали своим умом. Больше этот человек ко мне не приходил. Ему нужны были пророки, вожди.

А потом весна 1967-го, начало спора с Солженицыным, короткая вспышка радости от шестидневной войны, отравленной аннексией старого Иерусалима, — и черный август (1968-й год в Чехословакии). Чем дальше, тем больше я сомневался во внешних победах, даже если они удавались, как наша победа над немецким фашизмом, победа Израиля над арабами, как победа Фауста над стихией. Атомная бомба и экологический кризис заставили сомневаться в том, что долго казалось бесспорным: в самой науке, в самом прогрессе разума. Чем дальше, тем больше я чувствую некий невоспринимаемый ухом шум истории, ставший физически слышимым в шуме техники. Мне кажется, этот шум не просто сопровождает прогресс, а становится его главным итогом, оттесняет назад все блага, все чудеса, как стук лопат лемуринов в пятом действии второй части «Фауста».

Можно ли было — после чудовищных потерь 41-го и 42-го года — дойти до Берлина? Да, можно, дошли. Но за счет глубокого искажения народной души. С помощью вставшего из могилы призрака всемирного завоевателя, Батыя, Чингисхана. Такая победа — напиток ведьмы. И народ, проглотивший его, долго останется отравленным, и через несколько поколений отравла выступает сыпью — портретами Сталина на ветровых стеклах.

Можно ли было совершить научно-техническую революцию? Да, можно. Но я просыпаюсь утром от шума машин на улице или от рева самолета над головой. Как она грохочет, наша победа над природой!

А когда техника перестает грохотать, начинает грохотать музыка. Люди так привыкли к грохоту, что без него им скучно. И они включают на всю катушку магнитофоны, радиолы, телевизоры и рвут тишину на части.

Тот же проигрыватель, который доставил в комнату Баха, Моцарта, Вивальди, становится орудием пытки в руках соседей. Проснешься в 2 часа ночи от поп-музыки и подумаешь, как точно все описано в Библии: у Адама и Евы не было соседей с радиолой, и это был рай.

Даже в немногих уголках, где мы отдыхаем от Вавилона, первый встречный включает транзистор. Ему не нужен Бог, который приходит в тишине. Ему мало пения птиц, журчания ручья, шороха ветра — он не слышит их, ему скучно в лесу.

Во всякой внешней победе заложен рок. За всякую победу надо платить. Только внутренние победы бесконечно плодотворны: над страхом, над желанием первенствовать, богатеть, мстить. И побеждать.

Ибо внешняя победа, до основания изничтожающая то, что нам кажется совершенным злом, тут же становится новым злом, и хороши только те скромные победы, которые восстанавливают естественное равновесие и не дают чему-то одному разрастись за счет остального. Т.е. победы над инерцией победы. Победы, останавливающие разгул побед, как степной пожар — встречным пожаром. А упоение победой, восторг победы — смертельный хмель:

*И миру неведом  
Итог под итогом:  
Любая победа —  
Распятие Бога.*

### 3. М.

Я не жалею, что участвовал в войне с Гитлером. Чему-то иногда надо помочь, чему-то помешать: это как бы историческая скорая помощь. Но источник жизни, духовной и физической, не в ней. В тысячу раз важнее медленная помощь. О которой как-то сказалось в песне Галича:

*Мне не надо скорой помощи,  
Дайте медленную помощь.*

Медленная помощь в песенке — экономическая, ссуда из кассы взаимопомощи. Однако перо Галича умнее его. Можно взглянуть на вещи иначе:

*Древнюю дружбу богов, этих великих, незримо И  
ненавязчиво сущих (мы их не слышим в азарте гонки, в  
гуденье машин)... Что ж, их отринуть должны мы или  
начать вдруг искать их поселения на карте?  
Властные эти друзья, те, что в безмолвные дали  
мертвых берут, не обнажат свои лики.  
Наши купальни, кафе, игрища наши и крики их  
оглушили. Мы так давно обогнали медлящих*

*проводников в вечность. И так одиноки рядом друг  
с другом, друг друга не зная.  
Путь наш не вьется, как тропки лесов и потоки,  
дивным меандром; он краткость, прямая.  
Так лишь машина вершит взлет свой искусственнокрылый.  
Мы ж, как пловцы среди волн, тратим последние силы.*

*М. Рильке. Перевод З. Миркиной*

Надо, наверное, объяснить читателю, почему я вдруг вспомнил (и тут же переосмыслил) Галича: скорая помощь, медленная помощь — и превратил эти слова в ключевые термины своей философии истории.

Одна старая приятельница упрекнула «Записки» в том, что я недостаточно писал в них о жалости. Христос был целителем, — говорила она. Я возразил, что Христос — это прежде всего внутренний подвиг, глубина созерцания, стяжание Святого Духа, — и этим Духом, переполнявшим Его, Он мимоходом исцелял и физические язвы, — но по возможности не привлекая к этому внимания и никогда не ставя на первое место. Она согласилась, и все-таки упрек остался у нее в глазах. Я сказал, что понимаю ее, что порыв жалости — огромная сила, и, наверное, надо об этом писать, но тогда не обо мне, а о других. С этих пор я стал думать об этих других, о рыцарях милосердия. И почему я не такой. И вспомнил стихи Галича, и вокруг них постепенно все сплелось. Не как спор с Альбертом Швейцером, который успевал и негров лечить, и играть на органе, и писать книги, — нет, ни в коем случае! Блаженны те, кому дается такое равновесие порывов, такое бесстрашие духа. Но оно очень редко, но жизнь складывается из страстных односторонностей, и невозможно их избежать.

У меня, например, сострадание или становится любовью (и даже с самого начала неотделимо от любви), или остается коротким порывом. Мышкин говорит, что он любит Настасью Филлиповну жалостью (а Рогожин — страстью). Но у меня не было страсти, не начинавшейся с жалости и не доводившей жалость до страстной готовности всего себя отдать любимой. Так что сострадание, восхищение великой душой, богатой, бездонной внутренней жизнью, преклонение, любовь — все росло вместе, в одном клубке. Если душа душу не захватывала, если была только жалость, то и живым лекарством я не мог стать. Как-то попробовал — и понял, что не выходит и не выйдет.

И вот на других, на весь остальной мир, остается меньшая половина моих душевных сил. Этой меньшей половиной я откликался, писал, выступал с речами. А большая часть доставалась тем, кого я любил.

Деятельное сострадание во мне неотделимо от любви. Это совершенно личное чувство, сосредоточенное на вот этой душе. Я не мог бы целый день думать, как помочь человеку, с которым у меня нет избирательного сродства. Волны сострадания к людям просто потому, что они несчастны, что стали жертвой насилия, несправедливости, злой судьбы, иногда меня окатывали, и при случае я что-то писал или подписывал протесты или



пытался помочь больному, но это никогда не становилось устойчивой страстью: я могу быть сосредоточен только на тех, кого люблю. Их я не забываю никогда. На них я собран. Безо всякого усилия, без сознания долга, простой силой любви. А если вижу брошенного котенка или собаку с язвами на шкуре — беспомощно прохожу мимо. Невозможность разбрасываться — оборотная сторона собранности на том, чего требует вся душа.

У каждого свой путь, своя дхарма. Сострадание безо всякой любви (даже сквозь отвращение) может быть большой, испепеляющей страстью. Сердцем я могу понять Иконникова (персонаж «Жизни и судьбы» Гроссмана), для которого непосредственная, безрассудная доброта — единственное достоверное благо в нашем искаженном, полном лжи, все извращающем мире. Но — увы! сколько детей испортила чрезмерная доброта! И сколько несчастий принесло «нетерпение сердца», о котором написал Цвейг (см. его одноименный роман)! И сколько сердобольных душ, расточая себя всем, не умеют почувствовать иерархию бытия и всей силой, всей собранностью помочь одному избранному Богом и задыхающемуся от своего избрания!

Нет ничего на земле, что не поддается тлению и не рождает бесов — в самом человеке или вокруг него. Я не радуюсь подвигу, когда человек дает растерзать себя, разорвать на части — вампирам, удивительно хорошо чувствующим, в кого можно впитаться. И сколько прирожденных сестер милосердия, никому не способных отказать, падают под бременем своего креста и несут страдальцам дух своего нравственного (а не только физического) надрыва...

Я говорил с одной женщиной-экстрасенсом. Она много раз сознавала себя в тупике, выпитой до дна, потерявшей способность любить людей и не умеющей ничего дать *душе* больных. А ведь главное — в помощи душе, в толчке, который поможет ей сбиться.

Есть рыцари разных орденов, и все служения прекрасны — до тех пор, пока не становятся одержимостью. Петр Григорьевич Григоренко поразил меня мягкостью, с которой он обращался со своим пасынком (до 12 лет не сумевшим сказать слово «мама»); но главная страсть Григоренко — не милосердие, а борьба со злом. Это святой воин. Главной страстью Гроссмана, пережившего Иконникова как свой час души, были скорее истина и справедливость. Достоевский в юности тратил на милостыню почти столько же, сколько на продажных женщин; но главной его страстью были не милостыня и не женщины, а рассказы и повести. И когда человек пишет «Бедных людей» (со страстью и почти со слезами), он не всегда успевает помочь бедному соседу. Главная страсть господствует за счет всех остальных. И вот мои главные страсти — скорее любовь, чем жалость, и скорее понимание, из которого рождается слово, чем действие. Плохо ли это? Да, плохо, потому что силы любви у меня на всех не хватает. И в то же время хорошо, потому что это любовь, это понимание.

Разве можно насытить потребность человека в творческой радости, в смысле жизни — одним состраданием? Разве (сознательно сужаю задачу)

мне было бы достаточно, чтобы любимая меня жалела? Нет, я хотел бы заслужить полную, безоговорочную любовь.

Одной из причин упадка буддизма в средневековой Индии была неспособность выработать образы страстной, всепоглощающей любви. Победа бхакти была торжеством любви-страсти над любовью-жалостью. Что-то при этом было утрачено, какой-то уровень отрешенного духа<sup>35</sup>. И все же я не оплакиваю историческое развитие, я пытаюсь его понять. Я убежден, что какой-то главной, главнейшей задачи сострадание не может решить.

Иов страдает и ждет сострадания. Но разве *сострадание* вернуло ему силы и способность жить заново и снова нажить детей и стада? Спасает, дает прямую радость, возвращает смысл жизни только *голос из бури*. Прямая встреча с Богом. Прямое созерцание Бога: то, что Серафим Саровский назвал стяжением Святого Духа. Или, по крайней мере, встреча с человеком, который этот дух стяжал. Или с искусством, запечатлевшем лик Красоты.

Люди несчастны не потому, что бедны и больны (очень бедные и очень больные люди принимали горькое как сладкое и были по-своему счастливы). «Несчастен тот, кого, как тень его, пугает лай и ветер косит...» Несчастливы те, кто не умеет взглянуть в откровение, которое каждый день приносит нам природа и искусство. Трагик Мочалов, потрясавший зрителей, спасал их души, и Пушкин или Моцарт — не меньшие благодетели человечества, чем доктор Гааз. Красота не только спасет мир когда-то (в будущем), она спасает его сегодня, каждый день. Что возвращало смысл моей жизни в тридцатые годы? Стихи Пушкина, Тютчева, Блока; проза Толстого и Достоевского; полотна французских импрессионистов, собранные Щукиным. Что меня поддерживало в тягостную первую лагерную зиму? Музыка Чайковского по радио.

Искусство учило меня любви, учило радости сквозь страдание. Этому же меня доучивали люди, которых я любил. И я по мере своих сил учу тому, что мне самому возвращало смысл жизни. Т.е. движению в глубину, где мы находим силу сказать миру, со всем его злом, со всей его мукой: да! Это не только прямое благо; это еще лучшая профилактика от всех язв, требующих скорой, безотлагательной помощи.

Я думаю, впрочем, что у каждой доброй души свое равновесие скорой и медленной помощи, Марии и Марфы. Зина писала своей подруге: «Эти сестры обе нужны Христу и любимы им. И если в чем есть грех Марфы, то не в том, что она делает не то, что Мария, а в том, что упрекает Марию и хочет *две разные* задачи свести к одной *своей* задаче.

Одному человеку и одному времени ближе и действеннее одно, другому — другое. Грех — в навязывании другому не его задачи. Это при том (страшно важное условие), что каждая настоящая задача открывает в человеке великое сердце.

---

<sup>35</sup> См. статью «О причинах упадка буддизма в средневековой Индии» в моей книге «Выход из транса».

И вот здесь мы подходим к границе несказуемого. Ибо надо уметь поверить иному человеку, что он несет свой крест, даже если он в это время с места не двигается и никаких ран на нем не видно. Надо почувствовать, что этот человек внешними, видимыми мерками не меряется. Вот именно этого Христос хотел от Марфы; чтобы она Марию мерила не своей, Марфиной, а ее, Марииной, мерой. А если не можешь, — просто не мерь, а верь.

Что созерцала Мария? Будущие страдания Христа? Мария прежде всего созерцала *самого Христа*. А Он не сводится ни к страданию, ни к радости. Он есть воскресение и жизнь вечная... Увидеть Христа — значит увидеть воскресение сквозь крест и жизнь сквозь смерть. Истинное созерцание в мистическом смысле слова — созерцание этого.» Для такого созерцания нужна «полная мера тишины».

Человеку, по натуре деятельному, трудно это понять. Но есть глубокие рыбы, которые умирают, выброшенные в верхние слои океана. Где всю жизнь плавают другие. Созерцатель, вырванный порывом жалости из своей жизни, может погибнуть, никого не сумев спасти. Таких людей (им обычно не хватает чувства самосохранения) надо удерживать и возвращать на их глубину.

Ангелы милосердия принадлежат к другой породе. Им достаточно иногда прислушаться к тишине; прочесть книгу, родившуюся в тишине, уйти на полчаса в молитву. Милосердие — их творчество, их песня, их стих. Но не забывайте: есть еще художники, которым надо «погрузить сосуд своего сердца в молчание этого часа, чтобы он наполнился песнями» (цитирую Тагора). И бывает немые природы, которые всю жизнь что-то вынашивают — и ничего видимого в мир не вносят. Только ауру созерцания.

Такой была Тамара. В этой незаметной, неяркой женщине была тихая сосредоточенность на чем-то своем, глубоко внутреннем. Глубокое — ее высшее слово, самая высшая оценка. Выше не было. Впрочем, слов вообще мало, не только лишних слов, но даже нужных. Очень тихая, сдержанная. Активные люди ее утомляли, она сторонилась их. И вдруг — до сих пор не понимаю, чем я ее затронул, лекция была о культурной революции в Китае. Случайная фраза о рационе китайского крестьянина (беднее, чем паек заключенного в Каргополь- лаге в 1950-1953 гг.). Случайная ассоциация, но она пришла ко мне в библиотеку и попросила давать уроки философии за 25 рублей в месяц (больше она, к сожалению, давать не может). Я ответил, что денег за философию не беру, а если ей так нужно, пусть приходит раз в месяц, я буду давать ей что-нибудь прочесть, потом поговорим. Спросила, чем же я могу помочь вам? — Ничем, — ответил я. — Ведь Вы не умеете печатать? — Нет. — Через полгода, после разговора о Кришнамурти или Сент-Экзюпери: — Я научилась печатать. Дал ей прочесть Зинины стихи. Почувствовала. Стала приходиться к нам домой. Сиделась где-то сбоку, в уголку: «Не обращайтесь на меня внимания». С Зиной Тамара сближалась медленно — и вдруг сблизились совершенно, когда Зина ухаживала за смертельно больной матерью; впервые рассказала тогда о последних

месяцах своего отца и выговорила вслух его слова, которые много лет носила в сердце, но только теперь до конца поняла: «Ты сделала великое дело. Прими мою смерть торжественно». Поразительные слова, как бы не из религиозного арсенала, и вместе с тем — глубоко религиозные. Потом мы много слышали о ее отце. Мальчиком лет десяти он продал свою зимнюю куртку, чтобы старшей сестре с детьми хватило денег на железнодорожные билеты (пароходные у них уже были) — доехать в Америку. Юношей лет семнадцати выучился играть на скрипке, чтобы показать красоту мира соседской слепой девушке, — и чуть не покончил с собой, когда та в него влюбилась. Память об отце и привела Тамару к нам. И вот теперь, глядя, как Зина провожала маму в смерть, она поняла, что отец хотел сказать, умирая. В одном из стихотворений Зины, посвященном памяти Тамары, эти слова всплыли заново:

*Как будто боль смолкает, и видна Вся  
ширь в окне, и все леса, все дали,  
И оказалось — это глубина Разверзлась,  
где мы раньше не ступали.  
И снова боль — такая, что почти Не  
вынести. Еще одно мгновение —  
И сердце разорвется, чтоб вместить,  
Чтоб сквозь себя куда-то пропустить  
Тебя. И с болью радость обретенья  
Сливаются. — Внутрь сердца моего  
Вмещенное внезапно торжество  
Неумолимой боли, — тот конец,  
Который завещал тебе отец.*

Тамара никогда не была всеобщей сестрой милосердия. Гораздо больше созерцала, чем действовала. Всю жизнь искала того, что дает духовную силу: глубоких часов природы, глубоких слов. Я уже писал, что собственных слов ей не хватало, иногда очень мучилась от своей немоты, но все говорила глазами, и поразительно говорила, сама этого не зная (в такие минуты не смотрятся в зеркало). Чувствовала себя бездарной, но, печатая мои опыты, делала замечания, которые я всегда обдумывал, и один раз совершенно переделал текст. Тамаре, вместе с еще несколькими друзьями, я обязан тем, что пустил по рукам сравнительно мало глупостей и смягчал полемические удары.

До того как подружиться с нами, она привыкла ходить в походы и продолжала ходить с группой туристов по Подмоскovie. На поминках я узнал, что для многих с книг, которые она носила с собой, и с разговоров у костра началась их духовная жизнь. Но главное для нее было не рассказать, а понять; не выговорить, а впитать. Я не мог себе представить эту Марию, ставшую Марфой, живущей в постоянной деятельности, без сосредоточенности на внутреннем и тишины. От матери она легко уходила в походы, ездила даже на

Камчатку. Кажется, не было здесь такой любви, как к отцу. И вдруг мать потеряла разум, стала беспомощной, как ребенок, и Тамара в одном порыве отдала ей всю свою жизнь. Отдала с любовью, со страстью, наверное, впитавшей в себя неосуществленное материнство. Не просто ухаживала за беспомощной старушкой, а буквально надыхалась на нее не могла, не спала ночами, следила за каждым движением больной... Делала много лишнего, даже с медицинской точки зрения. И перед смертью сама призналась, что это ее погубило: «Я отдала ей всю прану».

Натура, созданная для созерцания, не выносит долгого напряжения деятельной жизни, даже идущей из самого сердца. Она избрана для другого. В ее сердце отражается глубина, и когда сердце это неспокойно, замутнено заботой — нарушен строй глубины (не знаю, как яснее это сказать). В раю дьявол искушает добром, и жалость может стать соблазном. Жалость, захватив слишком много места, отвлекает от торжественности бытия, в которой душа достигает своей высшей зрелости и зрелой приходит в ворота смерти; отвлекает от души к мелким нуждам больного тела. В самом помощнике что-то нарушается, и он теряет способность помочь, теряет силы, его самого подстерегает болезнь. И тогда остается только одно: достойно умереть.

Это Тамаре было легко. Она три раза приезжала на елку, ложилась на тахту (сидеть уже не было сил) и смотрела посвященную ей мистерию о смерти и воскресении. Смотрела —

*Как души смотрят с высоты  
На ими сброшенное тело.*

Какая мысль созревала в ней? Как вмещался в ее сердце бесконечный Божий образ? Не знаю. Но что-то осталось, что-то она завещала нам. Мне — чувство вины. Смутное, непонятное, только постепенно прояснявшееся. Что я мог сделать? Ничего. Но я мог быть нежнее. Не только в последний год, а во все годы нашей дружбы. Держать с ней сердце совершенно открытым, как я научился только недавно, с младшими... Я, может быть, не спас бы ее от судьбы (и даже наверное — не спас бы), но лучше бы проводил. Не всё ведь равно, как уходить!..

И пусть не говорят, что она за всё получила Там. Что будет Там, увидим Там. А наше дело — найти свою меру *здесь*. Меру, равновесие скорой и медленной помощи, второй и первой заповеди. Нам надо служить Богу, а Богу надо нас пересоздать. «Преобразить, — писала Зина в том же письме. — Мы должны чувствовать себя глиной в Его руках.» А быть глиной — значит каждый день жить с открытым сердцем. Принимать огонь с неба и раздавать его людям.

Да, если жестко поставить вопрос, мне действительно «не надо скорой помощи». Я благодарен за ржаные лепешки и краюху хлеба в феврале сорок второго, и до сих пор помню, но медленная помощь мне нужнее. Пусть не будет хлеба, пусть не будет стакана воды, пусть умру несколькими годами раньше, — только бы не прекращалась медленная

помощь, только бы доходила до меня волна духовной силы, без которой я ничто и не стоит жить ни одного дня.

Я стараюсь удерживать Зину от порывов, которые в другой вызвали бы мое полное уважение и понимание. Я вижу, что ее главное назначение — взлетать, жить на крыльях. Когда жалость бросает Зину к скорой помощи, болезнь швыряет ее обратно и заставляет приостановить всякое общение с людьми и опять набираться медленной помощи. И тогда именно возникает — не делает она, не пишет, а в ней возникают ее стихи. Которые больше всего нужны друзьям. И в которых не меньше нравственного, чем в труде сиделки. Может быть, не больше, но и не меньше. Каждому свое. И поэтому нечего краснеть при свете совести. Разве за те стихи, которые подсказал черт. Но это частное дело одного поэта, а не всей поэзии. Это дело исповеди Марины Цветаевой — кому она служит в «Молодце». Поэт вполне может сбиться, такое у него рискованное ремесло. Я думаю, что Бог его простит — как Пречистая своего паладина в пушкинском стихотворении. Но у Рильке цветаевского вопроса нет. Его искусство — чистая духовная помощь, из которой вырастает всякое добро, в том числе и труд сиделки.

*Есть тишина, которая сама В нас  
действует. И ничего не надо Нам,  
кроме слуха чуткого и взгляда.  
Лишь только умаление ума.  
Израстанье сердца. Мир впервые  
Рождается и входит в грудь одну.  
У ног Христа сидела так Мария,  
Чтоб слушать не слова, а тишину.  
Ах, Марфа, Марфа! погоди немного.  
Накормит Бог, и ты накормишь Бога.*

З. М.

Я много раз вспоминал последние два стиха (ставшие для меня поговоркой), — и вдруг тема повернулась заново и открыла совершенно новый взгляд и на себя, и на других. Я вдруг понял, что скорая помощь — это не только жалость, доброта, стакан воды больному, это также борьба за справедливость, за реабилитацию Каласа<sup>36</sup>, Дрейфуса, крымских татар — и против реабилитации Сталина. Такие порывы я в себе знал, и они меня иногда увлекали очень далеко, даже к попыткам общего дела. А как только начинается общее дело, встает вопрос, которого нет в личном порыве жалости. Юлиан Милостивый может погубить самого себя — и только. Прометей, украв огонь, ставит под угрозу всё человечество, и проблема равновесия между скорой и медленной помощью имеет не только личный, но и социальный, и космический повороты.

---

<sup>36</sup> Калас — гугенот, за посмертную реабилитацию которого боролся Вольтер.

*Освободить и разнуздать не трудно  
Неведомые дремлющие воли:  
Трудней заставить их себе повиноваться.*

*Поэтому за каждым новым  
Разоблачением Природы ждут  
Тысячелетия работы и насилий,  
И жизнь нас учит, как слепых ценят,  
И тычет носом долго и упорно В  
кровавую, расползшуюся жижу<sup>37</sup>.*

*М. Волошин*

Вопрос этот, кажется, впервые выплыл в русской культуре в переписке Печерина с Герценом. Но потом их спор был пересказан Лебедевым в романе «Идиот», ч. III; и я помню его скорее по Достоевскому: «... спешат, гремят, стучат и торопятся для счастья, говорят, человечества! «Слишком шумно и промышленно становится в человечестве, мало спокойствия духовного» — жалуется один удалившийся мыслитель. «Пусть, но стук телег, подвозящий хлеб голодному человечеству, может быть, лучше спокойствия духовного» — отвечает тому победительно другой, разъезжающий повсеместно мыслитель, и уходит от него с тщеславием. Не верю я, гнусный Лебедев, телегам, подвозящим хлеб человечеству! Ибо телеги, подвозящие хлеб всему человечеству, без нравственного основания поступку, могут прехладнокровно исключить из наслаждения подвозимым значительную часть человечества, что уж и было <...>

Уже был Мальтус, друг человечества. Но друг человечества с шатостью нравственных оснований есть людоед человечества, не говоря о его тщеславии, ибо оскорбите тщеславие которого-нибудь из сих бесчисленных друзей человечества, и он сейчас же готов зажечь мир с четырех концов из мелкого мщения» (Ф.М. Достоевский).

В частности, в подробностях аргументации Лебедева можно было бы дополнить, назвать факты, которые в XIX веке еще намечались, но в целом — в целом я не знаю ничего более точного: «спешат, гремят, стучат и торопятся для счастья, говорят, человечества». И выходит почему-то несчастье, как в старой-престарой частушке, которую помню с детства:

*Скорой помощи карета  
Пролетела, как комета,  
В помощь одному спешила,  
Трех дорогой задавила.*

Есть женское дело любви: бездомные собаки, уроды, дурачки, которых никто не жалеет. И есть мужское дело любви: борьба за добро. От этого никуда не уйдешь. Можно спорить, как бороться, но как-то это делать

---

<sup>37</sup> Об этом же, по сути, говорит и Вас. Гроссман.

нужно. Невозможно обойтись одной добротой, одной жалостью. Борьба за добро и доброта одинаково человечны, как одинаково человечны мужчина и женщина. Но есть еще Божье дело любви: восходы и закаты, «и Моцарт на воде, и Шуберт в птичьей гамме», и музыка взглядов и прикосновений, и Святой Дух, прошедший через сердца и ставший словом, вышедшим из уст Божиих, — в искусстве, созревшем в тишине созерцания и продолжающем эту тишину. Если забыть Божье дело любви, если медленная помощь потеряла свое первое место, то всё начинает искажаться...

Мыслители Серебряного века видели истоки зла в потере вероисповедания, расцерковлении. Я думаю, что началось раньше. В самой Церкви безмолвие уступило место суете. Просят у Бога скорой помощи и не видят медленную помощь, смотрят и не воспринимают. Просят исцеления и не видят духа, дающего силу вынести болезнь и принять торжество смерти. Все вероисповедания повернулись к молитвам об исцелении, сохранении и т.п. — слишком усердно, слишком круто, порой забывая о внутреннем свете, о первой заповеди. И потому рационализм имел основание отбросить всю эту магию как обман и самообман. И создать чисто рациональную систему скорой помощи. *В среднем* скорая помощь с красным крестом на кузове работает лучше, чем священник со своим наперсным крестом. С этой бесспорной истины начались все сдвиги Нового Времени.

Сейчас мы на повороте к другой эпохе; на Западе ее назвали посленовой. Восстановление медленной помощи идет частично через традиционные религии, в России — через православие; но простое возвращение к букве традиции ничего не решает. Мы снова окажемся в том самом положении, с которого начался «упадок средневекового мировоззрения» (как выразился когда-то Владимир Соловьев). Опять вместо школы безмолвия суета причта и опять равнодушие к воплям мира, лежащего во зле, — прикрытое лицемерными словами о Марии, избравшей часть благовую. И опять внутренний простор, мерцающий в церкви, окажется тесным для натур, жаждущих дела, и за справедливость встанут террористы. Перейти от черного к белому и от белого к черному — это не значит восстановить гармонию.

Голод, эпидемии, растоптанные права человека — ото всего этого нельзя откреститься, как от дьявольского искушения. Призыв к скорой помощи раздирает мне уши, и в то же время я сознаю, что вопль рвет тишину, в которой только и родится дух истины (сегодняшней, сиюминутной и вечной) и поможет нам сохранить равновесие и не создавать нового зла, воюя со старым. А если не найдем в себе и вокруг себя тишины, то пересилит родившийся в грохоте дьявол, и мы опять уйдемся своей мнимой победой.

*Когда весь мир внутрь сердца уместен,  
Смолкает разногласие земное.  
Бог был всегдашним шумом оглушен,  
А дьявол — этой полной тишиною.*



*Он задохнулся, он вот здесь, сейчас  
Замолк. Черта. За ней — исчезновенье.  
И значит ты на самом деле спас Всех  
тех, кто ждет и молит о спасеньи.  
И вот, почти ослепнувши от слез,  
Всем сердцем входил в тишину такую,  
В которой хор вознесшихся берез  
Внезапно возглашает: аллилуйя!*

З. М.

Нас увлекает возмущенное чувство справедливости, сострадания, жажды подвига, готовности на муки — и незаметно мы сами становимся мучителями.

*Не веривший ли в справедливость  
Приходил  
К сознанию, что надо уничтожить Для  
торжества ее Сначала всех людей.  
Не справедливость ли была всегда  
Таблицей умноженья, на которой Труп  
множился на труп,  
Убийство на убийство  
И зло на зло ?*

М. Волошин

Разве революция не скорая помощь<sup>38</sup>? Ленин говорил, что революция — самый быстрый и безболезненный путь развития, с точки зрения трудящегося большинства. И конечно, он в это верил и имел основания для своей веры. Американская революция, к примеру, была действительно не очень болезненной операцией, открывшей дорогу свободному развитию Штатов. Хирургия, в известных пределах — меньшее зло, чем гангрена, флегмона, опухоль. Разгул зла начинается с захлеба идеей революции, с мысли о том, что революция и есть наилучший порядок. Тогда хирурги, вдохновленные идеей, отрезают пациенту нос, чтобы в корне ликвидировать насморк, ноги, чтобы не было подагры, и голову, чтобы не случилось склероза.

А разве не скорая помощь — тоталитаризм? Паутина законов сковывает деятеля. Неограниченное насилие гораздо эффективнее. Московские врачи, получив чрезвычайные полномочия, справились с черной оспой в несколько дней. В Нью-Йорке это было труднее. Так писали

---

<sup>38</sup> Чем дело Дмитрия Донского отличалось от дела Джорджа Вашингтона? И если свята борьба против татарского ига, то почему не свята борьба против английского ига? Против крепостного права, против черты оседлости, против любого угнетения?

газеты, и я думаю, что в этом случае они не ввали. Можно прибавить, что Гитлер очень быстро покончил с безработицей, построил великолепные дороги. У каждого серьезного тоталитаризма есть подобные заслуги. Но коренной вопрос о равновесии между скорой и медленной помощью тоталитаризм не способен даже поставить. Собрал все силы общества в государстве, он юридически и политически закрепляет стихийный переход нового времени в сторону скорой помощи. Непосредственная, личная, сердечная помощь допускается только в рамках, установленных государством. Жалость к жертвам политики недопустима. Доброе дело лишается человеческого лица, превращается в казенный акт. Марфа, похлопотав, может усестись у ног Христа. Мария, посидев, сколько душа требует, встанет и будет помогать Марфе. Этого естественного перехода от медленной помощи к скорой и от скорой к медленной не может быть в деятельности государственных рычагов. Государство не имеет сердца, которое решает — когда молиться и созерцать красоту мира, а когда действовать. И государственный функционер также теряет сердечное чувство. Естественное уступает место маске.

Я думаю, что самая суть современного кризиса — это нарушенное равновесие между скорой и медленной помощью. Резкий перекося в сторону скорой помощи и замутнение источников медленной помощи. Совершенного равновесия, наверное, никогда не было. Но перекося были, кажется, не такими резкими. Индия с давних пор перекошена в сторону медленной помощи — и так стоит, чуть наклонившись, три тысячи лет. Голодает, бедствует, но не грозит миру катастрофой. На край гибели нас поставили сдвиги Запада: расширение (а не углубление) свободы, рациональность, эффективность.

То, что я долго на разные лады доказывал в споре с Александром Исаевичем Солженицыным, можно выразить кратко и просто: коммунизм — только частный случай перекося в сторону *скорой* помощи. Другой тип перекося, чем в стране, где время — деньги, но скорой помощи (по крайней мере, *по идее* скорой; то, что она замедлилась и буксует на русских ухабах, — особая проблема). И поэтому для азиата Америка и Россия — два сапога пара, два ти-па индустриализации, вместе противостоящие мировой деревне.

Вообразим на миг, что все коммунисты улетели на Луну. Останется, однако, взрывной рост населения, переразвитость одних стран и слаборазвитость других... Что изменится? Политическая авансцена. Политический словарь. Но диктатуры все равно будут расти, как грибы. Они и сегодня растут там и сям без коммунистов и в борьбе с коммунистами. Разве Насер был коммунистом? Разве был Хомейни коммунистом?

С этой точки зрения я подхожу и к стилю полемики. Если главное — скорая помощь, то мои разговоры о стиле праздная болтовня.

*Какая мне честь,  
Что чудные рифмы рожу я ?  
Мне главное надо покрепче усть,*

*Уесть покрупнее буржуя.*

И вот в полемике с Борисом Шрагиным<sup>39</sup> — «господин ХУ» (с подразумеваемым и-кратким). Уел, нечего сказать.

Солженицын когда-то поразил нас своим поворотом к медленной помощи, к созерцанию, к душевной тишине и растущей из тишины нержинской мысли. Но чем дальше, тем больше его захватывал азарт скорой помощи (письмо вождям, жить не по лжи, всей России прочесть «Архипелаг», военная диктатура). И чем больше, тем меньше внимания основному: равновесию скорой и медленной помощи. Без которого одни опухоли тут же заменят другие опухоли<sup>40</sup>.

Скорая помощь должна быть устроена так, чтобы не подрывать основы медленной помощи. Иначе не будут телеги подвозить хлеб человечеству, а будут использованы как пулеметные тачанки.

Посреди нашей грохочущей цивилизации надо восстановить тишину. Не простое отсутствие шума, а колыбель внутренней целостности, в которой душа растет, расправляется, разворачивает крылья. Снять социальные и национальные напряжения сможет только вселенский дух, вырастающий в тишине. Эту задачу никак нельзя решить методами скорой помощи. Кризис медленной помощи — это дефицит пространства для роста души. Много разных услуг, а пространства для души всё меньше. Сейчас это отчасти сознается, но сознается умом, привыкшим к скорой помощи, и тут же профанируется. Пространство для души тоже становится коммерческой услугой. И массовый туризм разрушает, затаптывает, опошляет леса и горы, гадит на памятниках культуры, забрасывает консервными банками берега и тащит транзисторы в развалины монастырей.

Мир спасет красота? Мир спасет любовь? Да, и красота, и любовь, но красота, увиденная глазами Мышкина (а не Рогожина). Но любовь, а не то, что сейчас зовут этим словом. Разница — как между электрическим освещением и зарей. Лампочку включил-выключил, она в наших руках. А заря *нас* берет в руки и покоряет своему медленному ритму. Так, что становишься скрипкой. Играет Бог и Бог берет в руки смычок. И вот вместо того, чтобы научиться смотреть и ждать прикосновения Бога, ставят выключатель, шелк — и зажужжали лампы дневного света.

*Ах, сосны, сосны! Мне сказать  
Вам нечего. Я умолкаю.  
И тишина стоит такая,  
Как будто дни уходят вспять,  
К началу своему, к истоку,  
В такие глубины, так далеко!  
И если эта тишина До капля*

---

<sup>39</sup> Одним из авторов самиздата.

<sup>40</sup> Мне кажется, эта характеристика и сейчас не совсем устарела. Хотя в проектах обустройства России встречаются верные идеи.

*будет вмещена,  
То снимется с души вина...*

З. М.

Тот, кто нашел гармонию в себе, сеет ее повсюду. Но как одинок ищущий! Его гоняет ветер и дождь, его преследуют люди: своими правилами и своим нарушением правил, равнодушием — и поверхностным интересом... Чувствительность к тончайшему дыханию бытия, к исчезающему контуру горы в тумане делает созерцателя слабым, хрупким. Его легко ранить — и трудно понять. Даже добросовестному собеседнику — как растолковать, что он за существо. Турист? Но он забирается в сторону от туристских троп и больше сидит, чем ходит. Паломник? Но где его святые места? Верующий? Но во что он верит? Один мой оппонент заметил: «Померанц живет без берегов, а я так не могу. Если я верю в воскресение Христа, то я верю в воскресение Христа, а не во что-то около этого». Как мне объяснить то, что Святой Дух всегда только около слов, *около* буквы? Что только сердце познает Бога, а слова *все* лгут. Что мысль изреченная — о Боге — есть ложь (или, говоря мягче, — только слабое и неточное подобие)? И привязываться к этой лжи, как к истине, к метафорам, за которыми непостижимая и не тождественная никакому слову реальность, — значит изменять глубине?

В нашу культуру слишком давно вошла «краткость, прямая», точность формулировок, превосходная в науке и в праве — но нелепая в поисках Бога. Мы ничего не найдем, если не откажемся от гордыни средиземноморского интеллекта с его прямыми линиями пирамид, зиккуратов и научных решений. Поиски выхода из тупика, к которому привела прямая — не всегда кратчайшая, — поиски прекрасного меандра<sup>41</sup> невозможны без внимания к Востоку. Думаю, впрочем, что ни у кого не хватит ресурсов решить задачу времени в одиночку, без помощи других. Диалог людей и культур, повернутых к медленной помощи, с людьми и культурами, захваченными скорой помощью, будет длиться вечно, так же как вечно он идет внутри каждого человеческого сознания. И лучшей мировой формой его была бы коалиция культур, концерт равноправных инструментов. Даже если история пройдет через судорогу всемирной империи, за ней опять всплывут разные культуры; и при любом режиме останется различие людей, повернутых внутрь и обращенных наружу. Никакого окончательного решения (равновесие никогда не может быть совершенным). Вечные перекосы и вечный диалог. Внутренний диалог в каждом из нас и всемирный диалог между великими культурами (между субэкуменами, как я их назвал). И за всем этим — диалог с молчаливым Богом. У которого нет своих слов — только мы сами и те слова, которые роятся в нашем сердце. У каждого свои. Когда мы сумеем стихнуть и

---

41 Самый этот образ Рильке не совсем точен. Меандр — ломаная линия. Тропки лесов и потоки вьются иначе.

прислушаться.

*Положиться на Бога, положиться на дали,  
Положиться на то, что ни там и ни тут.  
Вот на эти просторы, что сердце позвали И  
что, сколько ни мерь их, растут и растут.  
Положиться — на что? Ни следов, ни границы,  
Как вода в решето убегает сквозя.  
Положиться... Ну да, вот на то положиться,  
Что само положить и поставить нельзя.  
Это дальше зарево, бездна живая.  
Не поющий, а песнь. Не крыло, а полет.  
Всё минует, всё мимо. Весь мир убывает,  
Только нищее сердце растёт и растёт...*

З. М.

## Неразрешимое

Как-то летом я увидел Вовку. Он стоял на углу Воздвиженки и Моховой, возле вестибюля метро «Библиотека Ленина», и ждал кого-то. Мы встретились глазами; он с отвращением отвернулся. И вдруг я увидел, как выгляжу в его глазах. Он никогда не изменял нашей дружбе. Изменил я.

В самое трудное для меня время, в конце сороковых, Вовка мне помогал, чем мог. Ему пришлось из-за того объясняться. Сперва с девушкой, которую к нему приставили, собираясь выдвинуть на более высокий пост. Он разгадал игру и использовал секретную сотрудницу вдвойне: как любовницу и как источник благожелательной информации. Потом официально вызвали и стали расспрашивать, какие вредные идеи я высказывал. Вовка и об этом мне рассказал (хотя дал подписку не разглашать; честный Л. не решился обмануть государство). Почему же я пошел на разрыв?

Кажется (сейчас трудно вспомнить), я вышел из лагеря с сознанием интеллигентского закона, вроде воровского. А Вовка ссучился, сделался главным редактором скверной газеты. Разграничение между ворами и суками стало для меня важнее всего личного. Что-то вроде партийного нежелания идти на совет нечестивых. И я не позвонил и не зашел (хотя других старых знакомых разыскивал).

Потом мы все-таки встретились, уже после смерти Иры. Не помню как, не помню, где это случилось, но Вовка был очень рад, так рад, что я откликнулся. По старой памяти, он тут же зашел ко мне на Зачатьевский со своей очередной любовницей. Посидели, пошутили... Через пару дней спросил, не смог бы он получить ключ. Раньше я охотно оказывал ему эту услугу, но сейчас мои 7 кв.м. были полны памятью Иры, и я объяснил, что мне не хочется смешивать с этим мысль о другой женщине. Вовка удивился, но не обиделся. Двойные мысли были его привычкой и второй натурой, во всякой ситуации он ловил какую-то выгоду. Но без ключа, так без ключа. Встреча сама по себе была для него радостью. Как будто молодость вернулась, через десяток лет.

На стене комнаты висел мой деформированный портрет с неестественно большими глазами. Вовка с удивлением рассмотрел его и вспомнил, что когда-то был модернистом, а я классиком. Теперь роли переменились. Перемена — если на то пошло — началась давно. Студентом я каждую неделю ходил, как в церковь, в Музей новой западной живописи (там теперь Академия художеств, на Пречистенке). Завлекла тишина. Никаких экскурсий, стаяк школьников, любопытных провинциалов. Стоишь в зале один, иногда еще какой-нибудь молчаливый посетитель. Только созерцай. И я вглядывался в то, что понимал: в Ренуара, в Моне и постепенно дошел до Пикассо и Руо. Ренуар, Моне, Сислеи,

Марке, Ван Гог, Сезанн, Пикассо — всё это было моим окном в красоту из серой Москвы 30-х годов. Не знаю, как бы я жил в провинции, без новой западной живописи. Старой в Москве было мало, а передвижники быстро набили оскомину. Хотя изредка я и на них поглядывал. Вся моя юность была повернута к живописи. Я и природу научился чувствовать через живопись. Но в конце 50-х модернизм еще стал знаком либеральности, левизны. Так это и к Евтушенко попало, в один из рифмованных фельетонов: «Не любил Герасимова и любил Пикассо». Я стал модернистом партийно, идейно, по-мальчишески, покорясь логике «за — против», почти что в духе частушки, сочиненной тогдашними студентами:

*Мы модернисты, релятивисты,  
И нам не страшен целый свет.  
Карнапом по лбу, Саган по горлу —  
Четыре сбоку, ваших нет.*

При всем при этом я сейчас же убрал свой портрет (нарисованный на обороте обоев), когда он не понравился Зине. И с Зининой установкой на классиков я обращался очень осторожно. Зина любила классику за космические ритмы. Поэзии несуществующего направления (о котором я позже писал) нужна была традиция гимна, и сквозь XIX век Зина (как и Даниил Андреев) шла к XIV. Я это принял и старался только показать другие возможности, раскрытые Мандельштамом и Цветаевой, Сезанном и Ван Гогом; в конце концов Зина их всех полюбила; поздняя Цветаева стала даже ей особенно, лично близка. А меня никогда не переставала тянуть к себе настоящая, высокая классика, и когда в Москве была Дрезденка, я пять раз отстаивал с рассвета, чтобы побыть с Сикстинской Рафаэля и с Венерой Джорджоне. Я вовсе не хотел сбросить это с корабля современности. То, что меня отталкивало, была особая разновидность любви к классикам, любви без риска, без личного решения, любовь к разрешенному и рекомендованному, попутно с бранью по адресу нового, рискованного и официально запрещенного.

Реплика Вовки около портрета была мягкой и трогательной; в ней плеснули воспоминания школьных лет и не было ничего официального, связанного с выгодой. Но несколько дней спустя он пригласил меня к себе, на квартиру, где по-прежнему жил со своей женой (он менял любовниц, а с женой не расходился). Разговор зашел о газете, и Вовка с апломбом стал говорить, что бранит мальчишек, а великим художникам воздаст должное. Мне было бы легче, если бы он оставался циником. Превжний Вовка со мной сбрасывал маску и говорил о том, что он писал и делал, с улыбкой Мефистофеля...

Как-то, в богато отделанном кабинете редактора, он сказал мне: я сегодня подписал совершенно черносотенную передовую. На другой день я развернул официоз и убедился, что всё так и есть. С этим человеком я водиться мог, мы как бы жили в одном плутовском романе, только он избрал себе роль плута, а я — роль дурака. Но друг с другом мы говорили

на одном языке и называли кошку кошкой, а мерзость мерзостью...

На следствии, где перемывались мои косточки со школьных лет, я тщательно обходил фамилию Вовки и наши общие проделки принимал на себя: не хотел мешать его карьере. Пусть играет в свою игру. Но игра плохо кончилась. Маска приросла к лицу. Недаром я избегал встречи... И теперь очень сдержанно, но сухо я возразил, что Баху или Рембрандту всё равно, что о них пишут в Москве, а живых он калечит. Люся почувствовала недоброе и спросила, может быть, в самом деле газета ведется не хорошо? Вовка, с обычной своей уверенностью, отмахивался. Я промолчал, попрощался и ушел. Говорить было не о чем, он изменил неписаному правилу нашей юности: не лгать самому себе. На этом наша дружба кончилась. Несколько лет я не сомневался, что поступил совершенно правильно. И вдруг увидел всё с другой стороны.

Я должен был попытаться. Я должен был попробовать, подумать, как сбить его с позиции, к которой он привык, вернуть его по крайней мере к гамбургскому счету, к улыбке авгура. Может быть, сходить с ним несколько раз на премьеры, в мастерские левых художников и скульпторов. Скорее всего, я ничего бы не добился. Новые привычки окажутся сильнее моего красноречия. Вовке слишком хотелось выигрывать, всегда выигрывать, и совершенно естественно, что он стал функционером игры, духовно слился с правилами игры на выигрыш. Но совершенной безнадежности не было.

Лет 20 спустя знакомая поэтесса рассказывала мне, как в доме творчества, за общим столиком, Вовка, листая газету, заметил: «Давно я не читал таких статей, — потом добавил: И не писал...». На меня пахнуло прежним человеком, рассказывающим, какие похабные стишки сочиняют Михалков с Сурковым, отдыхая от славословий, как матюкается по телефону Вышинский (подражая сталинскому мату) и как этот деятель международного права швырнул статью, которой был недоволен, и заставил профессора, ползая, подобрать листочки...

Старый друг стоил труда, стоил, наконец, горячей ссоры (потому что мы непременно поссорились бы в 63-м, в 65-м, в 68-м...). А я перешагнул через него, как через труп, и только спустя несколько лет почувствовал, что перед Вовкой, в его понятиях о дружбе, оказался предателем. Это самый запомнившийся мне случай, когда я действовал в полном сознании своей правоты и даже высоты и вдруг увидел, что однозначности нет, что столкнулись две правды, и ради одной правды я растоптал другую. Я выбрал большую правду и переступил через меньшую, но ведь могло быть и наоборот. Так мой тесть, участвовавший в реквизициях, 60 лет спустя говорил мне: «Это был грабеж». То, что льстило его самолюбию гимназиста, в старике вызывало стыд. А сколько дел наделали эти гимназисты — с чистой, как снег, совестью!

Впрочем, лично мне больше врезались в память другие случаи, когда я *сознал*, что столкнулись надо и надо и в любом случае я поступлю против совести; а если ничего не буду делать, отойду в сторону — выйдет еще хуже. И я брал на себя грех действия и жил с сознанием этого греха;



иногда такого тяжелого, что я не спал ночами. И всё-таки продолжал то, что начал. Жизнь запутана, и во многих случаях чистого выхода нет. И надо выстрадать — может быть, до конца дней вспоминать со страданием свое решение, — но не колебаться в нём.

Я не верю в твердые правила, как жить не по лжи. Даже если я поступлю по правилу, установленному в древности, или выработанному в моей собственной жизни, я никогда не связан им накрепко. Ни одна заповедь не действительна во всех без исключения случаях; заповедь сталкивается с заповедью — и неизвестно, какой следовать, и никакие правила не действительны без *постоянной* проверки сердцем, без способности решать, когда какое правило старше. И даже сердце не дает надежного совета в запутанном случае, когда трое и больше людей чувствуют по-разному, и тогда решает любовь. Поэтому составлению новых правил я никогда не придавал большого значения, формулировал их мягко, с долей иронии (любопытно с этой точки зрения сравнить мое эссе «Человек ниоткуда» с «Образованщиной»). И всю свою страсть вкладывал в другое, в пробуждение непосредственного сердечного чувства правды.

Мне могут возразить, что непосредственное сердечное чувство есть и у Льва Толстого, и у Александра Солженицына. Но у нас по-разному расставлены акценты. По Толстому, сердечное чувство (совпадающее с вечным правилом) даёт в результате совершенно чистую жизнь. И по Солженицыну так же. А по-моему, совершенно чистой жизни не может быть. Обещание совершенно чистой жизни — уловка дьявола (что-то подобное говорил Швейцер: «чистая совесть — уловка дьявола»). Мы чисты только в те минуты, или часы, или дни, когда всей душой обращены к Богу. Всё остальное время проходит на краю греха — и то и дело мы грешим. Грешим против наибольшей первой заповеди Христа, повернувшись к миру. Грешим против второй наибольшей заповеди, отвернувшись от мира. Оставляем мир лежать во зле или вмешиваемся в его запутанность и сами запутываемся в ней (я не говорю, что первую и вторую заповедь нельзя примирить. Но это — личная задача, а не готовое общее решение).

Кришнамурти говорил: «если вы увидите реальность зависти так, как реальность кобры, вы броситесь от нее бежать, как от кобры». Это правда. От зависти можно убежать. Но куда убежать от любви? Разве в полную отрешенность, как это делает Кришнамурти, называя отрешенность любовью — и не привязываясь ни к одному человеку. Любовь без привязанности обращена только к Богу. Это первая заповедь и ещё раз первая заповедь и еще раз — без второй. А если ты полюбил ближнего, сразу начинается запутанность. Невозможно полюбить ближнего как самого себя (и больше себя) и не нарушить ради любви другие заповеди. Жить в этом мире, любить женщину, или страну, или народ, или интеллигенцию, или истину и не творить зло... Пусть кто-нибудь покажет, как это делается.

Я не позволил себе влюбиться в Агнесу Кун. Тут всё было ясно. Муж в тюрьме. Она его любит. Даже молчаливое чувство, без единого действия,

было бы возможностью дурного. Мне удалось переломить себя. Но Виктор сам меня развязал, открыл мне, что не любит больше Иру и мечтает о том, чтобы она куда-нибудь от него ушла. А не предлагает ей этого прямо, потому что не хочет разменивать квартиру. Про квартиру мне показалось совершенно несерьёзным; я сразу возразил, что надо развестись и разменяться. А обвинения против Иры слишком противоречили тому, что Виктор говорил мне 5 лет тому назад. Чёрный портрет наложился на голубой, и вышло что-то загадочное. Я впрочем больше верил своим глазам, встречавшимся с глазами Иры, чем словам о бессердечности, лживости и т. п. Ира оставалась прежней, изменилось отношение к ней Виктора. Возможно, из-за чего-то, сформулированного очень туманно; примерно так: «наконец, ее поведение затрагивало мою честь». Но на этот довод в моей душе ничего не откликнулось. Я не верил в какие-то особые правила поведения для женщин, более строгие, чем для мужчин, и не считал, что нарушение этих правил пятнает честь мужа. Когда любовь полна до краев, для измены просто нет места. Если же это не так, надо искать виноватого в себе, собрать по кусочкам распавшееся чувство, воскресить его из мертвых...

Мои взгляды здесь диаметрально противоположны традиционным, основанным на подчинении женщин мужскому взгляду на вещи. Женщина имеет дело с сильным полом, мужчина — со слабым. Поэтому её меньше сковывает боязнь принести боль. Женщина сама расплачивается за близость: так уж устроена природа. И если существует право на авантюру, на мимолетный порыв, то это прежде всего женское право, а не мое. Потому что я не расплачиваюсь. В молодости боязнь обидеть девушку сковывала меня по рукам и ногам. Я не умел ни обманывать себя, что желание обнимать и целовать есть любовь, ни сознательно обманывать, как это делал Вовка. Но не выдерживал груза собственной совести и постоянно грешил помышлением, и мое воздержание было в грязи. Может быть, даже лучше так, как живет большинство, — легко сходить и расходиться, не томя плоть свыше нравственных сил юности. Я не ригорист и не хочу навязывать своего личного табу всем остальным. Но у меня нет сочувствия к мужчинам, которые говорят о чести, когда надо говорить и думать о любви. Фразу о чести я пропустил мимо ушей, как пустую, лишённую смысла.

Я оставался другом Виктора, но не был рабом его красноречия и не почувствовал вражды к Ире. Они стали несовместимы друг с другом (так, примерно, я думал). В браке это бывает по каким-то интимным, никому кругом непонятным и необъяснимым причинам. Муж и жена начинают собирать в уме всё плохое, что удастся вспомнить друг про друга. Так отец перед разводом с ненавистью говорил о маме — а потом, после развода, опять ее любил, и вдалеке до смерти вспоминал её с нежностью. Так в моем уме копились обвинения против Мирры, а потом, после развода, всё смыло. Когда разрастается ненависть, надо разойтись; и сразу перестанут копиться обвинения. Беда Виктора в недостатке воли, в неспособности самому всё решить и развязаться с прошлым.

Я видел недостатки Виктора и всё-таки любил его. Он был талантливым, мягким, временами даже благородным эгоцентриком, вроде Гарри Галлера из романа Гессе «Степной волк». Меня совершенно покоряла его мягкость (живой упрек моей вспыльчивости). В лагере я учился у него этой мягкости и чему-то научился. Что касается неспособности пойти на кухню согреть чайник или пришить крючок к пальто, то я смеялся над этими брахманскими причудами (словно он боялся потерять касту, унизив себя ручным трудом), но смеялся без всякой злости. Комические черты искупались тем, что ему было дано хорошего, и прежде всего — его блестящим, гибким и живым умом. Беседовать с ним было истинным наслаждением. В конце концов, он действительно был брахманом. И если Ю. начинал обижаться на брахманские штучки, я брал чайник сам и гасил ссору.

А когда мы оба вышли — я раньше, он позже, — я очень жалел его. За несколько лет монотонной, выматывающей мозг работы в лагерной конторе он обрюзг, стал болеть, вышел покалеченный, с одной мечтой: заняться наконец наукой. Но опять рушились беды: смерть отца, смерть матери и вот еще, оказывается, глухое непонимание с Ирой, тупик брака, когда-то идеального, в котором два больных человека с трудом уживаются в одной упряжке (лебедю хочется в воздух, щуке — в воду, и обоим плохо).

В дни смерти отца, а потом матери, я оказался под рукой и не оставлял Виктора ни на час. Это очень нас сблизило. Я был гораздо ближе к Виктору, чем к Ире. Во всяком случае, так мне казалось во время разговоров (дальше которых наше общение не шло). Виктор мыслил гибче. На интеллектуальном уровне мы с Ирой сильно расходились. И вдруг этот поворот судьбы. Он уезжает отдыхать один, без Иры — отдыхать от конфликта с ней — и просит меня бывать почаще, не оставлять больную женщину одну в пустой квартире. Я обещал — и принялся добросовестно ездить через день. Спорить так часто мне не хотелось, пришла в голову мысль — вместе читать стихи. И стихи всё перевернули. Как — об этом я написал в «Снах Земли» («Две широты». «В сторону Иры»). Лет 10 я обдумывал этот текст, преодолевая свою неумелость, и в конце концов что-то у меня вышло. Лучше я не смогу, да и не нужно. Сейчас о другом: про разрыв с Виктором.

Разумеется, я твердо решил не говорить ничего ей до разговора с другом. И разумеется, это не вышло, когда я неожиданно вошел и увидел её, не успевшую собраться, такой, какой она сидела целыми днями в чужой квартире, чувствуя тень мертвой свекрови в углу. Я не мог вынести тоски в Ириных глазах. То, что я бормотал, было глухим намеком на будущий разговор с Виктором. Но остановить порыв сочувствия, любви, страсти не могла никакая воля. Мы не сблизились совершенно в этот день только потому, что накануне вернулась из отпуска тетка Виктора. Все равно — такие поцелуи крепче, чем церковный брак. Я готов был заново, всей жизнью написать стих из книги Бытия: и да оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей.

Когда Виктор вернулся, Ира уже стала моей женой. Я хотел в первый

же час всё рассказать; Ира остановила меня — решила сама поговорить с Виктором; потом позвонила и сказала, запинаясь, что он после отпуска вдруг стал нежен и она не в силах ни объясниться, ни сделать вид, что ничего не случилось. Я приехал, вызвал Виктора на улицу... Момент был неудачный. Ему опять было неохота ничего менять. Лишь бы заниматься наукой. И продолжать семейную жизнь — без любви, с затаенными упреками... Через несколько дней снова бы захотелось, чтобы Ира уехала, исчезла, провалилась сквозь землю, улетела на луну — да и сегодня он бы не огорчился, найдя дома записку, что, мол, уехала в Эстонию, будь счастлив. Но роман со мной! Это значило, что все бытовые проблемы остались и придется их решать. Хуже того: я полюбил Иру, как будто она хорошая. Хотя он мне ясно объяснил, что она плохая. Либо он полтора года находился под властью какого-то наваждения, либо я — вопреки всему его прежнему опыту — человек плохой, извращенный, со склонностью к тухлятине, к пакости.

Первая реакция на мою попытку благородно объясниться была другой: Виктор опять стал убеждать меня, что Ира плохая, и с какой-то яростью осыпал ее упреками. Потом поток оборвался. Тон стал вежливо холодным. Я почувствовал, что меня вычеркнули из списка друзей. Но я по-прежнему был полон сочувствия к Виктору и предложил Ире поскорее уйти, оставить ему его любимую родительскую квартиру. В одну из бессонных ночей мне стало совершенно очевидно, что делать: мы снимем комнату в Подмосковье, там дешевле. А потом мне что-нибудь дадут, как реабилитированному. Это моё внутреннее решение столкнулось с внутренним решением Иры, совершенно противоположным. За последние полтора года её туберкулёз заново вспыхнул и дал фиброзную каверну, не поддававшуюся лекарствам. В самых благоприятных условиях ей осталось жить лет десять. Если она отсыреет в плохо протопленной хибаре, новую вспышку, скорее всего, не удастся остановить. Что тогда будет делать ее младший сын Лёдик? Как я могу жертвовать ее жизнью и ее мальчиком — ради своего душевного покоя?

Ира в иных случаях легко рисковала жизнью и ни о чем не думала. Но ради Виктора она жертвовать собой не хотела. Мы в первый раз поссорились. Правда, к вечеру помирились. Вечером мы всегда мирились. Я чувствовал, что любовь больше, чем любой разлад. Скрепя сердце, переступая через себя, я признал, что у Иры есть своя правота. Но это была ее правота, не моя. Поставив ее правоту выше чувств Виктора, я стал перед ним виноват. Я это осознавал — и все-таки приходил каждый вечер в квартиру, где Ира с Лёдиком ютились на кухне. А там общие гости, общий чай, какая-то нелепая общая жизнь.

А я снова не спал ночами. И если любовь всё это выдержала, то потому только, что я сквозь всё, разрушавшее чувство, верил в Иру такой, какой ее увидел в августе, и вопреки очевидности внешней, сиюминутной, бытовой, видел ту, тогдашнюю, жившую правдой стиха так, словно слово стало плотью, и я крепко надеялся, что невидимое снова станет видимым, и всей своей волей к этому — я в конце концов пробился, месяцев через девять,

оставляя по дороге клочья своей шкуры. А пока мы были с Виктором вежливо-любезны, никаких ссор. Но внутри скребли кошки.

В конце концов Ира, видя, как я и извожусь, рассказала мне со всеми подробностями, как они жили с Виктором последние полтора года и чего ей это стоило. Потом она несколько раз возвращалась к таким рассказам, но, обрывая себя, восклицала: если бы я не заболела, ты бы не решился полюбить меня... И эта прибавка всё смягчала. А тогда этой примирительной концовки не было. Да и счастья еще не было — ради которого стоило всё отдать. Рассказ прозвучал резче. Я был оглушен, и на какое-то время чувство вины оставило меня. Очень уж Виктор в эти полтора года жалел себя и не жалел Иру.

И всё-таки чувство вины осталось, и сейчас оно со мной. Чужие грехи нас не оправдывают. Его грехи останутся с ним, мои — на моей совести. Я пожертвовал чувствами одного человека ради другого. Это всегда преступление. А что бы сделали вы?

Меня всегда покоряли слова Ромео патеру Лоренцо: «Будь молод так, как я, люби, как я, Джульетту...».

То, в чем я виноват перед Виктором, за четверть века ничуть не стерлось. Но память стала спокойней. Раскаиваюсь ли я? Есть ли у меня сожаление, что поступил так — а надо было иначе? Нет. *Надо* было сделать то, что делать не надо. Но грех на мне.

25-го августа, на другой день после нашей неожиданной помолвки, Ира встретила меня словами: «Я думала, ты не придешь». Т.е. меня заест совесть. Совесть меня ела, но с двух сторон, а я не допускал мысли, что можно отшатнуться от женщины, которую я накануне целовал. Пусть люди говорят, что хотят. Мой долг верности Ире, никем не признанный и не утвержденный извне, сразу стал крепче всего. Но долг верности дружбе тоже действовал, давил, жал. И в течение нескольких месяцев два долга рвали меня на части.

Потом та же пытка началась с Лёдиком. Мы давно всё друг другу простили. Но тогда он ревновал меня к матери. Да и без того — в одной комнате (которую Ире выменяли) жить втроём с женой и пасынком 15-ти лет...

Иру то и дело тошнило. Во время первых наших встреч, коротких и нервных, всё путалось в моей голове: то хотелось ребенка, то мелькало, что ведь и я рискую, не боясь палочек Коха. Но палочки мне не повредили, а Ира мучилась. Пневмоперитониум (пузырь в животе, поджимавший лёгкое) давил на развивавшийся плод. Врачи категорически запретили рожать. Ире хотелось выйти из положения по-домашнему, с огромным риском для здоровья, — лишь бы её не трогали чужие руки. Я убедил пойти на официальную операцию (туберкулёзным она была разрешена). Помню, как Ира обходила со всех сторон больницу, куда я её привёл, — хотела никого не спрашивать, куда ей надо войти, стыдно было. И ещё одно помню: вернувшись домой, едва дождавшись, пока Лёдик заснул, она прижалась ко мне — стереть с себя больничное... Забыть эту муку и позор женщины от моей несдержанности я не мог никогда. Всё остальное, что

было на Трубной, смешалось в одно нарастающее чувство неловкости, невозможности ужиться вместе с бунтующим подростком. В конце концов, я убрался к себе на Зачатьевский и сказал Ире, что на Трубную ездить не буду. Пусть приезжает сама.

Я рисковал, что она вовсе не приедет. Она очень любила Лёдика. Но она приехала и стала оставаться подолгу. Утром я ждал, пока она проснется, с поцелуем подымал, обняв за плечи, приносил таз с водой, готовил завтрак... А на Трубной каждый раз собиралось всё больше мусора, всё больше невымытых тарелок...

Но главное было не в этом. Главное случилось, когда я преодолел самое опасное препятствие в любви (когда не остается никаких препятствий). И вдруг открылось созерцающее осязание, без оскомины и усталости; не исчезающее, а переходящее из ночи в день, незаметно всплывая при первом прикосновении. И неожиданно Ира осталась навсегда. Неожиданно для неё и для меня. И совершенно непреодолимо. А Лёдик в 15 лет стал жить сам по себе, и мать к нему приезжала только тогда, когда он болел гриппом, заболела сама, и в конце концов я ухаживал за обоими. Но это было редко. Получилось, что я отбил Иру у сына.

Правда, Лёдик каждый вечер приезжал в гости, и обычно мы вместе ужинали. Но Ира мучилась, что мальчик, совершенно еще не способный к самостоятельности, живет не с ней, что комната его превратилась в распивочную, и несколько раз мне говорила, что, наверное, раньше умрёт от этого. Я слушал, ничего не возражал, чувствовал, как ей больно, но ничего не мог сделать. Ира это понимала и не решалась настоять на фантастических и нелепых проектах обмена двух трущоб на одну.

Лёдик выровнялся, стал добрым и хорошим человеком (Ира не ошиблась, чувствуя в нем добрую душу). Но привычка к вину началась еще в школьные годы и оказалась роковой. И опять: хотел бы я сейчас, чтобы всё тогда было иначе? При тех же условиях — семь метров на Зачатьевском и десять на Трубной? Да нет, ничего другого, чем то, что было, я не хочу. Единственное, что хотелось бы поменять, это Ирино роковое решение сделать операцию. Но как раз это я своим грехом не чувствую. Ира, по её характеру, не могла отказаться от риска. А я, по моей любви и моему восхищению ею, мог только поддержать её и идти на риск вместе с ней. Если бы операции не было, через несколько лет она умерла бы, как её друг Жорж (с такой же каверной), и я бесконечно страдал бы, что удержал её от спасительного ножа. Оттенок греха был, пожалуй, только в моём желании ребёнка; может быть, это несколько подтолкнуло Иру; но гораздо больше подталкивал страх заразить мальчиков и наконец желание самой стать одним махом здоровой... Нет, удерживать её я не мог. Разве проверить в разговоре с профессором, все ли свои недуги, способные помешать успеху операции, она ему открыла? Действовать за её спиной? Не знаю, как бы я поступил теперь. Тогда я слишком берег свободу Иры...

Корчак писал, что ребенок имеет право на смерть (на риск смерти, неотъемлемый от свободы). И любимая имеет право на смерть. Мне

страшно это писать, но это так. Решился бы я сейчас пренебречь её правом? Не знаю. А с Лёдиком знаю, что иначе не мог. Когда Ира умерла, на какое-то время моя конура стала его вторым домом, а его жизнь моей жизнью (я выполнил посмертное желание Иры). Но что прежде было, то было. За все приходится платить. Не только силами, здоровьем, но и совестью. Чувством греха и потребностью в очищении.

За жизнь с Зиной — мне тоже приходится платить. Я чувствую себя виноватым постоянно. Перед людьми, от которых её защищаю, и перед ней, что недостаточно защитил. Виноват, что втягиваю её в напряженные отношения с властью, что из-за меня рухнула её карьера переводчицы и не печатались её стихи и постоянно давил на неё страх за меня, который я не могу устранить (я не могу отказаться от своего права на смерть; хотя умирать мне будет бесконечно тяжелее, чем Ире). И виноват я, что меньше сосредоточен, чем нужно, и слишком редко бывает у меня состояние, которое лечит её. И виноват, что не умею защитить её от неё самой, от её порывов жалости. И когда это удается — становлюсь виноватым перед другими.

Несколько лет назад стала терять разум моя тетка. Муж её умер, сын уехал в Израиль. Родственники приезжали дежурить, ездил и я, но это не было радикальным решением. Надо было или взять одинокую к себе, или отдать в больницу. Зина рванулась: возмём к себе. Я ответил, что скорее выброшусь в окно. Не потому, что не могу жить рядом со слабоумной. Я бы, может быть, сумел; или, но всяком случае, попробовал бы. Не сможет Зина. Она просто погибнет без своей раковины, без своего внутреннего пространства. И я беру грех на себя. Тетю поместили к Ганнушкину; мне до сих пор больно вспоминать, как она там умирала. Но другой раз я сделал бы то же самое. Это не правило и даже не прецедент; это неповторимый частный случай. Зина идет по жизни, как по проволоке, волока за собой левую сторону тела. С дополнительным грузом она бы рухнула. И всё же я не чувствую себя оправданным. Это было неизбежно — и дурно. Жертвовать одним ради другого всегда дурно. Единственно плодотворное, что есть в таком грехе, — это сознание греха.

Бесконечно верна поговорка: не согрешишь — не покаешься; не покаешься — не спасёшься. Не в том смысле, чтобы нарочно грешить — это выверт. Но приходится брать на себя тяжесть действия, тяжесть выбора между надо и надо, грехом и грехом, — и чувствовать свою запутанность в грехе. Чувствовать себя вечным мытарем (который, по моему, просто был человеком действия и потому нарушал фарисейские правила).

Рильке пишет о Сезанне: «Возможно, он был на похоронах своего отца; мать свою он тоже любил, но когда хоронили её, его не было. Он находился §иг 1е тоЯГ (на этюдах), как он говорил. В то время работа была уже так важна для него, что не признавала никаких исключений, даже тех, какие наверняка требовали его благочестие и простодушие»<sup>42</sup>.

Я не собираюсь казнить Сезанна (как героя Камю, которому черствость

---

<sup>42</sup> Рильке Р.-М. Ворповеде, О. Роден, письма. М., 1971, С. 221-222.

к матери посчитали отягчающим вину обстоятельством). Я знаю накал творческой страсти. Но никакая страсть, самая благородная, не снимает греха. Грех был. И был долг осознать грех. Хотя если бы Сезанн поступил иначе и оборвал свой творческий порыв, это было бы чистым добром в глазах окружающих, а перед Богом всё равно грех. Симеон Новый Богослов не отпустил монаха проститься с матерью. А.П. Кашдан считал это изуверством. А я думаю — не то же ли это самое, что у Сезанна? Рильке поступком Сезанна восхищался.

За всё приходится платить. Ты выкладываешься всем сердцем на бумагу, чтобы сказать правду, — и оскорбил хорошего человека. Екатерина Александровна К. плакала, прочитав то, что я написал (в «Созвездиях глубин») о «Философии общего дела» Н.Ф. Федорова. Она дала эту книгу с простодушным желанием обратить меня, а я всё прочел не так, как она, прочел по-своему. Но убедить тех, кому хотелось верить Федорову, оказалось невозможным. И в следующем варианте своей работы — «Заметки о внутреннем строе романа Достоевского» — я сократил критику Федорова до минимума, чтобы не обижать федоровцев (их и так травили).

Моим великим долгом было написать об Ире так, чтобы она осталась в человеческой памяти. Когда «В сторону Иры» было напечатано, мелькнула даже мысль: «теперь можно умереть» (такие восклицания нельзя понимать буквально; они говорят о силе и характере чувства). Я получил несколько писем со словами горячей благодарности. Но этот же текст кого-то оскорбил. Несубъективных и неодносторонних точек зрения нет, и каждый вправе сказать то, что думает: целостность истины складывается из множества осколков. В иных случаях эти острые осколки, попадая в чужую плоть, вызывают жгучую боль, и когда Анна Шмаина писала мне о страданиях, с которыми сочиняла послание мне, я вполне её понимал. С таким же страданием (еще более долгим и, может быть, еще более глубоким) я писал Солженицыну в 67-м и потом полемизировал с ним в 74—76 гг. Я думаю, что такие страдания плодотворны. Так возникают многие тексты: от колючки, попавшей в душу, от боли, которую ты сам испытал или причинил другим. Невозможно мыслить, писать — и никого не задеть. Не только в разговоре о живых людях. С живыми идеями — то же самое.

Я ничего не могу поделать: заведомая мертвечина не вызывает меня на спор. Мне неохота даже думать о ней. Разве отшутиться, вспомнив анекдот или вопрос армянскому радио. Задевает ложь, скрытая личиной живой истины. Хочется эту личину сорвать. И я иду на то, чтобы обидеть людей, которые верят лжепророкам. Но это еще сполгоя. Настоящее горе, когда ложь вплетается в самую сердцевину истины, вырастает из пророческой страсти (в основе своей святой и истинной). В попытке анализа такой болезни невозможно быть совершенно правым, невозможно не *резать* по живому. Мало того, что людям невыносимо само прикосновение критической мысли к кумиру. Ты сам сознаешь, что антитезис, противопоставленный тезису, тоже не совсем верен и как бы выгнут в сторону от истины, противоположную выгибу твоего противника. И хотя



стараться смягчить противоположения спора и впрыскиваешь в текст оговорки — в то, что утверждаешь в одном тексте, ограничиваешь в другом, — и споришь с самим собой — но всё это не помогает. По крайней мере, на политическом уровне плохо помогает; может помочь — очень внимательно читателю; глубоко и спокойно мыслящему; но на обыденном уровне этого читателя нет. И я иду на риск и даже неизбежность политических искажений и несу на себе груз партийной ненависти, который стал гораздо тяжелее с тех пор, как Стендаль записал свою знаменитую фразу — что «каждая партия может считать его членом партии своих врагов».

«Ты думаешь, правда проста? Попробуй, скажи...» (М. Петровых)

«Я верю в способность человека решать, когда соблюдать заповеди (писал я в «Письмах о нравственном выборе»), а когда взять на себя ответственность за нарушение закона... Тот, кто не идёт на риск нравственного выбора, зарывает в землю свой талант. В Гефсиманском саду родился новый нравственный порядок — для иудеев соблазн, для эллинов безумие. И этот порядок требует личного нравственного риска.

Мы живём в мире, где законы сталкиваются, спорят друг с другом. И мы должны понять: безгрешного выбора нет, безупречно разумного выбора нет. Мы должны быть готовы решать так, как хорошо выбранные присяжные: из глубины сердца. Допуская право сказать явному преступнику: не виновен.

Есть только одно непоколебимое основание :“так я стою и не могу иначе...”»

«Письма» возникли как ответ на вопрос: какая нам нужна мораль? Я ответил: личная. Каждый раз выношенная в сердце. Не вытекающая ни из каких правил.

Допустим, вы хотите быть учителем, врачом, артистом. Для этого вы должны лгать, сдавая экзамены по некоторым специально придуманным предметам. Потом — лгать на собраниях. Или, по крайней мере, молчать, когда хочется возразить. Эти привычки легко становятся натурой. Учитель, врач, режиссер начинает помалкивать и подвирать не только в отношениях с большим начальством, но и с малым, способным на малые пакости. И в конце концов, ничего не остаётся не только от гражданской этики, но и от врачебной и от всякой.

А если жить не по лжи? Тогда вы немедленно становитесь изгоем. Работать только дворником. Даже если вы успели окончить университет, если вы кандидат или доктор наук, всё равно. Как учитель или ученый, врач, режиссер — вы кончились. Как отец, мать, сын — вы ставите в очень трудное положение свою семью. И появляется искушение: уехать...

Чем-то всегда приходится жертвовать. И я делал это беспорядочно, бессистемно, балансируя по лезвию ножа, отказываясь вступать в группы, редколлегии ит.п., но не отказываясь от свободы своей мысли; решил не подписывать групповые протесты, а только своё, личное — и всё-таки подписал, когда сослали Сахарова. Несколько раз я пытался протолкнуть в официальное издание свои книги и статьи — и всё это обрекал на провал. А

в итоге — я, пожалуй, и не мог придумать ничего лучшего. Не потому, что непоследовательность хороша. Но система, но логическая последовательность еще хуже. Все революционеры были логики. Этим они, кстати, отличались от бунтарей и поэтов.

Я писал: «Солженицын в “Теленке” приводит несколько примеров, как он разрывался между ответственностью за чемоданчик и желанием дать в морду хулигану, как он колебался, выступать или не выступать в августе 1968 г. и т. п. Этот внутренний разрыв гораздо поучительнее, чем правда жизни не по лжи. Безгрешные нравственные решения — редкость. Поэтому и святым подобает “держать ум свой во аде и не отчаиваться...”»

Выбор ждёт вас в каждом углу — не только в политике. «Джентльмен уступает место даме в автобусе, но он не очень заботится, чтобы даме не пришлось делать аборт. Обычай не установился, — а совесть помалкивает. Сейчас есть средства, которые женщина сама может использовать, но всегда ли она способна помнить о собственной безопасности? Стихийная этика любви заставляет забывать о себе». И заботиться о здоровье женщины должен мужчина. Но это нигде не записано. Написано прямо противоположное — про грех Онана, попытавшегося регулировать рождаемость за 3 000 лет до нынешнего взрывного роста населения. И верующий человек, который решает сегодняшние проблемы сегодняшним умом и сердцем, грешит, разрушая традицию (в целом незаменимую); но если он этого греха на себя не возьмёт, то сотворит большее зло (я убеждён, что фундаментализм — зло; иногда вялое, а иногда даже очень острое. Так же как нигилизм. И фанатик Хомейни не лучше, чем фанатик Пол Пот).

Сколько бы ни писать комментариев, остаётся пространство своеволия, свободы, — можно его оценивать положительно или отрицательно, но оно есть. Не убий, не укради, не лжесвидетельствуй... Но правдой можно и убить. В драме А.К. Толстого «Смерть Ивана Грозного» Годунов преднамеренно убивает царя правдой: говорит старику, склонному к припадкам ярости, несколько совершенно верных, но невыносимых для деспота вещей. Склеротические сосуды рвутся от прилива крови, и Грозный умирает. Ни один закон, ни одна заповедь при этом формально не нарушены.

Заповедь «не убий» совершенно ясна, если действовать ножом или топором. А если словом? Ссора, размолвка, натянутость глубоко ранят, и чем ближе человек, тем больнее. Уайльд ничего не преувеличил, когда писал «Балладу Реддингской тюрьмы»: «Мы все убиваем своих любимых...».

А убийство самой любви?..

Какие заповеди помогают вырастить и оберечь любовь? Какие заповеди мешают заспать её? Младенец вырастет — и сможет нести на плечах небесный свод. Но он мал и хрупок, и так легко задавить его своим тяжелым телом... И есть так много способов убить любовь — недостатком благоговения к естественному чувству близости, неумением провести черту между днем, в котором есть место для тысячи дел, и ночью, когда

остаётся только одно место — для бога любви или для твари (одна капля твари вытесняет здесь всего бога)<sup>43</sup>. Неумением сказать и неумением промолчать. Самой маленькой фальшью. «Ты думаешь, правда проста? Попробуй скажи! <...> Попробуй хоть раз, не солгав, сказать о любви» (М. Петровых). Я не знаю, где здесь кончается этика и где начинается эстетика: чувство музыки, чувство ритма, внимание к оттенкам и полутонам, к шепоту и лепету...

Я не знаю, по какому это ведомству, и ригористы скажут, наверное, что я не про то. Человечество погибает от язвы тоталитаризма, а я про нежности. Да, я про нежности. Я думаю, что неумение вырастить и сохранять любовь причиняет человечеству больше страдания, чем все политические режимы всех времен. Потому что режимы приходят и уходят, а бездарность в любви остаётся. Многие нелепые прыжки в утопию — от неумения найти полноту жизни в том, что под руками...»

«Одни проблемы возникают, другие исчезают. Лев Толстой считал безнравственным не выносить за собой ночной горшок. Сейчас слуг заменила канализация. Зато возникло общее звуковое пространство нескольких квартир, в каждой из которых — радиола, магнитофон, телевизор. Сказано: не укради; это ясно, если речь идет о деньгах или тряпках. А чужое пространство тишины? А чужое время? Новые правила постепенно создаются, но решительно никакие правила не заменяют совести...»

Что я могу тут сделать? Писать о своем личном нравственном опыте. Кому он пригодится, в ком вызовет отклик, — тот его и подберёт. Сами ошибки, глубоко пережитые, удивительно многому могут научить. Ошибки и оставленные ими рубцы стыда<sup>44</sup> были моими первыми заповедями, копившимися с 6-ти до 60-ти (может быть, и великие заповеди священных книг — такие общечеловеческие рубцы)...»

«Мне кажется, что открытый, большой вопрос о путях совести больше даёт, чем любая система оправдания добра. Так же, впрочем, и в вере, в чувстве связи со своим внутренним человеком, с последней глубиной, — вопрос больше даёт, чем ответ. Бог заговорил с Иовом, не знавшим ответа, а не с друзьями его, думавшими, что они понимают Бога и могут ответить».

Созерцание неразрешимого вопроса — один из вечных подступов к Богу. Можно даже сказать, что неразрешимый вопрос — один из ликов Бога.

*Когда я внутренне собираюсь  
Перед предельно разомкнувшимся да и нет, —  
Я не иду дальше: я созерцаю;  
И когда созерцаемое уклоняется,  
Я созерцаю безусловнее, я стою на коленях,*

---

43 Фраза Мейстера Экхарта. Я имею в виду недопустимости суеты в ночной тишине.

44 Здесь слово «стыд» — синоним совести (Г.П.).

Подвижникам Дальнего Востока помогал метод коанов, т.е. заведомо неразрешимых вопросов. После «великого сомнения», после отчаянья, которого иные не выносят и даже теряют разум, люди подходили к просветлению. Насколько я понимаю, суть здесь не в решении одной загадки (или нескольких таких иррациональных загадок), а в созерцании всей жизни под образом неразрешимого вопроса. Что-то вроде парадокса Кришнамурти: «Только неправильные (т.е. поверхностные. — Г.П.) вопросы имеют ответ. Правильные (глубочайшие) вопросы не имеют ответа».

Подпольный человек Достоевского говорит, что стена не смиряет его. Он стоит перед стеной неразрешимого вопроса и мучается задачей, не имеющей решения; хотя знает, что ничего не добьется. Стена, неразрешимое — это не успокоение, а призыв к воле, к постоянному внутреннему напряжению. Может быть, оно и не пробьет стену; но вечное напряжение и само по себе что-то значит. Бог велел жить напряженно, жить с углём в груди. И если даже этот уголь только жжёт и жжёт и духовное пробуждение не даётся, то ведь тлеющий уголь и сам по себе — начало огня. Уже не глухой сон, а тревожный полусон, и в груди мелькают искры света и появляется способность узнавать тех, кто пробудился.

В моих отношениях с Леонидом Ефимовичем Пинским ученичество сохранилось чисто внешне. Последние десятилетия мы скорее перекликались. Но что меня всегда захватывало — это его горячность, страстность, неспособность примириться на полурешении, жажда дойти до конца, отказ смириться перед неразрешимым. Бог хочет от нас, чтобы мы страстно рвались к высшему бесстрастию. Бог живёт в страстях и мучениях грешника не меньше (может быть, больше), чем в размеренной жизни праведника. Видеть неразрешимое, не смириться перед ним, хранить боль в груди и в страдании постигать жизнь — через это идёт мой духовный путь.

Самые обыденные житейские неразрешимости — подобие непостижимого перехода от человека к Богу. Разве нелепый вопрос — как звучит хлопок одной ладони — не стал великим коаном?

Как-то я собрал несколько человек и рассказал, какие проблемы ставят меня в тупик. Один из слушателей увидел в этом лишний аргумент в пользу крещения — и нашел для себя твёрдую систему правил. Постоянного созерцания открытого вопроса он не мог вынести. Это не его путь. Но это мой путь. И моя вина; я виноват, что недостаточно настойчиво, недостаточно страстно пробиваю его. По-настоящему взглянуть в неразрешимое — это не меньше, чем постоянная молитва или созерцание Распятия, от которого у Франциска сделались стигматы. В ответ неразрешимому открывается и углубляется сердце. Я не достиг этой последней глубины. Но меня тянет и тянет к ней, и мысли мои выются и выются вокруг неразрешимого. Иногда я решал интересные вопросы; но

---

45 *КИЖе К.-М.* ОедыЫе. М., 1981. 8. 21. — Мой прозаический перевод.

самое главное, что меня толкает к бумаге, — кружение вокруг неразрешимого, бесконечные попытки дать безымянному имя (сегодня, сейчас: вчерашние имена недействительны). Попытка «хоть раз не солгать» там, где всякая мысль есть ложь, все догматы — только подобия, иконы непостижимого.

Непостижимое с юности мучило меня. Я заводил записные книжки и что-то там записывал; но логика уводила по прямой, в сторону от пути, вьющегося, «как тропки лесов и потоки». И не было рядом Владимира Романовича Гриба, чтобы поморщиться, когда я соскальзывал на вялые силлогизмы.

Были отдельные вспышки вдохновения; сердце иногда долго горело и не давало дороги холодным словам. Так я писал о Достоевском и заметки, вошедшие в «Предмет» (первый вариант «Пережитых абстракций»). Но помню, что после «Предмета», в 53-м, я с грустью подумал: есть же люди, у которых вдохновение непрерывно и пишут себе вещь за вещью. А у меня — раз в несколько лет...

И вдруг это непрерывное вдохновение пришло ко мне — девять лет спустя, когда я не ждал его и не искал...

Я жил другим. Я любил. Знаками моей любви были не слова, а поступки и прикосновения. Но это был язык, и впервые на этом языке я научился говорить сердцем, а не только умом. Впервые с Ирой я понял, что любить — значит как бы писать новые стихи и новую музыку, где каждое повторение ложь. Я смычок, играет Бог, и каждый миг надо заново угадывать, чего от тебя ждёт скрипка. Каждое движение чувствовать сердцем, — чтобы оно шло от сердца и находило отклик в сердце.

Мне довольно было видеть, слышать, прикасаться. Мы не расставались — и не к чему было писать письма. «Счастье» я набросал по просьбе Иры, для ее старшего сына Володи — у него была склонность к романтике страдания. На этих страничках кое-что сказалось. А остальные опыты 50-х годов — только проба пера. Настоящее слово — впервые после «Предмета» — вырвала из меня смерть Иры (из этой рукописи, слишком интимной, я цитировал несколько фраз в ч. V «Снов»). Но прошло еще года два, прежде чем я понял: всякое настоящее слово приходит прыжком через смерть, пишется сердцем, воскресшим после смерти.

Я жил со смертью два последних страшных месяца 1959 года. Потом стал воскресать, встретив Зину, был потрясен и захвачен её стихами; сквозь все неловкости я увидел в них главное, самое нужное мне: путь от смерти к воскресению. Мы постепенно стали сближаться, и на волне нарастающего сближения полетели первые ласточки моих первых эссе: «Пух одуванчика» и «Язык богов». Из них «Пух одуванчика» мне и сейчас нравится, он ничем не перекрыт; но обоим эссе не хватает глубины; это были не столько тексты, сколько знаки нарастающей открытости. Главные сдвиги еще должны были случиться в жизни. Я чувствовал, что Зина, как саламандра, умеет жить в огне. Я не умел. Я только любил огонь и тянулся к нему. Когда мы сблизились, я сказал: ты нашла себя в том, как пишешь, а я только в том, как живу, как люблю. И мне показалось, что с меня этого

хватит, я не страдал оттого, что не пишу. Я просто хотел глубже и глубже жить. Вдруг от случайного толчка — заказана была статья о вульгаризации истории в антирелигиозных брошюрах — пошли «Две модели познания». И потом — один текст за другим.

Хорошо помню, как «Две модели» вытаскивала из меня весна света в рублёвском лесу. Сосновый бор в феврале. Огромные тёмно-зелёные опахала, снег и солнце. И от этого сверкания — волны внутреннего света. Дома я только записывал главные мысли. Записывать — это я умел с юности, не умел другого: находить вдохновение. И нечаянно нашел его, бескорыстно прислушавшись к дыханию космоса, к его вечно живому огню. Незаметно для самого себя я стал смотреть на деревья Зиниными глазами, прислушиваться к ритму ветвей *с любовью* и откликаться, как птицы, своими словами, но на напев, подсказанный Богом, который высказался в соснах, снеге и солнечном свете. У Зины это совершенно прямо, буквально. Часы заката — её свидания с Богом, прервать которые так же невозможно, как близость любовников:

*Вот он звучит — тишайший в мире рог,  
Беззвучный гром, что, мира не нарушив,  
Вдруг отзывает ото всех дорог,  
Из тела вон выманивает душу.  
Когда тот гром, тот рог тебя настиг,  
Он протрубил: готовься к предстоянью.  
Сейчас наступит вождеденный миг.  
Века обетованного свиданья.*

*Сейчас, сей час! Все глубже, внутрь, в упор.  
И — собран дух. Аз есмь. И вот тогда-то  
Выходишь ты в торжественный  
простор,  
В великую расправленность заката.*

*И тянутся объятия зари,  
И в этом нескончаемом полете Единый  
возглас: Господи, бери...  
О убыль мира, истонченье плоти!*

*И Он тебя воистину берёт,  
Тот, кто насущней воздуха и хлеба,  
И длится нисхождение высот,  
Земле на грудь прикинувшее небо.*

*И после полной близости, такой  
Пронзительно мгновенной и бессрочной,  
Приходит тот прозрачайший покой,  
Который люди называют ночью.*

*Хрустальный час. Он бережно принёс  
Желанный отдых. В тишине высокой  
Дрожат крупинки благодарных слез,  
Не пролитых из замершего ока.*

Без этого стихотворения нельзя понять не только Зину, но и меня. Хотя я не отвечаю Богу так прямо, как Зина. Я обращаюсь гораздо больше к людям, к их уму и их заблуждениям, я рассуждаю, спорю. И разумеется, использую логические доводы. Но внутреннее течение эссе — по линиям ветвей, от одной вспышки света к другой. Я не мог писать «Князя Мышкина» зимой. Мне нужно было все время видеть дерево и быть счастливым. «Троица Рублева» складывалась в Коктебеле: я сидел над обрывком, и когда мне казалось, что сейчас полечу, приходили мысли, которые я кое-как заносил в записную книжку. Текст продолжался за письменным столом, но он никогда там не начинался. Внутренняя нить эссе так же не покоряется логике, как любовь к женщине. И так же сбивают меня с пути наплывы страстей (полемика — не меньшее искушение, чем чувственность). И та же музыка, укрощающая страсти. И на волне музыки — чувство пучины под ногами и вера в свое умение плавать. Вера, с которой я входил в аудиторию, иногда с неудачным планом, иногда — с текстом, который слишком труден на слух, все равно: в какой-то миг я начинал чувствовать слушателей, внутренне поворачивался к ним, находил в себе отклик, и неудача превращалась в удачу.

Хуже или лучше это вышло, но я научился *жить* перед лицом смерти. Сперва жить, а потом уже писать. Не отрываясь глазами от бездны смерти, из которой растет воскресение. И с тех пор я брожу по берегу бездны, вглядываясь, вслушиваясь, иногда почти подслушивая новое слово — и потом только додумывая его и сопоставляя со старым запасом слов. Мои грехи остались со мной, но в творческом напряжении они горят, как сухой хворост. Рукопись, возникшая из созерцания неразрешимого, сама помогает мне углубиться в него. А иногда то, в чем я запутываюсь за письменным столом, вдруг разрешалось в лесу. И, вернувшись в текст, я каждое слово чувствовал сердцем и вычеркивал то, что не звучит, «не поётся», как говорила Зина.

Сперва мне казалось, что я нахожу решения. Но всякое решение вызывало внутренний отпор. После «Двух моделей» я возразил себе в «Трёх уровнях бытия»<sup>46</sup>; после первых частей «Снов» — статьями о модернизации и эссе о Достоевском. Важнее любого отдельного текста стало кружение вокруг истины. Будет ли это в разговоре о буддизме дзэн, о Достоевском, о Рильке — всё равно каждый раз захватывает кружение вокруг неразрешимого и открытая незавершенность слова. Я заговорил о незавершенности, как об историческом несчастье русской истории (это сочли русофобским) и творческом принципе русской культуры (второго

---

46 Эти эссе опубликованы в книге «Выход из транс».

поворота моей мысли в «Вестнике РХД»<sup>47</sup> не заметили). И чем дальше, тем больше я поворачивался к неразрешимому. К ритму вечных переходов между безмолвным всматриванием — и разгорающимся в груди угольком... Когда утёнок, не умеющий летать, все-таки летит, все-таки машет своими слабыми крыльями.

Все решеное и разрешимое — только отдыхи на пути в Египет. Неразрешимое сильнее всех наших решений. Но созерцание неразрешимого дает силу и способность вспыхивать от вечного огня. В муках разрывов между надо и надо мы постигаем, что мертвы, и делаем шаг к воскресению. И в какой-то миг испытываем его, и раскрывается перед глазами высший образ:

*Тот, пеленами оплетенный,  
Тот, одолевший естество, —  
Не нарушение закона,  
А исполнение его.  
Когда по Божьему приказу,  
Высвобождаясь из тенет,  
Выходит из могилы Лазарь, —  
Над миром вновь восходит свет.*

*Но чтобы он взошел оттуда,  
Из бездны, с мирового дна, —  
В великом напряженьи чуда  
Душа безмолвствовать должна.*

*И снова укрощает волны И по  
морю ступает Тот,  
Кто не нарушить, а исполнить,  
Кто созидать сей мир идет.*

*И снова буря. Боже правый,  
Опять густеет в мире тень,  
И Ты опять в поту кровавом... И  
всё-таки восходит день.*

З.М.

---

<sup>47</sup> Русский религиозно-философский журнал в Париже.



Глава 10  
Нечаянная глава

Все мои главные мысли приходили вдруг, нечаянно. Так и эта. Я читал рассказы Ингеборг Бахман. И вдруг почувствовал, что смертельно хочу сделать эту женщину счастливой. Она уже умерла. Я не видел никогда ее портрета. Единственная чувственная ассоциация в годе рождения: 1926. В 1945-м ей было девятнадцать, мне двадцать семь. Если бы наша дивизия пошла в Клагенфурт...

Дальше мое воображение не сдвинулось. Была ли в ней тогда, в девятнадцать, эта воззвавшая ко мне тоска? Была ли во мне тогда способность ответить? И что вышло бы из романа оккупанта? Скорее всего одни несчастья... Но все неважно. Вовсе не надо представлять себе что-то во плоти. Душа позвала, воплотила себя в тексте, и моя душа откликнулась.

Героини рассказа «Синхронно» и повести «Три дороги к озеру» почти забыли родной язык. Автор — поэт, привязанный к Каринтии; и наверное, в лесу не смотрела на часы. Но свою тоску она вложила в этих женщин. И я чувствовал ее так, словно смотрел в глаза. Большие глаза с болью на дне.

Странная вещь это чувство к душе. Какую бы оболочку она ни носила, и даже если у нее нет никакой оболочки.

Так вот — как будто не было у нее оболочки, одна душа — увиделась мне Зина. Каким-то сверхчувственным впечатлением:

*Сивилла выжжена.  
Сивилла — ствол.  
Все птицы вымерли,  
Но Бог вошел.*

Один ствол без ветвей. Огненный столп, подымавшийся вверх. В стихах мелькали образы страсти — это были, конечно, метафоры мистической любви. Ей никто не нужен, кроме Бога. И вообще ей ничего не нужно от людей. Кроме раскрытых глаз и ушей. Можно помочь ей только одним: вслушиваться в ее стихи и изнутри стиха помочь отбросить лишнее, заменить неудачное слово...

Мы стали встречаться и обсуждать то, что она пишет. Временами сквозь сивиллу выступал другой образ: девушка, совершенно счастливая в лесу или у моря, — как литовская весталка, вайделуте, воспетая позже, в «Балладе огня», и вместе с тем смутно ждущая своего Кестуччо. Эти персонажи сложились после десятка лет брака, но тени их промелькнули тогда. Вполне сивилла и вполне невеста Кестуччо, но способная выйти замуж только при каком-то волшебном условии, не совсем ясном и постепенно разъяснявшемся: не разлучать ее с Богом. Прошло полгода, прежде чем я понял (как всегда, вдруг), что она мне верит, и почувствовал

волну нежности, которая прикоснулась ко мне. Не физически и даже не глазами; но я почувствовал. И сразу подумал, что мне с ней хорошо, как ни с кем другим, и, наверное, нам обоим будет хорошо вместе — только нескоро. Может быть, через несколько лет. Пока что была она еще слишком сферическая, замкнутая в себе. Пусть раскроется. Я подожду.

Какой-то дальний угол сердца оставался у меня зажатым после смерти Иры. Отворит ли его очень глубокое чувство? Я не знал. Больше того. Я этого боялся. Боялся уязвимости в любимой. Чтобы второй удар смерти не убил и меня самого. Но я назвал это словами и вышло рационально, а чувство было слепым, как движение век, закрывавшее глаз. Я не расположен был торопить события.

Они побежали сами. Через полтора месяца после первого января, когда протянулась первая ниточка нежности, Зина прочла сказку «Фея Перели». Может быть, я сам подтолкнул это своим эссе «Пух одуванчика». Он был написан в начале января, а «Фея» в феврале. Пух одуванчика — образ из записной книжки Иры: ей снилось прикосновение, легкое, как пух одуванчика. Эссе было о нежности в становлении человека; о том, что человек потерял шерсть и стал тонкокожим ради нежности. Я писал в пространство, без мысли о чем-то сегодняшнем, близком, и скорее теоретически оспаривал аскетизм, но это могло звучать как обещание и призыв. В «Фее Перели» был неожиданный для меня ответ: я вовсе не давала обета безбрачия. Я жду своего жениха. Но только такого, который подхватит волшебные изумрудинки.

По мере того, как Зина читала, мои роли менялись: сперва я чувствовал себя старым Паном, сидевшим у костра, и молодая фея казалась мне дочкой. Я — дерево, сердцевину которого прожгла молния, еще крепкое, способное дать приют от непогоды, но давно уже не юное. Однако никто из женихов не способен был поймать волшебную изумрудинку. Что делать? Видно, надо ловить и мне. И я вошел в роль молодого чужестранца, у которого изумрудинка сразу зажглась в глазах. И когда чтение кончилось, сказал: мне хочется Вас поцеловать...

Так сразу всё и решилось, безо всяких сомнений. Чувство пока еще ребенок, но оно будет расти. Откроется ли зажатый уголок? Не знаю. Все равно, будет хорошо. Я написал подруге Иры, что мне второй раз в жизни крупно повезло. Я не боялся, что близость смоет чувство. И действительно, нам сразу стало хорошо, и любовь во мне медленно росла, и через три года последний околоченный уголок растопило. Мелькнуло что-то вроде легкого испуга, но чудо уже произошло, и его нельзя было повернуть обратно. Когда это случилось? У моря, вместе с запахом соли и сосен? Или от боли, когда Зине было плохо? Не помню. Что мне делать с этой способностью к долговому, медленно растущему счастью? Не хочется уносить его с собой в могилу. Но как его передать? Тут есть одна особенность, которой я не выучился (она во мне с самого начала). Я смотрю на красивых женщин с радостью и даже испытываю от этого легкое возбуждение, но сердце мне никакая, самая блистательная красота не трогает. Только душа. Большая душа, ждущая моего отклика.

Могут случиться ошибки: Ирочке С. я был не нужен. Все равно, я испытал в себе (с удивлением: я считал себя только мыслителем) способность к любви, о которой раньше читал только в книгах. И от этой способности — бессознательный долг: принести счастье в дар чьей-то большой душе. Я не понимал своего долга, и в моей страсти к Ире Муравьевой не было ничего обдуманного. Действовала заложенная во мне пружина. Я женился на больной, обреченной женщине с двумя взрослыми детьми, хотя за месяц раньше не хотел этого. А три года с Ирой были такими полными, что я уже умом понял: нельзя после этой великой любви согласиться на что-то обыденное. Я не знал, что мне встретится. Может быть, почти ребенок, с тем цельным ожиданием полноты счастья, которое жизнь обычно обманывает; а может быть, измученная женщина. Все равно. Когда забрезжила возможность любви к Зине, я сразу понял: это то. И просто ждал, когда.

Хорошо ли это? Хорошо ли стремиться к счастью здесь, в земной юдоли (вместо того, чтобы готовиться к жизни вечной)? Хороша ли сосредоточенность на счастье? Не замыкает ли это сердце от общего страдания?

Проще всего мне ответить на последний вопрос: нет, не замыкает; т.е. может быть, и замыкает, если почему-то открылись друг другу люди, закрытые миру, и потом окончательно замкнулись на своей семье. Но в моем опыте — не замыкает. Я писал об этом в эссе «Счастье». В самое блаженное свое время с Ирой мы рисковали оба головой. И записались в ЗАГСе, несмотря на глубокое отвращение Иры к браку, чтобы в случае чего пускали на свидание. Счастье скорее безрассудно, чем рассудительно, скорее открыто миру, чем закрыто. Счастьем хочется поделиться. Счастливый человек близок к «сильно развитой личности» Достоевского и готов отдать себя всего всем, чтобы и другие были такими же счастливыми людьми; я приводил примеры счастливых людей, готовых на жертву. Я сам был на нее готов. Эта готовность никак не мешает счастью, скорее завершает его. Без открытости бездне (смерти, несчастья, добровольной жертвы) счастье — картонный домик, готовый рухнуть от одного страха беды. И где поселился страх, там нет счастья.

Враг счастья — не жестокость мира и не готовность на жертву (пока час жертвы не пришел), а разбросанность. Счастье требует сосредоточенности, как молитва. В любви мы открываем, что человек действительно образ и подобие Бога, и служим Богу в этом образе. А это значит, что по дороге в свой храм, на богослужение нельзя забывать, куда идешь, и отдаваться первому порыву...

Враг счастья — разбросанность. В том числе и в сострадании, в жалости. Человек, погруженный в молитву, иной раз проходит мимо возможности добрых дел. Счастье жизни — как и блаженство веры — рождается из собранности, сосредоточенности на глубине. Можно всего только видеть дерево и быть счастливым. Если очень собранно видеть дерево. Если досмотреть его до корней в вечности. Это умение быть самому счастливым — школа творческого счастья, т.е. умения сделать счастливым

другого. Так же как нельзя научить плавать, если сам не плаваешь. А жизнь вечная? Но она не где-то, не когда-то, она здесь и теперь. Это собранная и сосредоточенная на глубине жизнь, в этом месте, в этот миг. Очень трудно сосредоточиться по-настоящему, но если удастся, то можно быть счастливым где угодно. Даниил Андреев бывал счастлив во Владимирской тюрьме. Хотя обстановка в камере мешала счастью. И легче быть счастливым в лесу, в горах, у моря... Но поглядите на людей, играющих в карты на пляже. Они совсем не счастливы. Им скучно.

Так помогает счастью близость любимого. Помогает счастью, которое уже есть, когда в глаза и уши вошла красота бытия; помогает вместе с деревом, вместе с горой, с морем, или с музыкой и стихами. Лишь бы оставить все заботы, остаться одним...

Я думаю, что человек, не способный к счастью, будет обманут влюбленностью и быстро заскучает в браке. Я был таким в юности и смутно чувствовал свою неспособность сделать женщину счастливой. Что-то изменилось, когда я совсем не думал о женщинах и бросился навстречу бесконечности, навстречу войне, навстречу страху. Мне нечего вспоминать до двадцати лет. Первая волна счастья пришла тогда от света из бездны, в которую я мысленно погрузился. И скоро потом — от взрывов вдохновения, вызванных Достоевским. Но это были редкие взрывы. Постоянным напряжением, постоянным вызовом была война. Я был счастлив по дороге на фронт, с плечами и боками, отбитыми снаряжением, и с одним сухарем в желудке, — потому что светило февральское солнце и сосны пахли смолой. Счастлив шагать поверх страха в бою. Счастлив в лагере, когда открывались белые ночи. И сейчас, в старости, я счастливее, чем в юности. Хотя хватает и болезней и бед. Я счастлив с пером в руках, счастлив, глядя на дерево, и счастлив в любви. Зина, всю жизнь тяжело больная, в перерывах между приступами своей болезни, еще счастливее. Потому что она напряженнее меня живет.

*И вот пьяны весенним духом...  
Хоть знаю я, что я старуха, а  
ты старик. Жизнь пролетела,  
да только нам какое дело?*

*Какое дело листьям этим до  
всех тревог и мук на свете, до  
всех болезней, слез и бед, до  
будущих и прошлых лет?  
Какое дело нашим душам до этой несусветной  
чуши, когда до края, через край нас переполнил  
этот май?*

*Душа... Но ведь душа, быть может, с весною  
каждой все моложе...  
Как через дали — через годы.*

*З.М.*

Люди разучились счастью. Сперва земное счастье было объявлено заменой вечной жизни. Как будто без вечности может обойтись любой полный миг времени... Радость без глубины, счастье без открытости бездне опошилились, упали в грязь. И тогда рванулись в другую сторону и стали искать особую вечность, вне времени, после времени; как будто вечность может быть ДО или ПОСЛЕ; как будто она не вся ЗДЕСЬ и ТЕПЕРЬ. Прекрасными показались только страдание и мученическая смерть, а счастье — достойным презрения. Хотя вечность раскрывается в глубине радости не меньше, чем в глубине страдания. Радость, счастье, открытое бесконечности, дорастает до блаженства. Так же как страдание, принятое и перенесенное с сердцем, полным любви. А любовь — если ей ничего не мешает — всегда счастье. Жизнь постоянно создает препятствия любви, жизнь убивает и калечит — и это надо вынести. Но зачем искать язв? Разве Христос *искал* распятия?

Великое счастье разливается во все стороны, как солнечный свет. Я не дорос до него, и всем могу дать только то, что говорю и пишу. Одних это ненадолго радует, других сердит (тоже на миг). Сосредоточенной воли к счастью у меня хватает только на одного человека. Да и то с грехом пополам. Зине надо было бы больше, чтобы бороться с ее болезнью. Более глубокой сосредоточенности. Сосредоточенности на большей глубине.

Я всю жизнь учусь мышкинскому счету и до сих пор сбиваюсь. Стараюсь зажечь лампу в груди, но она недолго горит. Не хватает топлива в груди. Самое последнее, самое главное остается невынутым. Может быть, и даже наоборот, я недостаточно напряженно искал. Последние годы живу напряженнее. Как бы бегу наперегонки со смертью. Но я готов к тому, что большего и лучшего уже не будет; сделал, что мог; а там, пусть другие сделают, что им удастся.

*...Твоей дорогой мой брат грядущий  
Промчится, смелый, быстрее меня И,  
поравнявшись с судьбиной черной,  
Смеясь, обгонит ее коня.*

*Николай Бараташвили. Перевод Лозинского*

Я не раскаиваюсь, что нашел в себе способность к счастью и добился его. Это не закрытость от боли. Это готовность принять боль, но не терять близости с другой душой, пробивающейся сквозь муку. Это воля к радости — сквозь боль, к моей радости в ней, к ее радости во мне. Я чувствую себя виноватым перед несколькими людьми, которым мои поиски счастья доставили страдания. Так же, как и мои поиски истины. Но я убежден, что этого нельзя было избежать. Ум, любя простор, теснит? И счастье кого-то теснит. И всякая радость кому-то может доставить боль. Даже если ничего

не отымает — кроме тишины, в которой скорбь хочет спрятаться. Мне самому невыносима была громкая радость в черные месяцы 1959 года. И, наверно, другим были невыносимы моя радость, мое счастье.

Тут есть предел, которого нельзя переходить. Но где он? В заповедях? Встреча с Зиной ни одной заповеди не нарушила. Только мы сами сдвинулись с места — и для нескольких человек это было болезненно, мучительно. Я подсчитал, что примерно десять человек пострадали — одни больше, другие меньше. Не сумели приспособиться к новому положению ребята, мои пасынки. Один из воспитанников Зины был просто в отчаянии. Моя мама плакала, что я женюсь на калеке и не будет внуков. Подруга сказала, что раньше Зина ей помогала жить: была примером полноты жизни без счастья в браке, и ей этого примера сейчас не хватает. Зина стала как все... Зина вовсе не стала как все. Я не оторвал ее от Бога. Скорее наоборот. Вместе мы стали ближе к глубине жизни, чем каждый из нас по отдельности. И наша духовная жизнь была открыта для всех близких — только сумей войти. Но тогда, в тот миг этой женщине слишком важна была форма жизни, а форма изменилась; и мнимая потеря стала для нее действительной потерей.

Больше всего было то, что изменились мои отношения с пасынками. Весь год после смерти Иры мы жили вместе, примерно так, как могли бы жить с ней, и в мою комнату они приходили как к себе домой, в любое время дня и ночи. Присутствие Зины резко все меняло. Младший писал из армии Кузьме (Анатолию Бахтыреву), что остался бездомным. Старший то приходил, то исчезал. Зина пыталась привязать его, и временами это почти получалось, — но в конце концов так и осталось полуродством.

Так часто выходит, когда расходятся и сближаются взрослые люди, и дети вдруг теряют или получают новых отцов и матерей. Сперва я трудно срастался с Лёдиком (со старшим мы сразу ладили), потом так же трудно отрывался от обоих; и им, наверно, было трудно. В конце концов, мы снова стали сближаться, уже через пропасть по-разному сложившихся жизней...

Что можно было тут сделать? Не жениться? Этого ребята от меня не требовали и не хотели. Им не помешала бы моя жена, если бы она стала еще одним товарищем в нашей компании; или оставалась где-то в стороне. Но Зина слишком напряженно жила. Сознательно она изо всех сил старалась мне помочь, но ничего не могла поделать с собственной природой. Поле тяготения, окружавшее ее, взламывало привычные отношения (за это ее еще в студенческие годы называли агрессором). Надо было войти в новую систему (изменив свою жизнь), или решительно обособиться, оторваться не только от нее, но и от меня.

Такие коллизии повторяются миллионы раз, и каждый раз встает тот же вопрос: где предел чужого страдания?

Как это ни странно, но мой незаконный и внезапный брак с Ирой причинил меньше горя. Если не говорить о моих собственных муках, которыми я же и заплатил за свое счастье, — пострадали только двое. Один — очень недолго, — пока я рубил гордиев узел. Как только совершился

обмен, Виктор удачно женился. Его подруга во всем стала ему верной помощницей; и четверть века они прекрасно жили. Никогда ему не было бы так хорошо с Ирой — останься она с ним. Слишком много оставалось невысказанных взаимных упреков.

Лёдик пострадал глубже: он потерял свое первое место возле мамы. Хотя она по-прежнему его горячо любила. И я никогда не мешал ей сознательно...

Можно ли было избежать этих невольных обид? До какой-то степени — да. Но в конечном счете — нет. Не только земное счастье — и счастье небесное, благодать, святость кого-то обижают. Начиная с Каина, обидевшегося на то, что Бог принял жертву Авеля. Софроний пишет, что подвижники на Афоне после двадцати-тридцати лет аскезы испытывают муки Каина, когда благодать приходит к соседу. Павла Александровича Флоренского мучило, что благодать приходит к неправославным; Сальери не мог вынести гения Моцарта... Я не говорю об убийстве. Убийство — это редкость и крайность, переход через черту, преступление. Я говорю о том, что остается в скобках человеческого: о страдании, когда в наше пространство вторгается другой. Я был Другим, вторгшимся в пространство вокруг Зины, я отнял это пространство у нескольких человек. Зина была Другим, вторгшимся в пространство вокруг меня. Потом образовалось общее пространство, Зинины подруги полюбили меня, моя мама полюбила Зину... Но это было всё впереди и не для всех. А пока все страдали. Возможность преображения в будущем, а боль — сегодня. Каин сегодня страдает. Может быть, если бы он не поддался первому порыву, то завтра радовался бы за Авеля, и Сальери ликовал бы, слушая музыку Моцарта. И афонские старцы, испытав преображение, исповедались бы перед Си-луаном, что несколько лет отдали Сатане. Но всё это требует преображения, благодати, а мир так устроен, что благодать не может прийти сразу ко всем. И потому даже благодать доставляет страдание.

Невозможно сделать шаг, чтобы кому-то не стало больно. Единственное, на что я способен, — это помнить о чужой боли и не идти на смертельную боль, не убивать душу. Я не мог бы подымать алые паруса, если бы Виктор глубоко любил Иру и страдал от любви, а не от трудностей развода. И даже через это мне было мучительно переступать, каждый шаг причинял мне самому боль, и я делал его, стиснув зубы. Всего не предвидишь и не считаешь, но собственное страдание от страдания другого заложено в нас Богом; и эта пружина не дает нам стать демонами (беда, если вера в святость и справедливость Идеи парализует жалость).

*Страдает раненый олень,  
А лань здоровая смеется.  
Для спящих ночь, для стражи день,  
И так на свете все ведется.*

*Шекспир. «Как вам это понравится»*

Счастье сплетено со страданием и только в какие-то дни, часы, минуты бывает совершенным. Иногда это совершенство дается даром — белой ночью над Каргопольягом. Иногда за счастье надо бороться. Иногда приходится жертвовать счастьем. Случаи отречения разработаны в любой этике. Но они не порочат идею счастья, умения быть счастливым и приносить счастье. Зина несколько раз рассказывала мне о потрясающем впечатлении, которое она испытала, лет сорок тому назад, увидев, что ее подруга Лима счастлива просто так, ничего не имея; счастлива, потому что солнце светит, потому что деревья летом зеленые, а зимой белый снег. Она этому выучилась, а потом уже я учился у нее. Так же можно выучиться счастью любви. Сколько людей находит это счастье — и через месяц, через год его теряют. Отчего же не сказать, как я жил и не терял?

Старость, болезнь, смерть идут за нами следом. Но пока мы живы, воля к счастью может восстанавливать его — из пепла, из горя, из страдания, из смерти. И не в какое-то особое время, а в наше; и не на планете Смешного человека, а здесь — я был счастлив. И счастлив — сегодня. Хотя каждый день сталкиваюсь со страданием и страхом, и каждый день готов к смерти. И этот вечный поединок — не помеха счастью.

Мне хочется положить эти странички на чашу весов против стихов Блока, «что счастье и не нужно было, что сей несбыточной мечты и на полжизни не хватило...». Я не стыжусь, что мне этой реальности хватило на всю жизнь. Я не стыжусь, что в нашем общем углу она расправилась, и к ней, как к солнцу, потянулись со всех сторон за счастьем (см. «Сны», ч.5, «В сторону Иры»). Что потом такой круг сложился вокруг Зининых стихов и Зининой елки. Я рад, что мне было кому служить, перед кем поставить себя на второе место.

Я вспоминаю путь к этому счастью: он сам был счастьем. Несмотря на боль — счастьем. Я не смотрю на прошлое с ужасом и содроганием; скорее со смесью радости и грусти. Радости, что дал расцвести хоть одному цветку; и грусти, что не смог обойтись без ошибок и грехов.

Сам Бог не сумел сотворить мир так, чтобы в нем не было страдания. Закончив день, он говорил: тов (хорошо!). Но звери и птицы пожирали друг друга, а люди убивали бездомных собак. И в каждой земле, как некогда в земле Уц, — сидит на своем гноище Иов...

Люди спрашивали Бога, зачем это? И Бог ответил: Я страдаю вместе с вами. Я не мог иначе сотворить мир. И Мое ликование творца смешано с болью. И Мои муки на кресте — путь к воскресению. И вы должны быть подобны Мне и пробиваться через однообразие дней и обвалы бед, сквозь муки и смерть и творить счастье. Вашими руками творю его Я. И снова, как в первые дни, говорю: тов — хорошо! Йом тов! — хороший день, праздник!

*Апрель! Апрель мой!.. Утро года,  
тот самый ранний нежный час,  
когда уже не спит природа, а  
только приоткрыла глаз.*



*И всё «когда-нибудь», «когда-то» —  
еще нигде, еще в груди.  
Еще всецелость непочата, — всё  
впереди! Всё впереди!*

*Так вот о чем звенят пичуги и  
пахнут клейкие листки во всех  
концах, по всей округе, наперекор и  
вопреки*

*всей тяжести, всей боли нашей.  
Приказ очнуться ото сна!  
О, переполненная чаша  
души — священная весна!*

*Доверенное сердцу знание.  
О чем? О том, чем лес запах.  
Прорыв из глубы. Прорастанье...  
На этих вот земных руках —*

*новорожденный мир. И надо не  
уронить, перенести всю  
тяжелеющую радость, всю  
тяжесть света во плоти.*

*А те, которые не с нами?  
Весна, замолкни... Там в груди есть  
камень... Подымите камень!  
Всё впереди! Всё впереди!*

З.М.

К несчастью, большинство людей не в состоянии принять жизнь до этой последней глубины. Когда юноша Блок сблизился с первой своей Прекрасной Дамой, Ксенией Михайловной Садовской, взрыв чувственности смысл романтическое чувство. И защищая себя от нового духовного потрясения, от новой боли, он спрятался за мечту — и создал теорию, что иначе и не может быть, что любовь земная и любовь небесная вечно оторваны друг от друга и земного причастия небу не может быть...

Женившись на Любви Дмитриевне, Блок отказался быть ее мужем. Она пишет, что он «сейчас же принялся теоретизировать о том, что нам и не надо физической близости, что это “астартизм”, “темное” и Бог знает еще что. Когда я ему говорила о том, что я-то люблю весь этот, еще неведомый мне мир, что я хочу его — опять теории: такие отношения не могут быть длительными, все равно он неизбежно уйдет от меня к другим. А я? “И ты так же”. Это меня приводило в отчаяние! Отвергнута, не будучи еще женой, на корню убита основная вера всякой полюбившей впервые

девушки в незабываемость, единственность. Я рыдала в эти вечера с таким бурным отчаянием, как уже не могла рыдать, когда всё в самом деле произошло «как по писаному». Молодость все же бросала иногда друг к другу живших рядом. В один из таких вечеров, неожиданные для Саши и со “злым умыслом” моим произошло то, что должно было произойти, — это уже осенью 1904 года. С тех пор установились редкие, краткие, по-мужски эгоистические встречи. Неведение мое было прежнее, загадка не разгадана, и бороться я не умела, считая свою пассивность неизбежной. К весне 1906 года и это немногое прекратилось»<sup>48</sup>.

Выходило, что теория подтверждалась практикой. И только много позже, на четвертом десятке, Блок пишет Дельмас: «Из бури музыки — тишина, — нет, не тишина; старинная женственность, — да, и она, но за ней еще, какая-то глубина верности, лежащая в Вас; опять не знаю, то ли слово: «верность»? — Земля, природа, чистота, жизнь, правдивое лицо жизни, какое-то мне незнакомое; все это, все-таки, не определяет. Возможность счастья, что ли? Словом, что-то забытое людьми, и не мной одним, но всеми христианами, которые превыше всего ставят крестную муку; такое что-то простое, чего нельзя объяснить и разложить. Вот Ваша сила — в этой простоте»<sup>49</sup>.

В распятии Христа раскрылась великая тайна Бога: то, что Он страдает в каждой твари; и потому страдание должно быть принято не от Бога, не против Бога, а вместе с Богом. Но Бог — не только распятие. Он страдает вместе с Христом, ликует вместе с Кришной, уходит от мира в тишину созерцания, как Будда. Живой Христос знал это, Он умел приносить людям праздник; а в памяти о Нем страдание, крестные муки, распятие слишком выдвинулись на первое место. Атмосфера христианской культуры располагает всякую неудачу, всякое банкротство растягивать в бесконечность, в вечные антиномии Космоса. Тут и теория Блока, и теория Толстого в «Крейцеровой сонате»...

Очень многие христиане поняли Евангелие как религию радости. Основной поток православного предания шел по другому пути. Церковь широко раскрывает свои двери потерпевшим кораблекрушение, она утешает мать, похоронившую своих детей, и калеку, никогда не знавшего любви. После смерти Иры только случай помешал мне войти в эти двери (тогда это еще не было модой). Но очень редко церковные люди учат, как уподобиться Отцу нашему небесному и творить счастье. Эти записки — для тех, кто хочет не только утешения в несчастье, кто готов до смертной черты бороться за счастье, быть ангелом счастья. Для тех, кому я пишу, условного, отделенного от всей полноты жизни Божьего мира, замкнутого в церковные стены, — мало. Мало исторического христианства, оставившего мир лежать во зле. Я думаю, что Бог либо выйдет из церкви и разольется — с нашей помощью — по всему миру, или в обезбоженной

---

48 Блок Л.Д. И быль, и небылицы о Блоке и о себе. — Цит. по книге: Долгополов Л. Александр Блок. Л., 1980. С. 55.

49 Там же, с. 175.

природе не останется места и для людей.

В каждом из нас заложена воля сделать кого-то счастливым. Начувшись прежде самому, как быть счастливым. Счастье не сводится к талантливому браку. В нем бесконечно много возможностей. Но без нашей воли, без нашего упорства, без нашего мужества и готовности пройти через страдание и смерть невозможно никакое счастье; с природой, с книгой или с любимой. Без нас радость на Земле не воскреснет. И зрелая душа знает это и ликует, не отворачиваясь от тьмы, и Вий опускает перед ней свои глаза:

*Я счастлива сквозь боль, я счастлива сквозь муку.  
В прорывах ада рай, в прорывах бездны — свет.  
И к вечной жизни путь — сквозь вечную разлуку.  
Тот, кто прошел сквозь смерть, тот свел ее на нет.*

*Тот, кто прошел сквозь смерть... Ну а нельзя иначе?  
А как-нибудь в обход, полегче, стороной?  
Не сквозь, а мимо — так, чтоб эти волны плача  
Не в сердце у меня, а рядышком со мной ?*

*Пусть духу моему судьба предел очертит,  
От сих, мол, и до сих, как тварям суждено...  
Да разве можно жить, соседствуя со смертью,  
Когда ни жив, ни мертв? — нет, что-нибудь одно.*

*Единый океан, в котором нету края,  
Единый небосвод, в котором нету дна.  
Когда приходит смерть, я с каждым умираю.  
Когда ликует дух — вся смерть побеждена.  
О Господи, прости за малодушие наше,  
За этот вечный страх у роковой черты...  
Да, все еще звучит моление о чаше...  
Но не как я хочу, а так, как хочешь Ты.*

З.М.

## С ГОТОВНОСТЬЮ НА ПОРАЖЕНИЕ

Я проснулся, и в голове зашевелились стихи Марины Цветаевой:

*Жить так, как пишу: образцово и сжато,  
Как Бог повелел и друзья не велят.*

Про друзей случайно вытянулось. Потянула за собой первая строка: «Жить так, как пишу». Этой ночью я долго не спал, и среди всякой дребедени мелькнуло: один из выходных дней лет десять тому назад; мы сидим втроем у костра; кипит котелок с чаем. И вдруг Леня Н. спрашивает меня: «Почему Ваши эссе такие легкие, летящие, а в жизни Вы срываетесь и ворчите?». Я действительно разворчался. Леня, дойдя до кострища (которое мы каждый выходной заново расчищали от снега), первым делом уселся выкурить сигарету. А я уже устал — один свалил засохшую осину — и торопился разжечь костер...

Гипертония сильно испортила мне характер. Я сдерживаюсь профессионально: на работе, в аудитории. А на домашних и близких не раз срывался. И вышел разрыв между текстами, в которых длится внутренний покой и легкость, и мной самим.

Я не могу сказать, что часы у письменного стола так же нужны мне, как лес. Нет, несколько дней я могу ничего не писать и превосходно себя чувствовать. Надо только, чтобы во мне что-нибудь шевелилось. Как у героини повести Трумэна Капотэ, которая чувствовала себя хорошо только тогда, когда у нее под сердцем что-то шевелилось (и нарожала пятнадцать человек детей). Пусть шевелится что-то и будет чувство, что я могу писать. Тогда можно и не писать, но через несколько дней бумага начинает тянуть к себе. Вернуться к оставленной странице стало для меня средством вернуться к себе самому.

Интонация моих первых эссе родилась в жизни и из жизни перешла на бумагу (наброски «Предмета», «Счастье», «Памяти Иры»). Это довольно короткие записи внутреннего состояния, вроде того, что мелькало на работе и тут же заносилось на библиографические карточки; а потом я почти никогда не рылся в своих карточках, и сейчас они валяются невесть где. Только очень редко клал карточку в бумажник, доставал и перечитывал. Одна такая вспышка мысли уцелела — в памяти Зины. Случайно, ожидая непрошенных гостей, я затащил к ней (мы были еще на Вы) портфель со своими записями; она прочла и запомнила — про Бога как дырку на плоскости, вдруг открывающую выход в пространство. Большая часть вспышек и не стоила запоминания; достаточно было еще раз пережить при записи. Не всякая мысль стоит того, чтобы показывать ее людям и даже возвращаться к ней самому.

Постоянное внутреннее напряжение, требующее слова, пришло ко мне поздно, на старости лет. И эссе — один из способов продолжать часы у костра или у моря, а потом восстанавливать в себе внутреннюю жизнь, когда она гложет. От этого откровенность, иногда почти неприличная и временами подвергавшаяся домашней и дружеской цензуре. Я писал, растолковывал что-то читателю, убеждал его — и вдруг забывал и разговаривал с самим собой. О том, что читателю, может быть, вовсе и не нужно знать... Но без этого разговора с собой ничего не получится. Мой текст — всегда признание, исповедь. И вот всё переплетается. Я сижу у моря, чтобы прислушаться к морю. Но именно из полноты созерцания приходят лучшие строки. И вертятся в голове, пока их не запишешь. А начнешь писать — и просыпается всякое: потребность в сухой логической последовательности, бесы полемики... Текст кружит, петляет, втягивает в крошечные страсти, — а потом вдруг уводит от всего внешнего, в какой-то внутренний огонь, где многие уже написанные страницы сгорают — и ничего не остается, как вычеркнуть их и оставить то, что выдерживает огонь и хранит на себе его след и втягивает в огонь, когда я перечитываю; и это втягивание в огонь — моя «самая выгодная выгода», а там хоть трава не расти, и я вычеркиваю, вычеркиваю...

Я люблю вычеркивать. Это более тонкая работа: вычеркивать или заменять отдельные слова, фразы. Первоначальное сколачивание текста почти всегда трудно; а если идет легко, то плохо, легкомысленно — и потом мучаешься, не зная, что делать с безобразным комом в 10—15 залпом написанных страниц. Легко записать несколько пришедших в голову мыслей. Легко набросать план. Это не работа — скорее игра. Я люблю играть, составляя концепции, планы. Так, наверное, Достоевский любил обдумывать свои создания и не любил писать, я его вполне понимаю. Сколачивать вещь из набросков и планов трудно, неприятно, постоянно чувствуешь, что «унижаешь идею», портишь замысел, что выходит приблизительно, грубо, не то. Дотягиваешь первые десятки страниц иногда совсем без радости, одной волей (как одной волей я сколачивал леса вокруг жизни с Ирой). Надеешься, что текст будет, жизнь будет, но пока — одни леса, одни безобразные углы, торчащие во все стороны. И вот, на другой день, морщась, начинаешь подгонять камень к камню, слово к слову, убираешь нескладицу. Заменяешь повторы оттенками, и всё меняется. С каждым синонимом появляется новый поворот мысли. Текст перестает быть нагромождением логических прямых. Возникает именно то, что я называю текстом, что-то живое, дышащее; что-то подобное «тропкам лесов и потокам», и когда я читаю написанное, оно живет, это мой собеседник. Я скучаю по нему. Я тороплюсь к нему на свидание.

Прислушиваясь к неожиданным ходам слова, постепенно отбрасываешь леса, освобождаешься от первоначальной схемы — и от первоначальных импульсов. Стихают обиды. Логика отступает перед ритмом, и на первый план прорывается целостная внутренняя жизнь.

Тексты мои большею частью рождались на пересечении внутренней

жизни, полемического импульса и игры ума, создающего теории, концепции, модели; иногда господствует что-нибудь одно. Но чаще всё вперемежку. Хотя это не всегда заметно. Например, в «Квадрильоне» не только гнев и сарказм. Строится модель общества, оказавшаяся довольно сходной с бердяевской, в его «Духах русской революции», где-то незаметно присутствует и бесстрастное созерцание. Я помню, как отделял текст, в Пицунде, в роще реликтовых сосен, положив свои бумаги на большой пенек. Написано было сгоряча, под свежим впечатлением. Но я не выпустил текст из рук, пока не просмотрел его заново, полный тишиной, и не вычеркнул всё лишнее, лишняя фраза — как ложный шаг. Не поймешь, пока не сделаешь, а потом стыдно.

В жизни я могу взорваться и наговорить лишнего. И сгоряча написать. Но эссе растет медленно. Я его перечитываю, перечитываю... И постепенно все сильнее говорит во мне чувство целого, которое остается тихим и бесстрастным и во время самого острого приступа обиды, горечи, гнева.

Раджнеш пересказывает притчу Чжуанцзы о мастере, который воспитывал бойцовых петухов. Птицу, полную огня, он не выпускал из клетки. Она слишком рвалась в драку, слишком полна была самомнения. Десять дней спустя петух стал спокойнее; но мастер не был еще доволен: «он вспыхивает, когда слышит клич другой птицы». Прошло еще 20 дней. «Еще нет, — сказал мастер, — у него все еще гневный взгляд, и он топорщит свои перья». Наконец, воспитание закончилось: «теперь он почти готов. Когда кликнет другой петух, он и глазом не моргнет, он стоит неподвижно, как деревянный. Он готовый боец...».

Боюсь, что последняя ступень бывает только в притчах, но я всегда стремился к ней и постепенно освобождался от петушиной ярости, редактирование текста занимало иногда до двух лет — трудных лет. И все-таки я добился своего. Я писал и вычеркивал, писал и вычеркивал — пока не достиг тона, которого могу не стыдиться.

Во всякой полемике есть что-то петушиное. Владимир Соловьев называл журнальные драки играми Марса. Это действительно игра, то веселая (если противник смешон), то трагическая, когда петухи дерутся насмерть и стараются ударить в самое сердце...

Осенью 1964 года сослуживец, Игорь Александрович Энгельгардт, подsunул мне статью Лифшица «Почему я не модернист». Читать было неохота, но Игорь Александрович упорствовал. В конце концов, я прочел. И тут же, в Белом зале (где библиографы расписывают журналы), часа за три, настроил то, что потом было опубликовано в «Литературной газете». Лифшиц пришел в ярость, посвятил мне 80% своего ответа, и хочешь — не хочешь, пришлось и меня напечатать. Под заголовком, придуманным в последнюю минуту: «Кто же совратил Калибана?» (А кто такой этот Калибан? Замред Сырокомский не знал — и не вычеркнул. Но и читатели не знали).

Перепалка наделала шума. Откликнулась «Фигаро литерер». Был и отечественный отклик: цензор, размахивая «Литературной газетой» (где я назван пособником фашизма), заставил вырезать из «Народов Азии и

Африки» мою статью по теории субэкумен. Я огрызнулся на Лифшица постскриптумом и еще одной прибавкой — про пять сортов интеллигенции. Этот текст прочел Солженицын, не понял (или забыл) и впоследствии приписал мне саркастическое определение интеллигенции четвертого сорта (одну из полемических стрел против Лифшица) как авторскую идейную платформу. Таким косвенным и неожиданным образом перепалка, сама по себе не очень значительная, вошла в историю. Впрочем, для истории есть еще одна зацепка. Володя Гершун (сидевший со мной на Лубянке и с Солженицыным в лагере) показал мне машинопись, где я высмеивал концепцию народа, которому не нужен модернизм, с пометками великого писателя на полях. Пометки были недовольные, Александр Исаевич тоже любил слово «народ».

Пока Лифшиц сочинял свой разгромный ответ («Осторожно, человечество!»), «Правда» тиснула заметку Жукова и еще каких-то академиков «В интересах истины» (которая требует восстановить имя Сталина в истории). Я вспыхнул, а тут еще подлил масла проект некоего Скурлатова сурово воспитывать молодежь и, в частности, — возродить древний русский обычай мазать ворота легкомысленных девушек дегтем. Обе реабилитации — Сталина и дегтя — сплелись в моем сознании, и недели через три я выступил в Институте философии с «Нравственным обликом исторической личности». Страсти тогда разгорелись не только у меня. Спускаясь с пятого этажа, я на каждой площадке встречал людей, ждавших, чтобы пожать мне руку. Всех увлекла возможность сказать с трибуны то, о чем говорилось только в туалете, с папиросой в руке. Однако в этом была и слабость речи, когда она стала текстом. «Фигаро литерер» определила меня тогда совершенно верно: «Глашатай советских либералов», мой была только форма речи, ее слог. Я превратил себя в рупор общего мнения, и общее мнение меня поддержало. А потом мнение изменилось, и текст устарел. Хотя в самое первое время он нравился даже Солженицыну. Года два спустя, на первом, эпистолярном этапе нашей полемики, Александр Исаевич вспоминал, что прочел речь «с приятностью».

*Когда б я знал, что так бывает,  
Когда пускался на дебют,  
Что строки с кровью убивают —  
Нахлынут горлом и убыют...*

Как легко я полемизировал с Лифшицем! Какое общее сочувствие вызвал «Нравственный облик»! И как мучительно дался мне спор с Солженицыным!

Я раскрыл роман «В круге первом» с совершенным доверием. Незадолго до этого читал «Раковый корпус». Вторая часть там крепче первой, особенно захватил конец. Я плакал над обезьяной, которой злой человек насыпал в глаза табак. Злой человек! Не кулак, не вредитель, не империалист! Просто злой человек...

И вдруг я почувствовал себя как тогда, когда у меня украли орден и артиллерийский капитан объяснил, что так и надо. Опять меня выпихивали — уже не из советской России, а из России будущего. Я интеллигент, и народ не со мной. Я еврей, и на мне несмываемая вина. А как же злой человек, бросивший в глаза обезьяны табак? Просто злой человек — не классовый враг, не вредитель, не империалист? В «Раковом корпусе» разрушались все категории, оставались только люди, добрые и злые, люди перед лицом смерти. А в «Круге первом» опять категории, и не такие уже новые, примерно те, которые пошли в ход с конца тридцатых годов; когда классовых врагов больше не стало, ликвидировали, — и понадобились новые жертвы, и ненависть времен Вильгельма и Николая, после зигзага в сторону войны гражданской, вернулась на свою блевотину, к национальной розни. Кто же все-таки бросил табак в глаза обезьяне? Не кулак, не империалист — но, может быть, еврей? Безродный космополит? Беспочвенный интеллигент?

Я мог наплевать на артиллерийского капитана из госпиталя легко раненых. Я вынес его за скобки (мало ли дураков), но автора «Ракового корпуса» я не мог никуда вынести; он был уже принят внутрь. Это больнее всего — когда неожиданный удар наносит близкий человек, от которого не оторваться, не уйти. Я готов был кричать караул. Меня ощипывали живьем, с меня срывали перья, в которых я гулял по будущему — после того, как ветер истории развеет нынешнее. Мне опять тыкали: гадкий утенок! Гадкий утенок! Нет тебе места не только на сегодняшнем птичьем дворе, но и на завтрашнем.

Страница за страницей передо мной раскрывался характер Солженицына. Текст всегда выдает автора. Вот сцена, в которой он смотрит на мир глазами интеллигентной заключенной, моющей лестницу для прокурора. Здесь он сам интеллигент. А вот — глазами провинциала — смотрит на столичную образованщину (*слова* «образованщина» еще не было, но отношение — уже было). Вот создается миф о народе; а вот этот миф ставится под вопрос. Видимо, уступка друзьям; еще не было совершенной уверенности в себе, бросались в глаза отступления, переделки. Но сквозь все уступки просвечивала авторская воля (потом она развернулась в «Глыбах»). Мелькало недоброжелательное отношение к евреям; и сразу же подчеркивалась объективность автора, его претензия исследовать национальные страсти с высоты Божьего престола. Я передаю свои впечатления 18-летней давности<sup>50</sup>, но они довольно свежи во мне.

Особенно врезались в сознание две сцены, одна — какое-то тяжелое школьное воспоминание. Я чувствовал старую рану, нагноившуюся, воспаленную; застарелый комплекс, заставивший писателя заслонить что-то слишком мучительное натянутой выдумкой. К этой сцене я еще вернусь: она вызывала во мне двойственное чувство, одновременно и боли за мальчика, когда-то глубоко страдавшего, и отвращения от фальши. Зато конец подействовал совершенно однозначно; я с досадой отшвырнул

---

<sup>50</sup> Написано в 1985 г.



книгу. Нержин дарит томик Есенина дворнику Спиридону. Почему? Допустим, друзья Нержина, Сологдин и Рубин, Есенина не любят (т.е., скорее всего, не очень любят; не так, как хотелось страстному поклоннику). Но в шарашке оставались другие интеллигенты, отчего не оставить книгу им всем? Кого-то бы это непременно порадовало. Зачем дарить стихи дворнику, на самокрутки? В реалистической ткани романа торчит политический плакат: я с народом, значит, я прав. Мы с народом любим Есенина. А те, кто недостаточно любит Есенина, кто предпочитает Блока, Мандельштама, Пастернака, Ахматову — столичные снобы.

Потом снова и снова стал возвращаться к школьной сцене. Что же там на самом деле было? От чего такой мучительный след? Это произошло между 12-летними школьниками. Т.е. в 1930 году. А сейчас 1967-й... И до сих пор не забыть! И класть на весы справедливости против другой чашки, на которую легла травля космополитов, расстрел еврейских писателей, истребление еврейских книг и пластинок, дело врачей-убийц, фактическое восстановление процентной нормы и прочее, и прочее, и прочее — с 1943 года по сей день...

Ройтману не спится. Один за другим печатаются антисемитские фельетоны. Но совесть обличает: он сам травил русских. Когда-то, в южном городе, где евреи составляли чуть ли не большинство, они травили Олега Рождественского, травили, потому что Олег стоял за свободу слова: говорить, мол, все можно. Его спросили: значит, и такой-то (забыл имя плохого мальчика) мог назвать такого-то жидом? Олег настаивал: говорить все можно. И вот за это только его две недели терзали на собраниях, грозили исключить из школы... Невольно встает вопрос: а что же сделали с тем, плохим мальчиком? Если хорошего Олега, никого не обидевшего, две недели травят... Но Ройтман плохого мальчика не вспоминает. В структуре романа релевантен (как говорят структуралисты) только мальчик, хороший до голубизны, плакат-но идеальный Олег Рождественский (в самом имени — и народность, и православие, и даже намек на самодержавие). Почему этот маленький христианин защищает право оскорблять товарищей (это кажется, не по Евангелию)? Не знаю. Но Олег рисуется каким-то голубым ангелом. Примерно как убиенный царевич Димитрий на картине Глазунова. Солженицыну нужна абсолютно невинная жертва, и притом жертва евреев. Каким образом 12-летние дети могли грозить товарищу исключением из школы? Не их это дело, а директора. Но, видимо, директор не был евреем, и поэтому Ройтман его не вспоминает. И потом, откуда взялось чуть ли не большинство класса? Все они (еврейские мальчики) были дети врачей, адвокатов, а порою и лавочников, но рьяно

выступали как идеологи пролетарского интернационализма... Очень может быть, но все-таки где это было? В бывшей черте оседлости? Там масса евреев — бедный ремесленный люд: сапожные подмастерья, портные, возчики, столяры... Их в романе нет. А если еврейская община состоит главным образом из врачей и адвокатов, то дети их составляют явное меньшинство и травить местных пацанов не могут. Даже если бы очень хотели. Так же как я, даже если бы очень хотел, не мог травить огольцов из Бутиковского переулка. Травили они меня. В одном километре от Кремля, в самые ленинские, интернациональные 20-е годы. И никакой управы на них не было.

На всякий случай напоминаю читателю, что разница в возрасте между мной и Александром Исаевичем — 9 месяцев. Т.е. никакая. Мы жили и учились в одно и то же время. А если была разница между Москвой и Ростовом, то вряд ли советская интернациональная власть была в Москве менее эффективной, а ростовские пацаны — меньше склонны травить тех, кто послабее. Ростов — вора́м отец, и против детей адвокатов стоял не Олег Рождественский, а пацаны, которым палец в рот не клади...

В эти годы антисемитизм среди взрослых подавлялся с усердием, превосходящим разум. Я знаю случай, когда заведующая балетной школой была уволена (и школа развалилась) из-за невинной шутки про еврейковатый суп; хотя ничего обидного для евреев в этой шутке нет. Но все это было со взрослыми. А дети — совсем другое дело. Помню это своими вихрами. И могу подтвердить опытом кубанско-москальских отношений, случайно открывшимся мне в 1953 году.

В 1953 году я начал работать учителем в станице Шкуринской (бывшего кубанского казачьего войска), и вот оказалось, что некоторые школьники 8-го класса не говорят по-русски. Мне отвечали по учебнику наизусть. Кубанцы — потомки запорожцев, их родной язык — украинский, но за 7 лет можно было чему-то выучиться... Я решил обойти родителей наиболее косноязычных учеников и посоветовать им следить за чтением детей. Начал случайно с девочки, у которой была русская фамилия. Допустим, Горкина. Мать ответила мне на нелитературном, с какими-то областными чертами, но русском языке. С явным удовольствием ответила, с улыбкой. «Так вы русская?» — «Да, мы из-под Воронежа. Нас переселили в 1933 году вместо вымерших с голоду». — «Отчего же не выучили дочку своему родному языку?» — «Что вы, ей проходу не было! Били смертным боем!»

Оказалось, что мальчишки лет пяти, дошкольники, своими крошечными кулачками заставили детей переселенцев балакать по-местному; в школе это продолжалось. За каждое русское слово на перемене — по зубам, по-русски только на уроке, учителю. Запрет снимался с 8-го класса. Ученики старших классов — отрезанный ломоть, они собирались в город, учиться, и им надо говорить на языке города; действительно, к 10-му классу мои казачата уже сносно разговаривали. Вся эта автономистская языковая политика стойко продержалась с 33-го (когда была отменена украинизация) до 53-го и продолжалась при мне, т.е. до 1956-го. Дальше не

знаю.

Я не думаю, что сопротивление было сознательно организовано взрослыми. Организацию выбили бы в 36-39 гг. или в 1944-м, во время ликвидации неблагонадежных, сотрудничавших с немцами. Нет, никакой организации не было. Было казачье самосознание, которое дети чувствовали, — и детская самодеятельность. Дети сохранили господство украинского языка в кубанских станицах; дети же сохранили традиции травли евреев — там, где были евреи (в станице единственным евреем был я), еврейские мальчики могли только обороняться. У них руки никогда бы не дошли до Олега Рождественского. Я чувствовал, что сцена фальшива, и доказывал это своим знакомым.

Примерно через полгода история разъяснилась. В «Круге первом» Александр Исаевич назвал две фамилии мальчиков, заводил травли: Люксембург и Штительман. Обе фамилии оказались подлинными, не измененными. Куда подевался Штительман, не знаю. Может быть, погиб на войне. Но Люксембург отделался штрафным батальоном (за пощечину старшему офицеру, сказавшему что-то про жидов) — и уцелел. Я его сам пару раз видел. И вот моя знакомая решила поставить эксперимент: дала Люксембургу в руки роман «В круге первом», но без разрешения выносить из дому, и следила за выражением его лица. Когда дело дошло до воспоминаний Ройтмана, Люксембург вскочил и сказал, что будь все это во Франции, он подал бы в суд и выиграл процесс о диффамации. Потому что фамилии его и Штительмана настоящие, а сцена выдумана. На самом деле, по его рассказу, всё было иначе. Впрочем, подробности этой стычки между мальчишками — их собственное дело. Меня при этом не было. Не понимаю только одного: как можно было больше 30 лет лелеять месть Люксембургу и вставить подлинные фамилии в вымышленную сцену.

Когда я написал письмо Александру Исаевичу, я всего этого еще не знал. Я просто почувствовал комплексы детских обид. У меня самого была куча комплексов, от которых я освободился. И я пытался убедить Солженицына проанализировать свои комплексы и не продолжать старые распри... Тут надо бы цитировать, но — увы! Я не успел даже перечитать черновики своих писем и ответное письмо Александра Исаевича. Эти бумаги застряли у друга нашей семьи, Лимы Ефимовой, — никак она не могла вспомнить, куда запихнула. Кончилось тем, что пришли бдительные товарищи, помогли всё найти и унесли два мешка моих и Зининых сочинений с собой. И осталось ото всей переписки только несколько строк в протоколе обыска от 15 мая 1985 года; в том числе — одна строка с кусочком текста: «нашего общего дела» (так письмо кончалось).

Я ждал, что Александр Исаевич почувствует, с какой болью я пишу, мы непременно встретимся и от полемики перейдем к дружескому разговору. Читатель для меня — младший партнер. Я прислушиваюсь к его замечаниям, и много мест, вызывавших протест, были переделаны или вычеркнуты, я даже не представляю себе работы без такого сотрудничества; но у Александра Исаевича было другое самосознание, ответ оказался резким, почти исключая возможность дальнейшего

разговора. Про комплексы — ни слова. Видимо, эти комплексы было больно трогать и прикосновение к ним не допускалось. От национального вопроса отмашка: одни пишут, что в «Раковом корпусе» неверно изображены узбеки, а вы про евреев — некогда мне с вами разбираться! Я все-таки решил продолжать переписку, извинился за одну или две неточности в первом письме, не упоминал больше про комплексы и пытался убедить хотя бы только в одном: будем искать примирения наших позиций во имя «нашего общего дела» (кажется, общим делом кончалось именно второе письмо).

Но общего дела не было. Мы были несовместимы по складу ума, по складу характера. У меня очень сильна воля к свободе. Сотрудничество для меня означало диалог, право оставаться при своем мнении, сознание вечно открытого вопроса, допускающего разные ответы; Александру Исаевичу такое условие было неприемлемо. Я не уверен, что он понял, почему, — но он покорился очень сильному импульсу. В нем жил дух, подобный духу пророка Мохаммеда; мир для него резко делился на дар-уль-ислам (царство истины) и дар-уль-харб (царство войны с неверными). А я никогда не преклонялся перед авторитетом однозначной истины. Охотно признаю духовное превосходство (Антония Блума, Томаса Мертона, Джидду Кришнамурти и многих других), но каждое их высказывание непременно должен проверить на оселке внутреннего чувства. Иногда я соглашаюсь, даже если это резко противоречит моему прежнему опыту, так, я натолкнулся у Мертона, в его заметках, на ироническую оценку одного очень дорогого для меня ощущения и сразу понял, что он прав, что он смотрит с более высокого уровня, и я испытал только отблеск истинной глубины. А с другими суждениями (Блума, Кришнамурти) я не соглашался. Что же касается Солженицына, то чувствую в нем превосходство энергии, страсти, огня — но не того пламени без дыма, о котором толкуют упанишады... Я не видел и не вижу его духовного превосходства. Есть глубокое, выстраданное желание правды, добра, простой человеческой доброты... А рядом с порывом к добру и святости — неограниченное самолюбие, неспособность ни на какую роль, кроме первой, и жажда власти.

Желание быть безусловно, однозначно, непререкаемо правым настолько сильно, что заставляет Солженицына идти на риск скандала. Он отмахнулся от всех (не только моих) замечаний, что ночные воспоминания Ройтмана фальшивы. Исправления не были сделаны; во всяком случае, они не были сделаны своевременно. Разговоры о том, что было на самом деле, дошли до КГБ и были использованы в зарубежной полемике. Александр Исаевич ответил брошюрой «Сквозь чад». По новой версии, отношения с товарищами-евреями были у него превосходными. А лоб он разбил себе не в драке. Просто упал в обморок. Зачем же было мстить Люксембургу и Штительману, введя их фамилии в роман?

Отослав Солженицыну свое второе письмо, я почти сразу стал писать «Человека воздуха». Было слишком ясно, что ответа может не быть (и действительно его не было). А во мне уже шевелилась новая концепция

(спор с Солженицыным все время вызывал во мне новые концепции)...

Собственно, полемика началась еще в первом письме. Я утверждал, что читают нас и слушают нас только интеллигенты и ни на кого другого мы не можем рассчитывать, патриархального народа больше нет. Неинтеллигентные слои ближе к Шарикову (из рассказа Булгакова «Собачье сердце»), чем к Шарику. Шарик сам по себе хорош, но выходцы из народа, поднявшись вверх, хуже потомственных мандаринов, подпанок всегда хуже пана. Александр Исаевич ответил: «Шариков — это д.п.» (т.е. диктатура пролетариата. Опасные слова были заменены первыми буквами). В этом был резон, но где взять народ, который не прошел через д.п.?

В 1954-56 гг. мне пришлось снимать комнату у одной казачки, писавшей свою фамилию Заец (других слов она кажется вовсе не писала). Это была обыкновенная деревенская женщина. А ее младшая сестра казалась королевой в ссылке. Откуда у нее взялось это благородство манер, это тихое достоинство в каждом движении? Образование? Два класса. Религия? Ни разу не видел, чтобы она молилась. Врожденное благородство — такое же чудо, как происхождение жизни, происхождение человека, возникновение монотеизма и т.п. Неожиданный Божий подарок. Унаследовать аристократические манеры не от кого было. Худая, немного выцветшая (ходила в чистых застиранных платьях и не подмазывала губ), Денисенко казалась старше своих 39 лет. Мужа, фамилию которого она продолжала носить, забрали в 37-м; он пропал без вести. По нескольким ее сдержанным словам я понял, как она его любила и берегла память о своем коротком счастье. В станице ее уважали. В 1955 году неожиданно овдовел казак с пятью детьми, и прямо с поминок посватался: стать матерью его сиротам. Она согласилась, именно как с нравственной задачей, и дети ее приняли. Последнего я сам уже не видел, рассказывали с умилением учительнице.

Такие женщины не переведутся никогда. Но почему только в деревне? Без праведников не стоит и город. Благодать Божья не справляется ни с 6-м пунктом (социальное происхождение), ни с 5-м. И в Москве, в Ленинграде, среди интеллигентов, прекрасные души скорее могут выжить, чем в деревне. Где Матрена одна, а ее соседей — сотня, и эта черная сотня Матрену губит. Но Солженицыну нужен был миф о крестьянке, и он этот миф создал. А мне такой миф не нужен, мне он прямо мешает. Я дома в столице и чужой в деревне. И в еврейской общине Черновиц, куда занесло мамин театр, мне тоже было не совсем ловко. Меня захватили и покорили вершины русской культуры — т.е. русская попытка европейского синтеза, — а не фольклорные корни; Достоевский, а не мужик Марей. И рядом с Достоевским для меня становится Сент-Экзюпери и Сэлинджер, Кьеркегор и Бубер и проч. И я склонен подчеркивать, что великая русская культура складывалась на открытом перекрестке Востока и Запада, втягивая в себя варягов и татар, немцев и евреев — вплоть до абхазца Фазиля Искандера.

Я встречал и любил хороших мужиков (см. гл. 6); но никакой особенной тяги к мужику никогда не испытывал, и мне казалось, что упор на этнические корни культуры — просто политический трюк и средство

раскола интеллигенции, в дополнение к дискриминации по 5-му пункту. Прошло много времени, прежде чем я понял зигзаги незападной страны, попавшей в поле западной культуры, чередование периодов открытости и закрытости, космополитизма и народничества. И понял я это сперва по американским работам о модернизации Японии, а потом уже перенес на Россию.

Но независимо от понимания или непонимания трюков истории, мне непосредственно трудно было с крестьянами (или казаками) и сравнительно легко с интеллигентами; правда, это легкость условная, скорее общность языка, чем души. Но хоть язык общий! Не приходится доказывать, — как в станице, — что слово «интеллигент» — не ругательство и не совпадает по значению со словами «белоручка», «барчук» и т.п. Я ладил со своими старшеклассниками (двое долго писали мне письма); но надо было учить их еще десяток лет, чтобы кто-нибудь стал моим настоящим собеседником. А в столицах и больших городах я всегда находил людей, участвовавших в моих поисках. Это были единицы, но они всегда были.

Мыслителю нужны участники диалога. Т.е. интеллигенты. А пророку нужен народ. В одной из сцен, опубликованных «Вестником РХД», Николай II смотрит на толпу крестьян и пытается угадать, что они чувствуют. Он не собирается их расспрашивать, беседовать с депутатами. Только угадать и выразить требование безгласной народной души. Я почувствовал за Николаем Александра Исаевича. Ему нужен был миф о народе, в котором таится некоторая вечная духовная сила, потерянная интеллигенцией. И миф о России, ждущей своего вождя. Потому что он чувствовал себя вождем, обладателем харизмы, единственным носителем Божьей правды.

А у меня постепенно складывался другой миф. Миф — молчание. Которое каждый, кто чувствует его, толкует по-своему. Каждый, но и в образованной среде — не только в необразованной, не только в полубразованной — высокие души редки. А искушения, сквозь которые надо пройти, часты. В деревне больше грубости, в столице — пошлости. Пошлость, притворство, кривлянье — накладные расходы просвещения. Матрена знает только народные песни и честно отвергает Обухову, а интеллигенты стараются понять Баха; и не всегда это у них выходит. Есть знание духовных вершин, и надо тянуться к ним, а дотянуться трудно. Больше возможностей глубины и больше фальши, таков вообще путь истории.

Для моей внутренней жизни нужны те немногие, которые дышать не могут без каждодневного поворота в глубину, в высоту. Одна пара глаз, раскрывающихся на глубокое, важнее тысячной толпы. Такие глаза меня самого раскрывают. Но в 60-е годы я считал своим долгом участвовать в массовых сдвигах, и вот я создал миф об интеллигенции, способной обновить общество, поставив в центр свою творческую жизнь, и от этой жизни все может и должно преобразиться...

У меня нашлись бы шансы на успех, если бы советские ученые,

инженеры, учителя были (если б да кабы) духовно цельными, свободными, нравственно стойкими, критически мыслящими личностями; да еще, пожалуй, способными безо всякой церкви чувствовать Бога и следовать Его воле — вплоть до чуда, вплоть до воскресения смердящего спившегося Лазаря. Но чувствовать свободу как любовь и ответственность умеют очень немногие. Непосредственно передо мной и перед Солженицыным были запутавшиеся люди, мучительно не способные выстоять перед открытым вопросом. Я не давал простого нового решения. Солженицын давал. Его образы народа, России были цельными и незапятнанно сияющими (никакие факты не могли их запятнать).

Александр Исаевич чем-то напоминает Льва Толстого. Он поворачивался всем корпусом, каждый раз не допуская никаких колебаний. А я все время вертел шеей, все время видел внутренние противоречия. Мой образ интеллигенции раскалывался на интеллигента и специалиста, интеллигента и интеллектуала, интеллигента-западника и интеллигента-почвенника; наконец, меня захватило буберовское деление мыслителей на проблематичных (чувствующих неразрешимое в себе самих: Августин, Паскаль) и непроблематичных (Фома Аквинский, Гегель), мысль которых была направлена на то, чтобы всё решать. Сейчас мне ближе Августин и Паскаль; но я прошел через Гегеля и Маркса и понимал обаяние системы. Подавляющее большинство охотно обменяет свое первородство независимой личности на ясную классификацию. И я, какой есть, каким стал, всегда окажусь в меньшинстве.

В конце семидесятых мне представился случай три раза выступить перед аудиторией, собиравшейся в клубе МИИТ. Человек 250-300, в основном — техническая интеллигенция. Сперва прочел «Направление Достоевского и Толстого» (самое раннее и духовно несложное из моих литературных исследований). По вопросам почувствовал, что публика не привыкла думать о литературе и судить о ней всерьез не способна; зато живой интерес вызвали историко-социологические экскурсы. Следующие два доклада были посвящены теории субэкумен (или — говоря языком Шпенглера — культурных кругов) и теории модернизации (постепенного втягивания незападных миров в мировую западную цивилизацию); это слушали с напряженным вниманием; вопросы длились часа по два, т.е. пока я мог выдержать. Захватили социологические модели, которые я несколько перестроил на свой лад, но сохранял самый дух науки. Я имел успех как специалист, как интеллектуал. Однако пришлось отказаться от намерения читать «Эвклидовский и неэвклидовский разум у Достоевского» и другие подобные тексты. Я вспомнил, как Валентин Федорович Турчин — один из умнейших московских ученых — дружески мягким тоном сказал мне, что «Эвклидовский разум» — работа реакционная и антинаучная; примерно таким же был отклик структуралистского семинара, на котором я рассказывал о трех ступенях мифа (миф-идол, миф-икона и миф-молчание); двум или трем слушателям понравилось, все остальные были вежливо недовольны и в коридоре ворчали, что это — почвенный романтизм. Я даже не довел конспекта

доклада до литературного текста; некому было адресовать его.

Миф-молчание не нужен ни почвенникам, ни западникам. Первые восстанавливают миф-икону (и хорошо, если икону, а не идол). Вторым кажется, что миф вообще не нужен, достаточно научного разума. Т.е. эвклидовского разума, как назвал его Достоевский, без всякого образа целого, без тоски по нему. Сердцевина моей мысли, ищущей целого мимо всех идолов, просто никому не нужна. Только кучке людей, социально не значимой (величина, которой можно пренебречь), не народу, не интеллигенции, а гадким утятам.

Была еще другая плоскость спора (в которой я тоже не мог рассчитывать на выигрыш). Она выросла из отмашки в ответе Александра Исаевича: некогда ему разбираться с узбеками и евреями. Я почувствовал здесь не только грубость, но и неточность. Стал думать: в чем же здесь неточность? И понял: узбеки попались под руку случайно, а евреи совсем не случайно. Они Александра Исаевича очень интересуют. И потому интересуют, что вмешиваются в решающие повороты истории, мировой и русской (именно поэтому, как справедливо отметил Александр Исаевич, в Тайбее — никто не думает о Тайване и все думают о евреях). Потому что евреи — народ особого типа... Так пришла ко мне тема диаспоры и ее отношений с землей. Я стал подбирать случаи диаспоры и отмечать общие черты в средневековой диаспоре армян, несториан; в китайской и тамильской диаспоре XX века в ЮгоВосточной Азии, индийской — в Восточной Африке, ливанской — в Западной Африке... А.В. Эйснер рассказал мне о русской диаспоре; попалась, наконец, на глаза статья Н. Трубецкого, убитого гитлеровцами в Австрии. Он еще в 30-е года заметил, что русская диаспора за двадцать лет приобрела типичные «еврейские», т.е. общие всей диаспоре, черты; но евреи — старейший народ диаспоры, веками лишенный национального ядра, поэтому вопрос о диаспоре — это вопрос о евреях и вместе с тем не только о евреях, без узко национального привкуса, который был мне неприятен. Александр Исаевич Солженицын разбудил во мне еврея (это целую четверть века не удавалось отечественной истории; я считал ее дурой и отворачивался от глупостей); но, получив толчок, я тут же почувствовал, что неспособен быть только евреем. Во всех отношениях — и в национальном тоже — я не такой, как надо. Здесь мне плохо, там тоже будет плохо. Здесь я нахожу возможность жить хорошо и там найду. Ни Израиль, ни Запад не казались мне обетованной землей, где навстречу откроются все сердца. Я не говорю о языке: думать не по-русски мне никогда не научиться, и стихия русского языка составляет поле моей мысли. Но даже если бы удалось преодолеть языковой барьер, все равно — моя подлинная аудитория и дружеская среда (эти понятия для меня связаны; настоящие слушатели быстро становятся друзьями) — все они только кучка гадких утят. И так будет всюду и всегда. Я почувствовал глубоко своими слова апологета II в.: для христианина всякое отечество чужбина и всякая чужбина отечество. И это я назвал принципом диаспоры. Вынеся за скобки остальные черты исторической диаспоры, ранней церкви и т.п.



Обе идеи (интеллигенции и диаспоры) все время перекликались. Кто-то мне рассказал, что Солженицын резюмировал мою мысль так: «для Померанца интеллигенты — это евреи». Думаю, что сказал искренно, без хитрости. Ему кажется само собою разумеющимся, что *подлинная* мысль резка и категорична, а если она не прямо выражена, то это риторический прием, но для меня перекличка идей и внезапное тождество различий — не прием, а суть дела. Этнический чужак иногда похож на чужака социально-культурного: лишнего человека, беспочвенного интеллигента. Я цитировал Марину Цветаеву: «в сем христианнейшем из миров поэты — жида»<sup>51</sup>. Я тыкал пальцем на случаи, когда обе породы чужаков трактуются одинаково и охотнорядцы примерно одинаково бьют жидов и студентов. Но я не идиот и не считаю Г.П. Федотова евреем, а Л.М. Кагановича — интеллигентом. Сплошь и рядом я выгляжу в глазах Александра Исаевича именно таким идиотом, и многие передержки в его полемике со мной — не только от увлечения спором, но и от элементарного непонимания моего склада ума.

Так или иначе, я глубоко обязан Александру Исаевичу, что он своим невежливым письмом вызвал во мне интерес к диаспоре. Я задумался: какова роль диаспоры в мировой истории? И можно ли мировую историю представить себе без участия диаспоры? Могло ли без еврейских общин, разбросанных по Средиземноморью, сложиться и распространиться христианство? И какая среда — кроме диаспоры — могла подхватить и вынести первую искру монотеизма? Эту тему я разовью в особой главе, а здесь только еще раз подчеркиваю, что она выросла из недолгой нашей переписки.

Не очень большое, но важное место в «Человеке воздуха» занимала еще одна тема, литературная. Мне захотелось проследить границы таланта Солженицына в изображении женщины и любви. Его героини поэтичны, пока мужчина смотрит на них издали, не решаясь прикоснуться (Агния в «Круге», Вега в «Раковом корпусе»). И снова могут стать поэтичными в старости (Матрена). Но близость убога, как в «Крейцеровой сонате» Льва Толстого. Только для Толстого это невыносимая мука и прямо катастрофа, а Солженицын оправдывает бездарность в любви народной поговоркой: женятся для щей, замуж выходят для мяса. По мне, лучше смятение Толстого перед семейной жизнью Позднышевых, чем эта народность. И если народность действительно такова, то и на что мне она? Не так уж хороша почва, на которой нет почвы для любви. Лучше оставаться перекати-полем...

За этой темой сквозила другая: может ли человек, не справившийся с

---

<sup>51</sup> Я мог бы процитировать и других: «Казалось, он и они разных наций» («Преступление и наказание», эпилог); «Люди, взаимно друг друга не понимающие в самом основном» (Блок, «Народ и интеллигенция»). Попытка опроститься, воцерковиться сравнимы с попыткой чужака ассимилироваться. Результат (с народной точки зрения) один: конь леченый, вор прощенный, жид крещеный — одна им цена.

трудностью любви к живой женщине, действительно любить фигуры собирательные, лишённые собственной воли и собственного, не подвластного нашему воображению, лица? Не становится ли любовь к народу и России любовью к собственной мечте (и к себе, мечтательно)? Подобно любви к человечеству, над которой горько смеялся Достоевский? Я не подсказываю ответа на все эти вопросы. Я не знаю его. Но вопросы во мне шевелились.

Однако шел 1968-й год. Чешские писатели страстно обсуждали страстно написанное письмо Солженицына. В Польше начались студенческие волнения, и власти натравили на университет рабочих. «Правда» напечатала статью Гомулки, обвинившего в беспорядках евреев. Пан Гомункулус принципиально отрицал право еврея, оставаясь гражданином Польши, симпатизировать Израилю (а не арабам, с которыми дружил лагерь мира и демократии). Косвенным образом была задета и национальная интеллигенция, завалившая посольство Израиля цветами в июне 1967 года; эта польская фронда против польского правительства и его великого союзника была определена как подрыв национальных интересов. Антиинтеллигентская и антисемитская демагогия на несколько лет парализовали оппозицию. А в Чехии всё кипело — и каждый день выбрасывал новые тысячи строк, потрясавших слушателей западных радиостанций. Среди этих страстей мне все меньше хотелось спорить с Солженицыным. Казалось, что жизнь сама его научит. И я сократил третью тему в «Человеке без прилагательного», а в «Человеке ниоткуда» вовсе выбросил ее. Наконец, в Послесловии я цитировал Лену Огородникову (что Коляма ее волнует больше, чем Освенцим)<sup>52</sup> и протягивал руку патриотам, которые именно так понимают любовь к России. Я снова предлагал им мир и союз. Мне казалось, что острота спора с Солженицыным совершенно снята. Его молчание я принял как знак согласия.

Однако я не заметил одного своего промаха, сохранившегося и в последней редакции эссе (я менял названия, чтобы отличить первую редакцию от второй и третьей: Человек воздуха, Человек без прилагательного, Человек ниоткуда). Мне казалось нелепым народничество и почвенничество без народа и почвы. В России XIX века всё понятно. Западничество и почвенничество — два альтернативных ответа на европеизацию; или, как сейчас говорят, — вестернизацию. Доведенные до предела, оба нелепы. Но умеренное западничество плодотворно в политике и экономике, а почвенничество — в культуре (нечто аналогичное — хотя и не совсем это — я пытался доказать в 1938-39 году, противопоставляя Достоевского и Толстого Чернышевскому и Щедрину; за что мне и вlepили по первое число — см. гл.3). Но сегодня? Я ничего не понимал. Почвы больше не было. Возвращаться некуда.

До конца 60-х годов я смотрел на новое почвенничество как на выдумку, спекуляцию, удачно найденную форму полунезависимости,

---

<sup>52</sup> О Лене — в статье «За поворотом».

полурептильности и дозволенной фронды в рамках черной полосы официального спектра. Т.е. рациональна (на свой лад) позиция Глазунова, Палиевского, Кожина, Солоухина. А у Солженицына это какой-то личный выверт, который непременно должен пройти или хоть смягчиться. Я не понимал, что отрезанная нога может болеть. Т.е. боль — в мозгу, но она ощущается, как боль в отрезанной ноге.

У меня самого нет такой боли. Я как-то наладил отношения с глубиной жизни, мимо фольклорной и церковной традиции. Эти отношения всегда зыбки, текучи. Их каждый день надо восстанавливать заново, но постоянное напряжение открытого вопроса меня не утомляет, не пугает, не становится невыносимым. Наоборот, оно влечет меня к себе. Я только умом понимаю людей, которым нужно что-то другое. Я слишком медленно, поздно понял, что страдание от безбрежья и беспочвенности может быть невыносимым, и массовая боль требует своего врача, способного ее заговорить; а значит, миф Солженицына — не только его личная причуда.

Бывают иллюзии, обладающие силой вещей, их корень — тоска. В эссе «Тоска по Армении» Грант Матевосян говорит автору (Ю. Карачиевскому), что Армении больше нет, ее неповторимость стерта, но есть тоска по Армении. России фольклорной, устойчивой, незыблемой тоже нет, но есть тоска по России. Так тоскует по Австрии Ингеборг Бахман. После ее рассказа «Синхронно» я сам несколько часов чувствовал себя почвенником, именно потому, что никакого мифа у Бахман нет, только обнаженная тоска. Миф-идол вызвал бы у меня скептицизм, а тоска заразила, но это индивидуально. Большинству чистой тоски мало (нечем ответить на ее вызов). Нужны иконы и даже идолы, прикрывающие дыру в сердце. В этой обстановке личность Солженицына, его потребность заслонять невыносимые факты легендой (о травле Олега Рождественского, о единстве душ между Нержиным и Спиридоном) стала основой его исторического величия. Сама иррациональность целей, которые Александр Исаевич ставит, — часть этого величия. Новый Иерусалим на Северо-Востоке — такой же фантом, как необитаемый остров Бориса Хазанова, на котором соберется тысяча интеллигентов и будет там (без России) продолжать русскую культуру. Но история — царство майи, и она не может обойтись без фантомов. Зря я пытался пристыдить Александра Исаевича, указывая ему на соседство с Глазуновым и прочими. Подлинный миф не теряет подлинности рядом с корыстной халтурой.

Эта моя ошибка нашла зеркальное отражение в «Образованщине». Указание на дурное соседство Солженицын понял как полемический прием и повторил его против меня: даже Померанц, принадлежащий к совершенно другому слою образованщины, по сути оправдывает продажность и подлость. Ответ по принципу «сам дурак». Но повод к этой полемической фигуре дал я сам. Мое непонимание пафоса почвенного мифотворчества подлило масла в огонь; и огонь этот горит в ряде новых заявлений Александра Исаевича: что либералы и диссиденты только отвлекают от важнейших проблем народной жизни, а настоящие борцы за

народ — Огурцов и Осипов; или что все решилось в феврале 17-го, и накануне февраля один Марков второй, в героическом одиночестве, выступал против блока революционеров, либералов и еврейских газет. И т.д. и т.п.

В начале 70-х мне казалось, что с этой полемикой покончено. Пытаясь сориентироваться, я прощупывал несколько новых путей и спорил с самим собой: ужасался противоречиям русской истории в первых частях «Снов» — а в опытах о Достоевском восхищался ими, как пружиной русской культуры. И одновременно писал социологические и культурологические исследования, стараясь взглянуть на Россию глазами ученого, как на западную страну рядом с другими западными странами, и вынести некоторые неизбежные, всюду повторяющиеся черты за рамки эмоциональных оценок.

Зацепки, вызвавшие спор с Солженицыным, все больше уходили назад. Мне казалось, что комплексы, которые выступили в «Круге», распухли в подполье, в непризнанном одиночестве гения, и всё это само по себе смягчится, когда гений вышел на подмошки истории. Я прочел с восхищением «Архипелаг», Т.1. На каждой странице чувствовалось великое дыхание, боль десятков миллионов, вместившаяся в одну грудь, в одно сердце, — и титаническая ярость стилила захватывала, покоряла. Я знал и раньше многие факты, но меня потрясал стиль и неотделимая от стиля личность рассказчика, в особенности его исповедь, его сила в покаянии, в обличении собственных грехов. Глава «Голубые погоны» навсегда останется для меня одним из самых сильных читательских впечатлений.

В этом состоянии духа я стал читать машинопись с собственноручной подписью Солженицына, принесенную мне, кажется, Агурским. Называлось это «Образованщина». И вдруг строки встали поперек горла, опять выступило то, что меня в Солженицыне отталкивает. Великая страсть, с которой писался «Архипелаг», вытеснила из сознания мелкие помыслы. А когда огромное дело было исполнено, в опустевшем духовном пространстве снова зашевелилось всякое и захотелось с достигнутой высоты свести кое-какие счеты. И тут бесам было где разгуляться.

Я потом изучил их проказы на себе. В аду непременно есть особый отдел, соблазняющий полемистов, и каторга для энтузиастов полемики. Мне придется отбыть там срок и Александру Исаевичу тоже. Особенно ядовита некая двойная мысль спора. Когда приходит в голову очень удачный, хлесткий выпад, то страшно проверить: а может быть, я бью по фразе, которую сам же деформировал? Может быть, у противника не совсем так? По крайней мере, если не вырывать слов из контекста? Очень трудно преодолеть это искушение и внимательно проследить, как выглядит слово у самого автора. Но если я был недостаточно беспристрастен, то перечитывали друзья — и указывали мне на лишние полемические красоты. Солженицын, по-видимому, и сам не делал этой неприятной работы, и друзья не смели с ним спорить. Он полемизировал, упиваясь собственной яростью, и все больше входил в состояние, близкое к неменяемости (это особенно видно в статье «Наши плюралисты»), когда

текст противника уже теряет смысл, теряет отпечаток авторского лица. И становится безвольной массой, из которой лепятся мишени для полемических стрел. К тому же, в 1974 году Солженицын вполне сознавал себя бессмертным гением; и педантический вопрос: как слово противника выглядит в его собственном тексте? Что оно *там* значит? — не смущал его. Важно, какой коллаж выходит из чужих слов в *его* прозе, как это чужое, незначительное, потонувшее в Лете слово становится кирпичиком в его конструкции, принадлежащей вечности.

Это все я мог понять, непонятно было другое. Я знаю, конечно, что есть люди, способные отомстить через 10, через 20 лет. Об этом писали романтики, и я их читал, но внутренне я этого не понимаю. Я не способен был бы сейчас написать «Цену отречения» или «Акафист пошлости». Или «Квадрильон» — после падения Хрущева. Если можно отложить ответ на 5, на 10 и даже на 35 лет, зачем вообще горячиться? Довлеет дневи злоба... В рот набилась пыль, и я ее сплюнул. Сплюнул впечатление от встреч Никиты Сергеевича с писателями и художниками, от объятий о. Дмитрия Дудко с ГБ, от его журнала самооправданий. И потом снова смотрел на дерево и был счастлив. И в покое отделал и смягчил то, что в гневе легло на бумагу. Иное дело — Александр Исаевич. Это человек великого гнева, и гнев — его постоянная стихия. Святой гнев — в «Архипелаге». Но может ли гнев долго оставаться святым?

Есть замечательная статья протоиерея Князева о пророках. Оказывается, древние израильтяне никак не могли выработать критерия — как отличить истинного пророка от ложного. И Князев, перебрав тексты, оставляет вопрос открытым. Я думаю, что само пророческое вдохновение не допускает простого ответа. Святой гнев против отступников, обличение зла, обличение неправды... Это прекрасно; но гнев — смертный грех, и безопасно пробывать в этом состоянии нельзя. Каждый раз, когда мы гневаемся, мы грешим. Это одно из неразрешимых нравственных противоречий. Нельзя не гневаться на мерзость — и нельзя гневаться. Каждый выходит из этого, как умеет, с большим или меньшим ущербом для своей бессмертной души. Кажется, Исайя ближе других к равновесию между энергией борьбы и внутренней тишиной, но если истинный пророк Исайя, то кто такой Эзра? С его яростной проповедью религиозного обособления?

Кто такой Мохаммед? В Мекке — да, в Мекке он истинный пророк. А в Медине? Став коварным властителем? Истребляя союзные роды, на плечах которых он пришел к власти, за то, что кое-кто там иногда посмеивался над его малограмотностью?

Что-то подобное есть и в Солженицыне. Его величие и его отталкивающие черты коренятся в одном и том же: в гневе. Создавая «Архипелаг», Александр Исаевич привык к гневу и полюбил себя в гневе; и всякий гнев стал казаться ему святым. Любая стрела, задевшая пророка, кажется направленной прямо в Аллаха — или, если говорить без метафор, — в народ и в Россию. Автору неудобно слишком выходить из себя и надо соблюдать правила спора. Но если оскорблен народ, Россия... Тогда

происходит не дуэль с оскорбителем, а нечто вроде колесования и четвертования государственного изменника.

Споря с Солженицыным, я никогда не хотел его уничтожить. Я прямо чувствую необходимость в нем. Особенно в те два десятилетия, когда был изъят и еще не воскрес роман Гроссмана «Жизнь и судьба». Солженицын один был тогда целым направлением.

Но Солженицын-полюемист... Каждая его строка пахнет костром. Нет истины кроме истины и он пророк ее! Сама идея о возможности корректного спора — безнравственный и преступный плюрализм. Нужно не ограничение идеи (развитой противником слишком прямолинейно), а совершенное истребление оппозиции; противника надо ошельмовать, заклеить, высмеять...

Как было отвечать на это? И стоило ли вообще обличать автора «Архипелага»? Не поступиться ли своей обидой ради его великой исторической миссии? Не окажусь ли я, начав полемику, на совете нечестивых? Но было что-то внеличное, толкавшее на спор. Сама энергия стиля Солженицына будила во мне ответный порыв. Можно не отвечать Доре Штурман<sup>53</sup>, нельзя не отвечать Солженицыну. Каждое его слово принадлежит истории. Было бы трусостью, боязнью чужого мнения отказаться от ответа историческому величию. Тут невозможен выигрыш, но есть свое достоинство, и оно влечет меня. Я вспоминал слова Паскаля: человек слаб, как тростник; любой порыв ветра может его сломить; но этот тростник мыслит, и даже если вся вселенная обрушится на него, она не сможет этого отнять.

Оставались какие-то сомнения, но их перечеркнуло солженицынское «Раскаяние»; статья возмутила больше, чем «Образованщина». И не только меня. Значит, не в обиде дело (я не был там лично задет); полемика с Солженицыным стала внутренним требованием моей жизни.

Первый опыт ответа оказался неудачей. Слишком еще много было личной обиды. Я пытался разобрать каждую передержку и восстановить то, что действительно было сказано. В иных случаях приходилось цитировать страницы по две; пока не прочтешь всего — слово неясно, и точечное мышление, «секущее» отдельные фразы, постоянно меня искажает, даже без преднамеренной (и злонамеренной) полемической установки. Передержек много, и опровержение заняло не то 80, не то 100 страниц. И весь этот труд впустую. Друзья в один голос сказали, что вышло скучно. Читаешь — и голова начинает болеть.

Пришлось примириться с тем, что полемические искажения не удастся опровергнуть. Можно разработать типологию полемических приемов Солженицына, наподобие «искусства спорить» Шопенгауэра<sup>54</sup>, с примерами из «Образованщины». Но спокойно разбирать, как меня выворачивают наизнанку, было еще не по силам. И «Сон о справедливом

---

<sup>53</sup> Бранившей меня в своей книге.

<sup>54</sup> Я прочел работу Шопенгауэра в брошюре с заглавием: «Искусство спорить и острить». Каково авторское название — не знаю.

возмездии» начинается с заявления, что я не созрел для этой задачи и откладываю ее на будущее (к сожалению, Синявский, сокращая текст, выкинул это — и еще кое-что важное).

Остыв, я понял, что ничего другого просто не остается. Не имеет смысла доказывать, что ты не верблюд; буду вести себя как неверблюд, т.е. как человек, которого занимает сама истина, а не то, что люди о нем подумают. Несколько месяцев я не видел неба над головой — только получал и возвращал удары. Потом всё это кончилось. Я нашел главное: правильный тон ответа. Тон спокойного диалога, спокойного разбора вопросов, которые Солженицын поставил. Не обращая внимания на грубости. Пусть он говорит мне, как Бранцио: «Мерзавец!». Я отвечаю, как Яго: «А вы, синьор, — сенатор». И без всякого коварства отвечаю: стиль полемики мне важнее, чем ее предмет (эта мысль уже начала во мне набухать). Я не доказывал, что Солженицын выхватывает обрывки мыслей, из которых можно слепить что угодно, а цитировал его, как следует; так, как я хотел, чтобы цитировали меня самого. Пусть читатель сам сравнит.

В конце концов, текст стал таким, что я решил показать его соседу, страстному поклоннику Солженицына и внуку нижегородского помещика, очевидца подвигов латышских стрелков в 1918 году. Покойный Эрик Руденко отметил несколько мест, показавшихся ему несправедливыми и оскорбительными. В частности, Эрик не допускал слова «передержка». Что бы ни делал Солженицын, великий человек, в глазах своих поклонников, не передергивал. Совершенно как Мохаммед в глазах мусульман. Было большим искусом для нас обоих вытерпеть точку зрения другого. Но кое-как удалось справиться с этим и не поссориться. В конце концов, я почти со всеми требованиями согласился и еще раз отредактировал рукопись.

То, что получилось, кажется мне теперь несколько растянутым; сегодня я бы сократил историко-социологические заметки и аналогии со странами Востока. Но если вообще оправдан состязательный процесс, оправдана и моя попытка взглянуть на злодеев, которых испепеляет пророк, глазами адвоката. А образ Солженицына, на последних страницах, — серьезная попытка понять великий характер. Подробный разбор конфликта Сани со Штительманом и другими я снял, чтобы не вступать в спор о фактах, которые знаю из вторых рук. Но образ обиженного мальчика все время стоял у меня перед глазами. Он раненый мальчик, и я раненый мальчик, почему мы должны столкнуться? Почему мы не могли понять друг друга? Я ведь пытался. Я ведь писал ему...

Но писал слишком горячо, в начинавшемся полемическом захвате. Я хотел взаимного понимания — а мой тон мог оскорбить. Так считала Зина, и, наверное, она была права (проверить по тексту сможет исследователь XXI века, перед которым раскроются архивы КГБ)<sup>55</sup>.

Зина тогда попыталась уравновесить недостатки моего письма и написала сама. И прежде всего — о заслугах Солженицына (заслугам было посвящено очень много места); только после подробного анализа

---

55 Мне потом официально ответили, что эти тексты сожжены.

духовного величия известных нам текстов были высказаны критические замечания — в самом мягком, кротком тоне. Что же вышло? Солженицын признал все свои заслуги, а критических замечаний просто не заметил, и закончил моралью: как можно договориться в обществе, где даже из одной семьи приходят такие разные письма?

Мы с Зиной написали снова и подчеркнули, что никакого разноречия между нами нет. Нас обоих огорчило одно и то же. Тогда Солженицын не ответил ни мне, ни Зине (хотя только что писал ей, что она раскрыла ему его самого, религиозную основу его писательской деятельности). Если вы солидарны с врагом народа, то вы сами враг народа.

Старость освобождает от многих страстей, наступают годы Амаркорда — годы мягких воспоминаний о юношеских муках. И только воля к власти гложет своих рабов до гробовой доски.

Но зачем я продолжаю спорить с этой волей? Ведь, кажется, все уже сказано... Да нет, характер Солженицына полон неожиданностей, внезапных взлетов и падений, и Бог знает, что еще в нем осталось непонятым. А вопросы, которые он ставит, много раз подталкивали мою мысль. Я убежден, что свободный спор об истине важнее всех предполагаемых побед добра, ради которых сегодня надо подчиниться партийной дисциплине или другому деспотизму (который всегда вводится временно, ради великой и святой цели, но почему-то никогда не кончается). Я сегодня хочу быть свободным и сегодня говорю то, что думаю; и сегодня ишу форму этого спора, стиль этого спора. Средства не должны противоречить цели; иначе цель никогда не будет достигнута. Мое средство достичь истины и моя цель в царстве истины одна и та же: диалог с противником, который сам жаждет истины, но (как и я, может быть) уклоняется от истины под влиянием страстей. С противником, которого я способен любить, — даже если он меня ненавидит и проклинает.

Это не так легко далось, пришлось выдержать еще одно испытание: «Вестник» № 125 со статьей Вадима Борисова.

Началось все очень корректно. В 1974 году зашел ко мне Мелиб (Маркс, Энгельс, Либкнехт) Агурский (исполнявший роль Меркурия) и спросил: разрешаю ли я опубликовать часть I «Снов»? Потому что Шафаревич хочет с ней полемизировать, а спорить с неопубликованным текстом неудобно. Я ответил, что пожалуйста, публикуйте и полемизируйте<sup>56</sup>... Однако другая воля, более сильная, чем воля Шафаревича, решила иначе, и года через три или четыре появилась серия статей, в которой все западники упрекались в невежестве, в элементарном незнании русской истории и культуры; и в том числе там была статья Вадима Борисова, критиковавшего мой текст, по-прежнему неопубликованный. Помимо невежества, Борисов нашел у меня (с помощью ловко повернутого обрывка фразы) гитлеровскую расовую теорию; именно, что я будто бы считаю

---

<sup>56</sup> Был еще такой разговор, я спросил, почему только первую? Агурский — со слов Шафаревича — ответил: «Там уже всё сказано». Моим оппонентам совершенно ясно, что я мыслю так же категорично, как они сами.



русских низшей расой.

Я вполне понимаю, что «Сны» могли не понравиться. Первые две части не понравились Бахтину (я показал ему их вместе с «Эвклидовским разумом». Он очень сочувственно откликнулся на «Эвклидовский разум», а о «Снах» не хотел говорить). Я думаю, Михаила Михайловича, жившего в глубокой внутренней тишине, отталкивал самый дух полемики; то, что можно назвать полемикой с современным великодержавным сознанием, опрокинутой в прошлое. В этом был известный перекося, и он мог вызвать резкие возражения; по крайней мере, таков был первый вариант текста (1969-1970). Но Борисов держал в руках вторую редакцию «Снов» (части I-ГУ). Молчание Бахтина без спора дало мне почувствовать, что не очень мудро полемизировать с историей, и в части III (сильно развитая личность) проводится новая мысль: историю надо принять, вынести и просветлить, осветить по-новому неизгладимые старые шрамы. А в части IУ-й автор вообще отступает назад и дает слово Пушкину, Толстому, Достоевскому, поэзии Серебряного века, Даниилу Андрееву... Каким образом всё это можно было свести к расовой теории?

Правда, первые две части не были в корне переделаны; они сами по себе принадлежали истории, пахли временем, в которое были написаны. Я не хотел стирать этот запах, отклик на события 1968 года, непосредственное впечатление от ангелов Дионисия в алтаре Успенского собора — и мысль об Иване Грозном, пронесшующая тогда в уме... Всё, что можно, было смягчено, но ядро текста — живое существо, оно не всё позволяет с собой сделать. Меня упрекали, что разрыв между ангелами Дионисия и духом опричнины слишком резок, теряется единство культуры — и я соглашался с этим. Во всяком подходе есть своя односторонность. И все же — при чем тут расовая теория?

Недоразумения всегда возможны. Но мы жили с Борисовым в одном городе, мы были (правда, шапочно) знакомы. Как было не зайти, не спросить — правильно ли вы поняли машинопись, против которой собираетесь выступить в печати (т.е. действовать очевидно неравным оружием)?

Споры, потрясавшие интеллигенцию 70-х годов, начинались еще в лагере. Но тогда они шли внутри семьи, внутри братства. А теперь — подножки, удары ниже пояса. Это было не только лично невыносимо. Еще невыносимее, что рухнуло братство, что пошла партийная грызня, как между эсерами и эсдеками. Во всем чувствовалась партийная дисциплина и партийная этика. Которая допускала борьбу всеми дозволенными и недозволенными средствами; ибо всё оправдывает святая цель.

Я был болен полемикой несколько месяцев. Отвечать Борисову? Не имело смысла. Статья его в «Глыбах» была мягче других, и если теперь он усвоил общий стиль, то надо разбирать стиль в целом, стиль Солженицына и его школы. Я так и сделал — и написал открытое письмо в «Вестник РХД». Струве побрезговал лично ответить, почему он моего письма не публикует, а в передовой статейке объявил, что критику, вдохновенную завистью к величию Солженицына, журнал печатать не будет. Любопытно,

что после «Стиля полемики», который напечатать все же пришлось, — в статье «Не стыдно ли» — Никита Алексеевич недоумевает: о какой это критике, отвергнутой им, я пишу? Видимо, в самом деле забыл. Нетрудно забыть то, что не хочется.

Залп статей в № 125 был последним ударом, болезненно меня задевшем. «Наших плюралистов» я прочел глазами ученого. Там были хорошие примеры солженицынского стиля полемики и философские тезисы, прямо ложившиеся в мою почти законченную статью «Проблема Воланда» (о модели детерминизма и индетерминизма в истории). На оскорбления по адресу покойного друга и почти что умиравшей (сейчас уже покойной) Р.Б. Лерт я ответил, — но ответил без напряжения. У меня, наконец, выработался иммунитет.

Реджинальд Орас Блайс, критикуя дзэнский текст XVII века, как-то заметил: дзэн не про то, как выигрывать, а что все равно — выиграть или проиграть. Я это прочел и запомнил. А в 1971 г., после первого тура полемики, сам написал, что «добро не воюет и не побеждает». Но прошло лет 10, прежде чем я эту свою же мысль до конца прожил. Я утвердился в незащищенности (другая мысль, которую я сразу приметил и очень медленно, всей жизнью постиг). Я понял, что Кришна-мурти имел в виду, когда говорил о незащищенности. Я понял «залетную птицу»<sup>57</sup> Тагора: «зло не может себе позволить роскошь быть побежденным; добро может».

Укорененность в тишине, найденную к началу 80-х, не могла больше поколебать полемика. В «Страстной односторонности и бесстрастии духа» я взглянул на современные распри так, словно они шли тысячу лет тому назад, и поставил враждебные книги на одну полку.

Солженицын — один из самых замечательных примеров страстной односторонности; именно резкость его мысли, «неразвитая напряженность» принципов (как назвал бы это Гегель) делает его незаменимым застрельщиком спора (я согласен здесь со шведской журналисткой Дисой Хостед). И потому молю Бога о здоровье моего противника. В общем хозяйстве культуры и нетерпимые, резкие, как нож, формулировки имеют свое достоинство.

Комментарий — один из основных путей духа. Я осознал это в начале 70-х, разбирая причины упадка буддизма в средневековой Индии. Найти новый принцип чрезвычайно трудно — и опасно. Новый, революционный принцип может оказаться разрушительным. Поэтому надежнее комментировать тексты, выдержавшие испытание времени. Но комментарий вовсе не означает отказа от собственной мысли. Шанкара мыслит не менее смело, чем Нагарджуна. Он только берет точкой отсчета правоверные памятники, а толкует их так, как велит ему собственный дух... Практическим выводом из моих размышлений было то, что я опять стал комментировать Достоевского. И постепенно вышла целая книга, «Открытость бездне» (М., 1990), может быть, самая моя изо всех, которые я написал.

---

57 Стихи из сборника «Залетные птицы».

Полемика с Солженицыным — еще один такой комментарий. Собственно полемическое давно уступило место желанию понять. Я не борюсь с Солженицыным; на том поприще, которое стало для него главным, у меня нет никаких амбиций. Идеи, способные овладевать массами и стать материальной силой, — не мои идеи. Я смотрю на них со стороны и пытаюсь понять ходы истории, которая всегда — при любой раскладке сил, — будет против меня и таких, как я. Мне хочется передать гадким утятам свой опыт — как выносить историю, — а не командовать ею; и при любых зигзагах находить пути медленной помощи. Мне хочется оставить им в наследство стиль спора — без расчета на выигрыш. Он дорого мне дался, этот стиль. И вот я сажусь к столу, листаю рукопись и в сотый раз вставляю недостающее слово, а потом снова его вычеркиваю. Чтобы передать не частности, а целое; не хворост, а огонь; не идею, а ритм; ритм, в котором шла схватка Якова с ангелом:

*Всё, что мы побеждаем, малость,  
Нас унижает наш успех.  
Необычайность, небывалость Зовет  
борцов совсем не тех.*

*Так ангел Ветхого Завета Нашел  
соперника под стать.  
Как арфу, он сжимал атлета,  
Которого любая жила Струною ангелу  
служила,  
Чтоб схваткой гимн на нем сыграть.*

*Кого тот ангел победил,  
Тот правым, не гордясь собою,  
Выходит из любого боя В сознание и  
расцвете сил.  
Не станет он искать побед,  
Он ждет, чтоб высшее начало Его все  
чаще побеждало,  
Чтобы расти ему в ответ.*

*Р.-М. Рильке. Перевод Б. Пастернака*

## Глава 12

# Вопль к Богу

### Как пришла эта тема

Я натолкнулся на философию, которая мне не понравилась: Россия — большая страна, и проблемы России — тоже большие; а евреев или узбеков немного, и их проблемы — маленькие. Что было противопоставить этому? Что иные малые народы оставили очень глубокий след в истории? Но я ни к какому народу не принадлежу и мне хотелось отстаивать не малые народы против больших, а что-то другое, поближе к складу моего духа.

Где моя почва? Можно ли жить без почвы? Все ли евреи — люди без почвы? Нет, ортодоксальный еврей носит почву в кармане: это его молитвенник. Но еврей ассимилированный... Что может внести в мир человек без почвы, без корней? И самое святое, и самое грешное (мало ли какие ветры веют и подхватывают перекаати-поле). Искусство различать духов далось немногим; обыденный человек держится примет, предания, — а свободный ум? Вырвавшийся из одной почвы и не укоренившийся в другой? Не слишком ли он открыт искушениям? Не в этом ли причина смутного страха перед бродягой, видевшим слишком много разных обычаев? И перед народами-бродягами? У них, может быть, есть свое предание; но по отношению к нашему, к нашей земле, — они нигилисты.

До солженицинского «Круга» мне много раз тыкали на мое еврейство, но я был убежден, что всё это либо невежество, либо политическая игра. Т.е. скорее отсутствие блага, чем бытийственное зло. Было бы благо (хорошо устроенное общество), а всё остальное приложится. Задним числом понимаю, что все еще жила во мне вера в возможность общества без дьявола, играющего на наших страстях. В том числе национальных. «Круг» впервые показал мне глубину национальных расхождений — даже в интеллигенции, на которую я рассчитывал в борьбе с предрассудками. Бросилось в глаза убеждение автора, что русский должен быть русским (и только), а еврей — евреем. Мне не хотелось ни того, ни другого. Я хотел оставаться беспочвенным. Случайно ли, что апофеоз беспочвенности написал Шестов (Шварцман)? Но ведь не только евреи теряют почву. Почти все герои Достоевского — беспочвенны. Потому они и ищут почву. Проблема почвы возникает только от беспочвенности. У дерева, пускающего корни в глубину, нет философии почвенничества.

Впрочем, пробудившийся дух всегда беспочвенный. Раджнеш нашел для этого хороший образ: деревья с корнями в небе. Почва — льдина на реке времени. Перед лицом вечности льдины тают. Явь — только бездна. То есть беспочвенность. Из этой бездны, из этой беспочвенной почвы выросли все великие религии.

Тут возникает тысяча вопросов, на которые я не всегда способен ответить. Я не против сна и не против образов сна. Пробужденных всегда

немного, целый народ нельзя пробудить; а спросонок люди мечутся, буйствуют — и успокаиваются, когда снова заснут. Но мне не хочется засыпать. Мне хочется до конца проснуться и увидеть Бога мимо всех идей о Боге.

Меня спросят: и мимо Христа? Отчего же мимо? Христос — не идея. Он живой, и Бог в нем — как в сосне, только до конца осознанный. Как и в других просветленных. Их немного, но они были и есть, и дай Бог не пройти мимо, если встречу. Я сомневаюсь не в них, а в словах, записанных за ними. Ибо буква мертва — только дух животворит. Христос говорил: Я есмь дверь — то есть Он звал пройти *сквозь* Него.

Я хочу понять разные предания, как рассказы о встречах с одним и тем же духом. Почему этот дух воплотился у евреев не так, как у всех остальных? Почему вера маленького народа захватила все Средиземноморье? Почему в Индии и в Китае развитие пошло иначе? Не связан ли монотеизм с рассеянием (диаспорой), с оторванностью от земли и от богов земли? То есть — с беспочвенностью? Той самой, которая толкает к апокалиптике, хилиазму, утопии, революции? Не был ли монотеизм первой в истории революцией, за которой пошли все другие?

Так пришел ко мне образ диаспоры — малого, но духовно равноправного партнера всех народов земли. Эта тема проходит красной нитью через «Человека воздуха», но там — только о современности. А мои мысли шли дальше. И вот как нарочно подоспел новый толчок: заказ на книгу под условным названием «Жребий богов» (которое мы тут же переменили на «Образы и идолы»)58 для издательства «Детская литература». После двух лет работы и прекрасных рецензий издание зарубил Институт научного атеизма. Но текст остался, и я приведу из него несколько страниц. С маленьким пояснением: главу о религии древних евреев писала Зина, и может быть, именно она, ее манера подхватывать поэтические легенды вызвала мою реплику, которую я решил обнародовать в книге для детей (не все ли равно, где?). Сперва идет Зинин пересказ мусульманского предания об Аврааме, а потом моя вставка:

«О легендарном праотце монотеизма Аврааме (которого два народа — евреи и арабы — считают своим родоначальником) — сохранилось такое предание: однажды, взглядевшись в звезду, пораженный ее красотой, Авраам воскликнул: вот Бог мой! Но взошла Луна и затмила звезду, и Авраам Луну назвал богом. Когда же взошло Солнце и не стало Луны, он поклонился Солнцу, сильнейшему и прекраснейшему. Но Солнце тоже зашло: и тогда Авраам понял, что ничему видимому не будет поклоняться. Если обожествить каждый отдельный предмет, предметы столкнутся между собой в споре о первенстве. Есть нечто более важное, чем каждый из них в отдельности — их связь, единство законов жизни, сверкающий, как молния, невидимый смысл всего видимого».

---

58 В конце концов книга была издана в 1995 г. под названием «Великие религии мира».

Здесь текст Зины кончается и начинается мой; хотя в конце, в словах о живом соке, я снова вижу ее руку:

«Такова поэтическая легенда о возникновении монотеизма. Ученый построил бы более сложную конструкцию. С его точки зрения, путь к монотеизму был гораздо более сложным и трудным. Вера в «того, который наверху», в туманный образ творца мира, есть у многих племен (я забыл точные цифры, но примерно среди 105 из 200 хорошо исследованных племен), но она смешивается у них с верой в других небожителей, пониже. Так было, по-видимому, и у древнейших евреев. Остальное доделала история — то, что в Библии называется “египетским рабством”, “вавилонским пленом” и т.д. Начиная со II тысячелетия до н.э. судьба несколько раз забрасывала группы евреев далеко от родной земли. На новых местах боги земли были чужие — вавилонские, египетские. Покориться им — значило отдать победителю не только тело, но и душу. А свои, местные боги до чужбины не доставали. Они были связаны с полями и горами, оставшимися позади, в земле отцов; и люди, теряя землю, вместе с ней теряли часть своих святынь. Живым к действующим оставался только “тот, который наверху”. Можно предполагать, что именно обстановка изгнания сделала туманного, невидимого верховного бога таким интимно близким, единственно близким евреям. Ухватившись за эту уцелевшую национальную святыню, развивая и очищая ее, пророки возвысили маленькое племя в его собственных глазах, внушая ему веру в свое превосходство над великими цивилизациями древности, дали ему силу выстоять. В неравной борьбе с империями Средиземноморья постепенно утвердился образ единственного, самодержавного, всемогущего бога, не имеющего никаких соперников (только на такого Бога мог надеяться народ, неоднократно отрываемый от земли и богов земли). Путь от племенной религии к последовательному монотеизму, религии единого Бога и единого человечества, был очень долгим, исторически сложным, противоречивым. В Китае и Индии он так и не был завершен. Там выработались иные формы религиозного сознания (по ту сторону дихотомии “язычество — единобожие”). Но чисто логически становление монотеизма просто и естественно — не менее, чем становление политеизма. Если избрать символом примитивной (племенной) культуры шаманское “мировое дерево”, то можно сказать, что это дерево греки и другие народы Средиземноморья увидели как множество ветвей и листьев, прекрасных, пахучих, ощутимых — и не связанных друг с другом. Древние евреи пронесли и развили противоположную идею — единого ствола, мирового стержня. Их бог — миродержец. Он же и “дух, веющий над водами”, не только и не столько ствол, сколько (если развить тот же образ) сок дерева, делающий и ствол, и ветви живыми. Он — смысл предметов, одухотворяющий их. Представить его предметом — значит убить его, сделать из бесконечного, не имеющего очертаний — конечным, очерченным. Такая тенденция окончить бесконечность была очень сильна у всех народов, в том числе и у еврейского. Но библейские пророки ведут с этой тенденцией яростную борьбу» (глава 3, «Суший», раздел 2, «Образ не имеющего образа»).

Перечитывая и переписывая этот отрывок, я сделал несколько примечаний. Всё остальное и сейчас кажется мне верно схваченным. Но прибавилось несколько новых фактов и новых проблем. Первая, самая важная проблема (которую нельзя было поставить в детской книге): можно ли объяснить происхождение монотеизма чисто естественным образом?..

Во всяком религиозном развитии есть непременно что-то необъяснимое. Да и не только в религиозном. Начиная с происхождения жизни... Был первобытный океан, теплый, с какими-то комками слизи, способными принять искру жизни, но откуда взялась эта искра, этот сдвиг от химии к биологии? А потом — что превратило обезьяноподобные существа в людей? Австралопитеки миллионы лет пользовались грубо обделанными камнями и не менялись; почему началось движение в сторону ничтожно малой вероятности, которое называют процессом очеловечения?

Какой-то дух незримо участвует в развитии и временами чуть-чуть касается плоти, направляя ее от студня к жизни и от зверя к богу. Такое прикосновение чувствуется и в Библии. Но нужна и плоть, способная принять искру духа; и это, сплошь и рядом, болезненная, неправильная, неустойчивая плоть. «Не такая, как надо». Ибо то, что хорошо сложилось, плохо поддается изменениям... Эту сторону дела я очень остро почувствовал и высказал примерно в 1971 году, вдумываясь в Достоевского, и поместил свои размышления в эссе «Неуловимый образ»:

«Гуманизм не знает ни греха, ни Бога, и не знает древнееврейских (и средневековых) комплексов и неврозов от неспособности дотянуться до своей божественной мерки. Гуманисты греки были здоровые люди. Они не стыдились наготы к предавались радостям плоти (и лесбийской, и дорической; а Диоген и онанизму) без внутренней расколотости, под ясным солнечным небом. Половые извращения стали бытом, даже среди новообращенных христиан из язычников (ср. апостольские послания Петра и Павла). Потом, в период Ренессанса, вместе с возрождением изящных искусств, содомия тоже возродилась и пережила второй расцвет (третий — в наши дни); а просвещенный король Фридрих II положил на дело о скотоложестве резолюцию: “В моем государстве существует свобода верить и... (глагол)”.

В древнем Средиземноморье сама религия была гуманистической. Тогда, как говорил Шиллер, боги были человечнее и люди божественнее. В Египте, во время великого праздника, девушка на площади отдавалась козлу. У греков были вакханалии. Острый стыд, испытываемый при этом Иосифом (о котором напомнил роман Томаса Манна), чувство мерзости перед Господом нельзя, видимо, расценить иначе, как социальную патологию.

Когда семеро говорят пьян, ложись в постель. Норма есть норма, нечто среднестатистическое, и то, что от нее отступает, — безумие. Когда все языци покоряются вавилонской власти, безумны пророки, обличающие блудницу... Когда все языци признавали власть Эроса, безумием было искать очищения от плотского греха. Это национальное безумие заразило гниющую римскую империю, стало вселенским, дотянулось до рыцарей, сходящих с ума от любви к Святой деве, и до плясок смерти.

Потом наступил величественный восход солнца. Разум взшел на свой престол и установил, что Константинов дар (а заодно и Дионисий Ареопагит) подложны. Гуманизм разделил на этажи “души готической рассудочную пропасть”, и начался новый расцвет искусства. Но, странное дело, он оказался очень недолгим... Сама жизнь постепенно стала иссякать, и герои экзистенциальной прозы, подобно Николаю Всеволодовичу Ставрогину, то хотят доброго дела и испытывают от этого удовольствие, то злого, и опять испытывают удовольствие, но как-то всё вяло, без воодушевления, и чем дальше, тем более вяло, и тем больше хочется удавиться. И вот тут, с отчаяния, люди стали ненавидеть солнце и бросились в объятия ночи, “романтической идеологии”, веры.

Бог и грех неразделимы. В бездне Бога открывается взгляд на бездну греха. А в бездне греха рождается тоска по Богу. Чувство жизни, которое раскрывает Достоевский, — именно это. Древний грек с отвращением назвал бы его еврейским.

В русской культуре есть “эллинский”, языческий пласт. Его выразил (вопреки своему головному христианству) Толстой. Выразил в Ерощке, в Наташе Ростовой. Они, конечно, не гуманисты, в книжном смысле этого слова. Но если бы Наташа Ростова удостоила быть умной, она была бы умной гуманистически. И все гуманисты любят Наташу Ростову.

...Гуманисты<sup>59</sup> просто хотят забыть темное наследство, отвернуться от него, как молодой офицер от солдата, кричащего под розгами (в романе “Война и мир”). Они хотят видеть русское раздолье — и не видеть русской духоты, не помнить наследственного греха, глубокого, закоренелого, вопиющего. Они не любят, когда им разрывают душу и показывают следы насилий и погромов, рабства и холуйства. Их гуманизм есть некоторый покров, наброшенный над бездной, над ночью народного духа.

Достоевский этот покров срывает. Он весь ночной. Даже в своих пороках, в своих попытках облить грязью жертвы насилий, подавленные российской властью, он все же бессознательно исходит из комплекса вины, из стихийного чувства вины, греха, из бесконечного списка грехов, наделанных Карамазовыми и не искупленных двумя или тремя святыми. Каждая страница Достоевского вопиет о грехе и покаянии, есть исповедь темной и мучающейся своей темнотой народной души — до просветления: “Все мы друг перед другом виноваты”...

Мистическое чувство вины, по-видимому, вообще связано с какой-то земной болезнью... В болезни что-то есть: исключенность из будничной череды, взгляд на жизнь как целое (потому что она как целое уходит из-под ног), вопрос о смысле этого целого...

Так и с социальными болезнями. Патологией древних евреев была диаспора. Евреи ведь с самого начала, с египетского плена — “пришельцы”, “странники” (так переводится само слово “иври”). В странствиях вынашивали они образ Спасителя. Но собственно вынашивали пророки, а кругом было много гниющей,

---

<sup>59</sup> В данном контексте — ценители душевного комфорта. Их идеология может быть и поверхностно-религиозной. Формулировка неточна, но из песни слова не выкинешь. Был такой зигзаг, в 1971 г.



вырождающейся плоти. Дух святой вошел в гниущее тело. Греческий народ, несмотря на свои пороки и извращения, был гораздо здоровее. Но он остался в язычестве, пока его не просветил юродивый еврей, ап. Павел.

Русской патологией была *беспочвенность*, созданная Молохом Российской империи, ломавшим на куски свое собственное прошлое, никогда не ценившим и не уважавшим культуру. Русской патологией была сама эта империя, Третий Рим, ради которого народ был отдан в рабство, в крепость, предан батогам, дыбе, шпицрутенам и всем прочим казням московским — единственно ради того, чтобы держать другие народы, павшие под власть царей, в еще большем унижении. Русской патологией была власть, свернувшая человека в бараний рог. Разные язвы, но чувство боли одно; и Книга Иова — любимая для Федора Михайловича Достоевского. А романы Достоевского — любимые книги в Израиле (по статистике — более любимые, чем в России).

Впрочем, нет ли и других аналогий? Разве *здоровая* Испания породила Кальдерона и его современников? И разве в здоровое время жил Августин? В самое болезненное для Рима и для большинства римлян. Но оно было хорошим временем для того, чтобы писать “Исповедь”; живи Августин в век Сципиона, под гром римских побед, он никогда не отделил бы град земной от града Божьего (великая мысль, до сих пор не поместившаяся в почвенные головы). И если бы не гнила Испания — не было бы смертного напряжения духа в испанском барокко, и не было бы святых Эль Греко (сына двух гниющих цивилизаций), не было бы трагедии “Жизнь есть сон” (одного из источников романа Достоевского “Идиот”).

Распространяясь, гниение в конце концов убивает и дух. Но есть какой-то миг болезни, который выше самого цветущего здоровья...»

Это не теория, не концепция. Это — живое чувство. Монотеизм возникает как вопль к Богу. В совершенной заброшенности, в отчаянии одинокого, затравленного чужака. «Кричи к Богу» (шрай цум Гот), — говорила моя мама. Она не веровала в Бога, но хорошо помнила народные поговорки. Символ веры первоначального монотеизма — вопль с плахи: «Слушай, Израиль! Адонай Бог наш, Адонай один!».

Такое же непосредственное живое чувство — самосознание избранного народа, народа-церкви, невесты Господней. Оно возникало в истории несколько раз, и почти всегда связано с особой разновидностью монотеизма: у евреев, армян, сирийцев, ассирийцев. Национальное небо заменяло национальную землю, вырванную из-под ног. Однако нечто подобное случилось и у польских поэтов и мыслителей прошлого века, попавших в изгнание; и у некоторых русских мыслителей, — почувствовавших себя чужими в петербургском периоде. Особой религии ни у поляков, ни у русских не было; но потрясенное национальное самосознание создавало образ какой-то особенной католичности Польши, особенной православности России. И, по крайней мере, в Польше католичество действительно стало стержнем национального сопротивления.

Апостол Павел, создавая церковь, ваял ее из еврейской диаспоры. Он

взял народ-церковь, отбросил разные обряды, скрепляющие народность (обрезание, запрет есть некошерное мясо ит.п.), и осталась — церковь. Недавно мне попались тексты I I-го века, в которых отчетливо выступает дух и отчасти даже плоть диаспоры, ее положение между народами земли, ее беды и страсти. Анонимный апологет, автор послания к Диогнету, создает идеализированный образ; но начинается он с совершенно точного социологического описания:

«Живут они в своем отечестве, но как пришельцы; имеют участие во всем, как граждане, и всё терпят, как чужестранцы. Для них всякая чужбина — отечество, и всякое отечество — чужбина...»

«Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть граждане небесные. Повинуются постановлениям и законам, но своею жизнью превосходят самые законы. Они любят всех и всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают; умерщвляют их, но они животворятся; они бедны, но многих обогащают. Всего лишены, и во всем изобилуют. Бесчестят их, но они тем прославляются; клеветают на них, и они оказываются праведны; злословят, и они благословляют; их оскорбляют, а они воздают почтением; они делают добро, но их наказывают, как злодеев; будучи наказываемы, радуются, как будто им давали жизнь» (Антология «Раннехристианские отцы церкви». Брюссель, 1978. С. 595—596).

А что о них думают другие? Каково общее мнение (на которое обычно ссылаются, говоря о народах диаспоры)? Об этом пишет другой апологет, Марк Минуций Феликс, автор диалога «Октавий». Язычник Цецилий свидетельствует там:

«...Они называют друг друга без разбора братьями и сестрами для того, чтобы обыкновенное любодеение через посредство священного имени сделать кровосмешением: так хвалится пороками их пустое и бессмысленное суеверие. Если бы не было в этом правды, то проницательная молва не приписывала бы им столь многих и отвратительных злодеяний. Слышно, что они, не знаю по какому нелепому убеждению, почитают голову самого низкого животного: голову осла. Религия, достойная тех нравов, из которых она произошла! Другие говорят, что эти люди почитают гениталии своего предстоятеля и священника, и благоговенно как бы перед действительным своим родителем. Не знаю, может быть все это ложно, но подозрение очень оправдывается их тайными, ночными священнослужениями. Говорят также, что они почитают человека, наказанного за злодеяние страшным наказанием, и бесславное древо креста: значит, они имеют алтари, приличные злодеям и разбойникам, и почитают то, что сами заслуживают. То, что говорят об обряде принятия новых членов в их общество, известно всем и не менее ужасно. Говорят, что посвящаемому в их общество предлагается младенец, который, чтобы обмануть неосторожных, покрыт мукою: и тот, обманутый видом муки, по приглашению сделать будто бы невинные удары, наносит глубокие раны, которые умерщвляют младенца, и тогда, — о, нечестие! — присутствующие с жадностью пьют его кровь и

разделяют между собой его члены. Вот какую жертвою сцепляется их союз друг с другом, и сознание такого злодеяния обязывает их ко взаимному молчанию...

В день Солнца они собираются для общей вечери со всеми детьми, сестрами, матерями, без различия пола и возраста. Когда после различных яств пир разгорится и вино воспламенит в них жар любострастия, то собаке, привязанной к подсвечнику, бросают кусок мяса на расстоянии большем, чем длина веревки, которою она привязана; собака, рванувшись и сделав прыжок, роняет и гасит светильник, и в темноте все предаются свальному греху. Таким образом все они, если не самим делом, то в совести делаются кровосмесниками, потому что все участвуют желанием в том, что может случиться в действии того или другого» (Антология «Раннехристианские отцы церкви». С. 552—554).

Мне кажется, что сходство между ранними христианами и народами диаспоры достаточно полное. Апостол Павел не творил из ничего; скорее, как Микеланджело, он взял глыбу камня и отбросил всё лишнее. Так же я представляю себе возникновение монотеизма. Пророки отбрасывали лишнее — то, что противоречило непосредственному интимному отношению верующего с верховным творческим Духом, который с самого начала был налицо.

Как это доказать исторически? Не знаю. Отрывочные сведения о каких-то иберу (чужаках, пришельцах) начинаются с III тысячелетия до Р.Х. (архив Эблы, сирийского города, процветавшего в XXV-XXIII вв. до н.э.). Может быть, это исток еврейского народа — и тогда евреи издревле народ диаспоры; а может быть, иберу Эблы — какие-то другие чужаки, другие пришельцы, всякие пришельцы, наподобие метеков в Афинах. Когда именно иври — пришелец — стало именем одного народа, евреев? До или после египетского плена? Кем был Авраам (если видеть в нем лицо историческое)? Пастырем стад, вроде нынешних бедуинов? Библия рисует скорее изворотливого торговца, готового продать Сарру то местному князю, то фараону. И вот именно он, этот не очень щепетильный муж, удостоен посещения трех ангелов — а потом становится «рыцарем веры» (Кьеркегор) и готов принести любимого, единственного сына в жертву Единому. Как эта мелкая подлость (продажа Сарры) и вершина веры совмещались в одной груди, в одном сердце? «Широк, слишком широк человек. Я бы сузил». Тут не Николка (как сказал бы Порфирий Петрович), не простодушный бедуин, а изощренный горожанин, разом созерцающий две бездны. И я не удивился, натолкнувшись на гипотезу, что Авраам — житель Ура Халдейского (XVIII в. до Р.Х.).

Кто, собственно, попал в Египет? Яков, боровшийся с ангелом? Или Авраам, Исаак и Иаков принадлежат мифологии (а не истории), а какие-то пришельцы, забредшие в Мицраим Бог знает когда, стали народом только после Исхода, во главе с Моисеем? Был ли Иосиф визирем Эхнатона, участником и вдохновителем его реформ? Моисей (как считал Фрейд) — египетский принц, тайный сторонник еретика Эхнатона, решивший увлечь за собой группу пришельцев и построить с ними новое царство нового Бога... Все эти вопросы могут быть поставлены, и можно сочинить разные

сценарии исторического процесса, но все они — только сценарии. В научной истории народа Библии — огромные белые пятна; ученый, привыкший осторожно переходить от факта к факту, пасует, и открывается простор воображению.

Опираясь на данные смежных наук, можно себе кое-что представить. Хотя в таких реконструкциях прошлого факт отстоит от факта на тысячу лет и ничего нельзя доказать. Разве только показать, что установившиеся суждения тоже не слишком много стоят, и если говорить строго, — мы не знаем о происхождении монотеизма решительно ничего. А потому допустимы любые, самые смелые гипотезы.

Говорят, что Авраам слышал Бога. Я в это верю. Все основатели великих религий слышали Бога. Слышал Мани, слышал Мохаммед... Но Бог говорит с каждым на его языке. Молния сверхсознания осознается в символах культуры — индийской в Индии, средиземноморской — в Средиземноморье. В Индии эта молния падала много раз, и ни одного раза Бог не потребовал — отвергнуть всех других богов. Почему Бог потребовал этого от евреев?

Говорят о склонностях семитов к монотеизму. Но (даже если не вспоминать Аккад, Вавилон, Ассирию, Финикию, Карфаген) религия арабов до Мохаммеда вовсе не была монотеизмом. Был верховный незримый Аллах, и были другие боги. Чтобы превратить эту религию в монотеизм, понадобилась религиозная революция ислама. Мохаммеда вдохновили «народы Книги». А кто вдохновил Авраама?

Говорят, что политеизм отражал первобытно-общинный строй, а монотеизм был идеальным отражением восточной деспотии. Но Сын Неба и Чакравартин — владыки четырех стран света — не отражались в монотеизме. И египтяне никакого тяготения к монотеизму не испытывали. Наоборот: они отвергли реформу, навязанную им Эхнатом. Там, где правили цари, монотеизма не было. А там, где сложился монотеизм, не было царей. Израилем, вплоть до Саула, правили судьбы<sup>60</sup>. А во многие важные периоды и государства не было (египетский и вавилонский плен).

Многие советские ученые считают, что монотеизм начался позже — в У1-У вв. до Р.Х. Но при этом монотеизм смешивается с иконоборчеством. Если монотеист может ставить свечку перед иконой, то почему нельзя — оставаясь монотеистом — плясать вокруг золотого тельца? Считал ли Аарон тельца, которого отлил для народа, богом? Или только символом, знаком, образом, воплощением Бога?

«Ученые это считают борьбой религий и проникновением язычества в монотеизм юдаизма, — пишет об этом А.Д. Сияевский, пересказывая В.В. Розанова. — Но, вопрошает Розанов, разве Аарон поклонялся другому Богу, чем его брат Моисей? Нет, конечно. Все различие состояло только в изобразимости или

---

<sup>60</sup> Впоследствии я сделал попытку отождествить этих судей с ясновидцами, тудинами, у малых народов Сибири. Ср. *Зубов А. История религии. Т. 1. М., 1997. С. 297-300.*

неизобразимости Божества. Аарон только несколько вульгаризовал, материализовал Бога невидимого, Бога, чьи рога торчали из жертвенника («жертвенник в Иерусалимском храме имел два рога» — с.100). Спор Аарона с Моисеем, который разбил изваянного быка, это не борьба двух религий, а лишь оттенки и волны колебаний в пределах одной религии. Так же как в пределах христианства были споры между сторонниками почитания икон и иконоборцами» (*Синявский А. «Опавшие листья» В.В. Розанова. Париж, 1982. С.100-101).*

При всей заведомой и не раз подчеркнутой отдаленности В.В. Розанова от науки, в его рассуждениях есть замечательная формулировка: «не борьба двух религий, а лишь оттенки и волны колебаний в пределах одной религии». Или, по-моему, — в пределах *одного процесса* перехода от диффузной первобытности религии к монотеизму...

Понять мысль Розанова мешает скандальный пример с золотым тельцом, очень уж это зафиксировано в сознании, и неохота вывернуть хрестоматийно известное наизнанку. Но оставим ненадолго тельца и обратимся к шиваизму. Один из символов Шивы — бык Нанда. Изваяние этого тельца — почти в каждом шиваитском храме. Бог ли это? И да, и нет. Для шиваитского богослова бык — только «облик игры» Шивы. На уровне богословия шиваизм очень близок к монотеизму. Разница в том, что тварных небожителей индуисты вообще (и шиваиты в частности) продолжают называть богами; но трансцендентный аспект, превосходящий всё тварное, имеет (для шиваита) только Шива; он один создает (и разрушает) вселенную во время пралайи (отдаленно напоминающей Страшный суд). Словом, Шива (для шиваита) — Бог с прописной буквы, а остальные боги — на грани превращения в ангелов, архангелов, херувимов и серафимов. Хотя эту грань индуист никогда не переходит — у него другая логика, он различает не истинного бога от ложного, а более истинного от менее истинного, большую реальность от меньшей и т.п. Если внести в индуизм средиземноморскую логику, с ее резким делением черного и белого, истины и лжи, реальности и нереальности, вечного спасения и вечной гибели, — Шива превратился бы в Ягве, а Нанда — в херувима. Которого и евреи представляли себе в виде крылатого быка. Хотя поклоняться образу херувима не смели.

Как только мы перебрались по ту сторону Суэцкого канала, логика Библии становится недействительной, можно свободно творить и разрушать кумиры, исчезает единственность откровения и Единое выступает в тысяче ликов. Это состояние, очевидно, старше, древнее. Соединив данные индологии и этнографии первобытных племен, можно сделать вывод, что ни первобытного политеизма, ни прамонотеизма не было. Не было самой дихотомии: единобожие — многобожие. Было диффузное состояние, из которого можно было по-разному выйти (эллины и иудеи) или — по-разному сохранить его (Индия к Китаю). Общую теорию этого процесса еще в XIX веке разработал Макс Мюллер, и тогда же ее принял Вл. Соловьев, *вопреки* тогдашней этнографии, путавшейся в

различных «измах». В статье «Первобытное язычество: его живые и мертвые остатки» (1890) Соловьев пишет:

«Как известно, Макс Мюллер весьма убедительно доказал (главным образом, по отношению индийцев древнейшей ведической эпохи, но то же может быть доказано и относительно других народов), что ни настоящего единобожия, ни настоящего многобожия тут быть не могло по той простой причине, что сами боги не были достаточно фиксированы и обособлены, так что каждый смешивался со всеми и все сливались в одном. Чувствовалось с самого начала единство чего-то божественного, обнимающего и проникающего весь мир, но это единство не приурочивалось постоянно и окончательно к какому-нибудь одному богу, а связывалось, смотря по обстоятельствам, то с тем, то с другим: каждому из них в таком случае приписывались свойства не только верховного, но и единственного божества, разумеется, не с отрицанием всех прочих, а с превращением их в имена и атрибуты всеединого. Таким образом. Макс Мюллер признает просто не относящимися к делу отвлеченные категории единобожия и многобожия, взятые из позднейшего духовного состояния, а для обозначения описанной им первобытной фазы религиозного сознания он предлагает особый термин — кафенотеизма или енотеизма» (сейчас принято транскрибировать это слово иначе — генотеизма. — Г.П.).

«...Научная мысль должна будет отстранить и много других столь же неуместных вопросов... Было ли здесь понятие о личном разумном существе, или же только понятие о безличной субстанции или субстрате всех вещей? Как много было написано в пользу того или иного ответа на этот вопрос. А между тем... если никто не интересуется знать, держались ли они (первобытные люди. — Г.П.) в теории цветов воззрений Ньютона или идей Гёте, то почти столь же странно требовать от них определенного выбора между абсолютной субстанцией Спинозы и Верховным Разумом Лейбница.

Божественное всеединство не столько мыслилось, сколько чувствовалось...» (Соч., т.6. С.164-165).

Впрочем, Соловьев не продумал всех выводов из нового воззрения. Мешали старые привычки. Как только дело доходит до различия между христианством и другими религиями, рутина торжествует, и неоплатонизм или буддизм без колебания определяются как язычество. Хотя язычество — синоним многобожия, а Плотин почитал Единое, Будда — неставшее, нерожденное, несотворенное... Видимо, нужны более широкие понятия. Чувство всеединства, единого, целого может найти свое отчетливое выражение не только в образе единого Бога, но и в других образах: Брахмана, Дао, Единого, неставшего (или Великой Пустоты) и т.п. Все религии, в которых мощно выражено созерцание целого, превосходящего всякое бытие, составляют одну семью.

Нас сбивает с толку то, что и буддизм, и неоплатонизм не отрицают существования многих богов. Но это чисто языковое, знаковое затруднение. Боги буддизма, даосизма, неоплатонизма не являются высшей

инстанцией. Мы невольно приписываем им такую роль под влиянием эллинской мифологии, где единое не выражено, и мир управляется сонмом олимпийцев. Но эллинская мифология не норма (здоровое детство), а тупик религиозного развития, обрыв, с которого можно было только прыгнуть во что-то совершенно иное. Как только философия сложилась, она тут же принялась искать единое, потерянное народной верой, и в неоплатонизме стала ядром новой религии. С течением времени неоплатонизм мог бы выработать народный язык и стать мировой религией Запада наподобие буддизма на Востоке — с Плотиним или кем-нибудь еще в роли Будды. Важен не характер верховного образа (символа непостижимой, повергающей в трепет тайны целого, объемлющего и время, и вечность), а то, что такой образ есть. Остальное — иконография. Она по-своему важна, но различия икон не мешают единству веры. А мистическая суть веры во всех высоких религиях одна. Сердца христиан, мусульман, буддистов, индуистов трепещут от одной тайны.

Вернемся, однако, к первобытному диффузному состоянию. Нельзя строго доказать, но можно предположить, что некоторые племена, которые сегодня не имеют образа Единого, когда-то его имели. И возможно, что некоторые культуры, на первый взгляд языческие, не совсем его утратили и хранили имя Единого как тайну, которая сообщалась не всем (например, только взрослым мужчинам этого племени), а с течением времени — только избранным. Такое тайное знание брахманы передавали своим ученикам (но ни в коем случае не шудрам). Розанов считал, что какие-то египетские жрецы тоже знали Еди-

ное, и евреи только нашли имя для общей тайны древних религий: сущий, Ягве. С этой точки зрения, исключителен не монотеизм (как тайное течение он скрыто существовал во всех восточных культурах), а греческий политеизм, возникший в результате профанации, потери эзотерической традиции. В той мере, в которой греки способны были к эзотеризму (орфики, пифагорейцы), они древнее предание сохранили...

Что в этих рассуждениях неверно? Я думаю — отрицание разницы между эзотерической традицией и всенародной верой. Сделать эзотерическую традицию достоянием каждого — это не только перемена названия; это религиозная революция. Какие-то эзотерические традиции в Египте были, и не исключено, что с ними связана реформа Эх-натона. Но попытка всенародного культа Единого провалилась. Для чистой религии Единого в Египте не было почвы. Нужно было другое социальное тело. Было ли оно телом диаспоры, в позднейшем смысле этого слова? Может быть, еще нет. Достаточно было предшественников диаспоры: египетского рабства, вавилонского плена. Достаточно того, о чем говорит Библия: будь милостив к чужаку, страннику, пришельцу, ибо ты сам был чужаком, странником, пришельцем в земле египетской. Важно, что евреи в Египте и на реках вавилонских чувствовали себя чужаками, пришельцами. Хотя, может быть, еще отчасти сохраняли структуру племени. Важен отрыв от корней и униженное существование на задворках общества. Формы такого задворочно-го существования могут быть различными. Виктор Тернер,

английский этнолог, разработавший интересную теорию взаимодействия между социальной структурой и тем, что Конфуций называл бы музыкой — всеобщим братством экстатического порыва, — подчеркивает творческую роль всякого рода униженных в религиозных и политических движениях. Это старая идея духовной нищеты, но она выражена языком науки и опирается на огромный этнографический материал.

В центре концепции Тернера — идея коммунитас, которую он определяет словами Мартина Бубера:

«Община — это жизнь множества людей, но не рядом (и можно было бы добавить: не над и не под), но вместе. И это множество, хотя оно движется к единой цели, на всем протяжении пути сталкивается с другими, вступает в живое общение с ними, испытывает перетекание из Я в Ты. Община там, где возникает общность» (*Бубер М. Вечный тап апд тап. ^.*, 1961. P.51).

Бубер точно указывает на спонтанную, непосредственную, конкретную сущность коммунитас в противоположность нормативной, институционализированной, абстрактной сущности социальной структуры. Однако коммунитас становится явной или доступной, так сказать, только посредством ее противоположения или ее гибридизации с аспектами социальной структуры... Коммунитас можно понять лишь через ее отношения со структурой. Компонент коммунитас важен именно потому, что он неуловим. Здесь весьма уместно вспомнить притчу Лаоцзы о колесе в колеснице. Спицы колеса и его ступица, к которой спицы прикреплены, будут бесполезны, по словам Лаоцзы, если в центре не будет отверстия, бреши, пустоты. Коммунитас с ее неструктурным характером, представляющая «самую суть» человеческой взаимосоотнесенности (то, что Бубер назвал межчеловеческим), можно было бы вообразить в виде «пустоты в центре», которая тем не менее необходима для функционирования структуры колеса.

Подобно другим ученым, занимавшимся концепцией коммунитас, я вынужден был обратиться к метафоре и аналогии вовсе не случайно и не из-за отсутствия стремления к научной строгости. Дело в том, что коммунитас обладает экзистенциальными качествами, в ней человек всей своей целостностью взаимодействует с целостностями других людей. Структура, напротив, обладает познавательными качествами; как показал Леви-Стросс, это, по сути, ряд классификаций... Отношения между целостными существами порождают символы, метафоры и сравнения; продуктами таких отношений скорее являются искусство и религия, чем правовые и политические структуры. Бергсон увидел в словах и писаниях пророков и великих художников создание «открытой нравственности», которая сама была выражением того, что он назвал «жизненной силой». Художники и пророки... — «пограничные люди», которые со страстной искренностью стремятся избавиться от клише, связанных со статусом и исполнением соответствующей роли, и войти в жизненные отношения с другими людьми — на деле или в воображении. В их произведениях можно



увидеть проблески этого неиспользованного потенциала человечества, который еще не воплотился в конкретную форму и не зафиксирован структурой» (Тернер В. Символ и ритуал. М., 1983. С.197-198).

Специфические термины, которые вводит Тернер, это «криминальность» (пороговость: переживание жизни на пороге бытия и небытия, личности и ничто), «маргинальность» (жизнь на задворках) и «приниженность» (социальная нищета как символ нищеты духовной). Именно в этих состояниях чаще всего реализуется чувство «принадлежности к человечеству», самосознание «людей в их целостности, во всей их полноте». «Лиминальность, маргинальность и низшее положение в структуре — условия, в которых часто рождаются мифы, символы, ритуалы, философские системы и произведения искусства».

Взаимоотношения между колесом (структурой) и дыркой в колесе (потребностью во все стирающем порыве) напряженны, противоречивы, и всякий перекося в одну сторону вызывает рывок в другую. Порыв экстатического чувства, долго сдерживаемого, может раскрыть глубину жизни — но может устремиться и по ее поверхности, всё круша и ломая. Попытка братства без общего чувства Отца — это бунт, бессмысленный и беспощадный; вместо новой, реформированной социальной структуры возникает хаос; а усталость от анархии ведет к новому деспотизму, хуже прежнего. Тернер описывает этот религиознополитический процесс так:

«Преувеличение структуры может привести к патологическим проявлениям коммунистизма извне или против «закона». Преувеличение коммунистизма в определенных религиозных и политических движениях уравнивательного типа может вскоре смениться деспотизмом, сверхбюрократизацией или другими видами структурного ужесточения. Потому что, подобно неофитам-африканцам после обрезания, или бенедиктинским монахам, или членам милленаристских движений<sup>61</sup>, люди, живущие в общине, рано или поздно начинают требовать чьей-либо абсолютной власти — будь то со стороны религиозной догмы, боговдохновенного вождя или диктатора. Коммунистизм не может продержаться сама по себе, если материальные и организационные нужды людей должны удовлетворяться адекватно. Максимальная коммунистизация влечет за собой максимализацию самой структуры, каковая, в свою очередь, порождает революционные стремления и возобновление коммунистизма. История любого большого общества богата примерами таких колебаний на политическом уровне...» (с.199).

В рамках этой общей концепции Тернер неоднократно отмечает творческую роль «презираемых или бесправных этнических или культурных групп». Выходцы из них «играют главные роли в мифах и сказках как представители или выразители общечеловеческих ценностей. Среди них знамениты: милосердный самарянин, еврей-скрипач Ротшильд в чеховской новелле «Скрипка Ротшильда», марктовеновский беглый раб в «Гекльберри Финне» и Соня у Достоевского» (с.183). «Мы можем

---

61 Милленаризм (или хилиазм) — порыв к тысячелетнему царству праведных.

упомануть также о роли, которую играют в системах наций структурно небольшие и политически незначительные нации, выступающие как хранители религиозных и нравственных ценностей, например, евреи на древнем Ближнем Востоке, ирландцы в христианском мире Раннего Средневековья...» (с.182).

Эта творческая роль связана со странничеством, неприкаянностью, которые часто становятся желанной формой жизни в истории мировых религий:

«...Следы перехода как качества религиозной жизни сохраняются в формулировках вроде: “Христианин — чужой в этом мире, пилигрим, странник, которому негде преклонить главу”. Здесь переход становится постоянным условием. Нигде институционализация лиминальности не обозначается и не определяется более ясно, чем в монашестве и нищенстве как институтах великих мировых религий» (с.180).

Тернер анализирует и ряд других примеров (бегство Будды из дворца, уход Толстого из Ясной Поляны и т.п. См. стр. 256-260).

Я чувствую себя вправе воспользоваться языком Тернера и сказать о весьма высокой вероятности лиминального, маргинального и пониженного происхождения монотеизма; не в громе и молнии, не на горе Синай, а в городских трущобах, рядом с клоаками греха; скорее среди мытарей, чем среди пастухов.

### **Истоки и устье религиозной революции**

В одном ряду с размышлениями Макса Мюллера, Владимира Соловьева, В.В. Розанова и В. Тернера стоит и мой опыт «Истоки и устье религиозной революции» (первая редакция — 1981 г., вторая — 1982 г.). Я ставлю там вопрос: почему в Средиземноморье произошел раскол на монотеизм и политеизм, — тогда как в Индии и в Китае этого не было? В поисках ответа (хотя бы и неполного) стоит вспомнить, что сама логика Индии была диффузна; она не знает закона исключенного третьего; она допускает ответы: это и то, и другое; это ни то, ни другое; это неопределимо. С такой логикой можно сохранить, не разрезая, клубок символов, истолкование которых ведет то к монотеизму, то к политеизму. А с логикой аристотелевского типа (основы которой сложились задолго до Аристотеля) надо выбирать что-то одно: или боги стихий, или незримый Эл, Элохим, Аллах. Думаю, что различия логики уходят очень глубоко в сознание и как-то связаны с большей техничностью и геометричностью прикладного искусства и архитектуры Средиземноморья. Уже каменные наконечники копий, найденные здесь, геометричнее восточных. Начинается железный век — и на Западе куют прямые мечи, в глубинах Востока — кривые сабли. Пирамиды, зиккураты резко противостоят криволинейным, органичным, скалоподобным и древоподобным сооружениям Индии и Китая. С чем это

связано? Может быть, с резкими линиями пустынных горизонтов, окружавших очаги ближневосточной цивилизации? Пирамида смотрится на фоне пустыни. Индийский храм, дальневосточный храм — на фоне лесных зарослей. Но это только одно из возможных объяснений; непременно найдутся и другие.

По каким-то причинам все цивилизованные народы Средиземноморья потеряли невидимого вездесущего Бога и создали пантеон из богов стихий. А один — только один и очень маленький народ пошел противоположным путем, отверг богов солнца и луны, и звезд, и хозяев земли (ваалов). Почему?

В шестидесятые годы я пришел к мысли, что решающей земной причиной этого сдвига была диаспора. Народ, сидящий на земле, привязан к богам земли, ваалам. Жить в лесу — молиться пням. А жить в городах, без связи с землей — значит, терять богов земли и искать своего Бога там, где нет ничего, на небе.

Возражения, которые встретила эта мысль, мне кажется, коренятся в неполноте исторических знаний, а также в ограниченности эстетики. Евреям самим хочется, чтобы Авраам был пастухом. Христианам хотелось, чтобы евреи, создавшие монотеизм, были какими-то особыми евреями, непохожими на тех, кого можно было встретить сегодня. Диаспора стыдится самой себя, тоскует по земле и создает миф о происхождении своей городской веры около врат рая. Народы, захваченные религией диаспоры, тем больше не хотят признать своими духовными праотцами купеческих приказчиков, портных и сапожников. Если бы не было точно известно, что Мохаммед — купеческий приказчик, его бы непременно сделали похожим на Авраама. Но ислам возник слишком поздно и слишком быстро, все основные факты были записаны и переделаны в воображении было нельзя. И вот, религию бедуинов создал купец; а религию горожан-евреев — если буквально принимать Библию — создал бедуин. Я в это не верю.

Какие-то элементы бедуинского предания в Библию вошли. Например, в рассказе о первом убийстве Каин-земледелец пролил кровь кроткого пастуха. Трудно предположить, чтобы такой миф возник у земледельческого народа. Скорее у кочевников (потомков Авеля), оправдывая их набеги на земледельцев (потомков Каина). Однако праевреи могли перенять миф у своих соседей ради его религиозной и нравственной сути, без внимания к этнографическим подробностям, безразличным для народа диаспоры (не земледельческого и не кочевого, способного к симбиозу и с оседлым, и с кочевым населением). Наконец, возможно, что собственно еврейский народ возник только после Исхода из группы сторонников реформы Эхнатона, отвергнутой Египтом; и в состав нового народа (помимо праевреев, почитателей Яхве) могло войти какое-то пограничное пастушеское племя со своим фольклором; так же как другие группы, чисто египетские (золотая утварь, будто бы украденная евреями накануне бегства, могла принадлежать египетским аристократам или другим состоятельным людям, бежавшим вместе с Моисеем).

Однако основную среду, подхватившую импульс монотеизма, составили не пастухи и не египтяне. Импульс сам по себе — всякий импульс — граничит с чудом и не подчиняется строгому социологическому закону. Идея могла потрясти любую голову, в том числе голову фараона Аменхотепа III (Эхнатона). Но как раз судьба реформы Эхнатона показывает, что одного зачинателя мало, что даже власть фараона имеет свои пределы. Даже если допустить, что диалога с Иосифом не было, что Эхнатон пришел к монотеизму совершенно самостоятельно и его монотеизм — автохтонно египетский, — все равно, история сделала начинание Эхнатона антиегипетским. Египетский народ новой религии не принял. Он вяло покорился реформатору — и яростно поддержал контрреформацию. Память о ереси была вычеркнута, стерта до основания, на тысячи лет. И только какая-то неегипетская группа (при участии кучки египтян) продолжила историю монотеизма.

Здесь многое навсегда останется тайной. Брестед заметил, что имя Моисей (Моше) напоминает обрубок египетского имени типа Тотмосе (Тутмос), Рамосе (Рамзес) и т.п. (потомок Тота, потомок Ра).

Фрейд<sup>62</sup> поддержал эту гипотезу и предположил, что Моисей был египетским принцем, возможно — губернатором пограничной провинции, тайным сторонником веры Эхнатона, избравшим праевреев, чтобы с этим народом совершить то, что впоследствии удалось Мохаммеду, Абу Бакру и Омару: создать единую империю единого Бога. Библейский рассказ о дочери фараона, нашедшей в тростниках младенца Моисея и воспитавшей его, Фрейд трактует как попытку объяснить превращение египетского принца в еврейского вождя, а его потомков — в левитов. Само по себе такое превращение принца Тотмосе в Мойше-рабойне не более удивительно, чем превращение Иешуа га-Носри в Иисуса Христа. Фрейд указал несколько возможных египетских заимствований: обрезание; одно из имен Бога — Адонай (искаженное Атон); символ веры — Адонай Бог наш, Бог единый — напоминает стих из гимна Атону. Но я не могу согласиться, что праевреи были случайным, наудачу выбранным и распропагандированным орудием честолюбивого египтянина. Кем бы ни был Моисей по крови — египтянином или ассимилированным евреем — дело не в нем одном. Что-то было в самом народе, подхватившем его призыв. Хотя решающий толчок к оформлению еврейского монотеизма мог быть дан в диалоге с реформой Эхнатона.

Допустим, что племя, сохранившее диффузное чувство единого, попало в развитую (для того времени) страну. Его пророки усвоили ясность отвлеченной мысли, сложившуюся в городе, и продумали свою традицию так, как никогда не удалось бы в пустыне. А дальше действовали условия плена, изгнания, рассеяния.

В те давние времена, задолго до того, как мировая империя стала незыблемым фактом и в римских городах смешивались и разрушались племенные и прочие местные религии, уступая место общей оторванности

---

62 *Рейс* 8. ^ег Мапп Мозез ипд де тополШеисИсче К.еЦ§юп. Прапкбиг! а. М., 1975.

от корней, отчуждению, беспочвенности, — только народ, лишенный поддержки богов земли, потянулся к Богу незримому, вездесущему и всемогущему.

Я хорошо знаю, что состояние диаспоры немногих возвышает до вселенской веры и большинство — уродует, унижает, калечит. Я сознаю, что окончательное оформление новой религии невозможно было без земли обетованной, без какой-то почвы под ногами, чтобы построить храм и создать культ. Но первоначальный толчок к психологии монотеизма я вижу все же в состоянии изгнанника, чудака.

За несколько веков между Исходом и созданием Библии евреи забыли быт рассеяния. Они и не хотели его помнить — как сабры не хотят помнить быт своих дедов, местечковых торговцев, и стали совершенно другим народом, крепко привязанным к земле. Но и Библия несколько раз повторяет: Будь милостив к страннику, к чужаку. Именно это — нравственная суть монотеизма. Отдельные евреи и отдельные еврейские правители могли забывать ее, и в борьбе за физическое самосохранение на отвоеванном кусочке земли становиться подобными язычникам, но снова и снова в пророках восстает чувство благодати, осенившей незащищенность странника, не имеющего где преклонить голову. Великое чувство беззащитности<sup>63</sup>, постигнутое в диаспоре, не забылось. И от имени всех беззащитных людей Исайя пророчествовал о временах, когда лев ляжет рядом с ягненком и перекуют мечи на орала. И так как этого никогда не было в прошлом, то золотой век у евреев переместился в будущее. Факт, имевший огромное значение для истории человечества.

Я убежден, что пророчество Исайи и вера Христа родились в душе народа, хорошо запомнившего плен египетский, плен вавилонский, беззащитность диаспоры. Я вижу грязь диаспоры, но она меня не отталкивает. Достоевский приучил меня к святости среди грязи (Соня Мармеладова, Хромоножка). Я нахожу решительно ту же эстетику в Евангелии. Не к здоровым приходит врач, а к больным. Не к фарисеям, а к мытарям. И не в традиционном месте поклонения воплощается Бог, а в месте позора, на виселице.

Можно подобрать и другие примеры. Например, в истории. Разве Средние века — чистое время? Древние греки и римляне были чище. Но святости у них было меньше, чем у Франциска. Или разве Индия — чистая страна? Китай гораздо чище, прибраннее. Но святости в Индии больше. Наконец, в России — по словам Константина Леонтьева — легче встретить святого, чем элементарно честного человека. Допустим, это гипербола. Но направление мысли Леонтьева верное. В Голландии гораздо больше честных людей и меньше святых на тысячу жителей, чем в азиатских странах и в Евразии.

Святость вовсе не боится соседства с мерзостью. Напротив, святая Русь Хомякова «всякой мерзости полна». И тем не менее — свята. Я думаю, свят был (сквозь мерзость) и Израиль, рождавший веру в единого Бога. Евреи,

---

63 Кришнамурти считает незащищенность основой подлинно нравственной жизни.

оказавшие Христа, вызвали у греков и римлян примерно те же чувства, что хасиды — у польского или русского помещика. Это — факт, засвидетельствованный многочисленными документами. Их собрал и опубликовал Лурье в книге «Антисемитизм в древнем мире». Метерлинк на этом контрасте построил драму «Мария Магдалина». Попытка отделить истинный Израиль от нечестивых иудеев совершенно не выдерживает исторической критики.

Если эстетика перестает сопротивляться этой мысли, исторические аргументы против связи монотеизма с диаспорой легко парировать. Разумеется, строгие доказательства здесь невозможны, но кое на что указать вполне можно.

Диаспора есть в Африке, среди племен банту<sup>64</sup>. Трагедия народности ибо в Нигерии — одна из типичных историй диаспоры. Есть индийская диаспора в Африке, китайская и тамильская — в Юго-Восточной Азии, и китайские погромы в Индонезии и Малайе идут по той же схеме, по которой развивались события на Украине ХУЛ-ХУШ веков. Текущая диаспора, то возникающая, то исчезающая, — одно из постоянных явлений исторического процесса. Но устойчивая диаспора, со своей религией, поддерживающей единство вечных изгнанников, — специфическое явление Ближнего Востока. Такое же специфическое, как монотеизм. Вслед за евреями, здесь сложились другие народы диаспоры, со своей особой разновидностью монотеизма: армяне (моно-физиты), сирийцы и ассирийцы (несториане). Они сохранили национальный очаг, но удельный вес армянской диаспоры по отношению к ядру несравним с китайской или русской эмиграцией. Тип жизни армян очень близок к еврейскому. Судьба армян (и ассирийцев) во многом повторяет еврейскую судьбу.

Ничего подобного в истории Дальнего Востока не было. Из Индии забрело на Запад племя цыган, но (кроме способности переходить с места на место) ничего общего с народами диаспоры у цыган нет. Народ диаспоры высоко интеллигентен, легко усваивает чужую культуру, достигает ее вершин — и в то же время остается по сути своей инородным телом, связанным особой разновидностью монотеизма. В народе диаспоры нераздельно существуют универсализм и замкнутость, этническая обособленность.

Один из подходов к возникновению диаспоры — в структуре пространства Ближнего Востока. Древнейшие цивилизации имели здесь мелкоочаговый характер, не сливались в единое многоликое целое, как на равнинах Индии и Китая. Очаги цивилизации росли обособленно друг от друга, иногда просто ничего не желая знать о соседях. Например, египтяне (крайний случай этноцентризма) считали всех неегиптян потомками дьявола, а неегипетские языки связывали с особым уродливым устройством органов речи. По равнинам Индии и Китая высокая цивилизация

---

64 Это показывает, что диаспора может возникнуть на очень ранних ступенях развития, — что хорошо согласуется с данными о диаспоре иберу в III тысячелетии до Р.Х.

расползлась из одного угла, связывая огромный регион в единое целое; а на Ближнем Востоке сложился некий дух обособленности,  $A=A=B$ , и этот дух передавался каждой новой народности, переходившей от племенной жизни к государственной. Структура пространства, структура ума и зримого воплощения ума в предметах быта и в жилище (прямолинейность мысли и дела, обособленность очага от очага) находятся здесь в полном соответствии. Так же как в цивилизациях Юга и Востока Азии — размытость пространственных и интеллектуальных границ.

Кроме того, высокая цивилизация возникает в Индии и Китае позже, чем на Ближнем Востоке. Строительство империй начинается в Индии совсем поздно, — как и в Китае, в Осевое время, после возникновения мировых по своему потенциалу религиозно-философских учений. Ашока и Цинь Шихуанди во многом противоположны, но оба они — ученики философов, оба исходят из известных *принципов* устройства Поднебесной. И если принципы школы фа (легизма) оказались пригодными только для захвата империи, а не для ее устройства, то очень скоро удалось их заменить и дополнить другими принципами и создать имперский духовный синтез, продержавшийся свыше двух тысячелетий. Нечто подобное на Ближнем Востоке происходит только в эпоху Александра, ученика Аристотеля. Немного упрощая, можно сказать, что Александр — современник Ашоки и Цинь Шихуанди. И созданная им эллинистическая империя — по меньшей мере попытка к духовному (а не только политическому) синтезу.

Однако строительство империй на Ближнем Востоке началось гораздо раньше, еще в III-II тысячелетиях до Р.Х., без знания того, что китайцы воплотили в легенде о Вэнь-ване и У-ване. Согласно этой легенде, Вэнь-ван, царь культуры, создал духовный облик Чжоу, и только после этого У-ван, царь войны, завоевал империю Чжоу, покорив царство Инь. Практически события развивались в обратном порядке, воин захватил власть, а потом его наследник придавал новой династии блеск. Но так или иначе, У-ван в Китае все время сотрудничает с Вэнь-ваном. Каждая солидная, устойчивая династия, приходя к власти, ставит своей задачей расцвет культуры и считает это делом наследника воина-узурпатора. Император-меценат дает ход новым тенденциям в литературе и искусстве, а его потомки, следуя сяо (сыновней почтительности), сохраняют этот стиль. Так складываются танская лирика и танская новелла, сунская живопись, юаньская драма<sup>65</sup>. Обаяние культуры — сильнейшее оружие Китая в его отношениях с варварами. Все народы, вторгавшиеся в Китай, окитаились. Принципы Вэнь-вана оказались достаточно универсальными, доступными каждому новому этносу, и превращали этот этнос в своего носителя, в частицу китайского суперэтноса.

Индийская культура строилась иначе. Политическое единство здесь менее важно, чем единство религиозное (единство с размытыми границами, единство текучее, но достаточно эффективное). Общественное

---

65 Ср. *Кроль В.Л.* Родственные представления о «доме» и «школе» в Древнем Китае. — *Общество и государство в Китае.* М., 1981. С. 39—57.

производство в Индии регулируется не столько государственными чиновниками, сколько религиозно санкционированным кастовым разделением труда. Но с интересующей нас точки зрения Индия — еще более яркий пример. Никогда не способная к защите своих границ, она покоряла варваров комплексом своей культуры, превращала их в касты и подкасты своей социально-религиозной системы.

На Ближнем Востоке всё шло не так. Саргон Аккадский, вторгшийся в Сирию и разрушивший цветущий город Эблу (с населением в 250 тысяч жителей — огромный город для XXIII века до Р.Х.), был только У-ваном. Вэнь-ван ему не наследовал. И все другие завоеватели, вавилонские, египетские, ассирийские, нововавилонские — были только У-ваны. Иногда они пытались создать единый народ, но только очень грубыми, административными средствами, переселив, например, евреев в Месопотамию, чтобы они там ассимилировались. Такое насилие действует как ветер на огонь: маленький гасит, большой — раздувает.

Единая культура не могла здесь сложиться эволюционным путем, впитывая в себя все новые и новые этносы. Оказалась возможной и необходимой монотеистическая революция (ненужная и до сих пор непонятная Индии и Китаю). Над местными богами нависла неумолимая судьба. Она обрела их на упразднение как богов ложных, и колонны их храмов стали строительным материалом для базилик единого, всемогущего, незримого и вездесущего Бога.

Эту тенденцию понял Эхнатон, — но египтяне были слишком привязаны к старине. Они предпочли остаться без империи, чем без Озириса и Изиды. Почему же образ единого Бога был подхвачен странниками, чужаками?

Я думаю, что дело здесь не только в религиозной одаренности евреев. Одаренность индийцев не меньше, во всяком случае. Но евреев подталкивали условия жизни торгового народа, формирующегося народа диаспоры. Читая Библию, нетрудно заметить, что евреи, садясь на землю, начинали молиться хозяевам земли. Только оторванные от своих полей, они оставались один на один с вездесущим верховным Богом. Только Он сопровождал их в странствиях, в изгнании, в плену. Судьба народа диаспоры разрывает диффузное единство первобытной религии и усиливает тот элемент, который при развитии большинства средиземноморских народов земли угасал, не укладываясь в средиземноморскую логику.

Нечто подобное произошло с индийскими торговцами в Африке. В третьем поколении эмигранты из Индии потеряли малых богов и духов своего пантеона и остались один на один с Вишну или Шивой, установив с ними непосредственную интимную духовную связь<sup>66</sup>. Это сдвиг к

---

<sup>66</sup> «Возможно, благодаря оторванности индуистов Восточной Африки от Индии, — перед нами здесь третье поколение эмигрантов, — люди здесь бывают одержимы и направляемы только членами “великой традиции” индуистского пантеона». — *ВНгаиИ А. Тье он!о!о§!са! з!а!из о! рзусь!с рйепотепа т Шпдшзт апд ВиддЫзт. 1п:*



религиозности еврейского склада. К сожалению, изгнание индийцев из Восточной Африки остановило интересный процесс. А евреям история дала достаточно много времени.

Сохранилось письмо, написанное в XIV веке до Р.Х. из Сирии в Египет на тогдашнем международном аккадском языке с глоссами на иврите (который, по-видимому, был родным языком обоих корреспондентов), и другое письмо, написанное от имени фараона царю хеттов с просьбой прислать иберу, живших под властью хеттов, для поселения в только что завоеванной Рамзесом Нубии (видимо, в качестве гарнизона)<sup>67</sup>. Не исключено, что с этого именно начался египетский плен; хотя какие-то группы могли попасть в Египет раньше — вместе с гиксосами, а потом — прыжок Моисея и Иисуса Навина в Палестину, в Землю обетованную. С двумя идеями, в сущности противоположными, из которых одна вела к Христу, а другая — к распятию Христа. С одной стороны, с идеей милости ко всякому страннику, а с другой — с идеей мировой империи, основанной на единой истинной вере, нетерпимой к чужим богам.

Пружина, развернувшаяся, в конце концов, в исламе, толкала к завоеваниям. Но евреи были маленьким изолированным народом, в духовном гетто закона, и постоянно достраивали стену закона, отделившую их от язычников. У них не было монотеизма для неграмотных, вокруг которого можно было создать коалицию соседних племен и народов (как это сделал Мохаммед). На основе сложного, запутанного закона не мог сложиться народ, бесчисленный, как песок морской. Трагизм еврейской судьбы — в несоответствии между начинаниями мирового масштаба и принципиально ограниченными силами. Отсюда постоянные попытки соорудить нечто огромное и — катастрофы. Дело не только в незащитности диаспоры. Попытки выйти из незащитности, обрести свою нору, вели к новым катастрофам. И все еврейские предприятия, все храмы, которые создавал Израиль, история неумолимо разрушала. Сохранялся только духовный храм — в Библии, в легендах хасидов, в поэзии и в прозе... Проходили века — и повторяли тот же круг, постепенно освобождая от кровоточащей плоти чистый дух царствия не от мира сего, прорыв сквозь время в чистую вечность.

Так первоначальный монотеизм развернулся в две мировые религии, а оставшееся ядро (иудаизм) сохранило структуру народа-церкви и церкви-народа, которую мы находим впоследствии и у других народов диаспоры (монофизитской и несторианской), — с небольшим, временами исчезающим национальным ядром и обширным облаком рассеяния, остающимся после вавилонского, персидского, римского плена.

У всех позднейших народов-церквей бросается в глаза несколько общих с евреями черт: наследие великой культуры, специфическая форма монотеизма, препятствующая ассимиляции, небольшое национальное ядро

---

Рагарзусьо1о\$у апд апШгоро1о\$у. Просеедтдз... N. V., 1974. P. 227.

<sup>67</sup> Устное сообщение В.В. Иванова. Ему я обязан также данными об архиве Эблы и об именах еврейского типа в династии гиксосов.

и обширное облако рассеяния. Однако полной утраты исторической родины армяне не испытывали (а ассирийцы испытали только в XX веке). С такой точки зрения, они стоят посередине между еврейской диаспорой и текущими диаспорами XIX-XX веков, возникающими при полном сохранении национального ядра. Только еврейской диаспоре свойственны периодические завоевания Палестины и периодические утраты ее, когда национальный очаг сохраняется как идея, как тоска (на следующий год — в Иерусалиме!).

Если глядеть на этот процесс телеологически, со стороны его цели, то можно заметить, что структура, сложившаяся к Рождеству Христову, была наиболее благоприятна для этого события. С одной стороны, был национальный очаг — а в национальном ядре народ менее держится за старину, более восприимчив к новому для него<sup>68</sup>. В национальном ядре строгое сохранение обряда перестает быть единственным отличием еврея от нееврея, армянина от неармянина. И поэтому можно было учить, что не человек для субботы, а суббота для человека, и что молиться надо не на горе и не в храме, а в духе и в истине. В то же время, обширное облако диаспоры было готовой сетью для *распространения* христианства.

Однако роль диаспоры не была исчерпана рождением христианства. Диаспора (еврейская и несторианская) помогла и рождению ислама.

Наконец, несториане попытались превратить монгольские завоевания в крестовый поход против ислама. Они встретили монголов как освободителей и помогали им, чем могли. Монгольским войском, выступившим против Египта, командовал несторианин. Но войско оказалось слабым (лучшие силы были посланы в Среднюю Азию, где началась борьба за верховную власть); и мамелюки разбили отряд, рассчитывавший больше на страх перед монголами, чем на свои силы. Через некоторое время монголы, поселившиеся в зонах ислама, приняли ислам (так же как другие монголы, оказавшиеся в зоне буддизма, приняли буддизм). Несториане потеряли своих покровителей. И очередная попытка диаспоры основать всемирное царство кончилась тем, чем заканчивались другие подобные попытки — жестоким погромом. Большая часть несториан была вырезана.

Положение диаспоры почти всегда бедственно. Психологическая нагрузка, которую несет человек диаспоры, почти невыносима. И характер человека диаспоры достаточно часто деформирован. Это превосходно описал Н. Трубецкой, анализируя психологию русской диаспоры в статье «О расизме», за которую он был убит, когда гитлеровцы вошли в Австрию (*Трубецкой Н.С. О расизме.* — Ип: N.8. ТгаБe12коу8 ^eиe^8 апё по!e8. ТЪе Надие-Раш, 1975. Р. 467-474).

Подталкиваемая постоянным внутренним беспокойством, диаспора склонна к отчаянным попыткам выйти из своего положения. Иногда эти

---

<sup>68</sup> Ср. в наши дни резкую реакцию армян зарубежья на разрешение праздновать Рождество, т.е. несколько отступить от строгого монофизитства. В национальном ядре решение католикоса не вызвало такого негативного отклика. Армяне в Армении остаются армянами и без строгостей религиозного предания.

попытки дают временный успех — например, богатство, накопленное в торговле, или политическое влияние. Но то и другое вызывает ненависть, и ненависть в конце концов обрушивается на диаспору (не был ли Исход расплатой за успех Иосифа и политику Эхнатона?). Диаспора легко становится инструментом политики — и расплачивается за эту политику. Мы уже упоминали о попытке фараона (видимо, Рамзеса) использовать иберу для гарнизонной службы в Нубии. Что из этого проекта вышло — неизвестно. Однако в V веке до Р.Х. персы, завоевав Египет, действительно поставили еврейский гарнизон на о. Элефантина и поручили ему полицейскую и таможенную службу. Какие чувства это вызвало у египтян, можно понять; когда Египет завоевали греки, начались погромы. Ища спасения, евреи поддерживали тех претендентов на престол Птолемея, которые обещали им право на оружие и на организацию самообороны (как это описано в книге «Эсфирь», возникшей, по предположению Лурье, именно в Александрии во II веке до Р.Х.). Но неудачливые претенденты терпели поражение, и победители устраивали новые погромы; потом возникла какая-то погромная традиция, основанная на обычном наборе обвинений, которые народ диаспоры вызывает у народов земли.

Последний большой погром случился уже при римлянах. Еврейские кварталы Александрии отчаянно защищались. Римляне, которым греки были понятны, а евреи — чужды, послали легион в поддержку погромщиков, и дело кончилось гигантской резней. Вырезали несколько десятков тысяч. В состав делегации, посланной к императору с жалобой, входил знаменитый Филон. Но его красноречие не помогло. Всё это происходило до распятия Христа, до того, как возникло обвинение в богоубийстве.

Аналогично складывалась и судьба армян. Оказавшись между Турцией и Россией, армяне встали на сторону России. В результате турки стали поощрять армянские погромы и в конце концов поступили с армянами примерно так же, как Сталин — с крымскими татарами (и с еще более убедительным результатом)<sup>69</sup>.

Великие монотеистические религии, христианство и ислам, унаследовали от Эхнатона и Моисея не только порыв к вездесущему добру, они унаследовали также и их нетерпимость, и эта нетерпимость резко ухудшила положение зачинателей монотеистической революции. Временами оно граничило с положением прокаженных. Но та же нетерпимость терзала и сами вселенские вероисповедания в религиозных войнах между мусульманами и христианами, суннитами и шиитами, католиками и православными, католиками и протестантами.

Религиозная нетерпимость нашла свое продолжение в идеологической нетерпимости, а нетерпимость, обращенная на богов и духов природы, была мощным фактором рационализации человеческих отношений с природой, которую оплакивал Шиллер, превознес Макс Вебер и снова

---

<sup>69</sup> Вопреки мнению, высказанному секретарем Солженицына в «Вестнике РХД», геноцид начали не социалисты, а националисты-младотурки.

осудили экологические активисты. Линн Уайт и А.Дж. Тойнби видят в Библии один из источников экологического кризиса<sup>70</sup>.

Нетерпимость — не всегда зло. Многое зависит от того, к чему мы нетерпимы. В иных случаях пороком становится терпимость (к хамству, халатности, ксенофобии). «У вас нет врагов, дружок? Здесь нечем хвастать», — писал английский поэт (кажется, Мур).

*Вы никогда не повернули кривду в правду.  
Вы были трусом в битве.*

Нетерпимость — зло, когда она обрушивается на различия, не затрагивающие глубину духа. Нетерпимость становится благом, отсекая глубинную мерзость. Так можно понять слова Христа: я принес не мир, но меч.

Христос был нетерпим к греху — и снисходителен к грешникам. Это смущало, сбивало с толку евреев. Большинство евреев не поняли Христа. Но большинство христиан его также не понимают. Христиане смешивают грех и грешника ничуть не меньше, чем иудеи. Отчасти в этом виноват язык иудео-христианской традиции. В самом слове «грешница» есть что-то, требующее побить ее камнями. Или, по крайней мере, ударить (словом, взглядом). Когда Христос хотел призвать к снисходительности, он сказал: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Здесь ключевое слово — «неведение». Как у Будды и буддистов. Грешника надо побить, неведающего — научить. Христос только однажды поднял бич. Всё остальное время он учил. Но христиане остались в плену слов: грех, грешник, грешница; первородный грех; грех богоубийства; грехи отцов... Мудрено ли, что инквизиторы стали жечь еретиков, колдунов, ведьм — и заодно евреев, совративших христиан в свою старую веру или просто непочтительных к знакам веры новой.

Язык Будды, язык Индии мягче, терпимее. И в истории буддизма скорее виден излишек терпимости, снисходительности к злу, чем чрезмерной суровости. Здесь снова хочется вспомнить отличия средиземноморской логики (черное или белое? огонь или вода?) от логики индийской и дальневосточной. В которой нет резкого противопоставления добра — злу, истины — лжи. В которой истина мыслится невыразимой, а

---

<sup>70</sup> Основные возражения их противников сводятся к тому, что экологическая напряженность гораздо старше Библии; что одним из источников хищнического отношения к природе был греко-римский рационализм; что китайцы, не знавшие Библии, вырубали все леса в долинах рек Хуанхэ и Янцзы (их подталкивал рост населения). Ср. Шиллер Ф. Боги Греции. Соч. т. I (1955). С. 156-159; Лёгатовская О. Махатма, 1966; Жюльен А. Тьенантский, 1901; Ойген Шлегель. — «Science», 1967. Vol. 155. P. 1203-1207; Тоунби Л. Л. Тьенантский. — «Science», 1972. P. 152-163; Нидкез А. А. Экологическая теория, 1975; Экологическая теория. Ей. Ю. А. Э. Эрнст, 1974.

всё высказанное — неполным и недостаточным, и поэтому не толкает к резким и непримиримым противопоставлениям (неизбежным, если истина полностью высказана и противостоит обличенной лжи).

К чему это вело практически? Возьмем для примера касты. Допустим, что касты — бесспорное зло (на самом деле это очень не простой вопрос. С кастовым делением — как и с классовым делением — связано много зла, и все же бескастовое общество не всегда лучше кастового. Однако для примера я упрощаю дело). Буддизм (там, где он победил, на Цейлоне) смягчил кастовую систему, снял ее крайности, но упразднить ее не смог. Ислам, проникнув в Индию, упразднял касты (для всех, кто принял истинную веру). Пережитки кастовых делений остались на уровне бытовых привычек, но религия Мохаммеда их не поддерживает (как индуизм), не игнорирует (как буддизм), а прямо отрицает. Монотеизм решительнее в борьбе со старым злом, с тем, что он застает в традиции, сложившейся до его возникновения, до его прихода. Буддизм обладает меньшим реформаторским пафосом, он скорее сживается со старым злом, примиряется с ним. Разница не безусловная — скорее, больше и меньше, чем да и нет. Но разница есть. И на первый взгляд — в пользу монотеистической религии.

Однако зло хитро, глубже укоренено, чем кажется на первый взгляд. Сама борьба со злом создает новое зло. Все лекарства — яды, и энергичное лечение создает новые болезни. Индия вяло боролась со старым злом — с племенной и кастовой ограниченностью, с кастовым высокомерием, с застыванием в архаических началах. Но зато Индия породила меньше нового зла.

Монотеизм — это религиозная революция (точка зрения, обоснованная Максом Вебером), а все революции создают новое зло, иногда меньшее, чем старое, иногда большее. Монотеизм возник на почве, тяготевшей к революциям, и усилил эту тенденцию, внес свою лепту в революционные процессы. Насколько велика его роль — трудно сосчитать (потому что рядом действовали другие силы). Но есть серьезные основания искать корни современных кризисов в старых конфликтах, из которых выросли монотеистические религии и которые они породили.

Монотеизм — по крайней мере, еврейский и особенно христианский монотеизм — перевернул отношение нового и старого. В обетовании Мессии, а потом второго пришествия Христа было (как уже говорилось) обещание золотого века впереди, а не позади, в прошлом. И в постановке Нового Завета выше Ветхого была идейная бомба замедленного действия, может быть, решающая для перехода к фаустовской цивилизации (в исламе эта бомба обезврежена положением Мохаммеда как последнего пророка).

Идея религии третьего завета у Иоахима Флорского и идея прогресса у Кондорсэ — ереси, которые могли вырасти только на иудео-христианской почве, подготовленной психологией диаспоры и ранней церкви, странницы во всех землях. И тоталитарный социализм впервые оперился на этой же почве, унаследовав от христианства его нетерпимость единственной истины. Чтобы стать действительной альтернативой тоталитаризма, религии предстоит освободиться от того, что привело к нему, иначе

альтернатива окажется ложной и возвращение к вере примет форму нового тоталитаризма в духе Хомейни.

Обновление религии требует глубокого и нелегкого пересмотра отношений между духом и буквой, в дзэнских терминах: между луной и пальцем, указывающим на луну. Этот пересмотр не может быть быстрым; но начать его нужно. Саморазрушительные тенденции XX века очень сильны. Весь мир превратился в кошмар Раскольникова, описанный в эпилоге романа: кучки людей, охваченных фанатизмом окончательной истины, готовы уничтожить друг друга, и современная техника дает им в руки достаточные средства.

Религия сможет успешно противиться безумию только в том случае, если она сама излечится от него. Нельзя лечить политических маньяков, оставаясь маньяками религиозными, не освободившись от идеи своей безусловной правоты в вере. Безусловен только дух, веющий всюду (и потому простится хула на Отца и Сына, но не простится хула на Святой Дух). А системы символов и обрядов — только дорожные знаки, указывающие душе ее путь. Каждый человек может выбрать тот путь, который ему лучше подходит. Он может выбрать веру отцов, но только в том случае, если это выбор его собственного сердца (а не только традиция). И религия детей может отличаться от религии родителей так же, как характеры потомков не повторяют характеров предков.

Важно начать перестройку сегодня. Важно понять, что фундаментализм Каддафи или Хомейни — такое же изуверство, как коммунизм Пол Пота. Глубокая и полная перестройка потребует веков духовной работы. Но сами катастрофы, которые ожидают человечество, будут подталкивать становление вселенского духа понимания. Так же, как крушение Римской империи подтолкнуло становление христианства.

Я не вижу другого выхода для человечества, кроме диалога религиозных мирозерцаний, до некоторой степени напоминающего диалог национальных культур Европы. Модель европейской культуры, в которой нет главной нации, а все ведущие нации перекликаются в борьбе за временное первенство, как инструменты в оркестре, — может и должна стать моделью мировой системы культур. Ни буддизм, ни индуизм, ни конфуцианство не должны исчезнуть. Нам есть чему учиться у них, и им есть чему учиться у нас. И пусть Бог поможет нам всем освободиться от гордыни вероисповедания.

### Человек диаспоры как Другой

Мы легко миримся с Другими в тридесатом царстве; но если он, со всеми своими обычаями, становится близким соседом, — это раздражает. Для ненависти к соседу за границей нужны причины, нужен конфликт. Диаспора раздражает всегда, любая, без всяких причин. Зачем она, чужая, чувствует себя как дома? Это *мой* дом! Между тем, волны миграций перекачиваются из страны в страну и оседают, где вздумаются.

Цивилизация становится *мозаичной*, — если воспользоваться термином, созданным Умберто Эко. В любой современной стране — вкрапления чужеродных групп, которые осели, пустили корни и стали частью нашей жизни. Это одна из самых острых форм общей проблемы Другого.

Чувство Другого возникло не сегодня и не вчера. Но в современном обществе, меняющемся изо дня в день, мы сами для себя становимся Другими. (Чувство Другого делается все острее по мере того, как личность выделяется из сословия, из семьи, из толпы.) Достоевский признавал себя Другим в Инженерном училище — русский среди русских, дворянин среди дворян. Он потрясающе описал чувство Другого — и его «Записки из подполья» нашли глубокий отклик среди сионистов, Других с момента рождения, жаждущих Земли обетованной, где освободятся от этой неполноты бытия. Освобождения не вышло, и Достоевский остался любимым писателем Израиля. Вероятно, там морщатся на выходки против евреев, но захватывает психология беспочвенного героя Достоевского. Впрочем, захвачены и японцы, совсем далекие от русской «почвы» и русских проблем. Там другая история, но и она уперлась в беспочвенность.

Кто хоть раз не чувствовал себя Другим? Кто не обнаруживал вдруг Другого в самых близких? Чем обособленнее внутренний мир человека, тем более он раним, тем больше готов повторить вслед за Сартром: «Другой отнимает у меня мое пространство. Существование Другого — недопустимый скандал». А когда люди не выдерживают одиночества и сбиваются в стаи — Другим становится соседняя стая, иначе сколоченная, иначе верующая; и сербы отнимают пространство у хорватов, а хорваты у сербов. Хотя у тех и у других — один и тот же Бог, и, казалось, несть во Христе ни эллина, ни иудея, ни скифа, ни римлянина... Казалось бы. Но действительно почувствовать эти старые слова надо сердцем. А это не выходит. Почти никогда не выходит.

Мартин Бубер описал проблему Другого в терминах двух отношений: Я=Ты и Я=Оно. Я=Ты — отношение любви (к Богу и к ближнему). Я=Оно — отношение к предмету: сегодня он нужен, а завтра мешает. Годится — молиться, не годится — горшки накрывать. Чем больше мы захвачены делом, тем труднее оторваться от делового отношения к предметам, и когда помеха — человек, вспомнить, что этот человек (муж, жена, отец, мать, ребенок, сосед) — Ты, образ и подобие Божье... Может быть, искаженный образ, но и в искажении своем не вошь, не ветوشка. Кто не замечал, что захлеб дела, захлеб идеи превращает Ты в Оно, вытесняет из мира Бога — Бог неощутим в третьем лице, — и в конце концов ты сам становишься Другим, потерявшим связь с целостностью жизни, потерявшей свой смысл. Кто, прослушав проповедь о любви к ближнему, сохраняет отношение Я=Ты, втискиваясь в автобус?

Отвлеченным умом нетрудно понять, что одна из проблем современного сложного мира — как соединить твердую верность своим убеждениям, своим нормам добра с уважением и терпимостью и нормами Другого. Но одно дело понять это отвлеченным умом, а другое — умом сердца. Когда Лев Толстой противопоставляет Болконских Ростовым, он

по-своему противопоставил отношения Я=Ты и Я=Оно. Я=Ты — это присутствие сердца в каждом движении ума. Оно легко дается в узком кругу семьи, рода, «роя» (как иногда выражался Толстой). Но оно становится синей птицей, не дающейся в руки, когда теплый мир семьи, сословия, роя рассыпается, когда человек обособляется и хочет жить своим умом. Он создает этические учения, нормы, ценности — но на каторге Достоевский увидел, к чему сползает мир без постоянного прорыва в глубину: «умри сегодня, я умру завтра».

Первым выпал из роя чужак, странник, изгой. Угоден Зевсу бедный странник — говорили греки, мысленно ставя беззащитного под защиту бога. И в Библии несколько раз повторяются слова: «Будь милостив к страннику (=чужаку, изгою), ибо сам ты был странником в Земле египетской». Мы подходим тут к еще одному повороту проблем, связанным с диаспорой. Только в народе-пленнике, народе-изгое, чуждому земле и богам земли, учение о вселенском Боге, о Боге-Духе, веющем всюду, нашло свои земные корни. И когда евреи, осев на землю, стали поклоняться ваалам («хозяевам», вроде бажовской «Хозяйки Медной горы»), — нашлись пророки, удерживавшие народ от возвращения в язычество. А потом веру в Единого подхлестывали новые пленения, новые беды.

По мнению Шпенглера, к I веку Иерусалим значил для евреев не многим больше, чем Рим для католиков. Это был центр веры, но уже тогда жили евреи повсюду. И какая-то часть этого народа, потеряв почву на земле, искала опору только в небе. Эта часть диаспоры подхватила «благую весть» и разнесла ее по империи. В посланиях Павла — вся география Средиземноморья. Ко 11-111 векам христиане оторвались от еврейства, но сохранили характер людей диаспоры. Народы земли не понимали их так же, как евреев, и даже еще больше. Потом клевета против христиан обернулась на евреев.

Один из парадоксов истории, что еврейские идеи, захватившие языческие головы, становятся антисемитскими. С марксизмом случилось то же самое, что с христианством: к 1953 г. он дошел до дела вра-чей-убийц, и уже готовились вагоны для ссылки еще одного народа, вслед за народами Кавказа и Крыма. Поворот КПРФ к теории этносов похож на фарс. Но в речах Гитлера тоже было много пошлого, клоунского. Тут большого ума не надо. За спиной дурака-погромщика стоит миф.

Евреи — самый древний из народов диаспоры. И за ними тянутся следы богословских споров и проклятий, дающих юдофобам готовую идеологию. Евреям можно приписать целый ряд роковых событий истории. Евреи окружены облаком мифов, и чтобы помахивать антисемитским кадиллом, не требуется большого ума. А размахивать хочется, потому что человек диаспоры гибче приспосабливается к обстановке и иногда умеет извлечь выгоду даже из нынешнего хаоса. Это, однако, не этническая еврейская черта. Это черта диаспоры — какой бы то ни было.

Если сбудется золотая мечта юдофобов и еврейская «мафия» — вместе со всеми евреями — провалится сквозь землю, свято место не останется



пустым. Его тут же поделят другие финансово-криминальные группировки, которые мы, на итальянский лад, называем мафией: армянская и азербайджанская, грузинская и чеченская; а если и их истребят, то найдется кто-нибудь еще. Потому что сила сцепления малых народов, их солидарность, их взаимная выручка больше, чем у русских. Это связано с особенностями русской истории и может быть преодолено, если история изменится, но пока это факт и факт обидный. Талантов полно, но не хватает «соображалки», рыночной интуиции. У средневековых англичан этой соображалки тоже не было, и они воспринимали еврейские навыки в торговле и финансах как дьявольское наваждение. После нескольких погромов евреи были изгнаны. А потом, когда евреи — через несколько веков — вернулись, их приняли, как компаньонов, с которыми можно вести дело. Думаю, что несколько веков России не понадобится. Но пройдет какое-то время, пока конкуренция евреев, армян, грузин, чеченцев, ингушей, азербайджанцев, татар и прочих станет привычной и будет использована как школа деловых навыков. Скорее всего, по мере того как бизнес будет освобождаться от советских извращений.

Кто старое помянет, тому глаз вон; но хочется напомнить коммунистам, что криминальное извращение бизнеса разрослось еще при их власти; что именно их неуклонная центрально-административная экономика создала, как свое необходимое дополнение, экономику теневую, связанную с преступным миром. И как только террор пошел на убыль, после смерти Сталина, союз теневиков и взяточников стал фактической властью в целых республиках, на Кавказе и в Средней Азии. Шеварнадзе, а за ним Алиев пытались бороться с новой властью, используя аппарат КГБ; они добились только того, что масштабы взяток, учитывая риск, выросли вдвое. Потом Андропов подкручивал гайки во всесоюзном масштабе — с тем же нулевым результатом.

Были и другие попытки разорубить гордиев узел. Рубили виноградники. Устроили шумное узбекское дело. Мафия отступала на пару шагов, но не сдавала своих позиций. И нет ничего удивительного, что именно преступные группировки сумели воспользоваться «перестройкой» и захватили львиную долю власти в России. Загнать мафию в подполье безусловно можно, но такими средствами, которые хуже самой болезни. Скорые способы сводятся к террору; и заодно с мафией он парализует всякую негосударственную активность. Итальянцы помнят, что Муссолини прижал мафию, но возвращаться к Муссолини не хотят, предпочитают медленное, но верное укрепление правового порядка. И у нас, в России, была написана песня Галича: «Мне не надо скорой помощи, дайте медленную помощь...».

Юдофобство — и всякое диаспорофобство — извращает проблему, превращает действительность в миф. Но у этого мифа есть свои основания, которые требуют серьезного и честного анализа. «Широк, слишком широк человек, я бы сузил», — сказал Митя Карамазов. Это относится не только к русским. По крайней мере некоторые народы диаспоры одновременно тяготеют к высотам духовности и к низости рынка. Грубо практически

люди, закоренелые в грехах, становятся праведниками, когда дело касается перемены веры. Такой случай я знаю и из жизни армян. Один из молдавских господарей XVI в. решил пополнить свою казну и предписал армянским купцам, под угрозой смертной казни с конфискацией имущества, перейти в православие. Расчет оказался правильным. Все купцы остались верны своей армяно-грегорианской церкви и приняли мученический венец за свое монофизитство (учение о том, что человеческое в Христе поглощено его божественностью). В истории евреев подобные эпизоды случались из века в век.

Иногда два лица диаспоры воплощались в семье как своего рода разделение труда. Был еврейский обычай — выдавать богатых невест за абсолютно непрактичного праведника, погруженного в Писание, посты и молитвы. После этого рабби продолжал свою учительную жизнь, а жена торговала в лавочке. Но все эти тонкости заметны только изнутри общины, да и то не всегда. Есть еврейская легенда, что полнота совести народа воплощена каждый век в тридцати шести незаметных праведниках. Их никто не признает, их все унижают, травят, и только в посмертии Бог отогревает их души в своих ладонях. Эту старую легенду обработал Андре Швацбарт в своей книге «Последний из праведных».

Внешнему миру противостоит другой тип диаспоры — напористый, иногда вульгарный в своей практической хватке. Таков Янкель у Гоголя, таковы же армяне в глазах турок, китайцы — в рассказах малайских писателей. Кажется, что характеры, нарисованные ими, списаны у Василия Белова, с заменой имен и некоторых бытовых подробностей. Это почти всегда не портреты, а стереотипы, нечто вроде карикатурных фрицев и гансов в газетах 1941-1945 гг. От власти призраков, созданных ненавистью, надо освободить свой ум. Но диаспора действительно не состоит из одних агнцев.

Человек диаспоры, вечный изгнанник, не имеющий почвы в народе, который его окружает, не имеющий опоры в администрации, висящий в воздухе, — компенсирует себя за необеспеченность повышенной активностью, удвоенной энергией в конкурентной борьбе. Стресс часто дает вспышку энергии, а жизнь диаспоры полна стрессов. В тех областях, к которым он допущен, человек диаспоры неудержимо выдвигается. В средневековом обществе это торговля, финансы, в современном — наука и средства массовой информации. Это не этническая черта, а социальная. Павел Литвинов, бывший диссидент, а сейчас профессор американского колледжа, рассказывал мне, что самые успевающие студенты у него не евреи (они почувствовали себя в Америке дома и полениваются), а мигранты со свежим чувством изгнанника — китайцы, корейцы, вьетнамцы. Об этом же говорит современная американская шутка: «В наших университетах талантливые русские профессора (очень часто — еврейского происхождения. — Г.П.) обучают талантливых китайских студентов». Освободить мир от энергии мигрантов (в том числе иногда и преступной энергии) можно только одним радикальным способом: «закрыть Америку», прекратить современное развитие. Но даже ретивый

начальник, созданный воображением Щедрина, задумался и прибавил: «но сие от меня, кажется, не зависит».

Развитие связано с напряжениями, с конфликтами. Их нельзя совершенно избежать. Их можно только смягчать, помнить уроки прошлого — и искать пути примирения и прощения.

Приведу два трагических примера. Один из них кончился катастрофой; это история евреев в Восточной Европе. В XIV в. польские короли пригласили евреев, бедствовавших в соседней Германии, предоставив им большие привилегии. Надо было создавать городские экономические структуры. Нужны были еврейские ремесла, торговля, финансы. Без этого трудно было вести войны с могущественными соседями. В современной Польше группа католической интеллигенции пытается подвести итог огромной созидательной работы евреев в этой стране. По словам профессора Кучинского, доклад которого я слушал в Швейцарии, в 1996 г., его исследование можно описать как диалог с мертвыми; живых евреев в Польше практически нет, тысяча человек на сорок миллионов; и в гибели польского еврейства виновны были не только немецкие фашисты: с ними сотрудничала часть поляков. Их вину г-н Кучинский с горечью признавал.

В активности польских евреев были своя изнанка. Паны сдавали им земли, корчмы, винокурни в аренду и без всяких хлопот получали деньги для своих пиров и походов. А холопам пришлось кормить двух хозяев: землевладельца и посредника. Некоторые арендаторы были порядочные люди, ладившие с крестьянами и не разорявшие их; но попадались и пиявки. Столкновение этих двух типов описано в романе еврейского писателя, нобелевского лауреата Башевиса-Зингера «Раб». В сознании хлопов отпечатался только негативный тип (это так и у турок, и у малайцев — у всяких крестьян, столкнувшихся с денежным капиталом). А дальше действует цепь причин и следствий, наподобие той, которую испытали на себе русские в Прибалтике: не все относились к местному населению с имперской спесью, а расплачивались все.

Народный антисемитизм и погромы сопутствовали евреям во все века Речи Посполитой — и в собственно польских, и в украинских провинциях, где восставшие убивали евреев вместе с поляками. Жив антисемитизм и в современной Польше, жив и в католических кругах, несмотря на усилия таких католиков, как Кучинский, и самого Папы римского, решительного противника антисемитизма. Антисемитизм каким-то образом сохраняется даже без евреев, как улыбка Чеширского кота без самого кота. Адам Михник объяснял мне это так: «идет борьба с недостаточно польскими поляками и недостаточно католическими католиками». Миф живуч и требует воплощения: в евреи назначают, почти как у нас, по разверстке, назначали крестьян в кулаки. Читатель, возможно, найдет некоторые аналогии в русском термине «жидо-масоны» (если нельзя зачислить в жиды, то всегда открыта рубрика масонов).

Другой пример очень старый. Я заимствую его из книги Соломона Лурье «Антисемитизм в древнем мире», вышедшей, по недосмотру Главлита, в Петрограде, в 1922 году. Когда Ахемениды завладели Египтом,

они вспомнили о старой вражде евреев к стране, из которой их вывел Моисей, и поставили на острове Элефантина еврейский гарнизон, поручив ему полицейскую и таможенную службу. Потом пришли греки. Птолемям (которым достался Египет) еврейские внутренние войска были ни к чему, и на диаспору, оставшуюся без прикрытия, обрушились погромы. Лурье заканчивает эту историю поучением (не замеченным цензорами): евреи, пошедшие на службу в ЧК, плохо знают прошлое своего народа.

Он был прав: рассказы о евреях-следователях были использованы гитлеровцами; используются они и сейчас. Я мог бы заметить, что в середине тридцатых годов состав ЧК-ОГПУ-НКВД почти полностью переменялся, следователей 1932 года пытали и посылали на расстрел следователи 1938 года, и когда я сидел на Лубянке, в 1949-1950 гг., от бывшего аппарата остался только один еврей-фотограф; зато евреи составляли 50% заключенных на Малой Лубянке (во внутренней тюрьме областного управления), 70% на Большой Лубянке и до 90% в следственной части по особо важным делам: советская власть этой эпохи стремительно катилась к нацизму. Однако меня больше волнует продолжение древней истории, не замеченное Лурье. Замечательный историк был атеистом и не придавал большого значения факту, который он, конечно, знал. А по-моему, это один из кардинальных фактов мировой истории.

Именно в это время, при Тиберии кесаре, проповедовал Христос. И прошло всего несколько лет после погрома, когда Савл, ставший Павлом, написал свои прославленные, много раз повторенные — и до сих пор не усвоенные слова: «несть во Христе ни эллина, ни иудея». Христианство было создано общими усилиями евреев, сородичей зарезанных в Александрии, и греков, сородичей погромщиков. И сегодня мне хочется сказать: нет во Святом Духе ни тех, кто чудом уцелел в Сумгаите или в Оше, ни тех, кто упивался резней. И сегодня возможна солидарность людей разных наций, разных церквей и общин. Я каждый год встречаю эту солидарность на конференциях общества морального перевооружения в Швейцарии.

К сожалению, народы Земли, став исповедниками мировой религии, сохранили языческое чувство неприязни к Другому; выдохся порыв к единству в Боге, а экуменизм стал бранным словом для некоторых русских священников. Но в мире действуют не только демонические вихри, не только инерция греха и невежества. Страшен черт, да милостив Бог. Я верю в мировой религиозный процесс, направляемый Святым Духом. Этот Дух уравнивает силы отчуждения и ненависти, растущие наперегонки с проблемами, требующими согласия и солидарности. Этот Дух действует в каждом из нас, в глубине сердца, и я верю в силу творческого меньшинства.

## Корзина цветов нобелевскому лауреату

У Илюши Шмаина не хватило денег, и он забежал к нам занять несколько тогдашних десятков. Таким образом, мы оказались втянуты в демонстрацию солидарности с отщепенцем, которого клеймил весь советский народ.

Дом Житомирских, где жил Илюша, был одним из немногих интеллигентских гнезд, не разоренных при Сталине. Там стояли томики Роллана со статьями о Рамакришне и Вивекананде (от них Илюшу, в конце 40-х годов, потянуло к идеализму). Там я в апреле 1953 года, прямо из лагеря, увидел на столе стихи Мандельштама. А Пастернака все Житомирские боготворили: его стихи, его прозу, его поворот к христианству. Кажется, Машенька, на которой Илюша женился, уже была тогда крещена. Эта семья не могла не заявить о солидарности с поэтом. Но не оказалось денег, и Илюша забежал к нам (мы жили ближе других).

Заказав цветы, Илюша проследил, как посыльный пронес корзину, через комсомольские пикеты, на квартиру поэта в Лаврушинском переулке, и вернулся к нам рассказать. За ним тоже проследили. Вечером, когда я вернулся из библиотеки и собрались друзья, в дверь постучали. Вошел паспортист из домоуправления; толстая тетка (сказала, улыбаясь: из избирательной комиссии) осталась в дверях: дальше ей трудно было протиснуться. В связи с предстоящими выборами проводится проверка паспортов. Почему, зачем? Выборы — по месту прописки, а прописан на Зачатьевском один я. Но все растерянно подчинились. Пробежал холодок испуга: с требования паспорта начинается обыск и арест.

Я люблю смотреть на выражения лиц в минуту опасности, люблю слушать об этом и запоминаю чужие рассказы. Например, рассказ Якова Марковича Слуцкого, бывшего секретаря редакции «Известий», добившегося назначения переводчиком в стрелковый полк (он не хотел видеть войну глазами корреспондента), — как кто вел себя, когда немецкие танки ближе и ближе подползали к командному пункту: дрожащие губы молодого ПНШ (помощника начальника штаба), очень не хотевшего умирать, мрачный взгляд старшего уполномоченного Особого отдела, глядевшего на труса с пистолетом в руках... И сейчас, после корзины цветов поэту, лица моих друзей были такие, как будто на нас надвигались танки.

Леонид Ефимович Пинский мрачен, как туча. У Иры Муравьевой, рывшейся в сумочке, дрожали пальцы. Кажется, только Володя Муравьев совершенно равнодушно, через плечо, сунул свой паспорт. Володе было 19; он ни разу не пережил обыска.

Когда проверка кончилась, Женя Федоров сразу распрощался и выскочил на улицу, а мы продолжали обсуждать открытку Пастернаку. Илюша мог как-то, через знакомых, передать ее (сам он, помнится, ушел

еще до проверки. Но всё равно, он обещал всё сделать завтра). Ира написала, что мы любим стихи Бориса Пастернака и поздравляем с премией. «Надо было бы написать о романе, — сказала она. — Это ему было бы дороже. Но я не могу: роман мне не понравился». Мы прочли первые две части, и текст показался очень рыхлым. Помедлив немного, Ира ничего не прибавила и подписалась. За ней подписался я, Володя, Леонид Ефимович. Не знаю, как другие, но я подписывался с некоторым усилием. Хотя после Иры готов был подписать себе смертный приговор.

Задним числом всё это меня ужасно возмутило. Я почувствовал себя униженным своим страхом. Так откликаться на травлю поэта — заведомо беспомощно. Если мы не можем не вылезать, то надо подумать, как действовать с каким-то планом и целью.

В эти годы я с упоением повторял стихи Пастернака:

*Быть знаменитым некрасиво,  
Не это подымает ввысь...*

Стихи Пастернака вели прочь от подмостков истории, а дело Пастернака втягивало в нее назад. По силе впечатления кампания травли сравнивалась с событиями в Венгрии. Я вспомнил, как в 56-м чувство протеста было подавлено сознанием беспомощности, и всё вылилось в звон рюмок. Кому-то стало противно пить венгерское; несколько ящиков отличного шерри-бренди тамошнего производства выбросили в общую торговую сеть. Мы покупали его и пили: за Венгрию, за Венгрию! И за стихи Мандельштама (они окрасили для меня весь конец 1956 года):

*Я скажу тебе с последней  
Прямой:  
Всё лишь бредни, шерри-бренди,  
Ангел мой.*

*Там, где эллину сияла  
Красота,  
Мне из черных дыр зияла  
Срамота.*

*Греки сбондили Елену  
По волнам,  
Ну, а мне соленой пеной  
По губам...*

Пепел стучал в сердце, но сделать ничего нельзя было. Только пить. И потому

*Ой-ли, так ли, — дуй ли, вей ли,  
Всё равно.  
Ангел Мэри, пей коктейли,*

Прошло два года; что-то изменилось. Ползли слухи о политических процессах, о каких-то группах молодежи. Может быть, начинается новое общественное движение? Не попробовать ли сомкнуться с ним?

Ира горячо откликнулась, сказала, что мечтает об этом с семнадцати лет, с тех пор, как арестовали ее брата Володю. Опять случай, хотя довольно частый, в 1937 году. Но еще и характер: помнить свой бессильный гнев двадцать лет. И помнить его именно так. Моя теща Людмила Степановна запомнила, что следователи Володи были евреи, и с этих пор недолговликала евреев. Ира возненавидела чекистов. Мы стали сочинять программу движения и целую ночь — единственную такую ночь в нашей жизни — занимались политикой. Придуманное я срифмовал в мнемоническое двустигиие, которое через несколько лет забыл. Помню из него только рифмы: кот — год. (Кот — Окуджавы. Черный. Который ловит нас на честном слове.) Впрочем, не большая беда, что половина забылась. Политика не была нашим ремеслом. И, схватившись за нее, мы просто свалили в кучу всё, что слышали здесь и там. Какая-то мешанина из лозунгов, мелькнувших в Венгрии, в Польше, с некоторыми домашними прибавлениями (сократить сроки военной службы, восстановить суд присяжных). Центральной идеей были советы производителей в сельском хозяйстве, промышленности, культуре. Так что, пожалуй, можно назвать это анархосиндикализмом. Но никакого нового духа, никакой новой веры.

Один из наших старых друзей, выслушав меня, скептически покачал головой и сказал: нужна новая идеология. Я ответил (примерно): разве недостаточно воли к свободе? Но опять сказался характер: сомнение пустило во мне корни. И за одним вопросом пошли другие, например: не приведет ли подполье к бесовщине? Я достаточно хорошо знал Достоевского. Но любое действие казалось мне лучше, чем бездействие. Чтобы покончить с сомнениями, я решил поставить эксперимент.

Армянское радио спросили, был ли Ленин ученым. Радио ответило, что вряд ли: ученый попробовал бы сперва на собаках. У меня не было собак, и я поставил эксперимент на самом себе: вошел в кружок молодежи, не знавшей, что делать, и стал приглядываться к лицам, характерам, дышать кружковой атмосферой. Я как бы привил себе вакцину подполья и переживал ее действие. Вправду ли эта лихорадка непременно кончается бесовщиной? Или «Бесы» — полемическая гипербола? Может ли замкнутый кружок рождать и распространять идеи, способные захватить общество? Будет ли кружок расти или, наоборот, распадаться?

Перво-наперво я объяснил мальчикам, что пока не надо высовываться. Будем думать, обтачивать свои новые идеи. Нынешняя система — подобие византийской: самодержавие без престолонаследия. В период междуцарствия власть поминутно оглядывается и не уверена в себе. Коллективное руководство занято взаимными подкопами. Чиновники сами не знают, что велит новый хозяин, кого давить. Тогда будет шанс выступить и сказать свое слово так, чтобы тебя услышали. А пока

подумаем — с чем высунемся, как будем бороться за новые идеи. И получилось то, что Владимир Осипов назвал философским семинаром. Слегка законспирированным, но без всякой организации. Одни приходили, другие уходили. Кажется, никогда не было более 810 человек. В старину это называлось — кружок.

Толковали о социальной структуре, о возможностях общественного движения, о проблеме насилия, о философских альтернативах. Иногда я читал лекции (сейчас уже не помню, о чем: может быть, о философии экзистенциализма?). Иногда выслушивал доклады. Запомнился спор о Штирнере. Саша Иванов пытался доказать, что «Единственный и его достоинство» — это как раз то, что нужно нашему свободному духу. Я слушал через пятое на десятое, но именно поэтому не завяз в частностях, уловил главное и на ходу составил план опровержения. Самое трудное было — не обидеть докладчика. Он был чрезвычайно, болезненно самолюбив. Как мне это удалось, не могу объяснить. Бывают такие внезапные порывы вдохновения...

Постоянно ходили двое: Володя Осипов и Саша Иванов. Осипов — просто Осипов, он себя не выдумывал (по крайней мере, тогда). По характеру это был боец за права человека. Держался независимо, с достоинством. Иванов, напротив, был совершенно переполнен собой. Тщеславный литератор, он болезненно жаждал славы. Свои опусы Саша подписывал Рахметов и требовал, чтобы его называли Рахметовым: при этом подлизывался ко мне (совсем не похоже на героя Чернышевского) и оттирал Осипова на второе место. Оба они были не очень образованны, но в Володе решало чувство, а Саша философствовал, и его невежество кололо глаза.

Через год я решил изменить условия эксперимента и оставить кружок сам себе, без моего участия (посмотрим, что ребята сами могут); а раз в месяц стану встречаться с кем-то одним. И собрался избрать для этого Володю. Мне хотелось сойтись с ним покороче — без Саши. Не тут-то было! Выскочил Саша и предложил в собеседники себя. Я мог бы сказать: нет, целесообразнее, мне кажется, другая кандидатура. Но мелькнула мысль, что это ведь тоже эксперимент, такое выскакивание самого тщеславного на первое место... И стал раз в месяц встречаться с Сашей, а он мне врал про какие-то интереснейшие дискуссии и доклады. Чем дальше, тем больше меня тошнило от его подобострастного вранья. Как-то раз я попытался прямо отговорить его от политической оппозиции. «Зачем, — спросил я его, — вы втягиваетесь в такое опасное дело?» Саша горячо ответил, что задыхается в



интеллектуальной пустоте, без хороших книг и т.п. Я посоветовал ему выучить английский язык: в библиотеках множество хороших книг, их не переводят, но читателям выдают. Ответ Саши я запомнил на всю жизнь. Надо представить себе, с каким чувством он воскликнул:

— Но ведь это очень трудно!

Я онемел и минуты три молчал, пока нашел, что сказать. Выучить английский язык так трудно, а изменить порядки в России легче? Как он представлял себе политический успех? Вроде удачного дебюта Синичкиной из водевиля «Лев Гурыч Синичкин». Главное — чтобы его все увидели, чтобы любовались, а там хоть трава не расти.

В 1959 году ни Володя, ни Саша не были националистами. Они хотели свободы для всех. Только Володя — из чувства справедливости, а Саша — скорее из личного чувства непризнанности, неудовлетворенности и со вспышками злобы, как только задето было его тщеславие. От него так и пахло героями «Бесов».

Этот запах примерно в то же время почувствовал и Петр Григорьевич Григоренко, хотя имел дело с другими людьми. Книга его воспоминаний так и называется: «В подполье можно встретить только крысы...». Конечно, не все подпольщики крысы. Но подполье раскармливает именно крысы. И если будет успех, если крысы сожрут kota — что потом делать с крысами?

Общение с Сашей Ивановым раз навсегда отучило меня от мысли попробовать подполья. Страх за себя я легко преодолел. Но страх перед крысами, по-моему, не нужно подавлять. Это умный страх. В чем-то он перекликается со страхом Божьим, в котором начало премудрости.

Впоследствии З.А. Миркина написала работу «Истина и ее двойники» и резко противопоставляет там страх Божий страху тварному, страху князя мира сего, грубо говоря, страху за свою шкуру. На войне миллионы людей преодолевали тварный страх, становились бесстрашными — и бесшабашными. Подполье, с его риском, с его готовностью к жертве, воспитывало племенную мораль — мораль племени героев, преодолевших тварный страх. И очень легко возникало презрение к племени обывателей. Такие герои легко становились палачами. Хотя это вовсе не значит, что они не были героями, что они родились или по крайней мере из колыбели вылезли бандитами...

В 1949 году на Малой Лубянке во внутренней тюрьме областного управления МГБ я сидел в одной камере с повторниками, бывшими революционерами; они выжили в лагерях и вернулись к своим семьям. Теперь, по инструкции 1947 года, надо было очистить от них и от прочих вредных элементов Москву. Очистили нашу столицу и от меня. Моими соседями стали эсеры, три анархиста, один дашнак и один сионист. Я писал о них в главе «Через страх. Крыло второе». Они впервые показали мне, что такое революционная идейность. Средний советский обыватель, попавший в каталажку по доносу соседей, или журналист-космополит держались несравненно хуже. Героики подполья повторяли «юные ленинцы» и т.п. «молодые гвардии»

Перелом наступил вместе с «оттепелью». Сперва совершенно неза-

метно, без всяких новых идей — как новое настроение, стиль жизни, еще не выраженный в понятиях. Понятия пришли потом и сложились в теорию, согласно которой всякое политическое движение бесовщина и всякая революция — зло. На самом деле, революция вряд ли хуже войны. Ни одна революция (даже Пол Пота) не нанесла народам таких тяжелых физических ран, как Тридцатилетняя война (она уменьшила население Германии втрое, а Богемии — вчетверо). И католики, и протестанты, воцерковленные до ушей и воюя за веру, очень далеко отступили от десяти заповедей. Но вот что отличает *нашу* революцию и именно *нашу*, а не английскую или американскую: она попросту отменила нравственный опыт трех тысяч лет. Грешат все, но катастрофой была отмена самого понятия «грех». Как ни страшно любое насилие, еще страшнее насилие «по совести»: «нравственно то, что полезно революции». К этому очень близко подходили иезуиты со своей философией пробабиллизма (цель оправдывает средства); но масштабы нашей революции несравнимы с их карликовыми злодеяниями. И оказалось, что никакая цель не оправдывает средств. Дурные средства пожирают любую цель. Прав Лев Толстой (ошибавшийся тысячу раз), когда говорил, что средства важнее цели.

Вот это именно разнеслось в воздухе где-то около 1960 года. Вспоминаю два незначительных случая. Только что отгремел XXII съезд. На дне рождения своей двоюродной сестры Стеллы Петя Якир, подвыпив, кричал: их расстрелять надо! Расстрелять! Зина Миркина, подруга Стеллы, ответила: расстреливать — значит продолжить дело Сталина, Молотова, Кагановича... Гости разделились примерно поровну. И вот что замечательно: мать Стеллы, Изабелла Эммануиловна, родная сестра Ионы Эммануиловича Якира и сама, в Гражданскую, комиссар полка (а после — узница сталинских лагерей) поддержала Зину. Не потому, что переменила мировоззрение. Не переменила, до смерти оставалась большевичкой. Сердце закричало: довольно крови!

Другой случай. Я со своей новой женой Зиной на вечеринке с друзьями. Кто-то провозгласил тост: за новую революцию! Зина сказала: «За это я пить не буду!». Мне было очень неловко. Я опасался, что ее неверно поймут, посчитают конформисткой. Слова, пометившие отход от революционных идей, еще не до конца сложились, не разошлись по рукам.

Потом стали пить «чтобы все они сдохли!». Но как-то сами по себе, не от нашей мозолистой руки. А диссиденты подхватили другой тост, родившийся (по свидетельству Рассадина) около 1960 года: «За успех нашего безнадежного дела!». Безнадежного. Но нравственно неотвратимого.

Можно критиковать диссидентство с нескольких точек зрения: как донкихотство, как гордыню разума, не желающего прислушиваться к истории, и т.п. Но прежде всего — это форма преодоления политической безнравственности, попытка создать движение, стоящее вне политики, движение чисто этическое (так я стою и не могу иначе). Сергей Алексеевич Желудков (царствие ему небесное), хорошо знавший диссидентов, назвал их анонимными христианами. Христианами в ортоп-раксии (а не в

ортодоксии).

Такие люди, как Татьяна Великанова, несколько лет стоявшая в самом центре борьбы с тоталитаризмом (за которой напряженно следил Запад), была глубоко убеждена (и убеждена до сих пор), что всё это не имело ничего общего с политикой. В ее убеждении было то, что Гегель назвал «неразвитой напряженностью принципа», принципа незыблемой шкалы ценностей, на которой этика выше политики, настолько выше, что и спрашивать нельзя, оправдывает ли цель средства.

Но я забегаю вперед. Никакого диссидентства в 1960-м еще не было. Было общее брожение и среди этого брожения первое разумное дело: собирание ненапечатанных стихов, по пять штук каждого автора, и тиражирование в 30 экземплярах. Рассеялось облако страха, и 24-летний Алик Гинзбург раньше, чем я и люди моего поколения, понял, что можно делать, не спрашивая разрешения, пусть небольшое, но открыто, не прячась, не занимаясь конспирацией.

Можно легко представить себе восторг, с которым я принял «Синтаксис». Дело было не в одних стихах, которые Алик собирал. То есть стихи были живые, и я охотно окупился в собирании стихов, но главное — обстановка, в которой делался «Синтаксис», — совершенная открытость и свобода от страха.

Летом 60-го я стал ездить в Лианозово к Оскару Рабину и другим художникам, работавшим без оглядки на официальные вкусы. И здесь был дух свободы, живой ритм света, переворачивавший вверх дном застывшие стереотипы вместе со стенами бараков, которые на полотнах Рабина шатались и разваливались, уступая место небу, солнцу, ветру.

Между тем кончился контрольный срок, и я зашел на заседание кружка. Присутствовало всего трое: Володя, Саша и какой-то зелененький новичок. Знакомые лица исчезли. Мерзость запустения, а в «гинзбургятнике» — каждый день поэты, художники, целые толпы людей разных возрастов (больше молодых, но не только), каждый день споры о стихах, о направлениях живописи. Там я чувствовал себя как дома. Правда, Алик иногда выкидывал штуки в стиле Долохова, неприличные редактору «Синтаксиса». По случаю смерти Пастернака он напился и прыгнул из окна второго этажа: сломана была ступня, и нельзя было ехать на похороны. Вид у Алика тогда был очень виноватый...

Разница в возрасте заставляла меня часто садиться в уголок и пить чай с матерью Алика, в стороне от шумной компании; Людмила Ильинична рассказывала мне о характере своего сына, а я слушал. Как он в 1952 году, в пик тогдешних фельетонам, избрал ее фамилию и национальность ее родителей (она сама выросла в Замоскворечье и когда-то, когда это можно было, записалась русской: после решения сына пришлось сменить паспорт). Как он на спор выпил из горлышка бутылку водки, сидя в оконном проеме ногами наружу, и вывалился во двор (отделался переломом руки: судьба хранила его для других испытаний). Как он занял второе место в состязаниях на каноэ, а потом совершенно бросил спорт и отдался собиранию стихов и картин. Он очень молодо выглядел (не на 24, а

на 18). Благородство сердца и бесшабашная удаль в нем так сплелись, что отделить их нельзя было даже в воображении.

«У меня нет двух чувств, — говорил мне Алик, — страха и собственности». Этим духом он буквально заражал, и первый встречный, поднявшись на шестой этаж в Толмачевском переулке, против задов Третьяковской галереи, чувствовал себя в Гайд-парке. Не только полицейской власти не было: деньги тоже теряли свою власть. Художники даром приносили свои картины, девушки на одном энтузиазме перестукивали стихи, и «Синтаксис» размножался без всяких средств.

Я еще раз встретился с Володей Осиповым и Сашей Ивановым и произнес горячую речь о чувстве жизни. Современная жизнь не хочет повторения старого, поток истории выбрал другое русло, мимо всех замкнутых кружков. Пусть очень немногое можно делать в открытую, главное все-таки в открытости. Самая скромная, но открытая жизнь помогает обществу освободиться от страха. А это сейчас главное. Люди устали от заикленности на политике, от политических программ и тактик. Они хотят просто жить, как живет Алик. Я посоветовал пойти посмотреть, как делается «Синтаксис», и подумать, что сами они могут в этом роде (для отбора стихов и Володя и Саша были не очень подкованы). Потом мы расстались. Рахметов был мне неприятен. И так как ссорить друзей я не умел, то скрепя сердце расстался с обоими.

К несчастью, Володя и несколько других молодых людей, приходивших на сходки у памятника Маяковскому, дали себя спровоцировать на разговоры, что Никиту, дескать, надо убить как поджигателя войны. За это самых горячих схватили и упрятали в лагерь, а остальных напугали и прекратили таким образом сходки (что и требовалось). В лагере прямодушный и прямолинейный Осипов узнал впервые, как много людей и как сильно ненавидят русских. Для нас, старых лагерников, это не было секретом. Я сам с этим сталкивался, сталкивались мои друзья. Покойный Толя Бахтырев сумел даже переломить ненависть в любовь — по крайней мере в одном случае, о котором он рассказывал:

«...Плотничья бригада состояла из русских умельцев и литовских крестьян. Как-то возник политический спор, — уж больно хочется отстоять национальную гордость великороссов, тем более в лагере, где подчас на бригаду в тридцать человек приходилось трое русских. И, конечно, возникла тема: русские, победа. Немногословный Вацлавас, забивая гвоздь, кратко и внятно сказал: “Русские — позор человечества”, за что и получил топор, свистнувший возле уха и впившийся в опалубку.

Слава Богу, острая дискуссия ээков на этом закончилась.

Потом (смею сказать, с Вацлавасом мы дружили) он меня сразил другой хорошей фразой, столь же хорошей, как и первая... Он сказал: “Мне кажется, что на литовском языке поэзию нельзя так написать, как Лермонтов”».

Толе было очень важно написать это. Редкий случай, когда «удалось выразить» (обычно это мелькает в дневнике с частицей «не»). И ликующие строки в дневнике: «Сейчас я написал “Вацлаваса”, и почему-то бьет меня,

как в лихорадке».

Володя Осипов такого выхода не нашел. И не он один был сбит с толку. «Попад в лагерь, мы, русские, оказывались в окружении врагов, потому что националисты всех мастей (украинцы, прибалты, армяне, узбеки и прочие), не поняв исторической уникальности марксистской диктатуры, пошли по пути наименьшего умственного сопротивления, отождествляя интернациональную власть с православной монархией и обвиняя нас, русских, в шовинизме. Таким образом, не видишь нигде спасения: с одной стороны, коммунисты нас уничтожают, с другой стороны, националисты готовят нам то же самое» (Юрий Машков. *Голос с родины*. — «Русское возрождение», Париж — Нью-Йорк, 1978, № 4. С. 15). Если не понять и не простить ненависть к имперской нации (то есть к империи) и не отделить себя от империи, остается одно: перенести ненависть на жидо-масонов. Юрий Машков и Владимир Осипов выбрали второе.

Какой-то эстонец, сражавшийся добровольцем в финской армии, рассказывал, как он косил из пулеметов русские цепи. Раскаленный металл обжигал руки, а идиот генерал посылал цепь за цепью на доты, и новая волна трупов падала на снег. Бедного Володю всю ночь трясло. Он понимал, что финны защищали свою независимость и по-своему были правы. Но он не мог отделить себя от тех, кто выполнял неправый приказ, и утром решил, что будет всегда за русских, правы они или не правы. Это формула английского патриотизма: пдМ ог отопд. Но Россия — не Англия, и всё получилось не по-английски.

В лагере тогда тянули срок молодые русские нацисты. Откуда они взялись? Я думаю, от внезапной отмены дела врачей. Раздували его со страшной силой; и вдруг, 4 апреля, лаконичное сообщение о незаконных методах следствия. Точка и ша. Считайте, что ничего не было. Это было достаточно для тех, кто втихомолку не принимал чудовищного вымысла, не верил ему. Но кто поверил — ему никак не помогли разувериться. Общего идейного поворота не было. Примерно в 1955 году управление культуры Черновицкой области получило инструкцию об уничтожении устаревших патефонных пластинок с еврейскими народными песнями. Космополитизм по-прежнему считался блякой, а под этим именем уничтожались остатки интернационализма. Как же во всем разобраться простому человеку?

Четвертого апреля Шура Богданова, добрейшая вольняшка, работавшая бухгалтером на лагерном предприятии, рыдала и всхлипывала: «Кому же теперь верить?». Пару месяцев спустя холодный сапожник в Иванове спрашивал меня: «Может быть, они взятку дали?». И даже шесть лет спустя Ира Муравьева не смогла переубедить свою одноплатницу, верившую, что евреи отравили гематоген раком, а рыбий жир туберкулезом.

Особая статья — школьники. Они легко втягиваются в жестокие игры. Если вы забыли, как это делается, — перечитайте «Братьев Карамазовых». Или воспоминания Ларисы Миллер о 1953 годе. Один парень рассказывал

мне, в 1959-м, как загонял мальчиков-евреев под парту. Рассказывал, каюсь. Но не все покаялись. Некоторые слишком втянулись в игру, в психологию борьбы с Мировым Злом и не захотели из нее выходить. Взрослые отступили от знамени — и около него встали молодогвардейцы. Порыв был искренний, героический, с готовностью пострадать. И сперва действительно пострадали. Первые нацистские группы попадали в лагерь. Начальство еще не поняло, что воинствующее юдофобство нацистов можно приручить, вернуть в лоно русского патриотизма и при случае использовать.

Вадим Козовой, тянувший срок одновременно с Осиповым, рассказывал, что основы будущего «Веча», единого фронта всех русских, были заложены еще в лагере. Фронт был защитой от лагерной русофобии (корни которого были в имперофобии). И во-вторых, — попыткой найти козла отпущения за все грехи, наделанные с 1917 года, утвердиться в собственной правоте и освободиться от мучительного чувства стыда за Россию, от чувства национальной вины.

Вопрос об ответственности евреев за революцию я обсуждал с Михаилом Николаевичем Лупановым году в 52-м, прогуливаясь по бревенчатому настилу между вахтой и столовой. Лупанов рассказывал, какое впечатление производили на него и других красноармейцев речи Троцкого и Зиновьева. По-прежнему почти разутые, по-прежнему почти без патронов, только что сдававшие город за городом и готовые разбежаться, красноармейцы переходили в наступление и гнали белых. Вспоминая молодость, Михаил Николаевич, давно ставший контрой, загорался, и через него я почти физически почувствовал, что значила в годы революции пламенная речь. Много лет спустя, работая над темой «Антикрасноречие Достоевского в историко-культурной перспективе», я написал в примечании, что митинговое ораторское искусство позволило красным мобилизовать крестьян и создать многомиллионную армию, а следовательно — выиграть войну (белые, не имевшие митинговых привычек, с мобилизацией не справились). Несомненно, евреи, гораздо больше склонные к риторике, чем русские, в этот период сыграли очень важную роль. Но потом нужда в ораторах исчезла, и евреи тоже исчезли с высоких постов; а лучше от этого не стало. У всех были на слуху слова и поговорки явно не еврейского происхождения: «вертухай»<sup>71</sup>, «вологодский конвой шутить не любит»...

Этническая история российской, а потом советской империи — очень интересная тема. Отчасти ее уже коснулся Андрей Амальрик, автор статьи «Доживет ли Советский Союз до 1984 года»; я тоже об этом писал.

Время от времени логика империи выталкивала наверх какие-то неславянские группы: варягов, татар, немцев, евреев; потом первые становились последними, и оставалась только привычка ненависти — к вчерашним фаворитам. Но на очереди уже стоял следующий фаворит... Какие-то могучие силы, вырвавшиеся наружу, делали людей своими

---

71 Надзиратель. От украинского: не вертухайся!

«человекоорудиями» (как называл это Даниил Андреев), а затем губили. Но не щепки, подброшенные волной, а затем ввергнутые в пучину, создавали саму волну. Я склонен думать, что начинается эта волна в нашей общей ауре, созданной общими грехами, и все мы друг перед другом виноваты — но всё это трудно доказать, скорее даже невозможно, и поэтому умолкаю. А на поверхности, доступной моему взгляду, сталкиваются не столько этносы, сколько типажи. Хлестаков может быть русским, как увидел его Гоголь, может быть евреем или армянином, но прежде всего это Хлестаков. В 1918 году господствовали не евреи, а Хлестаковы (отменяли деньги ит.п.), буянили Ноздревы и подбирались потихоньку к власти Смердяковы. Это первым заметил Бердяев в «Духах русской революции», а потом, ничего не зная о его открытии, я заново построил тот же велосипед («Квадрильон», 1963). Типаж — категория, по крайней мере, не менее важная, чем этнос.

В 1952 году, разговаривая с Михаилом Николаевичем, я всё это не мог сформулировать, но кое-что мне пришло в голову, и мы внимательно прислушивались к аргументам друг друга. Слишком очевидно все мы сидели в одном лагере по одной и той же статье, 58-10, ч. 1.

Интеллигенты держались дружно, все готовы были выручить вас, если вы попали в беду. Я это дважды испытал и поверил, что так должно быть всегда. Это мой миф об интеллигенции, который в 1967 году столкнулся с солженицынским мифом о народе и дал последний всплеск в «Человеке ниоткуда».

Потом обстановка изменилась. Колючая проволока перестала ограждать нашу совесть, мы рванулись что-то сделать, убедились в своей беспомощности, — и началось создание интеллектуальных транквилизаторов: для уезжающих — образ проклятой страны, в которой никогда ничего не удается, у остающихся — образ вредителя, который всё портит. Кадры, решающие всё и давно освободившиеся от прожиди, решительно поддержали второй вариант. Им страшно то, о чем писал Машков, а ненависть к евреям кажется предохранительным клапаном. Игроки, видящие на один ход вперед, не понимают, что национальная ненависть заразительна и невозможно направить ее, как пистолетный выстрел, прямо в Рабиновича. Рано или поздно эпидемия ненависти, раздуваемая в Москве и Питере, вспыхнет на всех окраинах...

Основав «Вече», Володя Осипов приглашал моего пасынка сотрудничать. Тот поставил условие: «Вече» публикует передовую, которую он сам напишет, с осуждением антисемитизма. Осипов ответил: «Я не антисемит... — А потом прибавил: — А ты думаешь, они ни в чем не виноваты?..». Сотрудничества не вышло. Не получилось и сосуществования с могучим ведомством, полуразрешившим «Вече» (хотя старания были. К пятидесятилетию СССР журнал вышел с передовой «Русское решение национального вопроса». Солженицын назвал его «национал-большевизмом»). Осипов принимал свои теории слишком всерьез, в нем не было рептильности. В конце концов, ему дали новый срок, а кадры «Веча» были использованы в «Памяти». Осипов, вернувшись из лагеря, в «Память»

не вошел и основал свой собственный Христианский Патриотический Союз.

Из круга Осипова вышла статья, за подписью Степан Кольчугин, о возможности сосуществования с евреями. Меня попросили откликнуться. Я ответил (в общих чертах), что не хочу смешивать Булгакова с Бондаревым, Бабеля с Блюмкиным и т.п. и что народный фронт, в который войдут единокровные братья — Алексей Федорович Карамазов и Павел Федорович Смердяков, — не вызывает у меня сочувствия. Предпочитаю водиться с Алешей и не водиться со Смердяковым.

\* 72 \*

В 1981-1982 году, в связи со смертью моего приятеля Виталия Рубина, готовился какой-то израильский сборник. Меня попросили написать статью. То, что получилось, я назвал «За поворотом». Впоследствии (кажется, в начале 1985 года) статья была опубликована в журнале «Страна и мир» (Мюнхен; номера никогда не видел). Мне кажется, стоит привести несколько цитат по машинописи, сохранившейся в моем архиве. Ради связности я кое-где прибавил по два-три слова и переставил два абзаца. Остальное — как в журнале.

«Долгое время каждый номер “Веча” вызывал у меня чувство боли. Но постепенно пришло понимание. До перекрестка мы шли вместе, а потом должны были разойтись.

Представим себе на минуту, что советская система развалилась и на миллионы русских в союзных и автономных республиках обрушилась волна долго сдерживаемой ненависти. Их будут резать, как ингуши, вернувшись из ссылки, резали нефтяников Грозного, не ухोдивших немедленно из ингушских домов (этот эпизод сталинской политики дружбы народов и ее хрущевского исправления вызвал в 1958 году бунт колонов, подавленный войсками)\*. “Вече” — идейный центр будущего ОАС или “Иргун цвай Леуми”<sup>73</sup>. Если Менахем Бегин исторически оправдан, то и Осипов оправдан. У них разные мифы, но мне хочется взглянуть сквозь миф, в сердце. А там — инстинкт самосохранения, оправданного, как всё живое. Что касается мифов, то миф Осипова прост и практичен: во всем виноваты не мы, русские. Нас ненавидят напрасно. Виноваты — они! Такая идеология легко и просто дает чувство уверенности в своей правоте. Я всё могу понять, но мне от этого не легче. Вспоминаю благородного порывистого Володю — и мне жаль, что его так

---

72 Некоторые читатели в Грозном сочли слово «резали» клеветой. Массовой резни действительно не было. Резали от случая к случаю. Впоследствии московская газета «Континент» (9 марта 1991 года) и журнал «Столица» опубликовали материалы, частично подтвердившие мою информацию. Но вся совокупность фактов не опубликована до сих пор. Наша история полна дыр.

73 ОАС — организация колонов в Алжире, боровшаяся с «Фронтом национального освобождения» его же террористическими средствами. «Иргун цвай Леуми» — военная организация в период борьбы с англичанами и войны с арабами в Палестине. Несет ответственность за террористические акты.



далеко занесло.

...Чуть позже, чем с Володей Осиповым, я познакомился с Виталием Рубиным. Кажется, с Володей осенью 58-го, а с Виталием — летом 59-го. Оба были тогда (как потом это назвали) демократы, то есть хотели расширения человеческих прав и не замыкались ни в какие национальные проблемы. Чистый случай, что я не пригласил Виталия на свой философский семинар и они не встретились.

Володя был почти мальчик; Виталий — старше, ироничнее (хотя за иронией его скрывался неисчерпаемый энтузиазм). Очень чувствовалась в нем традиция семьи. Я еще застал в живых его отца и непременно сошелся бы с ним поближе, если бы тот вскоре не умер. В старике было какое-то редкое сочетание легкости и глубины. Философское образование, немислимое в наше время, проскальзывало, но не давило. Почти танцующее “ученое незнание”. Мне кажется, Виталий унаследовал от отца легкость характера, бодрость, быстроту ума — но в Ароне Рубине было еще что-то...

Отношения с Виталием складывались просто и естественно, без всяких домашних семинаров. Когда я поступил в сектор Востока ФБОН (Фундаментальная библиотека общественных наук), мы очень скоро подружились. Виталий был захвачен своей новой оценкой роли Конфуция, и я охотно слушал его рассказы о конфликте конфуцианского гуманизма с принципом государственной пользы в учениях школы Фацзя (легистов). Легизм превозносился в сталинские годы и легко ассоциировался со сталинизмом, отчасти даже персонально (апологеты Фа-цзя были нераскаявшиеся сталинисты). Я вполне сочувствовал пафосу Виталия и перенес его в свою речь 3 декабря 1965 года, на которую рассердился Семичастный<sup>74</sup>.

Начав писать статьи по сравнительной культурологии, я непременно показывал Виталию первые варианты своих работ. С его помощью и с помощью других моих консультантов (А. Герасимова, А. Сыркина, М. Занда) я смог избежать промахов, неизбежных при отрывочном востоковедческом образовании.

Но еще раньше у нас с Виталием открылось новое общее поле деятельности: капустаники. Как-то вдруг возникло сознание, что зигзаги Никиты скорее расшатывают режим, чем укрепляют его, и отдельные хамские выходы заслуживают только смеха. Заговорило “армянское радио”. Интеллигенция, смеясь, простиалась со своими страхами. С какого-то капустаника Виталий принес частушку:

*Мы с Пал Палычем вдвоем  
Обнаглели — и поем...*

И мы с Виталием обнаглели. В 1961 году читался у нас доклад о Кубе. Там, дескать, старое переплетается с новым. Например, по-прежнему

---

<sup>74</sup> Тогда — председатель КГБ.

устраиваются конкурсы красоты, но при этом учитываются и производственные показатели. Мы переглянулись с Виталием и секретарем комсомольской организации Игорем Добронравовым и начали давиться от смеха. В тот же вечер решено было устроить капустник “выборы мисс ФБОН” и по производственным показателям выбрать Б-ву (пожилую и некрасивую, но очень деловую даму). Потом Б-ву пожалели, производственные показатели были забыты и на первое место вылезла опасность культа мисс ФБОН. Выбрать королеву просто, но попробуйте ее переизбрать, это может оказаться и вовсе невозможным, как показывает пример недавнего прошлого... (долгая пауза) в Португалии, Греции и других капиталистических странах. Королева будет стареть, но повсюду ее портреты в блеске красоты, а юных соперниц ссылают в книгохранилище на каторжные работы... Всего в своей предостерегающей речи уже не помню, но смеха было много. Культ личности я описал довольно подробно. Виталий, потерявший здоровье в проверочных лагерях после выхода из окружения, играл роль капустного прокурора, наш общий друг Василий Николаевич Романов, сидевший еще в 1934-1937 годах, тоже что-то острил... В конце концов нескольких девушек признали одинаково хорошенькими и таким образом избрали коллективное руководство. Публика наполовину состояла из читателей библиотеки; наши шутки разошлись по нескольким институтам.

Следующий капустник был посвящен культуркампу Никиты против Эрнста Неизвестного (впоследствии спроектировавшего ему памятник на Новодевичьем). Называлось это “Террор в ФБОН”. Свинарка Мария Заглада, судившая о живописи, была травестирована в Марию Зануду, в маске поросенка хрюкавшую перед пустой рамой (абстрактная живопись). Центральным номером были вызовы в кабинет следователя. Мне удалось убедить молодого ученого с довольно простым лицом (сына чекиста) сыграть роль следователя, а у него хватило чувства юмора согласиться. Роль свою он сыграл превосходно, совсем как на Лубянке. Являлись мы к нему с парой белья под мышкой. Моя жена говорила, что ей было совсем не смешно, а страшно, но хохот был гомерический. Дня через два Никита выступил с разгромной речью против абстракционизма. Молва, перепутав, посчитала наш капустник прямым ответом на его речь. Но до такой наглости мы не доросли.

Когда “пошел Никита юзом”<sup>75</sup>, я спросил Виталия: “Где будет какой-нибудь интересный доклад или дискуссия?”. Он ответил: “Сегодня в Институте истории — доклад Елены Михайловны Штаерман о циклических теориях исторического процесса”. Циклические так циклические. Мы отпросились у заведующей отделом и пошли в буфет...

Пока Виталий стоял в очереди за винегретом, я присел за столик и

---

<sup>75</sup> *Итак, пошел Никита юзом.  
Зато цветет, нам всем в пример,  
Герой Советского Союза Гамаль  
Абдель на всех насер.*

набросал на каталожной карточке несколько мыслей по поводу циклических теорий. С этим идейным багажом мы поехали в Институт истории и стали слушать. Елена Михайловна долго, часа полтора, крутилась вокруг высказываний Маркса, Энгельса, Ленина. Кончила она примерно на том, с чего начала: что классики марксизма кое-что о циклических теориях говорили, но ничего определенного из их высказываний не вытекло. А отойти от цитат и прямо сказать, что она сама думает, докладчица не решилась.

Когда Елена Михайловна кончила, председатель спросил: “Кто хочет выступить?”. Все молчали. Никто не решался ступить на не огороженное цитатами поле. Я поднял руку — и мне сейчас же дали слово.

Опыт публичных выступлений у меня был только один: капустный. И в Институте истории, после архисторожного доклада, я выступил так:

— По-моему, есть два типа циклических движений. Первый случай: обезьяна накладывает друг на друга ящики, чтобы достать банан. Накладывает неумело, ящики разваливаются, и приходится начинать заново. Это модель циклизма на основе невыполненной исторической задачи. Второй случай — колебания моды. Юбки укорачиваются до предела, а когда предел мини достигнут, начинается движение в обратную сторону, до предела макси. Это модель циклизма на основе выполненной исторической задачи.

Председатель, М.Я. Гефтер, спросил: “Нельзя ли поближе к истории?” — “Пожалуйста”, — ответил я, и дал несколько заранее припасенных примеров: из истории доколумбовой Америки, Французской революции, древнего Китая и т.п. Когда я кончил и сходил с трибуны, Виталий сидел затылком к кафедре. Потом он мне объяснил: я смотрел, не собираются ли тебя линчевать. Но линчевать меня не стали. Только удивленный Гефтер спросил во время перерыва Виталия: откуда Померанц знает про Цинь Шихуанди? Виталий откровенно ответил: “Это я ему рассказал”.

Так начались мои попытки вклиниться в дискуссии, которые велись в институтах Академии наук, и превратить их вялое течение во что-то вроде французской банкетной кампании 1847 года. Это была проба, эксперимент. Либо начнется цепной процесс, либо мой расчет неверен. Проверкой мог быть только опыт. Я приходил, садился, слушал. На что-то хотелось возразить. Начнут в голове мелькать мысли, я их набрасываю на каталожные карточки и прошу слова. Иногда выходило хорошо, иногда не очень, но своего я добился. В ноябре 1965 года меня пригласили сделать двадцатиминутный доклад на конференции “Личность и общество” в Институте философии.

Никакого сговора ни с кем у меня не было. Я не знал, что будут говорить другие и кто будет в зале. Но обстановка сама по себе сложилась такая, как надо. Лед растопил Виталий своей речью о совести историка. Это была именно речь, а не научное сообщение. Он говорил, что ему стыдно назвать свою профессию: историк; что слово “история” стало синонимом лжи, бессовестной фальсификации, духовной продажности... Говорил горячо, проводили его аплодисментами, и когда я начал с

известных стихов Наума Коржавина, зал сразу откликнулся (я это почувствовал)...

А потом, когда кто-то попытался возражать с позиций всепобеждающего учения, Лена Огородникова-Романова сравнила моих оппонентов с Шигалёвым: и они, дескать, начинают с идеи свободы и приходят к рабству.

Любопытно, что все три острые речи произнесли сотрудники ФБОН, библиографы, а не члены официального корпуса советской науки. “Библиограф — профессия неудачника”, — часто говорила Лена Огородникова. Судя по ней — профессия человека, и не искавшего удачи. Она умерла несколько лет спустя от инсульта, оставив несколько эссе, написанных в стол, и только три опубликованные статьи (в сборнике “«Август 1914-го» читают на родине”). Я до сих пор помню некоторые ее реплики в коридорах ФБОН. Лена была поэт реплики, то есть самого бескорыстного слова, брошенного, чтобы прозвучать и исчезнуть. Так и вся ее жизнь.

В 1966 году наши надежды подогрела культурная революция в Китае. Я еще раз использовал рубинскую концепцию раннего конфуцианства в статье “Размышляю о Циньском огне”, оставшейся ненапечатанной и впоследствии включенной в мою книжку “Неопубликованное” (Мюнхен, 1972). Какие-то надежды подавала и хозяйственная реформа. Либо она должна была провалиться (что и случилось), либо захватить и политику, и культуру. Что получится — было не совсем ясно. Разочаровала меня только весна 1967 года. Очень сильным ударом было чтение в апреле романа А. Солженицына “В круге первом”. Много в романе захватывало, радовало, было то самое, что мне хотелось увидеть высказанным, напечатанным. И в то же время... Именно чужое в своем было невыносимо. Началось то направление оппозиционной мысли, которое сегодня господствует в эмиграции и которое меня глубоко отталкивает...

Второй травмой была реакция Москвы на шестидневную войну. Прага ликовала, в Варшаве интеллигенция завалила посольство Израиля цветами. В Москве — вялое и скорее враждебное недоумение.

В 1956 году я негодовал на Израиль за то, что он расколол мировое общественное мнение в дни будапештского кризиса. Но в 1967 году не было рабочих советов в Венгрии, не было союза Израиля с Англией и Францией, да и колониализма почти не было... На Синайском полуострове столкнулись демократия и тоталитаризм, и демократия победила. Это было ошеломительно, как победа греков под Марафоном. Но в Москве (за исключением очень узкого круга) не было самого *желания* свободы, тоски по свободе, радости за успех свободы. По этим впечатлениям легко было предсказать события 1968 года: всеобщий порыв к свободе в Чехии, движение интеллигенции в Польше, не поддержанное (тогда) народом, — и отсутствие всякого движения в России (несколько диссидентских ласточек не делают весны).

Виталий дольше сохранял оптимизм. Помню, как он с Василием Николаевичем Романовым пытался использовать профсоюзное собрание

для выступления против директора, В.И. Шункова, запретившего вечер Солженицына в нашей библиотеке. Председатель тогда бросил свой колокольчик и таким образом призвал публику расходиться, поскольку повестка дня была исчерпана. Я взял колокольчик и заявил, что собрание продолжается (хотелось довести эксперимент до конца, до голосования резолюции). Кто просит слова?

Заместительнице директора, И. Ходаш, пришлось произнести демагогическую речь. Потом я поставил рубинско-романовский вотум недоверия на голосование... Против дирекции голосовали трое — авторы предложения и я; с этих пор нам не платили премиальных. Остальные голосовали по обычным советским нормам.

Следующий раз Виталий вспыхнул, когда Лариса Богораз и Павел Литвинов дали пресс-конференцию иностранным корреспондентам. Помню, это и меня поразило. Но я никак не мог согласиться со словами Павла, что “у щуки выпали зубы”. А Виталий был совершенно захвачен. О своих поездках к Павлу он рассказывал с неподдельным энтузиазмом. События в Москве шли так, что для энтузиазма оставалось всё меньше места, зато в Праге... Иногда и мне казалось, что Прага вызовет цепной процесс в Восточной Европе, а там — чем черт не шутит...

Но наступил август. Оставалось или отказаться от оптимизма, или от своих корней в России. Я выбрал первое, Виталий — второе. Думаю, что и в этом случае, как и в спорах о Конфуции и Чжуанцзы, оба были правы.

Тут самое трудное — понять самого себя. Период колебаний занял у меня года два. Он отразился в “Неуловимом образе”, в “Двух принцах” и в первых двух частях “Снов земли”. Победило желание — не суетиться, принять свою судьбу во внешнем и двигаться по мере сил внутрь.

В этом решении сказались много обстоятельств. Я не мог представить себя в другом языковом облике. А если за мною всюду потащится русский язык, то зачем, без крайней нужды, уезжать из России? Писать пока не мешают. А печататься... Я уже привык, что книги печатаются спустя четверть века. Это отчасти даже хорошо: отсеивается литературная суета. Можно ли писать в гниющем обществе? Можно. Империя, ради которой Сервантес потерял руку, развалилась, а “Дон Кихот” остался, и “Жизнь есть сон”, и Эль Греко, и Сурбаран... Всюду можно вживаться в жизнь до любой посильной тебе духовной глубины. А уникальный исторический опыт утопии — неотразимо привлекателен для историка...

Какую-то роль играли и личные связи, и диалог со спорадически возникшей аудиторией, и то, что у меня нет детей (которых надо спасти). Всё это важно для меня — и совершенно неважно для другого. Виталия неудержимо потянуло туда, где его деятельный, рациональный и гуманный оптимизм получил новый смысл. Я его вполне понимал. Огорчали меня только накладные расходы выбора. Но никто не расходится с женщиной, не вспоминая ее недостатков. Так и с доисторической родиной: с нею нельзя было расстаться, не облив презрением...

Здесь, как и во многих других случаях, о которых и сегодня (в 1982 году!) пишу, ни у какого личного решения нет монополии на историческую

и нравственную оправданность. Истина в каждом случае индивидуальна, для каждого своя. Богу безразлично, в какой угол человек забьется. Важно, чтобы это был *его* угол, чтобы человек нашел свой дом и в этом доме — тишину и покой для движения вглубь. Дом Виталия нашелся в Израиле.

С точки зрения страны, которую Виталий покинул, начавшаяся алия тоже имеет смысл. Распад системы начался с распада оппозиции. Не сумев увлечь народы общей борьбой за права человека, оппозиция стала рассыпаться и наполовину рассыпалась на национальные партии. В обществе, где одна официальная идеология, одна официальная партия и только национальностей много, центробежные тенденции необходимо должны были принять национальный характер. Национальности превращаются в партии — сионизм, сепаратизм и проч. Только маленькое ядро остается верным космополитическим принципам гуманности и прав личности. В новых условиях это ядро всё больше отступает на роль всесоюзного политического Красного креста и информационного центра Международной амнистии. Я всем сердцем сочувствую его бескорыстному служению, но не возлагаю на него политических надежд.

Чувствовал ли Виталий трагизм израильской судьбы? Сознал ли он, что меняет положение узника на положение бойца в осажденной навечно крепости, который может отбивать врагов, делать вылазки, но не может снять осаду?

Одного он не знал бесспорно: что его самого ждет придорожный столб в пустыне Негев и жизнь оборвется мгновенно — без раздумий, сожалений, мук. Легко для него, невыносимо для близких (я испытал нечто подобное и понимаю это). Смерть приходит, как вор, и вот уже двух моих товарищей, с которыми мы 3 декабря 1965 года встряхнули Институт философии, нет в живых. И остаются ненапечатанные статьи, оборванные черновики. Может быть, все мы — Божьи черновики, которые к исходу дня сметают и бросают в корзину. И редко какой лист, написанный начисто, остается на столе.

На эти вопросы никогда не будет ответа. Но каждый человек должен стать самим собой и пройти свой жизненный путь по своей продуманной воле».

\* 76 \*

Текст, написанный в 1981-1982 годах, заставил меня заскочить вперед, в глухие годы, когда внешнее движение почти прекратилось и шли глубокие духовные сдвиги. Вернемся теперь назад, к началу шестидесятых, в компанию Алика Гинзбурга, в комнатку на шестом этаже, где стучала на машинке, перепечатывая стихи, Наташа Горбаневская (в 1968-м — на Лобном месте)\*, где почти каждый вечер можно было встретить романтически красивого Юру Галанскова, чем-то напоминавшего мне Ленского (через несколько лет он умрет в лагерной больнице). Любви,

---

76 Демонстрация против ввода советских войск в Чехословакию (август 1968). Участвовали семь человек. Все арестованы.

надежды, тихой славы не долго тешил их обман...

В «Синтаксисе» было что-то уникальное, неповторимо личное, невозможное без авантюрного характера, беспечности и организаторского напора Гинзбурга, действовавших в нем как-то бессознательно и непреодолимо. Этот авантюрный дух создал «Синтаксис», и он же его провалил — из-за глупой шалости, из-за попытки сдать за товарища экзамен. Алика поймали на подлоге (своя карточка была временно подклеена в чужой документ). Ошеломленный Рустем — приятель Алика — составил список: кто мог об этом знать? Вышло около 80 человек! Стукачи роились вокруг, как комары в июне. Немедленно был произведен второй обыск, список изъят, и по нему вызывали свидетелей. Словом, глупостей хватало. Но исправить их и продолжать «Синтаксис» иначе, без Алика, никто бы не смог. И сам Алик, выйдя из лагеря, не пытался этого сделать. Что-то изменилось в нем самом и во времени.

Бывает, что яйца учат курицу, и выход трех номеров «Синтаксиса» меня чему-то научил: ждать совпадения исторического мига с каким-то мигом в развитии личности. А пока «завязать», сидеть тихо, присматриваться и думать. Я продолжал ходить в гости к Людмиле Ильиничне, узнавал, как идет следствие, при случае давал неумелые советы (те, кто их выслушивал, еще меньше моего понимали); сходил и на Лубянку, когда меня туда вызвали, и хвалил творческую инициативу Гинзбурга в отборе поэтических талантов (за этот отзыв меня лишили допуска к спецхрану), — но ни к чему больше не тянуло.

Чтобы стать деятелем, мне всегда не хватало завороченности одной какой-то идеей. Слишком захватывал процесс рождения новых идей, и каждая попытка активности оказывалась действием для понимания (а не пониманием для действия). У деятеля свой особый, деятельный ум — вроде прожектора, направленного в одну точку: создать паровую машину, открыть путь в Индию, захватить власть. Следующего вопроса: зачем? — деятель себе не ставит, то есть не ставит его всерьез, так, как поставил бы его мыслитель. Деятелю достаточно отговорки: для счастья человечества, для блага родины... Дальше ставится точка. А для меня точка немедленно становится запятой, за которой 5000 *как*, 7000 *что* и 100 000 *почему*. И пауза между двумя порывами деятельности разрастается, наполняется самостоятельным смыслом, и подлинным моим делом становится новая рукопись.

После ареста Алика я мог бы себе найти другое поприще. Например, толкаться на площади Маяковского, прислушиваться к спорам, участвовать в них... Почему мне этого не захотелось?

Позже, когда начались молчаливые манифестации у памятника Пушкину, я объяснял свое нежелание участвовать тактически: рано нам бороться за улицу. Начинать надо с аудитории. Однако за этим рациональным доводом стояло непосредственное чувство. В аудитории я чувствовал себя сильным, на площади — слабым. Площадь — это народ. А с народом я был одно только во время войны. Тогда я мог звать за собой любую группу солдат. Во мне был разум войны: не медлить под огнем,

вперед! Но потом между интеллигенцией и народом легла пропасть. Работая в школе, я медленно наводил мосты, передавая ребятам что-то из традиции русской литературы. Но как это сделать на площади с первыми попавшимися?

Я мог бы разок сходить, послушать и уйти — как в толпу у Мавзолея, когда выносили Сталина. Ничего не возразив грузину, твердившему как попугай: «Если бы не Сталин, то победил бы кто? Троцкий!..». Но не получилось и такое созерцательное присутствие.

Примерно в ноябре 61-го мне позвонили на работу: зайдите, мол, такого-то в гостиницу «Урал». «Урал»? — переспросил я. «Не повторяйте», — сказал неизвестный джентльмен. Да, в гостиницу, в номер такой-то. Я мог бы и не пойти. Это ведь не официальный вызов, не повестка. Но было любопытно: что они обо мне знают? Стоит ли где-то под потолком аппарат для прослушивания?

Разговор вышел из рук вон нелепым. Джентльмен (немолодой, обрюзгший, из старых сталинских кадров) привык только к двум формам беседы: с информатором или с подследственным; он не нашел ничего остроумнее, как спросить меня для начала: «Что вы можете рассказать о настроениях молодежи, в особенности еврейской молодежи?». Я с удивлением уставился на него и ответил, что ничего (за кого он меня принимает?). Потоптавшись вокруг да около, подполковник (или кто он там был?) наконец прямо спросил, бываю ли я на площади Маяковского. Нет, мол. А почему? Там очень интересно... Я подумал: если вам надо, чтобы я туда пошел, то мне этого заведомо не надо, и ответил: «Жена у меня больная, некогда мне ходить на площадь. Я недавно женился».

— На Вале? — лукаво спросил собеседник. Ради этого я и пришел. Ни черта они не подслушивают. Даже не знают, на ком я женат. Валя была сотрудница, избравшая меня своим конфидентом (у нее был роман с иностранцем, ее вызывали, я провожал ее на Кузнецкий мост).

— Нет, на Зине! — ответил я еще более лукаво.

— А кто она такая? — растерянно спросил джентльмен.

Я благодушно ответил, что Зина поэт-переводчик, сейчас работает над переводом Тагора для издательства «Художественная литература». Джентльмен что-то бормотал, но нить разговора была потеряна, я распрощался и ушел, еще раз лукаво улыбнувшись (мол, дурак ты, мой батенька).

Месяца через два или три я узнал об аресте Осипова и почувствовал себя остолопом: можно было понять, что против активистов площади Маяковского готовится что-то серьезное и, по крайней мере, попытаться сорвать провокацию. А я ничего серьезного не ждал. Я позабыл, что и в царствие кроткия Елисавет всякое случается. Венценосцы, у которых семь пятниц на неделе, приходят и уходят, а Тайная канцелярия остается, и палец ей в рот не клади — откусят.

Поговорив с тупицей, я впал в эйфорию. Мое впечатление можно было бы выразить стихом Маяковского: «Вымирающие сторожа аннулированного учреждения». Я ошибся почти так же грубо, как Маяковский,



говоря о церкви. Оба учреждения подлежали аннулированию только в интеллигентских головах, а система построена так, что туповатый сталинский кадр, мало на что годный (думаю, Андропов отправил его на пенсию), — даже этот кадр мог наделать пакостей; и наделал. В том числе таких пакостей, которые государству были ни к чему, из личного желания навредить — если не мне, то кому-то около меня... Но об этом ниже, а сейчас опять об Осипове.

Каждый раз, читая «Вече», я вспоминал тот нелепый разговор и мою еще более нелепую беспечность и говорил себе: «Эх, предупреди бы я Володю! Не писал бы он воззваний к соплеменникам».

Я даже набросал открытое письмо: «Милостивый государь, Владимир Николаевич!», упрекая редактора «Вече» за скверный политический жаргон:

«Вы хотите нравственного возрождения русского народа, хотите очистить его душу от лжи и тлена. Как же сделать это, продолжая играть краплеными картами? Как можно протестовать против определения национализма “по Ожегову” и в то же время “по Ожегову” (то есть по Сталину) определять космополитизм? Сталинский ньюспик — единое целое. И нельзя служить Богу на языке преисподней.

Я призываю Вас только к одному: будьте честными. Вы ищете возрождения русского народа в православии? Значит, в христианстве? Но христианство — *вселенская*, “космополитическая” вера... Мы, может быть, не способны поднять вселенскую идею во всей ее полноте — по грехам нашим. Но для Христа и для святых она не была ни головной, ни абстрактной, а совершенно живой... И христианство требует по крайней мере стремиться к этому. Вера — обличение вещей невидимых, невоплощенных. В том числе вселенского братства... То, что вы не можете приблизиться к Христовой любви ко всем людям, — это понятно и простительно. Почти никто не может. Но Вы *можете* не превращать свою слабость в добродетель, не ставить патриотический долг выше долга христианина... Иначе пастор Бонхофер, участвовавший в Сопротивлении, — изменник родины, и Гитлер был совершенно прав, казнив его...»

Это письмо осталось недописанным. Что-то запрещало мне полемизировать с Володей. Задним числом я нахожу целых три причины. Во-первых, я не всё понял в «Вече». Ведь не один Осипов создал журнал: там целый круг. Что их связывает? Почему к мальчикам пришел членкор Шафаревич? К двум-трем происшествиям этого нельзя свести. А раз так, то не всё ли равно, кто редактор? Почему бы и не Осипов? До перекрестка мы шли вместе, а потом разошлись...

Слабости позиций «Веча» бросались в глаза. Но и это скорее задерживало: неужто Осипов не увидит, что сидит на двух стульях? Пусть жизнь сама ему докажет. Идея антиправительственного единого русского фронта родилась в лагере, там, где русским экам действительно противостоит фронт антирусского национализма. Но по сию сторону колючей проволоки националистам вполне можно действовать *вместе* с властью, как Глазунов

(поддерживая «Вече», но не теряя контакта с Фурцевой)<sup>77</sup>. Соблазн рептильности постоянно искушал «национал-большевиков» и очень способствовал предательству (когда редактор попытался занять более независимую позицию). В статье, опубликованной «Континентом», «Русский патриот Владимир Осипов» Хейфец рассказывает, что в лагере Осипов горько спрашивал себя, почему его дела никто не продолжает. Почему Якир предал «Хронику», а она продолжалась? «Веча» же больше нет?

Действительно, Осипов, как нравственная личность, цельнее Якира. Но дело его оказалось ненужным. Рептилии (Шиманов, Карелин) выделались в сборник «Многие лета». А независимые патриоты нашли своего вождя в Солженицыне.

Всё это так, но главная причина моего молчания — третья: я чувствовал свою вину перед Володей. Я был виноват, что не подумал о нем в ноябре 61-го. Я не мог теперь поднять на него руку.

Я не только не предотвратил несчастья. Я его прямо навлек на двух женщин, одной из которых была Зина. В начале 1962 года позвонила редакторша и спросила, почему Владыкин — директор издательства — вдруг запретил давать Зине работу. Лично ее директор не знал и вообще в такие мелочи не вмешивался. Рита Кафитина ничего не понимала. Никакого намека на государственный смысл. Чистый произвол. И бедная женщина решила вступить в борьбу за разум и справедливость. Она была убеждена, что философскую лирику Тагора никто, кроме Зины, не сумеет хорошо перевести... Кончилось тем, что после запутанной истории Дон Кихота в юбке уволили. От нервного напряжения ее разбил паралич. Через четыре месяца последствия удара смягчились, я помог ей устроиться к нам в библиотеку на работу и еще около полугода делал за нее примерно половину карточек. Рита гораздо лучше меня знала английский язык, но ее бедная голова очень медленно приходила в норму. Ну, а издание было поручено некому Ибрагимову, не знавшему и не чувствовавшему Тагора. Зину из этого дела успешно вытолкнули. Она кричала по ночам, читая опубликованные переводы, — настолько они были плохи. Заодно рухнула возможность одним махом войти в корифеи по переводу религиозно-философской лирики. Отношения с издательством были испорчены, создавать их заново не было ни сил, ни охоты. Так и не пришлось набрать нужное число строк, чтобы попасть в Союз писателей и на законных основаниях получать путевки в Коктебель или Малеевку. Это, впрочем, судьба, только прорисованная случаем. Но я некстати помог судьбе, и хорошо бы — ради долга, ради принципа... нет — просто по глупости, по беспечности.

Много раз меня пронзало острое чувство боли — за Володю, за Риту, за Зину. Но другим я от этого не стал. Какая-то доля беспечности во мне очень крепко заложена. Я и улицу перебегаю беспечно, и на велосипеде езжу беспечно, и чувствую себя плохо, когда теряю беспечное доверие

---

<sup>77</sup> Фурцева была министром культуры.

жизни. И на других людей, подводивших меня своей беспечностью, я никогда не сердился. Но самое любопытное и необъяснимое: я не особенно рассердился даже на джентльмена в штатском. Этот человек привык делать пакости — а я почти что показал ему язык. Совершенно естественно и в духе его характера, если он взял трубку и позвонил кому следует. Каждый в своем юморе, как писал Бен Джонсон. Невозможно долго сердиться на собаку породы боксер, которая покусала меня, когда я неосторожно зашел на чужой участок. Проходит время — и перестаешь ее отличать от других собак.

Несколько лет спустя — точнее в 1968 году, — сходный случай произошёл с Татьяной Михайловной Великановой. Ее вызвали как свидетельницу по делу мужа, Константина Бабицкого (он был на Лобном месте). Извиняясь за опоздание, Таня сказала, что задержалась в больнице — внезапно заболел ее друг. Другу оставалось до военной пенсии еще два месяца. Его тут же демобилизовали, и пришлось больному человеку тянуть ляжку еще 10 лет. На Татьяну Великанову это произвело такое впечатление, что она больше с этими людьми никогда ни о чем разговаривать не могла (хотя вызывать ее вызывали: она стала активной правозащитницей). И когда ее посадили, она молчала, и на процессе молчала; только после приговора (лагерь и ссылка) — два слова: «Комедия окончена».

Не подумайте, что это женская «неадекватная реакция». Ничего «неадекватного», неврастеничного в Татьяне Великановой не было. Просто нравственная цельность и решимость. Я каждый раз поражался обаянию ее улыбки (кажется, я писал об этом, когда готовился процесс; текст передала одна из западных радиостанций, подлинника не сохранил, проверить не могу). Улыбка счастливого человека. Счастливого — потому что нет никаких колебаний и угрызений, спокойная и неколебимая верность себе. Потом Татьяна Великанова, отбыв лагерь, приезжала из ссылки проститься с умирающей сестрой, заходила ко мне, мы выпили за здоровье Горбачева (это было в начале 1987-го). Но обязательства вести себя хорошо не написала — без всякой риторики, спокойно и просто: не могу, и вернулась в ссылку. Через некоторое время отпустили так, без бумажки. На похоронах Сахарова Великанова сказала, что Сахаров не был политиком. Верно ли это про Сахарова — не знаю. Если политика — игра на выигрыш, желание славы ит.п., то Сахаров политиком не был (так же, впрочем, как и Гракхи). Но иногда такие люди (психологически не политики) играют огромную политическую роль, и Сахаров стал своего рода зеркалом, этическим стандартом в политике перестройки.

Я привожу пример Татьяны Великановой как доказательство моего любимого тезиса: нравственность нельзя свести к заповедям, жизнь бесконечно сложнее любых правил, и дело личности (если имеется налицо личность) — найти свое собственное решение, прислушиваясь к своему собственному демону. Мой демон требовал от меня довольно рискованных поступков, но не разрешал втягиваться без остатка ни в какое дело, даже самое благородное, и настаивал на сохранении внутренней независимости,

в которой рождается свободная мысль. Я любовался нравственной цельностью Татьяны Михайловны Великановой, Петра Григорьевича Григоренко и других рыцарей правозащитного движения. С Петром Григорьевичем у меня даже вышел случай подружиться, и я был очень рад нашей дружбе. Но у меня другой нравственный стиль: сознания неразрешимости основных нравственных проблем и невозможности их решения без какого-то ущерба.

Сергей Сергеевич Аверинцев как-то написал в «Советской культуре»: «Для здорового функционирования культуры нужны люди, которые без остатка посвятили свою жизнь мысли как таковой... Деятель проводит свою линию — мыслитель проследивает своей мыслью *все* линии, и, какими бы твердыми ни были его убеждения, он не может перестать видеть самую неприемлемую для него систему не извне, а изнутри. Все в мире действия — за себя, за своих, за свое. Но есть другое призвание, как у Волошина, — быть стрелкой весов, указующей разницу веса».

Не могу сказать, что посвятил себя мысли «без остатка». С логической точки зрения, я вел себя непоследовательно и то приближался к Аверинцеву, то к Григоренко. С обоими я охотно беседовал и обоим понимал. Как-то случилось, в 1967-м, что мне на дом принесли подписной лист протеста по делу четырех (Гинзбург, Галансков, Добровольский, Лашкова); я сам подписал, подписала моя жена и две ее подруги (одной это припомнили). Но когда одна из них Александра Николаевна Чиликина собралась ехать в «Философскую энциклопедию», я сказал ей: «Не надо заваливать эту малину!». Впоследствии Рената Гальцева говорила мне: «Не могу понять, почему нашу редакцию обошли»... Я был убежден, что энциклопедию, где систематически печатались статьи Аверинцева по философии религии, нелепо и глупо ставить под удар ради двух-трех подписей; и стоически принимал нежелание самого Аверинцева подписывать какие бы то ни было протесты. Эту индульгенцию я в своих «Письмах о нравственном выборе» распространил на учителей и врачей, которых за подпись выгоняли с работы, наказывая детей и больных.

У каждого своя дхарма. И исторический процесс оставляет нам не только одну роль. Возможен и оправдан «чистый», кабинетный мыслитель. Возможен и мой стиль. Так или иначе, мысль должна сохранить свою свободу и незаинтересованность в результатах, иначе она теряет свою многомерность. Мне особенно близко то, что «мыслитель проследивает своей мыслью *все* линии». Я действительно хотел понять и Владимира Осипова, и Виталия Рубина, и Григоренко, и Аверинцева. Я склонен мыслить сразу несколькими потоками, перетекающими друг в друга, как рукава одной реки, и часто одновременно разрабатывал две-три альтернативных модели. Грубо говоря, это можно назвать плюрализмом, и Солженицын имел основания причислить меня к плюралистам. Следует только прибавить, что плюрализм — не бранное слово, а философский принцип, существующий довольно долго, примерно две с половиной тысячи лет; а в последние века — и социально-политический принцип, близкий по смыслу к таким понятиям, как веротерпимость, диалогичность,

демократия. В русскую жизнь он, к сожалению, не внедрил; однако и отменить его не может даже самый великий авторитет. Ибо все философские принципы коренятся в устройстве человеческого ума; и один ум не вправе навязывать другому свой внутренний строй; а потому философский спор, спор принципов, будет длиться до тех пор, пока существует философия.

Впрочем, размышления опять увлекли меня очень далеко вперед. Вернусь снова (кажется, в последний раз) к началу 60-х. Когда я просто был никто. Так, как сказала Эмили Дикинсон: ты никто, и я никто; значит, нас двое... Значит — просто жизнь. В этой жизни случались скверные анекдоты, глупости, за которые приходилось расплачиваться. Но всё это было ничтожно сравнительно с огромной жизнью. Огромной жизнью рядового человека, который ходит на работу, как все, и каждый будничным днем снимает табель.

В 1960 году мне предложили поступить в штат библиотеки (до этого иногда работал временным сотрудником). Я сформулировал проблему в дзэнских терминах: «Можно ли быть буддой, снимая табель?». То есть сохраню ли я внутреннюю свободу, отказавшись от внешней свободы люмпен-пролетария умственного труда? Сменив свободу Диогена на незаметную свободу Канта? Заведующая отделом, Софья Иосифовна Кузнецова, мне понравилась. Она подбирала способных людей и давала им полную волю — лишь бы работа не стояла. Я сунул голову в хомут и проработал на одном месте 18 лет — до пенсии.

Фундаментальная библиотека открыла мне много возможностей. Это было окно в Европу (а заодно в Америку и Азию). Несколько лет я осваивал кучу информации, а потом стал перестраивать ее по-своему и написал на четыре книги (если всё собрать и издать). Правда, выкраивая время на свое, приходилось работать, как почтовая кляча, но радость жизни я не терял, жизнь углублялась и собиралась в пучок за выходные дни — в лесу, летом на даче, осенью у моря...

История предоставила мне отпуск. Эта фраза придумана не задним числом — я сформулировал ее, когда «Новый мир» напечатал «Один день Ивана Денисовича». Не имело смысла бороться с лидерством Хрущева в освободительном движении. Аппарат бдительно охранял его и не допускал свободной конкуренции. Но само руководство беспорядочно металось из стороны на сторону и успешно восстанавливало против себя то либералов, то консерваторов. Один из анекдотов (в которых выражается наше общественное сознание) сформулировал итоги правления Никиты очень точно: Хрущев показал, что руководить страной может всякий дурак. А значит — и вы, и я, и наш сосед Иван Иванович. Нельзя было придумать лучшей школы демократии. Никакие усилия кучки интеллигентов не могли дать больше, чем выходки этого человека, стучавшего башмаком по пюпитру Генеральной ассамблеи или фыркавшего на «Обнаженную» Фалька. Сталин заставил трепетать перед властью, Хрущев — смеяться над ней. Началась эпоха песен Галича и анекдотов армянского радио.

Вся политическая поверхность, на которой происходили эти анекдоты,

стала мне казаться пустой и мелкой сравнительно с часами созерцания. Жизнь по свету, вглядывание в луч, подымавшийся по веткам палангских сосен, проводы зари... Словно сошла пелена с моих глаз, и я увидел литургию света. Осень и зима тоже заново раскрылись предо мной, и весна в Рублевском лесу, и, наконец, бабье лето в Пицунде...

Говорят, что дуракам счастье. Это верно, хотя совсем не просто. Первый смысл: в счастье есть что-то от удачи, от глупого везения. Но иная душа может и в неудачах найти себя, а быть собой — тоже счастье, великое (к сожалению — редкое) счастье. «Господи, душа сбывлась. Умысел твой самый тайный», — писала невезучая Марина Цветаева. И на сто лет раньше нее — Тютчев:

*Когда на то нет Божьего согласия,  
Как ни страдай она любя,  
Душа, увы, не выстрадает счастья,  
Но может выстрадать себя.*

Я не хочу, чтобы моим молодым друзьям непрерывно везло. Дерево, выросшее под ветром и дождем, лучше оранжерейной пальмы. В нем больше внутреннего напряжения, жизни, красоты. Нельзя закалить клинок, не погружая его то в жар, то в холод. Неважно, чего будет больше: горя или радости, страдания или восторга. Лишь бы сбывалась душа. Лишь бы мера страдания не превысила ее меру, не сломила, не свела с ума. Иов вынес свой жребий. Дьявол, играя случаям, бросал ему горе за горем — но в конце заговорил Бог. В жизни так не всегда, и встреча с Богом уходит в посмертие. Но библейский Иов настрадался до ликования здесь, на земле. Так именно кончается Книга Иова, жившего на земле Уц. И именно это, по моему, задумано Богом (хотя не всегда выходит). Несбывшаяся душа хоть и наталкивается на счастье, почти непременно упустит его или не заметит. Выстрадавшая себя — находит, как быть счастливой нипо- чему и давать это счастье всем, кто подберет. И вот здесь второй смысл поговорки: счастье невозможно без простодушия, доходящего даже до глупости. Счастье дается только тем, кто не перегружен целями, заботами, кто вышвырнул их вон и поплыл по реке жизни. Мудрость здесь совпадает с глупостью. «Если не будете, как дети, не войдете в Царство».

Московское лето 1962 года выдалось холодное, мокрое, в сентябре по вагону гулял ветер, Зина простыла, — и вдруг рай, роща реликтовых сосен (еще не огороженная), крест кипарисовых аллей вокруг заброшенного монастыря — и ни одного дождя. Запах моря и сухой хвои. Тело становится упругим, словно боги даровали мне вечную молодость, а вечером весь уходишь в зрение. Зина это делала так полно, что я мешал ей, нечаянно подумав о чем-то светском, постороннем. По канону заката сперва смотрим на фиолетовые холмы. Потом, сквозь горящие деревья, проходим по другую сторону мыса и садимся на рыжую хвойную подушку — до глубокой тьмы. Солнце торжественно погружается в море; полоса зари, как на японских гравюрах, разгорается, потом гаснет. И раскрывается чаша звезд.

*На лунный звон собрались тихо дали,  
Прильнули горы спящие к воде,  
И кипарисы на молитву встали,  
Держа на пальцах каждый по звезде.  
Высокий лес в серебряном уборе  
Приподнялся на цыпочки и стих.  
Все ждут, чтоб засветившееся море  
Большой рукой благословило их...*

Это остановившееся бытие не нужно было перебивать. Отпал сам собой перекур. В местном ларьке не оказалось «Беломора», я попробовал какую-то дрянь, закашлялся — и вдруг почувствовал, что мне не очень хочется курить. Незачем это здесь. Решил до Москвы папирос не покупать; а в Москве купил, положил в портсигар и иногда, в компании, выкуривал полпапиросы. Потом и это бросил. Некурящий лишен благородного предлога каждый час оставлять свое рабочее место, и время становится очень плотным. Приходилось жалеть, что больше не курю. Но чувство свободы от лишней потребности оказалось сильнее.

С этим чувством внутренней свободы я вступил в общественную борьбу после отставки Никиты. Я вошел в нее весело, как в новый капустник. И антисталинская речь так удалась мне именно потому, что в ней не было скучной серьезности, что это была, в известном смысле, игра, — пожалуй, не менее рискованная, чем игра бандерильеро с быком, — но игра, на которую я смотрел, при всей захваченности, откуда-то изнутри, из точки покоя, и обдуманно соразмерял степень дерзости, балансируя на самой черте, за которой неизбежно начинались репрессии, — но не переходя через черту. Возможность такого балансирования мне подсказала статья «Социологические условия харизмы», где описывалось, как новые африканские лидеры научились ругать колониальные власти, не попадая в тюрьму (что делало их волшебниками в глазах малограмотных). А форму подсказали похабные стишки, сочинявшиеся в свое время на пару Михалковым с Сурковым (я их слушал из уст бывшего школьного товарища, впоследствии редактора «Советской культуры», В.И. Орлова). Остроумие их (довольно примитивное) было в том, что слово, относящееся к материальнотелесному низу, подсказывалось рифмой, но не произносилось. И только в конце целой серии куплетов, когда слушатель перестал ждать матерщины — вы ее получаете с роскошной, полной рифмой...

Круг за кругом я обходил запретную зону, вспоминал Ивана Калиту, Ашоку, Цинь Шихуанди — и вдруг произнес матерное слово «Сталин». И сразу сменив язык, начал крыть Сталина строго по-марксистски, выбирая ругательства из темпераментной статьи Ленина «Памяти графа Гейдена».

Аудиторию охватил восторг. Философы в штатском<sup>78</sup> вскакивали, пытались подойти к трибуне, но их хватали за плечи и сажали на место.

---

<sup>78</sup> Из тогдашнего анекдота: «На выставку пришла Фурцева и два искусствоведа в штатском» (не в форме ГБ).

Несколько скомкав последние фразы (что культ Сталина — месть истории за разрушение религиозной веры), я кончил. Оглянувшись, увидел, что колокольчик уже в других руках. Арсений Владимирович Гулыга исчез из президиума (кажется, что-то с кем-то улаживал). На несколько недель интеллигенция окутала меня харизмой, как африканцы Кваме Нкруму или Джулиуса Ньерере. Какой-то кандидат наук, оставшись со мной наедине, спросил, считаю ли я себя пророком. Я перекосялся и ответил: нет, и вам советую думать своим умом. Больше он ко мне не подходил. Африканцы белого цвета хотели пророка, вождя. А я хотел другого — хотел их подтолкнуть к свободной речи, хотел подсказать, что так, как я, могут все. Это оказалось преждевременным. Ораторами делаются — только поэтами рождаются, — но не так быстро делаются. Особенно после нескольких десятилетий рыбьего и рабьего молчания. Мой пример подтолкнул М.И. Ромма. Он воспользовался случаем сказать что-то о Сталине и потом пригласил меня в гости и целый вечер рассказывал о своей жизни в те годы (видимо, воспоминания его очень томили). Но вскоре Ромм умер. Еще тогдашний редактор «Комсомольской правды» предложил мне придумать какую-нибудь тему для круглого стола. Я придумал, и круглый стол состоялся, но материалы не были напечатаны. А редактора скоро сняли с работы. Любопытно, что непосредственно со мной он не решился говорить, агентом связи служил корреспондент.

Впрочем, опять я забегаю вперед. Теперь не буду больше дополнять текст воспоминаний, написанных в 1985 году. Беру его в кавычки и ограничиваюсь сокращениями и самой незначительной стилистической правкой.

«На следующий день была суббота (по-тогдашнему — укороченный рабочий день). Аннотирование журналов можно было отложить на понедельник. Сидя за своим столом в Белом зале у окна, я за четыре часа по памяти записал речь и отдал ее в машбюро. Шестого текст был готов и пошел в Самиздат (магнитофонные записи пошли в ход раньше). 5 декабря состоялась первая демонстрация у памятника Пушкину; Семичастный был убежден, что мы с Есениным-Вольпиным в створе. Некоторые люди, слушавшие меня, действительно были у памятника, но я об этом не подозревал и Вольпина в глаза не видел. (Всё стоящее в истории возникает стихийно, а то, что требует конспирации и заговоров, — игра, которая дешевле свеч.)

Как текст «Нравственный облик исторической личности» устарел. Строгий читатель заметит, что критика Сталина с ленинских позиций не всегда убедительна. Это верно, у меня сперва намечено было кончить в духе «Квадрильона», сравнивая Сталина со Смердяковым, чертом и крошкой Цахесом, а Хрущева — с Фальстафом (после Кубы: вот так я стал, вот так направил шпагу). Но Зина и сосед Юра Глазов, перед которыми я репетировал, в один голос сказали, что за такое окончание меня за ноги стащат с трибуны; ну а мне хотелось пройти по лезвию ножа, дать пример оппозиционного выступления без репрессий, пример для подражания, а не для испуга. Первое мне удалось. Семичастный дважды звонил в Президиум



Академии наук, но без успеха. Я совершенно честно попытался выжать из марксистского языка всё, что можно, для критики Сталина. Это не было для меня ложью (почему бы не попробовать и такой язык? Даже зная его ограниченные возможности?), и я с наслаждением хлестал по щекам ленинскими словами о холуях и холопах, обожавших хозяина. Разумеется, можно было показать и другое (Сталина как ученика Ленина), но в тот момент, когда я говорил, это было ни к чему. Важно было в лицо назвать сталинистов холуями, холопами, хамами. А потом либералы, опираясь на мой марксистский язык и решения XX и XXII съездов, с чистой совестью меня отстояли. Но примера для подражания не получилось. Роль оказалась неповторимой. В том числе и для меня самого.

Недели три спустя академик Рыбаков решил использовать смену курса и свести счеты с профессором Монгайтом, скептически отзывавшимся об его археологическом национализме. Были заранее подготовлены разгромные выступления. Их язык, их тон напоминали Лысенко. Председательствующий, М.Я. Гефтер, был захвачен врасплох и прислал мне записку с просьбой выступить, перебить проработочную машину. Я тут же набросал несколько тезисов и назвал концепцию Рыбакова славянским фашизмом. Но следующие ораторы меня просто не заметили. Они продолжали, по заранее подготовленным бумажкам, долбить Монгайта. Единственный эффект был тот, что Гефтер, сославшись на различие мнений, сумел отложить заседание, а в следующий раз против Рыбакова была мобилизована профессура других институтов (Поршнев, Токарев). Но это уже его, а не моя заслуга. Я не добился почти ничего. Моя страсть натолкнулась на холод аудитории, разбилась об него. А на следующий день — гипертонический криз: я и физически оказался слаб. Трудно начинать карьеру оратора в 47 лет. Я на десять тысяч рванул как на пятьсот — и спекся. Надо было беречь силы на случай действительно важного выступления и не затыкать каждую дырку. А между тем дистанция вырисовывалась всё более длинная. Года через два — в 1967 году — я заподозрил, что Россия и свобода на моем веку не сойдутся. Разочарование было очень горьким. Само собою сочинилось стихотворение в прозе: «Гниющее крестьянство, спившийся пролетариат, до конца прогнившая бюрократия — и среди всего этого моря гнилья интеллигенция (тоже, говорят, гнилая) пускает пузыри духа. Со временем эти пузыри твердеют, становятся литературными штампами, и школьники твердят перед экзаменами души прекрасные порывы: Товарищ, верь, взойдет она. Звезда пленительного счастья...» Этот текст вскоре показался мне очень резким, и я никогда не пытался обнародовать его; но привожу здесь — как биографический факт. Так было, так я в какой-то миг говорил себе. Да и позже бывали подобные минуты. Когда человека топят в болоте, он вправе ругаться. И кто только в России так не ругался! Начиная с Пушкина: «Черт догадал меня родиться в России с умом и с талантом»...

Опыт следующего года вполне уложился в схему. Писать, сидя дома, или подписать что-то — на это некоторые были способны. Но выступить перед аудиторией и увлечь ее за собой — не то сил не хватало, не то

уменья. Скорее пойти к памятнику Пушкину и помолчать... Какое-то повторение декабристов. Создание знака, символа, который будущее наполнит каким-то своим, новым, неожиданным и, может быть, враждебным смыслом (например, у того же памятника — демонстрация неофашистов).

Я помню, что первая пресс-конференция диссидентов Павла Литвинова и Ларисы Богораз поразила меня больше, чем несколько месяцев спустя демонстрация на Лобном месте. Выход на Лобное место принципиально единичный акт. А пресс-конференция — это было начало свободного живого слова и выхода в свободный эфир...

Я убежден, что без открытого свободного слова — живого слова — свободное общество никогда не начнется. Расшевелить аудиторию не просто, и не имеет смысла биться головой об стенку. Но я убежден, что в иных случаях аудитория готова была откликнуться: не хватило призыва. В 1968 году волна протестов против неправого суда над Аликом Гинзбургом поколебала мой скептицизм, и я решил опять попробовать возможность еще одной речи. Шли слухи, что доклад Юрия Давыдова об отчуждении будет очень смелым. Оставалось выступить в прениях — с середины, как в декабре 1965-го, заговорив о политической злобе дня. Я набросал несколько тезисов на каталожной карточке и ждал, что скажет Давыдов... Но увы! Он не сказал ничего интересного: видимо, передумал, бросил первоначальный смелый замысел. Аудитория дремала. Я порвал каталожную карточку (что там было, сейчас не вспомню). Без подготовленного общего настроения, за свои десять минут, всё равно ничего не добьюсь. Потом я узнал, что в кулуарах шел сбор подписей под одним из протестов, и Ю. Давыдов его подписал. Но попытаться высказать свой протест вслух, публично — на это он не решился. Загадку объяснили мне воспоминания П.Г. Григоренко. Рассказывая о своем выступлении на партийной конференции в 1961 году, Петр Григорьевич пишет:

«Большая часть делегатов прислала заявления в МК, в которых сообщают о своем неучастии в голосовании и несогласии с принятым решением (осудить выступление П.Г. Григоренко и лишить его депутатского мандата. При голосовании одна треть подняла руки за, а две трети не подняли ни за, ни против, ни воздержались. Как Будда в нирване. — *Г.П.*). Поразило меня, — продолжает Петр Григорьевич, — что люди не боятся послать заявление-протест, но не решаются за это же самое проголосовать открыто. В этом вся система. В бюрократические учреждения можно писать в одиночку любые слезные жалобы. Вам, как правило, не ответят, но и не накажут, если дальше надоедать не станете. За коллективные же действия, если они даже выражаются в простом поднятии руки, если это неуютно начальству, жестоко покарают».

Оставалась последняя надежда, что Чехословакия потащит за собой Восточную Европу, а Восточная Европа — нас. Август 1968-го покончил и с этим ожиданием. Значит — никаких реформ. Будем гнить, пока колеса начнут на ходу отваливаться от автобусов (или взрываться реакторы — хочется прибавить сейчас). На ближайшие годы (а может, и десятилетия)

только одна перспектива: нарастающее отчуждение советских наций от замороженного русского центра, превращение наций в партии, с прогрессивной ролью окраин и реакционной ролью России. Возможно, что именно этот путь к чему-нибудь приведет (например, к распаду империи и к освобождению русского сознания и русского бюджета от имперских забот). Но если и приведет, то когда-нибудь, а пока что мне делать нечего. Я не способен сражаться под национальным знаменем — и ради чего? Чтобы деспотизм одного цвета сменился деспотизмом другого цвета? Свобода немыслима там, где нет общего стремления к ней. А его нет. Есть, возникла уже традиция донкихотства. Но Дон Кихотом надо родиться. А я им не родился. Я мог бы принять участие в каком-то коротком бурном движении, но моя дхарма — не это. Я создан думать. И лучше своя плохая дхарма, чем чужая хорошая...

С этих пор я считал себя в полной отставке от истории — и в своей записной книжке написал (кажется, в 1970 году), что духовно выиграл: политическая безнадежность освободила меня от политических задач. Успех движения 60-х годов втянул бы в проблемы времени, а сейчас я свободен от них, как Августин — от задачи сохранения Рима, и целиком могу посвятить себя поискам Града Божьего.

Свобода от всякой практической цели сделала семидесятые годы самыми плодотворными в моей жизни. Я писал «Сны земли», писал о Достоевском и попытался довести до печатного станка теоретические наброски, начатые в 60-е годы с целью создать альтернативу официальной концепции всемирной истории (задача, которую параллельно со мной решал — на свой лад — Лев Николаевич Гумилев).

Мне кажется, что мои наброски представляют известный интерес. Но слишком серьезно я к ним не отношусь. Чем больше живу, тем сильнее чувствую бездну, по самому краешку которой лепятся наши мысли. Как-то академик Тарле попросили не ставить всем подряд пятерки, а оценивать знания по справедливости. «По справедливости, — отвечал Тарле, — историю знает на пятерку только Господь Бог. Я ее знаю, в лучшем случае, на четыре. А студенты, аспиранты...» Он безнадежно махнул рукой.

Я думаю, даже оценка четыре, которую Тарле сам себе поставил, сильно завышена. Все наши исторические концепции — фантазии троечников, и это в самом-самом лучшем случае. Глобальная теория невозможна без известной доли хлестаковщины, без легкости в мыслях необыкновенной. Знаю это по себе и не осуждаю в других. Ни одна теория исторического процесса не может быть теорией в том смысле, который это слово получило в точных науках, не годится в качестве инструкции, руководства к действию. Только к прояснению интуиции, рожденной из глубины сегодняшнего исторического опыта — и подсказывающей один-два необходимых шага, но не больше. Надежное руководство к историческому действию так же невозможно, как эликсир бессмертия и философский камень.

Меня оторопь брала, когда Миша Бернштам, обожавший меня когда-то так, как потом обожал Солженицына, с восторгом подхватывал мои

текучие мысли, всё время менявшие направление, и превращал их в какие-то железобетонные конструкции, повисавшие над пропастью. Кажется, Галич тогда еще не написал своего стихотворения о человеке, который знает, как надо. Но я не раз испытывал тот же страх.

Ад вымощен теориями, которые непобедимы, потому что они истинны, и все руководства к действию давно взяты на учет преисподней. Мои теории — не руководства к действию. И я надеюсь, что они никогда не победят.

Несколько раз я собирался научить историю, как ей себя вести; и в конце концов она сама меня научила: ждать, пока что-то созреет. Тогда можно помочь вытащить наружу то, что уже есть. Что именно? Что Бог даст. Вовсе не обязательно то, что мне хочется. Ну что ж — можно отойти в сторону. Пусть акушерским ремеслом занимаются другие.

Тенденции исторического развития я схватывал довольно быстро: но их много, а я один и сразу всё не могу вместить в свою голову. То лезет в глаза затхлость и гниение, то начинает дуть ветер перемен и становится интересно подумать: а что, если реформы пойдут всерьез? И после пессимистического «Квадрильона» я разрабатывал оптимистические модели, и после «Акафиста пошлости» представил себе на миг Москву, ставшую одной из интеллектуальных и духовных столиц мира; Россию, захваченную поисками синтеза культур, стянутых в узел XX веком; и на этой основе — нечто вроде Евразийского сообщества, свободную ассоциацию республик, связанных общей историей последних десятилетий. Вероятно ли это? Не очень. Но на каждом повороте истории есть неожиданные возможности. Одни вероятны, другие менее вероятны, третьи почти невероятны, но какая возьмет верх — решает непостижимым образом игра высших, низших и человеческих сил в непостижимом сочетании друг с другом. «Железная мистерия» Даниила Андреева — только метафора. Реальность еще сложнее и непостижимее. Нависшая катастрофа может оказаться стимулом и вызвать творческий ответ — а может и не вызвать его и дать человечеству предметный урок наподобие потопа. Предвидеть будущее могут только гадалки. У некоторых из них, кажется, есть способность заглядывать в вечный план бытия, где прошлое, настоящее и будущее мирно дремлют рядышком. У меня такой способности нет, и в «Проблеме Воланда» я высказал о прошлом, а следовательно, и о будущем всё, что способен об этом сказать. То есть очень немногое».

Так я писал в 1985 году, когда меня еще никто не печатал и даже упоминать мое имя было запрещено:

«Скорее всего, история пойдет так, что штатного места для меня не найдется, и эти странички вытащат из хлама и перечтут разве после того, как всё наше — рухнет, и отдельные кирпичики пойдут на какие-то непредвиденные хижины и храмы. А может быть, и тогда этим никто не станет заниматься. Умом я принимаю и такую возможность. Мысль должна быть высказана. А там история подхватит, что ей нужно, и отбросит лишнее. Наше дело понять свою дхарму и сыграть свою (а не чужую)

роль...»

Теперь о том, что я в 1985 году не мог написать. Мне не удалось совершенно уйти от истории. Я не читал газет, не слушал радио (Е.В. Завадская сказала в эти годы: «Надо или жить, или читать газеты»)... Но какая-то гадость, носившаяся в воздухе, всё равно доходила, заполняла гортань, и иногда невыносимо хотелось откашляться. Так возник в свое время «Квадрильон» — отклик на беседы Никиты Сергеевича с писателями и художниками, а в начале 80-х — «Акафист пошлости». Время глухое, Сахаров в Горьком, всё молчит, только камни вопиют. Меня еще не «предупреждали» — значит, был резерв: авось не посадят, только предупредят. Кому-то ведь надо вскрикнуть. И, отделав текст, я разрешил Марье Васильевне Розановой опубликовать его. Потом «Акафист» передали по радио. Потом меня вызвали на Большую Лубянку и предупредили о применении ст. 190 ч. 1. Подписывая протокол, я набросал заявление, примерно такое: «Я не считаю свою деятельность враждебной обществу, но слишком стар, чтобы продолжать борьбу, и отказываюсь от политических заявлений. Однако я не буду препятствовать публикации моей книги “Сны земли” и статей литературного, исторического и философского характера. Печатанье таких статей в журналах “Синтаксис” и “Страна и мир” я санкционирую».

Сотрудник, промывавший мне мозги, был недоволен словом «санкционирую», но я решил исключить возможность дальнейших вызовов за нарушение слова и не отступать от основной линии (живу здесь, печатаюсь там). Сухое сообщение о беседе я послал в Мюнхен с уведомлением о вручении. Письмо дошло (я написал там названия двух эссе, которые просил не печатать). Таким образом, вместо мистического страха прикоснуться к табу вышло вроде правового акта: вот это можно печатать, а этого нельзя. Новых вызовов действительно не было. Но когда появилась наконец моя книга, то 15 мая 1985 года был произведен обыск у друга нашей семьи Лимы Ефимовой. Было ясно, что у нее оседают экземпляры машинописи, которые из нашего дома разбазариваются. Иностранные радиостанции неточно сообщили, что обыск произведен у меня. Следующий обыск действительно мог быть у меня, изъять тексты еще до машинописи. Я почувствовал себя как на фронте и почти физически помолодел, писал «Записки гадкого утенка» главу за главой (этот текст — расширенный вариант главы 13-й). Но кое-что не хотелось записывать. И только сейчас собрался написать о встречах и разговорах с несколькими людьми, очень непохожими друг на друга, но по тем или другим причинам приблизившимися ко мне и ставшими для меня «диссидентами в частности», со своими особыми лицами, в отличие от «диссидентов вообще».

С Валентином Федоровичем Турчиным я познакомился вскоре после своей антисталинской речи. «Литературная газета» проводила тогда «среды», и меня кто-то пригласил. Турчин оказался моим соседом, провожал до дому и по дороге рассказал о своих планах. Валя был убежден, что есть здоровая часть номенклатуры, с которой можно вместе

проводить реформы; но ее сковывает инерция страха. Надо убедить, что мы, интеллектуалы, не собираемся никого вешать за ноги и, напротив, готовы даже согласиться на однопартийную систему. План Турчина выглядит предвосхищением курса Горбачева, и вполне возможно, что некоторые референты ЦК и другие работники не очень высокого ранга ей сочувствовали. Он глухо упоминал, что вел какие-то переговоры (не рассказывая, когда и с кем, чтобы не подвести людей). Думаю, что с интеллектуалами-референтами он действительно находил общий язык; но вряд ли этот язык понимал Сулов.

Другой частью программы Турчина, непосредственно касавшейся меня, была подготовка общественного мнения. В этом я обещал ему помочь.

Турчин 60-х и начала 70-х годов был одним из редких в России умеренных, но настойчивых и твердых либералов. Многие его успехи в пропаганде были основаны на обаянии таланта, открытой, общительной натуре и остроумии (он участвовал в книгах «Физики шутят», во всякого рода вечерах, сочинял пьесы для кукольного театра и т.п.). Никакого полемиического захлеба, никакого кипения ненависти. Он был недоволен моим «Эвклидовским разумом» и сказал мне, что считает эту работу реакционной и антинаучной, но сказал таким мягким тоном, что я просто принял это к сведению. В чем-то мы духовно несовместимы, но продолжаем дружить. Казалось, Турчина невозможно вывести из себя, даже на официальные мерзости он откликнулся сдержанно, не теряя власти над собой. Но порядочный человек не может иногда не взорваться...

Наша несравненная пресса вылила очередной ушат грязи на Сахарова. Турчин как раз в это время сблизился с Сахаровым и почувствовал, что не может не ответить. Его тут же выставили с работы (плевать, что ученый с мировым именем). Обстоятельства стали сдвигать ко всё более радикальным шагам. Вскоре Валя стал своим человеком в доме Алика Гинзбурга, руководившего фондом помощи заключенным, и председателем русской секции Международной амнистии. В день рождения за ним заехали, отвезли в Лефортово, постояли, ничего не говоря, перед воротами тюрьмы, а потом — всего-навсего привезли к районному прокурору и «предупредили». Творческое повторение истории с Галилеем, которому показали орудия пытки. Организм теоретика не подготовлен к таким встряскам. Открылась язва желудка, и Турчин решил уехать. Перед отъездом он говорил мне, что жалеет о своей горячности: жаль навсегда покидать Россию. Но прошли годы, и он прижился в Америке. Недавно приезжал погостить; возвращаться не думает.

Из этого примера видно, что у Андропова была богатая полицейская фантазия. Он всё время придумывал новые страхи. Если вы втягиваетесь в бой, то перестаете бояться пуль и снарядов. Тогда придумывают танки или еще что-то — и надо бороться с новым страхом. По моему опыту, универсального бесстрашия не существует. Мужество военное, гражданское, метафизическое — совершенно разные вещи. И мало кто умеет обобщить опыт бесстрашия и переключать его с одной клеммы на другую. Герои Советского Союза оказывались мокрыми курицами в

литературной борьбе. И почти каждого человека можно напугать (Оруэлл показывает это в романе «1984»).

Я помню, какое тягостное впечатление произвело на меня убийство Кости Богатырева, переводчика Рильке, вызвавшего чем-то недовольство товарища волка — кажется, своими контактами с иностранцами. Входить в подъезд и думать, что сейчас тебя бутылкой по голове... Брр! (А.Д. Сахаров обработал статистику несчастных случаев с диссидентами и выяснил, что вероятность случайной гибели диссидента на порядок выше, чем у недиссидентов.)

То же самое — психушки. Поэт и проповедник Сандр Рига (Александр Сергеевич Ротберг) очень ярко описал, какой ужас в нем вызвала угроза психиатрической расправы (а потом осуществление этой угрозы). К сожалению, журнал «Чаша» (1989, № 4) издается только в 100 экземплярах; хотелось бы увидеть рассказ Ротберга в газете. Тем более что преступники-врачи все на своих местах и могут мучить других.

Наш народ — алкоголик страха. После тех цистерн, которые мы вылакали при Сталине, достаточно загнать в психушку одного — и у миллиона душа уходит в пятки. Такую же роль играют слухи о погромах. После каждого бесчинства «Памяти» десятки тысяч интеллигентов срываются с места и бросаются в ОВИР. А не к избирательным участкам, где они могли бы помешать номенклатурным кандидатам.

Один из моих старых друзей, посаженный при Ежове и на показуху выпущенный Берией, сохранил на всю жизнь привычку сидеть лицом к двери, как заставляли в камере. Такие психические травмы, иногда незаметные, остались у многих... Мой друг не участвовал в демократическом движении, потому что не был уверен в себе. Я уважал его трезвую оценку своих сил. Вполне понимаю, какой страх охватил бывших узников сталинских лагерей — Якира, Красина, Дудко, — когда их снова пригласили на Лубянку. Нечто вроде удара по старой ране. Даже бесстрашный А. Гинзбург в начале 60-х пережил минуту колебания, и его статья (дописанная редакцией) попала в «Вечерку». Он был очень молод, учился на опыте — и выучился: с этих пор колебаний не было. От зрелого человека, от пастыря душ можно ждать трезвого сознания своих слабостей. Или не пей вина, или умей платить за перебитую посуду. К несчастью, сбивает человека тщеславие, желание сыграть роль. Я не могу осуждать слабость (например, женщины, выдавшей архив Солженицына и покончившей с собой). Но претит тщеславное нежелание сознаться в своей слабости и склонность подписывать необеспеченные векселя.

Петра Якира очень долго не хотели арестовывать. По чьему-то приказу его специально велели задержать на несколько часов, чтобы не попал на Лобное место, под неизбежный процесс и ссылку. Тех, кто способен стать подлинными вождями движения, сразу изъяли, а Якира оставили и Красина оставили — пусть красуются на авансцене, пусть побольше натворят и созреют для покаяния, когда прижмут к стенке.

Якира вытолкнула в первый ряд фамилия отца. Сперва это ничем не грозило: собирал престижные подписи против реабилитации Сталина,

потом — против нарушений законности в серии процессов, начатых делом Синявского и Даниэля. Потом стало ясно, что зубы у щуки не выпали, и с помощью проверенных рычагов авангард движения был отсечен от своей армии. Сочувствующие не перестали сочувствовать, но монополия государства на все рабочие места поставила их перед выбором: или гражданское молчание, или идти работать дворником. Анатолий Якобсон вынужден был сперва оставить школу — его ученики были в отчаянии, — а потом, втянувшись в издание «Хроники», оказался перед выбором: лагерь или отъезд. У него не было никаких склонностей к эмиграции, он предпочитал лагерь. Но сын поставил ультиматум: если отец не воспользуется случаем, то он сам, достигнув совершенных лет, будет добиваться отъезда. Мальчику в своем роде повезло: ему трижды пришлось встречаться с людьми (взрослыми, ответственными за свои поступки), которые говорили ему, что готовы задушить его и всех евреев собственными руками. Для Анатолия это была очередная гримаса жизни, полной гримас; но для Сани — тем детским впечатлением, которое всё определяет. Под двойным нажимом Анатолий уехал. В Израиле к нему были очень внимательны, напечатали работу о революционном романтизме — опыт идеологии диссидента, основанный на учении Толстого (недавно перепечатано в «Новом мире»), — но он так и не пустил новых корней и во время одного из приступов депрессии покончил с собой.

Незримый круг очертил людей, перешагнувших через страх, и отделил от всех остальных. Внутри круга осталась добровольная штрафная рота, готовая лечь животами на колючую проволоку. Издание «Хроники текущих событий» пришлось законспирировать, иначе просто ничего бы не вышло, но попытка избежать подполья продолжалась. Основные начинания диссидентов — инициативная группа по созданию общества прав человека, «Группа Хельсинки» — были открытыми. Участники групп превращали себя в живую мишень. Огонь по мишеням велся довольно скованно, мешала гласность, созданная иностранными корреспондентами, но всё равно быть живой мишенью нелегко. Якир и Красин постоянно подогревали себя фронтовыми «сто грамм», сознанием славы, которую видели в глазах поклонниц, международной известностью. В камере, в одиночестве, всё это исчезло. Выдерживали люди, не думавшие о том, как они выглядят, и не нуждавшиеся в славе. Тщеславие сдавалось.

Одно, впрочем, можно сказать в пользу Якира: он не пытался оправдываться и не публиковал — как Дудко — писем и статей, возмечивавших отступничество. Когда старый знакомый попросил объяснить его поведение, бывший вождь коротко сказал: «Я сука». Когда-нибудь, после мук искупления, ангел протянет ему эти грубые слова, как луковку — злой барыне, и выведет из преисподней.

Удары КГБ выводили из строя одного за другим, а взамен в «Группу Хельсинки» вступали мнимые диссиденты, отказники, добивавшиеся разрешения уехать. Не помню, у кого я познакомился с Юрой Мнюхом — у Турчина или Гинзбурга (какое-то время они жили рядом на улице Волгина). Мнюх оказался моим соседом, домой шли вместе, разговорились.



Пару раз я к нему заходил. Один раз застал заседание «Группы Хельсинки». В центре Юра, добросовестно, но без энтузиазма пытавшийся вникнуть в текст, который они редактировали. Одесную Мальва Ланда, горячо отстаивавшая каждое слово. КГБ не без остроумия обвинил ее в поджоге собственной квартиры. Метафизически в этом что-то было. Из четырех стихий Мальве досталось больше всего огня, немного воздуха и совсем мало воды и земли. Она горела правами человека так же, как революционеры — своими программами. Зато Анатолий Щаранский, сидевший ошую, даже не пытался сделать вид, что дискуссия его занимает. Несколько раз диссиденты его просили быть переводчиком (он хорошо говорил по-английски), а потом он решил, как и Юра, подразнить начальство — пусть вышлют. Юру выпустили за бугор, а Щаранского посадили и хотели добиться покаяния. Казалось бы, какое дело сионисту, что о нем будут думать и говорить в России: лишь бы выпустили. Но неожиданно расчет провалился. Чувство собственного достоинства оказалось сильнее страха (ему грозили расстрелом). Разозлившись, гбэшники вlepили ему огромный срок за шпионаж. Шпионажем был список евреев-отказников с указанием их бывшего места работы. По этому процессу мой приятель Виталий Рубин заочно проходил в качестве резидента какой-то разведки. Виталий (уже успевший уехать и не успевший разбиться насмерть в Негеве) писал нашим общим друзьям: «Сижу и думаю, где бы я сейчас сидел...».

Антисталинская речь принесла мне еще одну дружбу, с семьей Мюгге-Великановой. Началось это довольно смешно, неожиданным звонком в дверь. Меня не было, открыла Зина. «Здравствуйте, — сказал человек. — Я ваш поклонник». — «???» — «То есть вашего мужа», — поправился Сергей Мюгге. Он и его жена Ася (Ксения Михайловна) Великанова жили совсем возле, в соседнем корпусе (вообще почти всё диссидентство размещалось между Ленинским проспектом и улицей Волгина. «Узок был их круг»). Супруги были под стать друг другу по смелости и даже некоторой авантюристности характеров. Несколько лет спустя с их фамилий начиналось знаменитое дело о самиздате, по которому было привлечено несколько десятков человек. Мои сочинения 60-х годов сразу попали на эту фабрику; кажется, через те же руки они уходили и за границу (я сам тогда ничего не посылал и оставлял публикацию стихии).

Сергей напечатал за границей книгу, в которой обрисовал себя лучше, чем я могу это сделать. Мне остается рассказать об Асе, неожиданно привязавшейся к Зине, к ее стихам, к ее елке. Ася напоминала музыку, в которой пьяно чередуется с форте. После бурной активности ее тянуло к тишине, и постепенно она стала своим человеком в нашем доме. Когда началось «Дело Мюгге, Великановой и других», супругам дали возможность уехать. Сергей этим воспользовался. Поменять лагерь на высылку — не поруха чести. В лагере он уже посидел в сталинские годы за смелый язык. И Ася собралась ехать с ним. В трудовой книжке ее сохранилась запись: уволилась в связи с отъездом в Израиль. Вдруг, в последнюю минуту, она почувствовала, что скорее расстанется с Сергеем,

чем с Россией, с друзьями, с любимой сестрой Таней. Вопреки ожиданиям, ее не посадили. А вскоре она тяжело заболела. Больных раком, в случае достоверного диагноза, не арестовывали. Иногда оказывали давление на врачей, чтобы похуже лечили (как это было с Кис-тяковским, переводчиком Толкиена), но давали умереть дома. Ася, к огорчению властей, не умирала. Сергей обжился в Канаде и посылал деньги на сына, а заодно, вместе с алиментами, в фонд помощи заключенным. Одно из его писем было использовано в журнале «Крокодил» как документ, адресованный Тане Великановой (вот какими деньгами ее купили). Знакомым бросалось в глаза, что речь в письме идет о Коле, сыне Аси и Сергея, а вовсе не Тани и Кости; но публика съела эту информацию, не поморщившись.

Ася была диссиденткой во всем. Даже лечилась она и лечила других, пренебрегая официальной медициной. Добившись успеха в экспериментах на себе, она тут же начинала лечить нас и всех остальных, кто этого хотел. С остальными иногда тоже получалось. Ася до последних дней, уже с трудом двигаясь, кому-то помогала. И эта помощь другим больше всего помогла ей самой. Сердце ее никогда не оставалось пустым. Огромную роль в Асином самолечении играл характер, какая-то неистощимая любовь к жизни и душевная щедрость. Она продержалась лет десять, несколько раз добиваясь явных ремиссий. Больной ездил в леса за какими-то травами или за бересклетом, заблудилась, угодила в речку, вымокла, высохла, умудрилась не схватить воспаления легких... Таких приключений у нее были десятки. С метастазами в позвоночнике ездил на свидание в лагерь и в ссылку к Тане, возила к ней внуков — но не только это: с теми же метастазами, делавшими позвонки очень хрупкими, каталась на велосипеде. Кое-какие поручения по фонду помощи она выполняла без всякого страха. Но об одном деле рассказывала мне два раза с откровенным неудовольствием. Ей завезли, без всякого предупреждения, 400 экземпляров «Гулага». К счастью, обошлось, и все четыреста книг благополучно были растащены в кошелках, накрытые картошкой и прочей дребеденью. Ася не скрывала, что масштабы операции ее несколько напугали.

Я обязан Асе знакомством со своего рода музыкальным самиздатом — с творчеством Петра Петровича Старчика. Первую свою песню (на слова китайского поэта-изгнанника) он сочинил в казанской психушке, а попал туда потому, что после августа 68-го сочинил листовку и разбрасывал ее с эскалаторов метро. Голос у Петра Петровича небогатый, но в музыке, которую он сочинял, много выстраданного. Меня особенно поразил цикл, который я окрестил «Плач по России», — собрание песен на тюремные стихи А. Солодовникова, «Погорельщину» Клюева, «Памяти матери» Твардовского и т.п. Благодаря Старчику я основательно познакомился с Клюевым (раньше я его не знал) и нахожу, что стих Клюева крепче есенинского. А стихи Солодовникова вошли в мою работу «Поэзия несуществующего направления» (сейчас я назвал бы ее иначе: поэзия духовного опыта).

В конце 70-х Старчика опять посадили в психушку — по совершенно дикому поводу: несанкционированный домашний вечер памяти Марины Цветаевой. Этот случай подсказал мне тему доклада «Точка безумия в жизни героя Достоевского», а также несколько страничек публицистики, которые передала «Немецкая волна». Впрочем, Петю скоро выпустили, взяв слово, что у себя дома он не будет устраивать публичные концерты. Нелепая казнь, а потом такая же нелепая милость сильно прибавили ему популярности, и десятки людей приглашали его теперь к себе в гости. Потом (еще в период застоя) разрешены были и выступления с эстрады. Любопытный пример того, какими условными и неустойчивыми критериями руководствовалась тогдашняя юридическая практика.

В доме Мюгге-Великановой я познакомился и с Петром Григорьевичем Григоренко. Он задумал основать общество по защите прав человека и собрал неформальный «круглый стол», чтобы лучше обсудить эту проблему (впоследствии я узнал, что таких военных советов было по крайней мере два, но я присутствовал на одном). Меня пригласили в качестве философа. Всё это очень непохоже на обычные диссидентские решения, принимавшиеся в узком кругу, и замечательно характерно для Григоренко. Он мог планировать самые дерзкие операции, но обсуждал все детали спокойно и трезво, в лучших традициях русского генералитета.

Идея лиги (или общества) защиты прав человека приходила мне в голову еще в лагере в 1952 году. Но и в 1972-м час для этого общества еще не настал. Я сказал, что вокруг инициаторов будет создан барьер страха, и сколько было смельчаков, столько примерно и останется. Либо, если у начальства хватит остроумия, в общество сразу же запишется тысяча сексотов, они изберут свое правление, Григоренко исключат и примут резолюцию протеста против нарушения прав человека израильской военщиной. Второй способ остался на будущее, но первый действительно был применен. Лицо Петра Григорьевича сперва кажется суровым и вдруг становится трепетно ранимым. Меня поразило выражение страдания, с которым он меня слушал. Бывают такие мужественно-трепетные лица. Потом он ответил, что я недооцениваю возможности развития: в Чехословакии даже самиздата не было, а как полыхнуло! Точно не помню свой ответ. Скорее всего я повторил то, что писал в эссе «Человек ниоткуда». Чешская интеллигенция неотделима от чешского народа, и народ видит в ней своего вождя; русская интеллигенция варится в собственном соку и только в редких случаях находит контакт с народом. Сейчас этого контакта нет, и власти могут делать всё, что им угодно.

Завязался разговор об интеллигенции. Я попал на своего конька и рассказал о разных подходах к этому понятию. Тут меня поддержал студент, только что исключенный из комсомола и института за подпись под воззванием в защиту крымских татар (его приход и рассказ перебили начало наших прений). Мне было очень жаль умного мальчика, которого через несколько дней сдадут в солдаты, и я робко заметил, что лучше бы не привлекать к таким подписям студентов, очень они уязвимы. Петр Григорьевич тихо ответил: «Мы не можем без молодежи». И снова я

увидел, что он сердцем чувствовал то же, что я, и даже сильнее, но ум военачальника диктовал, что не бывает войны без жертв.

Студент рассказал, как его исключали. Товарищи откровенно ему высказали в коридоре, что им плевать на все идеи, а потом дружно, без всяких моральных колебаний, подняли руки за предложенную резолюцию. Никто не захотел портить себе жизнь. Мне казалось очевидным, что эти студенты и проект Петра Григорьевича несовместимы. Но человек действия, верный своему характеру, не может не действовать, даже если действие граничит с абсурдом. И хотя современники пожимают плечами, потом оказывается, что нелепое декабристское каре зачем-то было нужно и нужен был Джон Браун, не дождавшийся, пока президентом станет Авраам Линкольн.

Мне казалось, что надо следовать приказу партизанского штаба (в «Разгроме» Фадеева): «сохранять боевые единицы», сохранять самиздат, Красный Крест — и не предпринимать наступательных операций. Диссиденты вели бой, как на Керченском полуострове в 1942-м: всё силы на переднем крае и никаких резервов.

Был ли у них другой выбор? Не знаю. В конечном счете — нет. Если бы они продержались до афганской войны, то всё равно пришлось бы «выйти на площадь». А до этого? Выдвигать на первое место одного, ему одному давать пресс-конференции, пока не посадят? Потом выступает следующий и т. д. Но у № 2 или № 3 нет имени, никто его не услышит. «Инициативная группа» или «Группа Хельсинки» — это было имя, это был рычаг, за который могла схватиться мировая пресса.

В эти годы армянское радио спросили, кто такие диссиденты. «Кто такие диссиденты, не знаем, — ответил воображаемый диктор. — Есть до-сиденты, сиденты и пост-сиденты». До-сиденты и пост-сиденты издавали «Хронику», а сиденты за нее сидели. И все-таки это не было совершенно замкнутым кругом. Приезжали ходоки, приносили жалобы на местные беззакония. Свято место не оставалось пусто. Возникали какие-то зародыши «неформальных», как сейчас говорят, отношений.

Таким образом, спор мой с Петром Григорьевичем можно было продолжать до бесконечности. Хотя длился он один вечер. И остался в памяти не столько предмет, сколько стиль спора: Петр Григорьевич ни разу не рассердился. Он даже не сдерживал себя. Он просто не злился. Я доказывал нежизнеспособность его любимого детища, а он внимательно слушал и вдумывался. Конечно, это норма (в том смысле, в котором норма есть идеал). Но больше я с такой нормой не сталкивался.

Вскоре Петра Григорьевича засадили во вторую психушку. Вернувшись, он почти сразу позвал меня в гости. Я рад был начать разговор с признания, что полюбил его с одной встречи. Он ответил мне примерно тем же, хотя мое скептическое отношение к его идее огорчало его. Так что заслуга целиком его, не моя. И в некоторых других случаях я чувствовал его нравственное превосходство. Например, когда в комнату входил и вмешивался в разговор пасынок. Этот сын Зинаиды Михайловны до 6 лет ходил с вываливающимся языком и только в 12 впервые сказал «мама». Я

застал его читающим книги, сравнивавшим Сталина с Иваном Грозным. Правда, не очень кстати. Но по словам покойного профессора Эфраимсона, такие дети умирают до 16 лет. Что Алик выжил и научился читать — это чудо, это свидетельство умной любви, окружавшей его. Примерно так М.М. Бахтин относился к своей жене, впавшей в старческое слабоумие. Сохранить любовь к жене, однако, легче, чем полюбить дефективного пасынка.

Пригласил меня Петр Григорьевич из-за статьи «По поводу диалога», дважды зарубленной в двух редакциях 60-х годов. Подводя итог эпохе, я собрал всю свою ненапечатанную публицистику и, ничего не меняя, включил в книгу вместе с эссе (которыми дорожил) как документ для историков. Статья была попыткой убедить атеистов на их собственном языке, что не надо закрывать церкви. Для пущей убедительности я пошел на некоторые уступки, за которые мне досталось в «Образованщине». И вдруг этот устаревший текст, первоначально рассчитанный на комитет по делам религии, нашел своего настоящего читателя, ради которого хотелось написать всё заново и получше. Петра Григорьевича захватила мысль, что праздник — не просто отдых. Он стал приводить свои собственные, взятые из жизни примеры, что разрушение структуры праздника, в центре которого было богослужение, приводит к нравственному упадку народа. И полился поток воспоминаний. Какой особый вкус был у яблока, которое впервые можно было сорвать на Спаса. И о сельском священнике, бывшем миссионере, видимо, очень незаурядном человеке. И как после богослужения начинался второй, веселый праздник. Девушки собирались в круг и допоздна пели песни. На одном краю села хор и на другом, переключаясь друг с другом. А сейчас — он побывал в родном селе — нет песен, все сидят у своих телевизоров. «Скучно живем», — сказал ему односельчанин, с которым Григоренко мальчиком когда-то играл.

Я еще лучше понял в этом разговоре, что церковь была неповторимым центром деревенской культуры — храмом, и оперой, и картинной галереей. «А потом взрывали церкви?» — переспросил я Петра Григорьевича (он был сапером и по приказу командующего Белорусским военным округом взорвал три храма). «Да, взрывал», — грустно подтвердил Григоренко. Его новой верой стала революция. Церковь была против революции. Церковь смешалась в его сознании с дроздовцами, расстрелявшими учителя истории, полного георгиевского кавалера, избранного председателем городского совета. Этот мужественный человек, случайно уцелевший после общего расстрела (видимо, пуля, скользнув по черепу, только оглушила), надел форму со всеми крестами и пошел жаловаться к полковнику Дроздовскому на действия его подчиненных. Тут георгиевского кавалера и добились.

Петр Григорьевич был замечательный рассказчик. Теперь его воспоминания опубликованы и у нас<sup>79</sup>, и читатель сам сможет об этом судить.

---

<sup>79</sup> Григоренко П.Г. В подполье можно встретить только крыс... М., «Звенья», 1997. Первое издание вышло в 1981 г., в Нью-Йорке.

Меньше всего удались диссиденты, они все немного на одно лицо. Остальное превосходно — одна из лучших мемуарных книг, которые я прочел. Детство, Гражданская война (глазами мальчика, брат которого — красный партизан), комсомольский пыл и обаяние сталинской простоты, ужасы застенков 30-х годов (по рассказам брата, в судьбу которого Петр Григорьевич вмешался и сумел сделать невозможное: вызволил несколько десятков человек), Халхин-Гол с нестандартным Жуковым, диктатор Дальнего Востока Опанасенко, нестандартный Мехлис, нестандартные действия дивизии Григоренко в Карпатах... В устных рассказах Петр Григорьевич набрасывал только черты забытого времени, о себе самом стеснялся говорить. И только в книге я увидел рыжего мальчика, брившего потом волосы наголо, чтобы не дразнили, но сохранившего на всю жизнь солидарность с рыжими, с теми, кого дразнят, кого бьют. Впрочем, может быть, он родился рыцарем? Так, как рождаются поэтом?

«Я сидел в коридоре у окна, находящегося на высоте полутора этажей... Слева от меня, почти около самого здания, въезд и вход во двор реального училища. И вот через этот вход вливается во двор шайка реалистов младших классов, предводительствуемая старшеклассником Шавкой Сластеновым (накануне показавшим дроздовцам, куда бежали члены Совета. — Г.П.). Над ними развевался белый флаг с надписью: “Бей жидов — спасай Россию!”. Это же они и орут во всю глотку. И нужно же произойти такому! Откуда-то им навстречу — первоклашка — еврейский мальчик. Да еще маленький, щуплый, болезненного вида. Шайка мгновенно его окружает: “Молись своему жидовскому Богу! Сейчас мы будем спасать Россию от тебя”. Образуют жи

вой круг вокруг него, гогочут и бросают его с одной стороны круга на другую. Он плачет и падает на песчаную дорожку.

Всё зло, что у меня накопилось за прошедшие сутки (когда на глазах у всех убили учителя Новицкого. — *Г.П.*), подкатило к горлу. Я открыл окно и прыгнул с высоты полутора этажей. Упал я почти рядом с шайкой. После, уже взрослый, я ездил специально посмотреть на это место и пришел к выводу, что теперь прыгнуть с этой высоты не смог бы. А тогда прыгнул. И сразу же начал наносить удары, крича: “Ах вы, белая сволочь!”» Один против всех. А потом за эту донкихотскую драку был исключен из школы как хулиган.

Так, с вступления в город офицерского полка Дроздовского, шедшего походной колонной с румынского фронта на Дон, расстреливая по дороге все Советы, началась в Ногайске Гражданская война. А кончилась — красным террором, расстрелами заложников, если в селе находилось при обыске оружие. И Григоренко задает вопрос, на который история до сих пор не дала ответа:

«В Ново-Спасовке был расстрелян едва ли не каждый второй мужчина... но вот феномен. Мы всё это слышали, знали. Прошло два года, и уже забыли. Расстрелы белыми первых Советов помним, рассказы о зверствах белых у нас в памяти, а недавний красный террор начисто забыли, хотя ЧК у нас в селе расстреляла семь ни в чем не повинных людей-заложников, в то время как белые не расстреляли ни одного человека. Несколько наших односельчан побывали в плену у белых и отвели шомполов, но головы принесли домой в целости. И они тоже помнили зверства белых и охотнее рассказывали о белых шомполах, чем о недавних чекистских расстрелах.

В общем, расхождений с властью у меня не было. Власть была наша родная, и я был предан ей всей душой...» «Село наше, как и всё соседние украинские и русские села, было “красное”. Соотношение такое. У красных, к которым до самого конца гражданской войны причислялась армия Махно, из нашего села служили 149 человек. У белых — двое. “Белыми” в наших краях были болгарские села и немецкие колонии». Такковы факты, собранные Григоренко. А почему народ красным всё прощал, а белым не прощал ничего — остается открытым вопросом. Вопросом мучительным, который Петр Григорьевич унес с собой в могилу.

Этот деятельный человек очень напряженно мыслил. Однажды (видимо, в связи с разговорами о сущности религиозного чувства) Петр Григорьевич попросил меня даже прочитать о Достоевском. Как правило, я читал у диссидентов то, что недавно было написано. Например, у Юрия Орлова недели за две до его ареста — «Дети и детское в мире Достоевского». Помню сверляще внимательные глаза хозяина дома и общее впечатление от его вопросов, заставлявших уточнить мысль (о зле в ребенке — о детстве зла — ит.п.). Но по какой-то причине у Петра Григорьевича прочел «Эвклидовский и неэвклидовский разум»; видимо, чтобы разрушить какие-то стереотипы рационализма.

Основные идеи этого довольно сложного текста он понял, опираясь только

на природный ум и чутье. Он не был эрудитом в философии и богословии. Но в нем шел тот поворот к вере, который захватил все 70-е годы, и кое-какие философские ходы он угадывал с полуслова.

Примерно таким он был, когда мы с ним простились. Он уезжал с уверенностью, что непременно вернется, если выживет. Я не решался его разочаровывать. Уезжал он в Штаты на полгода, чтобы сделать операцию и повидать (может быть, перед смертью) младшего сына. И очень строго соблюдал условие: никаких пресс-конференций. Но всё равно его лишили гражданства... Этого человека, который был, наряду с Сахаровым, совестью России...

Остается рассказать о журнале «Поиски». Пригласил меня туда Глеб Павловский<sup>80</sup>. Но было бы смешно писать о Глебе и его тогдашнем друге Валере — мне. Пусть они обо мне напишут, когда я умру. А мой долг — перед Раисой Борисовной Лерт. И на этом я закончу тему «коммунистической фракции» диссидентства (как шутя называли Костерина и Григоренко). Силы Раисы Борисовны Лерт были невелики, и она с П.М. Егидесом (примерно моих лет) сразу объединилась с молодыми христианами. Общим знаменателем было признание кризиса, открытость, поиски новых идей. Бывшие коммунисты, двигавшиеся назад, к социал-демократии, из которой большевизм когда-то вырвался, не очень легко находили общий язык с демократами христианскими. Лев Николаевич Гумилев назвал бы редакцию «Поисков» химерическим комплексом. Но трудное сосуществование иногда бывает плодотворным (самый крупный пример — сотрудничество иудеев и эллинов в раннем христианстве). «Поиски» — пример маленький, но тоже хороший. Между Раисой Борисовной и Валерой Абрамкиным шли споры, но они любили друг друга, и Раиса Борисовна была в отчаянье, что посадили (при разгроме журнала) его, а ее оставили умирать дома. Она буквально просилась в тюрьму — без успеха. Властям это было политически невыгодно.

Раиса Борисовна так и осталась атеисткой. То есть какого-то уровня глубины она не чувствовала, а придумывать не хотела. Но поэзию она чувствовала превосходно, и ее сферой духа были стихи. Чувство ритма сказывалось и в ее публицистике. Некоторые ее статьи я читал с восхищением. Особенно мне понравился разбор книги Штеменко о Сталине (я упоминал об этом в «Акафисте пошлости»). Нравился и весь облик этой маленькой старушки, весившей всего 36 кг, но неукротимой в поисках нового понимания социальных проблем. Из-за чувства верности «Поискам» я отказался передать Синявским свою книгу «Сны земли». В 1978-м, после статьи Вадима Борисова в «Вестнике РХД» № 125, возводившей обвинения (в духе «Русофобии») против моего *неопубликованного* текста, я рванул напечатать то, что действительно писал, хотя бы в 30 экземплярах (тираж «Поисков»), и считал морально невозможным забрать текст у разгромленной фирмы. В конце концов, «Сны» были с грехом пополам (и огромным опозданием) опубликованы,

---

<sup>80</sup> Дальнейшая эволюция Павловского — одна из загадок истории.



под наблюдением моих друзей, в издательстве «Поиски».

Не помню, чем Раиса Борисовна задела Солженицына. Но он ассоциировал ее имя с чекистскими зверствами в Киеве. Я решил интервьюировать потерпевшую и выяснил, что зверства она видела, но не те. В 1919 году ей было 12 лет. Когда Киев взял Врангель, город отдали войскам пограбить. Офицеры грабили вежливо («Заверните мне серебро»). А район, где жила Лерт, достался казакам. Миниатюрная девочка, казавшаяся моложе своих лет, легко спряталась, старшая сестра успела убежать, зато в соседнем доме они потешились: привязали родителей к креслам и на их глазах насиловали девочек-гимназисток. Почти как в Сумгаите. Только не резали бритвами, не гоняли голых по улице и не жгли на площади — этого бы Врангель не позволил. Можно понять, почему Рая стала пламенной комсомолкой. Примерно так же, как мой тесть, А.А. Миркин, оказавшийся свидетелем, как победоносная турецкая армия и местные азербайджанцы резали армян в Баку в октябре 1918 года. Возмущение злом, творимым одной партией, во имя одного принципа, толкает людей в объятия другого принципа, другой партии (обещающей покончить со злом № 1 с помощью зла № 2, № 3 и т.д. до бесконечности). Я готов понять и тех, и других, но я не с теми и не с другими. Я убежден, что стиль полемики, стиль конфликта важнее предмета конфликта. И важно не то, кто получит больше выгод, Литва или Россия, Азербайджан или Россия, а чтобы люди в споре не потеряли человеческое лицо. С этой точки зрения плюрализм «Поисков» казался мне плодотворнее, чем убежденность «Вестника РХД» в своей единственной истине. Хотя истинность этой истины я не оспариваю...

Коммунистическая фракция демократического движения отошла в прошлое. Она была своего рода персональной унией между революцией и ее отрицанием. Если б таких людей, как Григоренко, Костерин, Лерт, было больше, если бы Сталин не перебил Рютиных, Слепковых и пр. и пр., эти люди, оставшиеся людьми, в конце концов отошли бы от утопии, в которую влезли, с бесконечно меньшими жертвами, чем это реально получилось после сталинского террора...

Лев Толстой в «Воскресении» сталкивает Катюшу Маслову с двумя разновидностями революционеров: по сердцу и по теории. Я застал последних могокан социализма сердца; они добросовестно изучали теорию и принимали ее, но глядели как-то поверх теоретической схемы. На уровне сердца между Раисой Борисовной и Валерой не было противоречий, и после всех споров они находили какое-то общее решение. Я думаю, что вообще не надо смешивать социализм как порыв к справедливости с теорией Маркса. Теория производительных сил, классовой борьбы и т.п. заняла свое место в истории науки XIX века, а порыв к справедливости никуда не делся и не может деться и будет принимать всё новые формы.

Психологически диссиденты были прямыми потомками революционера, за которого Катюша Маслова вышла замуж. Но они родились в другое время — не в канун революции, а после ее горького похмелья. И их вдохновила другая идея — борьбы со злом без создания нового зла, без насилия. Не знаю, удалось ли это когда-либо полностью. Са- тьяграха в

Индии заставила уйти англичан — и ничего не смогла сделать против взрыва погромных страстей в собственном народе. Сать-яграха победила в Чехословакии, а в Румынии или в Китае была подавлена, и спор решило оружие. Какую роль играли диссиденты в нашей истории, не знаю. История еще только творится, трудно сказать, во что воплотится диссидентский дух. Физически диссидентство было прижато к стене, раздавлено, распято. Но дух?

*Тело Джона Брауна лежит в земле,  
Дух Джона Брауна шагает по земле...*

Если бы мне поручили выразить философию движения, к которому я примыкал как попутчик, то я сказал бы примерно так: личность выше класса, выше партии, выше государства, выше народа, выше догматов веры. Над личностью только Бог; но и Бог — личность. Одна сильно развитая личность может — как Сахаров — уравновесить глупость и грех целого народного собрания, целого народа...

Правые диссиденты с этим, наверное, не согласны. Но я убежден, что спасение России (и всего человечества) не в толпе народа, идущей за пророком, а в каждой личности, в ее внутреннем развитии и в защите ее прав, в координированном росте свободы и ответственности. Начало этому процессу выхода из безличности положили диссиденты.

## Глава 14

# Узнавание

«Мастер вынул из кармана черный платок и, завязав глаза Певунье, ввел ее в комнату.

— Узнаешь своего парня — уведешь с собой.

...Певунья прошла вдоль ряда раз, другой... Крабат еле стоял на ногах. Он поплатится своей жизнью и жизнью Певуньи!..»

Дело в том, что у одноглазого мельника, снюхавшегося с самим чертом, был зарок: каждый год один из двенадцати учеников должен был умереть вместо него. Крабат живет на мельнице третий год, и мастеру показалось, что он слишком хорошо усвоил черную магию. Теперь парню придется умереть — если девушка, полюбившая его, не сумеет узнать суженого в любом волшебном превращении. Они договариваются, — как он даст знать, что он — это он, но хитрый чернокнижник просто завязал Певунье глаза.

«И тут свершилось!

...Певунья, пройдя вдоль ряда в третий раз, протянула руку к Крабату:

— Это — он!

«Как ты нашла меня среди всех парней?» — спросил Крабат. Певунья ответила: «Я почувствовала твой страх. Страх за меня!»<sup>81</sup> Больше, оказывается, ничего не нужно.

*И всё. И больше ничего.  
А может, большего не надо?  
Довольно сердца моего,  
Чтобы разрушить планы ада...*

З.М.

Самое необъяснимое в жизни — узнавание. Откуда оно берется? Откуда я знаю, что между Духом Будды и Духом Христа нет перегородок? Я просто чувствую это. Как Певунья своего Крабата. И все построения, все системы рассыпаются в прах. Да, я вижу различие обликов, форм. Но нет перегородок. Единый дух.

Лет пятнадцать тому назад, в «Неуловимом образе» я писал, что круглое окно и квадратное окно — разные формы, и квадратура круга невозможна. Но если говорить о свете, о духе — то не все ли равно, через какое окно смотреть? Будда вырубил круглое окно, Христос — квадратное, а солнце светит в оба.

Говорят о различении духов и смешивают с этим различением раз-

---

<sup>81</sup> *Пройслер О.* Крабат. М., 1985.

личение форм. Как будто дух любви и дух ненависти непременно связаны с тем или другим языком, иконой. Как будто костры инквизиции ближе к Христу, чем благородное молчание Будды. Как будто святая Церковь не сожгла Жанну д'Арк. Как будто Антихрист не умеет во всем внешнем подражать Христу...

*Путь души — это тайный рост,  
Это внутренний тайный ход  
Не до облака, не до звезд, —  
Лес не знает, куда растет.  
Путь души есть тот самый путь,  
Что вовек неисповедим...*

3.М.

Откуда я знаю, что опыт Томаса Мертон на порядок (или на несколько порядков) выше моего? Но узнал с первой страницы. Почувствовал: он затронул во мне глубину, на которой я сам, без него, не умею жить. А с ним — за ним, — читая его заметки о созерцании, — живу.

Почему я верю Силуану больше, чем автору введения, Софронию?82 Софроний умнее, образованнее. Его слог ближе к привычкам моего ума. Но я чувствую у Софрония предание, систему (т.е. что-то собранное, рукотворное, сложенное, сделанное людьми — и толкающее меня на анализ, на переделку). А у простодушного Силуана — никакой конструкции. Лепет о преображении. Который прямо ложится в сердце. Его не хочется анализировать, критиковать. Глотаешь его целиком.

Но вернусь к Мертону. Почему он не вызвал во мне сопротивления? Самое глубокое, что я сам, без ведущей меня руки, пережил, было отодвинуто назад, за порог истинного созерцания. Откуда же я узнал, что он прав? Отчего я почувствовал себя, как в разговоре с Владимиром Романовичем Грибом, когда он движением губ или руки, или взглядом останавливал меня на всем скаку — и я сразу отбрасывал, не продолжая, начатую цепь мыслей? Видимо, оба они затрагивали во мне что-то более глубокое и властное, чем аналитический и конструктивный ум, и я подчинялся не им, не внешнему авторитету, а самому себе. Какова бы ни была сравнительная глубина Владимира Романовича и Томаса Мертон, — оба они стояли выше меня и в то же время находили какой-то способ говорить изнутри меня; как будто меня самого подымали вверх, и вот я вижу, я сам вижу то, чего раньше не видел. Хотя я не смотрел в глаза Мертону (как Владимиру Романовичу), — я просто читал текст.

Две-три странички сплошь и рядом открывают характер автора. Так было при чтении «Круга первого» (я об этом уже писал). Но помню и другие случаи. Например, попалась мне на глаза статья Леонида Бородина. Статья полемическая, основанная на каком-то суздальском чувстве России

---

82 В письмах сестрам Софроний иной.

и прямо направленная против близких мне, более широких взглядов. В частностях заметна неопытность, не сознающая своих пристрастий; нужная цитата выхватывалась, не глядя на целое. Я должен бы был возмутиться, но сквозь все натяжки и неловкости проглядывала какая-то чистота, искренность, цельность. Стал наводить справки — всё сходилось. Действительно, очень цельный, искренний человек, хотя с очень узким кругозором, и Октябрьскую революцию он никак не мог вывести из своего понимания России, а только из вредительства каких-то чужаков. Мне не захотелось спорить с Бородиным; напротив, захотелось понять душевный мир суздальца; и в одном из своих эссе я попытался дать сочувственный отзыв о своем противнике (случай, когда легко выполнить евангельскую заповедь о любви к врагам).

А бывает узнавание-отталкивание. Так прочиталась мне когда-то в «Вестнике РХД» статья Феликса Карелина. По своему прямому смыслу она не должна была задеть (почему бы не призвать нашу церковь к гражданскому мужеству?). Но бесы шевелились между строк; я почти физически видел, как они копошатся.

\* \* \*

Зина узнала меня по глазам. Хотя (насколько она помнит) я их иногда закрывал, слушая ее стихи, в первую нашу встречу. Потом сбил с толку почерк: показался почерком поверхностного человека. Через несколько дней пришло другое мое письмо, в котором я как бы извинялся за первое, написанное без вдохновения, усталым, после тяжелого рабочего дня, — только бы не задерживать ответ. Она обрадовалась: значит, первое впечатление было верным.

Эта способность видеть человека сразу — через глаза, через текст, через почерк — необъяснимая вещь. Я показал Зине автограф дзэнского старца Хакуина. Характеристика примерно сошлась с тем, что про него пишут. Тогда я дал еще один автограф, Такуана, — из той же книги Судзуки «Дзэн и японская культура». К моему удивлению, Зина сказала: «Это человек непростой, в нем есть и святость, и светскость, склонность к церемониям». — «Ну, ты и мазнула! — возразил я. — Это же дзэнский наставник!». Я тогда прочел полкниги и показал иллюстрацию из главы, в которую еще не заглядывал. А когда дочитал до Такуана, — воскликнул от удивления: оказывается, он был придворным, распорядителем чайной церемонии сёгуна.

Убедившись в Зининой догадливости, я показал ей еще несколько образцов каллиграфии и включил ее характеристики (слегка дополнив по другим источникам) в свою диссертацию. Они приблизительно совпали с тем, что я прочел впоследствии у Р.О. Блайса, изучавшего дзэн гораздо основательнее. В конце концов, всякая целостная характеристика — догадка. Целое личности или культуры не складывается из фактов, и все модели культуры — догадки (Вебера, Шпенглера, мои собственные). Не все ли равно, как быстро человек угадал? Долголетней и беспорочной службой здесь ничего не докажешь.

Но вернусь к глазам. Когда читаешь доклад или говоришь речь, непременно нужна хотя бы одна пара глаз, откликающаяся на каждое твое слово. Я об этом уже писал. Но бывают еще глаза, откликающиеся на то, чего ты не сказал, на недосказанное и даже на то, что вовсе нельзя сказать. Такие глаза молча разговаривают — не с тобой, а через тебя, с чем-то самым глубоким. И ты, глядя в них, прямо видишь — не отражение своей мысли, а ту самую глубину, которую «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать», и ни в какие слова не втиснешь; т.е. вы как бы друг через друга начинаете исследовать глубину. Может быть, Богу таких глаз совершенно довольно, и большего Богу от нас — в ответ на весь этот мир — не нужно. А все наши слова — только средство вызвать у человека такой взгляд.

У Тamarы (которую вспоминаю одной из первых) не было никаких талантов к словам, к звукам и пластическим образам. Но глаза сами по себе говорили. И видно было, что душа близко, что жизнь ее ничем не завалила, что она расправляется сразу, от первого оклика, — и вся выплескивается во взгляде. Такими были, наверное, глаза у толстовской княжны Марьи...

Этот взгляд вдруг раскрывает человека. Даже если просияет — на твоей памяти — один раз. Так, один раз я увидел, почему Зина могла когда-то учиться у Лимы: ее врожденному умению застыть в созерцании — и беспричинному чувству счастья. Мы провожали Зину на операцию. И вдруг всё Лимино лицо просияло, преобразилось (как пишут о великих мистиках). Если бы я был экстрасенсом, то, наверное, увидел бы золотой венчик, как на иконах. Выступила душа во всей своей, Богом задуманной, силе, в напряжении взлета, на раскрытых крыльях... Другого подобного случая не было. Были глаза добрые, милые, чуткие, — но не иконные. Наверное, случая больше не было, такого толчка любви, боли, тревоги. У меня самого раза два или три, со страху, когда Зина почти погибала от судорог, случались какие-то необычные состояния; не знаю, как я тогда выглядел, но приходила изнутри сила. А потом, при меньших недомоганиях, когда страха не было — и силы не было. Подыматься на верхнюю свою ступеньку каждый день — это, наверное, преобразило бы мир.

В юности глаза легче загораются. Но не только от самого глубокого. Молодые глаза откликаются на всё вокруг. Они еще не различают духов. Их захватывает, их волнует вся жизнь — сверху донизу и снизу доверху, как молодую Марину Цветаеву. С желанием предельной высоты — но так, чтобы сохранить и всю широту, чтобы откликнуться на каждый цветок по дороге и ответить каждому птичьему голосу. А на снеговых вершинах цветы не растут и не поют птицы. И откликаясь на кивки цветов и птички трели, нельзя дойти до самого верха...

Этим летом я имел случай несколько раз говорить с девушкой лет семнадцати и с женщиной раза в два постарше. Не знаю, вправе ли я употребить научный термин, — у девушки Икс был более широкий спектр блеска; она откликалась, с одинаковым ожиданием счастья и радости, на массу вещей, и говорить с ней можно было обо всем. А в глазах женщины

Игрек я чувствовал опыт страдания, который как бы фильтровал свет и не все длины волн пропускал, а только некоторые. На многие темы, которые заняли бы глаза девушки, глаза женщины не откликнулись. И я невольно поворачивал разговор в другую сторону, не бродил по плоскости того, что знаю, а подымался с нее.

Не знаю, какую метафору здесь лучше выбрать. Лет пятнадцать тому назад я писал о лестнице Якова — вернее, о лестнице Рамакришны (но мне почему-то понадобился библейский образ). Рамакришна говорил, что ему стоило большого труда подняться на вершину ступенчатой пирамиды, но потом он заметил, что звезды видны с любой ступени. И теперь он предпочитает сидеть внизу и беседовать со своими учениками. Я вывел из этой притчи, что каждому из нас задано подняться до своей ступени, а вовсе не карабкаться без конца вверх. Если голова кружится, если с трудом удерживаешься, чтобы не соскользнуть, — не пытайся пересилить заложенную в тебе тяжесть, жди, пока она сама собой изживется. Осваивай ступень, на которой легко двигаться, и с нее поворачивай голову к звездам. Задним числом мне хочется ввести в эту схему поправку: мы не равны самим себе и в разное время живем на разных ступенях. Наша — не одна ступень, а, скажем, целый лестничный марш — у одного покороче, у другого подлиннее, — по которому мы сравнительно легко, без надрыва, можем подняться. Но легкость здесь относительная, и не так легко мне далась. А Игрек еще робеет и ждет, чтобы ей протянули руку. И ее приход — это молчаливое приглашение: давайте подыматься вместе. И это располагает нас с Зиной тоже подняться по своему лестничному маршу.

Так и с Володей Казминым, но ему не надо было помогать; просто двигались по параллельным дорожкам (я невольно сменил метафору лестницы на метафору горной тропки), — подымались, перекликаясь друг с другом. А Игрек мы же ведем — что здесь для нас нового? Но подыматься с новичком — это подыматься заново, открывать заново, — настолько, что иногда я немного оступаюсь, становлюсь неловким, косноязычным (с Иксом я был более красноречив).

Леонид Ефимович Пинский пересказал мне изречение одного мыслителя (или ученого): я мало получил от своих учителей, много от коллег и больше всего — от своих учеников. Не решаюсь повторить это про себя. В разное время выходило по-разному. Но за последние годы мне очень много подсказали люди, ждавшие, чтобы я подал им руку и повел вверх. От такого заказа возник весь замысел «Записок гадкого утенка»...

Иногда хочется подыскать другую метафору: танца. В Наташе Ростовской, ждущей приглашения, уже живет танец. И князь Андрей, пригласивший ее, этот именно танец видит и его раскрывает. Он ведет Наташу, но ведет так, как что-то в ней ему подсказывает. Должен признаться, что сам я очень плохо танцую и десятки лет не танцевал, но почему-то мне показалось, что в настоящем танце должно быть именно так. Во всяком случае, в беседе у меня иногда выходит такое круженье вокруг глубины, круженье, в котором я веду свою даму, но только туда, куда она сама хочет. И это угадывание, узнавание, — может быть, главный стержень

беседы.

С Икс стержень был другой: глядя в ее внимательные глазки, я охотно читал ей лекции. От этого и легкость языка: я делился вчерашним опытом. Я мог бы им делиться с десятком, сотней подростков. Бытие еще не стало для Икс проблемой; оно казалось само собой разумеющимся даром. Игрек — как Гамлет — сомневалась во всем; и с нами она не столько узнавала, сколько больше была, была самой собой, — подымалась на свою верхнюю ступеньку. От этого поворота вверх я сразу приходил к границам своего знания и вступал в область, где ничего не знаю заранее, а каждый раз узнаю заново, и мы начинали искать вместе, как это почувствовать и передать словами. Конечно, разница не всегда была такой резкой, отчетливой, но я нарочно подчеркиваю, чтобы обрисовать типы интересов: юношеского ко всему на свете — и зрелого (к глубине).

Наши собеседники, как правило, старше тридцати лет. До этого рубежа редко вырабатывается духовный фильтр; или, говоря языком богословия — нет еще различия духов. Хотя у Зины перелом произошел в девятнадцать лет, и тогда вся жизнь повернулась в глубину. Бывает и так. Но раскройте любую книгу по иконописи. Много ли там молодых лиц? Христос, Богоматерь — да ангелы. Бог смотрит на нас с икон, большею частью, из-под седых бровей. Одна из потерь Нового времени — иконные глаза старости. Их открыл заново Рембрандт (и современники равнодушно прошли мимо). Начиная с XV века резко помолодел образ Марии-Девы. И самым популярным сделался Себастьян — обнаженный юноша, которого расстреливают из луков.

*Ах, как молодость прекрасна  
И мгновенна. Пой же, смейся,  
Счастлив будь, кто счастья хочет, —  
И на завтра не надейся...*

В противоположность идеалу Лоренцо Медичи, глаза Зины поразили меня совсем не юным блеском. «Вам не тридцать четыре, — сказал я ей вскоре после первого знакомства, — а восемь и одновременно восемьдесят». Детскость, любовь к елке, к сказке — и тяжелый блеск глаз. Как будто пробившийся сквозь гробовую плиту (пробившийся — сквозь постоянные муки болезни. Но так пробивается дух и сквозь старость, сквозь угасание плоти). От преодоленного сопротивления — своего рода тяжесть взгляда, которую трудно вынести, какое-то огромное напряжение, способное пробить тебя самого. Так смотрит на нас море, небо, последний луч солнца сквозь тучу. Наглядевшись в глаза заката, Зина вдруг резко поворачивается и молча требует, чтобы я принял и разделил с ней это напряжение творчества, и я чувствую себя недостойным священником, получившим в руки Святые Дары.

Взгляд — это какой-то особый дар. Иногда он дается вместе с другими Дарами, иногда — вместо них. И тогда достаточно его одного. Если Бог видит каждого из нас, то смотрит Он — в глаза. Слова могут быть



неловкими, неумелыми. Словами даже легко невольно солгать. Бог понимает нас — молча. А слова, краски, звуки — для людей. Чудо само по себе молчит — и только останавливает время. Потом, когда время снова двинется, возникают какие-то ритмы и складывается текст. Очень хорошо об этом сказал Силуан. У него в записках есть примерно такое: я сейчас пишу, потому что со мной благодать, но если бы благодать была больше, я бы писать не смог. В напряжении взлета некогда искать карандаш, можно только взглянуть, как Серафим Саровский на Мотовилова<sup>83</sup>. Потом уже, при медленном снижении, появляются слова, знаки, звуки — из запасов памяти, из неожиданных впечатлений. Жгут, в который чудо скрутило время, чуть-чуть ослабел, но еще упруго пульсирует. И можно думать о тишине, кружиться вокруг тишины, ничем ее не заполняя и чувствуя, что самое главное здесь никогда нельзя высказать; но кружась вокруг, мы ее все время касаемся. И в сердце живет память о чуде и ожидание — нового чуда.

\* \* \*

Зина часто бормочет в рифму. Иногда, с детьми — по полчаса (детям это ужасно нравится). Как-то, в дождливое сентябрьское утро, она набормотала что-то вроде романа:

*Ах, как плачет эта осень,  
Ах, как много в мире слез,  
Насквозь мокры ветки сосен,  
Облетает лист берез.*

Мы стали обсуждать, чем эта бормотушка отличается от настоящих стихов. Настоящие стихи, сказала Зина, запись чуда. Когда пишешь, нельзя терять чувства только что пережитого чуда. Иначе выйдет подделка, стекляшка... Помнишь мое стихотворение?

*Или по слову воскреснет Лазарь,  
Иль вместе с мертвым мертвы слова.*

Потом мы сообразили, что слово «запись» не совсем точно. Хотя бывают случаи именно записи задним числом (иначе не найдешь названия). Например, у Даниила Андреева. Он молча пережил видение, а потом рассказывает о нем. И не всегда рассказ передает накал чуда. Это особый случай — я назвал его поэзией ясновидения. Его неудачи — это поздние записи, *пересказы* чуда, а в удачах, как и во всякой поэзии, запись идет по свежим следам и выходит чудо, ставшее словом, воплощение. В таком воплощении чудо продолжает жить. «Прошла любовь, явилась Муза», и в объятиях музы продолжаются объятия Бога. Взгляд, обжегший нас извне,

---

<sup>83</sup> Мотовилов впоследствии описал в своей книге этот случай, подобный явлению Фаворского света.

— в красках зари, в блеске человеческих глаз — продолжает жечь изнутри. Напряженная близость глаз не уступает близости влюбленного осязания, даже может превзойти ее; Вакх Марины Цветаевой заставляет Ариадну забыть Тезея. И строчки ложатся на бумагу с такой же страстью, с которой зачинают ребенка. Это не сублимация эротики, а пир боговоплощения. Которое остается одним и тем же в рождении ребенка и стиха.

Жжение чуда в груди неотделимо от настоящего слова. Стих — не оперенная рифмами мысль, а то, что прозой не скажешь. Что-то вдруг узнается, какое-то веяние из глубины. В чем-то самом простом (чудо бывает скрытым) или в волшебном, фантастическом образе... И мы безо всякого объяснения чувствуем: это — стихи.

*В дожде, как будто бы во сне,  
В дожде, как в смеженных ресницах...  
Под шорох капель спится мне,  
И что-то сердцу тихо снится...*

Казалось бы, то же бормотанье. И столько же нечаянно родившихся строк. Но они родились. Они не просто припомнились, не склеились из штампов. В них есть ожидание чуда, сон о чуде, просто сон. Этот сон может стать яснее, отчетливее; выступает из тумана берег волшебной страны. Тот же дождь (я нарочно привожу стихи об одном и том же предмете) — но еще глубже пережитый:

*А этот дождь  
принадлежит Равно тебе и  
мне...  
И этот тихий, тусклый вид  
В заплаканном окне...*

*Бесперывных слез ручей —  
Всё льет, и льет, и льет...  
Ты понимаешь, он ничей, —  
Как этот небосвод.*

*И я ни мыслью, ни перстом  
Уже не шевельну...  
Давай с тобой сейчас уйдем  
В ничейную страну...*

Ничейная страна. В ней нет ничего своего. Ни капли твари. И освободилось место для Бога:

*А, может, ветер — это  
вздых, а дождь — великий  
плач, и потерявший зренье Бог  
лишь нашим сердцем зряч?*

*И здесь догадок всех предел —  
сей неумный крик:  
новорожденный Бог прозрел  
во мне — вот в этот миг.*

Впрочем, кто сейчас не пишет о Боге? Любое слово может быть полным сердечного смысла и пустым. Анализ раскрывает мысль стиха, обнажает его скелет, подсчитывает созвучия, но почему меня трогают такие простенькие строки? «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись...». «На Луне не растет ни одной былинки». «Облака ушли в кочевье, и во мхах текут ручьи...».

То ищешь подлинности в переборах дыхания, в открытом нащупывании нужного слова (от этого любовь к неточной рифме, ставшая модой, как мини-юбки). То — в напоре стихии, в чуде захватывающего, как страсть, ритма. Такой ритм (у Блока, например) не дает выбирать слова; первые попавшиеся, банальные образы помечают, как вехи, путь молнии. Вместо предметов (в живописи) — одни мазки. Ритм разрывает будничные связи и заново всё сплетает в волшебный узор...

Созерцать — значит чувствовать и воспринимать сквозь всё видимое единый Дух, единое дыхание, одно быющее сердце. Может быть, это не вся глубина созерцания, о которой писал Мертон, но я так чувствовал. Тут ничего нельзя знать, — только узнавать. Каждый раз заново.

*Путь души — это путь зерна,  
Прохождение сквозь полный мрак,*

*Через полную тишину.  
Чтоб явиться вдруг во плоти,  
Духу надобно, как зерну,  
Из неведомости взойти.*

*Ницетой заплати за вход,  
Слепотой — за глубинный свет.  
Тот, кто видит путь — не идет.  
Там, где знанье, там жизни нет.*

Каждый день приходится искать Единое заново, как будто не было ничего позади, кроме опыта узнавания, т.е. кроме самой способности сердца видеть и узнавать. Опять смотреть в Божий глаз или в глаза икон, или вслушиваться в музыку и искать отклика.

*Я никогда не говорю о том,  
что знала, а только то, что  
узнаю сейчас, сначала.*

*Я никогда не говорю,  
что я любила,*

*а только, что люблю, — люблю  
всё с той же силой...*

\* \* \*

Опыт созерцания дает только веру, что «неставшее, несотворенное» — есть. Творящее — есть. И, значит, можно почувствовать его, испытать его. Вера переступает через карамазовские вопросы, не отвечая, оставляя неразрешимое неразрешимым. Есть зло, есть страдание, есть смерть. Это — условие творенья. Чтобы развернуть мир ослепительной красоты, нужны пространство и время. А пространство — это безликая бездна, «тьма внешняя». А время — это смерть (индийцы не тратят двух слов. «Кала» — это омоним: время и смерть. То же в женском роде: Кали, супруга Калы, его шакти, божественная энергия времени и смерти, дух разрушения и создания). Родиться может только то, что обречено страданию и смерти. И раз так, то нельзя избежать зла; и нельзя избежать упоения злом, свободного выбора зла ради зла. Почти каждый чувствовал росточки этого извращения в своей душе, и в этот миг участвовал в неистовстве тьмы. Зло — есть. Но оно есть не на последней глубине, и, уходя в глубину, мы уходим от зла. Чем труднее пробиться через слой, где бесчинствуют призраки, — тем прекраснее прорыв, узнавание Бога. От силы нашей веры зависит — перелетим мы через ад или проползем сквозь него, обдирая руки, ноги, сердце, или вовсе застрянем в отчаянии. Бесконечная вера парит над муками Иова. Я в это верю. Хотя мне лично не всё дано.

Тот, кто каждый день узнает Бога в ветре, в весне и осени, узнает и человека, водимого духом Божиим; или такого поэта, как Эмили Дикинсон, стихотворения которой — действительно записи чуда. И иногда сможет заразить этим чудом, как евангелисты и апостолы заразили Христом.

«Всё прочее — литература», толкование, пересказ. А пересказанный, перетолкованный Христос — уже не Христос, и поэт — уже не поэт, а вроде того Будды, которого Линьцзи велел убить — развязаться с мертвым вчерашним опытом. Потому что в толковании пропадает невысказанное. Остаются только слова, а самое главное было между строк.

Как пересказать тишину? Что поразило нас с Зиной в полотнах Владимира Вейсберга, где почти ничего не нарисовано — так, белые конусы и кубики на белом фоне? Почему мы сразу прилипли к этим картинам и почти не могли смотреть на трех других художников, выставленных рядом? Чем захватила музыка эстонского композитора Пярта? Что они пережили, прежде чем писать? Про Володю Казмина я знаю, что он глубоко жил, но его необычные картины — что-то вроде праформ пространства и цвета, из которых Бог творит мир, — эти картины были началом знакомства; мы узнали мастера и только потом — человека.

Что значит глубоко жить, пережить чудо? Художники периода Сун<sup>84</sup> были великие созерцатели. А Моне? Или Тернер? Скорее всего, созерцание

---

84 В домонгольском Китае.

было для них только частью ремесла, всматриванием в натуру, миготом трудового напряжения. То есть они, конечно, были созерцателями, но в эпоху, забывшую культуру созерцания, и понимали созерцание как часть работы живописца. Рильке, когда пишет о Сезанне, переосмысляет созерцание мастера, живописца, в религиозное созерцание. Но дело не в словах, не в осмыслении, а в том, *что* осмысляется. Великие стихи, музыка, картины действительно вырастают из чуда и говорят о чуде. И узнавание этого чуда — еще одно чудо. Можно приложить к искусству правило Силуана: то, что написано Святым Духом, можно прочесть только Святым Духом. Такое же чудо — настоящая встреча человека с человеком:

*И нам сочувствие дается,  
Как нам дается благодать.*

\* \* \*

Как часто мне удается узнать сквозь боль, сквозь скорбь — радость? В ликовании весны — осень, и в осеннем ветре — листочки новой весны?

История, в которую я долго всматривался, всё меньше меня захватывает. Я редко когда жду от нее добра. И всё чаще хочу одного: после осени — зиму, а после зимы — весну. Время постепенно замыкается в круг и готово свернуться в точку; и в этой точке всё сходится.

*Радость — страданье, сердца закон непреложный...*

Чем глубже чувствуешь страдание твари, тем глубже живешь — и тем полнее радость («Быть полным радости, страданья и мысли», — пела Клержен). Я натолкнулся на странную вещь: надо просить не хлеба, а углубления чувства, — начиная со скорби; радость приходит потом, сама собой, и как-то глубже.

Скорбь вводит в лиловый сумрак, и сквозь этот фильтр всё встречное земное становится глубже и прикосновение к этой глубине — в какой-то миг — болью и счастьем. Если только удастся — действительно удастся — войти в царство подземных сил и прорасти из него.

В таком прорастании человек становится тем, каким он задуман: образом и подобием Бога. Но Бог выносит всю боль мира. Он топит бесконечность тьмы в бесконечности света. А человек, поднявший на плечи перекладину креста, теряет благодать и в муках испускает дух.

Я говорил одному из друзей, что после всех черных полос (иногда почти непереносимых) меня подхватывала радость; от этого, наверное, я больше чувствую себя в Моцарте, чем в Бахе; хотя в иные минуты ставлю Баха выше, и наверное так это и есть на самом деле... Друг спросил меня: а что если бы не месяц под Котлубанью, не два месяца после смерти Иры, а год или два в Освенциме? Могу ли я осудить тех, кто до конца жизни отравлен ненавистью, думает только о мести? Нет, я их понимаю: такие чувства иногда и меня захватывали — ненадолго. Потом их смывало. Могли бы они отравить меня на годы? Смог бы, сквозь Освенцим, видеть

Святой Дух? Смог бы — *после* Освенцима?

После — это проще. А если погибать там, в отчаянии, так и не увидев зари, смыкающейся с зарей? И даже увидеть — но над ямой, в которую падают доходяги? В Ерцеве белые ночи плыли над обычной жизнью лагерного поселка. Я мог глядеть в небо поверх грязи и колючей проволоки. Смог бы я так же смотреть, умирая с голоду? И не просто смотреть, а видеть?

Может быть, и даже скорее всего, — не смог бы... Но святые — могли<sup>85</sup>. Максимилиан Кольбе, заменив смертника, шел в барак, где медленно умирали от жажды, как в ворота рая. И тот неизвестный цадик, которого вспомнил Антоний Блум, видел — в лагере смерти видел, — что зла, в глубинах бытия, нет, и в его душе, в ответ на все муки, не было зла. Святые заимствуют у Бога эту способность: видеть рай не после ада, а в самом аду. Они услышали слова Христа Силуану: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся».

Тогда не нужна надежда, не нужно завтра. Не нужно времени. Есть только вечная любовь.

Иногда я прикасался к этой вечности. Но жить на ее уровне я так же не могу, как держаться в воздухе. Не знаю: от рассеянности, которую можно — и нужно — преодолеть? Или не мой это уровень сосредоточенности, не моя ступень на лестнице Якова?

Мне трудно было прочесть Бернаноса, «Под солнцем сатаны». Всё время казалось, что Донисан — его герой — лезет не на свою ступень; срывается и снова лезет, снова срывается — и хлещет себя плетью до крови за то, что сорвался. У меня это вызвало глубокое отвращение. Если святость не задана тебе, — зачем это? Богу нужны не только святые. Нужны и люди, любящие святость, просто любящие, без попыток прыгнуть выше собственных ушей...

Есть два противоположных греха: не делать никакого усилия подняться — и доходить до самоистязания, до изуверства. Первым иногда грешат натуры, прекрасные от природы, получившие дар гармонии по наследству или по благодати. Они очаровывают нас в молодости, как Наташа Ростова, но редко растут (чаще — поддаются ржавчине времени и теряют свое обаяние). Этот грех связан с чрезмерным доверием к естеству. Второй — с недоверием, с мрачной подозрительностью к природе. Всё естественное кажется темным, низким, кишачим бесами; всё не святое — прямо бесовским. К этому греху расположены религии Средних веков.

Идея единого, всеблагого и всемогущего Бога отбросила глубокую тень: дьявола. У эллинских богов такой тени не было. Они сами делали пакости — по обычному у людей несовершенству, — завидовали, мстили; но от случая к случаю, бессистемно. Гнев богов сменялся милостью. В нем не было дурной бесконечности ада. Образ бесконечного добра, родившийся в душе святых, не уместился в человеке, в его голове, привыкшей к

---

<sup>85</sup> Виктор Франкль, узник Освенцима, свидетельствует, что не только святые. Его книга называется «И все-таки сказать жизни: да».

двойственности. И по законам логики добро на одном полюсе потребовало бесконечного зла на другом. Возник соблазн манихейства: отдать всю материю дьяволу, ограничить Бога бесплотным духом. Все великие религии Средневековья борются с этой ересью — и не могут ее побороть: она растет из них самих. Идея о том, что бесконечно, вечно только благо, а зло конечно, бrenно и поверхностно, что на глубине его просто нет, — отталкивает разум своей асимметричностью. Плотин опирается на опыт экстаза, в котором двойственности нет. Но этот опыт нереален для рабов двойственности. Они почитают отцов церкви — платоников, потому что те признаны святыми, — и видят дьявола в каждом углу, под каждым кустом, в каждом естественном движении сердца. Обычные человеческие излишества стали смертными грехами; и даже не излишества, а сами потребности. Монахи, устремившись к святости, до которой они внутренне не созрели, пытались насильем над своей природой бороться с князем мира сего; и чем больше они сражались, тем больше постигали его силу, его почти всемогущество. Они вели себя как безумные путники, идущие только по прямой — не обходя горы, не пытаясь найти брод через реку, — и природа им действительно сопротивлялась с дьявольским упорством. Можно понять их страсть, их энергию протеста против другой крайности, — поздней античности, плывшей по течению естества от одного извращения к другому. И в наше время «веселая эмансипация» вызывает такую же реакцию. Но я помню, чем это кончилось когда-то, и за самобичеванием Донисана вижу призрак инквизиции. Если можно калечить себя (власяницей и плетью), то почему нельзя теми же средствами вырывать душу грешника из-под власти дьявола? И наконец сжечь грешное тело, чтобы спасти бедную душу.

В моем внутреннем опыте нет всемогущего дьявола, укоренившегося в каждой клетке моей плоти. Есть происки бесенят, подсовывающих «двойные мысли» (как их назвал Достоевский). Но если видишь природу сорняка, выросшего в твоём сознании, и не смешиваешь его с пшеницей, то можно собирать урожай, отбрасывая плевелы. Наконец, время от времени выдернешь несколько кустиков бурьяна... Это, конечно, личный опыт, и ничего больше, безо всяких претензий на общий закон, но думаю, что опыт пустынных Фиваиды — тоже, в известной мере, личный (или исторически окрашенный). Есть эпохи — и есть души, — в которых сорняки разрастаются до крайности и всё губят; в таких случаях, видимо, нужны какие-то сильнодействующие средства. Но не всем это нужно. И каждый разумный человек вправе искать способ возделывать душу, подходящий для него самого, не закрываясь ни от какого опыта: античного и средневекового, западного и восточного.

Одна из величайших проблем узнавания — чувство своего личного духовного пути. То, что истинно для меня, ложно для другого. Един только дух света, а облики его — как облака, подхваченные ветром, и никто, кроме меня — и только в этот миг — не знает, каким я сейчас открою его в своем сердце. И Бог преходит, сказал Экхарт. Вчерашние облики Бога должны умереть, чтобы открыть Бога-младенца, лежащего в яслях. Рильке

писал про Орфея:

*Он долже н умирать, чтоб мы узнать могли  
Его во всем. Пусть страшно при разлуке.  
Но в час, когда напев дошел, — певец вдали.  
Мы музыкой полны, но рядом нет Орфея.  
Коснувшись струн, от струн отходят руки.  
Он верен лире, расставаясь с нею.*

По словам Торсийского кюре (персонажа другого романа Бернано-са, «Дневник сельского священника»), — Средние века всё знали (следовательно, античность не знала ничего, вся стояла на лжи). И даже более тонкому, хрупкому священнику, главному герою «Дневника», герои Плутарха скучны. Я уже не говорю о Востоке, который все эти кюре и знать не хотят. То есть вся мудрость и вся святость для них целиком поместились в один канон. Анатолий Франс с его благодушной иронией над католицизмом рисуется с такой ненавистью, таким отвратительным гадом, что никак не поймешь: а где же здесь христианство? Как быть с определением Силуана — тот, кто не любит своих врагов, не христианин?

По Бернаносу, люди делятся на — всего лишь — два сорта: слепых, не видящих своих бесов (и целиком бесам этим подвластных), и зрячих — в рукопашной схватке с дьяволом. Но есть еще благородный срединный путь между крайностями распущенности и аскезы. И есть то, что, Кришнамурти называл невмешивающимся наблюдением: видеть свои двойные мысли как двойные мысли и одним этим сознанием сковывать бесов, не давая втянуть себя в драку. Неистовство — даже в борьбе с дьяволом — насыщает дьявольщину нашей энергией. Бесы сами по себе, без подкормки, разгуливают только в душевной пустоте; а если душа полна, то они как бы забиваются в угол и сидят тихо, вылезая — в часы праздности. И не самоистязание нужно, а внутренний напор творчества.

\* \* \*

Христианство увидело страдание Бога в самой сердцевине космоса. Муки Озириса блекнут перед распятием, перед судорогами на кресте Второй Ипостаси, единосушной Отцу и от века пребывавшей в недрах Отчих. После Голгофы трудно созерцать мир как лилу, радостную игру божества. Мартин Бубер, живший в христианском мире, сказал: мир — не игра Бога, а судьба Бога. И все же на какой-то глубине — игра. Вглядываясь в образ Троицы, Экхарт увидел — сквозь крестные муки — веселие Духа: «Игра идет в природе Отца. Зрелище и зрители суть одно».

Мне хочется соединить то, что Бубер разделил, — еврейское чувство высокой боли и индийское чувство высокой радости. И судьба Бога, и игра. Но не просто игра, не просто вечная радость, а вечный катарсис, очищение страстей состраданием и страхом. Бог, истерзанный двухвостой плетью (железные шарики на концах разрывали плоть), падает под тяжестью перекладины креста, разбивает себе нос и не в силах стереть с него кровь и



грязь (эти подробности сохранила плащаница). Бог корчится, то распрямляясь, чтобы вздохнуть, то снова обвисая, не в силах вынести боль в пробитых ногах, и снова задыхаясь. Бог умирает с воплем: «Отче, Отче, зачем Ты оставил меня?» — а толпа улюлюкает и хохочет. Но Бог, в своей божественной природе, всё это выносит и воскресает и снова ликует в вечном творческом порыве. Пуруша (чистый дух) приносит самого себя в жертву, чтобы создать мир, — и возникает мир, потрясающе прекрасный, и человек достигает чистоты духа и сознает себя каплей, неотделимой от океана. Я не вижу непреодолимости пропасти между этими двумя видениями. Только разные акценты: на божественной радости и на страдании. Оба истинны. Но еще глубже единство: радость — страданье.

В еврейской судьбе страдание так невыносимо, что возникает призрак окончательного решения, окончательной победы добра — раз и навсегда. Нужен мессия, нужен конец света, а потом — новое небо и новая земля. Мне хочется освободиться от этой захваченности. Из нее вырос образ тысячелетнего царства, и идея окончательного решения, созданная евреями, обернулась против них же самих. Ради окончательного искоренения зла шесть миллионов были принесены в жертву. А если прибавить жертвы других попыток окончательного решения (от истребления альбигойцев до ликвидации кулачества как класса) — итог выходит еще более страшный. Довольно — по крайней мере, с меня. Я не хочу окончательного решения. Упразднить зло — значит упразднить пространство и время, в которых страдание и смерть заложены изначально. Это, слава Богу, от реформаторов не зависит. Но хватит и того зла, которое они способны внести в мир, пытаясь его исправить.

Дух, вырастая, может создать новое небо и новую землю, — но только в духе. Конец света внутри нас (небо для меня рухнуло, когда умерла Ира). И внутри нас воздвигается небесный Иерусалим (или небесный Кремль Даниила Андреева). Космос не может стать совершеннее. Подрезанные садовником куртины ничуть не красивее свободно растущих кустов и деревьев. Природу можно сделать удобнее для человеческого тела, превратить лес в парк, поставить там скамейки, но первозданная дикость больше говорит душе. Очертания соборов, созданных людьми, в лучшем случае не уступают линиям берега и горного хребта; в городе радуешься архитектуре; в поле, в лесу она не нужна. И всё, что только можно сделать в обществе, — выход из противоречий, ставших невыносимыми, к новым противоречиям. Слава Богу, если общество не становится непреодолимой помехой для личного духовного роста.

Мир без чувствительности к боли — без страдания — это мир без радости. Это сон камня. Я верю, что Бог чувствует в каждом из нас и каждое наше большое чувство — Божье (все чувства, кроме мелких, украденных мелкими бесами). Бог не извне страдания — Он изнутри. Он страдает не однократно, не только несколько часов при Понтийском Пилате, в царствование Тиберия Кесаря, а каждый час и каждый миг. Но он прожигает страдание силой своего духа и ликует в творческой игре. И сильно развитая личность способна прожечь страдание, прожечь смерть и

дорости до Бога. Где-то в глубине каждой личности звучат слова Христа: «Я истина и воскресение и жизнь вечная...».

Мы познаем Бога *сквозь* Голгофу, и образ Божий повсюду. Крылья отлетающей зари и линия горы — тоже Он. Каждая линия, на которую можно смотреть и смотреть, освобождаясь от суеты ума, — это Он, это Его образ и подобие.

*Что там, исток или конец?  
Мгновенье.  
Зовет простор, зовет творец  
Творенье.  
Кто вглубь отважится нырнуть, —  
восстанет.  
Ведь смерть и воскресенье суть  
дыханье.  
За вздохом вздох, за валом вал, —  
всё выше!  
Кто умирал и воскресал, тот дышит.  
Для дышащих — ни крыши, ни нор, —  
лишь вера.  
Так дай же мне вдохнуть простор  
всей мерой!  
Так дай мне меру красоты в час  
этот.  
Дышу. Так значит входишь Ты  
всем светом.  
С Тобой пространства не деля, и  
время, —  
Я грудь — Ты воздух, я земля —  
Ты семя.*

З.М.

Наша духовная жизнь — прорастанье семени, рост способности созерцать красоту и участвовать в творчестве. Радость — страданье, смерть — воскресенье — это стопа бытия, его ритмический миг, его логос, как сказал бы Гераклит. Войдя в божественный ритм, человек раскрывает, слой за слоем, собственную глубину, прикасается к бесконечности, к вечности — и находит в этом чувстве опору внутренней свободы.

*Земного крестного пути вся цель  
и счастье — до бесконечности  
дойти, уйти от власти седого  
времени. Его границ — не трону.  
Но есть у царства моего свои  
законы.  
Князь времени непобедим.*

*Но, бой покинув,  
живу уже не по чужим —  
своим, глубинным  
велениям. Во мне — мой князь. —  
Вот так, не споря  
ни с чем и через всё светясь,  
раскрылось море.*

З.М.86

Глава 15

## Негаснущий огонь

Первую минуту человек смотрит. Хорошо. Такая красота, что не оторвешься. Но привычки к длительному созерцанию нет. И через минуту задумывается. Или продолжает начатый разговор. Не бросать же на полуслове.

Иная линия — горы, побережья, даже деревья в окне — это икона. И надо смотреть, как молиться, — всей душой... Но как собрать душу? Это трудно. А в наше время — особенно трудно. И, наверное, чем дальше, тем труднее. Прогресс здесь — регресс.

Черт, договариваясь с Фаустом, запретил ему останавливаться. Если остановится в созерцании, если скажет: остановись, мгновенье, ты прекрасно! — конец всему, ад. Но Фауст сказал «остановись, мгновенье» — и в ад не попал. Я думаю, черт обманывал, запретил то самое, что открывает дорогу к искуплению. Фауст спасся, нарушив условие договора. А наша цивилизация поверила Мефистофелю. Она боится остановки. Даже когда человек отдыхает, он не может остановиться или пойти медленным, медленным шагом, вбирая в себя красоту тропинки. Ему нужно мелькание кадров. И поэтому он смотрит и не видит, не вглядывается, не вбирает вместе с линией горы вечность. Он не понимает, что остановка ума открывает место для чего-то самого главного. Что с розовой зарей *ничего* не надо делать (а ему всё хочется делать, действовать). И если нельзя съесть, выпить, поцеловать, — он томится от непонятной тоски.

*...Имы ломаем руки и опять  
осуждены идти все мимо, мимо...*

*Н. Гумилев*

\* \* \*

---

86 Оба последних стихотворения написаны одновременно с последними страницами «Узнавания», в октябре 1985 года.

Установка на длительность совершенно потеряна и в отношениях между людьми. Сходятся, как на ходу вскакивают в автобус. Говорят: закадрить (втянуть в кадр; а завтра другой). Один эскалатор вниз, другой вверх; лови кадры (лицо, грудь... чьи? Не разглядел). На улице тоже все торопятся. Наскоро кадришь незнакомых. Вся улица — незнакомки. Их лица ничего не успевают нам сказать. Замечаем только — хороша (или не очень) линия бедер и талии. Где тут добраться до души? Захватило хорошенькое личико. А душа? «На кой мне черт душа твоя». Второпях завязываются знакомства. А потом рвутся. Техника подчинила человека своим темпам. И он думает: это современный стиль. Это я, я сам. Сегодня хочу одну, завтра другую (примерно так же убежден в свободе своей воли камень, брошенный из пращи).

А любовь — это вглядыванье, медленное вглядыванье. Даже если она поражает с первого взгляда. Все равно, после этого первого взгляда годами смотришь: что же тебя тогда поразило?

Любовь — бесконечное вглядыванье. Бесконечное открытие души. Тут не мораль, не боязнь предать мешает расстаться; идешь и идешь вглубь, и нет глубине конца. Совершенно так же, как в мистическом опыте. Мистики любили эротические метафоры...

Даже в страсти нельзя добраться до сердцевины, не почувствовав скрытую струну, одним и тем же трепетом откликающуюся на стихи, музыку, живопись — и прикосновение. Проходят месяцы, иногда даже годы, пока ее заметишь. Дон Жуан не имел на это времени. Ему не приходило в голову, что из одной и той же скрипки — если она хорошо звучит — можно извлечь тысячи мелодий; каждый день нужен был новый инструмент. И жизнь его была полна дуэлей, похищений, погонь, — а любовь рождается в тишине...

*Нарастанье, обступанье тиши.  
Нас с тобою только сосны слышат.  
Прямо в небо, прямо в сердце вниди.  
Нас с тобою только звезды видят,*

*Наклонившиеся к изголовью.  
И остались мы втроем — с Любовью.  
Для того лишь и замолкли звуки,  
Чтоб Она могла раскинуть руки,*

*Для того лишь мир и стал всецелым,  
Чтоб Она могла расправить тело.  
Задрожали, растеклись границы,  
Чтоб Она сумела распрямиться,*

*Каждый миг прошедший воскрешая,  
Боже правый, до чего большая!  
Боже святой, до чего ж огромна!*

*Кто сказал, что ей довольно комнат?*

*Кто задумал поместить под крышу  
Ту, которая созвездий выше?  
Кто осмелился назвать мгновенной  
Ту, которая подстать вселенной?*

З.М.

Любовь всегда — третья. Не ты и не я, а что-то сквозь нас. Дух, веющий, где хочет. «То, громадное», — как сказал о нем Рильке. Дух глубины, втягивающий в себя, и мы готовы утонуть, пропасть — с каким-то блаженным ужасом. Друг через друга — в светопреставление. И на новое небо, на новую землю.

Опыт любви и опыт бесконечности — братья. Не открывшись бесконечности, нельзя до конца отдаться любви. Я не о влюбленности говорю; я о — на-всю-жизнь любви. Поэтому любовь пугает. Поэтому пугают людей Зинины стихи. Это было несколько раз, но больше всего запомнился один случай в Коктебеле. Попросили почитать, послушали... «Нет, — воскликнул Р. — Я еще не хочу умирать, я хочу жить!» На другой день он долго и взволнованно объяснял свое потрясение, — не сказав, впрочем, ничего лучше первой, нечаянно вырвавшейся фразы.

Другие реагировали иначе — менее остро. «У Вас всё в этом роде?» — спросил Б. «Всё», — ответила Зина. Она не хотела ничего отбирать. Б. покачал головой. Первые пять стихотворений его захватили, потом стало трудно слушать. Он вел себя как человек, инстинктивно отодвинувшийся от края пропасти. Интеллигент привык заглядывать на глубину (он читает Достоевского, слушает Баха), привык любоваться глубиной, но не жить на глубине. К. простодушно признал это. Каждое стихотворение прекрасно, говорил он и вспоминал: «я емь орган, но органист не я...», или про море:

*...Какое счастье жить на берегу  
Того, что сердце исчерпать не в силах...*

Ему казалось, что читатель таких стихов еще вырастет. Но слушать их подряд — трудно. Не привык он к такому напряжению. Были, впрочем, и такие слушатели, которые нашли прочитанное абстрактным, головным (т.е. не почувствовали *ничего*). В. попытался объяснить, что Зина живет в состоянии непрерывной молитвы и стихи — с этого уровня. Слова его упали в пустоту. Опыта молитвы или медитации ни у кого в яркой, талантливой коктебельской аудитории не было. Я вспомнил сейчас всё и подумал: где в нашем мире может жить постоянное чувство?

Церковный обряд, которым в старину скреплялся брак, — это, в конце концов, — отсылка на глубину, прикосновение бесконечного к конечному. Но кто сегодня относится всерьез к символам бесконечности, кто действительно видит в них таинство? Или — кто способен безо всяких

символов и обрядов тянуться к глубине?

Чувство глубины почти атрофировалось. Это что-то вроде новой болезни, разрушающей иммунитет культуры; только вирус не физический, а духовный: потеря благоговения. Что остается, если нет благоговения любви? Только волны быстротекущей жизни. Что-то вроде стиля укиё-э, запечатленного в гравюрах Утамаро. Чайные домики, знаменитые гейши — и знаменитые актеры, играющие знаменитых гейш.

\* \* \*

Марина Цветаева, после поэмы Горы, после, поэмы Конца, пишет (О.Е. Черновой): «...будь Дон Жуан глубок, мог ли бы он любить всех?

Не есть ли это «всех» неизменное следствие поверхностности? Короче: можно ли любить всех — трагически? (Ведь Дон Жуан смешон! писала об этом Б.П., говоря об его вечности). Казанова? Задумываюсь. Но тут три четверти чувственности, не любопытно, не в счет — я о душевной ненасытности говорю.

Или это трагическое всех, трагедия вселюбия — исключительное преимущество женщин? (Знаю по себе)».

Пытаюсь приложить это и к себе. Про Дон Жуана (отрицательно) мы думаем одно и то же. Но дальше — логический скачок: знак равенства между глубиной и трагизмом. И на уровне трагедии — по крайней мере, женщинам — по крайней мере, одной женщине *можно* любить всех. Не переходя к отрешенной любви, открытой всем и не зацикленной ни на ком, когда нет трагических страстей. Цветаева пишет не об этом, а об отношениях мужчин и женщин — и *здесь* видит трагизм, который не может и, пожалуй, даже не должен быть снят. Откуда такая *установка* на трагическое? От склада характера? Или от склада европейской культуры (единственной, признавшей трагедию вершиной искусства)? Или от привычного самообмана — видеть в мужчине ангела и потом, разглядев, падать с неба на землю?

Есть прекрасный старый рассказ о любви, из сборника Танских новелл. Молодой разносчик полюбил звезду тогдашнего полусвета. Утром, придя со своим товаром, он застаёт ее в тяжелом похмелье. Ее вырвало прямо на постель. Разносчик рукавами своего халата (я почему-то запомнил эту деталь) собирает рвоту, бежит к ручью, приносит воду и умывает любимую. Очнувшись, она видит его глаза, полные сострадания. Рассказ кончается благополучно. Китайскую Настасью Филипповну никто не зарезал, и она выходит замуж за китайского князя Мышкина. В жизни и так бывает; а восточный литературный вкус признает счастливый конец лучше несчастного.

Я вынужден был узнать (не по книгам только), что любимая смертна, и весь свет, сошедшийся в ее окошечке, сразу гаснет. Я знаю, что можно любить недостойную женщину, вроде Манон Леско. Или что любимый сопьется — и теряет человеческий облик (таких историй полно). Время и смерть крадутся за нами по пятам; но пока любовь есть — их нет.

Пока любовь есть, нет ничего, кроме вечности. В высшие свои минуты,

любовь — это состояние дживанмукта, освобожденного при жизни, — по ту сторону трагизма. И вполне возможен гриновский конец: они были счастливы и умерли в один день.

Трагичным было положение Иры до нашей встречи, в тупике, куда ее привели страсти и зароки (запрещавшие разойтись с мужем, изменившим ей, но сидевшим в лагере, и выйти за любимого В.И.). Трагичным было ее чувство близкой смерти, ее обреченности — как раз тогда, когда пришло счастье. Она забывала это днем — и вспоминала по ночам, прижималась ко мне и говорила, что чувствует смерть за плечами. Но эта тень смерти только углубляла любовь.

Трагичным было непонимание, с которым столкнулась Зина и которого вынести она не могла. Но моя любовь к ней была концом этого непонимания. Весь свет мог по-прежнему ее не понимать, но я-то понял. И из своих взлетов она теперь падала в мои глаза и в мои руки.

Что будет дальше — не знаю. Мы перешли порог старости, и через несколько лет придет смерть. Даже если люди ее не поторопят. Но пока что само ожидание конца дает своеобразное счастье, напряжение жизни под огнем, творческий расцвет. Если я полюбил и любовь эта принята, — трагедия на какой-то срок потеряла ключ от нашего дома. Она может царить во всем подлунном мире, и мы это много раз чувствовали; но сегодня — не ее праздник; сегодня — воскресение.

Остается второе, более частное утверждение Цветаевой — «трагедия вселюбия». Способен ли я — или мы с Зиной — снять трагичность жизни нескольких человек? Полюбить их всех? Как раз сейчас я испытал такой порыв. По некоторым откликам на мои работы я почувствовал людей нашего духа — и отвечал всем сердцем — мне кажется, не меньше, не слабее, чем Цветаева Бахраху или Штейгеру. Держал письмо по несколько дней на столе, как любовное. Накануне разговора (с попыткой повернуть жизнь человека) просыпался в пять часов утра. Но сам характер чувства не вел к трагедии. Узнавание (впитывать в себя открывшуюся тебе душу и возвращать ее с отпечатком своей любви и понимания) — это чистая радость. Радость двойная (чувствовать себя понятым — великая радость, помню это со времен своих бесед с В.Р. Грибом). И обе радости отражаются друг в друге, как зеркало в зеркале...

Трагично знать, что любимого ждет страдание, которого он не вынесет, и ты только из посмертия, в снах, сможешь прийти к нему. Но пока любовь жива — злого будущего нет. Пока цел космос любви и чувство не восстает на чувство — нет трагических конфликтов.

*...Любовь вечно нова и свежа и не должна  
ничего знать о темнеющих безднах.  
Любящие — вне смерти.  
Только могилы ветшают, там, под плакучею ивой,  
отягощенные знаньем,  
притоминая ушедших. Сами ж ушедшие живы, как  
молодые побеги старого дерева.*

*Ветер весенний, сгибая, свивает их в дивный венок,  
никого не сломав.  
Там, в мировой сердцевине, там, где ты любишь,  
Нет преходящих мгновений.*

(Р.-М. Рильке. Элегия Марине Цветаевой. Перевод З.М.)

В чем же трагедия вселюбия у Цветаевой? В «захвате», как выражалась Марина Ивановна? В роковой неспособности понять иерархию чувств и создать из хаоса космос?..



Как-то я провожал до автобуса знакомую. Речь зашла об одном поступке, который неприятно поразил нас с Зиной. Собеседница не согласилась со мной и сказала: а как же то, что Вы писали об Ире Муравьевой? А как же Марина Цветаева?

На это трудно было сразу ответить. Подошел автобус, и я остался с проблемой искусства при свете совести. Про Иру написал я. Написал так, чтобы виден был неразменный золотой, который она меняла на серебро и даже на медь, а золотой каким-то чудом возвращался. Хотя писал правду, т.е. не скрывал случаев, когда оставались одни медяки. Ира из этих состояний выходила, восстанавливала себя, собиралась. И мне казалось — это пример для собирания души, а не для растраты. Мне казалось, что растраты я объяснил, вывел из судьбы, из времени, загнавшего женщину в угол, из отчаяния живой души, стоящей против всемогущей машины. Мне неприятно было, что Ира (и Марина Цветаева) оказались в какой-то, пусть отдаленной связи с женщиной, с которой начался разговор. Все они были естественны. Но это совершенно разные естественности.

Все трое не признавали никаких внешних препятствий в своих порывах. Но очень по-разному. Сильные характеры, оказавшись безо всяких норм (смятых и смытых временем), сами себе полагали зарюки. Они не всё себе позволяли. И обе во многом (очень во многом!) плыли против течения. В том числе и в интимной жизни. Это не щепки, несущиеся по воле времени и страстей. У обеих я учился тому, что в них прекрасного и великого. Вопреки ошибкам и грехам. Обе не требуют и не вызывают снисхождения. Мне не хочется смешивать нравственную силу, создающую заново неповторимую личную мораль — с ней можно соглашаться или не соглашаться, но это мораль, — и элементарную беспорядочность.

Я у Иры очень многому научился. Ее душа вошла в мою, и след от этого дает мне что-то от чувства Григория Сковороды: спасибо тебе, Господи, что Ты сделал всё нужное нетрудным, а трудное — ненужным. Ира не надрывалась, как героиня Бернаноса, в попытках стать святой, и ее лад с природой и людьми был каким-то моцартовским, естественно-легким и полным глубокого света. Мне до сих пор не удается многое, что для нее было просто, как дышать. Например, очистить сны. А ей их и очищать не надо было. Никакого материала для Фрейда. Умом снимала все запреты: «Лучшее средство избавиться от искушения — поддаться ему». А во сне — одна волшебная сказка за другой. Бескорыстный поток творчества, создающий вторую, лучшую действительность. И потом — это внутреннее чувство такта в любви. Никаких слов о близости. Только «так» (и легонько брала за запястье); или (в разговоре о прошлом): «нам было хорошо». Поэтическое чувство жизни совершенно заменяло ей религиозное благоговение (в без-религиозном мире только поэзия сохраняет благоговение перед любовью, подвигом, жертвой).

Все непоэтическое скатывалось с Иры, как с гуся вода. Я долго не мог понять, как она ухитрилась не знать мата, и едва нашел что-то подобное в собственном опыте: пассивного знания языка без умения говорить. Думаю, что она понимала смысл грубых слов, когда они произносились. Но знала — примерно как я знаю некоторое количество французских слов и узнаю их при чтении, а говорить не умею. Так Ира пассивно знала всю грубую, пошлую сторону жизни и могла прочесть текст, но душа ее в нем не участвовала. Она не задерживалась умом ни на чем грязном, и грязь ее не пачкала. Хватало силы сделать бывшее как бы не бывшим. И из огня выйти, как саламандра — без ожогов. Только в глазах — след преодоленной боли... И уверенность души в своем внутреннем законе, несмотря на всю очевидность ошибок. Благородно естественная, она доверяла естественным порывам своего чувства. Сколько бы раз они ее ни обманывали.

Я любил ее вместе со всеми ее правилами, но жил иначе. Когда первая радость любви была потеряна, когда мне порой казалось, что ничего не вышло, что счастье не состоялось, Ира со вздохом отвечала на мой вопрос — почему мы больше не читаем вместе стихов: «Да, так всегда». И как всегда, дело должно было кончиться разрывом: «одну и ту же спичку два раза не зажигают». Но в нашей любви был и мой характер. Так же как в самом начале, когда я не мог согласиться ни на ложь (если мы будем тайно встречаться), ни на то, чтобы порвать с ней (во имя дружбы) и оставить — почти умирающей и загнанной в угол. Ира ожидала либо того, либо другого; я выбрал третье... И тогда в одном порыве она протянула мне письмо от подруги — чтобы я всё читал первым, чтобы не было у нас никаких секретов. Чтобы сбылась сказка.

Ира много раз говорила мне: если бы я не искала, если бы я покорилась (и была бы безрадостной женой в безрадостном браке), — мы бы не встретились. Это правда. Но если бы я был такой, как она, мы бы встретились — и разошлись. Она жила в карнавале влюбленностей и разрывов. Я искал любви, как можно искать истинного вероисповедания. Я медленно сходил с женщинами и так же трудно мне было порвать. Схожусь каждый раз на всю жизнь; с Миррою не получилось, но я три года пытался сжитья, довести полулюбовь до любви. И от опыта полулюбви осталась зарубка: нельзя сразу соглашаться с неудачей, надо бороться. Когда люди хотят оставаться вместе, то всё, что разделяет, — только повод лучше всмотреться друг в друга и дойти до глубины, на которой мы опять вместе. Само правило отлилось в слова недавно, но оно складывалось во мне всю жизнь, и во время ссор с Ирой я почти всегда (кроме одного случая) спохватывался и говорил: оставим это, отодвинем в сторону. Главное то, что мы любим друг друга...

И в конце концов это главное опять нашлось. Когда я уже почти не ждал, что сбудется. Что здесь было от самой Иры и что — от моей *веры* в нее?

Кто меня научил, что в любви не надо добиваться наслаждения? Что наслаждение так же попутно, второстепенно, как вкус причастия (хорошо

выпечена просфора или нет); что близость — только знак любви, язык, на котором можно рассказать свою любовь и перелить из души в душу... Я этого не знал раньше. Ира тоже — и была захвачена открытием до того, что не жалела о своей болезни (не будь болезни — я не навещал бы ее каждый день и не узнал бы; а узнав — не решился бы любить жену друга).

Кто нас обоих научил благоговейному отношению к ночи? Мы не стоваривались — но погасив свет, оба гасили всё, что нас волновало вечером и снова захватит утром; и ночь становилась сказочным царством со своими сказочными законами... Научила любовь. Научил Третий, склонившийся к изголовью. Мы двое стали проводниками для этого Третьего, и через нас шел его ток.

С этих пор Ира строго выговаривала мне, когда я вел себя хуже, чем сказочный принц. Наверное, в чем-то она была права. Но я боялся слишком буквальной веры в сказку и настаивал, что не надо выдумывать друг друга, иначе непременно разочаруешься. Достаточно того, что есть. И это тоже было правдой, и Ира нехотя с ней согласилась. Хотя сказка жила в ее душе, и без этой сказки (запертой на замок от большинства знакомых) ее так же невозможно понять, как без иронических сентенций из французских романов.

\* \* \*

Язык чувства сбивчив и смешивает разные вещи. Прошло лет сорок, прежде чем я научился отличать удовольствие, наслаждение — от глубинной радости, и еще десяток лет, пока я понял, что наслаждение — это радость твари, оторванной от Творца; что культ наслаждения логически ведет к самоубийству (если жизнь не доставляет наслаждения, — зачем ее длить?). Что Бог требует от нас угадывать Его волю, Его задачу — и решать ее, не боясь страдания, принимая на себя муки ближнего и через страдание, через скорбь прийти к радости, веселью, ликованию духа. Что именно это — замысел мира и человека, и разгадка теодицеи — в наших руках...

Такая же пуганица царит в понимании слова «любовь». Татьяна любит Онегина, Ольга любит Ленского; но они совершенно по-разному влюблены. Татьяна тоскует по узнаванию:

*Вообрази, я здесь одна.  
Никто меня не понимает.  
Рассудок мой изнемогает,  
И молча гибнуть я должна...*

По ком эта тоска? По супругу? Или по учителю, который увидит ее душу и выведет ее из царства суеты? Образ Онегина в письме — скорее небесный, чем земной жених. И это не сублимация эротики. Фрейд со своими понятиями, ставшими чем-то вроде прописных истин, не собьет меня с толку. Тоска по небу ничуть не менее реальна, чем желание близости. Больше того: небо реальнее земли. Но почувствовать небо можно

по-разному. Не только по-монашески, иссушив свою плоть, но и через эту самую плоть, покорную любви. Плоть, получившая неограниченную свободу, мешает росту души. Наш внутренний мир основан на строгой иерархии (я писал об этом, разбирая исповедь Ставрогина). Свобода духа немыслима без сдержанности, иногда даже скованности низших уровней. Когда поздняя античность утопала в наслаждениях, дух взбунтовался и повернул к аскезе. Это было своего рода революцией, захватывающей, как и всякая революция. Я понимаю пустынных. Но в моем опыте граница прошла не между чувственностью и аскезой, а между любовью и нелюбовью, какой бы язык любовь ни избрала, чувственный или нет. Я убежден, что душе Татьяны все равно, как войти в огонь-бел, в пламя без дыма (первый образ — Цветаевой, второй — из Упанишад). Для ее души всякая любовь счастливая. В том числе — «несчастливая», на обыденном языке.

Любовь принимает такую форму, которую подсказывает жизнь. Душа знает одно: она любит. Лишь бы шло узнавание. Лишь бы не оскорбить любовь неблагоговейным словом или жестом. Лишь бы навсегда сохранить то, что влюбленность так быстро теряет. Мы часто смешиваем влюбленность с любовью; но это разные вещи. Влюбленность во многих случаях вовсе не узнавание. Скорее слепота. Влюбленность почти никогда не может жить без иллюзий. Только очень редко воображение и страсть наталкиваются на правду.

А любовь зряча. Любовь видит человека таким, каким его задумал Бог — а человек еще не сумел стать (немного перефразирую Цветаеву и исправляю ее ошибку: «и не осуществили родители»). Если не осуществили родители, значит он не таков, значит любовь лжет, приукрашивает. Т.е. не любовь это, а влюбленность).

Влюбленный захвачен образом, живущим в его собственной груди, и в этот огонь надо издали подбрасывать дрова. Тесный контакт, сплошь и рядом, сминает воздушный шар. Или — если сохранить первую метафору, — пламя гаснет под грудой сырых поленьев. А любовь от близости только растет.

Когда Цветаева говорит и пишет о любви, это, по большей части, влюбленность — и упоение поэтической темой. Здесь поэт — царь. Он живет один, и никто ему не перечит. Сны становятся стихами. Письма строят памятник любви. А живое чувство... С ним — трудно. Это ведь не так просто — сохранить любовь. Любовь мужчины и женщины знает свою богооставленность. Стиснув зубы идешь избранным путем, веря в любовь и надеясь на ее возрождение. Вера, надежда и любовь — сестры. С верой находишь любовь заново. Даже если она сгорела в страсти, потонула в болоте немыслимого быта.

Пастернак писал Цветаевой, что не мог бы всю жизнь прожить, как Адам, с одной Евой. Марина Ивановна с возмущением ответила, что Психею разлюбить нельзя. В этом споре я на стороне Цветаевой, — но, пожалуй, больше, чем она сама.

Нельзя разлюбить — значит нельзя исчерпать. А сама Психея? Умеет

она — не исчерпывать?

*Какое счастье жить на берегу Того,  
что сердце исчерпать не в силах!*

З.М.

Евой можно насладиться, как бутылкой хорошего вина<sup>87</sup>. Так и говорят девушкам: «Выпьем бокал шампанского!». Но Психеей нельзя насладиться. В Психее есть что-то от второй строфы гумилевского «Шестого чувства»: источник бесконечной радости (как в розовой заре над холодеющими небесами; как в бессмертных стихах). Психея собрала всю зарю в своих глазах. Тот, кто заметил Психею, не может ей изменить, не может от нее оторваться. Измена была бы чем-то вроде религиозного ренегатства, отказом от веры во имя мирской выгоды (мгновенная радость новой влюбленности — та же выгода).

Пастернак с этим не согласился бы. Лет через двадцать после обмена письмами — видимо, вспоминая их, — он написал апологию Евы (и своих увлечений Евами, красоту которых, очевидную, как сосны Шишкина, нет необходимости угадывать, извлекать из полутьмы):

*...Пять-шесть купальщиц в лозняке  
Выходят на берег без шума И  
выжимают на песке Свои купальные  
костюмы.*

*И наподобие ужей  
Ползут и вьются кольца пряжи,  
Как будто искуситель-змея Скрывался  
в мокром трикотаже.*

*О, женщина, твой вид и взгляд Ничуть  
в тупик меня не ставят.  
Ты вся — как горла перехват,  
Когда его волнение сдавит.  
Ты создана как бы вчерне,  
Как строчка из другого цикла,  
Как будто бы шутя во сне  
Из моего ребра возникла.*

---

<sup>87</sup> Прекрасно в нас влюбленное вино И добрый  
хлеб, что в печь для нас садится, И  
женщина, которую дано,  
Сперва измучившись, нам насладиться.

Н. Гумилев

*И тотчас вырвалась из рук  
И выскользнула из объятий,  
Сама — смятенье и испуг,  
И сердца мужеского сжатье.*

Не знаю, что сказала бы в ответ Марина Ивановна; возможно — «залилась презреньем, как соловей песней». А я просто скажу: на пляже сердце у меня не сжимается. Обнаженность — призыв к радости. Волна легкого возбуждения. И всё. Перехват горла, сжатие сердца — от иного, от печати страдания:

*Как будто бы железом,  
Обмокнутым в сурьму,  
Тебя вели нарезом  
По сердцу  
моему...*

Я думаю, что ранний Пастернак сказал лучше позднего:

*И общелягушечью эту икру  
Зовут, обрядив ее, паюсной...*

Лирик верен минуте. То он живет на поверхности, то в глубине. Я предпочитаю стихи, родившиеся поглубже.

Я верю, что одна и та же любовь может углубляться бесконечно. Когда в женщине есть святыня красоты. Когда мужчина именно эту святыню ищет — и не устаёт раскрывать. Не цвет лица, не блеск глаз, а внутреннюю красоту, красоту озарения, самое обыкновенное лицо делающее прекрасным. Я не люблю слишком красивых, безупречно красивых лиц. Я понимаю слова Цветаевой: «Моя душа ревнива, она не допустила бы, чтобы я была красавицей». Мама — актриса — говорила мне, что слишком хорошие декорации мешают играть. Публика не должна любоваться подмостками, пусть она, глядя на скупо убранную сцену, с трепетом ждет актрису или актера. И своей любовью, своим ожиданием помогает ему стать прекрасным. Не красота творит любовь, а любовь — красоту. Аверинцев сказал о Венеции: «этот город любили не за то, что он красив, наоборот: он стал красив, потому что его любили». Когда Зина входит в лес, она хорошеет, потому что чувствует любовь Бога. И я радуюсь, что могу немного помочь Богу, вглядываясь в лицо, перекошенное судорогой, со всей нежностью, на которую я способен. Я видел все морщинки у глаз Иры — и расправлял их. Я вижу — а не только знаю — что Зине шестьдесят лет. У меня совершенно трезвые глаза, я не приписываю красоту тому, у кого ее нет, но я помогаю ей родиться. И поэтому старость и даже смерть любимой не властны надо мной.

То, что кончается, — не любовь, а влюбленность, притворившаяся любовью. Моя любовь к Ире не кончилась. Она просто стала другой.

Нельзя любить тень так, как живую женщину. Любовь — служение, и служение тени отличается от служения живой. Оно может идти рядом с новой любовью и действительно шло и ничему не мешало (так же как ничему не мешает узнавание духовных детей). Я вызывал из прошлого Иру, черту за чертой (любовь сотворила со мной чудо, я стал писателем), и показывал текст Зине, и мы вместе редактировали этот текст. И в то же время я вглядывался в Зину и шаг за шагом приближался — рядом с ней — к той глубине, на которой она жила. Шаг за шагом. На каждом повороте жизни — по-новому. И только недавно — захваченный узнаванием так, как раньше меня захватывали идеи, — я вдруг понял, что имел в виду Мертон; почему экстатическое чувство радости — это еще не подлинное созерцание.

Я пережил с Ирой взлет в открытую вечности радость и часов пять или шесть плавая в свете (центр — в моей груди, граница — нигде). Еще один вершок вверх — и сердце бы разорвалось, не вынесло бы блаженства. Года через полтора — такой же потрясающий, опрокидывающий предел страдания: небо, расколовшееся над головой, и потом чувство разрубленности надвое, с половиной моего тела в земле. Чем сильнее радость, тем страдание глубже (мы срослись. Смерть разрубила по живому).

А в Зинином взгляде были страдание и радость вместе. Не одно после другого, не одно рядом с другим, а вместе. И в первую нашу встречу, и потом — после заката, после Баха, после рублевского Спаса — этот взгляд ложился на меня тяжестью креста и требовал: раздели со мной это! И дойди до радости — сквозь это. Дойди до воскресенья. Не уклоняйся от вопроса:

*Скажите мне, есть выход на кресте?*

*Тогда есть Бог.*

Понимание неразрешимого, от которого некуда уйти, — это еще один шаг к истинному созерцанию (как будто в руку вложена записка и на нее немедленно ответь (О. Мандельштам). Вложена. И понимаю, что ответить. Но еще не могу раскрыть рта).

Христос говорил о себе: Я дверь. Не только Он. Слышу со всех сторон крики: ересь! — и все-таки говорю: всякий человек, который долбил и страдал до Бога и которого чувствуешь и любишь до Бога, становится дверью к Богу. Единственной — для тебя. Потому что нельзя войти сразу в несколько дверей. Попробуешь — и будешь все время играть с дверными ручками. А белый огонь любви — это войти и стать двойной звездой. И потом оставить дверь открытой, оставить сердце открытым для всех, кому оно нужно. Но только сердце — и только сердцу. Каждому сердцу, полюбившему то, что мы любим. От этой открытой для всех двери к Богу — волны ликования, которые охватывают нас в солнечный зимний день, в обыкновенном московском лесу, ставшим волшебным под лучами Божьей любви.

Я буду писать о Цветаевой как о человеке, о женщине; но эта женщина родилась поэтом. Невозможно представить себе ее без какой-то небывалой чувствительности к слову; без экстатического переживания слова, сравнительно с которым все прочее земное казалось ничтожным, слабым, пошлым. Даже море — сравнительно с пушкинским стихотворением «К морю». Даже любовь, сравнительно со стихами Данте о Беатриче. Внутреннее ожидание чуда вспыхивало от поэтического слова и вызывало такие бури, такие пожары, создавало такие никому не ведомые душевные царства, что выходить из этих царств наружу не хотелось. Мир Цветаевой замкнут до солипсизма (только я существую), до убеждения, что другой (живой) в любви мешает.

Другим, существование которого — недопустимый скандал (Сартр), был для Цветаевой весь XX век. Сивилла, лунатик, шаманка, готовая взять бубен и плясать вокруг костра, не находила в окружающем ничего своего, «равнодушного» — и не хотела вступать с чужим, с другим ни в какие соглашения. Не замечая, проходила мимо. Глядела своими близорукими глазами внутрь, в царство снов.

В «Земных приметах» Марина Ивановна пишет:

*«Я никогда не хочу на грудь, всегда в грудь!  
Никогда — припасть! Всегда пропасть! (В пропасть).*

*Живой никогда не даст себя так любить, как «мертвый».  
Живой сам хочет быть (жить, любить). Это мне  
напоминает вечный вопль детства: «Я сам! Я сам!». И  
непрерывно — ногой в рукав, рукой — в сапог. —  
Так и с любовью.*

*«Для меня тебя в тебе нет, ты вся во мне».  
Так думает поэт о своей Психее, это не мешает ей  
выходить замуж и любить другого, но ее замужество, в  
свою очередь, не мешает и не может помешать поэту.  
Больше скажу: сила захвата в прямом соотношении с  
тайной, глубина его — с внешней опровержимостью его.  
Когда уже ничего не мое — всё мое! Это прямой дорогой  
подводит нас к смерти: физической смерти любимого...  
Выдавайте своих красавиц подалее замуж, поэты!  
Чтобы ни один ваш вздох (стих) не дошел, не вернулся  
— вздохом! Откажитесь даже от снов о них.  
День их бракосочетания — ваш первый шаг к победе,  
день их погребения — ваш апофеоз.  
(Беатриче. Данте)».*

Несколько позже «Земных примет», в Чехии, появляются новые ключевые слова: равносущность и заочность. Они внутренне связаны.



Встретить равносущного в жизни нельзя. Разве — на миг. Отсюда — заочность. На первый взгляд, это опять платоника, установка на сны и письма. Но в Цветаевой каждая противоположность доведена до края, через край — и непременно отразилась, как в зеркале, обратным движением.

Знакомство с Востоком соблазняет меня переписать цветаевскую теорию любви в индийских терминах. Любовь равносущных — встреча Шивы и Шакти, бога и богини. В тантристской обрядности мужчина (подготовленный увидеть в женщине богиню) соединяется с женщиной (подготовленной увидеть в мужчине бога). Соединение может быть чисто сердечным, без физического прикосновения (примерно как у пушкинского бедного рыцаря); тогда это бхакти (любовь к Богу через любовь к жениху, невесте); а может быть и чувственным (есть разные секты). Женщина, сознающая себя шакти (подругой бога), не может не ждать встречи с ним, не может не искать чуда. У Марины Ивановны было это сознание. Но она жила не в Индии, а в России. Обряда не было. Непосредственная встреча Шивы и Шакти, равносущного с равносущным, — почти немислима. Отсюда культ заочности. И вопреки теории, неудержимо влечет к «близкой любви» (а вдруг чудо все-таки мыслимо, возможно? Вдруг здесь именно и раскроется лестница в небо? Без которой экстазик так же не может жить, как в мире с погасшим солнцем)...

Я долго не мог понять слов Марины Ивановны: во мне нет ничего от Евы. Только Психея. Мне казалось, это резко противоречило ее жизни, ее страстям. Я думал, «психейность» скорее внутренняя установка, самосознание, идеал, а не реальность. И вдруг, после одного жизненного впечатления, слова Цветаевой внезапно наполнились простым и ясным смыслом.

Давным-давно (полвека тому назад) я делил впечатления от девушек на два класса: «хочется съесть ее, как булочку» и «хочется выпрыгнуть ради нее в окно». В Марине Ивановне не было ничего от булочки. От хорошенькой. Худая, колючая, с поджатыми губами («телам со мной скучно»). Думаю, даже в юности — тогда она выглядела иначе, — что-то в ней прямо запрещало мужской аппетит, отталкивало его. Потом, старея, как-то пожалела (в письме Тестовой): молодые люди на улице смотрят на нее, как на пустое место. Но молодой, встречая оценивающий взгляд, наверняка не вступала в игру глазами, а отталкивала. Никакого полового призыва. Только призыв души. Никакого желания насладиться. Скорее — желание смерти. Натолкнуться на взгляд, как на нож, медленно входящий в сердце, и не опускать глаз. Не любовь Адама и Евы (в «Гавриилиаде»), а гимн чуме. Действительно, не Ева жаждет поцелуев, а Психея. И все-таки жаждет поцелуев. Ей не любовник нужен. Скорее — тантристский обряд, в котором адепты, соединяясь, переживают это как прорыв сквозь пространство и время (им на всякий случай дают еще выпить корешок — на случай, если иначе до экстаза не дотянет). Всё это — безо всякого личного отношения друг к другу вне условной обрядовой роли (как и цветаевской любви не нужен другой вне предписанной ею роли).

Другой, в ее земном опыте, попадал «ногой в рукав, рукой в сапог». «По полной чести, — пишет Цветаева Бахраху, — самые тонкие, самые нежные так теряют в близкой любви, так упрощаются, так грубеют, так уподобляются один другому и другой третьему, что руки опускаются, не узнаешь: Вы ли? Вплотную-любви в пять секунд узнаешь человека, он явен и — слишком явен! Здесь я предпочитаю ложь. Я не хочу, чтобы душа, которую я чтילה, вдруг исчезла в птичьем щебете младенца, в кошачьей зевоте тигра. Я не хочу такого самозабвения, вместе с собой забывающего и меня. Была моложе — ранило, старше стала — ограничилась высокомерным, снисходительным (всегда страстным) любопытством.

Я стала добра, но за такую доброту, дружочек, попадают в ад. Я стала наблюдателем. Душа, укрывшись в свой последний форт, как зверь, наблюдала другую душу — или ее отсутствие. Я стала записывать: повадки, жесты, словечки, — когда в тетрадку (когда поглубже). Я убедилась, что именно в любви другому никогда нет до меня дела, ему дело до себя, он так упойтельно забывает меня, что, очнувшись, почти что не узнает. А моя роль? Роль отсутствующего в присутствии?..

Но в глубокие часы души... все мои опыты, все мои старые змеиные кожи — падают. Любя шум дерева, беспомощные или свободные мановения его, я не могу не любить его ствола и листы: ибо листвою шумит, стволом растет! Все эти деления на тела и души — жестокая анатомия на живом, выборничество, эстетство, бездушие...»

В глубокие часы знаешь, что может быть музыка осязания, которая от души ничего не отымает; больше того: которая душе всё дает. И если близкая любовь прячется во тьму, то не из-за того, что стыдно (как считал Толстой). Нет, просто осязание хочет слепоты всех других чувств (как и на концерте иногда закрываешь глаза), хочет пальцев слепого. Но если такая музыка, сама по себе, чудо, то тройное чудо — возможность артистизма без гамм, без спевки, без «притирания», как выразился Тенесси Уильямс (покрыв одним словом провалы, катастрофы, мертвые полосы любви — и победы веры над очевидностью). Ожидать от любовника всего с первого свидания — значит предполагать у него руки Кришны или Шивы. Их не было. И опять повторялась «низость любви».

Когда страстная натура слишком торопится к «вплотную-любви», обещание экстаза обманывает. Открытость бездне становится *наслаждением полета* в бездну (за которым — почти всегда — оскомина). Исчезает мысль о любимом, о *его* счастье, и нет любви-строительницы, неторопливой, как рост готического собора. Нет *разных* задач любви, обращенных к разным людям. Нет иерархии задач, никакой иерархии, все порывы — на одном уровне.

Я не знаю, что это — предопределение, рок или склад личности, — но в опыте Цветаевой не было сверхчувства и сверхзадачи, естественно, без насилия, покоряющей себе всё и — ничего не запрещая, все понимая — указывающей любому порыву его место в космосе любви. Может быть, виноват случай, влюбленность в прекрасные глаза Сережи, помешавшая развитию привязанности к Максимилиану Волошину, первому

равносущному, с которым она встретилась... Развитие души трудно проследить, и я не настаиваю на этом объяснении. Но итог бросается в глаза: из одной крайности к другой. Семья (долг без любви) — и хаос чувств. Космоса любви нет, есть только хаос, трагически противостоящий «миру мужей и жен»: «будут девками ваши дочери и поэтами сыновья». Факты иногда поражали и попадали в записи, но в теорию не влезали. Где в этой теории толстый банкир, ни разу не поцеловавший руки молодой красавицы и только говоривший ей: «живите, живите». В концепции его нет. Там либо заочность, либо «пропад».

Впрочем, я не совсем прав. Сверхчувство у Цветаевой было: в творчестве. За письменным столом приходило великое чувство меры (в «Крысолове» — ни одной лишней строчки). Приходила огромная строительная сила. И сама душа, с пером в руках, становилась стройной и цельной.

*Жить так, как пишу, образцово и сжато,  
Как Бог повелел и друзья не велят...*

Не думаю, чтобы виноваты были друзья. Едва прекращалось «дуновение вдохновения» — что-то в Цветаевой рушилось. С людьми — один раззор (были исключения, но редко). Какой-то водопад попыток понять себя, как целостность, как единство, — тут же рассыпающийся на мелкие брызги. Может быть, старость, когда глуше делаются внешние чувства и обостряется целостная сила духа, позволила бы утвердиться в точке покоя. Но старости у Цветаевой не было.

\* \* \*

«Я могу вести десять отношений, — пишет она Бахраху, — (хороши «отношения») сразу и каждого из глубины души уверять, что он — единственный. А малейшего поворота головы от себя — не терплю. Мне больно, понимаете? Я ободранный человек, а вы все в броне. У всех у вас искусство, общественность, дружба, развлечения, семья, долг, — у меня, на глубину, ни-че-го. Всё спадает, как кожа, а под кожей — живое мясо или огонь. Я Психея. Я ни в одну форму не умещаюсь, даже в наипростейшую своих стихов! Не могу жить. Всё не как у людей. Могу жить только во сне...»

Ибо во сне, в беспамятстве поэт ближе к полноте бытия. А без этой полноты — «ни-че-го». Всё, кроме экстаза, не имеет для Цветаевой ценности. Или экстаз — или (стиснув зубы) выполнение долга. Нужна Сереже. Нужна Але. Нужна Муру. И пока нужна — жила. А чувство нужности Богу, чувства Божьего замысла, заложенного в душу? Оно то появлялось, то исчезало, но никогда не стало прочным, каждодневным, направляющим жизнь.

Тому же Бахраху: «Счастье для Вас, что Вы меня не встретили. Вы бы измучились со мной и все-таки не перестали бы любить, потому что за это меня и любят! Вечной верности мы хотим от Пенелопы, а от Кармен —

только верный Дон Жуан в цене! Знаю я и этот соблазн: любить за бег и требовать (от Бога) покоя. Но у Вас есть нечто, что и у меня есть: взгляд ввысь: в звезды: там, где брошенная Ариадна...»

Чем больше, чем мучительнее хаос, тем сильнее порыв в целостность неба. Сивилла, выжжена... Ариадна, унесенная с ложа страстного — к Вакху. Свет, попирающий цвет, свет цветку пятою на грудь. И все звуки тонут в молчании куста. Рывок на снеговые вершины, где только Бог. Но нет способности удержаться на крутизне. Срыв. И — назад, во внутреннюю расколотость, в заброшенность (камчатским медведем без льдины), в сознание своего ничтожества на Земле, вырвавшееся в письме Родзевичу: «Вместо того, чтобы восхищаться иному во мне, сказали: «Ты еще живешь. Так нельзя», — и так действительно нельзя, потому что мое пресловутое «неумение жить» для меня — страдание. Другие поступали как эстеты: любовались, или как слабые: сочувствовали. Никто не пытался излечить. Обманывала моя сила в других мирах: сильный там — слабый — здесь. Люди поддерживали во мне мою раздвоенность. Это было жестоко. Нужно было или излечить — или убить. Вы меня просто полюбили...»

\* \* \*

Разорвав с Родзевичем, Цветаева пишет (Бахраху): «Милый друг, я очень несчастна. Я рассталась с тем, любя и любимая, в полный разгар любви, не надеясь на встречу. Разбив и его, и свою жизнь.

Это такое первое расставанье за жизнь, потому что любя, захотела всего: жизни, простой совместной жизни, то, о чем никогда «не догадывался» никто из меня любивших...

В любви есть, мой друг, любимые и любящие. И еще третье, редчайшее: любовники. Он был любовником любви. Начав любить с тех пор, как глаза открыла, говорю: такого не встречала. С ним была бы счастлива. Никогда об этом не думала!»

Не пытаюсь понять никаких отдельных мотивов разрыва, осознанных и неосознанных, скажу с совершенной верой в свою правоту: вся она, весь строй (или, лучше сказать, весь хаос) ее жизни противились счастью. Счастье — остановка, полная остановка во внешнем, прекращение поисков, найденный господин (которому будешь служить до конца. Счастливая любовь — служение, и нельзя служить сразу двум господам). Могла Марина Ивановна служить кому бы то ни было? И был ли Родзевич человеком, способным вызвать чувство служения?

Остановиться Марина Ивановна могла бы только в белом огне... Но здесь надо разъяснить, что Цветаева имела в виду, когда говорила о трех огнях (это из письма Пастернаку от 22 мая 1926 года): «Борис, я не знаю, что такое кощунство. Грех против величия, какого бы то ни было, потому что многих нет, есть одно. Все остальные — степени силы. Любовь! Может быть — степени огня? Огнь-ал (та, с розами, постельная), огнь-синь, огнь-бел. Белый (Бог) может быть *силой* бел, чистотой сгорания? Чистота. Которую я неизменно вижу черной линией (просто линией). То, что сгорает без пепла, — Бог. А от этих моих в пространствах огромные лоскутья

пепла. Это-то и есть “Молодец!”».

Про огонь-ал и огонь-бел всё сказано; а что такое огонь-синь? Куда летит — в конце поэмы — Маруся со своим молодцем? Первая моя мысль была — огонь творчества. Место его — как раз посередине между огнем алым (постельное, чувственное) и огнем белым. Но про творчество скорее в другой поэме, где и символика цвета другая: всадник, увлекающий поэта, — на красном коне. И в письме — не про творчество, а про любовь. Что же это за любовь? Которая как-то перекликается с творчеством? С цветаевским творчеством? («Борис, мне все равно, куда лететь» — хоть в пропасть). Вдруг, думая вовсе не о Цветаевой, я почти увидел, как человек может не спать ночами, прочитав книгу (или захваченный рождающимися стихами). Какая-то струна, затронутая звуками, словами, линиями и красками, трепещет так сильно, что остановиться уже не может. Книга отложена, но какой там сон! Сердце горит. Как в творчестве — когда образ приходит за образом. Или в любви. И вдруг понял то, что написал в начале этого текста: одна и та же струна откликается на музыку, живопись, слово — на взгляд — и на прикосновение рук. Музыка страсти и страсть музыки; это и есть огонь-синь. Захваченность духом без различения духов. Вихрь, способный донести до неба (синее, как лазорь) и до ада (где грешники горят синим пламенем).

Что-то подобное я чувствую в архаической духовности, — еще очень «синей», захватывающей, подхватывающей, без ясного различения добра и зла. «Душа хлыста и изувера» была бы там дома. А христианство — то притягивает, то отталкивает (в церкви: сперва восхищена и восхищена, потом скучает, потом рвется вон)... Видимо, отталкивал строгий чин, внешнее давление — устремиться в одном неуклонном, цельном порыве вверх (сам по себе этот порыв вовсе не был ей чужд).

Хотел бы я, чтобы Цветаева так и родилась белым огненным столпом, устремленным к небу? Нет, меня захватывает ее путь, ее сужающиеся круги вокруг белого огня. Чем ближе к центру, тем больше захватывает; но люблю и в раннем — предчувствия позднего. Люблю само кружение — и страстные ошибки люблю (за силу страсти — к вору, волку, Пугачеву). Примерно так я люблю Родиона Романовича Раскольникова. Чувствую в великом грехе великое покаяние, всю жизнь — при свете совести.

Открытость стихиям — это открытость жизни. Без нее мы «культур-продукты» (как выражалась Марина Ивановна), логические машины, запрограммированные нормами и ценностями культуры. Но еще выше — способность противостоять стихии. Стихийность — общее свойство всего живого, первая естественность, одинаковая у человека и собаки и с одинаковыми следствиями (наступишь на хвост — укусит). Но с человека есть Божий спрос и есть понятие греха (того, что отрывает от Бога; того, что делать нельзя, хотя собаке — можно). Уровень, на котором мы чувствуем голос Бога и понимаем грех — это вторая естественность (как выразилась Зина в нашей общей книге «Великие религии мира»). Открытость стихиям и точка покоя, где мы находим силу обуздывать стихии, внутренне связаны. Так, по крайней мере, в моем опыте. Чем

больше крепла во мне воля, укорененная в точке покоя, тем больше я опускал поводья разума и открывался чувству — куда бы оно ни вело. И сейчас я гораздо больше открыт неожиданному, чем полвека тому назад.

В моем уме и чувстве пробегают самые разные наплывы, а где-то внутри есть точка бесстрастия духа, с которой я оцениваю страстные односторонности и поддерживаю одно; не вмешиваясь, созерцаю другое; отвергаю третье... Волны любви, волны ненависти (в полемике) — они все время бьются о берег. Я не пытаюсь превратить душу в бесстрастное озеро, не умерщвляю плоть, не живу в постоянном волевом напряжении (это мешало бы чувствовать и понимать жизнь). Но в точке покоя коренится воля, которая принимает то, что обогащает любовь и не дает ее разрушить. Нечто вроде столба, к которому привязан был Одиссей, слушавший сирен, или, вернее, косяк, к которому прибита на крепких петлях дверь страстей (метафора Экхарта). Этот столб, этот косяк — не чувство долга (чувство долга у меня есть, но пониже). В центре — не долг, а дух, сверхчувство любви. Божья воля любви. Божья задача любви, мой духовный путь. И своеволие страстей надо мной не властно.

Что, однако, делать с людьми, которые устроены иначе? Которые открыты пению сирен, а мощного голоса, способного перепеть страсти, не слышат? Которых вихри опрокидывают, молнии сжигают? На Страшном суде я хотел бы быть их защитником, но я убежден, что им самим — пока они живы — до последнего дыхания — надо искать в себе самих точку покоя, прикосновение к белому огню. Божью волю.

В незаконченной повести Иры Муравьевой «Магдалена» есть несколько строк о «власти Неосознанного, Непредвиденного, которое может разметать в одну секунду все наши мудрые построения.

Оно приходит в спокойную, налаженную и даже, кажется, счастливую человеческую жизнь неизвестно откуда и вновь уходит туда.

Об этом написано во многих книгах, но надо самому почувствовать его силу, силу этого налетающего ветра.

Какие странные, неожиданные поступки иногда совершают люди! В них нет никакой логики, они могут иметь горестные последствия, но бывают минуты, когда разум и воля человека куда-то исчезают, рождаются в мощной волне Неосознанного, захлестнувшей его.

Представьте себе человека, довольного миром и собой, влюбленного в свою работу, погруженного в свои творческие сны наяву. У него светлая мастерская и несколько начатых холстов, у него уютная квартира, в которой его встречают весело и ласково. И вот однажды в этой квартире собираются его друзья, все говорят сразу, смеются, спорят, размахивая руками...

...Но кто-то вошел в переднюю — конечно, это запоздавший товарищ... Он идет его встречать с легкой шуткой, готовой сорваться с губ. И вдруг в полутьме он видит нестерпимо знакомую серую меховую шубку и большие укоризненные строгие глаза... Нет, ее здесь не может быть! — но это она, единственная, горько любимая, далекая, — скорее, скорее, ни о ком и ни о чем не думая, упасть на колени, остановить коротенькое, секундное,

сумасшедшее счастье... Он зовет ее, громко зовет по имени, бросается к ней — и падает, ударившись виском об угол сундука. ...И, очнувшись, наконец, он видит бледное застывшее лицо, слышит бесповоротное решение сегодня же оставить его, потому что теперь ей (жене героя) ясно, что он любит ту, другую... И со смертельной горечью он соображает, что ведь ничего не было, — так, бредовая секунда, прихоть неосознанного»...

Та же молния любви, бросившая Марусю к упырю. Тот же огонь- синь. Но правда ли всё это? Действительно ли человек, захваченный страстью, полностью лишен свободы воли? И что такое обморок Генриха<sup>88</sup>? «Так, бредовая секунда, прихоть неосознанного»? Тогда Женни (жена его) неправа. А упрек «больших укоризненных строгих глаз»? В чем — упрек? Что Генрих не заметил единственной большой любви, в которой только и могла бы сбиться его душа? — Тогда неосознанное право. Тогда неправ Аполлон (разум) и права стихия (Дионис). Тогда стихия творит высшую волю. И своеволие человека должно ей подчиниться, уступить место высшей воле (которая веет, где хочет — в том числе и в стихии, ломающей неудавшуюся семью). Но совсем другое дело — «бредовая секунда, прихоть неосознанного»... Мало ли прихотей у Диониса? Через прихоти разум (покорный той же высшей воле) вправе — обязан — переступить.

Была ли возможность разобраться, что к чему? Обморок... Так ли сразу он наступает? Иногда можно — на грани обморока — опустить глаза, взять себя в руки — и «бредовой секунды» нет. Была ли эта возможность у Генриха? Ира создала миф, который освобождал Генриха от ответственности. Потом она рассказа не продолжала (идея перестала увлекать ее)<sup>89</sup>. Мне кажется, очень много зависит от общей направленности воли, от установки на господство, владычество высшей силы или отсутствия такой установки, от согласия или несогласия быть листком, подхваченным ветром. Самый миг испытания слишком короток, и некогда подумать, но во мне слишком глубоко заложено нежелание уступать вихрю без борьбы... Впрочем, обморок — скорее болезнь, чем грех. Так падают тонкие, трепетные натуры, их падения могут быть темой для поэта, а не для проповедника, бичующего упадок нравов. Проповеднику следует молчать перед неразрешимым.

К сожалению, аскетические религии ставят примерно на один уровень страсть Паоло и Франчески и посещение публичного дома. Второе даже иногда считается меньшим грехом, потому что меньше захватывает<sup>90</sup>. Данте без колебания отправляет Паоло и Франческу в ад. И тут же падает без сознания — не в силах вынести своего приговора.

Историческое христианство знает только один огонь: белый. Все небелое, языческое сослано в ад, стало черным, и человек оказался перед

---

88 Один из персонажей в неопубликованной повести И. Муравьевой «Магдалена».

89 Ей хотелось оправдать человека, попавшего в несчастье, попавшего в плен к общим врагам.

90 К.С. Льюис считает скабрзности меньшим грехом, чем идеализацию любви (создание ложного кумира).

выбором: или небесный свет, или тьма ада. Из этого логически вышло иссушение плоти (а с нею и поэзии, и музыки, и всякого искусства, кроме богослужебного). Мы удивляемся неопитам, потерявшим чувство трагического; но ведь так же, в терминах «черное или белое», рассуждали ранние христиане. Все олимпийцы (и Аполлон, и Дионис) для них просто бесы. Тем, кто хочет спастись, предлагается власяница. А если власяница не по плечу? Если все равно гореть в аду? Тогда зачем отказываться от наслаждений?

Несколько веков подряд добродетель попирала, вместе с чувственной захваченностью, человеческое сердце. А потом пришел Фрейд и ту же схему вывернул наизнанку. Не реабилитация сердца — в котором шло движение от первой ко второй естественности, — а оправдание либидо. Массовая культура отвергла понятие греха; и раскованная естественность собаки отбросила человека до группового секса. А неопиты восстанавливают идею греха на средневековый манер, с такой же энергией полемики, как во времена Нерона.

Я принимаю наследие христианства (движение от ветхого Адама к новому), но с правом подумать, — в чем ранние христиане ошибались (это право подумать называлось в России новым религиозным сознанием). Я принимаю пафос борьбы с эпикурейцами и стоиками, считавшими возможным уйти от жизни просто потому, что надоело жить; но решительно отказываюсь считать смертным грехом самоубийство Матрешы, или Кроткой, или Офелии. Я признаю греховным огонь-ал (это естественность, но низшая, профанирующая любовь, и ради любви надо подняться над постельными розами). А огонь-синь? Это проблема. В нем всегда есть возможность греха — даже великого, — но и возможность великого блага. Я не боюсь синего огня. Это стихия, ждущая и жаждущая просветления, и мой опыт с Ирой был опытом просветления синевы (хотя без ясно поставленной задачи). И я вижу поиски этого же в метаниях Цветаевой (и всего Серебряного века). Они имеют в моих глазах религиозный смысл. Это не просто ошибки, которые должны быть исправлены, воцерковлены, хотя сплошь и рядом, все-таки, ошибки, и закрывать на это глаза не стоит.

\* \* \*

Экстатическая душа нелепа, немислима в обыденной жизни. Есть хасидская легенда о цадице Зусе, который никак не мог кончить школы. Когда учитель, читая Писание, называл имя Божье, Зуся восторженно повторял за ним: И рече Господь! (Как это на иврите? Допустим: мда- бер Элоим!). И вопил, вопил: мдабер Элоим! Пока его не выгнали из класса. Он шел в сарай или бродил по двору и продолжал вопить: И рече Господь! А учитель, мудрый Бер-Дов, выгнав Зусю, говорил ученикам, смеявшимся над юродивым: он понял всего одно слово; но если бы вы поняли хоть одно слово так, как он, — мне не надо было бы вас учить.

Душа Марины Ивановны начинала вопить от восторга с первого слова — и забывала все остальные. В ноябре 1917-го, в вагоне, она любила



Сережу до того, что готова была убить себя, если он погиб. Мысль о детях ее не останавливала. Пусть умрут вместе с ней. А потом забывала и Сережу. Каждый раз видела одного — полна была одним, — и ни о ком другом не думала. Характер этого одного не имел значения. Он дорисовывался так, как хотелось сердцу. А потом разум брал свое и срывал с вороны павлиньи перья. А потом брал свое долг, верность семье... Цветаева рвалась на части. В творчестве она могла остановить скач Медного Всадника; в жизни хаос побеждал. О.Е. Черновой она пишет: «Вы помните Катерину Ивановну из Достоевского? — Я. — Загнанная, озлобленная, негодующая, в каком-то исступлении самоуничтожения и обратного. Та же ненависть, обрушивающаяся на невинные головы. Весь мир для меня — квартирная хозяйка, Амалия Людвиговна, все виноваты. Но ярость чувства не замутняет здравости суждения, и это самое тяжелое. Чувствуя, как К.И., отзываясь на мир, как она, сужу его здраво, т.е. — никто не виноват, угли всегда пачкаются, вольно же мне их, минуя (из чистой ярости!) совок, брать руками. — И всегда жгутся. — Посему, чернота и ожоги рук моих — дело их же и нечего роптать».

Это метафора. А в другом случае прямо, без метафор: «Без любви мне все-таки на свете не жить, а вокруг все такие убожества!». И вот накручивала себя, создавала образ, как во «Флорентийских ночах», — а потом кричал петух, и призрак рассыпался в прах.

В «Проблемах жизни» Кришнамурти два или три раза описывает людей, отравленных экстазом. Они приходили к нему и спрашивали, — как еще раз это пережить? Потому что обычная жизнь от экстаза не выиграла, не приобрела новую глубину — какой-то волшебный подсвет, — а наоборот, вся вылиняла, словно мир наркомана, оставшегося без наркотика. Кришнамурти отвечал, что не надо ничего искать, нельзя ничего вернуть. Чем больше ищешь верховного наслаждения, тем дальше от него уходишь. Гляди без всякой мысли о цели в обычный рассвет, на дерево за окном до того, что красота начнет рождать красоту. Может быть, не ярко, не взрывом, опрокидывающим сознание, но будет. В России это же сказал Достоевский: разве можно видеть дерево и не быть счастливым?

Вглядываться в красоту мира, чувствовать рождение красоты в сердце — и как-то передать ее тем, кого любишь... Вот вся человеческая задача. Иногда скважина фонтанирует; но это совсем не обязательно; это просто знак, что нефть есть. Наше дело — качать нефть (смысл жизни), участвовать в Божьей работе (наполняющей жизнь смыслом), а сколько Бог пошлет нам радости — Его дело. Сколько пошлет, столько и примем. Пополом с горем.

Экстатические переживания бытия — страшное испытание. Я не разбился, потому что взлетел из любви и упал в любовь — и потому что не очень вдумывался в то, что случилось (одна из примет предопыта — отсутствие сдвига в сознании). Нечаянная радость в тысячу солнц, вот и всё. Додумывал — позже, год за годом, спокойно додумывал; а непосредственно все мои понятия и привычки остались на месте. Очень часто взлет кончается эпилепсией, инфарктом, какими-то другими, непонятными

болезнями (Зина физически разбилась, потому что руки любви ее не подхватили, новое преображенное сознание никем не было воспринято с полной силой и огонь сжег что-то в ней самой. А медицинского имени этому нет до сих пор). У Кириллова (в «Бесах») началось безумие. И в жизни бывает примерно то же: душа и тело, чувство и разум становятся трагически несовместимыми антиномиями. Аполлон не в силах справиться с взрывом, и хоровод менад мчит в беспамятство. Укротить их может только Единый, царящий над спорами языческих богов, рублевская гармония духа. К этому Богу Марина Цветаева рвалась — и подымалась, — но не умела сохранить печать его посвящения, вернувшись на землю. Страстные односторонности ее жизни соединялись только на миг, как бы ударом молнии, — и тут же снова рассыпались. Точки равновесия, точки бесстрастия духа она не познала, она пролетала ее, не останавливаясь. В чем-то Марина Ивановна, при всем своем презрении к XX веку, была его дочерью: не умела остановиться, затихнуть — и созерцать. Даже природа нужна была ей непременно новая (об этом — той же О.Е. Черновой). И так же точно — лирические собеседники.

Смерть Рильке на какое-то время вырвала из этого вихря. Поздние стихи Цветаевой — попытки войти в тишину, в ничто и сквозь *мистическую* смерть — в новую жизнь, к равносущному, бытие которого рассыпается в звездах. Но полного преображения не произошло. Слепая, безрассудная любовь к сыну мало чем отличалась от страстных увлечений молодости. И в конце — молчание. Два года творческого молчания, предшествовавшие Елабуге. С нарастающим чувством усталости, вырвавшимся в переводе Бодлера:

*Смерть! Старый капитан! В дорогу!  
Ставь ветрило!  
Нам скучен этот край! О смерть,  
Скорее в путь!  
Пусть небо и вода — куда черней чернила,  
Знай — тысячами солнц сияет наша грудь!  
Обманутым пловцам раскрой свои глубины!  
Мы жаждем, обзрев под солнцем всё, что есть,  
На дно твое нырнуть — Ад или Рай — едино! —  
В неведомую глубь — чтоб новое обрести!*

\* \* \*

Наша цивилизация гибнет от потери благоговения. Вера в букву предания глубоко расшатана. Кризис святыни в религии не менее глубок, чем кризис идеала в поэзии. Религия без поэзии и поэзия без религии одинаково неполны. Одна хранит правила, поминутно опровергаемые жизнью, другая создает идеалы, которые покоряют и увлекают, но один Бог знает, куда они влекут. И сердце само должно решить, какой идеал оно выберет, — а как решать?

Вспоминаю себя молодым, 18-20-летним, с упоением читающим

Пушкина. Стихи падали на мою замутненную душу, как елей. Я чувствовал со всех сторон смуты тьмы и набирался пушкинского света. И потом — только стихи и романы (Достоевского, Толстого) были моим просвещением. Тютчевские бездны. Тютчевское чувство мистического света. «Радость-страдание» Блока. «Забывтое слово» Мандельштама. Сквозь стихи (Цветаевой, Ахматовой) я полюбил Иру. В стихах нашел свою нравственную позицию:

*Быть знаменитым некрасиво.  
Не это подымает ввысь...*

Но ведь тот же Пушкин написал «Гавриилиаду», и она долго сбивала меня с толку (даже в 1960 г., в эссе «Язык богов», которое я потом забраковал). Водитель душ, заменивший преподобного Сергия и Николая Угодника, внутренне расколот. Его гармония — покров, сброшенный над бездной. Чем дальше, тем тоньше покров, тем очевиднее бездна. «Молитва» — и «Демон». «Проблеск» — и тупик мертвой природы («загадки нет и не было у ней»). Идеал Мадонны — и идеал содомский:

*Глаза, потупленные ниц,  
И сквозь опущенных ресниц  
Угрюмый, тусклый огонь желанья...*  
А Блок! Это уже не расколотовость, а груда осколков:

*Ночь, улица, фонарь, аптека...*

Декаданс принес болезненный вкус к отвратительному. Не только невозможность пройти мимо падали (как понял Бодлера Рильке), а застревание на отвратительном с некоторым сладострастием (описанным Достоевским в «Подполье»). И хотя великие это сладострастие преодолевают и возвышаются над ним и восстанавливают незыблемую скалу ценностей, но пушкинской легкости в служении красоте больше нет. Гармония достигается за счет сознательного отворачивания от бездн или глубина — за счет отказа от гармонии. На этом фоне можно понять и Цветаеву — как самый крайний случай одновременности (но не совпадения) крайностей.

Помню, меня потрясло, при первом чтении, году в 58-м, «Искусство при свете совести». Мы оба с Ирой почти задохнулись от этого открытого, поставленного перед каждым, вопроса. Искусство выше нравственности — это просто. Искусство не выдерживает нравственного суда — это тоже нехитро. Но Цветаева одновременно говорит и за Пушкина, и за Толстого. И выходит диалог двух великих принципов, от которого замирало сердце. Захватила красота: как будто мы на ареопаге, и одна половина — за Ореста, другая — за Эринний. Потом текст повернулся ко мне самому, как Книга, которую Аллах сунул неграмотному Мохаммеду и велел: читай! решай!

Вскоре я стал читать мистиков. Сперва — решительно адогматич-ных:

Сент-Экзюпери (я его воспринимаю в этом ряду), Кришнамурти, буддистов дзэнского толка. Потом узнал то же самое в другой оболочке: у Мейстера Экхарта, у Мартина Бубера, и наконец научился в самих догмах видеть запись мистического опыта. Положительная религия выступила передо мной как путь культуры, как великая традиция, которая, впрочем, вовсе не исключает поисков новых путей. Напротив, дело здесь обстоит так же, как в поэзии. Только то хорошо, что придает традиции новую, современную форму.

Во мне теперь сосуществуют *две* традиции: поэтическая и религиозная. И что-то возникает на перекрестке. Возможность отбирать в поэзии то, что ближе к *Духу* любви (и узнаванию духа). Не признавая своим образцом ни фиваидского пустытника, ни поэта, составляющего свой донжуанский список.

Можно ли с этой точки зрения свести концы, которые развела Марина Цветаева? Можно ли вместить в себя ее страсти — и ввести в рамки, которые порывы великой души все время переступают? Можно ли соединить горение сердца со строгой иерархией чувств?

То, что я написал, ничтожно по силе. Но в этих страничках есть какой-то шаг к пониманию, к самопониманию чувства, не ради заповедей, а по внутренней логике сердца. Я убежден, что опыт великих страстей и великих падений входит в наш опыт не для того, чтобы снова падать на том же самом месте. У Марины Цветаевой была великая отзывчивость к духу — и очень малая способность различать духов. Ее отзывчивость меня захватывала; а в понимании — следую самому себе.

Князь Шаховской (в монашестве — вл. Иоанн Сан-Францисский) писал: «Горячность Цветаевой видна даже в незначительных ее письмах. Она себя выражает почти безо всякой литературности, — тут ее сила и ее беззащитность. Такая «обнаженность души», какая была у ней, требовала ограждения себя чистыми силами духа. Марина Цветаева вряд ли отдавала себе в этом отчет. Во многом она была еще (со всей своей предельной честностью душевной) в плену у «душевных», «дионисических» сил. Думаю, в этом заключалась ее основная трудность жизни...».

Я люблю борьбу Цветаевой с этой трудностью, борьбу с самой собой, взлеты ее позднего творчества, попытки подняться на вершину духовной горы. Но не могу не видеть, что с грузом страстей (которые она пыталась сохранить) удержаться на вершине невозможно и все ее попытки трагически обречены. Не могу любоваться ее падениями и создавать кумир из полета — куда угодно (хоть в преисподнюю). Мне хочется сделать шаг — от хаоса к космосу, от пожаров, сжигающих стены дома и гаснущих, — к негасимому огню<sup>91</sup>.

## Глава 16

---

<sup>91</sup> Эти проблемы заново поднимаются через 15 лет, в 2001 году. См. последние три главы.

## Мышкинский счет

Откуда берется противотечение веры? Старая большевичка, к которой я зашел, рассказывала мне, что в сороковом году она вдруг испытала присутствие Бога, несшего ее как бы в темном облаке, высоко над землей. С товарищами своими она никогда об этом не говорила (атеизм вбит в них накрепко), но мне рассказала. Я дал ей почитать все свои философские работы; их она понимала, но «Школу молитвы» Антония Блума оттолкнула. Все церковное (даже такое живое, как проповеди вл. Антония) вызывало у нее отталкивание. И все-таки Бога она почувствовала.

Говорят, что советский опыт не имеет смысла. Мне трудно судить, стоила ли игра свеч. Но, по крайней мере, одну вещь он показал; и она, может быть, стоит миллионов свеч: религиозный опыт невозможно предотвратить. Он приходит к человеку, выросшему в строго атеистической семье, получившему коммунистическое воспитание, и в один час потрясает и убеждает его. Если бы все священные книги были бы сожжены и все храмы разрушены (примерно так, как это делалось в Албании), это нанесло бы огромный удар людям, теряющим искру Божью без раздувания мехами обрядов, без примера старших. Общий духовный уровень наверняка упал бы еще больше, чем сейчас, но врата ада не могут помешать прямому религиозному опыту, и из этого непременно возникла бы новая духовная жизнь, со своими заповедями и обрядами.

Сейчас многие молодые (и не очень молодые) люди учат меня и Зину коллективному разуму своей церкви. Это нередко интересно (в каждом поколении истина раскрывается заново, и яйца вправе учить курицу), но по большей части — довольно смешно. По крайней мере, — по отношению к Зине, испытавшей духовный переворот девятнадцати лет, в 1945 году, безо всякой поддержки традиции, безо всякого понимания окружающих (уже после перечла Евангелие и увидела, что это о том самом, а раньше заглядывала — и не понимала; и тогда ее никто, кроме двух ближайших подруг, не понял. Так и осталась, с протянутыми руками, которых никто не принимал. От этой невозможности передать свой опыт началась, быть может, ее болезнь).

Традиция — повитуха. Она знает, что такое роды, она может помочь родить, но сама она не рождает. Рождает душа, которая зачала, и если придет час, то без всякой помощи. Я не говорю — легко. Можно и умереть. Но все-таки роженица, а не повитуха приносит дитя в мир. Только глупая акушерка считает себя главным действующим лицом в рождении человека, и если младенец будет принят не ею, а ее конкуренткой, то роды как бы не состоявшимися. Или заранее уверена, что младенец, которому не дали ортодоксального шлепка по заду, вырастет уродом.

Трудно одному стоять в вере, это верно. До встречи с Зиной я легко терял нить духовной связи и долго не выходил на нее снова. Вторая пара глаз, глядящих в твою душу, — это рука, протянутая Богу,

пробивающемуся из царствия, которое внутри нас, в сознание. Поэтому, может быть, Христос сказал: где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я с ними. Но количество единоверцев, и древность веры, и богатство святоотеческих писаний — только внешняя поддержка духа. Во внутренней жизни они не решают. Нет ничего, что оправдывает гордыню вероисповедания. Знание студентки, выучившей учебник гинекологии и акушерства, — ничто перед знанием матери. Нет книги, способной заменить жизнь, и самое великое чужое откровение меньше, чем самое малое собственное. Только с помощью своего, малейшего из малых, откровения можно прочесть и Евангелие. Схимонах Силуан выразил это словами: «написанное Святым Духом можно прочесть только Святым Духом». А без откровения остается только палец, указующий на луну. Луну этот палец не заменит. И наоборот: если человек видит луну, ему не нужно указывать на луну пальцем:

*Свет мой разлившийся, — совесть моя, —  
Ты мой единственный в мире судья.  
Ты задаешь мне свой тяжкий вопрос:  
Всё ли вместила, что ты мне принес?  
Перед тобою держу я ответ,  
И между нами посредников нет.*

Если бы я вырос в известной общине, я бы не покидал ее, потому что дух веет, где хочет, — в том числе и в церкви, и в синагоге, но сознательно выбрать одну из школ... Я не встречал до сих пор общества или церкви, которая мыслила бы о себе так, как положено мыслить отдельному члену церкви, любуясь достоинствами других и сознавая все свои недостатки. Такой зримой церкви нет. И остается только незримая, которую очень трудно ощутить. Несравненно труднее, чем войти в каменный храм и следовать определенной школе молитвы. Мне очень много дали и иконы, и догматические постановления, но вера — это доверие к внутреннему человеку, который во мне самом, и когда он скрывается, заваленный заботами внешнего человека, то веры нет, и никакие символы, обряды, таинства, никакие усилия воли не способны ее заменить.

С тех пор, как я встретил Зину, мне в этом помогает она. Я с первого дня увидел и признал, что ее связи с внутренним человеком постояннее, крепче, глубже, чем у меня.

Это случилось летом 1960 года, через восемь месяцев после смерти Иры Муравьевой. Внутри меня было какое-то выжженное дупло, но я решил жить, решил продолжать то, что осталось от Иры во мне

самом (меня самого во мне тогда почти что не было). Случай привел к Алику Гинзбургу, собиравшему стихи неизвестных поэтов. У него дома царил светлый, веселый, беззаботный дух. Хотелось заходить еще и еще. И вот как-то раз женщина, которую я несколько раз видел в другом месте, молчаливой тенью в углу, — внезапно помолодев, с заблестевшими глазами стала уговаривать меня ехать, не откладывая, на станцию Отдых, к ее больной подруге, стихи которой мне непременно надо узнать и привезти Алику для четвертой тетрадки «Синтаксиса». Мы тут же сговорились, и в первый мой свободный день явились незванными на дачу.

Был конец июня. Цвел жасмин. Но женщина, пишущая стихи, вышла к нам в темном выцветшем платье, и вся она показалась мне какой-то сторевшей, старше меня (потом оказалось — моложе) и очень суровой (она очень плохо себя чувствовала, и суровый, почти мрачный огонь в глазах был от борьбы воли с болезнью). Стихи начала читать почти сразу, огонь в глазах, не теряя суровости, всё разгорался, его трудно было вынести. Седенькая мать суежилась, несколько раз приглашала обедать (она боялась, что чтение утомит Зину), но я от обеда отказался.

Почти первым было прочитано стихотворение «Бог кричал», потом — «Нерожденный Бог», и еще, и еще — до полуночи. Стихи были часто несовершенны, но они жгли меня.

Мне необходимо было все это. Чего-то самого главного я не мог почувствовать и поэтому не мог понять. А тут вдруг прямое прикосновение к тому, вокруг чего я кружился. Бог страдает вместе со мной, и каждая наша смерть — крестная жертва.

Сразу после смерти Иры, в конце 1959 года, я спрашивал у друзей Евангелие. Мне очень нужно было его перечитать. Я вспоминал обрывки страстей, как что-то, написанное про нас, обжигающее какой-то непостижимой правдой. Вспоминал смутно (когда-то читал Евангелие, но давно, раз иди два). Нового Завета тогда ни у кого не нашлось. Через несколько лет крестились, ходят теперь в церковь и соблюдают посты; но тогда у них Евангелия не было. По смутным воспоминаниям я чего-то не мог достроить даже внутренне, для самого себя; а внешне вовсе ничего не выходило. Один раз попытался пересказать мальчикам (сыновьям Иры) свое чувство, но, видимо, оно в слова совершенно не уложилось. Володя и Лёдик глядели на меня недоумевающими глазами. А между тем, я несомненно чувствовал смерть Иры как одно из подобий крестной смерти и ждал какого-то воскресения. Потом евангельские образы отступили назад, в полутьму, но там они продолжали жить и ждать своего часа. И вдруг это Зинино стихотворение...

Зина рассказывала мне потом, как она его написала. Шла домой после очередного выпрашивания работы. И вдруг почувствовала, что это не ее бьют. Что в каждом униженном человеке бьют Бога. Что Его незащищенность каким-то образом становится ее защитой. Что крик в ее душе замолкает, и она начинает слышать Его крик. И сразу нахлынула вся боль двух лет по больницам, и тоска последней просьбы забрать ее домой умирать дома, и еще три лежачих года дома, и все муки, продолжавшиеся

потом, когда она начала учиться ходить и заново писать стихи (она всё забыла в эти пять лет), и ежедневные муки теперь, когда она научилась скрывать свою подвешенность на дыбе, — и всё это смыло одним противотечением веры. И все вопросы смыло Божьим вопросом.

Я этого не знал. Но я почувствовал Его умирающим вместе с Ирой и со мною после ее смерти и воскресавшим вместе со мной на ее могиле, и воскресавшим во мне — и потом только лучше понимал то, что тогда почувствовал, когда читал у Экхарта: рыцарь не сознает своих ран, если ранен король; и у Бубера: в каждом человеке совершается судьба Бога... Всё это было нелегко понять и еще труднее не забывать, помнить каждый день, каждую минуту. Я здесь еще очень немногого достиг. Но я получил толчок, я получил откровение о совершенной нищете, незащищенности всемогущего Бога, всемогущего только через наш свободный сердечный выбор; я потом сразу понял, прочитав, что Богу надо помочь. Я плохо помогаю Богу, но я понял, что это нужно. И всё это было в Зинином стихотворении, хотя оно было не совсем ловко написано (первая, затерявшаяся редакция была совсем неловкой), и у нее есть гораздо лучшие стихи. И много есть других прекрасных духовных стихов. Но в этом стихе записалось то, как Бог посетил меня, прошел через меня.

Для других через сердце пройдут другие стихи. Но все-таки пусть они знают и эти, как знают голос из бури, пересекшей стенания Иова. Какие-то слова (не все ли равно, какие?) смывают все наши вопросы. Какое-то противотечение, непонятно какой духовной природы, подхватывает вас и подымает над всеми нашими вопросами, и в этом противотечении мы забываем свою боль и свои обиды. Человеческие крики рвут мир на части. Божий крик собирает нас вместе, на общее дело любви. Нет больше страданий, взывающих о правосудии. Нет больше жажды справедливого суда. Не судите, да не судимы будете. И в общем деле любви (не в собирании костей Адама, а в помощи живому Богу) страдание становится радостью.

*Ты навек земле оставил  
Свой последний страшный стон.  
Авель, Авель, где мой Авель?  
Каин, Каин, где твой сон?*

*Вас одно вскормило лоно,  
Вы одной объаты тьмой.  
Каин, Каин, мой бессонный...  
Авель, Авель, спящий мой...  
В царстве тайн, в ничем, в тумане  
Тонет боль и тонет страх.  
Спит земля на Божьей длани,  
Как младенец на руках.*

*Если б все ночные вопли Стихли в*



*этой сизой мгле!..  
Помоги, мой сын усопший,  
Всем бессонным на земле!*

*Ради матери скорбящей Встань  
над слезною рекой,  
Возврати их в царство спящих,  
Беспокойных успокой.*

*Сердце надвое разъято,  
Зримый мир для сердца мал.  
Помолись со мной за брата,  
Чтобы он тебя узнал...*

*Из поэмы З.М. «Чужие сны»*

В том, что пишет Зина, пересекается несколько идей-образов, каждая из которых по отдельности много раз осознавалась. Часы иконной красоты в природе. Непостижимо глубокие закатные лучи, обнимающие предметы единым покровом, свет — вожатый, ведущий глаз туда, к центру Бытия, — куда Он смотрит, — «по лучу»; свет-дирижер, управляющий богослужением заката и зари; литургия света, вобранная в глаза икон и глядящая оттуда, изнутри, напряженность созерцания, граничащая со смертью, не допускающая обрыва, как не допускают его объятия, пока свет полностью не обновит и не воскресит душу. ...Вот, примерно, что сказано в одном стихотворении, которое у меня будит еще совершенно живое воспоминание о вечере на Балтике лет десять тому назад<sup>92</sup>: последние лучи на вершинах сосен; выход в море через дюны; садящееся солнце, медленно разгорающееся, и еще медленнее догорающая заря, и первые звезды...

*Вот он звучит, тишайший в мире рог —  
Беззвучный гром, что, мира не нарушив,  
Вдруг отзывает ото всех дорог,  
Из тела вон выманивает душу.  
Когда тот гром, тот рог тебя настиг,  
Он протрубил: готовься к предстоянью.  
Сейчас наступит вождеденный миг,  
Века обетованного свиданья.*

*Сейчас. Сей час. Все глубже, внутрь, в упор.  
И — собран дух. Аз есмь! И вот тогда-то  
Выходишь ты в торжественный  
простор,*

---

<sup>92</sup> Этот текст написан в 1978 г. — за пять лет до замысла «Записок». Отсюда некоторые повторения, которые мне не хочется устранять.

*В великую расправленность заката.*

*И тянутся объятия зари,  
И в этом нескончаемом полете —  
Единый возглас: Господи, бери!  
О, убыль мира, истончение плоти!*

*И Он тебя воистину берет,  
Тот, кто насыщней воздуха и хлеба,  
И длится нисхождение высот,  
Земле на грудь прикинувшее небо.*

*И после полной близости, такой  
Пронзительно мгновенной и бессрочной,  
Приходит тот прозрачайший покой,  
Какой бывает только летней ночью.*

*Хрустальный час. Он бережно принес  
Желанный отдых. В тишине высокой  
Дрожат крупинки благодарных слез,  
Не пролитых из замершего ока.*

Через несколько лет другой клубок впечатлений (по сути тех же, но в другом ладу — более тихом; в музыке это было бы минором) — сложился в «Лунную дорогу», сперва как бы облитуя печалью, как лунным светом, тихую, почти призрачную, а потом, вдруг, как бы с перевала, открывающую глазам безграничную широту и полноту жизни, с высшей точки, в которой путь (кремнистый и суровый) переходит в полет; и прожитая жизнь окидывается одним взглядом:

## I

*Лунная дорога —  
Сердца тайный путь...  
Помолитесь Богу,  
Прежде чем уснуть.  
Помолитесь просто В  
полночи пустой Тишиною  
роста,  
Сосен высотой;*

*Полнотою плача —  
С сердца снят засов.  
Час молитвы: значит,  
Больше нет часов.*

*Дух нагой и сирый, —  
Вянье пустот.  
Неподвижность мира,  
Время не течет.*

*Тайный ход подслушан  
Линий мировых,  
И втекают души Внутрь  
себя самих.*

*Лунною дорогой В одинокий  
путь...  
Дозовись до Бога И про всё  
забуди.*

## II

*Дозовись до Бога,  
И в груди тогда Отгудит  
тревога, Отстучит беда.*

*В тишине хрустальной  
Сквозь пространство, вдруг  
Одиночный, дальний  
Донесется звук.*

*Точно Бог потрогал  
Мировую гладь...  
Помолитесь Богу,  
Прежде чем зачать.*

*Трепетные тени,  
Даль обнажена.  
Прежде всех свершений  
Будет тишина.  
Кровь вздыхает глухо,  
Смолкла, замерла.  
И Святого Духа  
Плещутся крыла...*

Мы с радостью прочли потом у Исаака Сирина свою собственную мысль: просить у Бога земного — все равно, что выпрашивать у царя навоз. В счастливые минуты созерцания (наподобие тех, которые отобразились в «Лунной дороге») предмет молитвы совсем исчезает. Остается молитва ни о чем:

*Вот оно — знакомый наизусть  
Мягкий плеск, облитый серебром.  
Ничего, и я ему молюсь  
Ни о чем.  
Ни на небе и ни на воде,  
Ни в далекой линии огня —  
Ничего, разлитое везде.  
Ничего, входящее в меня.  
И без слова, без конца, без сна,  
С сердцем, точно растворенный дом,  
Я молюсь, как тихая сосна,  
Ни о чем.*

Всё это, наверное, повторялось сотни и тысячи раз. Наше кажущееся движение вперед — только вечное кружение вокруг Бога, вечное возвращение. И многие Зинины мотивы я находил в книгах и показывал ей ее предков. Но зачем искать другое, если это есть сейчас? Один друг, ставший католиком, сказал, что мы превращаем свой дом в церковь. Это казалось ему плохо; а по-моему, хорошо. Ведь на планете Смешного человека не было храмов. Хватало созерцания заходящего солнца, встающего солнца, гор, облитых «воздушным стеклом». И это безо всяких соборов становилось обрядом, как любование цветущими вишнями в Японии. Душевно полная жизнь обрывает обрядами, как всякая жизнь — привычками бытия. По старой тропе радостно пройти еще и еще, входя в праведный ритм... Но свет не запретил прокладывать новые тропы.

Полное жизнью сердце не может в какие-то часы не покоряться ритму морских волн, солнечных бликов, лесных вершин, желтых листьев, сдираемых ветром осени. В этой покорности сердце зачинает от духа, разлитого в природе, и рождает свое: искусство и обряд, и в них сознает Бога и принимает свой жребий: быть Божьим сыном и Божьей жертвой.

Деревья, облака, «горы и воды» (как китайцы называют пейзаж) — бессознательные воплощения Бога. Человек — воплощение, способное себя осознать. Но таким он только задуман; каждая наша жизнь, каждый день, каждая минута — попытка Бога воплотиться. Каждая человеческая судьба — судьба Бога. Бог вездесущ — и всераспят, всезадушен судорогами страстей и вялой тяжестью жизни, инерции, заслонившей живую жизнь. В этих судорогах, под этой тяжестью человек теряет душу, теряет Бога и начинает перестраивать Божий мир по законам чистого разума. И тогда начинаются споры, и ненависть, и несправедливость, и жажда справедливого суда. И Каин, возжаждав справедливости, убивает Авеля. А Бог не судит извне. Он во всех и всех принимает с любовью. Даже Каина. Если Каин найдет силу увидеть в себе Бога и повернуться извне вовнутрь. Бог требует одного: дать Ему дорогу:

*Чтоб исчезло все чужое.  
Жизнь едина — общий ток.*

*Сердцу снится запах хвои,  
Синим соснам снится Бог.*

*Тайна жизни — птица ночи —  
Крылья легкие расправь!  
Тихий сон, смежи нам очи,  
Чтобы сердцу видеть явь...*

*«Чужие сны»*

Зинин мир открыл мне внутреннюю дверь, в которую я уходил, когда наступало безвременье, и снова выходил, когда чувствовал, что дух времени меня позвал. В ее мире я освобождаюсь от жажды справедливости и от злости, которую вызывает борьба за добро. Я перестал связывать свое счастье со взлетами общественной активности и несчастье — с гниением времени. Пусть гниет то, что должно сгнить. Когда придет час, оно упадет и рассыплется, а то, что живо, пробьет себе дорогу. Пока сдвиги идут в тиши, дух отпущен для своей внутренней жизни, и она может быть глубокой и плодотворной, не выходя на арену истории. В семидесятые годы в Москве было то-то, и то-то, и то-то. И еще была Зинина елка, Зинины сказки, Зинины стихи, в которых за зимой — весна, за весной — лето, за летом — осень. И все равно, какой год от Р.Х. и какое тысячелетие. Время, перестав рваться в будущее, замыкается в круг и ввинчивается в вечность.

Прошло больше двадцати лет с тех пор, как я вошел в этот круг. Маленькая девочка на пляже объясняла мне: вы не старые, вы пожилые. Но это неправда, я стар. Правда другое:

*Час безмолвия.  
Взгляд во взгляд.  
Сердце полное —  
Вот и свят.  
Сердце полное —  
Собран свет.  
Вспышка молнии:  
Смерти нет.*

*Дрожь хрусталинки —  
Свет лица.  
В капле маленькой —  
Все солнца.*

*У предела я.  
Тишина.  
Жизнь всецелая  
Вмещена.*

*И не может  
быть Впередь  
полней.  
Чаша Божия —  
На, испей!*

В старости есть свое горение сердца, свое вдохновение. Деревья чем старше, тем прекраснее. И от людей старость требует стать прекрасными, как деревья. И умереть, как дерево, стоя.

*...Старость — это Рим, который  
Взамен турусов и колес Не читки  
требует с актера,  
А полной гибели всерьез.  
Когда строку диктует чувство,  
Оно на сцену идет раба...*

*Б. Пастернак*

Оболочка тела ссыхается, и из растрескавшейся шелухи падают зерна духа. Моя суть, мое Я уже не в плоти, а в том, что прорастает из нее, что растет из моей смерти.

Князь Мышкин рассказывает о человеке, пережившем четверть часа перед казнью. В каждую минуту он чувствовал свет, цвет, жизнь так, как никогда прежде. И думал, что если бы помиловали его, то жил бы иначе, «каждую минуту бы счетом считал». Но его помиловали, а он опять терял минуты, часы, дни и целую жизнь, может быть, потерял. Старость — это смертный приговор в кармане, и солнечный день — фельдъегерь с помилованием. Бывают в старости минуты удивительно глубокого созерцания. Больной Мышкин, пробившийся к недолгому, хрупкому здоровью, знал это, когда говорил: нельзя видеть дерево и не быть счастливым.

Старость — клубок болезней. И своего рода выздоровление от болезни. Время в нас задыхается, кончается. Яснее, осязаемее, осязаемее вечность. В каждой травинке старость, вглядываясь, вслушиваясь, находит корешок в вечность. Старость не торопится. В медлительности, с которой она греет свои кости на солнышке, есть движение в глубину. Было время созревания тела. Было время созревания души. И есть время созревания духа. Мысль, жившая в листьях и в цветах, начинает жить в плоде.

*...Птиц и листьев медленная стая...  
Помолчи, подумай, не спеши.  
Время смерти — осень золотая,  
Время созревания души.*

*Где она, душа моя ? В природе —*

*В поле, в ветре — только не в судьбе,  
Та, что так свободно переходит  
От меня к березе и к тебе.*

*Вот она — косым дымком над крышей,  
Золотая, тонкая струя.  
Та, которой всё на свете дышит,  
И что только на часок — моя...*

Душа созрела, начинает созревать дух. Созреет ли он до конца? Не знаю. В ком-то созреет. Кто-то будет смотреть в огонь и видеть, как сгорает мякина бытия и в языках пламени взлетает то, что должно вознестись, что принадлежит вечности. Пусть то, что должно сгореть, сгорит. Я бросаю его в огонь.

Пусть сгорит моя суета. Суета рассудка, вертящегося вхолостую по кругам памяти. Суета прислушивания к недугам больного тела. Умирающий Луначарский говорил: «Больной человек ближе к своему телу, и именно больному телу». Это правда (для него). Но у Достоевского была и другая правда. Одно и то же состояние оборачивается то суетой, то тишиной. Куда спешить? Чего бояться? Осталось ведь только то, что все равно свершится.

Чувствуешь себя плодом, готовым упасть. Может быть, завтра. А может быть, еще несколько солнечных дней, чтобы набраться сладости, чтобы вернуть Богу стихший дух. Еще несколько лет... Ну, тогда увижу еще что-то и напишу еще что-то. Из того, что задумал, но не успел. И из того, что приходит вдруг, неожиданно и нежданно. Человек с приговором в кармане не перестает дышать. И я не перестану. То, что я пишу, — мое дыхание.

Счастливый принц, увидев старость, болезнь и смерть, стал Буддой. Мне бесконечно далеко до этого, и все же я для этого именно живу. Для того чтобы кто-то, получив толчок от меня, передал его другому, и в конце концов кто-то, кружащийся вместе с нами, вдруг остановится в центре круга. Он поймет меня лучше, чем я сам себя понимаю. Он поймет всё. Даже если не прочтает, не увидит ни одной моей строчки.

В юности я очень любил стихотворение Николая Бараташвили «Мерани» в переводе Лозинского:

*Твоей дорогой мой брат грядущий  
промчится, смелый, быстрее меня,  
И поровнявшись с судьбиной черной,  
смеясь, обгонит ее коня...*

Сейчас я тише, спокойнее думаю об этом. Молодые стихи Бараташвили звучат для меня слишком громко. В лад с сердцем я слышу тихие стихи Зины:

*Облетают листья,  
В желтых пятнах сад.  
Золотые кисти На ветру  
орожат. Облетают  
жизни, Вздрогнула — и  
нет, Только все  
недвижней И блаженней  
свет.  
Что ж он торжествует,  
Словно Сам Господь,  
Потеряв живую  
Трепетную плоть?  
Точно в день осенний  
Празднуют листья  
Радость отречения,  
Счастье нищеты.  
Дрожь листов и веток...  
Жизнь тонка, как нить.  
Только б хрупкость эту  
Мне благословить!*

Время замыкается в круг, и всё, что обрывается, непрерывно. Бог рождается, страдает и умирает в каждой живой клетке и, умирая, возвращается к Себе. И в Себе хранит их.

Живая жизнь — всегда противотечение. Дух любви творит мир, в котором разорванность и раздор, — чтобы из глубины разорванности и раздора, светом из тьмы вознестись снова. Юность — это мятеж. Но к старцу Аврааму и старухе Сарре приходят три тихих ангела. И мы видим воочию, что это значит — Противотечение, замкнутое в круг.

#### Глава 17

### После падения Ваала

В 1985 году я начавшихся перемен не заметил. Газет не читал, радио не слушал, телевизор включал — посмотреть балет. Потом врезался в сознание Чернобыль и катастрофа прогулочного корабля, со множеством жертв, в Черном море. Начавшиеся либеральные монологи показали дымовой завесой, попыткой отвлечь внимание от факта, который можно было описать в строго марксистских терминах: «производительные силы (атомная энергия) восстали против советских производственных отношений»<sup>93</sup>. Либеральная суета шла без Сахарова, без возвращения

---

<sup>93</sup> Боюсь, не только советских. Многое — от русской беспечности, которую я так любил на войне.



диссидентов из лагерей и психушек, на фоне нескончаемой войны в Афганистане. Участвовать в этой возне не хотелось... Но «Записки» были кончены, и я стал писать, как мои проблемы решают молодые друзья. Некоторых я просто назвал условными именами, другие персонажи возникли из двух-трех прототипов; стали складываться отношения, диалоги. Кое-что брал буквально из писем и рассказов (сны Ани, сны Арсения: бывают в жизни — не только в литературе — удивительно художественные сны). Так возникла повесть-не повесть, сам не знаю, как это назвать: «Остановите Настасью Филипповну!». Я стоял спиной к начавшейся перестройке и думал о своем.

Поколелбал меня Саша Кауфман (будущий Александр Давыдов). Не доказательствами, он, кажется, и не доказывал ничего, просто высказал свое чувство, свою интуицию начинавшихся перемен. Он так убедительно передавал в своей прозе ауру безвременья, безличности, что я не ждал от него ничего другого, и его чувство перемены заставило меня насторожиться. Я вспомнил, как однажды, в 1960 г., яйца уже научили курицу. Этот эпизод я описывал в главе «Корзина цветов нобелевскому лауреату». Теперь снова молодой ум, не загроможденный старым опытом, что-то мог оценить вернее. Опыт не всегда раскрывает глаза. Иногда он их закрывает.

Стоит остановиться и привести еще один пример: Александр Мень очень долго не верил в перестройку. Да как мог он поверить, когда в 1986 г. его еще мучили вызовами в ГБ и фельетонами в «Труде» и добивались заявления в печати...

Не всегда за битого стоит дать двух небитых. Иногда небитый рассуждает правильнее. Старые кости предсказывают непогоду перед каждым дождиком. Когда Наум Коржавин решил уехать на Запад, это решили за него его ушибы: куда угодно, но только подальше от лагерей. Я вроде бы преодолел «синдром повторника», я понял этот механизм еще на фронте, пережив полчаса отчаянного страха; я научился отделять волну страха от опасности; и все-таки на моих оценках сказывался тягостный опыт. Не верилось, что те же люди могут начать совершенно другую политику<sup>94</sup>. Теоретически я это допускал и даже отстаивал в полемике с Солженицыным, а верить — не верил...

Помедлив, я решил, что начну печататься, когда вернут в Москву Сахарова. Вернули — в декабре 86-го; тут же, в начале января 87-го, сотрудница «Века XX» позвонила с предложением написать статью.

«Риск надежды» понравился, но редактор, Александр Беляев, получил нахлобучку за статью Глеба Павловского и позвонил с просьбой подождать, не снимать его с работы. Я ждал, ждал — прошло несколько месяцев — и в конце концов отдал статью Сергею Григорьянцу, который тоже приглашал меня, в свою полулегальную «Гласность». Беляев обиделся; прошло года два, пока он забыл свою обиду, и в 89,90,91-м я

---

<sup>94</sup> Она и не оказалась *совершенно* другой, и администрация президента заменила ЦК. Но старая идея умерла даже у тех, кто правил ее милостью.

много печатался у него, но это было уже после первых публикаций 88-го в «Искусстве кино». Весь 87-й я печатался только у Григорьянца. Официальные журналы и газеты с трудом забывали черный список. Даже в 1990-м редактор «Советской культуры» сказал, что имя Померанца не должно появляться в партийной печати. И вычеркнул несколько строк (изложение моих слов) в репортаже о вечере памяти Александра Меня.

Оставалась возможность устной речи. Но андроповские гонения на самиздат прервали традицию, в печати меня не упоминали 12 лет, ссылки на научные статьи были запрещены, и для президиума собраний я был никто. Записываюсь в прениях — фамилию мою не знают, перепутывают, каждый раз я среди тех, до кого не дошла очередь.

Меня захватила игра: в 70 лет начать всё заново, пробиться сквозь забвение, поглотившее самиздат, начать с людьми, не читавшими ни «Нравственного облика исторической личности», ни «Снов земли», ни опытов о Достоевском. Один раз я уже начал с нуля, в 1964—1965 гг.; тогда были свои трудности, теперь — другие: либеральные общие места выкрикивались на всех углах (храбрости это не требовало), и в общем шуме мой голос казался тихим и незаметным. Только когда волшебные слова были сотни раз сказаны вслух и сезам не открылся, публика стала ценить «нестандартность» мысли.

Термин «нестандартный» — чисто отрицательный. Нестандартно мыслит и Зиновьев, и Лимонов. Они переворачивают общие места наизнанку, я таких вещей не делаю. Я просто, смотрю на вещи без захваченности одной стороной в ущерб другим и без потери глубины. Но характеристика «нестандартная» к моей мысли прилипла, и в положениях, когда прямолинейная мысль попадала в тупик, это нравилось. Кажется, особенно после статьи «Надгробное слово империи». Потом (если я правильно уловил перемену) интерес снова несколько упал. Вышло на первый план формирование партий, поиски партийных знамен, а незахваченное беспартийно. Я с 16 лет полюбил слова Стендаля: «Каждая партия может считать его (автора) членом партии своих врагов». У меня нет в запасе готового способа, как в короткий срок выбраться из воронки. Напротив, я убеждаю привыкнуть к неудачам, привыкнуть к хаосу, научиться действовать в разваливающемся мире, найти каждому спасителя в самом себе. Это не увлекает.

Несколько позже, чем доступ к изобретению Гутенберга, состоялось мое открытие Запада. Я нигде не служил, не состоял ни в какой организации, и приглашения на конференции не признавались действительными. Частное лицо могло выехать только по частному приглашению. А они оформлялись медленно, и я не поспевал. Так мне не удалось поехать в Лондон, в Хельсинки и в Неаполь. Потом друзья из журнала «Искусство кино» оформили мне покровительство Союза кинематографистов, и в декабре 1990-го я полетел в Висбаден. Слава Богу, не один. В Шереметьеве я совершенно потерялся и брел за профессором Этингером, как теленок за коровой. И с немцами не сразу разговорился. Только на третий день немецкие слова и грамматические формы вдруг

ползли у меня на язык (я как-то физически чувствовал это движение затылком).

В других странах я был вовсе без языка. В свободные часы, когда конференция по Солженицыну в Неаполе (сентябрь 1991-го) еще не началась, я не решался бродить по улицам, боялся потеряться. С международным языком — английским — дело шло плохо. До сих пор не понимаю англичан или американцев. Понимаю французов, итальянцев, говорящих по-английски, но не тех, для кого этот язык родной.

Сам я разговорился в состоянии стресса, в 1992-м, захав вместо Ферми в Формию. Я плохо расслышал по телефону, как называется городок, где состоится colloquio, — надеялся, что встретят и повезут. Потом стал сомневаться, встретят ли. Синьор Битуни, администратор colloquio, оттягивал перевод денег на билет; он явно пытался сорвать приглашение неизвестного лица на colloquio звезд. Потом перевел — в самый последний день — после скандала, устроенного профессором Страда. Таня из посольства предупредила меня, что могут не встретить. Тут-то я стал вспоминать название города — и заколебался. Таня никакого Форми или Ферми не знала, но как-то побывала в Формии и сказала, что ехать надо в Формию. Даже дорогу объяснила, и когда в аэропорту Леонардо да Винчи в самом деле никто меня не встретил, я храбро решил, что доберусь сам. Кое-как, напрягая свое знание английского в разговорах с прохожими, знавшими по-английски несколько слов, с двумя пересадками добрался до Формии. Лил дождь. Хотелось спать. По-московски было около двух часов ночи. Я упрямил железнодорожную полицию позвонить в пару мест — никто

там, естественно, ничего не знал. Пришлось в привокзальном отеле снять комнату на ночь — слава Богу, дешевую (лир у меня было мало).

Утром пошел пешком искать мэрию (авось, там знают), но как назвать мэрию — ни по-итальянски, ни по-английски не знал и ничего не нашел. В полиции мне предлагали заполнить по-английски листок о похищенных вещах. Такие бланки у них были. Словарь полицейских сводился к профессиональным терминам: чемодан, сумка, кража. Названия конференции — «Корни будущего» — они не понимали. В конце концов, один из полицейских посоветовал обратиться в бюро по обслуживанию туристов. Там говорили по-английски. Я обрадовался, словно домой попал. Двум синьорам и одной синьоре решительно нечего было делать, еще не сезон (апрель), никто не купается, а в Формии, если не купаться, туристам делать нечего. Сотрудники бюро приняли во мне живейшее участие, обзвонили всё, что можно, в Формии, а потом, по моей просьбе, дозвонились до министерства в Риме. Скоро сказка сказывается, но синьор уже изнемогал, я отчаялся, на него глядя, и попросил бросить поиски, не судьба, вернусь на оставшиеся лиры в Рим, билет обратный есть; пошел назад в гостиницу — и тут подъезжает синьора из бюро в черной блестящей автомашине, сияя своими черными блестящими глазами, и из ада я попал в рай... Связь с colloquioм установлена, велено ехать в Ферми на такси.

Такси в Италии — это 50 долларов из центра Рима в аэропорт, путешествие поперек итальянского сапога — несколько сот, у меня нет таких денег. Ничего, мол, они всё оплатят. В Ферми были счастливы, что пропавший русский профессор нашелся. Девушка, поехавшая меня встречать, запуталась ночью в горах (синьор Битуни сам не удосужился), опоздала часа на два и вернулась ни с чем. Страда опасался, что я с моим незнанием языка, повторяя фамилии Битуни (звучит почти как битуми, дорожное покрытие) и Страда (дорога), попаду в сумасшедший дом. На радостях, что я нашелся, администрация не поспешила. Мчусь на такси назад, в Рим, на кольцевую дорогу, где таксист получил свою мзду, а меня повезла дальше машина из Министерства культурных ценностей (в Италии нет министерства *культуры*, государство управляет только *ценностями культуры*). Через два часа приехали, остановились около телефона. Кольцевая вся уставлена площадками для телефонной связи. Сижу, люблюсь цветами (в Италии все уже цвело). Через 20 минут мчусь дальше, через горы. Началась гроза. Снежные горы, потоки ливня, объезды, машина по оси в воде... Красота неописуемая. И все-таки я поспел — к шести вечера — и прочел в отрывках свой доклад. Даже выступил в прениях (переводили Витторио и Клара Страда). А наутро, по совету Клары, я избрал самостоятельный маршрут с остановкой во Флоренции и ночевкой в Риме. Я больше не боялся ехать сам.

До Болоньи ехал в машине, увозившей домой профессора Гадаме-ра. Сперва ехали молча, но у поворота на Равенну из моей памяти вырвались стихи Блока. Я стал читать вслух с переводом на немецкий.

Завязался разговор о переводах Блока, переводах Рильке на русский, Лермонтова на немецкий (Рильке очень хорошо перевел «Выхожу один я на дорогу»). На коллоквиуме я не улавливал реплик Гадамера, он из вежливости переходил на французский, возражая французу, и на итальянский, возражая итальянцу. С итальянского Клара бы мне перевела, но Гадамер шамкал. Ему было за 90... В машине мы разговорились. Гадамер пересказал слова своего учителя, Хайдеггера, что ближайшее столетие — роковое: или дух Европы переменится, или всё погибнет. Примерно так и я думаю (хотя надеюсь, что обойдется). Приехав в Москву, я достал одну из книг Гадамера, изданную по-русски, и продолжил мысленный разговор с ним и его учителем...

На разных конференциях я встречал и европейский ум, и европейское самодовольство, и европейское выпендривание; глубинное попадалось редко, но вряд ли реже, чем у нас. На Западе есть своя духовность, не исчезла она, и я слышал ее и в разговоре с Гадамером, и в музыке Пьера Булеза, и в фильме «Все утра мира», на концертах в барселонских храмах... В тишине продолжается духовный поиск, параллельный русскому. Мне кажется, ему не хватает того же, что и русской философии: выхода за рамки средиземноморской культуры (во всех ее вариантах), диалога с Востоком. Мне кажется, что в одиночестве и постлатинский мир, и поствизантийский не найдут духовных ресурсов для поворота. Мне кажется, что усложненность языка немецкой глубинной философии связана

не только с особенностями немецкого языка, но и с необходимостью докапываться, в поисках целостного, до очень архаических пластов досократовской Греции, тогда как в Индии и на Дальнем Востоке это сегодняшней день, очень разнообразно и иногда довольно просто высказанный. И та же ограниченность у русских философов. Даже Соловьев не понимал языка буддийских текстов. А по-моему, это ничуть не сложнее византийского богословия, и в мои святцы входят и св. Силуан и Мартин Бубер, Кришнамурти и Ауробиндо, Томас Мертон и Д.Т. Судзуки...

Говорят, что мои ссылки на восточных авторов мешают русским читателям. По-моему, им мешает невежество. У Ауробиндо есть замечательная статья о Гераклите, Судзуки интересно писал о Мейстере Экхарте, а в христианском мире Восток считается специальностью востоковедов. Последнее время есть даже *мода* на Восток. Но глубокий духовный поиск привязан к *своему* колодцу вглубь, и редко кто понимает, что другие колодцы также глубоки.

Помимо невежества, мешает еще страх свободного духовного полета, боязнь отступить хоть на шаг от канонических формул, страх соблазниться «Чайкой по имени Джонатан Ливингстон», «Прогулками с Пушкиным» и пушкинским гимном чуме. Этим страхом соблазна пропитана вся тонкая, умная статья Валентина Семеновича Непомнящего в «Новом мире» (1993, №6). После всех соблазнов, пережитых Россией, страшно доверять своей интуиции, хочется держаться за твердые знаки Добра. Думаю, что Валентин Непомнящий идеально выразил страх свободы, охвативший освобожденную русскую мысль, идеально в самом полном смысле: благородно, сдержанно в полемике, без вспышек злобы. Агорафобия, страх перед безграничным духовным пространством часто переходит в злобу и чужеждство.

Вот этого страха открытого пространства в Европе все-таки меньше, чем в сегодняшней России. Мы не привыкли к свободе, смешиваем свободу со своеволием и боимся демонов своеволия. Европейцы грешат скорее противоположным. Они слишком беспечны. Но уважение к личности, к ее выбору, меня трогало.

В Висбадене (декабрь 1990) поразила сцена в универмаге. Народу довольно много, дешевая распродажа, а посреди толпы на полу играют двое крошек, лет пяти или семи. Им решительно никто не делает замечаний. Я следил за этим минут 15, взрослые вежливо обходили играющих детей, взрослые уважали право ребенка быть самим собой. Потом я побывал в двух школах, беседовал со старшеклассниками. Пока урок не начался, они вели себя, по советским представлениям, неприлично: мальчики и девочки сидели на полу (покрытом паласом) в обнимку, целовались при встрече. В класс входит учитель с двумя иностранными гостями, и никто не обращает на нас внимания. Но когда учитель заговорил, шум сразу стих. Хотя учитель не сказал «тише», не повышал голоса. Просто заговорил.

Год спустя в Вальдброле (начало 1992-го) в Академии информации и

коммуникации бундесвера я ни разу не увидел, чтобы курсанты козыряли офицерам. Никаких лишних признаков иерархии. И точность часового механизма в соблюдении порядка дня. Иногда мы приезжали (в Кёльн или в Бонн) раньше времени. Опоздание случилось один раз: российское телевидение приехало на час позже срока и не увековечило нашу пресс-конференцию; немецкое телевидение не опаздывало. На заводе (с хозяином которого нас познакомили) нет склада готовой продукции. Пластмассовые детали автомашин прямо с конвейера грузят в контейнеры и развозят заказчикам. Перевыполнение создало бы беспорядок. Впрочем, полковник Прайон, начальник академии, с которым мы беседовали во время поездок (он вел машину и сажал меня рядом), ответил на мою похвалу: «Мы иногда слишком аккуратны». Что он имел в виду, я не совсем понял. Может быть, — что пристальное внимание к частностям достигается в ущерб чему-то более важному?

Я обратил внимание, что *богатство* страны довольно точно связано с уровнем дисциплины на улицах. В Швейцарии мотоциклисты в каких-то особых шлемах, напоминающих скафандры космонавтов. В Неаполе — никаких шлемов. Мотоциклы шныряют в потоке автомашин, пешеходы жестами показывают, что им надо перейти дорогу, и сами себе регулируют движение. Для контраста можно вспомнить молодого социал-демократа, сопровождавшего нас в Висбадене, — мы были там гостями социал-демократов; он искренно огорчился, заметив человека, перешедшего улицу на красный свет. «Как это непедагогично, — сказал он, — при детях!» Итальянец, испанец не возмутился бы. Зато и живут беднее. Но значит ли это, что они менее счастливы? И что они дальше от образа Божьего?

Европа очень разная. В богатых странах свобода, закон, дисциплина — синонимы. Разрешается масса вещей, которые у нас были под запретом, но если запрет, то запрет. В бедных странах свободу понимают иначе — ближе к русской воле. В этом есть своя прелесть. В Швейцарии мне было бы, наверное, неуютно.

Европа очень разная. И еще более нестандартен Запад. У нас почему-то смешивают Запад с Америкой. Но Америка — это совершенно особый случай. Я там не был, сталкивался только с американцами, приехавшими в Москву, и еще с двумя американскими офицерами, стажерами в Вальдброле. По моему впечатлению, американцы хуже нас понимают. Лучше других понимают немцы: у них был опыт вроде нашего. На восточноевропейском семинаре Франкфуртского университета одна из участниц спросила — не думаю ли я, что одна из причин живучести коммунистической идеологии в России — видимое благородство ее целей, тогда как немцам легче было освободиться от нацизма с его откровенной ставкой на грубую силу? Я поблагодарил ее за хороший вопрос. В нем было понимание силы исторической иллюзии. Живыми были и разговоры в Вальдброле, в офицерском клубе. Протокольный лед мгновенно таял. Он у меня, впрочем, всегда таял, даже пресс-атташе министра обороны я сбил с протокола, но в клубе разговор был особенно открытым, только два американских стажера сидели надутые, как индюки.

Я разговаривал с немцами в 1945 г. в Берлине, в Судетах и был поражен, до чего они за 45 лет (1945-1990) стали другими. Другие школьники, другие офицеры...

Помню искреннее недоумение лейтенанта из Вальдброля, посмотревшего по телевидению демонстрацию коричневых в Москве — откуда эта дикая ненависть к иноплеменным у молодых людей, никогда не переживших войны? У таких же молодых, как он? Я клянусь, что во мне этого нет, говорил он, и я ему верил, верил его глазам. Мы касались самых больных вопросов нашей общей истории, и я видел, что за несколько десятков лет, при хорошем правительстве, многое можно сделать... Не всё, но многое.

Кажется, нам менее сочувствуют там, где своего Гитлера, Муссолини, Франко не было. Нам легче сойтись с теми, кто грешили — и покалялись, чем с пуританами. Место наше в старой Европе. Где в каждой стране — свои древние корни, и вместе с тем — есть общий, европейский дух. Оставляющий бесконечно много места для неповторимого испанского и французского, немецкого и английского, итальянского и греческого. Там и для русского есть угол.

Я не идеализирую ни Запада, ни Востока, ни России. Я всюду вижу толпы, бесконечно далекие от «своей», «собственной», «национальной» глубины. Я думаю, что всюду не просто сохранить глубину и подлинность в море поверхностных и пошлых страстей... И я ищу сближения с теми, кто живет на глубине — каким бы ни был национальный подступ к ней.

Впрочем, во Флоренции и толпа показалась мне одухотворенной. Не знаю, было ли это независимо от моего чувства или окрашено оглушенностью и подхваченностью красотой; меня захватывает красота камня, а во Флоренции ее столько, что хватило бы удвоить число шедевров по всей России. Концентрация красоты на этих узеньких улочках приводила меня в состояние легкого экстаза, словно я пил не чай, а чифирь. И мне казалось, что толпа захвачена тем же. Дважды я заходил в одну из церквей и сидел там по часу, а толпы, стихая, переступив церковный порог, проходили мимо. Вот стайка девушек в лосинах остановилась в одном из приделов и вдруг, встав на колени, помолилась... Потом вспорхнули — и дальше, на улицы, на солнце. Меня захватывала эта открытость церкви, это отсутствие незримой черты, отделяющей суровую веру от мирской легкомысленной радости. В церкви ничто не принуждало молиться, мне просто хотелось молиться, и я молился. Это впечатление потом вспоминалось в Барселоне, на бесплатных концертах, которые устраивались в тамошних церквях, и на богослужениях, где звучал тот же орган.

Но вернусь назад, к этому утру в Формии, когда я был близок к отчаянью, и к поездке поперек цветущей Италии. Сидя в такси, я подумал, что история Советской России немного напоминает мою поездку в Формию. С огромной энергией добрался до намеченного пункта — и вдруг оказалось, что это совсем не тот город. Понадобился еще больший стресс, чтобы выбраться из него. И Россия не выберется без стресса, без энергии, которую рождает отчаянье. Думаю, что энергия рождается. Если я в мои

годы, старый гипертоник, в состоянии стресса выбрался из тупика, то неужели в стране, где столько молодых и здоровых людей, не хватит энергии? Видимо, вода еще не дошла до горла, но в этом отношении я оптимист: непременно дойдет. Только куда нас рванет? И не попадем ли мы в новый тупик!

Так или иначе, без стресса мы десятилетиями будем топтаться в дрейфе. Нужен стресс — и вера в возможность выхода. Дай Бог, чтобы не ложная вера, не дьявольский обман. Накануне поездки в Фер-ми-Формию я считал, что все сорвалось, но Зина вдруг *увидела*, что поездка состоится. У меня было несколько случаев убедиться, что временами к Зине приходит дар ясновиденья. Поэтому так смело рванулся — добираться, не зная точно куда, и хотя напутал, но всё-таки добрался, куда надо.

Я думаю, что основная проблема нашей страны — духовная: затихнуть, увидеть свои грехи, рвануться прочь от них и обрести второе дыхание. Со второго дыхания рождается та сила, которой берется царствие, и появляется новый духовный облик:

*Господи! Душа сбывлась,  
Умысел Твой самый тайный.*

*М. Цветаева*

Моя жизнь прошла при очень плохом политическом и экономическом устройстве, я тянул ляжку, как рядовой советский служащий, и урывками писал что-то свое, — но я был счастлив. Обителью счастья стала та самая семиметровая комната, между кухней и уборной коммунальной квартиры, где я был несчастен накануне ареста. Я понял, что могу стать опорой другому человеку, я научился давать счастье, а не ждать, чтобы мне его принесли.

Счастье — не кошелек на дороге. Оно открывается изнутри, и чтобы оно открылось, нужно было всё прошлое, все неудачи, в которых сбывалась душа.

Что же для меня оказалось самым нужным? Опыт неудач. Опыт жизни без всякого внешнего успеха. Опыт жизни без почвы под ногами, без социальной, национальной, церковной опоры. Сейчас вся Россия живет так, как я жил десятки лет: во внешней заброшенности, во внешнем ничтожестве, вися в воздухе... И людям стало интересно читать, как жить без почвы, держась ни на чем. Может быть, эта кучка людей со временем разрастется. И она научится создавать мир так, как Бог его создал — из ничего.

Я убежден, что один из путей к будущему России — именно в этом, в способности найти внутреннюю опору. Мы живем в апокалиптическое время. Все внешнее ненадежно, рассыпается на куски. «Почва», о которой так много говорят, — только внутри, и она складывается в неудачах. Повиснув в воздухе, вдруг чувствуешь, что есть какой-то ток, поддерживающий крылья. И пусть крутом всё рухнет — эту опору никто не отнимет.



Я не рассчитываю ничего доказать. Доказать можно только человеку, который согласен быть убежденным. Но я надеюсь заразить кого-нибудь. Сейчас многие заражают отчаяньем. Я пытаюсь идти наперекор этому потоку.

Я убежден, что вся национальная политика, начиная с Сумгаита, была нагромождением ошибок и преступлений. Кажется, и в других государственных делах хватало нелепостей, Свобода слова, конец холодной войны, освобождение Восточной Европы дались дорого — но бесполезно заниматься историей упущенных возможностей. Могло быть то и се, есть то, что есть. Надо выходить из невыносимого положения, которое сложилось сегодня. Выход из него немыслим без перестройки личности. Только приняв свои неудачи и научившись жить в потоке неудач, можно его «обустроить»...

Эссе «Неудачи» возникло как письмо молодой женщине, впавшей в отчаянье. Я был убежден, что за полосой безнадежности, в которую она погрузилась, придут новые силы и новая надежда и пытался подтолкнуть этот поворот... Но что говорить, что писать моим сверстникам? Я все время учился и чему-то выучился. А они бросили учиться после седьмого класса, после десятого класса, после университета, после выхода на пенсию — кто как. И у них нет сил начать новую жизнь. Ни духовных сил, ни интеллектуальных запасов, ни простой физической силы (в семьдесят, восемьдесят лет).

Я каждый день начинаю жизнь заново. Сказано ведь: довлеет дне-ви злоба его, и сегодня — уже не вчера. Но временами я вдруг чувствую себя одним из них, из этих беспомощных стариков и старух. Физически я ведь такой же, как они, я только душой не соглашаюсь со своим телом. Но иногда (и не так уж редко) я бываю как все.

Я несколько раз писал о своем двойном чувстве. Свобода слова — драгоценный дар, и я от него ни за что не откажусь. Но он ни к чему десяткам миллионов людей. Они не научились ценить свободу, и они отчасти виноваты в том, что она так поздно пришла. Их бессмысленное терпенье позволило откладывать и откладывать реформы до дня, когда всё попросту развалилось. Но вина эта — без ведения своей вины. Почему развитие должно идти через миллионы разбитых маленьких жизней? Ради чего им страдать? Ради будущего? Но оно не гарантировано. И не доживут. Ради непонятной связи между свободой духа и свободой торговать сникерсами? На которые только облизываются их внуки?

Чувство болезненной сопричастности с жертвами поражало меня несколько раз. Это не всегда соответствовало масштабам катастрофы. А может быть, и соответствовало, но масштаб здесь какой-то необщий. Сумгаит я пережил острее, чем Чернобыль. Я объяснял это тем, что против аварий есть техника безопасности, надо только ее строго соблюдать; а против взрывов погромных страстей и в Америке нет средств. Сумгаит открыл ящик Пандоры. Власти не сумели закрыть его, власти благословили азербайджанскую мафию, ответившую на демонстрации армян резней. И началось сползание ко «Дню открытых убийств».

Я никогда не мог спокойно читать о резне, даже очень далеко — в Нигерии или Бенгалии. Я сразу начинал чувствовать, торговцев племени ибо или восточных бенгальцев своими родными. Откуда это? Может быть, от десятков поколений предков, живших в страхе погрома. А может быть, это личное и совершенно не связанное с генами. Личность всегда в меньшинстве против толпы. Спокойный ум и открытое сердце всегда вместе с беззащитным меньшинством. В Германии, в 1945 году, я непосредственно, без рассуждений, стал себя чувствовать вместе с женщинами, которых насильовали, а не с солдатами и офицерами, справлявшими свой варварский праздник победы. Как только распалась империя, я почувствовал своим русскоязычное население вне России. Меня доводили до порога отчаянья правительственные решения, рассчитанные на один ход, без всякого понимания завтрашних и послезавтрашних последствий. Много раз я терял от них сон. И после одной передовицы «Правды» (не более подлой, чем многие другие), опять не сумев заснуть, я начал писать «Красную книгу народов»:

«Я не армянин и не азербайджанец. Но я чувствую как свой собственный позор, что наше государство, такое сильное (даже слишком), не смогло предотвратить резню и что мои сограждане азербайджанцы резали моих сограждан армян; а центральная пресса упорно ставит тех, кого режут, и тех, кто режет, на один уровень; даже с предпочтением ко вторым, — потому что те, кого резали, добивались изменений, а государство, на сегодняшний день, склонно тормозить перестройку национально-территориальных отношений. Я думаю, что это ошибка, способная всё погубить: нельзя стоять сразу на двух эскалаторах, одном движущемся и другом — неподвижном...»

Мое чувство боли оказалось верным: надо было сразу поставить вне закона возвращение к племенным войнам и погромам. Чего бы это ни стоило. А грошовый политический расчет кончился провалом. Победило — «наших бьют!». И давай лупить в ответ.

Политика, оторвавшаяся от живого чувства, и чувство, вырвавшееся из-под контроля высшего разума, состязаются в безумии. Я сравнивал это безумие с действиями Сахарова, иногда казавшимися наивными, и все больше понимал их смысл.

Когда я читал воспоминания Сахарова, каждая его голодовка казалась совершенно естественной и неизбежной. Но ведь в прошлом я сомневался, правильно ли академику Сахарову рисковать жизнью, чтобы молодая женщина по имени Лиза соединилась со своим возлюбленным. И для меня и для тысяч других Сахаров стал чем-то вроде Вердена, позиции в политической войне, а живой человек просто не мог иначе, когда Лиза попыталась покончить с собой и он, мужчина, почувствовал, что за него убивают женщину. Неповторимость Сахарова все больше вырисовывается в том, что он, со всем своим мировым значением, непосредственно откликнулся на боль отдельного человека; просто не думал в этот миг о политическом расчете, и вот политически невыгодное оказалось «самой выгодной выгодой» (как сказал бы Достоевский). Люди увидели на

политической авансцене человека и этому человеку поверили. Люди были правы. У Сахарова были неудачи (попытка посредничать на Кавказе), были ошибки (призыв к забастовке, повисший в воздухе). Но его ум всегда проходил сквозь сердце, и я доверял этому сердечному уму и готов был ошибиться вместе с Сахаровым. Ошибаться свойственно человеку, ничего страшного в ошибках нет, страшно другое: когда принципы становятся шорами на глазах.

Политики действуют по плану, и план, линия (политическая линия), логика (политическая логика) уведат их от непосредственного чувства боли, даже самой благородной боли, толкнувшей в политику, иногда до поворота на 180°. Так ведь и в истории было — в той самой, из которой мы по сей день не выпутаемся. Началось с порыва чувства, сочувствия, возмущения — у декабристов, у Герцена, у Огарева, у Чернышевского: «Не может человек, заживо похороненный, не биться о крышку гроба», — так он писал в «Прологе». Бились головой, разбивали головы — и вдруг решили поумнеть и заняться революцией как делом. И сразу же появившись, бизнесмены, революционные мистеры Домби, не спрашивавшие поминутно свое сердце, стоит ли гармония детских слез, а очень спокойно палившие «по площадям», по целым классам, — и захватили и удержали власть. Но цель, ради которой всё это делалось, была потеряна, чувство боли от чужого страдания притупилось (от чужого, *не нашего* — это мне хочется подчеркнуть), уступило место генеральскому равнодушию к потерям (Ленин), а потом — к прямой радости от чужих мук (Сталин). И я боюсь, что Россия на новом витке может что-то повторить из пройденного. Увлеченность бернара, режущего лягушек, — это у нас уже есть. А ведь Ленин начался с этого.

Чего стоит наша демократия, если она даже не попыталась распутать нити заговора, жертвой которого стал Александр Мень? Боялись затронуть каких-то священных коров. И опять — «здороваемся с полицаем, раскланиваемся с подлецами». Логика Горбачева после Сумгаита.

Девятого сентября я почувствовал, что меня самого ударили по лбу. Почему-то именно по лбу. Я не знал, куда нанесен был удар. Впрочем, и стигматы бывают не там, где вбивают гвозди, а по картинам, без знания анатомии казни.

Я убежден, что убийство было тщательно обдумано. В Москве, столице СССР, неприлично допустить погром. Другое дело — террор. Тут не придерешься. Террор есть во всех странах. И силы, которые благословили резню в Сумгаите, нашли другое средство. Если бы я стал таким любимцем телевидения, как Мень, — прихлопнули бы меня.

Я не слишком следил за публикациями «Памяти». И сейчас не читаю газет РНЕ. Но время от времени дух Сумгаита проникает до костей, как сырость. Как-то после вечера памяти Василия Гроссмана, одеваясь, один из слушателей сказал: «Пир во время чумы...». И все-таки пир. Радость от новых ступеней свободы, открывшихся мне, радость расширения нашего маленького кружка переплетается с болью за злоупотребление свободой и страхом свободы, наперегонки бегущих к общей пропасти. Временами я

вспоминаю тютчевский «Сон на море»...

Может быть, вся поэзия, музыка, искусство, все человеческие святыни — только сон. Но в этом сне раскрывается что-то глубже мира вещей, явь, по отношению к которой вся материя — только сон духа. И сон поэзии внутри сна материи — прикосновение к глубинной яви. Что реальнее сегодня — Кальдеронова трагедия «Жизнь есть сон» или «реальная» Испания XVII века? Нашествие вандалов или «О Граде Божьем»? И сейчас — что пересилит? То, что мы делаем — почти незаметное? Или бессмысленное метание масс?

Что бы ни было, но ручейки опыта, сложившегося под ледяной корой «советской власти», вышли на поверхность, сливаются в реку: стихи Даниила Андреева и Александра Солодовникова, Зинаиды Миркиной и Вениамина Блаженного, стихи Людмилы Окназовой... Вера этих людей напоминает о словах Христа: разрушьте сей храм, и Я в три дня его построю... Несколько лет тому назад их стихами жили только в очень узком кругу. Вдруг — за несколько лет — возникли тысячи читателей, которым именно такие стихи остро нужны. Правда, только тысячи. Миллионы уставились в телевизор. Но дорога начинается с первого шага.

Иногда этим шагом было обращение к вере в ее канонических формах (православие, католичество). Потом бросилось в глаза состояние церкви, которое было одной из причин массового отхода от веры в начале века — и которое не улучшилось. Парадокс нашего времени — то, что отступников тянет назад, но церковь снова их отталкивает, именно острая жажда веры не может удовлетвориться видимостью благочестия. Этого достаточно для моды, для смены идеологии, но не для настоящей жажды. И жажда ищет воды — там, где она есть. Такие люди не теряют Христа, но их любовь к Нему — скорее христовство, чем христианство. Иногда они продолжают ходить в церковь, иногда перестают это делать, — здесь множество оттенков, — но центр духовной жизни смещается, выходит за стены храмов. Искусство, отмеченное следом духовной встречи, становится либо дополнением церковной жизни, либо заменой ее, но так или иначе оно делается необходимым. Хочется прикоснуться к непосредственному духовному опыту, к веянию Духа, не знающего стен и канонов, еще не застывшего и не позолоченного. И на эту жажду отвечает поэзия — несмотря на все перекосы личного опыта (они отчетливо мне видны у Андреева, у Блаженного), но живая, живая с головы до ног.

Другая группа откликов — от «закоренелых атеистов», от людей, тянущихся к Богу, но не способных выговорить канонические формулы, не способных вынести богословия друзей Иова. В открытой поэтической форме веянье духа доходит до них.

Я начал с того, что больше меня коснулось, о чем я больше думал и думал, если можно так сказать, профессионально, как филолог по диплому; но то же духовное движение запечатлело себя в музыке (у Артемьева, Пярта, Шнитке), в живописи (Вейсберг, Казмин). Встреча с Казминым произошла несколько лет тому назад. Он пришел к нам с двумя своими картинами, завернутыми в бумагу. Зина долго не решалась просить его —

развернуть их. Боялась, что не понравится (а Володя Казмин, со своим лицом нерукотворного Спаса, понравился сразу). Но когда взглянула, то закричала (я на кухне заваривал чай): «Гриша, иди сюда!». Картины Казмина можно назвать мандалами или абстрактными иконами. Какие-то прямые или кривые линии, луч света — но ощущение, как от иконы ХГУ-ХУ вв.

Когда говорят, что наше время бесплодно, что оно ничего не может сказать в свое оправдание, то большей частью меряют Львом Толстым. «Войну и мир» в наше время нельзя написать. Но Рильке тоже не написал «Войны и мира». Он был лириком. В каждую эпоху есть свои главные жанры. А стихи, близкие по духу к «Часослову» и «Ду-инским элегиям», сегодня пишутся. И находят своих читателей.

В 1959 г. мы с Ирой Муравьевой задумали собрать из русской лирики — начиная с Тютчева — поэтический молитвенник. После смерти Иры я это оставил: почувствовал, что не совсем то собираю. А потом услышал стихотворение Зинаиды Миркиной «Бог кричал» и сразу стало ясно: вот то самое, что я искал. С этих пор на моих глазах возникала книга псалмов. В которую войдут стихи четырех, пяти, может быть, шести поэтов XX века, переживших разрушение духовных колодезев и заново открывших новые духовные ключи.

Один из византийских святых<sup>95</sup> говорил, что непрерывной молитве его научил дьявол, невыносимый страх ночного рыка и воя в пустыне, где Максим спасался. Нас учит нынешний рык и вой. Радость от этой науки не может погасить боль; но и боль не может погасить радости.

Начинаешь писать то от радости, то от боли. Если и от боли, как мои полемические статьи, — то постепенно боль сходит на нет, исчезает в ритмах слов и смыслов. Только крупинка боли остается на дне радости. Но чуть заденешь эту крупинку — и из точки разворачивается целое пространство боли, и опять надо затыкать словом бесконечно рвущуюся дыру.

От рыночной пошлости труднее отгородиться, чем от казенной. Казенную пошлость распространяли по-казенному, рыночную — с усердием (хорошо платят). И она достигает цели. Не только голые бабы. Рядовая телевизионная реклама разжигает желание купить, купить, купить. Любыми способами заработать денег — и купить... Мои молодые друзья жалуются, что выгородить место для созерцания, для молитвы — сегодня труднее, чем при Брежневле. Захватывает политическая суеда, берет за горло нужда в деньгах.

И все-таки культура не сдаётся. «И все-таки она вертится». А если сохранится культура, то и страна выживет. И не только страна. Вся мировая цивилизация в кризисе (замаскированном на Западе, открытом на «Незападе»). И вся мировая цивилизация на открытом перекрестке, и наш местный кризис переплетается с мировым кризисом.

В «Риске надежды» (1987) я писал, что интуиция социолога заставляет

---

95 Не Максим Исповедник, а простой крестьянин Максим.

меня предсказывать провал перестройки, а интуиция историка не соглашается и оправдывает надежду. Чудеса нельзя предвидеть, но можно расчислить им почву. По мере своих слабых сил я стараюсь расчислить дорогу чуду. Там, где оно должно совершиться: в человеческом уме и сердце.

Для этого нет нужды выходить на авансцену. Я достаточно на свету, чтобы тот, кому я нужен, нашел меня. Мы оба с Зиной высказались. Кому надо, пусть задают свои вопросы. Попытаюсь ответить. Сегодняшний мой ответ — очень старый: надо раскрыть забытые источники силы в глубине, в тишине. Надо увеличить дистанцию с рябью событий. И тогда станет яснее — с чем рвать, что создавать.

Я никогда не влезал в политику всем собой и не собираюсь целиком вылезать из нее. Писал статьи — и при случае еще буду писать. Но чувствую необходимость запускать корни поглубже. И в лесу у костра я вглядываюсь в то, что не нужно — к сожалению! — широкой публике, а нужно маленьким кучкам людей, в разных городах, для которых ни политические скандалы, ни цены на масло не вытеснили вопроса о смысле жизни и о месте человека в бесконечности. То есть я снова повернут к гадким утятам.

Что здесь важнее? Ход моих внутренних часов? Или ход мировых часов? Только вдруг — Достоевский очень любил это слово «вдруг» — вдруг я почувствовал, что главное сейчас (для меня? для всех?) — это совершенный внутренний покой. Как в лермонтовском стихотворении «Выхожу один я на дорогу». Эти стихи не про смерть. Они про жизнь, про покой ума и открытость сердца. И недаром эти стихи переводил на немецкий язык Рильке. Он почувствовал здесь свое.

Бесконечный покой — это бесконечная сила. Это точка опоры, с которой можно перевернуть, землю.

\* \* \*

Поворот к созерцанию начался даже в Америке, т.е. в самом центре лихорадочных перемен, трясущих мир, в самом центре научно-технического прогресса. Когда я ушел на войну, Томас Мертон ушел в монастырь. Через несколько лет его «Семярусная гора» увлекла целое поколение аутсайдеров. Затем пришло увлечение дзэн, йогой, суфизмом. Мелькнул даже интерес к исихазму. Однако культура Америки в целом упорно сопротивляется повороту. Она не имеет традиции поворота в своей исторической памяти. Для нее все началось с высадки колонистов в Виргинию. И нигде дух Нового времени, дух Просвещения не воплотился так прямолинейно, так односторонне.

*Он — краткость, прямая.*

*Так лишь машина вершит взлет свой искусственнокрылый.*

*Мы ж, как пловцы среди волн, тратим последние силы.*

*Р.-М. Рильке. Сонеты к Орфею. Перевод З.М.*

Инерция американизма была благом, когда несколько стран увлеклись прыжками в Утопию. Мир уцелел. Но уцелел как продолжение консервативного пути к гибели, продолжение потока изобретений и открытий, создающих все новые бедствия: озоновую дыру, экологический кризис, взрывной рост населения, упадок чувства священного, культ наслаждений, наркоманию, СПИД.

Маркс писал, что капитализм выходит из кризиса только средствами, создающими новый, более глубокий кризис. Он ошибался, пытаясь описать всю эту динамику экономическими терминами. На самом деле, кризисы ветвятся. Научно-техническая революция ослабила давление экономических законов, но тут же обострилась угроза экологического кризиса, духовного кризиса и т.п. Букет кризисов становится все более пышным, и неизвестно, какие новые цветы зла принесет завтрашний день.

Когда-то военно-административное расширение империй уперлось в тупик, и великие культурные миры перенесли акцент с центробежного на центростремительное, от движения «вперед, к новым победам» к движению вглубь, к покаянию, к самоуглублению — и к духовному росту личности из глубины к небу, к новому пониманию священного. Сейчас в тупик зашло расширение техногенного мира, оно просто невысказано. Возникло парадоксальное положение: невозможно остановить разрушение ресурсов Земли и невозможно продолжать его.

Я вижу выход в паузе созерцания. Мы не можем остановить экономический механизм, который лучше или хуже кормит шесть миллиардов людей. Но мы — как Россия — входим в кризис, мировой кризис, в движение, ведущее в пропасть, и можем сделать только одно (если хотим выжить): преодолеть лихорадочность движения, вносить паузы созерцания в череду наших дел. Постепенно расширяя эти паузы. Постепенно раскрывая перед людьми радость созерцания. Постепенно открывая ее детям — с самого раннего возраста, еще до школы. Постепенно вводя уроки созерцания в школы (такие опыты уже делались).

Накопление тишины идет во многих формах, во многих странах, больших и малых, в тех, кто считает себя передовыми, и в тех, которые относят к отсталым. Успеет ли это медленное, незаметное движение подготовить поворот, опередив экологическую катастрофу? Опередив другие катастрофы? Это один Бог знает. И может быть, Он некоторые катастрофы «попустит», чтобы сбить спесь с довольных собой умников, чтобы заставить массы думать. Но я надеюсь, что Бог оставляет возможность избежать тотального краха. Если мы будем Ему помогать.

## До полной гибели всерьез

Лидия Яковлевна Гинзбург писала об особом мужестве стариков, знающих, что им недолго осталось жить. Я не сомневаюсь в ее искренности. Но сам я этого не чувствую. Мужества требует болезнь, иногда в молодости, Зинаида Миркина, столкнулась с этим в двадцать два года. И не смерть ее пугала, а необходимость жить, год за годом, под непрерывной пыткой. Болезнь создает духу препятствия, через которые очень трудно пробиться, и тут действительно нужно и мужество, и воля. А старость — это просто вечер. Если вечер ясный и солнце играет на листьях — мысленно танцуешь вместе со светом, и все равно — семь тебе лет или семьдесят семь.

Мне кажется, что Лидия Яковлевна Гинзбург придавала слишком большое значение времени, бегущему из прошлого в будущее, почти не задерживаясь в настоящем. Молодость надеется на будущее. У старости эта игрушка отнята. Но реально и для старых, и для юных есть только настоящее. Реально то, что есть сейчас. Голова не болит, светит солнце, на письменном столе лист белой бумаги... Старость мне это дает. А в юности я не знал, что с собой делать, скучал. Безумства резвые гремушки меня не захватывали. Захватывали порывы творчества, но они приходили очень редко. Потом в мою жизнь вмешалась война, лагерь, любовь, я отложил философию на двадцать лет и просто жил, вживался в плоть жизни... Но к юности, к школьным и студенческим годам мне даже не хотелось бы вернуться.

Догэн, проповедовавший в Японии XIII в., писал: неправильно говорить, что полено сгорело и осталась зола. Полностью есть только полено в его поленности, огонь в его огненности и зола в ее зольности. Движение времени уводит в сторону от того, что мы, европейцы, называем вечностью, а на Востоке зовут недвойственностью. Реально только вечное теперь. Настоящее ближе к вечности, чем прошлое и будущее. Мгновение ближе, чем день и час. Ум Лидии Яковлевны, сохранявший поразительную ясность до самого последнего года ее жизни, Догэн назвал бы помраченным. Этот ум был прикован к стреле времени и не достигал мгновения, проезжал через мгновения, не останавливаясь.

Впрочем, действительно ли никогда не достигал? Совсем не достигал? Разве поэты, которых Лидия Яковлевна любила, не давали ей, в иные минуты, сознания минутной силы,

*Забвения печальной смерти?*

Важны не знаки разных культур, а глубина погружения в поток,



смывающий время. В стихах Мандельштам *есть* вечный миг:

*Звук осторожный и глухой  
Плода, сорвавшегося с древа...*

*О. Мандельштам*

Это такое же вслушивание в тишину, как у Басё:

*Старый пруд.  
Прыгнула в воду лягушка.  
Всплеск в тишине.*

До того как я научился читать книгу гор и вод, моим молитвенником была поэзия, и подлинные отношения с людьми складывались при чтении стихов (Тютчев, Блок, Мандельштам, Цветаева, Рильке), — слушая ноктюрны Шопена и фуги Баха или стоя перед «Чайками над Темзой» Клода Моне.

Очень трудно сказать, где проходит грань между «забвением печальной смерти» и осознанным парением над страхом. Но и в свободном полете над страхом есть страх. Что-то самое страшное всегда есть. Я даже думаю, что без этого самого страшного, без вызова тьмы не было бы радости духовного взлета, радости творчества. Я иногда представляю себе приближение к Богу как вечное сжигание вечной тьмы. Для меня самое страшное — темная бездна, в которой тонет творчество, тонет, не оставляя следа. Это был кошмар моей юности — бездна пространства, времени и материи, в которую проваливаются все люди и все культуры. Об этом писали много раз, начиная с Паскаля. Тут загадка, которую нельзя решить умом, и смена мирозерцания ничего не решает. Неверующие боятся (как Левин у Толстого) бессмыслицы, в которой обречена раствориться личность. Верующие боятся антихриста, дьявола, ада.

Евгению Трубецкому казалось, что невыносимая бессмыслица — это вечный круговорот, повторение одного и того же, как в муках Тантала или на каторжных работах. Он не заметил, что бессознательно подбирал примеры на одно правило: повторение конечного, внутренне пустого. Но вечное блаженство — тоже кружение, кружение в бесконечном, кружение в Боге, кружение, в котором есть невозмутимый внутренний покой, как в иконе Троицы, вдохновившей Флоренского на его удивительные слова: «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог».

На повторях, на ритме основаны и музыка, и стих, и красота храмов. Нас утомляют хрущевские пятиэтажки, но там повторение стандартных спичечных коробок, навязывание мертвого стандарта, а повторение листьев, повторение еловых лап, повторение колонн и аркад захватывает.

*Сад шумящий, лес огромный.  
Шорох, шепот, птичий свист.*

*Нет, не хоры, нет, не сонмы...  
Здесь любой листок — солист.*

*З.М.*

Повторяется неповторимое, подтверждается индивидуальность каждого листа, дерева, волны. Этим ритм отличается от механического такта. Адское повторение отрицает индивидуальность, райское — увековечивает ее. Музыка Баха кажется однообразной тому, кто слушает, а не вслушивается (и слушает вполуха). То же с восходами и закатами, с волнами моря. Я видел по крайней мере тысячу закатов, и в каждом можно было открыть новое. Если не открывал — это моя вина, а не Создателя.

Повтор — испытание на внутреннюю наполненность. То, что внутренне бесконечно, бесконечно раскрывается, и никакие повторы не могут его исчерпать. Постоянная погоня за новым — проклятие Дон Жуана, он ни разу не взглянул вглубь женской души и не был захвачен бесконечностью женственного. Трубецкой цитирует карамазовского черта, уставшего от повтора одной и той же человеческой комедии, но Богу не надоедают Его повторы. Он кружится, вместе со всеми избранными, вокруг своей собственной бесконечной глубины, и там, где есть эта глубина, есть смысл. Бессмыслица нас настигает только на поверхности, оторванной от глубины, — там, где атом, называемый смыслом, окружен пустотой, и мы вечно теряем этот смысл и барахтаемся в пустоте.

Художник может тысячу раз рисовать морские волны, поэт — повторять, не повторяясь, одни и те же мотивы:

*Я повторяю, повторяю  
И облака, и лес, и скалы.  
Просторы без конца и края,  
Узор без края и начала...*

*З.М.*

Святой Силуан не уставал повторять одну и ту же Иисусову молитву. Но заставьте это делать школьника — и молитва через пять минут будет ему в тягость. То же в мирской любви. Если любовь потерялась, выветрилась, инерция близости встает поперек горла. Половое чувство, оставшись в одиночестве, оттеснив назад всё остальное, превращает мужчину и женщину в кобеля и суку, а потом приходит отвлечение к себе самим. Но это вовсе не необходимость, не что-то вроде закона тяжести. Любящие ложатся спать вместе 365 раз в году и каждый раз с любовью. Музыка осознания и молитва осознания на старости лет другая, чем в юности, но она остается музыкой и молитвой. И никакие годы здесь ничего не изменяют.

Страх смерти связан не с годами, а с мыслью о жизни как движении, которое обрывается в пропасть. Толстой испытал «арзамасский страх» сравнительно молодым; Паскаль — еще моложе; Бубер — в 14 лет. Страшно

потерять полено в его поленности и себя как каплю, единую с океаном, потерять чувство целостной вечности. Вечное кружение грешников в аду? Но это кружение душ, оторванных от Бога, вечность невечности, ибо подлинная вечность — только в Боге. Если ты вытолкнут из священного танца, ты в смерти (хотя физически еще жив). А если вошел в ритм — ты снова ожил, как бы ни изношено тело, сколько бы ни оставалось жить.

Да, возразят мне, — но мысль о скорой смерти печалит. Девушки не устают смеяться, старухи — ворчать. Ворчат, потому что щенячья радость кончилась, а до веселия духа не дошли, не сумели дойти. Для радостной старости надо много собрать, пока старость еще не пришла. Тогда все твои сокровища с тобой. Слабеют руки и ноги, выпадают зубы, падает способность видеть, но способность созерцания может расти и расти. Чем слабее чувственная радость жизни, тем больше простора для радости созерцания. Большой Мышкин это угадал, понял, и к нему пришел «главный ум». Если вы не угадали, не поняли, не сумели — никто не виноват, кроме вас. Ни Хрущев, ни Брежнев мне не помешали, и нынешний хаос не может мне помешать.

Старость меньше обольщается, яснее видит зло — но может взглянуть поглубже, к источнику творчества, где зло сгорает. Творческая радость иная, чем радость футболиста, забившего гол. В творческой радости есть сопротивление злу, которое она сжигает, сопротивление болезни и смерти. И всё это радость. Чистая радость весной. Радость сквозь грусть — осенью. Радость сквозь боль, сквозь муку... Характер радости зависит от вызова жизни. Но творчество всегда радость.

Здесь я подошел к порогу, через который трудно переступить. Я могу пройти сквозь свое личное горе, я должен, по крайней мере, попытаться топить его в Божьем творчестве. Я два месяца умирал вместе с Ирой, но не старался продлить это состояние, затянуть его на годы, до конца дней, или ускорить свой конец (меня тянуло к этому). Я воскрес из своей духовной смерти *вместе* с памятью об Ире. Но должен ли я топить в Божьем свете Освенцим? Кольму? Вправе ли я поставить эти провалы бытия в ряд с другими, древними, которые не пошатнули Божьего порядка?

Что значит *личное* горе? Разве оно не может стать знаком космической катастрофы? Разве не падало небо на землю, когда умирала Ира? Разве Гамлет не сказал своей матери: ты сделала белейшее чернейшим (всё белейшее, весь строй космоса)? И разве для Бога есть разница — один человек или миллион?

Если горе Иова можно потопить в божественном творческом порыве, то и горе лагерей уничтожения. Перед бесконечностью все числа равны.

И что значит — потопить? Забыть? Но я никогда не забуду раскрытую могилу, в которую превратились поля к северо-западу от Сталинграда. Я не отключаю телевизор, когда показывают убитых детей. Я набираю это горе в свою душу — и топлю его в молитве, в созерцании. Не как чужое, а как свое горе.

XX век — не первый, когда совершалось неслыханное. Для Арджуны неслыханной была битва на поле Куру. Он и минуты не выдержал, когда

Кришна дал ему взглянуть на побоище сразу, сжав сотни убийств в один поток трупов, низвергавшихся в бездну. А потом всё потонуло в свете — «ярче тысячи солнц» — когда Кришна открыл ему свой божественный лик.

Мне кажется, что теоретики абсурда пережили Колыму, Освенцим и Хиросиму не острее моего. Я говорю не о Шаламове или Визеле, а о теоретиках, о философах постмодернизма. С одним таким теоретиком мы сидели на одном лагпункте. То, что он описывает как кошмар, для меня потонуло в белых ночах. Абсурд всегда был и всегда будет, но он никогда не исчерпывал бытие. Это один из его поворотов, один из вечно повторяющихся взглядов на круговорот событий, где смысл и бессмыслица танцуют в обнимку. То, что произошло с Иовом, — такой же абсурд, как Освенцим. Бог пришел Иову на помощь, и праведник встал со своего гноища. Бог пришел на помощь Максимилиану Кольбе, и святой Максимилиан перешагнул через Освенцим. Это не обвинение великим страдальцам, не получившим благодати. Я бы, наверное, погиб на Колыме и отношусь с искренним уважением к Шаламову, который сумел в аду сохранить творческую волю и, выйдя, передал свой опыт ада. Но мой опыт чистилища тоже подлинный, и он не зачеркивается никаким другим. Я и с войны пришел только с несколькими дырками — и смотрю на поле Куру96 уцелевшими глазами. Я признаю, что слепота ослепших — это тоже взгляд, но не думаю, что он во всем глубже моего взгляда.

Я много лет живу рядом с человеком, который непосредственно, не в уме, а во всем теле несет бессмыслицу ничем не заслуженного страдания. И этот человек — Зинаида Миркина — каждую весну пишет стихи, кипящие радостью:

*От полноты души в сей мир пробился лист  
И лес зашелестел весенней легкой кроной,  
От полноты души — внезапный птичий свист  
И проблеск золотой в листве густозеленой.  
О Боже, как цветы и травы хороши!  
Как соловей поет и как смеются дети!  
Ты создал этот мир от полноты души  
И просишь всей душой на этот мир ответить.*

Я свидетель, что эти стихи рождались действительно от полноты души, и не в одиночку, а целыми гроздьями — в весну 1992 г. и в любую весну:

*О чем же ангелы поют?  
О том, что Бог ни там, ни тут.  
О том, что в мире ничего  
Не может удержать Его.  
И тот, кто в Нем, и тот, кто с Ним,  
Непобедим, неуловим,  
И весел так, как вешний дух,*

---

96 Поле битвы, на котором Кришна беседовал в Арджуной.

*Как тополиный белый пух,  
Как тот новорожденный лист,  
Как соловей, что так речист,  
Что даже ангелам самим  
Непросто состязаться с ним.*

Христианство, ушедшее из природы в историю, возвращается у Миркиной в природу, прислушивается к шуму моря и трепету деревьев, к пению птиц:

*Право-славе... Право славить,  
Славить правильно Творца.  
Только кто промолвить вправе,  
Что навек и до конца Прав?  
Что правду Божью зная,  
В самом деле служит ей?  
Разве иволга лесная,  
Разве только соловей?*

Проще всего повторить: «И все это были подобья»... Но нет, это не подобья, это не отклики природы на человеческое чувство. Напротив, подобьем становится чувство поэта, откликнувшееся на ликование весны, на откровение Бога в свете, на взрыв божественных энергий:

*Ликованье, ликованье  
Голосов весенних!  
Это внутренне знанье,  
Внутреннее зренье...  
Это воздыманье вала  
Через все пределы.  
Жизнь сама себя познала  
И захлеб запела.*

В стихах Миркиной важен не год, а время года: весна складывается с весной, осень с осенью. Поэт отождествляет себя с «календарем природы» (как назвал это Пришвин) больше, чем с корчами истории и судорогами своего больного тела. Оно никуда не девается со своими «стягиваниями», но душа их мгновенно забывает, переполненная радостью «щенячьей» весенней зелени. Страдание и сострадание не решаются нарушить священного действия весны. Они ждут осени, скорбного праздника желтых и красных листьев, летящих на землю, и обнаженных веток, сквозь которые в сад врывается простор неба. Тогда «цветет торжественная боль» (Мандельштам), скорбная радость Чаконы, сметавшей напевы весны, радость освобождения духа из плоти, радость Симеона: «ныне отпускаещи раба Твоего, Владыка».

I

*Рябины гроздь уже красна,  
И самый воздух плодоносит.  
В нем вызревает тишина. —  
Так подступает к сердцу осень.*

*И Бог срывает, не спеша,  
Свой плод в еще зеленой кроне,  
И затаенная душа  
Как бы лежит в его ладони...*

II

*Чуть позже, не сейчас, потом  
Заполыхают ветки сада И лист,  
слетая за листом,  
На землю станет тихо падать.*

*И душу всю проймет ожог,  
Заворожит пожар березы.  
И будет светом плакать Бог,  
А мы — ловить Господни слезы.  
И омываться в тех слезах И  
становиться на колени,  
За весь свой шум, за весь свой страх У  
тишины прося прощенье.*

Я не выбирал стихи по их художественному достоинству. Мне хотелось показать другое: превосходство времени года над историческим временем и личной судьбой, превосходство дня над временем года и часа над днем. Полено живет в его поленности, огонь в его огненности и зола в ее зольности. Так в стихах 1992 года, попавшихся под руку, и в любом годовом цикле. Весна будит в душе ликование, умирание года и умирание дня раскрывает другой пласт души. Возраст в обоих случаях *ничего* не значит:

*Час умиранья — это час,  
Когда душа в Господней длани.  
Не отводи недвижных глаз От  
медленного умиранья!*

*Не отворачивай лица И ни на  
что уже не сетуй.  
Пройди час смерти до конца  
Вослед за уходящим светом...*

Это не тварная смерть с ее муками, а смерть мистическая, смерть

тварного в твари, освобождение образа и подобия Бога:

*Свободен в мире только тот,  
Кто неизменно Себя на волю отдает Творцу вселенной.*

*Кто сердце настезь растворил,  
Раздвинул своды —  
Да обретет податель сил Во мне свободу!*

*В далеком небе след зари Нежнее пуха.  
Да будет вольно там, внутри,  
Святому Духу!*

*Да будет Он парить в тиши В родной Пустыне И во все стороны Души  
Крыла раскинет!*

В круговороте богоявления осень и закат не уступают восходу и весне, последняя любовь — первой. Прочное бытие лета и зимы, кажущиеся остановки кружения размыты. Лето — продолжение весны или накопление осени; зима — весна света. Я упоминал слова Пришвина, но они к поэзии Миркиной не совсем подходят. У нее, собственно, не календарь природы, а календарь откровений Бога в природе, немое богословие, которое стихи озвучивают. И весь этот хоровод духа — радость сквозь скорбь. Горе врывается в этот круг как история — священная история или грубая история нашего времени. Авраам, Исаак, Иов, Блудный Сын, Иисус уже несут в себе самих готовность потопить страдание в творческой радости Бога. Труднее, когда вся тяжесть духовной борьбы ложится на плечи, лишённые библейских доспехов:

*Ну что же, раз пришло, то заходи —  
Огромное, косматое, лихое...  
Мне надо уместить тебя в груди Со  
всем твоим звериным диким воем,*

*Чудовищное горе. Время игр Давно  
прошло. Померкли небылицы.  
В мой дом ворвался разъяренный тигр,  
И с этим тигром я должна ужиться.*

*Выталкивать нельзя, иначе съест И  
ближнего, и дальнего соседа —  
Всех, кто беспечно лепится окрест И  
ничего о нем не хочет ведать...*

*Не вытолкнуть, но и не продохнуть.  
О если бы судьба сняла излишки!  
Что значит всё вмещающая грудь,*

*Придется мне узнать не понаслышке.*

Нельзя выгалкивать, нельзя забывать то, что врывается с экрана телевизора (тогда это были Бендеры). В какой-то миг муза не поет, а кричит. Но эти прорывы не зачеркивают воли к внутренней тишине и творческой радости, рожденной в тишине. Неверно, что после Освенцима нельзя писать стихов. Можно и нужно. Стихи помогли Шаламову выжить на Колыме — он об этом писал Пастернаку. И после Колымы сам писал стихи, классически сдержанные стихи о Севере. Я не думаю, что вся правда о Колыме была в «Колымских рассказах». Правда была и в этих стихах. И одна правда уравновешивала другую.

У Гроссмана в «Жизни и судьбе» есть замечательный персонаж Иконников, который сперва потерял веру в Бога, а потом снова ее нашел. Вторую веру ему принесла деревенская женщина, пожалевшая немца. Меня больше убеждает другое: тишина горных хребтов в час зари. Неужели могучий дух, создавший этот венец света над застывшим порывом вверх, этот поток красоты, не способен смыть след грязи и крови? Встреча света с формой вызывает внутренний свет, и встречаясь с внутренней формой, этот свет делает личность творческой. А там все равно, что творить. Можно и дрова колоть. Никогда не забуду Пан Юня:

*Как это удивительно! Как это сверхъестественно и чудесно!  
Я таскаю воду, я подношу дрова!*

Я до сорока лет не понимал, что можно вглядываться в обыкновенный древесный ствол, облитый вечерним светом, как в «Чаяк над Темзой» или «Возвращение блудного сына». Я этому научился, глядя, как рядом со мной рождались стихи.

*Все было так обыкновенно И  
вдруг — ожог!  
Собрался свет со всей Вселенной  
В один пучок.  
О, Господи, для сердца слишком,  
Отбавь огня!  
Твоя невиданная вспышка  
Прожгла меня.  
Кто рану жгучую остудит?  
Весь мир иссяк.  
В единый миг твое «Да будет!»  
Пронзает мрак.  
С небес обрушилась лавина.  
Преграды нет.  
В дрожащей капельке единой  
Вселенский свет!  
Так вот что значит откровенье:  
Творящий вихрь.*



Школьником я чувствовал кругом пустоту и невыносимо скучал. Спасали только книги. Потом стали спасать картины. Я ходил к импрессионистам, как к обедне... Не буду перечислять всех ступеней. Я учился творческому состоянию десятки лет. И поэтому отвергаю возражение, которое у читателя, может быть, сложилось: я, дескать, не творец. Что значит — не творец? Не пишете стихов? И я не пишу. Вы не способны любить? Не способны искать счастье в счастье другого? Не способны делать любое дело с любовью? Разжечь костер в лесу — с радостью? Я всему этому научился до того, как почувствовал потребность и силу писать, одно за другим, свои эссе. И на этом мое ученье не кончилось. Я сейчас учусь усерднее, чем в 17 лет. И учусь более важным вещам. Не подробностям жизни, а умению видеть в этих подробностях целое. Я очень поздно начал понимать созерцание, еще позже — смысл молитвы и сделал только несколько первых шагов в ее царстве. Мне бы надо еще 70 лет, чтобы дойти до своей полной меры, и я понимаю Хокусая, который на девятом десятке говорил, что едва только начал как следует рисовать. Надо учиться до последнего дня, даже зная, что этот день, или завтрашний день — последний. Век живи, век учись, дураком помрешь. Сознавал себя дураком. Мы все дураки перед непостижимым. Каждый день оно поворачивается поразному, и каждый день надо учиться, как подходить к нему. Я думал, что Антоний Блум несколько прибедряется, называя себя начинающим в молитве, а потом передумал и понял, что он прав: в творчестве мы всегда начинаем. В творчестве любви, созерцания, молитвы. Вчерашнее знание может пригодиться, как годится язык, создававшийся веками, но что-то главное всегда сегодняшнее, и его всегда надо заново найти.

Несчастье моих сверстников, стариков и старух, что они духовной науки и не начинали, или остались в подготовительном классе, а в прочем, мирском — давно перестали учиться. И когда жизнь круто переменялась — не знают, как приспособиться, беспомощно требуют вернуть все как было, как они привыкли. Хотя и это, привычное, только в воспоминании хорошо, а на самом деле тяжело и пусто: очереди за дефицитом, очереди в поликлинике и в конце концов — очередь за смертью. С жуткими атеистическими похоронами. Даже без нынешнего, — плохо пропетого, — «со святыми упокой».

На старости, когда смолкают страсти, просто «упадает с глаз» повязка. «Тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был мечта и что она не наша». Вылезает наружу абсурд, который всегда был. А если не было абсурда, если был смысл, то он никуда не денется. Подлинный смысл жизни — как солнце на небе. Его скрывают тучи, скрывает ночь, но наутро он снова светит, и наше дело — только восстановить напряженную тишину. В этой тишине, как в зеркале, проступает Смысл.

*Наш смысл не отделен от мирозданья,*

*А спрятан в нем. И дерево само И  
есть то сокровенное посланье  
Творца к Душе, то тайное письмо,  
Которое к отправке не готово.  
Еще в нем не проставлен день и год.  
И в мире нет написанного Слова —  
Текст пишется, покуда ствол растет.*

Текст растет сегодня, сейчас. В настоящем. Из настоящего мы углубляемся в прошлое, заглядываем в будущее. Чем дальше от настоящего — тем ближе к царству теней, к схемам и абстракциям. Только в настоящем осень — это «похороны-воскресенье». Только в настоящем жизнь погружается в смерть, как заходящее солнце, и рождается с новой зарей. История — это наш рок, наше проклятье, такое же, как в поте лица добывать хлеб свой и в муках рожать детей. История постоянно рождает новое, и мы постоянно должны обуздывать новых чудовищ. От этого никуда не уйдешь. Историю нельзя остановить, как нельзя остановить движение галактики. Мы вынуждены участвовать в процессе развития, движения от простого к сложному, со всеми лабиринтами запутанной сложности, со всеми муками потери цельности. Пути истории надо созерцать и пытаться понять, чтобы не попасть в тупики, подготовленные дьяволом, и не свернуть шею на крутом спуске. Но захваченность историей — это помрачение ума, потеря духовного света, погоня за болотными огоньками. Человек, захваченный историей, становится ее рабом, теряет нравственную вменяемость, теряет Бога. Демоны истории возносят его к призрачному величию, а потом низвергают. Живая жизнь, открытая смерти и шагавшая через смерть, приносится в жертву историческому Делу. И Фауст, захваченный делом, слепнет. Он принимает стук лопат лемуров, роющих ему могилу, за бодрый труд болотных солдат.

Рабы истории не думают о смерти. История заменила им вечность, великое Дело — воскресение. Это черта всех строителей, в том числе коммунистических. Мой покойный тесть был убежден, что нормальный человек не думает о смерти, что духовное погружение в смерть — сапоги в смятку. За смертью — ничего. Мысли не за что уцепиться. Воображать себя трупом? Но труп — это уже не я, не он. Умершего просто нет. Страдают близкие, друзья: они его потеряли. А его, как шахматного короля, получившего мат, просто снимают с доски.

Есть только мир пространства, времени и материи. Он порождает свой высший цвет, мыслящий дух, в одном месте так же неизбежно, как уничтожает его в другом. Величие человека в том, чтобы принять реальность без всяких иллюзий, сорвать бумажные цветы, украшавшие оковы, и создать общество, в котором свободное развитие всех является условием свободного развития каждого.

Александр Аронович Миркин никогда этого мне связно не излагал, но так было в книгах, которые мы оба читали и которые лежали где-то на дне его сознания. Книги, впрочем, были прочитаны задним числом. Решающим

аргументом в пользу марксистского гуманизма был очень короткий текст, подписанный генералом Нури-пашой (если я спутал имя, историки меня поправят). В октябре 1918 года в Баку вступили турецкие войска. Город на три дня отдавался солдатам. Кто после 12 часов такого-то дня займется грабежами и убийствами, будет повешен...

Три дня трупы армян валялись на улицах, и над ними в ясные, холодные октябрьские ночи выли собаки. Саню Миркина чуть не пристрелили: аскеры инсценировали расстрел, чтобы тетка, заменившая Сане мать, выдала якобы спрятанное золото. По счастью, во двор зашел турецкий офицер; увидев, что творилось, он стал хлестать стеком по лицам курдов (у каждого погрома есть свои правила, убивать разрешалось только армян). Офицер говорил по-французски. Тетка умолила его остаться у них на квартире. Этим для одной семьи беда кончилась; но резня кругом продолжалась. За три дня и три ночи Саня чуть не сошел с ума. Общее число погибших армян он называл (по слухам) — 25 000 человек. Впоследствии я прочел у Галстяна, что вырезали 10 000. 10 000 — это тоже очень много. Среди погибших были два товарища Сани по гимназии. Раздобыв револьвер, они стреляли с чердака по погромщикам, а последними патронами покончили с собой.

Саня решил, — подобно русскому философу Ильину, — что надо сопротивляться злу насилием и (в отличие от Ильина) сопротивляться конструктивно: низвергнуть до основания мир зла, а затем строить светлое будущее. В 1919 году он вместе с другим гимназистом создали «Союз учащихся-коммунистов». В него вошло до 150 человек.

Мальчики хотели мира без армяно-тюркской резни, без ненависти народов друг к другу. Конspirаторы разок попались с листовками, но директор гимназии, старый русский интеллигент, поругав, не выдал их азербайджанской полиции. Подпольный комсомол дождал вступления в город Красной Армии, и Киров назначил 16-летнего Саню действительным секретарем Бакинского уездного ревкома. Новый деятель смертельно обидел свою тетку, не предупредив ее спрятать серебряные ложечки накануне реквизиции. Впоследствии он признавал эти реквизиции грабежом и вспоминал только одно доброе дело: поручился за директора, арестованного как отец белогвардейского офицера. Но такая перемена мнений пришла поздно.

Я застал Александра Ароновича развалиной государственного человека. Его волевая хватка угадывалась скорее по Зине, тянувшейся в юности за своим образцовым отцом (к 1937 году он был начальником НИСа, научно-исследовательского сектора Наркомтяжпрома), его железная воля была прологом и к ее болезни. Чувствуя нарастающую катастрофу, Зина сказала отцу, что вынуждена взять академический отпуск на год. Это бы ее возможно спасло. Но отец ответил: ты уже на пятом курсе. Нужно только еще одно усилие... Зина, в отличие от миссис Домби, сделала усилие. Сдала сессию на пятерки — с язвами в ладонях от всажённых в них ногтей — и свалилась на пять лет; и до сих пор сражается с инерцией своей победы. Воля на моих глазах иногда помогала справиться с болезнью, а иногда обостряла ее переусилиями, и хотя Зина понимает это, привычка побеждагь

себя была слишком сильна. Я поддразнивал ее сталинским лозунгом: «Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять». И однажды среди старых фотографий попала мне одна, где молодой Александр Аронович был запечатлен в президиуме рядом с Кржижановским, а над ними всеми — транспарант со словами: «нет таких крепостей...».

Надо отдать должное старым большевикам: это была партия потрясающего волевого напряжения. Читая о протестантской этике, я невольно сравнивал ее с мирской аскезой, с пафосом дела, пафосом достижений у большевистских строителей. И даже в мировоззрении, в идее исторической необходимости было что-то переключившееся с кальвинистской доктриной предопределения: одним суждено пасть жертвой исторической необходимости, другим — построить грядущее без нищих и калек...

В 1937 году Бог отказал Миркину (и большинству людей его склада) в своей благодати. Началось царство абсурда. В этом безумии, задним числом, просматривается система: уцелеть могли только те, кто топил своих товарищей или, по крайней мере, плясал каннибальскую пляску на трупах поверженных. Партия маленьких Фаустов, одержимых осушением болот, превращалась в партию стукачей и заплечных дел мастеров. В этом была историческая необходимость; началась она, если взглядеться, раньше 1937-го и продолжалась позже. Но для Александра Ароновича наступил чистый абсурд. Умер Серго, дела принял

Лазарь Моисеевич Каганович и на партийном собрании заявил: «Если мои сведения верны, то между нами сидит английский шпион Миркин». К счастью, обвинение было открытым, комиссия из двух заместителей наркома, созданная для проверки, оправдала решение получить в Англии патент на советское изобретение. Но потом замнарком Серебровский собрал сотрудников и опять открыто, при стенографистках, сделал официальное заявление, что Миркин скрыл от партии провокаторскую деятельность своего отца, бакинского часовщика. Между Серебровским и Миркиным был деловой спор, а всякая ошибка тогда означала вредительство. Следовательно, надо не исправить ошибку, а обличить критика. Это Серебровский понял верно. Но он ошибся, играя в открытую. Миркин в ярости бросился душить его. За-вениягин (будущий начальник ГУЛАГа) оттащил моего тестя в сторону... В конце концов, удалось доказать, что часовщик Арон Миркин жил и умер в Петербурге, а Саню маленьким взяла к себе в Баку бездетная тетка. Следовательно, Серебровский всё врал. План по арестам был выполнен в другом персональном разрезе: арестовали члена ЦК Серебровского (в эти годы чем крупнее пост, тем опаснее).

Миркину в каком-то смысле везло. Но не сошло с рук то, что повторялось во всех анкетах: в 1923 году, будучи секретарем комсомольского комитета МВТУ, он голосовал и активно выступал за платформу Троцкого. Факт был известен Маленкову, составителю картотеки уклонистов. В 1923 году Жора Маленков был секретарем партийного комитета того же МВТУ, непосредственным партнером Миркина в дискуссии.

Александр Аронович оказался в положении кальвиниста, который по

всем обстоятельствам выходил проклятым, осужденным на муки и в этой, и в будущей жизни, но догматически обязан был сохранять уверенность в спасении. То есть по-прежнему верить в правоту исторической необходимости, ломавшей его собственные, а не чужие кости. С руководящей работы его сняли. За самоотверженную работу по монтажу промышленности на Востоке несколько раз представляли к орденам и ни разу не дали (была заметка в личном деле). Миркин упорно верил в правоту партии и совершенно искренне, в семейном кругу, осуждал себя за голосование 1923 года. Он с уважением говорил о Сталине. Впрочем, портрета не вешал, культ Сталина ему эстетически претил.

В 1923 г. Киров приезжал в Москву, останавливался у Сталина и позвонил своему воспитаннику, пригласил в гости. Сталин был шокирован: к нему в дом — мальчишку, студента! Отвернулся и стоял спиной, глядя в окно, пока студент, сидевший, как на иголках, не выскочил. Сталин не умел держать себя с молодежью. Это Миркин запомнил — и подавил, привык считать мелочью. Дисциплина решала все. Но в конце концов, природа не выдержала. В 1952-м, низведенный до рядового прораба, Миркин был обвинен в краже белья из рабочего общежития. Обвинения в шпионаже и т.п. он выдерживал, но от такого пошлого навета физически разорвалось сердце. Четвертого апреля 1953 года Александр Аронович, все еще не в силах подняться после инфаркта, забился в истерике, когда радио заговорило о незаконных методах следствия.

Тяжелый сердечник, инвалид, он в 48 лет оказался заперт в клетку семьи. Подавленное чувство нелепости жизни прорывалось в депрессии, скрытая обида на партию — в мелочной ранимости. Достоинство руководителя удавалось поддерживать только в маленьком хрупком мирке, обсуждая ничтожные семейные дела, и за скудным семейным столом. Меня он принял с мрачным недовольством: я окончательным отымал дочь. Однако вскоре переменился. Почувствовал, что уважаю. Я его жалел и уважал его прошлое, по-своему безупречное. Когда исключили из партии друга, он — один голосовавший против — крикнул: «Вам будет стыдно за свое решение!». Совесть — она всегда совесть, коммунистическая или какая другая, многие верующие вели себя хуже и утешали себя поговоркой: «не согрешишь — не покаешься; не покаешься — не спасешься». Многие и сегодня отбросили не только коммунистическую, а всякую совесть. Пока что к этому свелась вся моральная перестройка.

Я понимал ответ отца Зине, после очередной попытки поколебать веру в Дело: «Доченька, если ты права, мне надо покончить с собой!». Быть самим собой для него значило две вещи: служить Делу, оправданному Исторической Необходимостью, и подниматься по лестнице Дела. Он был на пороге кабинета замминистра; дошел бы и до министра, как Ванников<sup>97</sup>. То, что 37-й год сбросил его вниз, он вынес, они почти все это выносили.

Я где-то уже писал, что Ванников из наркомата вооружений попал

---

<sup>97</sup> Моня Сандлер, основатель «Союза учащихся-коммунистов», дошел до замминистра и прожил чуть ли не до ста лет.

прямо в застенки, а из застенка, с кровоподтеками, в штанах без пуговиц, — в Кремль. «Видишь, как меня отделали твои опричники», — сказал бывший нарком. Они были с Кобой на ты. «Я тоже сидел в тюрьме», — ответил Сталин. «Ты сидел при царе, а я при тебе!» Сталин с удовлетворением улыбнулся, потом взял лист бумаги, нарисовал два глаза, зачеркнул один и сказал: «кто старое помянет, тому глаз вон!». Потом зачеркнул и второй, добавив: «А кто старое забудет, тому оба. Иди, тебя подлечат!». Реабилитированный Ванников опять получил министерство и продолжал верой и правдой служить Исторической Необходимости. Кажется, он отличился при сооружении атомной бомбы. Личное — это лишнее. Главное — Она, Историческая Необходимость, занявшая в сознании место Бога. «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей...»

Несчастье Александра Ароновича заключалось, может быть, в том, что он — несколько раз побывав на пороге Лубянки — так туда и не попал и реабилитирован тоже не был. Гвоздь, готовый быть вбитым в здание светлого будущего, надломился, но остался гвоздем. Надломленность его угадывалась в тяжелой мрачности, с которой встречался всякий Чужой. Кажется, в Чужом, то есть в наших с Зиной новых друзьях, подозревалось неуважение к Главе Семьи, в которой помнилось его славное прошлое. Мы жили вместе только летом, на даче; каждый раз я приезжал с добрым чувством к инвалиду Истории и к середине лета уставал от его тяжелого характера. Потеряв практическое участие в Деле, он хранил верность ему как часть душевного комфорта и все больше заботился о всяческом комфорте, о каких-то маленьких удовольствиях. При виде вкусных вещей терял свою волю и каждый раз платил за это тяжелыми приступами холецистита.

В хорошие минуты я пытался расширить круг его эрудиции и однажды читал, кое-как разбирая по-французски, главы «Моей жизни» Троцкого; другой раз предложил прочесть «медальоны», то есть личные характеристики руководителей, в «Технологии власти» Автарханова. Александр Аронович неохотно взял в руки завязтую антисоветчину, но любопытство победило. Прочитав, он честно подтвердил, что про Маленкова и Кагановича там все верно. «У него еще был сапожнический еврейский акцент», — добавил он не без яда про сталинского наркома. Чеченец Автарханов этого, видимо, не заметил или не считал важным.

Впрочем, решающую роль в политическом повороте моего тестя сыграли не мы с Зиной, а Ольга Григорьевна Шатуновская. Ей посвящена следующая глава.

Ольга Григорьевна и ее подруга Мирра создали атмосферу, в которой разрыв с генеральной линией оказался неожиданно легким. Линия колебнулась назад, к реабилитации Сталина. Бакинское землячество в Москве встало в молчаливую оппозицию к ЦК. Во время чешской весны все глубоко сочувствовали Дубчеку.

Однако в главном, которое глубже политики, ничего не изменилось. Человек Дела остался без Дела. В Деле для него было всё: вера, надежда, любовь. Троцкий писал, в «Моей жизни», что уровень нравственности

определяется масштабами дела. Великое дело требует великих нравственных решений. То есть можно расстрелять одним махом несколько десятков тысяч Врагов Революции, но нельзя шпионить за своими товарищами, как Сталин (замечу кстати, что именно отсутствие всяких табу было великим преимуществом Сталина в борьбе с Троцким, Зиновьевым и т.п.). В Александре Ароновиче я видел постепенное разрушение человека, выброшенного из Дела, с которым он соразмерял себя. Так бушмены спиваются, загнанные в резервацию, где невозможно охотиться. Дело для Человека Дела то же, что священная охота для бушмена. Без дела он без своей святыни, без своего бога.

Оставались мелкие радости отставника. В брежневские годы партия простила ветеранам 20-х годов то, в чем сама была перед ними виновата: дискриминацию за голосование против Сталина (странным образом длившуюся и после выноса Сталина из мавзолея). Александр Аронович был причислен к пенсионерам союзного значения, получил некоторые льготы, и это его порадовало. Особенно утешило приглашение на какие-то бакинские торжества. Тут опять Ольга Григорьевна снимала с него стружку и популярно объяснила, кто такой Гейдар Алиев и чего стоит его показуха.

Ее суждения о лидерах постсталинской эпохи были беспощадными. Хрущева она презирала.

Ольга Григорьевна считала, что у Хрущева просто не хватило храбрости опубликовать дело, и его отставка — наказание за трусость. На что она рассчитывала? Видимо, на эффект, подобный фильму «Покаяние», но на невымышленном материале. На покаяние партии (как это случилось в Чехии), на пробуждение коммунистической совести, на переход от коммунистической совести к просто совести, на попытку социализма с человеческим лицом. Дальше мог быть мягкий переход к «социальному рыночному хозяйству» (добавлю я от себя). Но нужны были другие люди, вроде Дубчека и Смрковского, а в России Сталин всех таких перестрелял. Нужны были политические деятели или, по крайней мере, политические преступники, способные покаяться. А коллегами Ольги Григорьевны были, как она сама их назвала, бандиты.

Вот еще одна из ее невымышленных историй. Пришла на прием в Парткомиссию женщина, которую оговорили, обвинили в получении взятки. Эта женщина, прокурор из города Сочи, рассказала, что причиной оговора была ее попытка раскрыть крупную аферу. Ольга Григорьевна пошла по указанному следу. У нее были огромные полномочия, она могла, например, наложить перлюстрацию на частную переписку даже высокопоставленных лиц. Оказалось, что в деле замешан один видный журналист, член ЦК, близкий к самому-самому верху (А. нуждался в деньгах для кутежей). Он, по-видимому, нажал на педали. Сердюк, заместитель председателя, ворочавший всем за спиной дряхлого Пельше, потребовал прекратить дело. Ольга Григорьевна отказалась. Тогда он собрал компромат на всех ее свидетелей. Кто Богу не грешен, царю не виноват? Один приобрел мебельный гарнитур за оптовую цену; другой напечатал диссертацию на казенной бумаге. Собрав все это, Сердюк подошел и нагло сказал: «Ну что,

Ольга Григорьевна, чья взяла?!». Она тогда не вынесла и в 1962 г. подала в отставку.

После увольнения Хрущева важнейшие документы были изъяты и уничтожены. Намек Хрущева на преступление 1 декабря 1934 года остался недоказанной болтовней. Вместо нравственного потрясения родилась циничная частушка:

*Эх, огурчики, помидорчики!*

*Сталин Кирова убил в коридорчике...*

Цинизм наверху слился с цинизмом внизу. Мне пришлось слышать доклад о роли совести в падении коммунизма. Я возразил, что гораздо большую роль сыграла бессовестность. Совесть действительно пробудилась — у Григоренко, Костерина, Лерт. Их называли коммунистической фракцией демократического движения. Но таких коммунистов можно было пересчитать по пальцам. Господствовала бессовестность, и в какой-то миг она переменила маску, коммунистическую на либеральную или православную. Если считать коммунизм абсолютным злом, то все равно — как бы ни хворала, лишь бы померла. Но коммунизм, как и всё под луной, — зло относительное, распад его сегодня мало кого радует. Думаю, что путь правды и совести, за который боролась Ольга Григорьевна, был лучше. Но всё это — сослагательное наклонение, которого в тексте истории нет.

Ольга Григорьевна осталась одна со своей памятью. Распускались слухи, что она одряхлела и всё путает. Это ложь. Я разговаривал с ней по просьбе дочери Запорожца, просившей уточнить, — действительно ли Запорожец сыграл роковую роль в организации убийства. Объяснил, что всё уже рассказано, но требуется ее личное свидетельство. Лицо старухи (почти девяностолетней) мгновенно изменилось. За полминуты она собралась и четко, как на экзамене, повторила слово в слово то, что я слышал от нее десять и пятнадцать лет тому назад: как дважды (или трижды — за свою память не ручаюсь) охрана задерживала Николаева в коридорах Смольного и отымала портфель с оружием, а Запорожец приказывал отпустить задержанного и вернуть ему портфель, надрезанный, чтобы легче было достать пистолет...

Был какой-то пласт в ее душе, о котором она говорила с нами, со мной и Зиной, когда мы изредка виделись. Но в остальном — оставалась своей среди друзей юности. Чувство реальности Бога было ей, в какой-то смутной форме, дано. Это чувство поддерживало ее в трудные полосы жизни. Но оно не было таким сильным, чтобы сделать совершенно независимой от Дела. Думаю, что она очень остро чувствовала свою делооставленность, и страдала от нее, как от богооставленности (дело было для нее подобием второй ипостаси). Сильная духом, она легко несла свое проклятие, но молча сознавала его.

Человек, который выходит на авансцену истории, становится рабом своей роли, своего ампула, и платит за величие, которое сцена ему дает, частью сердца. Это касается почти всех. В иных случаях дело доходит до совершенно каменного сердца; в других — сердце только несколько



сжимается. Но историческое величие — всегда тяжелый груз, и даже на большое сердце оно давит. Среди маленьких людей, маленьких по историческому счету, легче найти большое сердце, чем среди больших, среди Деятелей. Это не только в русской литературе, очень расположенной к маленьким людям, бедным людям. Так и в жизни.

Чтобы пояснить свою мысль, вернусь к семье Миркиных, к тестю вместе с тещей. Александра Авелевна всегда была маленьким человеком рядом с большим, без какого бы то ни было замаха на роль в истории. Но в 1937-м она говорила одиннадцатилетней Зине: будь особенно внимательна к детям, у которых посадили родителей. Приглашай их в гости, дружи с ними. Бывают ведь ошибки — и потом подумай, как страшно жить, зная, что твой отец — враг народа... Она отправляла подруге посылки в лагерь. Родная сестра заключенной боялась отметиться; потихоньку передавая деньги, спросила: не боится ли Аля. Та ответила: если я не могу помочь другу, попавшему в беду, то моя жизнь не имеет смысла. К чести Александра Ароновича надо сказать, что он ей не препятствовал. Но это была не его инициатива. История, которой он отдался, сосредоточивала на Историческом, на большом, больше человеческих масштабов. Он поступал, как подсказывало сердце, на собрании, когда исключали друга, или при вызовах, когда два месяца подряд, угрожая расправой, от него требовали показаний против бывшего меньшевика. Но в малых человеческих делах ему сердца часто не хватало. Всё, что старики Миркины сделали нам хорошего, было инициативой Александры Авелевны. Александр Аронович, подумав, шел следом. Правда, если уж решился, то был тверд в своем решении и не попрекал этим. Что-то от крупного человека в нем оставалось.

Александр Аронович никак не расставался с сознанием своей значительности и нашел новое основание для этого в значительности своей болезни. Он ухитрился не заметить, что Александра Авелевна, ухаживавшая за ним, сама смертельно больна. Едва держась на ногах, она вставала с постели — ставить ему горчичники. Перед ее смертью легко было уговорить его, что ей лучше, и отправить в санаторий. Она не хотела его видеть. «Ему нужны только положительные эмоции, — сказала она, — а у меня больше нет сил притворяться».

Неожиданная для него смерть жены потрясла его. Он вдруг понял, что потерял, и почувствовал трагизм обыденной жизни, далекой от подмоштов истории. Ему вдруг оказалась нужна музыка Баха, в которой раньше он совершенно верно чувствовал чуждую его мировоззрению открытость к тайне смерти и воскресения. Теперь он не мог понять, почему раньше ворчал, когда мы включали органные записи, почему это вызывало у него только одну ассоциацию — с похоронами. Сколько таких потрясений нужно, чтобы сердце, стиснутое Делом, заново раскрылось? И что Богу делать с такими недораскрывшимися? Сжечь в вечном огне, потому что не до конца раскрылись? Или пустить в рай, к которому они совершенно не готовы?

Как-то в полусне я увидел себя в раю Шивы (из сказок острова Бали). Я сидел в самом конце праздничного зала и радовался, что могу служить тем,

кто лучше меня. Потом подумал, что есть ведь и похуже меня... Тотчас стены Рая рухнули, и я увидел крутой спуск в ад. Александра Авелевна умирала с райской мыслью: в последние дни она садилась на кровати, опускала ноги на пол и говорила Зине, что не ляжет, пока та не уедет домой, спать в своей постели.

В Писании сказано: лицемеры, говорите о любви к Богу, которого не видите, и не любите ближнего, которого видите.... Если повернуть фразу, выходит, что любовь к ближнему — прикосновение к божественной любви. Кто любил много, тому простится многое. Если там есть суд, способный прощать. «Сострадая, сердце Бога остается твердым» (не помню кто это сказал. Все равно, кто). И скорее всего, Бог действует без внешнего суда. Душа, полная злобы, остается со своей злобой, полная суеты — с суетой, любящая — с заботами любви, пока живы предметы ее любви. А то, что стремится к вечному покою — тонет в вечном покое. Если Бог не решит использовать всё, что в ней сложилось, для своей вечной работы.

Как умирает Раб Истории? Я пережил это 11 января 1943 года. Мне было около 25 лет, но на миг показалось, что смерть неизбежна. Оставалось только умереть с достоинством, с оружием в руках, и я взял на изготовку карабин. Потом раздался крик, переменявший обстановку, но примерно минуту я был уверен в своей скорой смерти, как Достоевский перед казнью на Семеновском плацу. Страх не было. Непобедимый страх был за несколько месяцев раньше, когда казалось, что есть возможность избежать смерти и страшно было, что я этой возможностью не воспользуюсь. С тем страхом и боролся полчаса. А здесь страха просто не было. Была какая-то глухая тоска. Я много раз думал, в чем природа этой тоски, и понял это вдруг, стоя возле могилы Волошина на горе Кучук-Енишар, с видом на два залива, горы и холмы на все четыре стороны. Тоска 11 января 1943 года была от тесноты. Кругом, в мутной рассветной мгле, расстилалась заснеженная степь, но я чувствовал себя загнанным в тесную щель, почти что заживо похороненным, и даже не почти, а в последний миг перед тем, как ляжет, отрезая меня от жизни, могильная плита. Думаю, этот миг обличил мою закрытость от Бога. Тогда я этого не понял, понимаю сейчас.

Сейчас полон для меня только день, когда я мысленно прохожу сквозь смерть. Она входит в мою жизнь как миг тоски между заходом солнца и воскресением зари. Я созерцаю эту смерть с радостью, с ожиданием воскресшего света, разлившегося по всему небу, перед тем как истаять. Созерцаю глазами — в природе и в иконе, созерцаю ушами — в музыке, созерцаю умом, размышляя. Бог открывается не через жизнь и не через смерть, а через жизнь-смерть, через жизнь в смерти и смерть в жизни. Ад — это загнанность в абстракцию тесноты без выхода в ширь или абстракцию пустого бесконечного пространства. То и другое не раз было метафорой ада. Я принимаю обе.

Бог не ведет судебного процесса с грешниками и не взвешивает их дел на весах. Но он дает или не дает благодать в жизни и в посмертии. Кому из Рабов Истории он даст благодать последнего мига? Кого оставит в темноте? Что он дал Сане Миркину? Это был хороший мальчик, порывистый,

великодушный, но его съела история, с ее расколом на партии и войной партий. А Оля — почти что гриновская Бегущая по волнам на своей лодке, посреди Каспийского моря, управляясь с парусом и компасом, чтобы доставить депеши из бакинского подполья в Красно-водск. Неужели добродетели язычников — только скрытые пороки и высший суд утвердит приговор самой себе: умирать в добровольной одиночке на Кутузовском проспекте? Потеряв перед этим сына?

Там, где сама природа раскрывает тайну Бога, хочется думать, что у каждого будет своя заря. У одного — глухая, чуть промелькнет — и закрыли ее облака. У другого — на все небо. Но всегда — заря. И каждая заря, пока не догорит, пока не сольется с ночью, останется вот этой, неповторимой зарей. А там начинается царство Бога, который не слушается богословов и не укладывается в мой ум. Бога, в котором одни мистики видят вечный покой, другие — вечную работу.

*Я не знаю, что после смерти,  
Я не знаю, что там, за гранью,  
Но лишь небо предел мне чертит,  
И как небо — мое незнание.  
Я не знаю, что раньше было,  
Был ли мир до земли иль не был,  
Но я знаю, что над могилой,  
Над великою тьмою — небо.  
Я не знаю иного света,  
Мне не мыслилась жизнь иная,  
Но бездонное небо это Я всем  
сердцем бездонным знаю.  
Вдруг ударившись лбом и грудью О  
твердейший предел небесный,  
Я забыла о том, что будет,  
Но что ЕСТЬ, мне теперь известно.*

Я вспоминаю вечер, когда над Женевским озером поднялся туман, и Альпы на том берегу показались летящими в воздухе. На миг пришло чувство, что я сам лечу. Мысль о двойственности, о столкновениях противоположностей стала соблазном, и весь мир — ложью, со всеми его правдами и догмами, со всей борьбой и страданием. Подумать о них — упасть с неба на землю.

А как же земля? Я вернусь к ней, когда поток, поднявший меня, ослабеет. Долго парить никогда не удастся, даже когда очень хочется. А память о часе без земной тяжести — противовес всем идеям и страстям...

Следом пришла мысль: только невысказанное, не имеющее очертаний, плавающее в тумане, — недвойственное. Высказанное, имеющее очертания, сразу раскалывается, и каждый принцип упирается в противоположность. Мысль изреченная есть ложь. Она может точно соответствовать факту, но духовно цельное в нее не влезает. Я верю в духовно целое, верю в

непостижимое. Верю, что мое переживание духовно целого — не иллюзия, не призрак. Свет, вспыхнувший когда-то в моей груди, не лгал. Свет, в котором тонут все вопросы, есть. Откуда бы он ни взялся, этот свет: из радости, перехлестнувшей через все пределы, или из страха бездны. Поток света рождается из самой тьмы, когда взглядишься в нее до совершенного падения в черную бесконечность и вдруг почувствуешь, что реально бесконечное недвойственно, что это не просто тьма, а тьма, из которой рождается свет. И этот свет — последняя глубина меня самого. Вечен *только* свет, рождающийся из мрака, а предметы, озаренные светом или попавшие в тень, одинаково исчезают; люди, озаренные самым ярким светом, умирают и оставляют после себя тоску небытия, и снова надо вглядываться и «держат ум свой во аде», пока из тьмы не родится свет, заново в каждый миг.

## Пленница истории

С Ольгой Григорьевной я познакомился в доме моего тестя, Александра Ароновича Миркина. В ранней юности он вместе с другим гимназистом основал в Баку, в 1919 г., Союз учащихся-коммунистов. Это был их ответ на армянскую резню, устроенную аскерами Нури-паши вместе с местными азербайджанцами в октябре 1918 года. Тогда три дня трупы валялись на перекрестках. И над ними всю ночь выли собаки...

Живой легендой бакинского подполья была Оля, член партии с 1916 г. (ей было тогда пятнадцать лет), в 1918 г. — секретарь Шаумяна, турками присужденная к повешению, уцелевшая благодаря порыву великодушия вновь назначенного азербайджанского министра внутренних дел. Заболевшая тифом, ухаживая за больными товарищами во Владикавказе, занятом белыми, вывезенная в тюках с коврами в Грузию и, едва оправившись, вернувшаяся на подпольную работу в Баку... Александра Ароновича больше всего потрясло, как Оля, девушка 17 лет, в одиночку управилась с парусом и компасом и пересекла Каспийское море. В мою память врезалось другое: пароход из Ванинско-го порта в Магадан. Качка страшная. Корабль то взлетает вверх, то падает в пропасть. В трюме ээка не обнимаются, как родные братья, а перекатываются, живые и мертвые, в жиже из морской воды, дерьма, мочи и блевотины. В это месиво бросали и куски хлеба. Когда крикнули: кто хочет в галюн? — Ольга Григорьевна, оставшаяся на ногах, поднялась — и осталась на палубе, спрятавшись за пришвартованные драги. Другие продолжали перекатываться в трюме.

Кажется, я впервые увидел ее в 1965 г. Постарела, пополнела, но сила блистала в глазах через толстые стекла. Дряхлеющее тело держалось на ступке воли. После Лубянки, Колымы и ссылки Хрущев назначил ее, вместе с другой каторжницей, Пикиной, проводить реабилитацию. Старые кадры Парткомиссии для этого не годились. Ольга Григорьевна была создана для своей миссии. Окруженная ненавистью, она ломала сопротивление сталинистов. Узнав, что пожизненную ссылку забыли провести указом через Президиум Верховного совета, Шатуновская одним махом распустила всю контору по домам. Маленков пытался саботировать, но у Ольги Григорьевны было право прямого доклада Хрущеву, и Хрущев показал, кто в Советском Союзе главный.

В 1960 году Хрущев назначил Шатуновскую в комиссию Шверника, расследовать убийство Кирова. Шверник там возглавлял, генеральный прокурор, председатель КГБ и один из заведующих отделов ЦК присутствовали на заседаниях, а работала она.

Ольга Григорьевна умела говорить официальным языком (отдельные канцеляризм прорывались и в разговоре со мной), но со страстью каторжницы, помнившей Колыму. Ей невольно покорялись. Она сумела

раскрыть сверхсекретные сталинские сейфы, найти бумаги, на которых рукой Сталина были набросаны схемы московского и ленинградского террористических центров, родившихся в его голове. Она нашла свидетелей, знавших о совещании на квартире Орджоникидзе, когда несколько членов ЦК, совесть которых вопила против голодомора крестьян, предлагали Кирову заменить Сталина (а Киров отказался, боясь, что не управится с Гитлером). Она разыскала члена счетной комиссии XVII съезда, забытого расстрельщиками и оставшегося в живых, и узнала тайну о 292 бюллетенях, в которых вычеркнуто было имя Сталина. Она выяснила, как в Ленинград был направлен чекист Запорежец с заданием убить Кирова, как Леонида Николаева убедили взять на себя эту роль, как его трижды задерживала личная охрана Кирова — и как трижды убийце возвращали портфель и оружие. Ей удалось восстановить картину первого допроса Николаева, кричавшего, что он выполнял волю партии. Все свидетели были расстреляны или покончили с собой, но Пальгов, прежде чем застрелиться, всё рассказал Опарину; Чудов, накануне ареста, рассказал все Дмитриеву, и письменные показания Опарина и Дмитриева совпали друг с другом и с показаниями конвоира Гусева, которого Сталин не заметил и не уничтожил...

От имени комиссии Шверника Ольга Григорьевна запросила КГБ и получила официальную справку, по полугодиям, о масштабах Большого террора, развязанного после убийства Кирова. Общий итог она помнила наизусть до смерти, и я его помню буду, пока жив: арестовано 19 840 000 человек, расстреляно в тюрьмах 7 000 000, всего за 6,5 лет, с 1 января 1935-го по 1 июля 1941 г. Сегодня кажется, что это фантастически большие цифры. Но Пол Пот, в маленькой Кампучии, примерно за такое же время уничтожил 3 374 768 человек (из Протокола Комиссии по расследованию. Цитирую по книге «Похороны колоколов», М., 2001, с. 9). Мудрено ли, что Сталин, в Большой России, перебил больше.

Хрущев плакал, потрясенный результатами расследования, но Сулов и Козлов убедили Никиту Сергеевича сделать вид, что расследование еще не закончено, и Хрущев согласился отложить публикацию на 15 лет. Ольга Григорьевна безуспешно пыталась доказать, что это политические самоубийство, и оказалась права. Цекисты не могли спать спокойно, зная, что у Хрущева, с его непредсказуемыми решениями, осталась в руках идеологическая бомба. Страх перед этой бомбой — одна из причин отставки Хрущева. Сразу же после выхода Ольги Григорьевны на пенсию (из-за ссоры с Сердюком, фактически возглавлявшим Парткомиссию) в 1962 г., дело в 64 томах стали потихоньку потрошить, а после октября 1964 года его выпотрошили до основания. Улики и справки исчезли или подменялись другими. И правда осталась только в памяти пенсионерки, связанной подпиской о неразглашении, но твердо помнившей все основные факты. Незадолго до смерти Ольги Григорьевны дочь Запорожца, расстрелянного, как и все, кто слишком много знал, с огорчением узнала о роли своего отца и попросила меня еще раз расспросить, точно ли всё было так, как я рассказывал. Я пошел на Кутузовский. Ольга Григорьевна очень

одряхла, сидела согнувшись. Но услышав, в чем сомнение, — распрямилась и четко повторила слово в слово то, что я слышал от нее лет за десять или пятнадцать раньше. Слухи, что она потеряла память и всё путает, злостно распространялись сталинистами.

При первой возможности, 10 февраля 1990 г., Шатуновская написала в «Известия» письмо, где коротко и четко изложила основные результаты расследования и главные подлоги, совершенные сталинистами (у нее оставались друзья в Парткомиссии, и они ее тайно информировали, а потом, когда началась перестройка, ей полуофициально обо всем рассказали). Это было последним делом ее жизни. Вскоре она умерла. Однако часть рассказов Шатуновской записывались ее дочерью, Джаной Юрьевной, и внуком. Эти рассказы совпадают с тем, что я сам от нее слышал и с ее письмом в «Известия». Внук Ольги Григорьевны, Андрей Бройдо, выехав в Америку, заложил «Рассказы в семейном кругу» в интернет. Адрес интернета: [eic8Iy.ics8Iy.eiyi/=Bgo1йo/ola/ola.Bt1](http://eic8Iy.ics8Iy.eiyi/=Bgo1йo/ola/ola.Bt1). Этот фонд до сих пор не учтен историками. Так же как публикация его, осуществленная американогерманской фирмой в очень небольшом числе экземпляров («Об ушедшем веке рассказывает Ольга Шатуновская». ВебИп, ^a ^o11a, 2001).

Им мешает, кроме всего прочего, антикоммунистическая прямолинейность. Слышатся голоса, что разница между Сталиным и Кировым невелика, и не так важно, как один гад пожрал другого гада. С этой точки зрения, переход от культурной революции Мао к новой экономической политике Дэна тоже не имеет значения... Думаю, что миллионы расстрелянных по тюрьмам и упавших без сил на Колыме, в Воркуте и на бесчисленных лесоповалах думали об этом иначе. Когда Сталин умер, я вышел на волю и вышли на волю все мои лагерные друзья. Для всех нас очевидно, что Большой террор разрушил армию. Большой террор дал Гитлеру его легкие победы, а нам — необходимость затыкать собственной шкурой просчеты бездарных сталинских ставленников. Следствием Большого террора была блокада Ленинграда и миллионы пленных, умиравших в гитлеровских лагерях или в сталинских — за «измену Родине». Большой террор истребил все кадры, способные повернуть страну, которую победы на поле брани привели в социальный тупик. И при первой попытке реформ оказалось, что нет у нас реформаторов, а есть только теневики и бандиты, установившие нынешнее царство коррупции. Пока имя Сталина не будет предано всенародному проклятию, не будет у нас покаяния. А не будет покаяния, то и возрождения России не состоится.

Вернемся, однако, к Ольге Григорьевне. Она стоит того, чтобы познакомиться с ней поближе. Со мной это случилось после одного совершенно неожиданного разговора. Я приехал, собственно, за какими-то лекарствами из аптеки «4-го управления». Роясь в ящиках, она спросила: «Читали вы сегодня «Правду»? Там такой-то пишет, что Бога нет». Я был ошеломлен. Старая большевичка могла сказать мне: «Что вы делаете, Гриша? Это бандиты. Они вас убьют!». Но Бог! Вопрос о Боге был давно закрыт для всех ее друзей. Они не сомневались, они знали, они верили в

свой атеизм с твердостью Коли Красоткина (а Оля вступила в партию примерно в этом прекрасном возрасте). И вдруг — удивление, это «Правда» отрицает Бога! Я осторожно спросил, чего другого она могла ожидать от Центрального Органа своей партии. В ответ она очень просто пересказала свой духовный опыт в ссылке: что-то огромное, неизмеримое подхватило ее и подняло над землей, надо всем пространством и временем, и она почувствовала сердцем, что это дыхание Бога, что иначе эту реальность нельзя назвать, что других слов у нее нет. Почему она об этом заговорила со мной? Потому что ни с кем другим она говорить про свой опыт не могла, а сказать хотелось. Мостиком к разговору были стихи Зинаиды Миркиной и стихи Тагора, близкие им обеим. ««Гитанджали», — говорила Шатуновская — я в 16 лет готова была носить на груди». (В стихах Тагора Бог и возлюбленный сливаются, как первая и вторая ипостась в Троице; и у Зинаиды Миркиной так же.) «Почему же вы не сохранили книжку?» — «Пришли ходоки из деревни, сказали, что нет книг, я отдала всю свою библиотеку». — «Зачем в деревне Тагор?» — «Что вы, разве в могла так рассуждать? Революция, значит всё общее. Все мои друзья погибли на фронтах». Последняя фраза логически не связана с предыдущими, но она связана чувством, энтузиазмом, распахнутой душой. Когда Красная Армия во главе с Кировым вошла в Баку, Оля взбунтовалась против Наримана Нариманова, присвоившего себе несколько дворцов. Оля и ее друзья считали, что в дворцах должны жить дети рабочих. Но Нариманов нужен был как азербайджанская декорация для советского управления Азербайджаном. Бунтарей перевели в центральную Россию и там понемногу приучили к партийной дисциплине.

Я застал в Москве двадцатых годов только следы революционного энтузиазма. Он уже угасал. Энтузиасты группировались вокруг Троцкого, трезвые дельцы — вокруг правых, аппаратчики нашли 'своего вождя в Сталине. Но какой-то ореол святости вокруг слова «революция» еще горел, Бога писали со строчной, а Революцию, случалось, и с прописной. Это не было орфографически обязательно, но так было в сердцах советских мальчиков и девочек. Революция была богом, и этот бог увлек Олю и многих других, даже постарше. Их паровоз летел стрелой, в коммуне остановка... И они катились, как вагоны по рельсам, которые вели совсем не туда.

Что-то подобное произошло с Цюй Цюбо (надеюсь, что не путаю его фамилию. В семидесятые о нем писал Л.П. Делюсин). Он учился в революционной Москве, увлекся — и стал одним из основателей китайской компартии. Потом произошел разрыв с Чан Кайши, Цюй Цюбо схватили, пытали... Он выдержал пытки, никого не предал. И тут случилось странное для нас дело (но совершенно обычное в Китае): ему предложили бумагу, тушь, кисточку — написать то, что хочется, перед смертью. В Китае нет физических прав личности, но есть твердое правило хранить духовный облик замечательных людей, оставивших след в истории. Это очень древний обычай, и Чан Кайши остался ему верен. Цюй Цюбо взял кисточку — и написал, что он выполнил долг перед товарищами. Но ему глубоко



жаль, что пришлось связаться в политику. Он любил стихи, любил живопись — зачем, зачем он все это бросил! Нечто очень сходное говорил Бухарин на очной ставке со своим учеником Александром Айхенвальдом: не пишите ни о политике, ни об экономике, думайте и пишите о человеке! Если довести эту мысль до конца — бросьте брэнное! Думайте и пишите о вечном!

В Ольге Григорьевне этот поворот к вечному начался — но становился на половине пути. И я могу только догадываться, почему так случилось. Однажды я спросил ее, почему она не пишет воспоминаний. Она ответила мне: я посвятила жизнь ложному делу, и мне не хочется об этом вспоминать. Однако она очень охотно вспоминала отдельные эпизоды. Просила только детей не записывать (видимо, вспоминала обязательство не разглашать; но рассказы — это тоже разглашение).

Приведу две истории, которых нет в записях детей. Первая история — как ее уломали подписать хоть что-нибудь. Пытать ее начальник запрещал. Возможно, она ему понравилась. Так бывает. Но придумана была нравственная пытка: приводили заключенного, и он умолял ее подписать, иначе его убьют. Она отказывалась, и его убивали. Потом приводили второго... На третий раз, поговорив с начальником следственного отдела, она согласилась подписать поданную ей нелепость.

Другая история — рассказ о встрече с Маленковым. Собственно, интересных встреч было три. Первая — заочная. Мирзоян (тогда — секретарь ЦК Казахстана) был вызван к Маленкову, зашел — и увидел на столе список с запросом санкции ЦК на арест. Заглянул — и увидел там имена Сурена Агамирова и Ольги Шатуновской. В 1937 году было ясно, что правду искать бесполезно. Зачем-то уничтожают героев бакинского подполья. Мирзоян встретил Агамирова и попросил предупредить Олю — у нее трое детей, пусть вызовет из Баку мать. И тогда Ольга Григорьевна в последний раз увидела Сурена, друга своей юности. Вместе играли в горелки, вместе были присуждены к повешению и отпущены во Владикавказ (тогда еще красный). Вместе вернулись в Баку. Вместе создавали связь с Москвой. Вместе бунтовали против Наримана Нариманова. И наконец стали жить вместе. Их считали мужем и женой. Но Оля не хотела ничего, кроме нежности, а Сурен, направленный в другой город, не устоял там перед девушками; они просто вешались ему на шею. Все умоляли Олю простить. Все любовались этой прекрасной парой. Но Оля не простила. Чтобы окончательно порвать с Суrenom, сказала, что сблизилась с одним из своих поклонников, с Кутьиным. И потом действительно вышла за него замуж, родила троих детей... В 1937 г. Сурен пришел, гладил детей по головкам и говорил: Оля, Оля, что ты наделала! Это могли быть наши дети!.. Ольга Григорьевна пересказывала эту сцену без комментариев.

Став членом Парткомиссии, она затребовала дело Агамирова. Всего три допроса. На первом — все отрицал. На втором — все отрицал. На третьем признал, что разрушал домны. Трибунал, расстрел. Ольга Григорьевна навела справки: никаких разрушений не было.

О второй исторической встрече с Маленковым я рассказывал: столкнувшись по телефону, с помощью Хрущева член Парткомиссии заставил председателя правительства прекратить саботаж.

Третья встреча — члена комиссии Шверника с членом антипартийной группировки Молотова, Маленкова, Кагановича. Представляю себе железный взгляд Ольги Григорьевны, с которым она задала свой вопрос: почему члены Политбюро (или Президиума ЦК) не сопротивлялись безумным решениям деспота. «Мы его смертельно боялись», — ответил Маленков и рассказал, как Сталин, смакуя, излагал свой сценарий убийства Михоэlsa и заодно Голубова (другого эксперта, посланного в Минск отбирать кандидатов на премии). Обоих пригласил министр ГБ, угостил вином, — чтобы при вскрытии в желудке нашли алкоголь, — а затем вошли палачи, набросили на обреченных мешки и не торопясь, в течение часа били по ним ломами. Мне почему-то запомнилось, что в течение часа. Я совершенно не уверен, что убийство было совершено точно так, Сталин мог любоваться сценарием, пришедшим в голову задним числом, и сами убийцы могли схалтурить, но Маленков, в ответ на вопрос Шатуновской, не мог мгновенно придумать эту историю, воображения бы не хватило. Характер Маленкова хорошо описан у Авторханова в «Технологии власти». Это канцелярист, а не поэт застенка.

С уст Ольги Григорьевны легко слетали страшные истории. Почему же трудно было взяться за перо?

Я думаю, трудно было свести концы с концами. Трудно объяснить самой себе, как порывистая мечтательница стала дисциплинированным солдатом партии и как эта партия пришла к внутренней катастрофе. Ольга Григорьевна была бесконечно смелее и независимее остальных бакинских стариков, друзей тестя. Выйдя из добровольного затвора, в котором она жила при Хрущеве, зная, что за каждым ее шагом следят, Шатуновская поражала резкостью своих суждений и как-то очень быстро повернула Александра Ароновича к оппозиции. Он привык быть вместе с партией, и «вместе с Олей» заменило ему это, повернуло к «социализму с человеческим лицом». В 1968 г. и он и все его друзья болели за Дубчека. Но пошла ли сама Ольга Григорьевна дальше этого? И вышла ли она сама из-под власти политики? Я думаю, что работа по разоблачению Сталина держала ее в старом, политическом русле, мешала полному духовному повороту. Стремление показать, что Сталин — убийца ленинской партии, поддерживало в ней некий образ ленинской партии, который сильно отличается от моего.

Уже в отставке, уже оторванная от своего дела в 64 томах, она страстно собирала информацию о связях Сталина с царской охранкой. Я охотно допускал, что после кровавого ограбления тифлисского банка у Сталина просто не было другого выбора, иначе повесили бы. Симулировать безумие, как Камо, он не был способен. Но скорее всего он обманывал охранку так же, как пытался обмануть своего заклятого друга Гитлера. Второе ему не удалось, но от охранки он, скорее всего, отделался пустяками. Для его гигантского честолюбия роль агента была слишком

мелкой. Революция обещала больше. И он ставил на революцию. А при этом кое-кого предавал. Еще в 1918 году Шаумян, получив телеграмму Ленина о помощи из Царицына, воскликнул: Коба мне не поможет! И на вопрос Оли, почему, рассказал ей, что в 1908 г. был арестован на квартире, о которой знал только Коба, и Коба прямо заинтересован в смерти неприятного свидетеля. Тогда всё перевесил авторитет Ленина, который Сталину доверял. Но на Колыме и в ссылке старое всплыло, и в уме Шатуновской сложилась концепция Сталина-provokatora, сознательного разрушителя партии. По- моему, Сталин был provokatorом по характеру, и служил ли он охране и насколько добросовестно служил ей — не так важно.

Александр Петрович Улановский, анархист, отбывавший ссылку в Туруханске по соседству со Сталиным, рассказывал мне, как Сталин натравливал пролетарскую часть ссылки на интеллигентскую — с какой целью? Ради мелкого честолюбия отеснить Свердлова от положения старшины ссыльных? Быть может; но думаю, что просто ему доставляло наслаждение стравливать людей друг с другом. Когда власть Сталина сделалась незыблемой, — для чего он продолжал стравливать своих сподвижников, для чего он провоцировал их, уничтожая братьев Кагановича, арестовывая жену Молотова? Я не вижу здесь политического смысла; одна радость игры, радость провокации ради провокации. Достоевский угадал этот характер в своих образах provokatorов — прежде всего Петруши Верховенского, но отчасти и Смердякова. Оба они мелки сравнительно со своим, еще не родившимся, прототипом. Даниил Андреев увидел Сталина крупнее, как метафизического provokatora, близкого предшественника Антихриста. Прямой связи с дьяволом у Сталина, вероятно, не было, и не прямо из преисподней он получал «хохху», эманацию мук, превращавшуюся в яростную энергию. Но образ, созданный Андреевым, занял свое место в карнавале образов, мелькающих в моем сознании, когда я думаю о Сталине. Академик Сыр-кин представлял себе органическую молекулу как резонанс нескольких структур. Вот и Сталина я представляю себе как резонанс нескольких образов. Вот он вызывает Гилельса, слушает всю ночь Бетховена и, вероятно, чувствует в этой музыке свое демоническое величие. Или над озером Рица, на Сосновке, велел соорудить беседку и приезжал туда в четыре часа утра слушать соловьев. Я спускался из Сосновки потрясенным.

Такая природная красота — нерукотворная икона. Что она будила в Сталине? Что он сам встал на место Бога? Не знаю. А иногда он признавался себе (но только себе!) в своей слабости, вспоминал себя заброшенным подростком, высмеянным односельчанами шлюхиным сыном, и десятки раз смотрел «Огни большого города», сентиментальную историю маленького человека. Или восстанавливал на сцене Художественного театра «Дни Турбиных» и по-лакейски любовался красивой жизнью господ. Которым он потом проломит голову.

Я пытался излагать Ольге Григорьевне свои взгляды и чувствовал, что она колебалась. Но ей очень хотелось, чтобы на первом месте была не

логика превращения «добра с кулаками» в «зло с кулаками». Пусть лучше партию истреблял профессиональный провокатор, агент охраны, а партия остается партией и гибнет как партия. Это несколько даже риторично звучит в заключительных словах ее письма в «Известия»: «Судьбоносное, непреходящее значение 17-го съезда в этом и заключается, что партия коммунистов на том съезде последний раз дала бой, оказала действенное сопротивление побеждавшей на долгие годы диктатуре Сталина». Видимо, в порыве чувства Ольга Григорьевна не заметила, что последний абзац решительно противоречит предпоследним: «Многие делегаты съезда и сам Киров выступали на съезде со славословиями в адрес Сталина. Бухарин, Рыков и Томский капитулировали под улюлюканье некоторых делегатов, объявивших 17 съезд съездом победителей... Но все оказалось фарсом, трагически фарсом: съезд победителей превратился в съезд расстрелянных.

Над кем же пытались объявить себя победителями на 17-м съезде? Над народом, против которого Сталин повел с 1928 года войну, под видом построения социализма на селе совершил контрреволюционный переворот, отняв у крестьянства землю и волю и орудия производства, за которые оно воевало с белыми всю Гражданскую войну. Теперь же оно уничтожалось и физически в своей лучшей трудовой части.

Однако, несмотря на то, что почти все присутствовавшие на съезде лично участвовали во всем этом, многие начали сознавать страшную суть содеянного и роковую роль Сталина в этих событиях».

Что же сделали те, кто «начали осознать»? Перейдем к началу письма. «Во время 17 партсъезда, несмотря на его победоносный тон и овации Сталину, на квартире Серго Орджоникидзе, в небольшом доме у Троицких ворот, происходило тайное совещание некоторых членов ЦК — Коссиора, Эйхе, Шейболдаева и других. Участники совещания считали необходимым отстранить Сталина с поста генсека. Они предлагали Кирову заменить его, однако он отказался. После того как Сталину стало известно об этом совещании, он вызвал к себе Кирова. Киров не отрицал этого факта, заявив, что тот сам своими действиями привел к этому».

Получается, что с Кировым даже не успели переговорить заранее, наедине, без возможности подслушивания и доноса. Посмотрели друг другу в глаза, почувствовали: стыдно; и задумались: что же делать? А делать было нечего. Истерика культа дошла до такой точки, что выступить открыто, с трибуны, не решился никто. Уже стали рабами. И по-рабски, втайне, вычеркивали в бюллетенях фамилию, которую дружным хором славили. Далеко не только те, кто собрались у Орджоникидзе. Мы знаем число тех, кто устыдились — и зачеркнули фамилию Сталина. А сколько человек устыдились, но *ничего* не сделали? Ведь страшно было. Подумать и то страшно.

Я уже вспоминал, как в августе 1944-го мы без команды сматывали палатки, чтобы идти на помощь Варшаве, а нам велели «отставить», а на другой день по радио сообщили, что помочь Варшаве нельзя. До самого вечера мы, офицеры, встречая друг друга, отводили глаза. Было очень стыдно. Но мы молча, подчиняясь военной дисциплине, вынесли свой

стыд. А какая-то часть делегатов, встречаясь друг с другом глазами, не вынесла. Хотя, скорее всего, большинство про совещание у Орджоникидзе и не знало. А если и прошел слухок — какое уж тут «действенное сопротивление»! Шатуновская сперва описывает съезд реалистически (кровавый фарс), а потом нахлынула романтическая память о партии, в которую когда-то вступала, в *истинную* партию, в идеальную партию, которая, как все идеалы, не знает износа.

Шатуновская сама себя опровергает: «несмотря на то, что почти все присутствовавшие на съезде лично участвовали во всем этом, многие из них начали осознавать...». Что, когда? К 1934 году миллионы крестьян на Украине, на Кубани, в Казахстане уже вымерли. Когда же это начал сознавать Коссиор, исполнявший волю Сталина на Украине, или Шеболдаев — на Северном Кавказе?

В 1953-56 гг. я работал учителем в станице Шкуринской. И мой коллега, завуч Батраков, рассказывал мне, как его отца, старого коммуниста, мобилизовали отбирать хлеб у кулачья. Вошли в дом. Казачку облипли пятеро детей — мал-мала меньше. Без звука отдала ключи (мужа уже сослали). Старший Батраков вошел в клуню, посмотрел — в углу горстка кукурузы, до весны даже впроголодь на всю ораву не хватит. Вернулся и бросил ключи к ногам женщины. Его за это исключили из партии. Он заболел, умирал, сын (Батраков-младший) стал пересказывать что-то, услышанное по радио — про врагов. «Еще неизвестно, кто враги», — прошептал отец.

Екатерина Колышкина (в первом замужестве баронесса де Гук, а во втором — Дохерти) писала, что у русского, даже самого большого злодея, палец в святой воде. Но почему один Рютин почувствовал этот палец в 1930 году и прямо выступил против Сталина (тогда же хотели расстрелять; помешал еще не совсем безвластный Бухарин; расстреляли попозже). Почему 292 делегата съезда почувствовали прикосновение святой воды только тогда, когда уже было поздно помочь вымершим с голоду, оставалось только умереть вместе с ними? Сталин правильно почувствовал, что против проголосовало в душе больше, чем 292, и истребил всех, в ком хоть колыхнулась совесть. Слабо. Беспомощно. Но мертвые сраму не имут. И за то, что всколыхнулась в них совесть, да простятся им грехи вольные и невольные. За всхлип совести ломали позвоночник Эйхе. За эти всхлипы миллионы коммунистов (с недостаточно гибкой спиной ) при жизни прошли сквозь ад.

Но вернемся снова к Шатуновской. Где же она была, в 30-е годы? Рожала, кормила, воспитывала своего третьего ребенка, Алешу. Когда ее арестовали, он потихоньку залезал в шкаф и подолгу сидел там: шкаф пахнул мамой. Многодетную сотрудницу не слишком гоняли по командировкам. Сидела а аппарате МК, в облаке казенных слов и казенных мыслей, скрывавших страну, как дымовая завеса. Только во вторую половину 30-х годов, начав ездить по местам, она окунулась в безумие «персональных дел», взаимной травли, пыталась остановить то, что ей казалось чудовишной нелепостью, сорвала несколько уже подготовленных

решений — и тут же ее саму посадили.

В одном из рассказов детям Ольга Григорьевна вспоминает эпизод из дела Бухарина. Отпущенный на Парижскую выставку, Бухарин встречал старых друзей, меньшевиков, и говорил им, что они были правы: революция 1917 г. в России была демократической, никаких условий для строительства социализма здесь не было. Но если и впрямь не было, если меньшевики были правы, то весь ленинский эксперимент становился чудовищной авантюрой. Чтобы писать воспоминания, надо было решить проблему, выходящую за рамки фактической правды, вступить в область истинных и ложных теорий. Шатуновская, видимо, не чувствовала себя подготовленной к этому. Пафос ее работы (сохранившийся и в отставке) был в отсечении явных фактов от явной лжи. Но и в области фактов был личный опыт, колебавший кумиры большевизма! Меньшевики не расстреливали. Меньшевицкая Грузия была убежищем для большевиков, бежавших от националистического и белого террора. А потом в Грузию вошли большевики — и стали расстреливать детей. Ольга Григорьевна это знала. И знала, вероятно, что меньшевики повсюду протестовали против террора, без всякой личной симпатии к адмиралу графу Щастно-му или великим князьям. Знала, но не хотелось ей углубляться в это. Область явной лжи (она называла это контрреволюцией) начиналась для нее только с 1928 года. До этого была область сомнений, от которых она, кажется, так и не освободилась.

Видимо, надо было родиться на двадцать лет позже, чтобы спокойно, без всякого надрыва, понять, что власть, захваченная Лениным, обладала инерцией системы, которую Сталин почувствовал и использовал. У него был аппаратный гений. Он увидел, что партия становится видимостью, аппарат — реальностью, и решительно довел этот процесс до конца. Партия была отдана в руки аппарату партии, стала придатком к аппарату. Ленинский страх распада партии на фракции был использован со всей энергией и без всякого стыда. Исчезли фракции — и партия тоже исчезла. Исчезла опасность проникновения буржуазной идеологии — и от марксистской идеологии тоже ничего не осталось.

Только в «Капитале» (кажется, в т.111) торчала фраза о «бесконечном развитии богатства человеческой природы как самоцели». Никто больше не говорил (как Троцкий), что человек при социализме достигнет *по крайней мере* уровня Гёте и Аристотеля. Аристотелей заменили винтики партийной машины.

А как хорошо все начиналось! Как легко было бежать в революцию в одних чулках, оставив дома запертые отцом туфли! Такой же порыв, как за пару лет до этого — ухаживать за подругой, больной чахоткой, с риском заболеть самой — и выходила ее. А потом, когда Ольга Григорьевна вернулась с Колымы (и ждала ее ссылка), подруга отказалась ее принять, боялась за мужа. Через несколько лет Шатуновская сама пошла в гору, подруга попросилась в гости, и Ольга Григорьевна ее не приняла. «Друзья познаются в беде». И к Хрущеву, приглашавшему ее в гости после отставки, не пошла: презирала трусость. А между тем, чего она от него

хотела? Не аргументами убедили его Суслов с Козловым — какие они диалектики! — а чутьем: за ними стоит весь аппарат.

Впрочем, Бог с нею, с политикой. Мне интереснее мораль. Ольга Григорьевна готова была душу положить за други своя. В этом отношении она была «анонимной христианкой». Но она не чувствовала, что красота отца, прощающего блудного сына, выше ее гордой красоты. В чем-то напоминавшей мне королевскую гордость Ахматовой.

И тут вспоминается мне один совсем не политический эпизод. Я убедился на собственном опыте, что внезапное чувство причастия бесконечности блекнет и одной памяти о нем недостаточно, надо искать, как ежедневно причащаться своей глубине, сохранившей искру вечно живого огня, как раздуть искру... И я дал Ольге Григорьевне «Школу молитвы» Антония Блума. Потом спросил, как? И Ольга Григорьевна, ничего не говоря, с неумолимой своей твердостью, отрицательно покачала головой. Если бы она сказала: «не очень... мне многое здесь не нравится» — осталась бы почва для разговора, я охотно заходил бы, продолжая такие разговоры, но кивок головой не допускал никакого диалога, никакого изменения раз и навсегда вынесенного приговора.

Почему? Ведь она любила религиозное чувство в стихах — на этом мы и сошлись. Но поэтическое чувство реальности Бога не затрагивало ее гордости. Можно подумать и так: я человек, и мне дано почувствовать Высшее, Бесконечное. Смирение — из другой сказки. Именно по глубине своей натуры Ольга Григорьевна впитала в себя гордость не только социального, но метафизического бунта, гордость Прометея. «Бесконечное развитие богатства человеческой природы» в «Капитале» имеет за собой долгую традицию. Тут и Протагор (человек — мера всех вещей), и «Панегирик человеку» Пико делла Мирандолы, и слова Кириллова в «Бесах»: «если Бога нет, то надо самому встать на место Божье»... Не думаю, что Ольга Григорьевна все это прочла, но концепция бунтующего человека была рассыпана в сотнях книг, картин, музыкальных сочинений... Вместе с инерцией рабства революционное сознание отбросило и «ценностей незыблемую скалу», на вершине которой бесконечная по мощи святыня, объемлющая мир своей любовью и ждущая от человека такой же бесконечной, превосходящей все земные мерки, любви... Ждущая от человека открытости залива океану, готовности утонуть в море света, сгореть в пламени без дыма...

А без открытости залива океану, без опоры на Бога, стоящего над всеми земными системами, построенными из обломков Целого, человек становится рабом дела и системы, созданной для торжества дела, и только террор, вырвав солдата партии из строя, вернул Ольгу Григорьевну к поискам собственной глубины. Но тут же подхватило ее другое дело, дело реабилитации невинных, дело расследования сталинского коварства, и снова не было паузы созерцания, не было внутренней тишины, чтобы расслышать в ней Бога. Одна страсть, к справедливости для бедных, — уступила место другой страсти — к обнажению страшной правды, — и стареющая женщина с неукротимой волей вступила в борьбу, один на

один, с огромной машиной лжи, ничтожной в каждом винтике, но могучей именно своей безликостью. И до последних дней Ольга Григорьевна перебирала в уме улики и подлоги, держала в памяти свое резюме дела в 64 томах.

Чтобы дойти до конца в духовном освобождении от иллюзий истории, ей надо было освободиться от захваченности обличением Сталина. Но тогда не было бы и дела в 64 томах. Так же как без яростной памяти на зло не было бы «Архипелага ГУЛАГ». Без страстной односторонности история не умеет обойтись.

Ольга Григорьевна Шатуновская — трагическая фигура, оставшаяся в тени русской истории. То, что она не всё могла до конца додумать — не первый случай. История не дает нам видеть всё с одинаковой ясностью, открывая одну перспективу, она закрывает другие. Сегодня легко видеть, к чему революция вела. Трудно понять пафос людей, ринувшихся в революцию от ужаса старого мира, от бойни Первой мировой войны, чудовищного истребления людей во имя «решения великого вопроса, какой мир хуже, Брестский или Версальский» (не боюсь процитировать Ленина).

Я уже рассказывал, что в 1990 году, на заседании Восточноевропейского семинара Франкфуртского университета, мне был задан вопрос: не потому ли русским труднее дается расставание с прошлым, чем немцам, что в нацизме грубо торчала идея насилия, а в коммунизме насилие предлагалось только как средство к общему счастью. Я ответил «да, конечно!» и вспомнил своих друзей из «коммунистической фракции демократического движения». Моему другу Хайнцу Кригу легче было перечеркнуть свою юношескую любовь к Гитлеру, чем Петру Григорьевичу Григоренко — свою любовь к Ленину. И хотя я достаточно сказал о фарсе XVII съезда, хочется сказать сейчас и о другой половине правды, о *трагическом* фарсе. Мои современники ничего не знают, ничего не помнят. А я помню. Я жил в 1937 году и даже написал письмо И.В. Сталину с советом не увлекаться террором... Было мне тогда 19 лет, и к счастью, И.В. Сталин моего письма не прочитал... А террор всё ширился, и понять его становилось всё труднее. Чуть-чуть спустя я говорил Агнесе Кун, что Сталин трус и готов перебить сто невинных, только бы не уцелел один злоумышленник, способный его самого убить (что никто его и не собирался убивать, я и в лагере не понял). Между тем, колесо всё раскручивалось и понять смысл того, что происходит, стало вовсе невозможно. Террор вертелся как вечный двигатель, сам себя подкармливая лавиной доносов и вырванных под пыткой признаний. Наверное, именно этот пик иррациональности схвачен у Д. Андреева в образе Сталина-демона, питающегося эманацией человеческих страданий, хоххою. Наконец, после перерыва в год, родился анекдот (в течение целого года анекдотов не было) и, как голубь мира, облетел Москву: «Как живете? Как в автобусе: одни сидят, другие трясутся». И я сказал себе: мы стали смеяться над страхом; еще немного, и страх перейдет в мужество отчаяния. Если кто-то управляет этим безумием, то террор пойдет на убыль. И в самом деле, плакаты с «ежовыми рукавицами» исчезли и стало принято



говорить о «ежовщине». Пик террора остался позади. Слава Богу, именно в это время я кончил свою курсовую работу о Достоевском, где опровергал оценки Горького, Ленина и Щедрина. Временно воцарилась усталость от казней, и работу вяло оценили как антимарксистскую, но за мной всего только установили наблюдение. Полгода раньше — сел бы, как миленький.

И вот вопрос: перестал бы я хоть тогда считать Сталина гением? Не помню. Что-то пошатнулось, но не совсем сломалось. В 1941 году, когда нас стали бить, кумир почти распался. А когда начались победы — я снова поверил в Главнокомандующего...

Положение Сталина как живого бога установилось еще между XVI и XVII партсъездами. Подняться на трибуну и сказать, что Сталин грубо ошибся, в 1934 году было так же невозможно, как похулить Мохаммеда в Мекке, перед миллионной толпой мусульман. А дальше такие мысли додумывались разве только в лагере, да и в лагере — не всеми. На воле человек, глядя в зеркало, шептал: «один из нас стучит...».

Много позже, в другое, вегетарианское время, когда оставалась только инерция культа, Петр Гигорьевич Григоренко шел на трибуну районного партактива, как на казнь. Хотя было очевидно, что казни за критику Хрущева не будет, жизнью платить не придется. Но оставалась какая-то мистика, окружавшая особу первого секретаря ЦК. Который по должности был великим теоретиком марксизма и проч., и проч., и проч., и за кощунственное поправление этой святыни пришлось поплатиться всего только своей военной карьерой. Перечитайте то, что Григоренко написал об этом эпизоде, и умножьте страх, который он испытывал и преодолевал, подымаясь на трибуну, на какое-то очень большое число. На тысячу, или даже на миллион.

И еще вспомните, что была и государственная опасность, что почти весь немецкий народ сплотился вокруг Гитлера, что с выкриками одержимого резонировало отчаянье безработных, резонировала обида за Версаль, и возникла огромная военная сила, опрокидывавшая европейские государства, как карточные домики. Киров отказался от предложенной ему роли не только потому, что плохо разбирался в международной политике. Нетрудно было создать совет из достаточно подготовленных людей. Еще живы были Радек, Бухарин. А в Генеральном штабе еще работали способные люди. (Вспомним Тухачевского. Он вместе с Гудерианом разрабатывал тактику танковых армий.) Но энергии и решимости вождя, способного противостоять Гитлеру, ни у кого не было. И создавать новый фиктивный авторитет, подобный сталинскому, времени не оставалось. Авторитет Сталина-бога был бедствием, когда Сталин ошибался, когда он принимал преступные решения. Но этот авторитет бога был спасением, когда всё разлеталось в прах, и оставалось только единство народа со своим вождем, и вместо разбитых армий создавались новые армии... Немцев это не выручило, но мы, уложив 20 или 30 миллионов, взяли Берлин...

Ветераны этого до сих пор не могут забыть. Я сам был под Москвой, к северо-западу от Сталинграда, и у меня в Берлине, в апреле 1945-го,

кружилась голова; несколько капель моей крови упало и на русскую, и на немецкую землю; но ни чувство победы, ни чувство крови не заглушат во мне разума и совести, и для меня знамя Сталина — знамя лжи и победа его — победа лжи, обвинившей гибельную утопию коммунизма лаврами воинской славы. И наша национальная обязанность — разделаться с памятью Сталина так же, как немцы — с памятью Гитлера, сбросить имя Сталина, со всем, что к нему прилипло, в пекло истории. Золото народного мужества не сгорит.

Над XVII съездом партии парила тень Гитлера. Сила демократии — не на войне. Открытая оппозиция, раскол партии был риском, на который никто не решался. Делегаты съезда оказались между тигром и бушующим морем, между тиранией Сталина и победой Гитлера. Они попытались избежать этой альтернативы, но робко, неуверенно, вступая в борьбу со связанными руками. Их поражение было несомненным, но море крови, которое пролил взбешенный Сталин, не имеет равных в истории.

Больше всех мне жаль зачинщика этого «боярского заговора», Серго Орджоникидзе. Он был человеком очень наивным. Галина Серебрякова вспоминала, как вожди, выпив, рассуждали, в чем счастье. Орджоникидзе сказал: строить социализм. Сталин ответил: нет, иметь врага, уничтожить его, а потом выпить бутылочку хорошего вина... Видимо, Орджоникидзе всерьез верил, что Сталин сможет уйти с поста генсека по-хорошему. Хорошие люди часто думают о других лучше, чем те заслуживают, а Серго был человек простодушный, прямой, вспыльчивый и добрый (мне говорили люди, близко знавшие его). От простодушия — его план (если можно говорить о плане): голосованием на съезде подействовать на совесть людоеда, и людоед станет вегетарианцем.

Очередной боярский заговор, очередная затейка верховников кончилась так же, как при Иване Васильевиче и Анне Иоанновне: опричниной и бироновщиной (далеко затмившей своих исторических предшественников). Кобе невыгодно было сажать своего друга Серго на скамью подсудимых, но он несколько лет настойчиво и умело изводил его и довел до самоубийства. Оставив в живых вдову и делая вид, что покойного он очень любил. Только на представлении оперы «Великая дружба» не выдержал и вышел из ложи, когда на сцене появился его двойник вместе с двойником Серго. Так Макбет отшатнулся от тени Банко<sup>98</sup>. А вдова не перестилала постели, на которой умер Серго и где запеклась кровь ее мужа, и до самой смерти ложилась спать рядом. Она дожила до встречи с Ольгой Григорьевной и рассказала ей, как всё было. Об этом и о многом другом читатель может узнать, войдя в интернет: [eic8IЙ.ейи/=Bго1йoo/o1a/o1a.Бт1](http://eic8IЙ.ейи/=Bго1йoo/o1a/o1a.Бт1).

Боюсь, что я не доживу до фильма или сериала, в котором узел русской истории, слившийся с жизнью Ольги Григорьевны Шатуновской, найдет

---

<sup>98</sup> Сталин никому не объяснял, почему он помрачнел и вышел. Услужливые холуи нашли в музыке Мурадели недостатки и сочинили постановление об опере «Великая дружба», которое усердно прорабатывалось по всему Советскому Союзу.

свой зримый облик. Но только, будущие сценаристы, постановщики, актеры, — не халтурьте! Попытайтесь взглядеться в жизнь людей, бросившихся из огня в полымя, в ужас Гражданской войны — от ужаса «законной» войны, начатой тремя законными императорами, в пролетарский интернационализм — от погромов и резни. Попытайтесь понять людей, «съеденных идеей», уверенных, что ради всеобщего счастья всё позволено. Попытайтесь довести этих героев, через застенки и медленную голодную смерть, к той глубине, на краю которой остановилась Ольга Шатуновская.

## Глава 20

# Три опыта о молекуле

## Утенок исполняет обязанности лебедя

Эта мысль пришла ко мне неожиданно в те дни, когда слова «исполняющий обязанности» постоянно мелькали в эфире. Я массировал позвоночник, лопатки, плечи, гоняясь за спазмами, перебегавшими с места на место. На этот раз помогло, и Зинаида Александровна сказала: «Ты мой ангел». Я ответил: «Не ангел, а исполняющий обязанности ангела». Шутка вошла в наш домашний обиход, не претендуя на глубины. Вдруг — года через полтора — в «Семиарусной горе» Томаса Мертона, в последних главах, я наткнулся на тревогу, которая его мучила, и показалось, что моя формула успокоила бы его. Мертон терзали сомнения, есть ли у него призвание к священству? Достоин ли он? И я вспомнил слова Антония Блума, что никакой священник не достоин своего места перед алтарем, что там стоять бы — самому Иисусу. Припомнились и стихи Даниила Андреева о городе Китеже:

*Там служенья другие,  
У других алтарей.  
Там вершит литургию  
Сам Иисус Назарей...*

Принято считать, что личные достоинства священника не сказываются на таинствах, благодать переходит через любые руки. Я думаю, если священник совсем недостоин (пьян, безобразен), это отражается на всем, что он делает. Как на роли, сыгранной очень плохим актером. Но если актер *не вполне* достоин, то великий текст может захватить зрителя. Помню чьи-то слова в антракте: «Хорошо играет старичок Шекспир». И сам Шекспир сказал о бродячих актерах: «Прими их лучше, чем они заслуживают! Ибо если бы каждый получал по заслугам, никто не избежал бы плетей!».

Есть в жизни роли, которых почти никто и никогда не достоин. Но роли должны быть сыграны. Какой полководец сознает все факторы, сошедшиеся в битве, и принимает безукоризненные решения? Мы

призваны играть, чувствуя свое недостойнство (я выражаюсь неловко, но привычное «недостойность» кажется мне слишком резким). Антоний Сурожский совершенно искренне чувствовал свое недостойнство. А у меня в памяти его служение у Николы Хамовнического осталось как образец того, что достойно, что должно быть всегда и прискорбно редко бывает.

Многие святые считали, что они хуже всех (искренне считали — иначе какие они святые?), и были образом святости для других; хотя совершенными святыми они не были и их знание себя невозможно опровергнуть. Католики проводят беатификацию как процесс, на котором есть адвокат ангелов, защищающий умершего, и адвокат дьявола, оспаривающий его достоинство. Из этих процессов вошла в язык пословица: «Бремя доказательств лежит на адвокате дьявола». Святость святых не бесспорна, ее можно опровергать, и окончательный приговор только формально кладет конец спору, приговор может быть судебной ошибкой. По-своему правы иудеи и протестанты, не признающие вовсе сомнительной человеческой святости: свят только Бог. И это очень сильная точка зрения.

Почему же люди не святые решались оспаривать приговор святых самим себе и утверждать их святость? Хотя предполагаемые святые себя хорошо знали, знали себя изнутри, как невозможно знать извне? И нет ли противоречия в канонизации, самый факт которой оспаривает самооценку святого?

Видимо, канонизация обозначает просто место покойного в общем движении к обожению, к святости. Канонизация говорит, что для людей, стоящих еще дальше от Бога, покойный стал (или может стать) *образом* святости, живым образом, подобным иконе, нарисованной на доске. Хотя и нарисованная, и живая икона не безупречны. То есть исполнение обязанностей святого признается условно равным святости. Но беда, если предполагаемый святой сам себя считает святым! Тогда всё рухнет. У буддистов есть об этом хорошее высказывание: «Если бодисатва-махасатва скажет о себе: «Я бодисатва-махасатва», — он в тот же миг перестанет быть бодисатвой-махасатвой».

Однако Будда прямо говорил, что его следует называть Буддой. И Христос не опровергал тех, кто угадывал в нем Сына Божьего. Видимо, «эго» в них совершенно сгорело, без остатка, без возможности возрождения, и просветление или обожение создается ими только как ответственность нести людям свой свет, безо всякой гордости этим светом, скорее с состраданием к тем, кто лишен света, со жгучим состраданием. Будда, в тексте Бенаресской проповеди, обращается к своим старым товарищам-аскетам со словами: «Мне все равно, но для вас лучше, если вы будете называть меня Буддой». То есть если вы преклонитесь перед тем, что достойно этого, и в преклонении познаете его.

Традиция воспринимает то, что не освящено веками, как нарушение правил, и осуждает нарушителя. Но нарушитель создает новую традицию. И наше отношение к нему зависит от оценки этой традиции. Шанкарачарья утверждал, что он «дживанмуқта», «освобожденный при жизни»; традиция

адвайта-веданты это признает, не обращая внимания на несогласие других индуистов. Ал-Халладж сказал о себе: «Ана л'Хакк», «я истина», и суфии признают его великим святым, а остальные мусульмане — еретиком, достойным своей мучительной казни. Равен ли он Христу, казненному примерно за то же самое? Это один Бог знает.

У меня нет сомнения, что в какие-то часы и дни ал-Халладж находился, говоря по-русски, в благодати. Но было ли это состояние благодати постоянным? Или оно приходило и уходило, сменяясь богооставленностью? К святому Силуану состояния благодати приходили много раз, но он помнил слова, услышанные в глубоком сердце: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся». Превзошел ли его ал-Халладж? Или не дошел до афонского правила?

Византийцы создали целую иерархию званий, которые присуждались соборами: блаженный, святой, великий святой. При этом учитывались не столько частота и глубина состояний благодати (кто это мог знать?), сколько совпадение идей с позднейшими решениями соборов. Св. Григорий Нисский в *великие* святые не попал. Августин, которого западная церковь считает святым, для православных — только блаженный<sup>99</sup>. Западная церковь признала легенды о Николае Угоднике недостаточно достоверными и отнесла его к *местно почитаемым* святым, т.е. для католиков он вовсе не святой.

Однако пограничные и сомнительные случаи хочется оставить в стороне. Идея святости связывается в моем уме с людьми, испытавшими ряд состояний благодати и почти сжегшими в этих состояниях свое эго. Но в состоянии богооставленности эго оживает и искушает подвижника. Оно может и вовсе ожить, когда человек перестает сознавать свое недостоинство и перестает тянуться вверх. Тогда — как это случается с некоторыми героями Достоевского — с самой верхней ступеньки можно покатиться вниз. Такое сползание к греху произошло, по моему, с Раджнешем, самого себя наградившего титулами (Бхагаван Шри Раджнеш). Он несомненно знал состояния благодати, знал их много раз, некоторые страницы его свидетельствуют об этом бесспорно, но так же бесспорны его падения.

Можно упасть, даже побывав в раю. Я это пережил во сне. Мы тогда переводили вместе с Зинаидой Александровной балийские сказки, и во сне я попал в шиваитский рай. Рай был очень простой: деревянное здание с резными колоннами, но не очень большое. Зал такой величины, как в сельском клубе. На троне сидит сияющий Шива, а на скамьях его избранники и радуются, созерцая его. Я сижу сзади всех, кажется, даже на земле, и *радуюсь*, что есть столько прекрасных людей, которым я могу служить. Потом вдруг пришла мысль: но ведь есть множество людей, которые хуже меня! И тут произошла замечательная вещь: задняя стена исчезла, я почувствовал, что начинаю сползать в бездну и там, где-то

---

<sup>99</sup> Антоний Блум иногда забывает об этом и называет его святым. Ср. «Слушание и делание» (М., 1999).

глубоко внизу, копошатся ничтожные фигурки. Вот сейчас я к ним полечу. И сразу же я проснулся.

Сон показал мне, что спасение — это взгляд вверх (или, в рамках самого сна, — вперед), на тех, кто лучше, чище, святее. Мармеладов низок, но он смотрит вверх и может спастись. А Раскольников или Иван Карамазов полны достоинств, но они смотрят назад, и их спасение под огромной угрозой. Можно бегло оглядываться назад и примерно замечать, в каком ряду сидишь, но нельзя придавать значение этому факту, нельзя быть уверенным в его прочности, нельзя любоваться своим местом. Оно крайне условно и неустойчиво, что бы ни считали в задних рядах.

В какие-то минуты я был образом Бог знает чего для некоторых людей. Один шизофреник считал меня сионским мудрецом, а другой — мессией. И был реальный момент, когда в Институте философии, после речи против отмывания Сталина, на каждой площадке лестницы, с пятого этажа на первый, стояли люди, ждавшие меня, чтобы пожать мне руку. В иные минуты я исполнял обязанности чего-то большего, чем я сам, перерастая себя.

В бою под Калиновкой я неожиданно для самого себя стал командовать стрелковой цепью и делал это довольно хорошо, но я не был подготовлен к ремеслу командира и при другой импровизации не учел все обстоятельства и не предупредил потерь (к счастью, только ранеными, не убитыми). Так и в духовной битве. Читая свои лекции, я исполняю обязанности духовного вождя. Я чувствовал, что надо занять пустое место и занимал его, иногда с большим, иногда с меньшим успехом, никогда не достигая всего, что хотел.

Бывают взлеты, за которыми человек сразу падает. Так Мандельштам был пророком, обличившим Сталина. Дар поэта подтолкнул его и заставил забыть о собственной трусости. На Лубянке он сразу выдал всех, кому читал крамольные списки. И все же дело было сделано.

Мы все исполняем обязанности поэтов, проповедников, мыслителей, даже пророков. Пророчествовала же Валаамова ослица! А потом жевала сено. Мы исполняем обязанности иудеев, христиан, мусульман, буддистов, индуистов. И слава Богу, если хоть иногда приближаемся к подлинному исповеданию своей веры. Мы исполняем обязанности интеллигентов, в старом российском понимании этого слова. Мы исполняем обязанности творческого меньшинства. И если даже исполняем не очень хорошо — Бог нас простит. Не простит только довольства собой. Главное — равняться по первым рядам. По тем, в сравнении с которыми я хуже всех и рад служить тем, кто лучше.

## Метафизика молекулы

У меня довольно широкий круг читателей, но не все они понимают, насколько мои мысли о вечности и о Боге (а значит, и о значении священного в культуре) связаны со стихами Зинаиды Миркиной. Эти стихи не только открывали во мне глубину, из которой растет творчество; сплошь и

рядом, они давали отдельные метафоры, которые я потом разворачивал в понятия. Если наша семья — нечто вроде общества, то — в терминах индийской культуры — стихи эти занимают место вед, а мои опыты — упанишад; или, на китайский лад, наша семья — Дао, Путь, в котором органически сплелись Инь и Ян, женская поэтическая мысль и мужская мысль философа-культуролога.

Первой, как и в большой истории, была поэзия. Я пришел слушать стихи неизвестной мне больной женщины, не имея никакой сложившейся философии. Только отдельные мысли, набросанные на каталожных карточках. И сразу услышал то, что нигде не мог найти:

*Бога ударили по тонкой жиле,  
По руке или даже по глазу — по мне...*

Меня потрясло, что карамазовский вопрос о смысле страдания и смерти оказался где-то внизу, тонул в образе Бога, страдающего и умирающего в каждой своей твари. Именно такой образ был мне нужен. Два месяца после смерти Иры Муравьевой я умирал вместе с ней, был закопан вместе с ней, и хотя потом ожил, но жил с чем-то вроде незакрывающейся каверны, только не в легких, как у Иры, а в сердце. Я прошел через смерть и продолжал жить открытым смерти. Открытость эта искала опоры в Боге — и не могла принять традиционный образ Бога, без воли которого волос не упадет. Бога вне моего сердца, принявшего решение втолкнуть тромб в сердце Иры.

Зинино чувство Бога было для меня откровением. Мне было неважно, что для меня одного. Акт веры не требует ни доказательств, ни авторитета писания, принятого миллионами людей. Во мне этот акт совершился.

Так начала формироваться наша духовная молекула. Еще до того как выяснилось, какие между нами возможны личные отношения. Во всяком случае, ни о какой интимности я не думал. Было откровение и моя душа, жаждавшая этого откровения. И мой слух, привыкший к звучанию стихов Цветаевой и Мандельштама и отметивший, что Зинины стихи были несколько прямолинейны, риторичны, с интонациями Маяковского, от которого она была очень далека по своей сути. Истина слишком распырала ее, чтобы думать об оттенках слова, об ассоциациях, возникавших помимо логики. Прошло несколько лет, пока вкус Зины стал строже моего; но и тогда сохранилась роль первого критика.

Зина помнила, с какими глазами я слушал ее, и доверяла мне. Я был читателем, которого она давно ждала; меня не пугало предстояние Богу сквозь смерть, утешавшее только тем, что Он есть. А с ним бессмертен и смысл бытия:

*Нет, никогда не умрет нетленный.  
Я за Него умру.*

Это стало моим догматом. Вечен не я, вечен присутствующий во мне

Бог, вечен Океан света, на миг влившийся в щель моей плоти и давший мне вкус обаянности, вкус вечности. В понимании этого мы были единовещами. И Зина с доверием принимала мои замечания. Даже когда я совершенно забраковал ее поэму.

Сам я тогда ничего не писал, и незадолго до потока своих эссе сказал (я это не помнил, но запомнила и повторяла мне Зина): «Ты нашла себя в том, как пишешь, а я — только в том, как живу, как люблю». И мне было совершенно достаточно этого. Но когда пришла нежность и наши отношения стали такими, как сейчас, Зина принесла с собой в приданое дар созерцания, и он разбудил во мне творческий огонь.

Я не был чужд созерцанию с юности, начиная со взглядывания в «Чаяк над Темзой» Клода Моне. Я невольно созерцал покой степи, когда стихали бои. И в лагере я с упоением погружался в белые ночи. Но бродил при этом с Женей Федоровым между бараками, и о чем-то мы говорили; а рядом с Зиной невозможно было даже думать о немзыкальном, не рождавшемся из тишины. Она слышала работу ума, не высказанную вслух, и говорила: «Не мешай мне». Приходилось замолчать внутренне и держать безмолвие, держать зеркало, в котором отражалось Присутствие. Я пишу это слово с большой буквы, чтобы избежать всяких слов о Святой Святых. Слов не было. Но Присутствие было.

*Вот оно, знакомый наизусть  
Мягкий плеск, облитый серебром.  
Ничего. И я ему молюсь  
Ни о чем...*

Созерцание связывало нас не меньше, чем осязание, музыку которого я принес, как свой подарок. Оно открылось, как новое измерение бытия. Безмолвное созерцание — чрево, которое непорочно зачинает, и зачав, не может не родить. Случайный толчок навел меня на тему «Двух моделей познания», и в рублевском лесу, среди сосен, облитых зимним солнцем, родился первенец из нескончаемой серии моих эссе.

Очень скоро было сформулировано взаимное право вето. Я был первым слушателем стихов, и ни одна строка, которую я бы не принял, не переписывалась начисто. А Зина выслушивала первые редакции моих эссе, что-то не принимала, что-то предлагала свое. Я разговаривал с историей, поглядывая с надеждой в сторону Бога. Зина разговаривала с Богом, поглядывая с ужасом в сторону истории. Потом мы вместе написали целую книгу, «Великие религии мира», и не всегда можно понять, где чья рука. Петер Воге перевел на норвежский послесловие, думая, что оно мое, а я к этому тексту почти не прикоснулся.

Опытот Зины был лес (или море, горы) и Бог. О вершинах духа она говорила уверенно, с чувством власти. А разнообразие эпох и культур ее не захватывало:

*...нам до откровенья  
не достает последнего мгновенья, —*



*и громоздится череда веков.*

Касаясь этой череды веков, она делала ошибки и легко соглашалась на мои поправки. Но споры возникали, когда затронут был автор, с которым она встречалась на небе. В начале нашей совместной жизни мы поссорились из-за Экхарта. Я настаивал, что человек XIV века иначе понимал слово «ангел», чем мы. Зина с возмущением ушла из дому (на сорок минут) — потом вернулась (я ввел в нашу жизнь правило, сложившееся с Ирой: мириться до вечера). Еще мы спорили из-за Раджнеша. Зина долго не соглашалась признать факты, разрушавшие его цельный облик. Ей трудно было допустить возможность низости на очень большой высоте. В таких печальных случаях достоинства ее ума, настроенного на понимание Бога, становились недостатком.

Я почувствовал необходимость обосновать свое право на спор в вопросах, которые были ее королевским доменом, где ее власть обычно не вызывала возражений, и зацепился за метафору из круга рассказов о Рамакришне. Этот индийский святой говорил, что долго подымался по духовным ступеням, пока, поднявшись до вершины, не понял, что небо видно с каждой ступени. И теперь он полюбил сидеть на нижней ступени и беседовать со своими учениками. Метафора оправдывала мое желание быть самим собой, не тянуться вверх или к тому, что мне не дано, идти своим путем — и еще одно: она оправдывала мое полуравенство в отношениях с теми, кто поднялся выше. Они выше, а я шире, и с моей широты я вижу что-то, что от них скрыто.

Цветаевское различие между высокими и великими поэтами многое здесь дает. Высокие души подобны кипарисам или пирамидальным тополям: стремление вверх препятствует широте. И напротив: стремление к широте препятствует движению вверх. Высший духовный опыт не только помогает в частных науках, развивая способность к полету мысли, к интуитивным оценкам, но и мешает, делает многое неинтересным (например, Кришнамурти считал бесполезным делом изучение языков). И полнота культуры не укладывается в один какой-то человеческий тип. Опыт Кришнамурти выше моего, но сама высота, самое духовное парение вокруг «безымянного переживания» не дает возможности взглядеться в жизнь страстей. Высота дает право на место председателя в спорах, но не деспота, подавляющего низшее (если оно не доходит до низости).

Каждая личность уникальна, уникален каждый опыт. И у каждого опыта есть границы. Исключение — только «безымянное переживание»<sup>100</sup>, но оно безымянно. Попытка рассказать всегда ограничена: местом, временем, языком. Слова — слепки с земных отношений — только метафоры, только символы при передаче «небесного», безымянного. Ни Будда, ни Христос не придумывали совершенно нового языка. Язык Будды подготовили упанишады, язык Христа — пророки. Уже в «Плаче Иеремии»

---

<sup>100</sup> Это выражение принадлежит Кришнамурти. Примерно то же Мертон называет подлинным созерцанием.

есть слова: «Подставляет ланиту свою бьющему его». И язык накладывает отпечаток даже на мысль Богочеловека. Наивно спрашивать, почему Будда не признавал себя Сыном Божиим, а Христос — Татхагатай (тем, кто вышел за рамки человеческих понятий, о котором можно только сказать: Тот!). Вопрос о сравнительной высоте Будды и Христа не имеет языкового выражения. В опыте медитаций Рамакришны они на одном уровне, а Джина (основатель джайнизма) и Мохаммед стоят ниже. Но личный опыт Рамакришны — не доказательство для мусульман. С той малой высоты, на которой я стою, видно различие слов, букв, которые вносят раздор. И хочется верить, что любовь, дышащая во всех великих религиях, выше раздоров.

На этом строится диалог внутри нашей молекулы, сложившейся из двух духовных атомов. Он допускает расхождения, но с постоянным чувством, что наша любовь больше того, о чем мы спорим. И я думаю, что это могло бы сойти за догмат суперэкуменического диалога. Если искать авторитеты, то можно сослаться на Далай Ламу XIV. В 1996 г. в Швейцарии мы с Зиной слышали, как его спросили: «В чем сущность ламаизма?». И он ответил: «Главное — любовь в сердце, а метафизические теории, буддийские и христианские, — дело второстепенное». Потом я еще раз слушал Далай Ламу, в Осло, в 2000 г., и читал его книгу «Доброе сердце»; там эта точка зрения глубоко и всесторонне развита, с сознанием важности различий. Но главное — действительно любовь. Как о ней ни говори. Если хотите — словами св. Силуана: «Тот, кто не любит своих врагов, в том числе врагов церкви, — не христианин».

## Восполненность

Принято восхищаться богатством греческого языка, различавшего ага-пе (сострадание — до самопожертвования), филе (спокойное расположение) и эрос. А по-моему это скорее ущербность, склонность обособлять разные стороны одной любви и превращать в самостоятельных богов. Эту ущербность унаследовало и христианство, испугавшись языческой эротики и исключив эрос из царства истины; следствием чего был миф о нечеловеческом зачатии Сына Человеческого.

Однако вернемся к грекам. Они сперва разорвали бытие на самостоятельные сущности, а потом ломали себе головы, из чего все произошло? Из воды? Из огня? То есть пытались выстроить целостность из обрывков, превращая их в принципы. Эммануэль Левинас назвал эту склонность греческой мысли тотальностью, тяготением к ложной цельности, к логически выстроенной системе, основанной на одном принципе, и видел в тотальности философской мысли один из истоков тоталитаризма.

Левинас противопоставляет тотальности библейское чувство бесконечности, диктующее человеку нравственную ответственность, ответственность за Другого. Это не логическое следствие принципа, а по-

веление, услышанное пророками. Оно может быть выведено и из Евангелия. Левинас ссылается на гл. 25 Ев. от Матфея и повторяет своими словами основную мысль: «Бог реально присутствует в Другом. В моем отношении к Другому я слышу Голос Божий». Но упорнее всего он ссылается на Достоевского: «Один из его персонажей говорит: «Мы все ответственны за всё и всех, и я ответствен более, чем все другие». Затем, второй раз: «В этом для меня сущность иудейского сознания, но я думаю также, что это сущность человеческого сознания как такового: «Все люди ответственны одни за других, и я — больше всех других». Для меня важнее всего здесь асимметрия, выраженная следующим образом: все люди ответственны одни за других, и я больше всех других. Эти слова принадлежат Достоевскому, и я, как видите, не устаю их повторять» (*Левинас Э. Избранное. М. — СПб., 2000. С. 360, 357, 359*). По-видимому, имеются в виду слова Зосимы: «Все мы друг перед другом виноваты».

Пересказ не искажает мысль Достоевского. Ему были бы близки и другие слова Левинаса: «Я ответствен за Другого, даже когда он наводит на меня скуку или травит меня». Легко продолжить: даже если это злая старуха-процентщица. И Алену Ивановну нельзя принести в жертву идее. Самый безобразный человек выше самой красивой идеи, но что делать, если один Другой убивает, мучает, эксплуатирует другого Другого? Приходится защищать слабого, и становится необходимым справедливое, законное, не тотальное насилие, ограниченное (по Библии) милосердием. При этом монополия на насилие отдается государству (здесь Левинас и Достоевский опять сходятся).

Однако позиция Зосимы (и самого Достоевского) этим не исчерпывается. Для них ад — отсутствие любви. Между тем, Левинас избегает слова «любовь»: «Ответственность за Другого — это более строгое название того, что обычно именуется любовью к ближнему, любовью без эроса, милосердием, любовью, где нравственное доминирует над страстью, любовью без вождения. Мне очень не по душе затасканное и опошленное слово «любовь». Речь идет о том, чтобы взять на себя судьбу Другого».

Я думаю, что во многих важных ситуациях нельзя взять на себя судьбу Другого без любви во всей ее полноте. И это невозможно без освобождения любви от пошлости. Я думаю, что самый полный акт ответственности — тот, который создает семью, задуманную Богом. В этой молекуле «ответственность доминирует над страстью», не подавляя, не умерщвляя ее. Об этом — дальше, а здесь достаточно сказать, что в языковом плане, при выборе слов — трудно обосновать ответственность за Другого без нефилософских, не годных в качестве терминов, уводящих в бесконечность слов «Бог есть любовь». Левинас пытается освободить философию от ее опасных тенденций, оставаясь на почве философии, пользуясь строго философскими методами, выстраивая в ряды строго определенные понятия, и создает сложную систему, в которой главная мысль не столько выражена, сколько запутана. Было бы проще выводить ответственность за Другого из двух «наибольших заповедей»: о любви к Богу и любви к ближнему.

Однако главная мысль Левинаса верна (по крайней мере для XX и XXI века): нельзя приносить Другого в жертву принципу. «Единственная абсолютная ценность — это человеческая способность отдавать Другому приоритет». В этом Левинас перекликается и с русскими классиками, и с литературой пробудившейся совести, возникшей после смерти Сталина (я думаю, о Гроссмани, Айхенвальде, Галиче, Коржавине). Но я не уверен, что корень зла — постановка на первое место онтологии, учения о бытии, а этику — на третье (как и у Аристотеля). Идолом могут стать сами «идеи добра», как очень точно говорит один из персонажей Гроссмана. Справедливость не раз становилась кровавым идиолом, и повелением Бога оправдывались массовые убийства — от Моисея и Иисуса Навина до св. Ирины и св. Доминика.

То, что Левинас клеймит как «тотальность», я назвал «одноточными теориями», сведением всего богатства человеческих проблем к чему-то одному, например: ликвидировать частную собственность (Маркс) или снять запреты на пути полового влечения и таким образом победить неврозы, созданные запретами (Фрейд). Были и другие упрощения, но я думаю, что сегодня опаснее эти.

Следствием первой редукции была деградация общества, в котором систематически подавлялась свобода личности. Следствием второй редукции была деградация общества, в котором систематически разрушались святыни, свобода духа уступала место капризам плоти и люди сползают от любви к вожделинию и от вожделиния к героину. Бедные нации, острее других пережившие кризисы XX в., избирали обычно первый путь гибели, а богатые — второй. Комфортабельный путь к смерти популяризуется американским телевидением и, видимо, господствует, встречая сопротивление только в экстремистах. Но как заметил один из героев Бальзака, можно убивать себя и наслаждениями.

Я не вижу возможности преодолеть смертельный зигзаг истории без восстановления единства земного и небесного. Тут все пути индивидуальны, но в моем опыте складывалось поведение человека, где нет раскола на личное и гражданское, светское и религиозное. Мы были счастливы с Ирой и возмущены травлей Пастернака и задумали подпольный кружок, который я вел. Готовность на риск была частью нашего счастья, нашей полноты жизни. Мы были счастливы с Зиной, и я рисковал этим счастьем, когда общество замолчало, подавленное репрессиями, и некому было заговорить, и я написал и дал разрешение печатать под моей фамилией «Акафист пошлости», обвинив КГБ в развращении народа. Я считал, что каждый должен делать то, что в его силах, и так как сила моего слова больше, я должен был сделать несколько больше того, что считал нормой для каждого. Без готовности каждого на риск жизнь делается адом. Но я был и остаюсь убежден, что рая не даст никакая политика, никакая гражданская твердость. Целостность общества начинается с целостного человека.

Счастье — не политическая цель, а глубоко личная; но далеко не безразличная для общества. Общество здорово, когда дома человек находит

радость и утешение от невзгод. Материальная основа здесь ничтожная: отдельная комната в коммунальной квартире. Минимум средств к жизни. Остальное от государства не зависит. И это остальное — если оно удастся — более прочная основа государства, чем конституция. При довольно плохом правительстве можно найти счастье в собственном доме и не гоняться за утопиями, которые все кончались катастрофой. Сказано ведь в Библии: «Да оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей». Прилепится — не гомеровским эросом, готовым побежать за каждым изгибчиком, а неразрывностью эроса с нежностью (в ней ничего не смыслили Ахиллы и Агамемноны). Из нежности растет ответственность за Другого, которого ты приручил, и внутренний запрет оскорбить чувство прилепленности. Прилепленность создает облако нежности, в котором могут расти дети — со страхом обидеть Другого, с чуткой совестью, с образом любви, оставленным отцом и матерью... Из молекулы любви лучится свет на всех окружающих. И нет разрыва между поколениями, и не летят под откос святыни, открывшиеся людям, не знавшим компьютера и интернета.

Я иногда с восхищением читаю книги великих аскетов. Но подлинных монахов, у которых «роман с Богом» (как выразился еп. Брянчанинов), очень мало. А культура, созданная неподлинными монахами, не случайно рухнула в конце Средних веков. И хотя я с сочувствием смотрю на попытки восстановить средневековый порыв «ввысь!», я не думаю, что возвращение к прошлому возможно без глубоких перемен в понимании духовного пути.

После смерти Иры я сомневался: не остаться ли одному? Но мне показалось, что Ира не этого хочет. И оставил открытой свою способность к любви. Не домогаясь нового чувства и не ожидая от него чуда: казалась невозможной еще раз такая полнота любви, которая один раз была мне дана. И слишком сильна была память о прошлом, и боязнь оскорбить его. Главное, чего я искал, было вне пола. Мне надо было понять, как Бог, если он есть, допустил смерть Иры. Об этом я почти ни с кем не мог говорить. И именно на этом, главном уровне произошла встреча с Зиной.

Мое первое впечатление от встречи укладывалось в стихи Цветаевой о Сивилле. Я их уже приводил в 10-й, «Нечаянной» главе.

Я совершенно не хотел, чтобы Зина была другой — моложе, красивее. Именно сивиллой, выжженной Богом, я ее принял. Припомнилась еще блаженная Андже́ла, средневековая итальянка, болевшая каким-то странным недугом. На блаженных не женятся. Я решительно отверг реплику Володи Муравьева, в ответ на мой восторженный рассказ, будто я влюбился. Не было влюбленности. Огромное впечатление было бы тем же после встречи со старицей или старцем.

Впоследствии знакомство с Зиной очень глубоко пережил покойный художник Володя Казмин и создал культ преданной дружбы: слушал стихи, сидя у ее ног, а потом пел болгарские гимны, которые я больше ни от кого не слышал. Но я не умел создавать ритуалы. Кроме того, Володя был на двадцать лет моложе Зины, а я — на восемь лет старше. Мы просто

подружились. Дружба длилась несколько месяцев без мысли о чем-то другом. Потом, зайдя в гости, я застал Зину без аккуратного пучка на затылке, с каштановой косой за плечами. Эта коса делала ее моложе, мягче, женственнее, беззащитнее. Раньше она казалась мне доверяющей себе, «сферической», как я это называл, и мне не хотелось нарушать ее внутреннего покоя: казалось, что ей не нужно ничье вмешательство. А тут вдруг показалось другое: что она в чем-то слаба, что она ищет опоры. И если так... Мне впервые пришла мысль о возможности брака. Я взглянул на Зину, как иногда поверхностно смотрел на женщин (до этого она была для меня «в бронзовых одеждах»), и сразу же опустил глаза. Так смотреть на нее нельзя было. Должно было вырасти что-то из глубины, у нас обоих. Но я угадывал в ней страх выйти из замкнутости сферы. Наверное, пройдет пара лет, пока это в ней совершится. А что будет в эти годы со мной? Неважно. Я остаюсь открытым, но если Зина повернется ко мне, я развяжу любые узлы, которые нечаянно завяжутся.

Мы продолжали дружить. И незаметно, без всякого умысла, что-то внутри менялось. В новый 1961 год, после встречи с друзьями, прошедшей довольно бесцветно, я зашел, как договорились, к Зине, вместе ехать на день рождения знакомой девочки-подростка. По дороге зашли в парк, присели на скамейку. Зина прочла стихотворение. Помолчали. И вдруг я почувствовал, что мне очень хорошо с ней. Так хорошо, как не было ни с кем другим после смерти Иры. Что-то вроде ветерка тронуло меня и исчезло, но впечатление не забылось. Зина потом рассказывала, что она этот ветерок тоже почувствовала. Ей показалось, что сейчас я ее поцелую. Но поцеловались мы только через полтора месяца. Я был в плену своего образа замкнутой сферы.

Вернувшись домой, я подумал, что с этой сферичностью делать, и через несколько дней написал два эссе: «Пух одуванчика» и «Язык богов». Об этом уже сказано в «Нечаянной». Зина не поняла, что это прямо ей написано, но что-то почувствовала и написала сказку «Фея Перели». Сюжет этой сказки — замужество феи (потом женился грустный гном, выходила замуж Легконожка... с нашего сближения началась вся серия сказок). Как я слушал — в той же «Нечаянной».

Когда Зина кончила читать, я сказал: «Мне хочется вас поцеловать». Это был последний раз, когда мы говорили друг другу «вы». Зина подняла на меня глаза, полные слез. Мы посмотрели друг на друга, и всё, что нужно, договорилось губами. Потом надо было выяснить, где мы будем жить. Я показал свою конурку; Зина постаралась не дать мне почувствовать свой ужас перед этой щелью между коммунальной кухней и уборной. Через пару дней она мне все-таки сказала: жить будем у тебя. Я вздохнул с облегчением.

Чувство к Ире пришло, как взрыв. Оно опрокидывало меня и заставляло совершать поступки, противоречившие разуму. А тут был росток нежности, спокойно подымавшийся вверх в огромном общем духовном пространстве. Росток большого-большого дерева. Я был уверен, что оно будет медленно подыматься, как растут любимые Зиной сосны. Я принял

умом этот медленный рост и не торопил его.

Некоторых шокировало, что я так скоро, через год после смерти Иры, полюбил другую. Подруга-предательница Иры воспользовалась простодушной фразой в письме к ней: «Мне второй раз в жизни крупно повезло»; она показала письмо Володе Муравьеву и постаралась использовать болезненное впечатление на мальчика, боготворившего свою мать, чтобы оторвать его от меня и помирить с отцом, из ревности написавшим когда-то донос на второго мужа Иры (я был третьим). Потом оказалось, что эта дама и Иру предавала. Но в конце концов кое-что восстановилось. К сожалению, не всё. Встречи с мальчиками стали реже, но чувство связи не порвалось. Зину они полюбили. Вечная им память обоим! Я пережил их, одного за другим, и хоронил рядом с Ирой. Сейчас живут только внуки и правнуки Иры.

Две любви — к Ире и Зине — развернулись в разных измерениях моего сердца. Они не теснят друг друга. Ира потрясла меня реальностью романтики, реальностью лавы, заливавшей виноградники, и эта реальность откликнулась в моей душе страстью. А встреча с Зиной потрясла меня реальностью встречи с Богом, реальностью Бога сквозь смерть. Люди этого не выдерживали, отшатывались. А я уже прошел через смерть вместе с Ирой, и Зина приняла меня вместе с Ирой, с рассказами об Ире, с ее фотографией на столе и другой, нашей общей, на стене. То, что в нас с Зиной росло, было пламенем без дыма, оно не оставляло пепла (на языке Цветаевой это огонь-бел). «Белая» любовь росла, не переставая хранить память о прошлой любви. И после пятнадцати лет брака я обдумывал и писал «В сторону Иры» — рассказ об Ире через мою любовь к Ире.

В те же годы я не забывал видения 28 октября 1959 г., когда небо раскололось и кусками падало на землю. Я все время сознавал, что это не только увиденная метафора потери (смерть любимой — светопредставление). Было еще что-то, какое-то неразгаданное сообщение. И только недавно оно до меня дошло: жизнь, повернутая к счастью, возвращает семена отчаяния, разрастающегося, когда физическая смерть разрушила счастье. Жизнь, повернутая к Богу сквозь мистическую смерть, возвращает семена счастья, семена благодарности, чередующейся со страданиями и топящей в себе страдания.

Две мои любви, не зачеркивая друг друга, прочертили путь, который Кришнамурти назвал «путем мудрости», в отличие от «пути святости», без попыток уподобиться Будде или Христу в их бытии над полом, попыток, тщетных для тех, кто не призван к такой святости. Опыт научил меня, что живая любовь может стать исполнением второй из наибольших заповедей: о любви к ближнему, подобной любви к Богу. Сочувствие и сострадание, пронизывающее эрос, доведенные до любви, дающей Другому полноту земного счастья, благословенны, и то, что такая любовь дает радость дающему ее — не грех. Мне кажется дикой идея, что подлинное добро непременно творится через отказ от счастья и чуть ли не с отвращением. Но есть не только один Другой, судьбу которого берешь на себя. Есть другие Другие, и в отношениях с ними возникают проблемы, от которых не

спишь ночами, и счастье редко бывает безоблачным. Я писал об этом в главе «Неразрешимое».

Возможно ли чистое счастье, без отклика на страдания вокруг, без чередования боли и радости? Я сравнивал счастье с отдыхом на пути в Египет. И у Христа был не только крестный путь. И он не просил креста. Счастье мыслимо и достижимо и может быть нравственной целью. Человек, переносящий труды жизни с чувством счастья, делится с окружающими светом своего счастья. А неврастеник, мучающий себя невыполнимыми задачами, делится больными нервами. И хотя «личное» счастье — не высшая цель жизни, но это цель, доступная человеку без каких-то особых, потрясающих способностей. Я не умел достигать этого от природы, в юности я скучал, потом тосковал. Я поздно научился счастью, и каждый, кто готов стать живым лекарством для другого, способен на это; не дожидаясь никаких переворотов, которые никогда не удаются во всем обещанном совершенстве.

То, что в любви мужчины и женщины есть много искушений, верно; но искушения есть и в монашестве. Для каждого лучше тот путь, с трудностями которого он справится. И в старой Библии даны были образы праведной, почти святой близости: Книга Руфь, Книга Товит. Их отодвинула назад легенда о непорочном зачатии (я думаю, что ее создали эллины-неофиты, плохо знавшие Библию и совсем не знавшие арамейский язык, на котором «дух» женского рода).

Бубер был прав, возражая Кьеркегору: Регина (его невеста) — не соперница Богу, и Бог не требовал разрыва помолвки. Духовный рост возможен в молекуле, скрепленной причастием близости. Об этом говорят все Зинины стихи. То, что она писала в одиночку, мы почти не включаем в сборники. Зрелость духа пришла к ней позже, в жизни вместе со мной. А у меня вся творческая жизнь — вместе с ней.

Я не знал заранее, как сложится наша жизнь, но с самого начала был уверен в себе, в своей способности учиться и учить: учить языку осязания и учиться языку глаз, вобравших в себя весь океан на закате, учиться вглядываться в тишину сумрака на морском берегу и топить свое малое «я» в этой тишине. Я верил, что полдень любви может быть лучше, чем утро, воспетое Надсоном, и я не ошибся. Мы стали чем-то одним вдвоем. И вечер нашей любви, несмотря на болезни и тревоги, не уступает ее началу.

В 1958 году я пытался определить любовь как поиски счастья в счастье другого. Потом счастье рухнуло, перерублено было смертью, а любовь осталась. И сейчас я думаю, что любовь больше счастья. В ней есть возможность счастья, но не только. В любви открывается Бог, и любовь к человеку сливается с любовью к Богу. Любовь — одно из имен духа, создающего звезды, одно из имен Бога, она непостижима, как сам Бог, и постигается только сердцем. И только сердцем постигаются Зинины стихи, выросшие из целостности любви.

Покойная Людмила Владимировна Сухотина, плакавшая, слушая их, говорила, что Зина — прирожденный богослов. Это особое, поэтическое



богословие, богословие-откровение, как в ведах, стихах бхак- тов и суфиев. Это созерцание неба сквозь земное и освящение Земли. Разве можно видеть дерево и не быть счастливым? — говорил Мышкин. Разве можно видеть дерево и не видеть Бога? — говорят стихи Зины. И верхушки берез в лучах заходящего солнца становятся площадкой, с которой вдохновение ракетой взлетает к Богу. В эти мгновения я остаюсь восхищенным зрителем взлетов, из тишины леса куда-то высоко-высоко, так что только поспеваешь подбрасывать хворост в костер и доставать из кармана блокнот и ручку, записать стихи. Но со своих соседних ступенек духовной пирамиды мы потом переговариваемся и вместе ищем самое точное слово.

После смерти Иры я часто рассказывал, как мы любили друг друга. Один из собеседников спросил: «Сколько это длилось?». Я ответил. «Ну, три года, — возразил он, — это еще может быть. Попробовали бы тридцать...»

Дерево, проросшее из горчичного зерна нежности, растет и растет более сорока лет, подымается все выше, и в его тени собирается все больше друзей. Не очень давно Зина написала:

*Моя правота перед Богом лишь в том,  
Что сердце мое утопает в твоём,  
Утопает совсем, глубоко на дне,  
На той немеряной глубине,  
Где уже невозможен грех —  
Там себе не берут ничего.  
Я обнимаю тебя одного,  
А сердечный мой жар прогревает всех.*

Этот сердечный жар — в плодах нашего дерева, в наших книгах. Семена из них когда-нибудь прорастут и дадут жизнь новым деревьям — может быть, целому лесу — так, как вырос лес из рассыпанных листков Старой Феи.

## **«В 70 лет я снова начал пробиваться в жизнь»**

Эта беседа с Григорием Померанцем — о его опыте выживания и формирования себя, собственной личности в России, об эмиграции и предназначении человека и о многом другом — состоялась в 1999 году. К сожалению, она не укладывалась в прокрустово ложе нынешних СМИ: объем в 8—10 тыс. знаков превышать стало непозволительно. Поэтому интервью пришлось разбить на три части и публиковать в трех разных периодических изданиях — соответственно в 1999-м, 2001-м и 2003 г. Может ли человек XXI века одолеть подобный объем за один раз и не утратила ли эта беседа за прошедшее время своей актуальности, судить читателю.

— Григорий Соломонович, за последнее десятилетие мне не раз приходилось слышать от знакомых, как все им здесь надоело, что все перемены в России только к худшему, что тут невозможно реализовать, полностью использовать свой дар, свой талант, и единственный выход — куда-нибудь уехать. Скажите, у Вас такого желания никогда не возникало?

— Лично я колебался, ехать или не ехать, в начале семидесятых годов. Многие мои друзья рванули за рубеж, и надо сказать, что соблазн был. Меня убеждали, что там и возможности для работы лучше, и печататься смогу. Наверное, в самом отчетливом виде я повторно сформулировал для себя эту проблему уже в споре с Борисом Хазановым. У него есть эссе о том, что хорошо бы на каком-нибудь бестуземном острове собрать тысячу творцов русской культуры и спокойно там ее творить — без всего того, что нас здесь в России мучает. Я тогда, прочитав это его опубликованное на Западе произведение, возразил, что без реального чиновника Мармеладова, в пьяном виде попавшего под колеса, не было бы и «Преступления и наказания». Что русская литература, русский язык органически связаны с Россией. Я, когда читал «Вторую книгу» воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам (кстати сказать, с трудом, мне там многое не нравилось), обратил внимание на то, как Осип Мандельштам расцвел, приехав из Грузии, кажется, в Ростов и снова услышав на улице русскую речь. Для человека, который работает в русском языке, говорящая порусски среда, приносящая какие-то новые, которых не было раньше, выражения, совершенно необходима. Именно в этой стихии разворачивается его дух. В эмиграции, может быть, комфортнее жизнь, но...

Кроме того, в узеньком интеллигентском кружке — бесконечно больше борьбы самолюбий, зависти и прочего, чем у обычных людей. Удачным примером здесь может служить театр. У меня мать была актрисой, и я немножко знаком с театральными кулисами. Каждый актер уверен, что он может сыграть Гамлета, и никто не считает, что достоин только роли могильщика. Любой чужой успех вызывает зависть. Еще я посещал в свое время заседания секции переводчиков — моя жена, поэт Зинаида Александровна Миркина, брала меня туда как опору, потому что там просто давила сгущенная атмосфера больных самолюбий. Каждый переводчик считал себя ну по меньшей мере Бродским, которого недооценили, и тоже мучился от малейшего успеха своего соседа.

Поэтому такая вот неестественная концентрация творческих людей, собранных в одном месте и связанных с русским языком профессионально, возможно, в чем-то даже еще болезненней, чем самая большая, но нормальная жизнь, нормальная в том смысле, что тебя окружают инженеры, учителя и так далее (например, я проработал 20 лет среди библиографов, это хорошие, умные люди без чрезмерных претензий). И вот эта обычная человеческая жизнь органически связана со всем великим, что было и будет когда-нибудь сказано на русском языке.

Мне давно стало ясно, что я не отношусь к тем гениям, которые могут, как паук, ткать из себя самого всю свою паутину. Моя работа — это

отклики, отклики на то, что меня ранило или восхищало. Я настроился на здешние волны, мне надо было бы прожить еще одну жизнь в другой стране, чтоб откликаться на то, что в ней происходит. Причем это не врожденное. До семи лет я рос в совершенно другой культурной атмосфере — в полуеврейской по составу населения и совершенно еврейской для меня Вильне, что сейчас называется Вильнюсом. Русский язык стал для меня основным годам к восьми. Хотя я и сохранил какие-то остаточные представления о той культуре, о языке — не о иврите, а идише, на котором говорили мои реальные, а не весьма отдаленные предки эпохи Авраама, Исаака и Иакова. Но то, что было в детстве, оставило во мне только некоторый след, внесло определенную сложность в мое восприятие мира, однако не может устранить того факта, что основная моя культурная ориентация — русская, и куда бы я ни уехал, я только ее увезу с собой, и американской в моем возрасте она не станет. И мое место, даже если эта культура больная, — у постели больного.

Помню, как мы с друзьями еще в 50-60-е годы спорили и в конце концов пришли к выводу, что поэту надо оставаться в стране, где говорят на том языке, на котором он пишет. Судьба уехавшей Цветаевой оказалась более трагичной, чем судьба оставшейся Ахматовой, которой никогда не было так безнадежно одиноко в России, как Цветаевой в эмиграции.

*— Но стоящие перед Вами проблемы ведь не сводились только к «печататься — не печататься»?*

— Да, моя жена говорила, что мы живем на полке у сытого людоеда, который не торопится нас скушать. Но, как вам сказать, я еще на войне привык к риску, и он меня не пугал. А самых крайних ситуаций я по возможности избегал. Вместе с тем мне хотелось показать пример жизни среднего человека в этой стране, который не боится совершать какие-то поступки, грозящие, в сущности, только мелкими неприятностями. Ну, сорвут защиту диссертации, будут держать тебя на какой-то технической работе, бить тебя рублем, так что придется считать каждую копейку, и т.д. Я на это шел. И одновременно сохранял за собой свободу слова. Мне казалось полезным и нужным дать такой пример, не уезжая на Запад, где, понимаете, все подобные проблемы сразу снимаются. Мне хотелось решать их здесь.

*— А Вы не думали, что Вас просто посадят? Для этого не всегда были нужны серьезные основания.*

— В моей жизни был только один такой момент. Я печатался за рубежом, но с самого начала, еще с 60-х годов, избрал для себя открытость и одновременно некую саморедактуру. Писал под собственным именем, так что искать меня, как Синявского, не надо было, но вместе с тем писал в известной мере эзоповым языком, чтобы состав преступления найти было трудно. Чтобы, условно говоря, не под закон — нельзя говорить о законности при советской власти, — но под юридическую практику политическую чтоб это не подходило. И мои рукописи, мои произведения у друзей, у читателей, которых я даже не знал, неоднократно изымались, но мне известен только один случай, когда их включили в «состав

преступления» заодно с другими материалами: у человека нашли кучу самиздата, и его посадили. Но то было в Барнауле. А уровень законности барнаульской я никак не мог учитывать. Исходя же из моих представлений о Москве и отчасти о Питере, за то, что я писал, не только меня, вообще никого не должны были посадить. Хотя однажды настал момент, когда я рискнул всем, рискнул серьезно. Это произошло в 80-е годы, когда начали показывать по телевизору примерное раскаяние диссидентов. Помню тошнотворное впечатление от самобичеваний Дудко, именно тогда я почувствовал необходимость высказаться открыто. Раньше я совершенно спокойно принимал, что нахожусь, так сказать, на второй линии огня. Первая линия — это издание «Хроники прав человека», выход на Лобное место и так далее... А я лишь обдумываю то или иное событие и через несколько месяцев пишу свои эссе, находя формы высказывания, которые содержат в себе не только философский и исторический смысл и вместе с тем путевкой прямо в кутузку не являются. Но тут я почувствовал, что, кроме меня, больше выступить некому. Сахаров был в ссылке, всех диссидентов пересажали, и мне вспомнилась сказка Щедрина «Литератор Крамольников»: «Все молчит, только камни вопиют». И тогда я написал эссе «Акафист пошлости» и после некоторых колебаний решился отправить за границу. Там я немножко придерживал его, потом доработал еще раз и, наконец, дал разрешение напечатать. Сознывая, что за это меня вызовут на Лубянку.

— *А где именно Вы его опубликовали?*

— В «Синтаксисе» Розановой и Синявского. И кончил эссе я прямым упреком КГБ, что демонстрировать сломленных людей — значит растлевать своими действиями народ. Я, конечно, понимал, что за это меня по головке никто не погладит и какой-то скандал будет. Но по военной привычке попытался всё учесть и считал, что это не безнадежно посадка, а только риск. И что пока не сделал то, что должен, я не имею права отступать. И я рискнул. Не берусь судить, случайно или нет, но меня вызвали, чтобы промыть мозги, на Большую Лубянку во время гипертонического криза, в довольно плохом состоянии, с давлением 220 на 100. Такая процедура называлась «предупреждением». Не знаю, понимают ли современные молодые читатели, что это значит. Подобные меры применялись обычно к людям, которых не совсем удобно сразу взять да и посадить. Так, поэт Чичибабин «предупреждался» и остался на родине — на Украине, поэт Коржавин «предупреждался» — и уехал. Понимаете, я считал, что, скорее всего, меня вызовут и предупредят. И уж когда меня предупредят, я благородно смогу несколько отступить. Так оно и произошло. И там я пообещал, что от прямых политических выступлений отказываюсь, но право печататься за границей по вопросам литературы и философии за собой сохраняю, и указал, где и какие журналы меня публикуют. Таким образом я отчасти даже санкционировал в КГБ издание статей подобного характера. То есть я выбрал путь, прямо противоположный пути Синявского, который пытался надуть КГБ и только их раздражал. Дальше я отправил за рубеж письмо, в котором сообщал, что

у меня был вызов в органы, на основании чего я прошу не печатать такое-то эссе. Само послание было не очень уж важным, но мне было любопытно, пропустят они его или нет. Пропустили. Оно дошло до Мюнхена, и журнал «Страна и мир» его опубликовал.

— *Вы послали письмо через знакомых?*

— Нет, нет, я послал через КГБ, то есть через советскую почту, зная, что копия будет немедленно отправлена в КГБ. В результате я по возможности постарался превратить операцию по, так сказать, лишению меня чувства собственного достоинства в деловое соглашение: то-то я вам обещаю, то-то нет. Конечно, это легко сказать и трудно выполнить. Из-за очень сильного морального давления, которому я подвергся во время «предупреждения», у меня на другой день начались какие-то странные процессы в мозгу. Постоянно появлялась перед глазами фигура следователя, который неожиданно разросся и стал похожим на Бармалея. Я почувствовал, что дело может кончиться болезненным срывом. И тогда я с таким чувством, которое бывает в отчаянном положении, стал молиться: «Господи, останови мои мысли». Это ужасно трудно — держать ум в словах молитвы. Через час, когда я встал, то был совершенно спокоен, чувствовал прилив творческих сил, а на следующее утро сел продолжать «Записки гадкого утенка». Да, еще я вскоре санкционировал печатание за границей своей книги «Сны земли». Публикация ознаменовалась обыском, только не у меня дома, а в квартире моей приятельницы, у которой собралось гораздо больше моей машинописи, чем у меня самого. (Хочу признать здесь собственную вину, что необходимую им информацию они просто получили из наших телефонных разговоров.) А «Записки гадкого утенка» я писал главу за главой и прятал написанное на даче в поленище. Но все это произошло уже после того, как я преодолел в себе то чисто болезненное чувство, возникшее, когда я в состоянии криза подвергался психической обработке.

— *Обработка была очень сильной?*

— Как вам сказать... Все-таки меня напугали. Причем не только «они», но и родные, которые начали доказывать, что я вел себя как идиот. А я сделать глупость боюсь, наверное, больше, чем чего-либо другого. Хотя это и не мешает мне их делать.

— *А чем Вам угрожали?*

— Ну, угрожали, конечно, применением статьи 190 часть 1 — это 3 года лагерей. Чего для уже больного человека вполне достаточно. И как только я преодолел страх, то сразу почувствовал себя помолодевшим. Ну, как на фронте я подымался и шел под огнем, вот так же весело и легко я писал «Записки гадкого утенка». Впоследствии, правда, одну главу пришлось переделать, о своей диссидентской, так сказать, биографии — об этом периоде я тогда не мог в открытую сказать все, что хотел, и в 90-м году слегка ее расширил. А остальное как написано, так написано, и так сейчас напечатано, кто захочет, может прочитать. Ведь обстановка риска, понимаете, — она даже увлекала. В своих воспоминаниях Григоренко приводит такой характерный послевоенный эпизод. Он услышал выстрелы

и увидел, как двое офицеров стреляют друг в друга из пистолетов. И оба были ранены. Причем они вовсе не поссорились, а просто им захотелось снова почувствовать себя под огнем. Это кажется идиотством, но тот, кто был на фронте и испытал радость преодоленного страха, тот поймет, что это такое. Во все не я один считаю скучной жизнь совсем без риска.

— *Потом были еще какие-то вызовы, или просто Вы писали, а они читали?*

— В течение долгого времени после этого я чувствовал себя в осаде: взламывали мой почтовый ящик, да и вообще они со мной совершенно не церемонились и вели себя так, будто все равно меня скоро посадят, поэтому можно не обращать внимания на самые элементарные вещи. Например, мне присылают из-за границы книги — они не доходят. А обыск после выхода «Снов земли» был произведен, заметьте себе, уже при Горбачеве. Но это были последние всплески активности режима, очень скоро обстановка в стране стала меняться. Запрещение же меня печатать действовало с 76-го года по 87-й включительно. Оно вообще никем не отменялось и было фактически взломано лишь в 88-м году, когда сразу два журнала набрались смелости меня опубликовать. За десять лет меня забыли основательно, молодежь меня просто не знала, а самиздат был подавлен еще Андроповым — он был самым ревностным служакой в своей области. В общем, в 70 лет — мне как раз исполнилось 70 — я снова начал пробиваться в жизнь. И я нахожу, что жизнь эта интересная, и обменять ее на другую не хотел бы. Еще после 90-го года я впервые после войны, когда прошел с армией по Европе, оказался «выездным», и мне впервые понадобились языки, которые никогда ранее я не имел возможности употреблять в устной речи и знал только литературно, то есть читал на них, но не разговаривал. Постепенно начал говорить — сперва по-немецки, а потом с ошибками и по-английски. Завел себе новых друзей, с которыми сейчас переписываюсь. В общем, жизнь стала богаче оттенками. И я по-прежнему держусь того, что жить интересно здесь. А в остальном... Ну, понимаете, кого и чего мне бояться? Я не разбогател, поэтому для бандитов совершенно не привлекателен. И не играю никакой политической роли — и тоже не могу, так сказать, быть здесь мишенью.

— *За XX век Россия пережила несколько волн эмиграции. Конца и края последней из них сейчас, когда вроде бы наступила свобода и нет никаких преследований по идеологическим причинам, по-прежнему не видно. Как Вы считаете, оправдано ли морально нынешнее расставание с Родиной — из соображений материальных?*

— Я понимаю людей, которые уезжают. Какой смысл, например, ученому, чья работа связана с дорогостоящими научными исследованиями, оставаться здесь, где фундаментальной наукой пренебрегают, где нет на нее денег. В конце концов, открытие, сделанное русским ученым, где бы он ни жил — в Америке, в Канаде или в Южной Африке, будет открытием именно русского ученого. В его биографии навсегда отмечено: выходец из такой-то страны. Но с точки зрения интересов России мне очень жалко, что мы выталкиваем людей, самых разных, которые могли бы быть ей очень

полезны. Многие покинули страну по национальным причинам. В последнее десятилетие в результате ряда ошибочных шагов нашего руководства уезжали немцы, уезжали армяне, уезжали евреи. Одновременно, правда, был встречный поток иммигрантов в Россию, и не только русских, в частности из Армении. Армяне едут куда угодно с Кавказа, потому что чувствуют, что там земля начинена порохом. И это в данном случае даже на пользу России оказалось.

Мне очень трудно привыкнуть, что Россия отныне — страна, отрезанная от других республик СССР с их проблемами. Например, немцы массово эмигрируют из Казахстана. Конечно, можно сказать — нам плевать на Казахстан. Я не способен так на все это плевать. Я думаю, что обломки Советского Союза все-таки могут составить содружество наподобие европейского сообщества и в определенной степени судьба их должна снова стать общей. Хотя и не на имперский лад, а так, как сложилось сейчас в Европе. Я вообще убежден, что в становлении отношений между нациями развитие Западной Европы во второй половине XX века — пример для других. Со временем и у нас может сформироваться настоящий союз суверенных наций. Поэтому откуда бы ни уезжали немцы, откуда бы ни уезжали армяне или евреи — это потеря для всего нашего большого сообщества, которое я привык воспринимать как единую страну. Хотя это, может быть, и просто застарелая привычка, объясняемая моим возрастом.

Я еще до перестройки писал о неизбежности распада советской империи. Но думал, что распадаться можно по-разному. Что можно как-то достичь взвешенных соглашений, правовым путем перейти от имперского сожительства к экономическому сообществу и так далее. У нас же все решается немножко по-самодурски, и в результате непродуманной национальной политики как самой России, так и других республик нынешнего СНГ продолжается массовая эмиграция населения.

— *Например, из Прибалтики.*

— Меня очень давно шокировало отношение прибалтов к русским, но я понимал, хотя и не принимал некоторые основания для подобного их отношения к нам. Находясь в лагере, я имел контакты с эстонцами и латышами, служившими в войсках СС. И они оказались мне ближе, чем русские воры. Правда, те прибалты, с которыми я общался в лагере, не являлись собственно фашистами. То есть они были, конечно, националистами, но у них сохранилось гораздо больше нормальных ценностных привычек, чем у той хамской массы воров, с которой я сталкивался на каждом шагу. Это были в общем-то довольно приличные люди. Но тем не менее, когда сейчас их идеи восторжествовали, а служба в Советской Армии там просто приравнивается к службе в армии гитлеровской, меня такое сильно царапает.

— *У них даже скорее наоборот: служба в Советской Армии — оккупация, а в немецкой — подвиг.*

— Однажды я оказался в камере рядом с человеком, который получил 15 лет за то, что попытался при немецкой оккупации возродить русскую

национальную школу где-то в западной части России. Мы с ним играли в шашки, кстати, он был неплохим игроком, и как-то раз я его спросил, почему он выбрал такой путь. Он посмотрел на меня и сказал, что был свидетелем коллективизации и простить ее большевикам не мог. Я кивнул, и мы продолжали партию. Это стало одной из главных причин большинства трагедий XX века, что нормальный, но прямолинейно мыслящий человек, столкнувшись со злом в одной какой-то его форме, был готов потом вступить в союз против него с кем угодно. Но я по-прежнему не жалею о том, что был по сю сторону фронта, и не считаю ошибкой, что пошел добровольцем в 41-м году защищать Москву — солдатом, хотя мог рассчитывать на то, что меня отправят в какую-нибудь офицерскую школу. Для меня было нормально это. Для него было нормально то. Словом, тут есть бесконечность личных обстоятельств, которые заставляют человека сделать (или не сделать) свой роковой шаг. Поэтому уже много-много лет я считаю обязательным для себя уметь взглянуть на любое явление и с той, и с другой стороны. И не быть прямолинейным. Понимать, но не принимать, по выражению поэта Наума Коржавина, «ту тягу к добру, что приводит к несчастью».

Но мы с вами здесь ушли куда-то в сторону от проблемы эмиграции. Так вот, ведь массы состоят из отдельных людей, и для каждого это глубоко личный шаг. Иногда происходит национальная переидентификация, когда этнический немец начинает себя чувствовать по преимуществу немцем, когда в этническом еврее, который, собственно говоря, давно уж перестал быть евреем, а был только человеком еврейского происхождения, под влиянием тех или иных толчков, например под влиянием антисемитизма, под влиянием хамства, просыпается человек, ищущий еврейские корни. Что будет потом — неизвестно. Возможно, он будет очень тосковать по своей доисторической родине. Можно, конечно, успокоить себя тем, что народу в России много, что уезжают какие-то сотни тысяч и рождаются, в конце концов, другие. Но дело в том, что сплошь и рядом уезжают те, кому есть что предложить в эмиграции: интересные идеи или способности, открывающие перспективы в самых различных областях.

— *Другие, наверное, просто за рубежом и не задержатся. Кому они там нужны?*

— Ну, они как-то там прибьются, хотя бы уборщиками, скажем, как многие уехавшие в Израиль. И где-нибудь во втором поколении растворятся среди населения принявшей их страны. Тут возникает еще вопрос о родителях и детях. Наша чудовищная армия с дедовщиной и прочим является очень мощным стимулом, заставляющим людей уезжать. Родительская любовь — святое чувство, и тот, кто имеет сердце, никогда не бросит камня в людей, стремящихся спасти своих сыновей от жизни, которая многих солдат доводит до самоубийства. Но у меня детей не было, внуков, соответственно, тоже, и проблема такая передо мной не стояла.

И я не могу никого осуждать, в особенности если людей толкает на отъезд забота о детях, — ну что ж, для детей переменить отечество



чрезвычайно легко. Напомню, в 7 лет я сам его переменял, приехав в Москву, и в 8 уже был настоящим москвичом. Точно так же в Америке, в любой другой стране мальчик или девочка восьми — десяти лет чрезвычайно быстро станут совершенно полноценными гражданами своей новой отчизны. И я в достаточной степени космополит, чтоб понимать, что ничего порочного в этом нет.

Вот только в результате Россия лишается людей, которые могли бы сыграть очень важную роль в ее судьбе в ближайшие десятилетия. И выход для нее я вижу не в том, чтобы быть сырьевым придатком западного мира, а в том, чтоб развивать наукоемкие производства, не требующие больших капиталовложений, как базу новой экономики здоровой современной страны. Наши люди едут туда, где и так хватает мозгов, поскольку развитые страны являются центром притяжения для всего земного шара. Приходится надеяться, что останется все-таки достаточно и у нас.

Но очень неумно ведется наша большая политика: мы тратим деньги на пышные празднества, на показуху, а не на фундаментальные науки, не на учреждения и памятники культуры.

*— Но неужели во всех наших бедах виновато правительство, а мы сами уже как бы и ни при чем?*

— Суть дела, конечно, в другом. Решение наших проблем может дать только новая культура поведения, отказ от безответственности и халтуры. И уровень производства — прямое следствие известной культуры поведения. Суть дела в духе культуры, а его никакое правительство не создаст, его должны создавать мы сами. Я считаю, что основное, что зависит от нас самих, от каждого, кто осознает свою ответственность, — это культура как живой след достойно прожитой человеческой жизни. И судьба русской культуры в конечном счете решается теми подвижниками, которые где-нибудь в деревенской школе, в маленьком провинциальном городке все-таки оставляют этот глубокий живой след. И я верю, что он не пресечется.

В конце концов, русский кризис — это острая форма мирового кризиса, это острая форма болезни, которой другие страны и народы болеют иногда в более мягких хронических формах. Болеют, так сказать, на белоснежной подушке, в хорошо устроенном госпитале, а не в какой-нибудь развалюхе или в канаве. И все же это — частица общего кризиса. Кризиса культуры, связанного с тем, что развитие цивилизации стало слишком быстрым для способности человека приспосабливаться к окружающему, им же созданному миру.

Благодаря стремительным темпам развития многие противоречия чрезвычайно обострились. Распалась связь поколений. Все-таки «культура как живой след» — это до некоторой степени метафора, буквально так обстояло дело в жизни представителя какого-нибудь примитивного племени, в котором существует очень узкий веер возможностей выбора. И где можно стараться быть похожим либо на отца, либо на дядю, либо на лучшего человека своего племени, не более того. А уже, скажем, во времена Моцарта с их огромным количеством возможностей нужно было

обладать гением Моцарта, чтобы как-то интуитивно почувствовать, с чего начинать собственный путь. Нашу же современность можно проиллюстрировать музыкой Шнитке, который, судя по бесчисленному множеству музыкальных цитат в его творчестве, всю свою жизнь искал, в чем же состоит его индивидуальность.

— *А Вы свою индивидуальность обрели легко?*

— Примерно с шестнадцати лет, почувствовав, что некоторые художественные образы, некоторые изречения врезаются в сердце, я начал сознательно собирать их, как вехи. Между ними я пытался прокладывать свой собственный путь, который был бы действительно моим, а не следствием пропаганды, поверхностных страстей и так далее. Я получал импульсы, причем подчас самые противоречивые, от Шекспира, Стендаля, Тютчева, Толстого, Достоевского, — и все эти импульсы как-то становились мною.

Способности у меня, наверное, не меньшие, чем у среднего человека, но в результате где-то лет 20 ушло, пока я просто стал самим собой. Школьное сочинение на тему «Кем быть?» я закончил именно этими словами: «Я хочу быть самим собой», — для своего времени сие было жутким нахальством, но лишь годам к тридцати пяти, выйдя из лагеря, я почувствовал, что у меня уже есть какая-то определенная линия поведения, основанная не только на литературных примерах и даже не на встречах с людьми, оказавшими на меня влияние, а прежде всего на моих собственных неожиданных поступках, в которых я обнаруживал самого себя. Когда появилось ощущение, что принятое решение действительно мое, а не внушенное мне обстановкой, случайно прочитанной книгой и так далее. Или, как бывает чаще всего сейчас, — телевизором.

Сотворение себя — очень трудный процесс, наша школа совершенно им не руководит. Скорее может направить по этому пути благородная семья. Однако в случае со мной этого не произошло. Я не хотел копировать родителей, они меня не устраивали. Хорошие люди, оказавшиеся за бортом социальных изменений, растерянные, сбитые с толку, когда-то затронутые идеями социализма, но не принимавшие террора и совершенно не понимавшие, почему для блага социализма надо миллионами убивать людей ит.д. Как правило, нам очень не хватает примера. И как правило, старшее поколение оказывается банкротом на самом деле, а не только в глазах несмышленных мальчиков и девочек.

— *Стоявшая тогда перед вами задача обретения и сохранения себя в тоталитарном обществе, слава Богу, снята с повестки дня, но легче ли и проще решаемы проблемы, которые ставит перед нами нынешнее время?*

— Сейчас тех проблем нет, но по-прежнему есть проблема опоры на свою собственную глубину. И я не думаю, что она в России решается труднее, чем в других странах. Наоборот, русские обнаженные противоречия толкают к внутреннему поиску. Сравнительно гладкая поверхность западной жизни — я все-таки теперь поездил немножко, с чем-то сталкивался — позволяет легко удовлетвориться этой поверхностью. Именно поэтому многие на Западе хорошо понимают: чтобы

достичь некоторой глубины, нужно рискнуть оказаться без всякой почвы под ногами. У Михаэля Энде, замечательного немецкого писателя, есть сказочка о человеке, жившем в игрушечном мире, который постепенно начал разрушаться. И сквозь трещины в мироздании его призывал голос закутанной фигуры, смутно напоминавшей Христа: «Иди ко мне». Он в ужасе отшатывался, потому что фигура эта стояла ни на чем — по сути, висела в пустоте. «Я упаду, — говорил он. — Я провалюсь в бездну». И в ответ услышал: «Учись падать. Учись падать и держаться ни на чем, как звезды».

Меня очень привлекает дальневосточная традиция, согласно которой пустота является знаком высшей ценности. Имеется в виду та бездна, окунувшись в которую человек находит в себе второе дыхание, своего рода крылья, и начинает летать. Поэтому хаос меня — в хорошем смысле слова — провоцирует. И нынешний российский хаос — тоже. Я надеюсь, что в России окажется достаточно людей, которые такую провокацию сумеют принять и выдержать и достичь глубин, не затрагиваемых внешними катастрофами. Подобных людей я встречал и среди представителей молодого поколения. А как-то разговорился с педагогом, проводившим конкурс молодых учителей, работающих в деревне. Он рассказывал, что в основном это настоящие подвижники, Дон Кихоты, которые замечательно ведут работу в совершенно немыслимых, казалось бы, для цивилизованного человека условиях. И вот на остающихся дома Дон Кихотов у меня и есть надежда. В них — сохранение живого духа культуры. Хотя, конечно, она в обозримом будущем не будет культурой всех.

*— Нетипическое — как единственное средство спасения типического?*

— А князь Мышкин разве был профилирующей фигурой для своего времени? Тем не менее я думаю, что этот одиночка стал оправданием той эпохи. Я надеюсь, что такие спонтанно возникающие личности, отражающие глубину жизни, у нас не пропадут и что ниточка культуры не прервется. А удастся ли построить, опираясь на эти искорки культуры, более-менее сносную жизнь для всего народа, остается вопросом открытым.

Одно могу сказать: без этих усилий экономические реформы будут скользить по поверхности, и все, как у нас водится, будет разворачиваться. Потому что не будет чести, во имя которой стоит быть честным, а также правил игры, в рамках которых игра может быть выиграна. Успех возможен, но требуются усилия от каждого из нас, а не только ожидание действий от какого-то гениального правительства.

*Беседу вел Павел Нуйкин*

## Содержание

<i>Предисловие ко второму изданию</i> .....	5
Глава 1. В поисках потерянного стиля .....	7
Глава 2. Я не такой, как надо .....	15
Глава 3. Утенок находит лебединое озеро .....	28
Глава 4. Наплывы .....	54
Глава 5. Через страх. Крыло первое .....	64
Глава 6. Через страх. Крыло второе .....	87
Глава 7. На птичьих правах .....	114
Глава 8. Цена победы .....	151
Глава 9. Неразрешимое .....	190
Глава 10. Нечаянная глава .....	210
Глава 11. С готовностью на поражение .....	222
Глава 12. Вопль к Богу .....	247
Как пришла эта тема .....	247
Истоки и устье религиозной революции .....	262
Человек диаспоры как Другой .....	275
Глава 13. Корзина цветов нобелевскому лауреату .....	282
Глава 14. Узнавание .....	329
Глава 15. Негаснущий огонь .....	346
Глава 16. Мышкинский счет .....	372
Глава 17. После падения Ваала .....	384
Глава 18. До полной гибели всерьез .....	400
Глава 19. Пленница истории .....	422
Глава 20. Три опыта о молекуле .....	437
Утенок исполняет обязанности лебедя .....	437
Метафизика молекулы .....	440
Восполненность .....	444
«В 70 лет я снова начал пробиваться в жизнь».	
<i>Интервью с Г.С. Померанцем</i> .....	452

**Григорий Соломонович Померанц**  
**Записки гадкого утенка**

Корректор: Г.Э. Великовская  
Компьютерная верстка О.А. Зотов

По издательским вопросам обращаться:  
«Центр гуманитарных инициатив»  
е-таП: итктда@уап(1ех.т, итБоок@таП.ги.  
Руководитель центра Соснов П.В.

Комплектация библиотек, продажа в России и странах СНГ  
ООО «Издательство «Академический проект»:  
111399, Москва, ул. Мартеновская д.3  
Тел. (495) 305-37-02, е-таП т&@арго§ес1т, Шр://аргодес1т

Комплектация библиотек, оптовая продажа в Санкт-Петербурге  
ООО «Университетская книга-СПб»  
Тел. (812)640-08-71, е-таП: икт§а1@те81са11.пе1:  
в Москве ООО «Университетская книга-СПб»  
Тел. (495)915-32-84, е-таП: икт§а-т@ЦЪй.т

Розничная продажа в Санкт-Петербурге:  
магазин «Книжный окоп»  
В.О., Тучков пер., 11. Тел.: (812)323-85-84

Розничная продажа в Москве:  
№№№.по1аЪепе.ги (495) 745-15-36

Подписано в печать 05.09.2011  
Гарнитура №^1:опС. Формат 60х90 У<sub>16</sub>. Бумага офсетная.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 29. Уч.-изд. л. 27  
Доп. тираж 400 экз. Заказ №

Отпечатано на цифровой струйной печатной машине ОСЕ  
на базе «Чеховского Печатного Двора»  
Московская область, Чехов г., ул. Полиграфистов, 1



*Мама одела меня в костюм «юнгитурм». Тогда это было в моде.*





*Здесь мне лет 13.  
Я тогда заново изобрел  
теорию перманентной  
революции.*



*Это — несколько  
приукрашенный  
снимок 1937 г. Я  
писал тогда  
товарищу Сталину,  
что не надо  
увлекаться  
террором.*

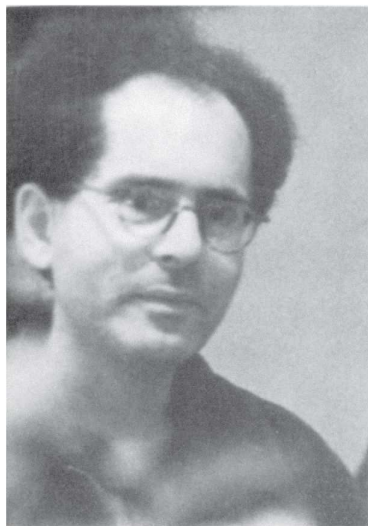




*Вернулся с войны. 1946 год.*



*Вместе с Ирой Муравьевой. Примерно 1958 год*



1958 год



*С Ирой Муравьевой  
на водохранилище.  
1959.*



*Полина Соломоновна Померанц, мать Григория Соломоновича.*



*В год между смертью Иры и встречей с Зиной. 1960.*



*Зина в первые годы нашей общей жизни*

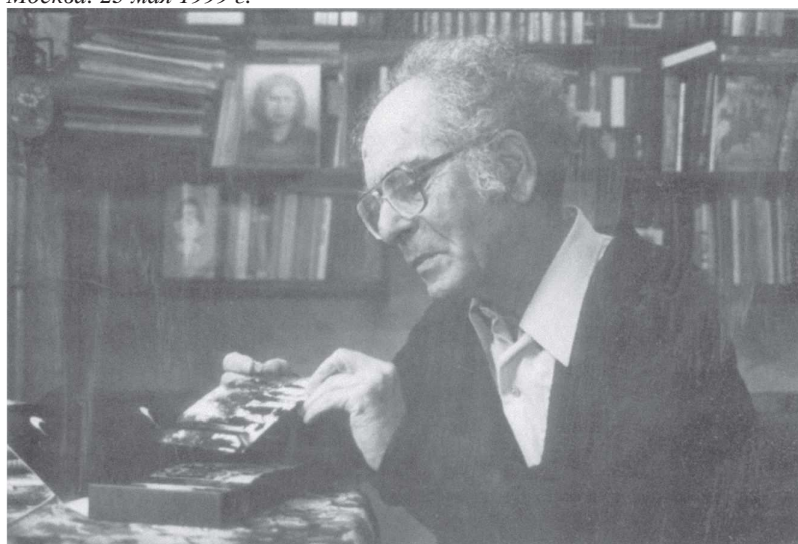


*С Зиной. Снимок в ателье. Семидесятые годы.*

*С Зиной на  
даче. У костра.  
Около 1980 г.*



*Москва. 23 мая 1999 г.*







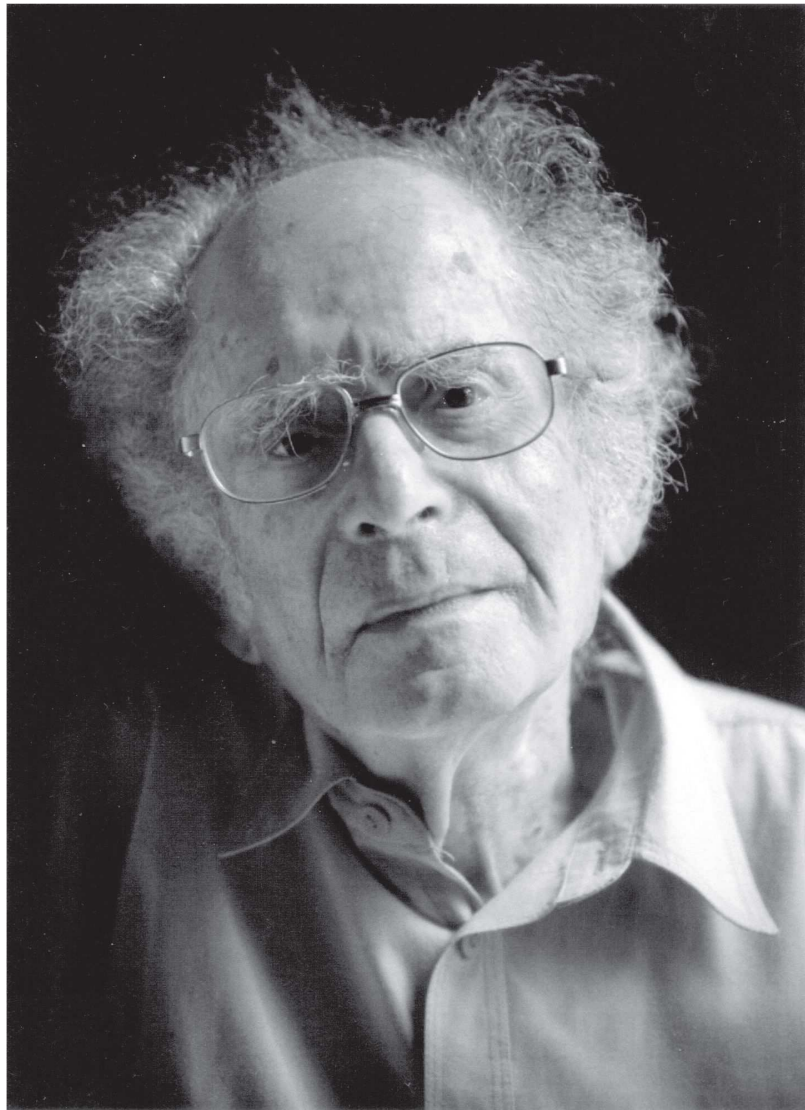
*В Норвегии. 1977 г.*

*В Норвегии. 1999 г.*

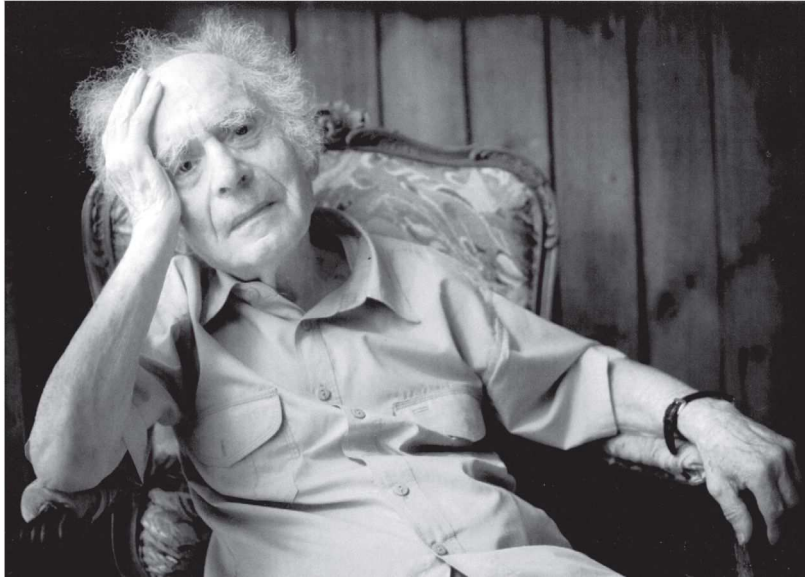


*В Норвегии. 2001 г.*





*Март 2009 г.*



*Март 2009 г.*



*Март 2009 г.*



*За работой...*